

*В. В. НАБОКОВ*

***НОВАЯ БИБЛИОТЕКА ПОЭТА***

***Гуманитарное агентство  
«Академический проект»***

***В. В. НАБОКОВ***

***СТИХОТВОРЕНИЯ***

**Санкт-Петербург  
2002**

**Редакционная коллегия**

А. С. Кушнер (*главный редактор*),  
К. М. Азадовский, М. Л. Гаспаров,  
А. Л. Зорин, А. В. Лавров, А. М. Панченко,  
И. Н. Сухих, Р. Д. Тименчик

Вступительная статья, составление,  
подготовка текста и примечания *М. Э. МАЛИКОВОЙ*

Редактор *Л. А. Николаева*

*Издание выпущено при поддержке Комитета по печати  
и связям с общественностью Санкт-Петербурга*

*Издательство благодарит Российское авторское обще-  
ство за помощь в осуществлении издания*

**ISBN 5-7331-0160-1**

- © М. Э. Маликова, вступ. статья, состав.,  
примеч., 2002
- © Гуманитарное агентство «Академический  
проект», 2002



## ЗАБЫТЫЙ ПОЭТ

Владимир Владимирович Набоков (псевдонимы Владимир Сирин, Василий Шишков) (1899—1977) — вгостепенный русский поэт, переводчик, автор нескольких драм в стихах — родился в Петербурге, в 1918 году эмигрировал, с 1940 года жил в Америке, где писал по-английски, умер в Швейцарии... Поэт Владимир Сирин мало привлекал внимание исследователей по сравнению со знаменитым русско-американским прозаиком Владимиром Набоковым — об этом свидетельствует немногочисленность работ о его стихах. И это несмотря на то, что материал самим автором заботливо подготовлен для исследования: объединен в сборники, в том числе дефинитивный — «Стихи» 1979 года. Все отобранные стихи Набоковым датированы и откомментированы в предисловии и примечаниях к «Poems and Problems» (New York; London: McGraw-Hill, 1970). Имеются также его «письма о русской поэзии» (рецензии Сирина 1920—1930 годов), заметки о русской и английской просодии и искусстве перевода (комментарий к переводу «Евгения Онегина» и сопровождавшие его публикации). Одиннадцатая глава английского варианта автобиографии «Speak, Memoir» (1966) и пассажи в «Даре» (1937—1938, 1952) посвящены рассуждениям о чуде поэтического вдохновения и технике стихотворчества. Набоков также несколько раз создавал несуществующих поэтов, снабжая их стихами или стихотворными строчками с комментарием — это Федор Годунов-Чердынцев и Кончеев в «Даре», Василий Шишков в одноименном рассказе (1939) и напечатанных под этим псевдонимом стихотворениях «Поэты» (1939) и «К России» (1940), Константин Перов из английского рассказа «A Forgotten Poet» («Забытый поэт», 1944), Джон Шейд из романа «Pale Fire» («Бледный огонь», 1962). Сам Набоков — несмотря на непризнание публики и критиков — долгое время считал себя прежде всего поэтом: до выхода первого романа «Машенька» (1926) он опубликовал более четырехсот стихотворений (а написал около тысячи). В годы своей «пост-Лолитиной» славы Набоков собрал, практически не редактируя, свои старые, в том числе и юношеские, стихи в два итоговых сборника, «Poems and Problems» (1970) и «Стихи» (1979) — повторив в них заглавия ранних сборников (рукописного крымского альбома «Стихи и схемы» (1918) и первого опубликованного сборника «Стихи» (1916)) — закруглив таким образом поэтический сюжет и подчеркнув этим «conclusive evidence», что для него писание стихов было, не ошибками молодости или journal intime, а «вечным спутником».

Несмотря на важность поэтической составляющей в творчестве Набокова, она почти не привлекала внимания исследователей. Мнения эмигрантских критиков о ранних (до 1929 года) стихах Сирина суммированы в отзыве Германа Хохлова: «Стихи Сирина отличаются такой же точностью, тщательностью и заостренностью языка, как и проза. Но то, что делает ткань прозаических произведений крепкой и прочной, вносит в условный материал поэзии излишнюю прямолинейность и сухость. Стихи Сирина, при всей своей образности и технической отделанности, производят впечатление подкованной рифмами ритмической прозы. В них много рассудочности, добросовестности, отчетливости и очень мало настоящей поэтической полноты». <sup>1</sup> Первая попытка систематического анализа поэзии Сирина-Набокова была предпринята Глебом Струве в его труде «Русская литература в изгнании» (1956). Струве писал о пропасти, лежащей между ранними и поздними стихами Набокова, о резкой смене поэтических образцов: если в юности (сборники «Гроздь» и «Горный путь») Набоков был «поэтическим старовером», ориентировавшимся на поэтику «в лучшем случае Фета и Майкова, а в худшем — Ратгауза», то в его зрелой поэзии слышны ритмические и словесные ходы Пастернака, Ходасевича, иногда Белого, Мандельштама и Поплавского. <sup>2</sup> Выход в 1979 году сборника «Стихи» вызвал короткий всплеск интереса к его поэзии. <sup>3</sup> Наиболее значительные статьи о поэзии Набокова собраны в журнале *Russian Literature Triquarterly* (1991. № 24) под редакцией Дональда Бартона Джонсона, свод всего написанного о поэзии Набокова дан в соответствующих статьях набоковской энциклопедии «*The Garland Companion to Vladimir Nabokov*» (ed. by Vladimir E. Alexandrov. New York; London: Garland, 1995).

Практически все вышедшие ранее исследования о поэзии Набокова ограничивались материалом сборника 1979 года, так что многие тексты — несобранные стихотворения, непереиздававшиеся переводы, стихи на английском — выпадали из области исследовательского внимания. <sup>4</sup> Настоящее издание не может претендовать на полноту из-за закрытости архива <sup>5</sup> — наша цель с максимальной полнотой представить опубликованный корпус Набокова-поэта и все относящиеся к этой стороне его творчества факты и исследования, а также обозначить проблемы и возможные направления анализа его поэзии. Мы также не будем здесь подробно излагать биографию Набокова; эти сведения можно найти в двух книгах Брайена Бойда, <sup>6</sup> первая из которых, посвященная «русским годам», вышла в русском переводе.

В беллетризованном воспоминании о «первом стихотворении» Набоков рассказывает, что впервые «цепящее неистовство стихосложения» нашло на него в Вьере, летом 1914 года, накануне войны, и первое стихотворение было элегией «об утрате возлюбленной — Делии, Тамары или Ленор, — которой я никогда не терял, никогда не любил, никогда не встречал, но был весь готов встретить, полюбить, потерять» (*Nabokov V. Speak, Memory: An Autobiography*

Revisited. New York, 1967. P. 225. Перевод здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, наш.). Здесь Набоков использует характерный для его поэтики прием двойной экспозиции: впечатление, послужившее толчком к сочинению стихотворения, позволяет идентифицировать его не с традиционной романтической элегией, апострофирующей условную возлюбленную, а со стихотворением 1917 года «Дождь пролетел», самым ранним из включавшихся Набоковым в сборники: «Мгновение спустя началось мое первое стихотворение. Что его подтолкнуло? Думаю, что знаю. Без малейшего дуновения ветра, самый вес дождевой капли, сверкавшей заемной роскошью на сердцевидном листе, заставил его кончик опуститься, и то, что было похоже на шарик ртути, совершило неожиданное глассандо вниз вдоль центральной жилки — и, сбросив свою яркую ношу, освобожденный лист разогнулся. "Лист / душист, благоухает / роняет". Мгновение, в которое все это произошло, кажется мне не столько отрезком времени, сколько щелью в нем, пропущенным ударом сердца, который был тут же компенсирован стуком рифм. Я специально говорю "стуком", потому что когда наконец налетел порыв ветра, деревья вдруг все разом начали капать, настолько же приблизительно имитируя недавнее низвержение воды, насколько строка, что я уже бормотал, наполнила только что испытанный шок, когда на миг сердце и лист стали одним» (Nabokov. Speak, Memoirs. P. 217) — ср.:

Дождь пролетел и сторел на лету.  
Иду по румяной дорожке.  
Иволги свищут, рябины в цвету,  
Белеют на ивах сережки.

Воздух живителен, влажен, душист,  
Как жимолость благоухает!  
Кончиком вниз наклоняется лист  
И с кончика жемчуг роняет.

*(Дождь пролетел)<sup>7</sup>*

Упоминание среди абстрактных адресатов элегии имени Тамара предвосхищает и вызывает появление в следующей главе автобиографии «реальной» возлюбленной Тамары, прототипом которой послужила Валентина Шульгина, адресат первого поэтического сборника Набокова «Стихи» 1916 года, — таким образом «первое стихотворение» связывается и с первым сборником стихов.<sup>8</sup>

Сборник «Стихи» был издан в 1916 году в Петрограде «художественно-графическим заведением» «Унион», на деньги автора в количестве 500 нумерованных экземпляров (одно стихотворение этого сборника, «Лунная греза», было также опубликовано в «толстом» журнале «Вестник Европы» (1916. Кн. 7)). Сборник посвящен Валентине (Набоков звал ее Люся) Шульгиной,<sup>9</sup> с которой Владимир Набоков встретился 9 августа 1915 года, «если быть по-Петрарковски точ-

ным», в беседе с цветными стеклами в парке набоковской Выры (30 лет спустя Набоков ошибочно утверждал, что опубликовал этот стихотворный сборник под псевдонимом «Валентин Набоков»). Их летний роман продолжался зиму 1915—1916 года в Петербурге, второе лето — в Выре-Рождествено и закончился осенью 1916 года. Все это время Набоков «не переставал писать стихи к ней, для нее, о ней — по две-три "пьески" в неделю» (Набоков V. С. 290),\* но уже вышедший весной 1916 года, больше чем за полгода до расставания, сборник из 68 стихотворений был почти весь, по наблюдению Люси, «о разлуках и утратах». О критических отзывах известно главным образом из рассказов самого Набокова в «Других берегах»: Владимир Васильевич Гиппиус, поэт и историк литературы, преподававший словесность в Тенишевском училище, поэмой которого «Лик человеческий» (1922) Набоков и позже восхищался (см.: Набоков V. С. 291), принес экземпляр сборника в класс и «подробно разнес его при всеобщем, или почти всеобщем, смехе» (Набоков V. С. 291). К. И. Чуковский, которому Владимир Дмитриевич Набоков подарил экземпляр сборника, прислал комплиментарный ответ, но, как будто по оплошности, вложил в конверт черновик более критического характера (Бойд. Русские годы. С. 146—147). Автор, оглядываясь назад, согласился с ними: «Спешу добавить, что первая эта моя книжечка стихов была исключительно плохая, и никогда бы не следовало ее издавать» (Набоков V. С. 290) и действительно не переиздал из нее ни одного стихотворения.<sup>10</sup> Когда, спустя 30 лет, сестра Набокова Е. В. Сикорская в Праге обнаружила экземпляр сборника и переписала его для брата, он не разделил ее сентиментальной радости: «Недалеко я ходил за зпитегами в те дни».<sup>11</sup> Построенный по календарному принципу, сборник отражает топографию любовного романа (усадебка — город); его образную систему отличает крайняя ограниченность цветовой палитры: представлены дымчато-белый, голубой, синий, лиловый и алый с золотом закатного неба (с преобладанием символистской лазури) — что удивительно в рассуждении прозы Набокова и его наблюдений над цветом в эссе о Гоголе, где он противопоставляет подслеповатость допушкинской литературы импрессионистскому зрению Гоголя: «Небо было голубым, заря алой, листва зеленой, глаза красавиц черными, тучи серыми и т. д. Только Гоголь (а за ним Лермонтов и Толстой) увидели желтый и лиловый цвета. То, что небо на восходе может быть бледно-зеленым, снег в безоблачный день густосиним, прозвучало бы бессмысленной ересью в ушах так называемого писателя-"классика", привыкшего к неизменной, общепринятой цветовой гамме французской литературы 18 в.»<sup>12</sup> Гербарий сборника 1916 года исключительно альбомно-цветочный (лилия, роза, василек, одуванчик, хризантема, незабудка, сирень, акация, гвоздика, вербена, жасмин, орхидея, ромашка, скабиоза, пион, вереск, георгин, астра, табак, черемуха, гиацинт, гелиотроп, ландыш), из фауны — бабочки, мотыльки, птички и неопределенные «ласковые розовые

---

\* Список сокращений см. на с. 540—541 наст. изд.

букашки», удивительные для юного энтомолога. Ограниченность образной системы приводит к частым тавтологическим повторам («Как люблю зимою нежащие взгляды / Райского безмолвия, райской чистоты»). Помимо свидетельства неопытности «молодого русского версификатора», они обусловлены доминантной темой воспоминания («Ты помнишь, как в темной траве светлячок, / Любовью сияя, к нам в очи глядел? <...> Когда мы расстались, я долго блуждал / По милым местам, где мы были вдвоем, / В траве светлячок тот же самый сиял / Своим одиноким знакомым огнем») и романтической антропоморфизацией природы, отражающей состояние героев («Лиловый дым над снегом крыши / По небу розовому плыл /<...>/ Печали думы, тихо рея / По небу розовой любви, / Исчезли, ветрено бледнея, / Как эти дымные венки»). Используя автобиографический материал романа с Люсей в своем первом романе «Машенька» и автобиографии, Набоков несколько модернизировал поэтический фон своего прошлого. Если поэтика стихотворений сборника восходит, в первую очередь, к массовой романсной и журнальной стихотворной традиции, то в прозе любовь к популярной поэзии Набоков переадресует своей возлюбленной: «У нее был <...> огромный запас второстепенных стихов, — тут были и Жадовская, и Виктор Гофман, и К. Р., и Мережковский, и Мазуркевич, и Бог знает еще какие дамы и мужчины, на слова которых писались романсы, вроде "Ваш уголок я убрала цветами" или "Христос воскрес, поют во храме"» (Набоков V. С. 285). В прозаическом парафразе встречи в приусадебном парке содержат топоры классической поэзии, «вроде "лесной сени", "уединенности", "сельской неги" и прочих пушкинских галицизмов» (Там же. С. 287), бездомье встреч в зимнем Петербурге описывается в стилистике неоклассицизма рубежа веков («вертикально падающий крупный снег Мира Искусства», блуждания «лунными вечерами по классическим пустыням Петербурга» с традиционным для петербургского текста выходом на простор «дивной площади», где «беззвучно возникали перед нами разные зодческие призраки: я держусь лексикона, нравившегося мне тогда», где «тот столп, увенчанный черным ангелом, который в лунном сиянии безнадежно пытался дотянуться до подножья пушкинской строки» (Там же. С. 290)). А предвестия будущих исторических бед, сопровождавшие их последнюю встречу с Тamarой в дачном поезде, вводятся отсылкой к Блоку: «С одной стороны полотна, над синеватым болотом, темный дым горящего торфа сливался с дотлевающими развалинами широкого оранжевого заката. Интересно, мог ли бы я доказать ссылкой на где-нибудь напечатанное свидетельство, что как раз в тот вечер Александр Блок отмечал в своем дневнике этот дым, эти краски» (Там же. С. 293).<sup>13</sup> Сборник 1916 года кладет начало характерной черте поэтики Набокова, которую В. Ходасевич, применительно к Пушкину, назвал «бережливостью», а Клэрэнс Браун в статье о Набокове — «повторяемостью». <sup>14</sup> он многократно использует один и тот же образ. «Будущему узкому специалисту-словеснику» небезынтересно будет проследить, как «велосипедный номер» переходит из стихотворения сборника 1916 года

«Осеннее» в «Машеньку», «Другие берега» и далее в «Аду»; образ падающего сухого листа хризантемы — из стихотворения «Дрожит хризантема, грустя...» в рассказы «Мечь» (1924), «Лебеда» (1932), четвертую главу «Других берегов».

С 1910<sup>15</sup> по 1917 год Набоков учился в знаменитом своим либерализмом и довольно дорогим Тенишевском училище (Петербург, Моховая, 33), на десять лет позже О. Э. Мандельштама. В оценках Набоков балансировал между «хорошо» и «удовлетворительно», отличаясь главным образом в футболе и рисовании, а весной 1916 года, когда вышел сборник «Стихи», получил «неуд.» по алгебре и требование заниматься с репетитором.<sup>16</sup> Хотя в автобиографии Набоков утверждал, что «не отдавал школе ни одной крупницы души, сберегая все свои силы для домашних отрад — *своих* игр, *своих* увлечений и причуд, *своих* бабочек, *своих* любимых книг» (Набоков V. С. 265), он, видимо, под влиянием В. В. Гиппиуса,<sup>17</sup> участвовал как автор и со-редактор в журнале училища «Юная мысль». В этом журнале Набоков опубликовал, помимо двух стихотворений, вошедших в «Стихи» 1916 года («Цветные стекла» и «Осенняя песня», под заглавием «Осень»), перевод «Декабрьской ночи» Мюссе и удостоился первого печатного отзыва: Сергей Гессен отметил «стихотворение В. Набокова "Осень", заслуживающее большой похвалы и одобрения» (Юная мысль. 1916. № 7. С. 36). Вместе со своим соучеником по Тенишевскому Андреем Балашовым Набоков выпустил сборник стихотворений, названный альманахом, «Два пути», состоящий из двенадцати стихотворений Набокова и восьми Балашова. Публикацию задержала революция, и сборник вышел только в 1918 году (Петроград: Типо-Литография инж. М. С. Персона), когда семья Набоковых уже была в Крыму. Сведения об Андрее Владимировиче Балашове скудны: в Тенишевском он учился слабо, в его карточке «Сведения об успехах и поведении» учеников за 1912—1913 учебный год отмечено: «Особого интереса к работе не наблюдалось. В большинстве случаев мальчик формально выполнял требования школы; при этом часто ленился. Поверхностное, неглубокое отношение к преподаваемому материалу очень характерно» (ЦГИА. Ф. 176. Оп. 1. Д. 248. Л. 105). Оценки Балашова — ученика 12-го семестра за первое полугодие 1915—1916 года такие: «Закон Божий — уд., нем. яз. — едва уд., фр. яз. — неуд., ист. — в общ. уд., развитие слабое, руч. труд. — слаб., мало посещал., алгебра — едва уд., геом. — едва уд.» и по русскому языку — «неуд.» (ЦГИА. Ф. 176. Оп. 1. Д. 334. Л. 1). Потом Балашов стал гусаром, после революции вместе с Белой армией находился в Галлиполи, выпустил сборники стихов «Песни гусара» (Борисоглебск, 1917), «Тебе, родина» (Новочеркасск, 1919), «Стихотворения» (Нови Сад (Югославия), 1923), в начале войны следы его теряются, но в 1956 году в Брюсселе появился его сборник «Для немногих. Стихи. Изд. 2». Видимо, думая о нем, Набоков назвал Тенишевское училище в «Машеньке» и «Защите Лужина» Балашовским, но больше нигде не упоминал.<sup>18</sup> В стихах Балашова из «Двух путей» общеромантические штампы:

Я пел песни, смеялись кругом,  
Я молчал, все с презрением молчали,  
Говорил про любовь и о прочем таком,  
Сумасшедшим меня называли <...>  
Стой, поэт, ты страдалец молвы,  
Стой всех выше, ты выше толпы,  
Ты есть голос надзвездной выси,  
Ты есть дар не от мира земли,

некрасовско-надсоновское гражданское «рыданьице»:

Ругань да побои, песня вековая,  
Каждая копейка на счету лежит,  
Выпьет мужичишка, горе забывая,  
В кабаке поплачет и к сохе бежит...

Стихи Набокова из «Двух путей» представляют только малую часть написанного им в мае — августе 1917 года в Выре, собранные, кажется, без плана и отражают, главным образом, симпатичный юношеский витализм, выраженный символистской лексикой, которому отвечает вся природа: «Все — в лучах! / Жизнь — как небо голубое!», «В душе поет восторг безбрежной воли... / Весь мир в лучах! Вся жизнь передо мной! / Как сердце, бьется огненное поле / Под лаской ветра, буйной, молодой». Впоследствии Набоков выделил из сборника только уже упоминавшееся стихотворение «Дождь пролетел», включив его в «Poems and Problems» и «Стихи» 1979 года. Но также несомненно и то, что юный версификатор уже считал себя в 1917 году поэтом и даже подводил первые итоги: классифицируя стихи, написанные в последний перед эмиграцией год (июнь 1916 — июль 1917), он подсчитал, что из 172 стихотворений 31 было посвящено Люсе Шульгиной, 39 — Еве Любржинской, его следующей возлюбленной, 24 — о событиях дня, 52 — о природе, 26 — о себе.<sup>19</sup> В конце лета 1917 года он начал тонкую тетрадку — первую из череды рукописных стихотворных альбомов, которые он непрерывно заполнял — по одному стихотворению в два дня — с 1917 по 1923 год.

Осенью 1917 года Набоков на месяц раньше срока сдал выпускные экзамены в Тенишевском училище, — октябрьского переворота он, по его словам, не заметил, занятый под «подлый треск пулемета» стихами (Бойд. Русские годы. С. 163) и, бравирюя своей аполитичностью, послал из Петрограда в Кисловодск своему тенишевскому приятелю Савелию (Сабе) Кянджунцеву поэму «Пегас», написанную 25 октября, «в первый день советской эры». Очевидно, Набоков несколько преувеличивал степень своей изолированности от политики, так как его отец, В. Д. Набоков, принимал в ней самое активное участие.<sup>20</sup> В последние месяцы пребывания в Петрограде Набоковы, отец и сын, оставили автографы в рукописном альманахе К. И. Чуковского «Чукоккала» (Набоков — стихотворение «Революция», подписавшись

«сын предшествующего»). 2 (15) ноября Набоков вместе с младшим братом Сергеем был отправлен в Крым. Через месяц к семье присоединился В. Д. Набоков, чудом избежавший ареста как один из руководителей партии кадетов и депутат Временного правительства. Под впечатлением от рассказов отца Набоков написал стихотворение «К свободе», впервые опубликованное более полувека спустя в сборнике «Poems and Problems». В Крыму семья Набоковых поселилась в Гаспре в имении графини Паниной — и Набоков «немедленно окунулся в пушкинские ориенталии» и «ощутил горечь и вдохновение изгнания» (Набоков V. С. 296). В начале декабря он начал новый рукописный стихотворный альбом, названный «Цветные камушки» (сейчас эти альбомы хранятся в Архиве Владимира Набокова в Коллекции Берга Нью-Йоркской публичной библиотеки<sup>21</sup>). Во время пребывания в Крыму (ноябрь 1917 — апрель 1919 года) Набоков опубликовал три стихотворения в газете «Ялтинский голос»; для благотворительного концерта певицы Анны Ян-Рубан, жены его знакомого, композитора В. И. Поля, Набоков перевел несколько немецких романсов, особенный успех имел романс Шумана на слова Гейне «Ich grolle nicht» (вместо известного «Я не сержусь...» у Набокова было: «...нет злости, нет / всё глубже боль, острее / счастье навек ушло / но злости нет, / хоть ты в лучах, / не проникает свет / во тьму души моей...»<sup>22</sup>).

Короткое и вынужденное пребывание в Крыму заложило, кажется, основания набоковского представления об искусстве поэзии на годы вперед. Владимир Иванович Польш, композитор (он положил на музыку стихотворение «Дождь пролетел»), оккультист и йог, познакомил Набокова с христианской мистикой. З. Шаховская так передает рассказ Поля: «Отец Сирина как-то пожаловался мне: — вы знаете, просто беда с Володькой! Он способный, пишет хорошие стихи, а занимается лишь тем, что бегает и ловит бабочек. Не могли бы вы, Владимир Иванович, повлиять на него и постараться хоть на время оторвать от бабочек <...>. Я попробовал направить мысли молодого Набокова на то, что лично меня привлекало, на мистику. Володя попросил меня дать ему книги по таким вопросам».<sup>23</sup> В. И. Полю посвящен цикл «Ангелы» (сборник «Горний путь»), в котором последовательно описываются все девять чинов небесной иерархии в соответствии с учением Дионисия Ареопагита, и стихотворение 1923 года «Эфемеры» (Стихи 1979. С. 87–89), которое подтверждает позднее высказывание Набокова, что его интерес к религии был связан отчасти со стремлением развить в стихах живописную «византийскую образность» (Стихи 1979. С.4):

И Сила гулкая, встающая со дна,  
вздувает огненные зыби:  
растет горячая вишневая волна  
с роскошной просинью на сгибе

В интервью Набоков связал приверженность «ложному блеску византийской образности» со стилистической традицией «блоковской зры».<sup>24</sup>



Другим длительным поэтическим воздействием крымского периода была встреча с Максимилианом Волошиным. Набоков вспоминал, как они сидели холодной и ветреной ночью в татарском кафе в Ялте и Волошин читал свое стихотворение «Родина» с редкими ритмическими отклонениями в четырехстопном ямбе: «Еще томит, не покидая, / Сквозь жаркий бред и сон — твоя / Мечта, в страданиях изжитая / И неосуществленная».<sup>25</sup> «Монументальное исследование Андрея Белого о ритмах», то есть статьи из сборника «Символизм» (1910), с которым познакомил его тогда Волошин, на всю жизнь осталось основой поэтического мастерства для Набокова. В Крыму в записных книжках он рисовал ритмические схемы для стихов Жуковского, Баратынского, Ломоносова, Бенедиктова (Бойд. Русские годы. С. 181). Годунов-Чердынцев, протагонист «Дара», в юности пересмотрел под влиянием теории Белого свои четырехстопники и «страшно был огорчен преобладанием прямой линии, с пробелами и одиночными точками, при отсутствии каких-либо трапеций и прямоугольников; и с той поры, в продолжение почти года — скверного, грешного года, — я старался писать так, чтобы получилась как можно более сложная и богатая схема: "Задумчиво и безнадежно / распространяет аромат /и неосуществимо нежно / уж полуувядает сад", — и так далее, в том же духе: язык спотыкался, но честь была спасена» (Набоков IV. С. 172). Таким же *tour de force* было стихотворение, написанное самим Набоковым в конце сентября 1918 года, — «Большая Медведица», диаграмма полуударений которого повторяет форму этого созвездия.<sup>26</sup> В крымском альбоме «Стихи и схемы» он помещал *en regard* свои стихи и их диаграммы (вместе с шахматными задачами и другими заметками) (Бойд. Русские годы. С. 183). Удивительно, что Набоков, много писавший о русской просодии, до конца жизни не признавал никаких других поэтологических взглядов (хотя, как утверждал в «Notes on Prosody» («Заметки о просодии»), не перечитывал «Символизм» Белого с 1919 года, а в переписке с Уилсоном ошибочно именовал его «Поэтикой»). Позже в «Notes on Prosody» Набоков придумал эквиваленты терминологии Белого для описания английской просодии, которые, по замечанию Дж. С. Смита, «остаются по преимуществу солипсизмом».<sup>27</sup> Несмотря на высокомерный тон в спорах с Эдмундом Уилсоном («Раз и навсегда тебе следует сказать себе, что в этих вопросах просодии — независимо от того, о каком языке идет речь, — ты неправ, а я прав — всегда»), Набоков-стихoved, по мнению современных ученых, остался на периферии стиховедения<sup>28</sup> и, как свойственно стихотворцам, предающимся «поэтической филологии», замечен главным образом тонкими частными наблюдениями.

В Крыму Набоков собирал новых, южных бабочек, которых описал в своей первой опубликованной энтомологической статье,<sup>29</sup> и сочинял шахматные задачи: «Я начал составлять шахматные задачи в конце 1917, год легко запомнить. Многие из самых старых моих композиций сохранились в потрепанных записных книжках — и сегодня кажутся еще хуже, чем элегии, записанные моим юношеским по-

черком напротив» (Poems and Problems. P. 15). Шахматная тема звучит как в первой, написанной гекзаметром, пьесе Набокова «Весной» — «лирическом нечто в одном действии» (ее содержание пересказывает Б. Бойд (Русские годы. С. 171), так и в стихотворении «Рыцарь» — единственном опубликованном (в сборнике 1979 года) из тех 224, которые он тогда отобрал для несостоявшегося сборника «Раскрытые окна». Позже Набоков в автокомментариях к стихам обыгрывал родство двух типов вдохновения, необходимых для сочинительства шахматных задач и стихов: «вдохновение это принадлежит к какому-то соборному, музыкально-математически-поэтическому типу» (Набоков V. С. 319), видел в шахматных ходах стихотворные размеры («В ходах ладьи — ямбический размер, / в ходах слона — анапест. Полутанец, / полурасчет — вот шахматы...»), а пришедшее решение шахматной задачи сравнивал с явлением «феи рифм».

В Крыму Набоков сочинил свою первую поэму «Светлой осенью», в которой, по сообщению Б. Бойда (Русские годы. С. 175–176), впервые описал свой «цветной слух» (audition colorée) — причем не только цвет букв, как в «Даре» и автобиографии, но и более общее проявление синестезии — соотнесение определенных букв с разнообразными визуальными впечатлениями. Оптическим лейтмотивом этой поэмы служат цветные стекла вырской веранды — образ веранды или беседки с «арлекиновыми стеклами» будет потом повторяться во многих произведениях Набокова как символ воспоминания и творчества.<sup>30</sup> Эту поэму Набоков из Крыма послал Люсе Шульгиной: «Стихи о Выре, которые Вы одна можете понять» (Бойд. Русские годы. С. 176).

В конце марта 1919 года Набоковы эвакуировались из Ливадии в Севастополь, а оттуда 2 (15) апреля, под звуки большевистской канонады на греческом судне «Надежда» покинули Россию и высадились в афинском порту Пирей, где провели три недели, — В. Набоков написал несколько стихотворений об Акрополе и имел три любовных романа. В мае Набоковы через Францию добрались до Лондона, где их встретил Константин Дмитриевич Набоков, брат отца, дипломат (представитель сначала Российской империи, потом Временного правительства в Англии, в сентябре 1919 года он был уволен). Во время четырехмесячного пребывания в Лондоне Набоков писал в среднем одно стихотворение в три дня, перевел Лэндора и О'Салливана из антологии ирландской поэзии, одно свое стихотворение — на английский и сочинил первое стихотворение на английском — «удручающе пресное», по характеристике читавшего его в архиве Б. Бойда (Русские годы. С. 199); в его альбомах ритмические схемы по Белому сменились шахматными задачами. Набоков, по совету Глеба Струве, поступил в Кембридж и позже утверждал, что воспользовался для этого дипломом своего друга и одноклассника Самуила Розова, который в Кембридже выдал за свой (выпускники Тенишевского имели право поступать в британские университеты без экзаменов<sup>31</sup>). Родители Набокова после года пребывания в Лон-

доне вместе с тремя младшими детьми перебрались в Берлин, где его отец вместе с И. В. Гессеном и А. И. Каминкой редактировал газету «Руль».

С 1 октября 1919-го до июня 1922 года Набоков учился в Кембридже (Trinity College), сначала на отделении ихтиологии, потом — когда надоело «кишки разматывать в уже / лаборатория уже / мне больше не казалась раем» — французской и русской литературы, стипендию получал от эмигрантской берлинской организации. Позже Набоков последовательно выстраивал образ изгнанника, одиночки, чужого всему в Кембридже, разочаровавшего его несовпадением с образом петербургского «викторианского» детства в англосаксонской семье: вся жизнь в британском университете была «длинной чередой неловкостей, ошибок и всевозможных провалов и глупостей, включая романтические».<sup>32</sup> Набоков утверждал, что всячески избегал английских влияний из страха «забыть или засорить единственное, что успел я выцарапать, довольно, впрочем, сильными когтями, из России», был занят только тем, чтобы «удержать Россию», сохранить свою русскую речь (см. эссе Сирина «Кембридж» (Руль. 1921. 28 октября, перепечатано в: Набоков I. С. 725–728), главу двенадцатую «Других берегов»), для чего реальный Кембридж, «приволье времени и простор веков», служил только рамой и ритмом. Своему кембриджскому рукописному альбому стихов он дал заглавие «Nostalgia».<sup>33</sup> Эта романтическая позиция (аналог которой Набоков не без иронии находил в своем одиночестве голкипера на футбольном поле) воплотилась как в кембриджских стихах, отобранных для сборника 1979 года, так и в тех, что остались неопубликованными в архиве. Характерной чертой набоковской ностальгии является апострофирование собирательного образа утраченной родины и возлюбленной, имеющего очевидную символистскую окраску. Ср., например, не публиковавшееся ранее стихотворение «Ты и я», вложенное в письмо Набокова матери из Кембриджа весной 1921 года (хранится в Berg Collection), которое любопытно еще и наглядным сочетанием абстрактной символизации, характерной для эпохи «Грозди» и «Горнего пути» (в письме Набоков поясняет: «Все это — символы»), со свойственной его зрелой поэзии тенденцией к перечислению конкретных, главным образом визуальных, впечатлений внешнего мира:

В юности чудом мы встретились; ó-поле путь наш пролегал.  
(Рдяная кашка медвяная, синий сухой василек.)

Мчалась ты, жадная, вольная; снились мне дольные сны.  
(Песня ветрила веселого, скрип оснеженной сосны.)

Ты возносила стремительно; ввысь я глядел из окна.  
(Солнце над горными розами, в черном колодце — луна.)

Ты улетела, стоцветная; плачу, но отклика нет...  
(Птица с безумными крыльями, слабенький зябкий поэт.)

Или сочетание символистского мотива «зова» с современным образом телефона в стихотворении «Телефон» (в письме матери из Кембриджа от 24 апреля 1921 года (Berg Collection))

Один, впотьмах, за крепкими стенами,  
я звал тебя, хоть были между нами  
И городá, и рек живые сны,  
за степью степь, за лесом лес туманный.  
— Надолго ль мы с тобой разлучены? —  
Я вопрошал, тоскуя несказанно.  
— Да, — глухо ты ответствовала, — да,  
навек, мой возлюбленный, навеки. —  
Тебя услышал я: леса и реки,  
горящие на солнце города  
и полевые веерные дали —  
всё, всё твой плач летучий превозмог, —  
и между нами вдоль прямых дорог,  
чудовищные ландыши рыдали...<sup>34</sup>

С другой стороны, Набоков «смолоду был молод»: в письмах к родителям он описывает не только прогулки с музой («Занят я по горло, но это не мешает мне по субботам to walk out with my girl, т. е. с музой»), но и свою «полумонашескую, полуапашескую» жизнь — развлечения в обществе двух других русских cantabrigiens Михаила Калашникова и Никиты Романова: «...мы имели втроем самые смелые приключения, и не одному проктору знакомы наши лица. Счетов у меня порядочно, — и как-то в одну буйную ночь мы сломали два хозяйских стула и облепили противоположную стену кремом ядовитых пирожных».<sup>35</sup> В Кембридже Набоков играл в теннис, футбол (голкипером), катался по речке Кэм с той или другой Виолетой (см. «Университетскую поэму», 1927), опубликовал два своих первых стихотворения на английском («Home», «Remembrance»).

Во время учебы в Кембридже произошли два события в жизни Набокова, непосредственно отразившиеся в его стихах. Летом 1921 года он познакомился и через год был помолвлен с семнадцатилетней Светланой Зиверт, двоюродной сестрой Михаила Калашникова. Посвященные ей стихи приходилось пояснять: «Это очень "глубокое" стихотворение, Светик!»:

Все — только смутное, цветное дуновенье, —  
кружись; и для тебя, влюбленной на мгновенье  
в свой упоительный полет,  
да будет музыкой мерцанье ночи пышной,  
и шелесты земли, и все что сердцу слышно,  
и все что в памяти поет...

Внимая небесам восторженно-лучистым,  
прочувствуй, как и я, что в вихре серебристом  
зеленоглазый, смуглый мир

кружится, как и ты, безумно и блаженно,  
кружится без конца в лазури вдохновенной  
под звон воздушный звездных лир.

(Berg Collection)

28 марта 1922 года отец поэта, Владимир Дмитриевич Набоков, был убит террористами-монархистами, покушавшимися в зале берлинской филармонии на П. Н. Милюкова (см.: Бойд, Русские годы. С. 225–229). Набоков записал в дневнике: «Я читал вслух нежные стихи об Италии, о влажной, звонкой Венеции, о Флоренции, подобной дымному ирису. "Как это прекрасно, — сказала Мама, — да, да, именно: дымный ирис". И тут зазвонил в передней телефон» (цит. по: Бойд, Русские годы. С. 227). Рассказ в «Speak, Memoгу» об этом событии здесь обрывается, а в дневниковой записи есть продолжение, которое в автобиографии могло бы показаться нарочитым вымыслом: «Я почему-то вспомнил, как днем, провожая Светлану, я начертал пальцем на затуманенном стекле вагонного окошка слово "счастье", — и как буква каждая вытянулась книзу светлой чертой, влажной извилиной. Да, расплылось мое счастье». В начале лета 1922 года он сдал выпускные экзамены в Кембридже на степень бакалавра (матери он писал: «Ты знаешь, как трудно, как грустно весной... И особенно в эту весну. Мне подчас так тяжело, что чуть не схожу с ума — а нужно скрывать» (Письмо от 27 мая 1922 года. Berg Collection)) и вернулся в Берлин.

Наиболее значительным поэтическим влиянием кембриджского периода была для Набокова георгианская поэзия, которая, по выражению Дональда Бартона Джонсона, сейчас «отзывается тусклой нотой "сентиментальной пасторальности" или "воскресных поездов на природу" — если вообще имеет какой-нибудь резонанс».<sup>36</sup> Характерно, что «поэтический старовер» Сирин выбрал из современных английских поэтов именно «академистов», консерваторов-георгианцев, сочетавших викторианский поэтический традиционализм с отсутствием религиозно-философской проблематики Теннисона и Браунинга, сложности и аллюзивности Элиота и Паунда. В письме к Эдмунду Уилсону 1942 года Набоков признается, что стихи его сборника «Горный путь» (1923) «были написаны под сильным влиянием георгианских поэтов, Руперта Брука, де ла Мара и прочих, которыми я тогда был очень увлечен».<sup>37</sup> Д. Б. Джонсон проблематизирует это заявление: стихотворения, написанные в Кембридже, ни своей тематикой, ни поэтикой не отличаются от стихов предшествовавшего им крымского периода (заметные изменения в поэзии Набокова начинаются только с начала 1930-х годов) — зато Джонсон обнаружил ряд аллюзий к Бруку и де ла Мару в прозе Набокова, от «The Real Life of Sebastian Knight» («Истинная жизнь Себастьяна Найта», 1941) до «Look at the Harlequins!» («Смотри на арлекинов!», 1974).

Руперт Брук, увиденный сквозь магический кристалл Набокова, несколько отличается от оригинала. Р. Брук (1887–1915) — выпуск-

ник Кембриджа, красавец, поэт, актер, атлет — бросает обратный свет на все поэтическое движение георгианцев своей посмертной романтической славой: он погиб, не успев отвоевать двух месяцев в английском флоте, умер от заражения крови, вызванного укусом москита, и был похоронен на греческом острове Скирос, что не могло не напомнить современникам о байронической романтической легенде. За несколько дней до его смерти настоятель собора св. Петра в Лондоне прочел с кафедры сонет Брука «Солдат» (рукопись которого Набоков видел потом в Британском музее между романом Диккенса и записной книжкой капитана Скотта): «If I should die, think only this of me: / That there's some corner of a foreign field / That is for ever England» («Лишь это вспомните, узнав, что я убит: / стал некий уголок, средь поля на чужбине, / навеки Англией» (перевод В. Набокова)), — сказав, что «энтузиазм чистого и возвышенного патриотизма никогда еще не находил более благородного выражения».<sup>38</sup> Как справедливо утверждает Джонсон, в образе и биографической легенде Брука молодой Набоков уловил ноту романтической русской идолизации поэтов, героическая гибель английского поэта ассоциировалась у Набокова с судьбой одного из самых любимых его русских поэтов, Н. Гумилева (ср. стихотворения «Памяти Гумилева» (1923) и «Как любил я стихи Гумилева!» (1972)), а также с гибелью друга юности Набокова, его двоюродного брата Юрика Рауша фон Траубенберга (1897–1919), офицера Деникинской армии (см. десятую главу «Других берегов» и «Speak, Memoгу», стихотворение «Как ты — я с отроческих дней...» (1923)). Чтение и переводы из Брука сыграли значительную роль в формировании метафизических взглядов Набокова — но при этом переводчик довольно значительно искажал оригинал. Уолтер де ла Мар определил тип вдохновения, свойственный Бруку, как логический, умственный — в противоположность более близкому самому де ла Мару интуитивному и визионерскому: «...в этой поэзии меньше тайны, меньше волшебства <...> она вся в реальной жизни, ее приключениях, подвигах, любознательности и интеллектуальных интересах, ее животворящей юности. Более всего в его творчестве заметно отсутствие мечтательности, глубокой тихой задумчивости».<sup>39</sup> Стихотворение Р. Брука «A Channel Passage» произвело в еще недавно викторианской Англии скандал: в нем лирический герой, чтобы сдержать приступ дурноты, старается отвлечься на что-нибудь постороннее, и в голову ему приходит только его возлюбленная: «'Tis hard, I tell ye, / To choose 'twixt love and pausea, heart and belly». Набоков же делает из Брука визионера, мистика, подобного де ла Мару: он выделяет у Брука тему смерти и впервые в связи с ней произносит слово «потусторонность» («Ни один поэт так часто, с такой мучительной и творческой зоркостью не вглядывался в сумрак потусторонности»<sup>40</sup> — эта тема, по выражению Веры Набоковой, станет «главной темой» Набокова, она, «как некий водяной знак, символизирует все его творчество».<sup>41</sup>

В набоковском переводе разговорная, узуальная лексика Брука повышается и архаизируется: «world's» он переводит как «дольный»,

«there was a thunder in the deep» — «над глубиною гром исторгся», «So, closed about with perfect love, / The eternal end shall find us one...» — «Любви блаженствующей звенья, / ты, Вечность верная, замкни!» и пр. В экспозиции своего эссе Набоков прямо называет русского поэта, через которого он читает Брука: «В его творчестве есть редкая пленительная черта: какая-то сияющая влажность, <...>. Эта *тютчевская* любовь ко всему струящемуся, журчащему, светло-студеному...» (Набоков I. С. 729, курсив наш — М. М.). Платоническая идея анамнезиса, закомая Бруку, изучавшему в университете античность, и далеко не самая важная в его поэзии, выдвигается Набоковым на первый план. Противопоставление «тут / там»: «там» «живут Бессмертные, — благие, прекрасные, истинные, — те Подлинники, с которых мы — земные, глупые, скомканые снимки. Там — Лик, а мы здесь только призраки его. Там — верная беззакатная Звезда и Цветок, бледную тень которого любим мы на земле. Там нет ни единой слезы, а только скорбь. Нет движущихся ног, а есть Пляска. Все песни исчезнут в одной песне. Вместо любовников будет Любовь...» (Там же. С. 730) — вырастает в творчестве Набокова в инвариант двоимирия и даже в поздней русской прозе выражается в сходных синтаксических конструкциях: «Там, там — оригинал тех садов, где мы тут бродили, скрывались; там все поражает своею чарующей очевидностью, простотой совершенного блага; там все потешает душу, все проникнуто забавностью, которую знают дети; там сияет то зеркало, от которого иной раз сюда перескочит зайчик» («Приглашение на казнь» (1938), цит. по: Набоков IV. С. 622).

С другой стороны, страстная и внимательная любовь Брука к тому, «что покинет он з д е с ь» (Набоков I. С. 735) преобразилась у Набокова в проецирование земных, сенсуальных образов на потусторонний мир, благодаря чему уже в сборнике «Горный путь» трафаретные, неживые образы его крымских религиозных стихов заменяются земными подробностями из «сот памяти»: во время Тайной Вечери «по столу / ночные ползут мотыльки» («Тайная вечеря»), в Серафиме «при дивном свиданьи» поэт узнает узор крыльев бабочки («Бабочка (*Vanessa antiopa*)»), Христос перед смертью «с умилением сладостным и острым» вспоминает «домик в переулке пестром, / и голубей, и стружки на полу» («На Голгофе»), в раю пахнет как «на даче — в первый день» («И в Божий рай пришедшие с земли...»), а у апостола Петра руки «пахнут еще Гефсиманской росой и чешуей Иорданских рыб» («Когда я по лестнице алмазной...»). Почти двадцать лет спустя, в эссе о Лермонтове, Набоков вернулся к уроку, полученному им у георгианских поэтов: «Чтобы быть хорошим визионером, нужно быть хорошим наблюдателем, чем лучше видишь землю, тем тоньше будет восприятие небесного; и наоборот, предсказатель, глядящий в магический кристалл, не будучи художником, окажется просто старым занудой. Сама любовь к родине у Лермонтова (и других) — европейская, это чувство одновременно иррациональное и основанное на конкретном чувственном опыте. "Неофициальная английская роза", "шпили и фермы", увиденные с холма в Шроп-

шире, или родная речка, которую русский путешественник много веков назад вспомнил, увидя Иордан, — это всего лишь те "зеленые холмы", о которых бормотал, умирая, знаменитый толстяк.<sup>42</sup> <...> Но особенностью описания родины в русской поэзии является атмосфера ностальгии, которая обостряет восприятия, но искажает объективные отношения. Русский поэт описывает вид из своего окна так, будто он изгнанник, в мечтах представляющий себе свою родину более живо, чем когда-либо в действительности — хотя на самом деле в этот момент он, возможно, оглядывает собственные десятины. Пушкин мечтал о путешествии в Африку не потому, что ему надоел русский пейзаж, но потому, что он стремился тосковать по России, находясь за границей. Гоголь в Риме говорил о духовной красоте физической отдаленности, и отношение Лермонтова к русской деревне основано на том же эмоциональном парадоксе.<sup>43</sup>

Поэтика переводов и прозаических парафраз стихов Руперта Брука в посвященном ему эссе (1922) превосходит вторичные символистские стихи Сирина начала 1920-х годов и предвосхищает его будущий прозаический стиль. По характеристике А. А. Долинина, в этой «раскованной, музыкальной полупоэзии» Набоков чувствует себя гораздо свободнее, чем в рамках стиха, «передавая поэтическую мысль, троп, даже инструментовку в прозаическом переводе».<sup>44</sup>

Взаимообогащение стиха и прозы, обещанное поэтическими переложениями и прозаическими парафразами Р. Брука, Л. Кэрролла, Р. Роллана и характерное для зрелой поэтики Набокова, в первых эмигрантских стихотворных сборниках — «Гроздь» (1922) и «Горный путь» (1923) — не реализовалось. Еще учась в Кембридже, Набоков публиковал стихотворения в берлинской газете «Руль»: «Задолго до того, как в его <И. В. Гессена> издательстве <«Слово»> стали выходить мои книги, он с отеческим попустительством мне давал питать "Руль" незрелыми стихами. Синева берлинских сумерек, шатер углового каштана, легкое головокружение, бедность, влюбленность, мандариновый оттенок преждевременной световой рекламы и животная тоска по еще свежей России — все это в ямбическом виде волоклось в редакторский кабинет, где И. В. <...> смотрел на меня с полусаркастическим доброхотством, слегка потряхивая листом, но говорил только "Н-да" — и не торопясь приобщал его к материалу».<sup>45</sup> Стихи из «Руля» отметил в дружеском отклике Николай Яковлев, написавший о творчестве «молодого поэта большой, почти на глазах крепнущей лирической силы, поэта с художественным самоограничением и мерой» (Новая русская книга. 1922. № 1. С. 21). Большая часть этих стихотворений вошла в сборники «Гроздь» и «Горный путь» («Горный путь» вышел на месяц позже «Грозди», в январе 1923 года, но составлен из более ранних стихов, написанных с начала 1918-го до июня 1921-го года, «Гроздь» — в основном с июля 1921-го по апрель 1922 года). С 1921-го года Набоков стал пользоваться псевдонимом Сирин (первый раз в рождественском номере «Руля» (7 января 1921 года), где были напечатаны три стихотворения и рассказ «Не-



жить», подписанные «Влад. Сирин»), выбранным отчасти потому, что «в "Руле" было слишком много Набоковых» (его отец регулярно печатал в газете статьи на политические и литературные темы за подписью «В. Набоков»).<sup>46</sup>

По сравнению с двумя юношескими стихотворными сборниками, оба эмигрантских демонстрируют расширение круга тем: если в сборнике 1916 года и «Двух путях» стихи были все про любовь и природу, то тематика «Грозди» и «Горнего пути» отражает новый опыт (потерь, ностальгии, путешествий, влюбленностей) и новые литературные влияния. Характеризуя ретроспективно свою эмигрантскую поэзию, Набоков отметил, что в сопоставлении с юношеским периодом «кое-что <...> выправилось, лужицы несколько подсохли, слышались в голых рощах сравнительно чистые голоса» (Стихи и комментарии. С. 80). В стихах этого периода впервые ясно формулируется несколько старомодная романтическая позиция Набокова «я — поэт»: «Горний путь» он начинается с *art poétique* «Поэту»; в архиве Набокова сохранилось другое, неопубликованное, стихотворение 1920 года, написанное как обращение поэта к своей музе «языком Пушкина»:

#### Музе

<...> о, муза, грустно мне!  
Гул пушкинской струны, осмысленно-великий,  
не вызвал отзвука достойного, и вот  
плоды словесного бесстыдства: бред заики,  
ночная балмочь, блуд, лубочный хоровод,  
да странного ума лукавая забава...  
Нет, — пламя тайное включая в стих скупой,  
сознательно твори, упорствуй, но не пой,  
когда душа молчит. Будь в малом величава:  
всё благо на земле, всё — пыль, всё — Божество...  
О да, ты сыздетства постигла волшебство  
земного! Ты огня живее и румяней:  
смеешься и грустишь; глаза твои горят,  
и вновь туманятся; — но, иногда, я рад,  
что холод есть в тебе высоких изваяний, —  
богинь, блистательно застывших на лету...  
Не медли в небесах, о муза! Вот вплету  
листок березовый — душистый, ощутимый —  
в твой облачный венок: да будешь ты всегда  
проста, отзывчива... Век темен — не беда!  
Пусть гости-горести вошли, неотвратимы,  
в обитель юности пирующей моей, —  
их безобychливых не слушаю речей...  
Пусть, омраченное, ослепшее на время,  
мое великое, таинственное племя  
бушует и в бреду безумное творит —  
о вечно-вешняя! — по-прежнему горит

твой неотлучный луч; я знаю, что чудесно  
 печаль ты выразишь (певучая печаль  
 для чутких сладостней отрады бессловесной).  
 Я знаю — звездную, внимающую даль  
 столетий ты пройдешь, воздушная, а ныне,  
 подруга, жизнь моя, — в долине, на вершине, —  
 везде-везде хочу я чувствовать тебя.  
 Дай мне духовный жар, дай мне резец холодный;  
 Восстань! Пора, пора! Свержай свой путь свободный,  
 благославляя всё, о муза, всё любя...<sup>47</sup>

Отзывы критиков на «Горный путь» и «Гроздь» были немногочисленными и в основном равнодушными — все отметили вторичность и подражательность «поэта — первого ученика»,<sup>48</sup> в благожелательной формулировке Юлия Айхенвальда — отмеченного «печатью культурности». <sup>49</sup> Переимчивость Набокова 1920-х годов не распространяется дальше символизма: в его стихах находили влияния Пушкина, Фета, Тютчева, Бенедиктова, Бунина, Блока. Лоран Рабате справедливо отмечает демонстративность набоковских заимствований<sup>50</sup> — не случайно Набоков посвящает несколько стихотворений своим поэтическим менторам, прямо повторяя их тематические и ритмические топоры («На смерть Блока», «И. А. Бунину», «Пушкин — радуга по всей земле...»). Интересно, что ни в первые эмигрантские, ни в последующие сборники Набоков не включил ряд длинных стихотворений о Петербурге — «Петербург» («Так вот он, прежний чародей...», 1921), «Петербург» («Он на трясине был построен...», 1922) и «Петербург» («Мне чудится в Рождественское утро...», 1923), — в этих стихотворениях, из которых можно составить цикл, «петербургский текст» подчеркнута ограничен аллюзиями к Пушкину и Блоку.

Между сборниками 1923 года и следующим — «Возвращение Чорба. Рассказы и стихи» (Берлин: Слово, 1930), в который вошли стихи 1924–1928 годов, малозаметный поэт Владимир Сирин превратился в одного из первых молодых прозаиков русской эмиграции: кроме ряда рассказов, большая часть которых вошла в сборник «Возвращение Чорба», им уже были опубликованы романы «Машенька» (1926) и «Король, дама, валет» (1928).

Восьмого мая 1923 года в Берлине на благотворительном балу Набоков встретил молодую женщину в волчьей маске, Веру Евсеевну Слоним. Через несколько дней он уехал сезонным рабочим на юг Франции, в имение друга своего отца Соломона Крыма, и там написал стихотворение «Встреча» с эпиграфом из «Незнакомки» Блока:

<...> Надолго ли? Навек?.. Далече  
 брожу — и вслушиваюсь я  
 в движенье звезд над нашей встречей...  
 И если ты — судьба моя...

Многочисленные письма Набокова Вере, в 1925 году ставшей его женой, — это разговор с alter ego: «Я люблю в тебе эту твою чудесную понятливость: словно у тебя в душе есть заранее уготовленное место для каждой моей мысли» (Письмо от 3 декабря 1923 года. Berg Collection).

Несмотря на то что многие эмигрантские рецензии на первые романы Сирина били мимо цели — «Машеньку» восприняли как бытописание эмигрантской жизни, роман «Король, дама, валет» — как социальную критику и роман в духе немецкого экспрессионизма<sup>51</sup> — репутация Набокова уже была создана. Почти одновременно с «Возвращением Чорба» вышел отдельным изданием роман «Защита Лужина» (Берлин: Слово, 1930), публиковавшийся сначала в главном «толстом» журнале русского зарубежья «Современные записки» (1929–1930, № 40–42), который вывел Сирина из «критической полутени». На «Защиту Лужина» откликнулись наиболее влиятельные эмигрантские критики и литераторы — Г. Адамович, В. Вейдле и В. Ходасевич, причем первый, хотя роман ему не понравился, признал его «одной из замечательнейших русских беллетристических вещей за последние годы».<sup>52</sup> Критические отклики на «Защиту Лужина» содержали зерна практически всех направлений будущей эмигрантской сиринаны: упреки в бездушности и холодности сиринанского мира, его нерусскости, зависимости от западных образцов, признание стилистического блеска, «благородной искусственности» и оригинальности.<sup>53</sup> Г. Адамович хотя и без симпатии, но точно нарицал творческий путь, пройденный Сириным к 1930 году: «...Сирина дебютировал в литературе как поэт. В стихах его чувствовалось несомненное версификационное дарование, но иногда не было ни одного слова, которое запомнилось бы, ни одной строчки, которую хотелось бы повторить. Стихи были довольно затейливы, гладки, умны, однако водянисты. Первый роман Сирина, "Машенька", — мало замеченный у нас — мне лично показался прелестным и, как говорится, "многообещающим". Сразу стало ясно, что к прозе Сирина имеет значительно больше расположения, чем к стихам. Второй роман Сирина, "Король, дама, валет", был ловчее, но зато и холоднее "Машеньки" — и меньше в нем было внутренней правды. Теперь появилась "Защита Лужина". Вокруг этой вещи создался некоторый шум. Многие искушенные и опытные ценители ею искренно восхищаются. Должен признаться, что восхищение я не вполне разделяю. Роман рассудочен и довольно искусственен по стилю и замыслу. Он чуть-чуть "воняет литературой", как выражается Тургенев. Однако подлинный талант автора вне всяких сомнений».<sup>54</sup> Несмотря на то, что к 1930 году стихи Сирина стали восприниматься — как он писал не без личной горечи в рецензии на «Избранные стихи» И. Бунина — «как не совсем законная забава человека, обреченного писать прозой»,<sup>55</sup> он все же включил их, по «бунинскому рецепту»,<sup>56</sup> наряду с рассказами, в свой сборник. Рецензенты «Возвращения Чорба» (вышедшего в декабре 1929 года) разделились на тех, кто практически игнорировал его стихотворную часть (в репринт сборника, сделанный изда-

тельством «Ардис» (1970), стихи вообще не включены<sup>57</sup>), и тех, кто попытался проследить эволюцию Сирина-поэта. Рецензент пражской «Воли России» Герман Хохлов отметил новый, прозаизированный стих Сирина и опасности распространения прозаических принципов на поэзию.<sup>58</sup> Последующие критики с разными знаками повторяли тезис непоэтичности стихов Сирина: «У поэта, развивающегося в значительного прозаика, почти само собой разумеется, что "остовом" стихотворения часто служит неслучившийся рассказ»,<sup>59</sup> «его <Набокова> стихи — стихи прозаика».<sup>60</sup>

Стихотворная часть «Возвращения Чорба» начинается с нового art poétique — «От счастья влюбленному не спится», в котором Сирин соединяет две составляющие своего нового, «скупого» поэтического мира — «прекрасную повседневность» и «слово». Многие стихотворения построены по этому двухчастному принципу: начинаясь с детализированного описания вещного мира (ночных звуков в гостинице приморского городка, бытовой сцены в Древнем Египте, комнаты, весеннего дня), они заканчиваются формулировкой поэтического credo. Ряд стихотворений имеет структуру ленты Мёбиуса: реальность, воспроизведенная в стихотворении со стереоскопической яркостью и подробностью, в финале оказывается сном или воспоминанием (см.: «Прелестная пора», «Снимок», «Годовщина», «Сновиденье»), то есть эффект trompe l'oeil («обманки») оказывается функцией воспоминания. Так, Сирин в стихах использует поэтику «будущего воспоминания», сформулированную им в прозе (см. рассказы «Путеводитель по Берлину» (1925), «Тяжелый дым» (1935), «Облако, озеро, башня» (1937)): «Мне думается, в этом смысл писательского творчества: изображать обыкновенные вещи так, как они отражаются в ласковых зеркалах будущих времен, находить в них ту благоуханную нежность, которую почуют только наши потомки» («Путеводитель по Берлину», цит. по: Набоков И. С. 178).

Рисую сирийскую эволюцию от поэзии к прозе, критики мало обращали внимания на взаимное обогащение у него этих жанров: с появлением зрелых рассказов и первых романов стихи Сирина освободились от парализующих символистских влияний, сентиментальности и приобрели акмеистическую ясность, сознательную простоту выражения; с другой стороны, поэтические образы, в стихах выраженные многословно и вяло, будучи помещенными в прозу, становились ясными и точными. «Зоркость», острота видения, отмечавшаяся многими рецензентами, во многом является результатом пройденной поэтической школы. Как отмечает А. А. Долинин, «прорыв к собственному стилю Набоков совершил только тогда, когда он начал писать самостоятельную прозу как раскрепощенную поэзию, как прозаический "перевод" образов, интонаций и метафор своих ранних стихов» (цит. по: Набоков И. С. 17).

Другим элементом перехода от вторичной символистской поэтики к новому «твердому стилю» были для Набокова драмы в стихах и, в первую очередь, не публиковавшаяся при жизни «Трагедия господина Морна» — пятиактная лирическая трагедия, написанная белым

пятистопным ямбом с сопровождающим ее прозаическим пересказом, над которой Набоков работал с конца 1923 по январь 1924 года (впервые опубликована в: Звезда. 1997. № 4). В ней Набоков предвосхищает многие мотивы и образы своей поздней прозы, главным образом, «Приглашения на казнь» и «Pale Fire»<sup>61</sup> и пробует характерные набоковские приемы — введение «представителя автора», «Иностранца» из «далекой северной страны», в действие; использование традиции (Шекспира, А. К. Толстого, Блока) с одновременным ее обыгрыванием (герой, испытывающий подлинную ревность, играет Отелло). Геннадий Барабтарло справедливо утверждает, что «по чисто выразительной силе» «Трагедия господина Морна» «гораздо выше всего, что Набоков сочинил в стихах до нее, и в смысле общей художественной ценности она превосходит его тогдашнюю прозу».<sup>62</sup>

Традиционно поэзия Набокова анализируется тематически,<sup>63</sup> в сопоставлении с его прозой,<sup>64</sup> как источник более откровенно, чем в прозе, выраженных мотивов потусторонности и ностальгии<sup>65</sup>. По мнению Ю. И. Левина, инвариант поэтического мира Набокова — двоemiрие — является во многом результатом семиотизации «жизненного объекта», то есть обстоятельств изгнания. Базовый вариант биспациальной структуры — чужбина / родина — первоначально сформировался в лирике, и «именно в этом "откровенном" по самой своей природе жанре художественные решения, по-видимому, наиболее близки к своим биографическим истокам»<sup>66</sup>. Недостижимое в реальности, «потустороннее» пространство родины становится пространством воображения:

Мою ладонь географ строгий  
разрисовал: тут все твои  
большие, малые дороги,  
а жилы — реки и ручьи.

Слепец, я руки простираю  
и всё земное осязаю  
через тебя, страна моя.  
Вот почему так счастлив я.

И если правда, что намедни  
мне померещилось во сне,  
что час беспечный, час последний  
меня найдет в чужой стране,

как на покато́й школьной парте,  
совьешься ты подобно карте,  
как только отпущу края,  
и ляжешь там, где лягу я

*(«К России», 1928)*

Таким образом, исходное несчастье — изгнанничество, одиночество на чужбине — переоцениваются как состояние, вообще характерное для художника, как условие творчества: «Термин "эмигрантский писатель" отзывает слегка тавтологией. Всякий истинный сочинитель эмигрирует в свое искусство и пребывает в нем. У сочинителя русского любовь к отчизне, даже когда он ее по-настоящему не покидал, всегда бывала ностальгической. Не только Кишинев или Кавказ, но и Невский проспект казались далеким изгнанием,<sup>67</sup> отсюда мотив одиночества и эмиграции как счастья и дара: «Великий выход на чужбину, / как дар божественный, цenia» («Путь», 1925).

Конструируя впоследствии свой образ периода европейской эмиграции, Набоков прибегнул к полуигровой характеристике «эмигрантского поэта Сирина» как «самого одинокого и самого надменного», который «по темному небу изгнания <...> пронесся, как метеор, и исчез, не оставив после себя ничего, кроме смутного ощущения тревоги» (Nabokov. Speak, Memory. P. 287–288). На самом деле Сирин принимал активное участие в эмигрантской жизни Берлина и Парижа: вместе со своим другом Иваном Лукашом писал для русского кабаре в Берлине, входил в писательские сообщества «Веретено» и «Братство Круглого Стола», посещал собрания Берлинского кружка поэтов и антисоветской организации ВИР своего друга Николая Яковлева, участвовал в благотворительных и творческих вечерах, играл Позднышева в суде над «Крейцеровой сонатой» и Н. Евреинова в шуточном обозрении «Quatsch», дал публичный сеанс бокса с Г. Гесененом, после переезда в Париж по крайней мере дважды посетил «беседы» при религиозно-философском журнале «Новый град».<sup>68</sup> З. Шаховская так описывает тогдашнего Сирина: «Высокий, кажущийся еще более высоким из-за своей худобы, с особенным разрезом глаз несколько навывкате, высоким лбом, еще увеличившимся от той ранней, хорошей лысины, о которой говорят, что Бог ума прибавляет, и с не остро-сухим наблюдательным взглядом, как у Бунина, но внимательным, любопытствующим, не без насмешливости почти шаловливой...».<sup>69</sup>

Следующий стихотворный сборник — «Стихотворения 1929–1951» (Париж: Рифма, 1952) — Набоков издал, только переехав в Америку, в него входят стихотворения, написанные в Германии, Англии, Франции и Америке в 1929–1951 годах. Сборник начинается со стихотворения «К музе» (1929), которое Набоков в примечании называет границей юношеского периода своего поэтического развития:

Я помню твой приход: растущий звон,  
волнение, неведомое миру.  
Луна сквозь ветки тронула балкон,  
и пала тень, похожая на лиру.

Мне, юному, для неги плеч твоих  
казался ямб одеждой слишком грубой.

Но был певуч неправильный мой стих  
и улыбался рифмой красногубой.

Я счастлив был. Над гаснувшим столом  
огонь дрожал, вылущивал огарок;  
и снилось мне: страница под стеклом  
бессмертная, вся в молниях помарок.

Теперь не то. Для утренней звезды  
не откажусь от утренней дремоты.  
Мне не под силу многие труды,  
особенно тщеславия заботы.

Я опытен, я скуп и нетерпим.  
Натертый стих блистает чище меди.  
мы изредка с тобою говорим  
через забор, как старые соседи.

Да, зрелость живописна, спору нет:  
лист виноградный, груша, пол-арбуза  
и — мастерства предел — прозрачный свет.  
Мне холодно. Ведь это осень, муза.

Это стихотворение представляется демонстративно архаичным на фоне хронологически непосредственно следующих за ним длинных стихотворений «Вечер на пустыре» (1932) и «Как я люблю тебя» (1934) — как ритмически, так и своей романтической позой («я — поэт» и прямым апострофированием музы. Элегический топос «осени жизни» и традиционализм поэтического мастерства в этом стихотворении Набоков возводит к поэзии «наследника Пушкина по тютчевской линии» В. Ф. Ходасевича: как отметил Ю. И. Левин, строки «Теперь не то <...> Мне не под силу многие труды, / особенно тщеславия заботы. / Я опытен, я скуп и нетерпим» — являются реминисценцией двух «Стансов» Ходасевича — 1918 года («Уж тяжелы мне долгие труды...») и 1922 года («Я стал умен, суров и скуп...»).<sup>70</sup> Не совсем точным кажется утверждение Набокова, что в юности он мало пользовался ямбом («Мне, юному, для неги плеч твоих / казался ямб одеждой слишком грубой»), — к ранним стихам Набокова менее всего подходит определение «неправильные». Стихovedческие подсчеты демонстрируют, что даже на фоне в общем консервативной эмигрантской поэзии (исключение составляют М. Цветаева, З. Гиппиус, В. Мамченко)<sup>71</sup> Набоков был действительно «поэтическим старовером»: если в области тем и образов его в 1920–1930-е годы можно было назвать «эпигоном символизма», то в области стихотворной техники он придерживался традиций XIX и даже XVIII века — для его стихов характерно подавляющее преобладание четырехстопного ямба, строфичность (в основном катрены), грамматическая и точная рифма.

В поздней автохарактеристике нового периода Набоков писал, что «видел свою задачу в том, чтобы каждое стихотворение имело сюжет и изложение (это было как бы реакцией против унылой, художочной «парижской школы» эмигрантской поэзии)» (Стихи 1979. С. 3). Установку на сюжетную поэзию Сирин первоначально сформулировал в рецензии 1927 года, возведя ее к Н. Гумилеву: «О Гумилеве нельзя говорить без волнения. Придет время, когда Россия будет им гордиться. Читая его, понимаешь, между прочим, что стихотворение не может быть просто "настроением", "лирическим нечто", подбором случайных образов, туманом и тупиком. Стихотворение должно быть прежде всего интересным. В нем должна быть своя завязка, своя развязка. Читатель должен с любопытством начать и с волнением окончить. О лирическом переживании, о пустяке необходимо рассказать так же увлекательно, как о путешествии в Африку. Стихотворение — занимательно, — вот ему лучшая похвала»<sup>72</sup>. Вот, например, неопубликованное нарративное стихотворение второй половины 1920-х годов, параллели к которому можно найти в прозе Набокова:

...Издалека узнаешь махаона  
по солнечной, тропической красе:  
пронесся вдоль муравчатого склона  
и сел на одуванчик у шоссе.  
Удар сачка, — и в сетке шелест громкий.  
О, желтый демон, как трепещешь ты!  
Боюсь порвать зубчатые каемки  
и черные тончайшие хвосты.  
А то, бывало, в иволговом парке,  
в счастливый полдень ветренный и жаркий,  
стою, от благовонья сам не свой,  
перед высокой рыхлою сиренью,  
почти малиновою по сравнению  
с глубокою небесной синевою;  
и махаон свисает с грозди, дышит.  
Пьянеет он, золотокрылый гость,  
и ветер ослепительно колышет  
и бабочку и сладостную гроздь.  
Нацелишься, — но помешают ветки;  
взмахнешь, — но он блеснул, и был таков;  
и сыплются из вывернутой сетки  
лишь сорванные крестики цветов...<sup>73</sup>

Набоков и в «американские годы» предпочитал повествовательную, прозаизированную поэзию: «Я никогда не мог найти каких бы то ни было видовых отличий между поэзией и художественной прозой. Я склонен определять хорошее стихотворное произведение любой длины как концентрат хорошей прозы с добавлением или без добавления повторяющегося ритма или рифмы. Волшебство стихосложения мо-



жет улучшить то, что мы именуем прозой, подчеркнув аромат смысла, но и в простой прозе есть свои ритмические ходы, музыка точной фразы, ритм мысли, доносимый повторяющимися особенностями индивидуальной речи и интонации. Как и в современных научных классификациях, наши представления о поэзии и прозе во многом перекрывают друг друга. И бамбуковый мостик, переброшенный между ними — метафора».<sup>74</sup>

Рецензии Сирина 1920—1930-х годов (как и литературоведческие эссе и лекции «американского» периода) часто служат автоописанием, в них он формулирует свои поэтические принципы. В эмигрантской поэзии Сирин занимает подчеркнуто антимодернистскую позицию предпочтения В. Ходасевича, И. Бунина, а из «молодых» А. Ладинского, Б. Божнева, В. Пиотровского поэтике «парижской ноты», практически все его рецензии заканчиваются выпадами против монпарнасских поэтов. Помимо элемента актуальной «партийности» в тоне этих откликов, связанного с известным противостоянием Ходасевича—Набокова и круга «Чисел»,<sup>75</sup> по формулировке Р. Д. Тименчика, «подчеркнутое предпочтение Бунина символистам (а, скажем, и вовсе бледного С. Кречетова — молодой постсимволистской поэзии) было частью несколько стилизованной, нарочито антимодернистской поэзии Набокова. <...> для тридцатилетнего Набокова сопоставление собственных стихов с лирикой Поплавского было противостоянием двух поэтик».<sup>76</sup> Не случайно в рецензии на сборник Бориса Поплавского «Флаги», о резком тоне которой Набоков потом сожалел, он почти откровенно говорит, что сам обрек себя на прозаический «пост», тогда как Поплавскому, при всей его безграмотности и безвкусице, доступно поэтическое «безумие»: «Как хорошо бывает порой углубиться в себя, свято воздержаться от стихов, заставить музу попоститься... "О Морелла, усни, как ужасны орлиные жизни..." Вот звучит это — ничего не поделаешь, звучит, — а ведь какая бессмыслица...».<sup>77</sup> Набоков едва ли не одинок в радикальном предпочтении стихов И. Бунина («лучшее, что было создано русской музой за несколько десятилетий» (В. Сирин. Ив. Бунин. «Избранные стихи» (1929), цит. по: Набоков II. С. 672)) «той парчовой прозе, которой он был знаменит» (Набоков V. С. 318). Если отвлечься от сложной и пристрастной эволюции их личных отношений,<sup>78</sup> Бунин, видимо, представлялся Сирину возможной ветвью неоакадемической русской поэзии, заглушенной сначала «кощунствами» символизма, а потом «безграмотным бормотаньем советского пиита» — а к альтернативной поэтической линии Набоков испытывал особенный интерес, судя по его литературным мистификациям (см. об этом ниже): «Когда-то, в громкие петербургские годы, их <стихи Бунина> заглушало блестящее бряцание модных лир; но бесследно прошла эта поэтическая шумиха — развенчаны или забыты "слов кощунственные творцы", нам холодно от мертвых глыб брюсовских стихов, нестройным кажется нам тот бальмонтовский стих, что обманывал новой певучестью; и только дрожь одной лиры, особая дрожь, присущая бессмертной поэзии, волнует, как и прежде, волнует сильнее,

чем прежде, — и странным кажется, что в те петербургские годы не всем был внятн, не всякую изумлял душу голос поэта, равному которого не было со времен Тютчева» (Набоков II. С. 672). В некрологе другому своему поэтическому ментору, В. Ходасевичу, Набоков также возводит его поэтическую генеалогию к тютчевской линии: «Крупнейший поэт нашего времени, литературный потомок Пушкина по тютчевской линии, он останется гордостью русской поэзии, пока жива последняя память о ней».<sup>79</sup> Набоков подчеркнуто связывает и собственную поэтическую родословную, помимо Пушкина, с русскими поэтами младшей линии, в первую очередь с Тютчевым и Ходасевичем (ср. также у Сирина мотив Баратынского «мой дар убог и голос мой негромок»: «Как бледная заря, мой стих негромок, / и кратко звуковое бытие, / и вряд ли мой разборчивый потомок / припомнит птичье прозвище мое» («Как бледная заря мой стих негромок...», 1923)), о которых писал О. Мандельштам в статье «Буря и натиск» (1923): «У российского символизма были свои Виргилии и Овидии, у него же были и свои Катутеллы, не столь по возрасту, сколь по типу творчества. Здесь следует упомянуть о Кузmine и Ходасевиче. Это типичные младшие поэты со свойственной младшим поэтам чистотой и прелестью звука. <...> Ходасевич культивировал тему Боратынского: "Мой дар убог, и голос мой негромок" — и всячески варьировал тему недоноска. Его младшая линия — стихи второстепенных поэтов пушкинской и послепушкинской поры — домашние поэты-любители, вроде графини Растопчиной, Вяземского и др.».<sup>80</sup> Сирина позиция подчеркнутого формального консерватизма, открытого перепева не только Пушкина и Блока, но и «младших» поэтов — Бенедиктова, Бальмонта, Фета, Бунина, — как кажется, демонстрирует стремление подверстать себя к исходу Серебряного века.

Резкую смену поэтики, произошедшую в поэзии Набокова в середине — второй половине 1930-х годов, — от процитированного выше традиционалистского стихотворения «К музе» (1929) к «Вечеру на пустыре» (1932) и далее к совсем необычным поэмам «Слава» (1942) и «Парижская поэма» (1944), которые отличают нерегулярная строфика и смена типов рифмовки, резкие перепады интонации, размера и стилистики от строфы к строфе, а также сознательная темнота, неясность, — трудно оценить из-за крайней скудости поэтической продукции этого времени. В конце 1930-х годов Набоков подводил итоги и завершал свой «сиринаский» период, и здесь трудно отделить биографические причины от творческих: «Жизнь поэта как пастиш его творчества».<sup>81</sup> Жизнь с маленьким сыном (Дмитрий родился 10 мая 1934 года) и женой-еврейкой в Берлине стала невозможной, в 1938 году Набоков с семьей перебрался в Париж и отчаянно искал места в Англии или Америке: «Никогда не думал, что смогу оказаться в столь бедственном положении, ибо я всегда полагал, что с годами выход моих романов в переводе будет служить поддержкой. Оказывается, я заблуждался: мои литературные заработки столь скудны, что их не хватает даже на самую скромную жизнь <...> Именно это

заставляет меня искать какую-нибудь интеллектуальную работу, которая позволила бы мне содержать мое небольшое семейство. Я готов заниматься чем угодно — преподавать или работать в каком-нибудь издательстве».<sup>82</sup> В это время Набоков пишет новые, непохожие на прежние, стихи «иод маской» Федора Константиновича Годунова-Чердынцева и Василия Шишкова; пробует перейти для нужд творчества на другой язык, в первую очередь, в области автоперевода (в 1936 году переводит «Отчаяние» на английский) и автобиографии (в 1935–1936 годах пишет главы автобиографии (несохранившейся) на английском, в 1936 — автобиографическое эссе на французском «Mademoiselle O»); размышляет о соотношении биографии и творчества писателя в своем последнем русском романе «Дар» (1937–1938, 1952), французском эссе 1937 года «Pouchkine ou le vrai et le vraisemblable» («Пушкин, или правда или правдоподобие») и первом английском романе «The Real Life of Sebastian Knight» («Истинная жизнь Себастьяна Найта», написан в 1938–1939 году, опубликован в конце 1941-го).

В 1936 году Набоков сочиняет стихи для «Дара», а еще в 1934-м публикует стихотворение «L'Inconnue de la Seine» с подзаголовком «Из Ф. Г. Ч.», то есть, видимо, из стихов Федора Годунова-Чердынцева. На фоне существующей в русской литературе традиции включения стихов в прозаический текст — от «Езды в остров любви» В. Третьяковского и «Двойной жизни» Каролины Павловой до «Доктора Живаго» Б. Пастернака — «Дар» Набокова представляет собой уникальный опыт инкорпорирования стихов прямо в прозаическую ткань текста. М. Ю. Лотман отмечает, что целью Набокова в «Даре» является «преодоление линейности противопоставления стиха и прозы»<sup>83</sup>. Включения стихов в прозу романа разнообразны: во-первых, в текст входят стихи и стихотворные строки (Годунова-Чердынцева и Кончеева) с комментариями; во-вторых, роман насыщен разговорами о русской литературе, в том числе о поэзии, главным образом в вымышленных разговорах Годунова-Чердынцева с Кончеевым; в-третьих, стихи зарождаются в ткани прозаического текста. Сигналом к рождению стихотворения служит усиление аллитераций, метафоричности и эллиптичности текста, при этом не всегда возможно однозначно определить начало и конец стиха. Нерасчлененность поэзии и прозы доводится до предельной ясности в финале романа — онегинской строфе, записанной в строчку: «Прощай же, книга! Для видений — отсрочки смертной тоже нет. С колен поднимется Евгений, — но удаляется поэт. И все же слух не может сразу расстаться с музыкой, рассказу дать замереть... судьба сама еще звенит, — и для ума внимательного нет границы — там, где поставил точку я: продленный призрак бытия синееет за чертой страницы, как завтрашние облака, — и не кончается строка» (Набоков IV. С. 541). В «Даре» тематизируется и одновременно демонстрируется сам процесс создания стихотворения: движение от первого автоматизма «ада аллигаторских аллитераций» к «случайным» рифмам, подталкивающим развертывание смысла, последовательный подбор нужного слова.

Стихи включены в структуру романа и как ключ (смысловый и музыкальный) к тексту: осью третьей главы, по признанию самого Набокова (предисловие к «The Gift») служит двойчатка стихов, обращенных к Зине Мерц; инвертированный сонет, обрамляющий четвертую главу, о Чернышевском, отражает ее структуру, представляющую собой замкнутую спираль («спираль внутри сонета»); финальная «онегинская строфа» воплощает кольцевую структуру романа и его мета-поэтическую идею: «И не кончается строка». Роман, который, судя по черновикам, должен был втянуть в себя почти все русскоязычное творчество Набокова — рассказы «Ultima Thule», «Круг», продолжение пушкинской «Русалки», «Приглашение на казнь», лепидоптерические статьи,<sup>84</sup> — обещал невиданный в русской литературе синтез поэзии и прозы (который в более поздних английских аналогах — комментированном переводе «Евгения Онегина» и «Pale Fire» — принял совсем иной вид). Творческая эволюция Годунова-Чердынцева повторяет набоковское движение от поэзии к прозе, при котором поэтическая школа обогащает прозу: «...доводя ясность прозы до ямба и после преодолевая его, живым примером служило "Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный"» (Набоков IV. С. 280).

Понятно, почему Набоков включил поэзию и разговоры о ней в роман, который должен был подвести итоги как русской литературе, так и русскому, «сиринскому», периоду самого автора. Но можно ли однозначно уравнивать поэзию и поэтику Годунова-Чердынцева с набоковской? По традиции, заложенной авторизованным сборником «Стихи» 1979 года, стихотворения Годунова-Чердынцева, как и в сходном случае со стихами Юрия Живаго, без оговорок включаются в авторский корпус. С другой стороны, в предисловии к английскому переводу «Дара» («The Gift») Набоков предупредил читателя, что некоторые общие биографические обстоятельства и интерес к литературе и лепидоптере «не дают никаких оснований воскликнуть "aga!" и уравнивать рисовальщика и рисунок» (пер. Г. Левинтона; цит. по: Набоков: pro et contra. С. 49). М. Ю. Лотман справедливо отмечает, что Годунов-Чердынцев «пишет другие стихи, чем Набоков»<sup>85</sup>: сопоставляя четырехстопный ямб Годунова-Чердынцева (этим размером написаны все восьмистишия его сборника «Стихи») с набоковским (также его излюбленный размер), Джералд С. Смит отмечает, что профиль ударности стихов Годунова-Чердынцева крайне низкий («Пропавший мяч» 69,2 %, весь сборник 69,6 % — ср. средний профиль ударности у Набокова 75,1%).<sup>86</sup> Поэзия Годунова-Чердынцева отличается от набоковской не только строением стиха, но и стилистикой и тематикой: ее характеризует крайний формальный и эмоциональный аскетизм и сугубая вещественность описаний, что дает М. Ю. Лотману основание провести параллель с «акмеистическим ригоризмом» первого сборника Мандельштама «Камень» (1913). Можно найти и тематические параллели с Мандельштамом: «У тех ворот — кривая тень Багдада, / а та звезда над Пулковым висит...» — ср. «Недалеко до Смирны и Багдада, / Но трудно плыть, а звезды

всюду те же» («Феодосия» (1919/1922), отмечено М. Ю. Лотманом); стихотворение Годунова-Чердынцева «Ласточка» («Однажды мы под вечер оба...») через связь ласточки с темами смерти и воспоминания представляется реминисценцией «Когда Психея-жизнь спускается к теням...» (1921).<sup>87</sup> Возможно, здесь стилизация поэтики не Мандельштама, а его эмигрантского «ученика» Антонина Ладинского: единством тематики и формальной строгостью «Стихи» Годунова-Чердынцева напоминают сборник Ладинского «Черное и голубое» (1931), высоко оцененный Набоковым<sup>88</sup>; или сборник Бориса Божнева «Фонтан» (1927), состоящий исключительно из ямбических восьмистиший, варьирующих одну тему.<sup>89</sup> Стихотворения Годунова-Чердынцева написаны в середине 1930-х годов, когда поэтическое творчество самого Набокова практически прекратилось — он писал очень редко и почти исключительно «под маской» — таковы же и опубликованные под псевдонимом Василий Шишков «Поэты» (1939) и «К России» («Отвяжись, я тебя умоляю!», 1940).<sup>90</sup> Видимо, ответ на вопрос о соотношении «поэзии и поэтики» Набокова-Сирина и Годунова-Чердынцева может дать рассмотрение его в более широком контексте поэтических мистификаций Набокова середины 1930-х годов. Post factum Набоков создал биографическую легенду, по которой первое из стихотворений «шишковского цикла»,<sup>91</sup> «Поэты», «было написано с целью поймать в ловушку почтенного критика (Г. Адамович, *Последние новости*), который автоматически выражал недовольство по поводу всего, что я писал. Уловка удалась: в своем недельном отчете он с таким красноречивым энтузиазмом приветствовал появление "таинственного нового поэта", что я не мог удержаться от того, чтобы продать шутку, описав мои встречи с несуществующим Шишковым в рассказе, в котором, среди прочего изюма, был критический разбор самого стихотворения и похвал Адамовича»<sup>92</sup>. Исследователи согласно подхватили эту интерпретацию литературной мистификации: вслед за Дж. С. Смитом<sup>93</sup> повторяется утверждение, что Адамович не определил авторства из-за нехарактерного для Набокова размера «Поэтов» — точнее, из-за нехарактерной для Набокова разновидности амфибрахия (Ам4, по терминологии А. Белого, которой придерживался и сам Набоков). Но нужно учесть, что в общем доля трехсложных размеров в позднем творчестве Набокова заметно выросла, кроме того, как справедливо отмечает Максим Шраер, «маловероятно, что в 1939 году Адамович мог столь детально помнить <...> метрический репертуар Набокова, особенно если учесть, что Набоков, по всей видимости, не публиковал стихов под своим именем с 1935 года».<sup>94</sup> Рассматривая шишковские стихотворения в перспективе поэтической эволюции Набокова, точнее, видимо, было бы говорить не об искусственном выращивании Набоковым Василия Шишкова с его особой, намеренно пародийной, поэтикой, предназначенной для розыгрыша Г. Адамовича, а об этапе поэтического развития самого Набокова, ведущем к «запоздалому открытию твердого стиля». Узнав о том, что он стал жертвой розыгрыша, Г. Адамович, смог точно оценить степень органичности литературной мистификации для худо-

жественного мира Набокова: «Правда, стихи Сирина — совсем в другом роде. Но если вообще можно сочинить что-либо за иное сознание, на чужие, интуитивно найденные темы, то для Сирина, при его даровании и изобретательности, это допустимо вдвойне. В пародиях и подделках вдохновение иногда разгуливается вовсю и даже забывает об игре, как актер, вошедший в роль» (Последние новости. 1939. 22 сентября). Действительно, новая поэтика Набокова крайне эклектична, почти центонна, так что иногда кажется стилизацией или пародией. Тем не менее это все же цельная и оригинальная поэтика. «Создавая себе новую авторскую личину, витая за просвечивающей занавесью мистификации, Набоков заговорил подлинным, оригинальным голосом, несравнимым с большинством его довоенных стихов. В стихах шишковского цикла размышления о любви, языке/молчании и смерти произносятся голосом безжалостного и ясновидящего поэта».<sup>95</sup> Стихотворение «Поэты» было опубликовано в том же номере «Современных записок», что и некролог В. Сирина «О Ходасевиче». Очевидное сходство литературной мистификации Василия Шишкова и Василия Травникова из повести Ходасевича «Жизнь Василия Травникова» (1936) свидетельствует не столько об общем адресате мистификации, Г. Адамовиче, (скорее, такая прозрачная параллель должна была бы разрушить набоковскую шутку), сколько о том, что «Поэты» — homage лично В. Ходасевичу. Это стихотворение тематически и стилистически, как кажется, представляет собой конструкцию поэзии того возможного ученика, наследника Ходасевича, надежду на появление которого Набоков выразил в некрологе: «...кое-кто из поэтов здешнего поколения еще в пути и — как знать — дойдет до вершин поэтического искусства, коли не загубит жизни в том второсортном Париже, который плывет с легким креном в зеркалах кабаков, не сливаясь никак с Парижем французским. <...> Дешевая унылость казалась ему <Ходасевичу> скорее пародией, нежели отголоском его "Европейской Ночи", где горечь, гнев, ангелы, зияние гласных — было все настоящее, единственное, ничем не связанное с теми дежурными настроениями, которые замутили стихи многих его полуучеников».<sup>96</sup> Финал «Поэтов», описывающий переход в потусторонность:

Сейчас переходим с порога мирского  
в ту область... как хочешь ее назови:  
пустыня ли, смерть, отрешенье от слова,  
иль, может быть, проще: молчанье любви.

Молчанье далекой дороги тележной,  
где в пене цветов колея не видна,  
молчанье отчизны — любви безнадежной —  
молчанье зарницы, молчанье зерна —

симметричен финалу набоковского некролога Ходасевичу: «Как бы то ни было, теперь все кончено: завещанное сокровище стоит на полке, у будущего на виду, а добытчик ушел туда, откуда, быть мо-

жет, кое-что долетает до слуха больших поэтов, пронзая наше бытие своей потусторонней свежестью — и придавая искусству как раз то таинственное, что составляет его невыделимый признак» (Набоков V. С. 590). В последней строке стихотворения звучит голос Ходасевича: «молчанье зарницы, молчанье зерна» повторяет мотивы книги стихов Ходасевича «Путем зерна»; в первой строке «Из комнаты в сени свеча переходит», по наблюдению А. А. Долинина, содержится анаграмма «Ходасевич». Таким образом, стихотворение оказывается обрамлено отсылками к апострофируемому мертвому поэту.

Другие элементы своего нового — «твердого» и «свободного от добровольно принятых на себя оков» — стиля Набоков опробовал в поэзии и поэтике Ф. К. Годунова-Чердынцева в «Даре». А. А. Долинин предположил, что в поэтических стилях Годунова-Чердынцева и Кончеева Набоков пытался придумать составной стиль молодой эмигрантской поэзии, лишенный парижской ноты. Единственные известные нам строки Кончеева — «Виноград созревал, изваянья в аллеях синели. / Небеса опирались на снежные плечи отчизны...» — также с одной стороны, напоминают античную поэтику «Tristia» Мандельштама, а также, как отметил Б. Маслов, пятую строфу «Грифельной оды»: «Плод нарывал. Зрел виноград»<sup>97</sup>; а с другой (наблюдение А. А. Долинина) — размером (пятистопный анапест с женскими окончаниями) и окончанием стиха на слове «отчизны» — строку Б. Поплавского из стихотворения «Морелла I», которое Набоков несколько раз цитировал, — «Ты на желтых закатах влюбилась в сиянье отчизны». Возможно, здесь мы имеем дело с гибридом — интонацией Поплавского, соединенной со «снежной» и «скульптурной» образностью Ладинского и Пиотровского.

Другой, но столь же эклектичный, стиль придуман Набоковым для Константина Перова из английского рассказа «A Forgotten Poet» («Забывтый поэт», 1944). Судьба Перова — с мотивами мнимой смерти, посмертной публикации стихов и резкой реакции мнимого покойника — очевидно отсылает к Василию Травникову В. Ходасевича. Если Ходасевич придумывает поэта — представителя альтернативной ветви русской поэзии второго ряда, к которой причислял себя и сам Ходасевич («...более других приближаются к Травникову, Боратынский и те русские поэты, которых творчество связано с Боратынским»<sup>98</sup>), то в поэзии К. К. Перова (1825–1849?) сочетаются, не сводясь к ним, «прозаизированное народничество Некрасова» с «рассчитанным эстетизмом Фета», Перов «сочетает в себе возвышенный полет независимого лирического вдохновения с жалостью "к бедным, слепым и глупым, / к спинам, гнущимся перед круглыми животами", короче говоря, <является> представителем традиции Бодлера или Рембо, не имевшей аналога в России XIX в.»<sup>99</sup>

Можно предположить, что стиль нереализованной, заглохшей ветви русской поэзии, который пробует Набоков в своих литературных мистификациях, был элементом становления его собственной новой поэтики, воплотившейся в построенных в форме диалога неназванных персонажей «Славе» (1942) и «Парижской поэме» (1944).

Новая поэтика состоит в более раскованном пользовании разными поэтическими образцами для их пародирования, антипародирования и эмуляции (раньше такие непрямые способы ассимиляции «чужого слова» были характерны только для прозы Набокова — в противоположность подчеркнуто «верному» ученичеству поэзии у классических образцов), в том числе и ранее враждебных направлений — «парижской ноты» («Парижская поэма»), Маяковского («О правителях»), Пастернака («Как я люблю тебя», «Слава»). «Парижская поэма» написана намеренно темно, с опущенными связками, в жанре, близком к характерной для русской поэзии «в метрополии» большой поэмы «с ключом», от «Форель разбивает лед» М. Кузмина до «Поэмы без героя» А. Ахматовой.<sup>100</sup> «Парижская поэма» Набокова, видимо, скрывает не столько зашифрованные персоналии и биографические обстоятельства, сколько литературные и биографические претексты, с которыми ведется напряженный диалог, причем поэт попеременно то говорит «своим голосом», то «пересаживается» в собеседников, отсюда возникает симфонический эффект. Современники, скорее всего, сразу прочитали поэму именно в таком коде — как приглашение к активному читательскому участию в экспликации зашифрованных смыслов: Роман Гринберг пишет Набокову в письме от 1944 года о том, как у него в гостях Юлиан Тувим читал Эдмунду Уилсону «Парижскую поэму»: «Он читал очень хорошо, и по мере того, как он читал, у всех непомерно росло радостное возбуждение. Отдельные места перечитывались по нескольку раз. Спрашивали, допытывались, догадывались, изумлялись, охали, спорили, не соглашались и опять начинали все сначала. Все сразу помолодели лет на двадцать. На этаже царил энтузиазм сходки Нар<одной> Воли» (письмо от 22 апреля 1944 года Сообщено Г. Б. Глушанок). Полифония, впечатлительные бормотания, невнятицы, в которых при первочтении только брезжит смысл, видимо, имитирует также и сам процесс сочинения стихотворения: в комментарии к публичному чтению «Парижской поэмы» в 1949 году Набоков, отвечая на упреки в «туманности» стихотворения, пояснил: «Оно станет яснее, если иметь в виду, что вступительные его строки передают попытку поэта, изображенного в этих стихах, преодолеть то хаотическое, нечленораздельное волнение, когда в сознании брезжит только ритм будущего создания, а не прямой его смысл» (Стихи и комментарии. С. 82. Ср. описание поэтического вдохновения из «Дара»: «...божественное жужжание <...> разговор с тысячей собеседников, из которых лишь один настоящий, и этого настоящего надо было ловить и не упускать из слуха» (Набоков IV. С. 241)). Мы не делаем здесь попытки подробного анализа поэмы, отметим только некоторые элементы, которые кажутся важными. В перечислении имен в начале: «И подайте крыло Никанору, / Аврааму, Владимиру, Льву — / смерду, князю, предателю, вору» — которое как будто приглашает к дешифровке, — имя автора, Владимир, по наблюдению А. А. Долинина, параллельно «предателю», что, возможно, вводит тему предательства Набоковым родного языка и судьбы русского поэта (ср. в английском стихотворении «The



Evening of Russian Poetry» (1945): «Бессоница, твой взор уныл и страшен; / любовь моя, отступника прости»). Напряженные и невнятные призывы «отвести», «не бросать», «позаботиться» «пожалеть», «спасти» каких-то «прохвостов», «стариков», «всю ораву», возможно, вводят en sourdine мотив вины и сочувствия Набокова как к соотечественникам на родине, так и к оставшимся в европейской эмиграции русским, о судьбе которых тогда, в начале войны, еще не было известно. Видимо, из числа русских эмигрантов Набоков выбирает наиболее неприятного для себя, но несомненно «знакового» Г. Иванова: Омри Ронен считает, что «Парижская поэма» является антипародией «Распада Атома» Г. Иванова, который «сам распадается в набоковском стихотворении под бомбардировкой сопоставлений с последней стадией деградации русской поэзии и души — графоманом и преступником Горгуловым»<sup>101</sup>. Набоков, как предполагает Ронен (в письме к нам), отвечает на следующий пассаж из «Распада Атома» (1938): «Люди идут по улице. Люди тридцатых годов двадцатого века. Небо начинает темнеть, скоро проступят звезды. Звезды тридцатых годов двадцатого века. Можно описать сегодняшний вечер, Париж, улицу, игру теней и света в перистом небе, игру страха и надежды в одинокой человеческой душе. Можно сделать это умно, талантливо, образно, правдоподобно. Но чуда уже сотворить нельзя — ложь искусства нельзя выдать за правду. Недавно это еще удавалось. И вот...»<sup>102</sup>. Набоков создает кубистический портрет разных знаковых фигур русского Парижа 1930-х годов — Ходасевича (строка «Стул. На стуле он сам» — видимо, из «Баллады» («Сижу, освещаемый сверху...», 1921) Ходасевича), Павла Горгулова (его псевдоним — Павел Бред — вводится указанием на гильотинирование Горгулова в 1932 году за убийство французского президента Поля Думера, которое произошло в традиционном месте — на бульваре Араго в Париже: «Бродит боль позвонка перебитого / в черных *гебрях* Бульвар Араго»); поэтическое описание парижских писсуаров («Чуден ночью Париж сухопарый... / Чу! Под сводами черных аркад, / где стена как скала, писсуары / за щитами своими журчат»), возможно, отсылает к «Распаду Атома» (по характеристике Набокова, «эта брошюрка с ее любительским исканием Бога и банальным описанием писсуаров (могущим смутить только самых неопытных читателей) просто очень плоха»<sup>103</sup>) или сборнику Бориса Божнева «Борьба за несуществованье» (1925) с вызвавшим раздражение критиков стихотворением «Стою в уборной... прислонясь к стене...».<sup>104</sup> У Набокова лирический герой из всего парижского отчаяния и собственных стыда и жалости создает «чудо», связывающее «сегодняшний миг» с детством и позволяющее увидеть и в настоящем счастье и смысл, в возможности которых сомневается Г. Иванов:

В этой жизни, богатой узорами  
(неповторной, поскольку она  
по-другому, с другими актерами,  
будет в новом театре дана),  
я почел бы за лучшее счастье

так сложить ее дивный ковер,  
 чтоб пришелся узор настоящего  
 на былое — на прежний узор;  
 <...> но, с далеким найдя соответствие,  
 очутиться в начале пути,  
 наклониться — и в собственном детстве  
 кончик спутанной нити найти.  
 И распутать себя осторожно,  
 как подарок, как чудо, и стать  
 серединою многодорожного  
 громогласного мира опять.  
 И по яркому гомону птичьему,  
 по ликующим липам в окне,  
 по их зелени преувеличенной,  
 и по солнцу на мне и во мне,  
 и по белым гигантам в лазури,  
 что стремятся ко мне напрямик,  
 по сверканью, по мощи — прищуриться  
 и узнать свой сегодняшний миг.

Пройдя эволюцию, во многом напоминающую развитие его литературного зоила Г. Иванова, — от вторичных стихов к центонной поэзии и в конце к трагическим, «голым» минималистским стихам (см. стихотворения сборника 1979 года «Neuralgia Intercostalis» (1950) и «Средь этих лиственниц и сосен...» (1965)), — Набоков сократил этот последний этап за счет преимущественных занятий прозой, причем на чужом, английском языке. Можно только догадываться, как тяжело ему это далось. В письме Р. Гринбергу он грубовато пошутил: «...у меня с моей русской музой тяжелые, трагические счеты, о которых идиоты, писавшие обо мне <...>, не только не догадываются, но не имеют того аппарата, чтобы представить себе мои<х> отношений с русской словесностью, — и те совершенно бредовые ощущения, которые возбуждает в<о> мне практическая невозможность писать мои книги по-русски. <...> Когда уж совсем невыносимо пучит, пытаюсь отвстриться небольшими стихами. Все это не так просто».<sup>105</sup> В Америке редкие «свидания» с «румяной русской музой» происходили в основном на поэтической почве: Набоков, видимо, несколько раз готовил сборники своих стихов: около 1945 года — несостоявшийся, из 29 русских стихотворений; в 1952-м вышел сборник его русских стихов 1929—1951 годов в только что возникшем русском издательстве «Рифма»; в 1970-м — «Poems and Problems», соединивший русские и английские стихи и шахматные задачи. В 1976 году Набоков предложил издательству «Ардис», до этого выпустившему несколько его романов, маленький сборник из 15—20 стихотворений, которые когда-то были популярны, но оказались слишком актуальными для включения в «Poems and Problems»<sup>106</sup> — этот проект осуществлен не был; перед смертью Набоков сделал отбор для вышедшего в 1979 году в «Ардисе» сборника «Стихи», в который, помимо русских стихо-

творений, в том числе большого числа ранее не публиковавшихся стихов 1920-х годов, вошел также раздел «Стихи из рассказов и романов».

Отдельный корпус в творческом наследии Набокова составляют переводы. Набоков занимался переводами, в том числе поэзии, всю жизнь. Первым опытом, о котором известно только со слов автора, был *tour de force* — перевод майридовского «Всадника без головы» на французский александрийским стихом, выполненный им в одиннадцатилетнем возрасте (Бойд. Русские годы. С. 101). Первый опубликованный перевод — русская версия «Декабрьской ночи» Альфреда де Мюссе — появился в журнале Тенишевского училища, где тогда учился Набоков, «Юная мысль» в 1916 году, в 1928 году он сделал другой перевод этого же стихотворения, а в 1977-м, за три месяца до смерти, переводил Мюссе своему заболевшему гриппом сыну<sup>107</sup>. На протяжении этих лет набоковские представления об искусстве перевода претерпели радикальные изменения. Его переводы на русский начала 1920-х годов — «Кола Брюньон» Ромэна Роллана («Николка Персик», 1922) и «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла, переименованная Сириным в Аню (1923), принадлежат к традиции русифицированных переложений: герой Роллана говорит ритмической прозой и использует словечки из словаря Даля, Алиса/Аня читает пародии не на викторианскую поэзию, а такие, например, стихи:

Как дыня, вздувается вещей Омар.  
«Меня, — говорит он, — ты бросила в жар;  
Ты кудри мои вырываешь и ешь,  
Осыплю я перцем багровую плешь»

(цит. по: Набоков I. С. 419),

которые близко напоминают дореволюционный перевод «Алисы» Поликсеной Соловьевой.<sup>108</sup> Несмотря на некоторую натужность и сбои ритма, это, как было сказано в рецензии Юрия Офросимова на «Николку Персика», «радостные книги».<sup>109</sup>

К другой традиционной — стихотворной — манере перевода поэзии, упражнениям в поэтическом мастерстве, Набоков обращался всю жизнь: в 1920-х — начале 1930-х годов он переводил на русский с английского о'Салливуэна, Лэндора, Брука, Йейтса, Теннисона, Байрона, Шекспира, с французского Верлена, Рембо, Сюпервьеля, Бодлера, Мюссе, с немецкого Гёте, в 1940-е на английский — Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, Ходасевича, в 1960-е — Окуджаву («Сентиментальный романс». Berg Collection) и Мандельштама (Strong Opinions. P. 280–282); для сборника «Poems and Problems» — собственные русские стихи.

В поздние годы Набоков окончательно сросся с маской умелого переводчика-педанта: прочитав в «The New York Review of Books» французское двустишие «*Cet animal est très méchant: / Quand on l'attaque, il se défend*», Набоков из Монтрё откликается «письмом в

редакцию», в котором «для пользы моих ученых друзей» предлагает «1. английский парафраз, 2. весьма близкий английский вариант и 3. очень точный русский перевод:

1. The animal is very wicked: / Just see what happens if you kick it.

2. This beast is very mean: in fact / It will fight back, when it's attacked.

3. <в транслитерации. — М. М.> Животное сие — презлое существо: // Обороняется, коль трогают его» (The New York Review of Books. V. 12. (January 20). 1966).

Переводя в 1940-е годы русских поэтов на английский, Набоков, хотя и не стремился к сохранению рифмы, все же допускал возможность «чуда» «соблюдения метра и рифмы», которое случается только «при редчайшем расположении звезд на тверди стихотворения» (предисловие к «Despair» в переводе Г. Левинтона цит. по: Набоков: pro et contra. С. 61), как в переводе пушкинского «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...», приведенного в предисловии к «Despair»:

'Tis time, my dear, 'tis time. The heart demands repose.

Day after day flits by, and with each hour there goes

A little bit of life; but meanwhile you and I

Together plan to dwell... yet lo! 'tis then we die.

There is no bliss on earth: there is peace and freedom, though.

An enviable lot I long have yearned to know:

Long have I, weary slave, been contemplating flight

To a remote abode of work and pure delight.

Набоковская теория перевода, воплощенная в его переводческом opus magnum — комментированном переводе «Евгения Онегина» (1964. Исправленное издание — 1975) и сопровождающих его статьях — одно из ряда его «твердых» мнений, часто противоречащее его же переводческой практике. В предисловии к переводу «Героя нашего времени» Лермонтова Набоков с аффектированной педантичностью и резкостью формулирует свое переводческое кредо, противопоставляя «опытного ремесленника», который «превратит язык Лермонтова в набор гладеньких английских клише, по ходу дела опускающая, развивая и пережевывая все, что полагается», «честному переводчику», который, как и он сам, с готовностью принесет «в жертву требованиям точности целый ряд существенных компонентов: хороший вкус, красоту слога и даже грамматику». <sup>110</sup> Нужно, конечно, иметь в виду, что первоначально переводы делались Набоковым как пособие для занятий со студентами <sup>111</sup> и были ориентированы на тех, кто в какой-то степени владеет русским языком, то есть использует перевод как подспорье при самостоятельном чтении русского текста и способен оценить его научные достоинства при отсутствии художественных: «Для художника, которого практика в пределах одного языка, его собственного, убедила, что сущность и стиль — одно, шокком оказывается открытие, что произведение искусства может пред-

ставляться потенциальному переводчику разбитым на форму и содержание и что вообще может стоять вопрос о передаче одного без другого. На самом деле, то, что происходит, — это все же радость мониста: лишенный своего основного словесного существа, оригинальный текст не сможет парить и петь; но его с большим удовольствием можно анатомировать, приготовить препарат и научно исследовать во всех его органических подробностях». <sup>112</sup> Набоков написал несколько статей о переводе («The Art of Translation» («Искусство перевода», 1941), «Problems of Translation» («Проблемы перевода», 1955), «Заметки переводчика» (1957), «Заметки переводчика 2» (1957), «The Servile Path» («Рабский путь», 1959)), в которых сформулировал генеральную идею «буквального перевода»: «Термин "буквальный перевод" тавтологичен, поскольку что бы то ни было другое — это на самом деле не перевод, а имитация, адаптация или пародия», цель буквального перевода — «воспроизвести с абсолютной точностью только текст, и ничего кроме текста», передать «так точно, как позволяют ассоциативные и синтаксические возможности другого языка, точное контекстуальное значение оригинала <...> "буквальный перевод" подразумевает верность не только прямому смыслу слова или предложения, но и их подразумеваемому смыслу; это семантически точная интерпретация, и не обязательно лексическая (сохраняющая значение слова вне контекста) или конструкционная (подчиняющаяся грамматическому порядку слов в тексте)». Многочисленные жертвы, которых требует такая школа перевода, должны компенсироваться примечаниями: «Я требую перевода с обильными примечаниями, достигающими, как небоскребы, верха страницы, чтобы остался только проблеск одной строчки текста между комментарием и вечностью». <sup>113</sup> Набоков почти дословно повторил эти принципы (уже после резкой полемики, вызванной его переводом «Евгения Онегина», в ходе которой Александр Гершенкрон справедливо заметил, что «перевод Набокова можно и даже следует изучать, но, несмотря на всю его изобретательность и временами блеск, его невозможно читать» <sup>114</sup>) в интервью Альфреду Аппелю (1966): «Скончавшийся автор и обманутый читатель — вот неизбежный итог претендующих на художественность переложений. Единственная цель и оправдание перевода — дать наиболее точные из возможных сведения, а для этого годен лишь буквальный перевод, причем с комментарием». <sup>115</sup> Набоков даже посвятил шуточное стихотворение, написанное в марте 1952 года, переводческому труду и предательнице-рифме:

#### Rimes

Pity the elderly gray translator  
 Who lends to beauty his hollow voice  
 And — choosing sometimes a second-rater —  
 Mimes the song-fellow of his choice.  
 The sacred sense for the sake of meter  
 He is seldom traitor as traitors go,

But pity him when he quakes with Peter  
And waits for the *tertia rima* to crow.

It is not the head of the verse line that'll  
Cause him trouble, nor is it spine:  
What he really minds is the cirsiid rattle  
That must be found for the tail of the line.  
Some words by nature are sort of singlish,  
Others have harms of rimes. The word  
«Elephant», for example, walks alone in English  
But its' slavic equivalent goes about in a herd.  
«Woman» is another famous poser  
For none can seriously contemplate  
An American president or a German composer  
In a viable context with that word for mate.  
Since rime is a natural repercussion  
(And a local holyday), how bizarre  
That «skies-eyes» should twin in French and Russian:  
«Cieux-yeux», «nebesб-glasб».

Such boons are irrelevant. Sooner or later  
The gentle person, the mime sublime,  
The incorruptible translator  
Is betrayed by lady rime.  
And the poem from the Russian  
And the sonnet spun in Spain  
Perish in the person's version,  
And the person dies insane.

(Berg Collection)

Как показал Александр Долинин,<sup>116</sup> набоковский перевод «Евгения Онегина» служит не только способом привлечь внимание читателей к пушкинскому оригиналу, но имеет и специфическую эстетическую функцию: разительным контрастом между частыми синтаксическими неловкостями и странным словоупотреблением, за которое его упрекали критики, с одной стороны, и «теснотой стихового ряда» в пределах каждой строки, частым сохранением звуковой игры и ямбического размера оригинала, с другой стороны, Набоков создает эффект остранения пушкинского текста как *частично* переводимого на иностранный язык.

О четырнадцати написанных по-английски стихотворениях из «Poems and Problems», по словам самого автора, «мало что можно сказать <...> у них более легкая текстура, чем у русской ткани, что связано, вне всякого сомнения, с тем, что в них нет внутренних словесных ассоциаций со старыми недоумениями и постоянного беспо-

койства мысли, которые свойственны стихотворениям, написанным на родном языке, когда изгнание непрерывно бормочет рядом и без разрешения, как дитя, дергает за твои самые ржавые струны» (Poems and Problems. P. 14 — 15). Эти лишенные русской тени стихи не привлекли ничего внимания, в обзорных статьях о них говорят одно и то же: Филипп Дюпре отметил, что романы Набокова полны рефлексов его поэзии, «эти рефлексы часто очень важны, стихи — по крайней мере английские — неважные, в той степени, в какой стихи могут быть неважными и все же оставаться интересными»<sup>117</sup>; Томас Экман иронически объясняет легкость английских стихов Набокова тем, что они предназначались для «Нью-Йоркера»: «...это не большая поэзия, но в них есть остроумие, изобретательность и подлинное владение языком. <...> основной элемент этих забавных английских стихотворений — рифма, которой он <Набоков> владеет с очевидной легкостью...».<sup>118</sup>

Не только английские, но и русские стихотворения Набокова последних лет его жизни, в основном не предназначавшиеся для печати, носят альбомный характер (to Vèra) — как, например, «С серого севера» или:

Верочке

Когда мир был молод,  
Как любили мы  
Мраморный холод  
Итальянской зимы!

*(Абано, 7-го января 1965-го года)*

К Вере также обращено и последнее (в сборнике 1979 года) стихотворение Набокова:

Ах, угонят их в степь, Арлекинов моих,  
в буераки, к чужим атаманам!  
Геометрию их, Венецию их  
назовут шутовством и обманом.

Только ты, только ты всё дивилась вослед  
черным, синим, оранжевым ромбам...  
N писатель недюжинный, сноб и атлет,  
наделенный огромным апломбом...

Мы не будем настаивать на том, что Владимир Набоков (Си-рин) — большой поэт, но он, несомненно, поэт забытый. Его подчеркнуто консервативная, традиционалистская позиция «младшего» поэта на раннем этапе поэтической эволюции достаточно удивительна на фоне его оригинальности и новаторства в прозе. Новая — эклектичная, раскованная — поэтика немногих стихотворений и поэм,

написанных им с начала 1930-х годов, действительно, еще далеко не оценена и совсем не изучена, об этом пишет Омри Ронен: «Поэт Сирин сам был в некотором смысле похож на Перова (героя рассказа «A Forgotten Poet». — М. М.): создатель зрелой поэтики, стоящей особняком в русской поэзии XX в., одинокий художник, реализовавший лишь малую толику своего потенциала, чье творчество только теперь начинают ценить любители поэзии».<sup>120</sup>

М. Маликова

#### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> <Герман> X<охлов> В. Сирин. Возвращение Чорба // Воля России (Прага). 1930. № 2. С. 190.

<sup>2</sup> Струве Г. Русская литература в изгнании. 2-е изд. Париж, 1984. С. 166 – 167.

<sup>3</sup> См.: *Верхейл Кейс*. Малый корифей русской поэзии. Заметки о русских стихах Владимира Набокова // Эхо. Лит. журнал (Париж). 1980. № 4 (12). С. 138 – 152; *Setschkareff Vsevolod*. Zur Thematic der Dichtung Vladimir Nabokovs // Die Welt der Slaven. Vol. 25. № 1. 1980. P. 68 – 97; *Rabaté Laurent*. La Poésie de la Tradition: étude de Recueil «Stixi» de V. Nabokov // Revue des études slaves. V. 57. № 3. 1985. P. 397 – 420.

<sup>4</sup> В России многие, в том числе не входившие в прижизненные книги, стихотворения были переизданы в сборниках «Круг» под редакцией Н. И. Толстой (Л.: Художественная литература, 1990) и «Стихотворения и поэмы» под редакцией В. С. Федорова (М.: Современник, 1991).

<sup>5</sup> Описание архивов Набокова см. в: *Boyd Brian*. Nabokov Archives, U. S. Library of Congress // Vladimir Nabokov Research Newsletter. № 4. Spring 1980. P. 20 – 34; *Boyd Brian*. The Nabokov Archive and the Nabokov Biography // *Biblion*. Vol. 1, № 1. Fall 1992. P. 15 – 36; *Boyd Brian*. Manuscripts // *The Garland Companion*. P. 340 – 345; *Funke Sarah, Phillips Rodney*. Nabokov Under Glass: An Exhibition Catalogue // *Biblion*. Vol. 8, № 1 (Fall 1999). P. 52 – 146.

<sup>6</sup> *Boyd Brian*. Vladimir Nabokov. The Russian Years. Princeton, 1990. *Boyd*. Russian Years; *Boyd Brian*. Vladimir Nabokov. The American Years. Princeton, 1991.

<sup>7</sup> В описании архива Набокова в Berg Collection Нью-Йоркской публичной библиотеки есть, впрочем, более раннее стихотворение, датированное летом 1914 г., под названием «Музыка» (*Funke, Phillips*. Nabokov Under Glass. P. 57). О других возможных подтекстах «первого стихотворения» в автобиографии см.: *Жолковский А.* «Две обезьяны, бочки злата...» // *Звезда*. 2001. №10. С. 202 – 214.

<sup>8</sup> Со слов Набокова его первому биографу Эндрю Филду известно о несохранившемся издании 1914 года — самодельной брошюре в фиолетовой обложке, предназначенной только для друзей и родствен-



ников, и содержащей одно «ужасно лирическое стихотворение» с эпиграфом из «Ромео и Джульетты», единственная строка из него, которую Набоков привел — «над рододендромом вьется она» (письмо Э. Филду 3 февраля 1967 г. цит. в: *Nabokov's Butterflies. Unpublished and uncollected writings* / Ed. and annot. by Brian Boyd and Robert Michel Pyle. Boston, 2000. P. 645).

<sup>9</sup> Валентина Евгеньевна Шульгина (1900–1967) была дочерью мелкого чиновника и предпринимателя Евгения Константиновича Шульгина и Таисии Никаноровны Алексеевой («отец служил в другой губернии, у матери было отчество как в пьесе Островского» (Набоков V, 285–286)), в 1921 году она вышла замуж за комиссара Митрофана Константиновича Чернышева (1892–1936), умерла в Кишиневе.

<sup>10</sup> Впервые сборник переиздан (репринт) в 1997 г. (Предисловие В. П. Старка. СПб.: Набоковский фонд, Дорн).

<sup>11</sup> *Набоков В.* Переписка с сестрой. Анн Арбор, 1985. С. 27.

<sup>12</sup> *Nabokov V. Nikolai Gogol.* New York, 1944; перевод Е. Гольшевой цит. по: *Набоков В. В.* Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 88.

<sup>13</sup> По наблюдению А. А. Долинина, здесь имеется в виду запись в дневнике Блока от 16 июня 1917 г.: «За окнами — деревья и дымный закат», которая, в свою очередь, ассоциируется с предвоенными «дымными закатами» из «Петроградское небо мутилось дождем...» и «Возмездия» (Долинин А. А. Набоков и Блок // Тезисы докладов научной конференции «А. Блок и русский постсимволизм». Тарту, 1991. С. 36).

<sup>14</sup> *Brown Clarence.* *Nabokov's Pushkin and Nabokov's Nabokov* // *Nabokov: The Man and His Work* / Ed. Dembo L. S. Madison, 1967. P. 200.

<sup>15</sup> По документам из архива Тенишевского училища (ЦГИА) Набоков был зачислен в училище не в 1911 г. сразу на третий семестр, как он сообщает в «Других берегах» (Набоков V. С. 260), а, как и положено, в январе 1910 г. на первый семестр и имел оценки за 1 и 2 семестры («рисование очень хорошо», «русский вполне удовлетворительно, языка совсем не знает»)(см.: *Сконечная О.* Набоков в Тенишевском училище // *Наше наследие.* 1991. № 1. С. 109–112).

<sup>16</sup> *Сконечная О.* Набоков в Тенишевском училище.

<sup>17</sup> Э. Филду, отметившему влияние Гиппиуса, Набоков, впрочем, возразил: «Если Тенишевское училище навязывало мне Гиппиуса, это еще не повод вам делать то же самое» (*Field Andrew.* *VN: The Life and Art of Vladimir Nabokov.* New York, 1986. P. 121).

<sup>18</sup> Д. В. Набоков, сын писателя, сказал в интервью 1998 г., что о судьбе Балашова ему ничего не известно, хотя отец его интересовался (Набоковский вестник. Вып. 1. Петербургские чтения. СПб., 1998. С. 264).

<sup>19</sup> *Field A.* *VN: The life and Art...* P. 31.

<sup>20</sup> См.: *Набоков В. Д.* Временное правительство и большевистский переворот // *Архив русской революции* / Ред. И. В. Гессен. Берлин, 1921.

<sup>21</sup> За период с августа 1917 до октября 1923 года Набоков заполнил стихами десять рукописных альбомов, кроме того, с прибытия в Крым в 1917 году до своей смерти в 1931 году мать Набокова, Елена Ивановна, вела свои альбомы (сохранилось 13), в которые переписывала стихи сына и иногда других поэтов, а позже вклеивала машинопись с его правкой и вырезки (*Boyd Brian. Manuscripts // The Garland Companion. P. 343–344; Funke, Phillips. Nabokov Under Glass. P. 57, 58.*)

<sup>22</sup> См. об этом эпизоде: *Шаховская З. А. В. И. Поль и «ангельские стихи»* Вл. Набокова // *Русский альманах/Almanach russe /* Ред. З. Шаховская, Рене Герра, Евг. Терновский. Париж, 1981. С. 233; *V. Nabokov. Strong Opinions. New York and London, 1973. P. 189.*

Несмотря на утверждение Набокова, что «концертное фортепиано с фалдами и решительно все духовые хоботы и анаконды в небольших дозах вызывают во мне скуку, а в больших — оголение всех нервов и даже понос» (Набоков В. С. 158), ему несколько раз приходилось играть роль либреттиста: в 1930-х гг. Набоков по просьбе С. Рахманинова сделал обратный перевод «Колоколов» Э. По с русского перевода Бальмонта, в 1954 году откликнулся красноречивым отказом на предложение перевести на английский либретто «Евгения Онегина» (*Nabokov V. Selected Letters 1940–1977 / Ed. by Dmitry Nabokov and Matthew J. Bruccoli. New York, 1989. P. 148*), в 1970-е написал несколько примечаний к песням и романсам, исполнявшимся его сыном, профессиональным оперным басом, Д. В. Набоковым: краткое изложение и перевод «Из-за острова на стрежень...» (приведено в: *Nicol Charles. Music in the Theatre of the Mind: Opera and Vladimir Nabokov // Nabokov at the Limits. Redrawing Critical Boundaries / Ed. by Lisa Zunshine. New York and London, 1999. P. 26*), пересказ «Очей черных», перевод «Выхожу один я на дорогу» Лермонтова и «Ночи» Пушкина (см. об этом также: *Джагинов М. Д. Набоков. Сын за отца // Окна. 1999, 22 апреля*).

<sup>23</sup> *Шаховская. В. И. Поль и «ангельские стихи»* Вл. Набокова. С. 233.

<sup>24</sup> Интервью 1970 г., цит. по: *Funke, Phillips. Nabokov Under Glass P. 64.*

<sup>25</sup> *Nabokov V. Notes on Prosody. From the Commentary to His Translation of Pushkin's «Eugene Onegin».* Bollingen Series LXXIIA. New York, 1964. P. 89.

Набоков несколько раз использовал похожие рифмы: вся / передвигающаяся («Как я люблю тебя»), свою / возможностью, возник / сумеречник, бью / дымчатую («Семь стихотворений») (отмечено в: *Smith Gerald S. Nabokov and Russian Verse Form // Russian Literature Triquarterly. № 24. 1991. P. 303. n. 11*).

<sup>26</sup> Указано в: *Field Andrew. Nabokov. His Life in Part. New York: Viking, 1977. P. 133*, схема приведена в: *Smith Gerald S. Nabokov and Russian Verse Form. P. 303. n. 8.*

<sup>27</sup> *Smith Gerald S. Notes on Prosody // The Garland Companion. P. 275*

<sup>28</sup> См.: *Smith. Notes on Prosody. P. 565 и passim.*

- <sup>29</sup> *Nabokov V.* A Few Notes on Crimean Lepidoptera // *Entomologist*. № 53. February 1920. P. 29–33.
- <sup>30</sup> См.: *Johnson D. Barton.* Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov. Ann Arbor, 1985. P. 10–27.
- <sup>31</sup> См.: *Казнина О. А.* Русские в Англии. Русская эмиграция в контексте русско-английских литературных связей в первой половине XX века. М., 1997. С. 275.
- <sup>32</sup> *Field Andrew.* Nabokov: His Life in Art. Boston, 1967. P. 63.
- <sup>33</sup> *Funke, Phillips.* Nabokov Under Glass. P. 62.
- <sup>34</sup> В письме Набоков дает примечание: «... последняя строчка относится к телеграфным столбам».
- <sup>35</sup> Цит. по: *Казнина.* Русские в Англии. С. 278.
- <sup>36</sup> *Johnson D. Barton.* Vladimir Nabokov and Rupert Brooke // *Nabokov and His Fiction. New Perspectives / Ed. By Julian W. Connolly.* Cambridge, 1999. P. 179.
- <sup>37</sup> *Nabokov-Wilson Letters.* P. 79. Традиционное и используемое Набоковым обозначение «георгианская поэзия» не совсем корректно, так как нельзя говорить о ней как школе или даже поэтическом направлении: первый и наиболее знаменитый сборник поэтов-георгианцев, вышедший в 1911 году под редакцией сэра Эдварда Марша, включал таких разных и впоследствии не ассоциировавших себя с георгианцами, поэтов, как Д. Лоуренс, У. де ла Мар, Г. К. Честертон и др. Набоков, видимо, говорит о «георгианской поэзии» как об «академической» поэзии в традиционном стиле о традиционных предметах, противостоящей «модернизму» Т. С. Элиота и др.
- <sup>38</sup> Цит. по: *Johnson. Nabokov and Brooke.* P. 182
- <sup>39</sup> *De la Mare Walter.* Rupert Brooke and the Intellectual Imagination [1919] // *Walter de la Mare. Pleasures and Speculations.* London [n. d.]. P. 181.
- <sup>40</sup> *В. Сирин.* Руперт Брук // *Грани (Берлин).* 1922. № 1; цит. по: Набоков I. С. 731.
- <sup>41</sup> *Набокова Вера.* Предисловие // *Стихи 1979.* С. 4
- <sup>42</sup> Речь идет о стихотворении Р. Брука «The Old Vicarage, Grantchester», сборнике А. Хаусмена «A Shropshire Lad», «Хождении игумена Даниила» (XII в.) и смерти Фальстафа в «Генрихе V» (акт 2, сцена 3) Шекспира.
- <sup>43</sup> *V. Nabokov.* The Lermontov Mirage // *The Russian Review.* V. 1. № 1. (November 1941). P. 34–35, пер. наш — М. М.
- <sup>44</sup> *Долинин А. А.* Истинная жизнь писателя Сирина // Набоков I. С. 17.
- <sup>45</sup> *Набоков В.* Памяти И. В. Гессена // *Новое русское слово (Нью-Йорк).* 1943, 31 марта; цит. по: Набоков V. С. 594–595; ср. почти дословное повторение этого пассажа в тринадцатой главе «Других берегов».
- <sup>46</sup> Подробнее о псевдониме см.: *Фомин А.* Сирин: двадцать два плюс один // *Новое литературное обозрение.* 1997. № 23. С. 302–304.
- <sup>47</sup> Стихотворение датировано 6 октября 1920 г., вложено в письмо матери из Кембриджа (Berg Collection). Набоков снова обратился к тра-

- диции art poétique, сделав перевод «Искусства поэзии» П. Верлена (в письме Г. Струве от 8 ноября 1930 г., хранится в Гувёрловском архиве).
- <sup>48</sup> Г. <Р. Гуль>. <Рецензия> // Новая русская книга (Берлин). 1923. № 5/6.
- <sup>49</sup> Б. К. <Айхенвальд Ю>. Литературные заметки // Руль. 1923, 28 января.
- <sup>50</sup> *Rabaté Laurent*. La Poésie de la Tradition: Etude de Recueil «Stixi» de V. Nabokov // Revue des études slaves. V. 57. № 3. 1985. P. 410–411.
- <sup>51</sup> См. рецензии на эти романы в: Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: Критические отзывы, эссе, пародии / Под общ. ред. Н. Г. Мельникова. М., 2000. С. 26–44.
- <sup>52</sup> Агамович Г. Литературная неделя // Иллюстрированная Россия (Париж). 1930. № 25. 14 июня. С. 18.
- <sup>53</sup> См. рецензии на «Защиту Лужина» в: Классик без ретуши... С. 52–76.
- <sup>54</sup> Г. Агамович. Современные записки. Кн. 40 // Иллюстрированная Россия. 1929. № 50 (239), 7 декабря. С. 16.
- <sup>55</sup> Сирин В. Ив. Бунин. Избранные стихи // Руль. 1929, 22 мая; цит. по: Набоков И. С. 673.
- <sup>56</sup> Из письма Набокова матери от сентября 1929 г. (Berg Collection). И. А. Бунин неоднократно объединял под одной обложкой рассказы и стихи, например: «Рассказы и стихи 1907–19» (М.: 1900), «Стихотворения 1907–1909 гг. — Рассказы» (СПб.: 1910) и др.
- <sup>57</sup> Подробнее о рецепции сборника см. в примечаниях к нему в наст. изд.
- <sup>58</sup> <Герман> Х<охлов> В. Сирин. Возвращение Чорба // Воля России (Прага). 1930. №2. С. 191.
- <sup>59</sup> *Верхейл Кейс*. Малый корифей русской поэзии. Заметки о русских стихах Владимира Набокова // Эхо: Лит. журнал (Париж). 1980. № 4 (12). С. 139.
- <sup>60</sup> Струве Г. Русская литература в изгнании. С. 170.
- <sup>61</sup> См.: *Барабтарло Г.* Троичное начало у Набокова. Убедительное доказательство // Звезда, 2000. № 5. С. 219–230.
- <sup>62</sup> См.: *Барабтарло Г.* Троичное начало. С. 220.
- <sup>63</sup> См.: *Setschkareff Vsevolod*. Zur Thematic der Dichtung Vladimir Nabokovs // Die Welt der Slaven. Vol. 25. № 1. 1980. P. 68–97; *Eekman Th.* Vladimir Nabokov's Poetry // The Language and Verse of Russia (Язык и стиль в России). In Honor of Dean S. Worth. On his Sixty-fifth Birthday / Ed. by Henrik Birnbaum, Michael S. Flier. M., 1995. P. 88–100; *Долинин А. А.* Истинная жизнь писателя Сирина // Набоков И. С. 15–20.
- <sup>64</sup> См.: *Steiner George*. Extraterritorial // Appel Alfred, Jr. and Newman Charles. Nabokov: Criticism, Reminiscences, Translations and Tributes. Evanston, 1970. P. 119–127. *Миллер Ларуса*. И другое, другое, другое... // Вопросы литературы. 1995. № 6. С. 86–102.
- <sup>65</sup> См.: *Набокова В.* Предисловие // Стихи 1979. С. 3–4; *Толстая Н. И.* Спутник яснокрылый // Русская литература. 1992. № 1. С. 188–

192; *Connolly Julian*. The Otherworldly in Nabokov's Poetry // Russian Literature Triquarterly. № 24. 1991. P. 329–340.

<sup>66</sup> *Левин Ю. И.* Биспациальность как инвариант поэтического мира В. Набокова // *Левин Ю. И.* Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М., 1998. С. 326–334.

<sup>67</sup> *Набоков В.* Определения (1940), цит. по: *Долинин А.* Доклады Владимира Набокова в берлинском литературном кружке (Из рукописных материалов двадцатых годов) // *Звезда*. 1999. № 4. С. 12

<sup>68</sup> См.: *Новый град* (Париж). № 11. 1936. С. 139–143.

<sup>69</sup> *Шаховская З. А.* В поисках Набокова. Отражения. М., 1991. С. 14.

<sup>70</sup> *Левин Ю. И.* О поэзии Вл. Ходасевича // *Левин Ю. И.* Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М., 1998. С. 267, прим. 22.

<sup>71</sup> Подробнее см.: *Гаспаров М. Л.* Современный русский стих. Метрика и ритмика. М., 1974. С. 39–75; *Smith Gerald S.* The Versification of Russian Emigré Poetry, 1920–1940 // *Slavic and East European Review*. Vol. 56: № 1. January 1978. P. 32–46; *Smith Gerald S.* Notes on Prosody // *The Garland Companion*. P. 561–566; *Smith Gerald S.* Nabokov and Russian Verse Form // *Russian Literature Triquarterly*. № 24. 1991. P. 271–306; *Scherr Barry*. Poetry // *The Garland Companion*. P. 608–625.

<sup>72</sup> *В. Сирин*. Дмитрий Кобяков. «Горечь». «Керамика». Евгений Шах. «Семя на камне» // *Руль*. 1927, 11 мая; цит. по: *Набоков П.* С. 639–640.

<sup>73</sup> Цит. по: *Nabokov's Butterflies*. Unpublished and uncollected writings / Ed. and annot. by Brian Boyd and Robert Michel Pyle. Boston, 2000. P. 122.

<sup>74</sup> *Nabokov V.* Strong Opinions. London, 1974. P. 44.

<sup>75</sup> См.: *Долинин А. А.* Три заметки о романе Владимира Набокова «Дар» // *Набоков: pro et contra*. С. 710–721.

<sup>76</sup> *Тименчик Р. Д.* Письма о русской поэзии Владимира Набокова // *Литературное обозрение*. 1989. № 3. С. 96.

<sup>77</sup> *В. Сирин*. Борис Поплавский. «Флаги» // *Руль*. 1931, 11 марта; цит. по: *Набоков П.* С. 697

<sup>78</sup> См.: *Шраер Максим Д.* Набоков: темы и вариации. СПб., 2000.

<sup>79</sup> *В. Сирин*. О Ходасевиче // *Современные записки*. 1939. Кн. LXIX; цит. по: *Набоков В.* С. 587.

<sup>80</sup> *Мангельштам О. Э.* Собрание сочинений: В 4-х тт. / Под ред. проф. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Т. 2. М., 1991. С. 345.

<sup>81</sup> *Nabokoff V.* Pouchkine ou le vrai et le vraisemblable // *Le nouvelle revue française*. Т. XLVIII. 1937. P. 367.

<sup>82</sup> Письмо В. Набокова Бернарду Паресу от 16 ноября 1938 года цит. по: *Бойд*. Русские годы. С. 501–502.

<sup>83</sup> *Лотман М. Ю.* А та звезда над Пулковом... Заметки о поэзии и стихосложении В. Набокова // *Вышгород* (Таллинн). 1999. № 3. С. 75, 76.

<sup>84</sup> См.: *Грейсон Дж.* Метаморфозы «Дара» // *Набоков: pro et contra*. С. 590–635; *Долинин А. А.* Загадка недописанного романа // *Звезда*. 1997. №12. С. 215–224; *Набоков В.* Второе добавление к «Дару» / Публ. и комм. А. Долинина // *Звезда*. 2001. № 1. С. 85–109.

<sup>85</sup> Лотман. А та звезда над Пулковом. С. 65. Анализ поэтики Годунова-Чердынцева см. также в: Лотман М. Ю. Некоторые замечания о поэзии и поэтике Ф. К. Годунова-Чердынцева // Набоков: pro et contra. С. 45–48.

<sup>86</sup> *Smith Gerald S. Nabokov and Russian Verse Form*. P. 286–290.

<sup>87</sup> В неопубликованной рецензии 1924 года Набоков упоминает это стихотворение Мандельштама: «...холод стиха, стрельчатая гармония, в которой самые нежные земные слова, как, например, "ласточка" или имена богинь, превращаются в звук иглы, падающей на хрустальное донце» (цит. по: Долинин А. А. <Примечания к роману «Дар»> // Набоков IV. С. 647). В той же рецензии, определяя место Мандельштама в русской поэзии, Набоков замечает, что творчество этого «прекрасного поэта» «не является новым этапом русской поэзии: это только изящный вариант, одна из ветвей поэзии в известную минуту ее развития, когда таких ветвей она вытянула много и вправо и влево, меж тем как рост ее в высоту был почти незаметен после первого свежего толчка символистов. Поэтому Мандельштам важен только как своеобразный узор. Он поддерживает, украшает, но не двигает. Он — прелестный тупик. Подражать ему значит впасть в своего рода плагиат. Подражают ему (отчасти) скучноватые поэты Цеха» (Там же). В частности к Мандельштаму Набоков возводит генеалогию поэта-эпигона Яши Чернышевского из «Дара» (по наблюдению А. Долинина, в черновой версии романа вместо «снежок на торцах акмеизма» (Набоков IV. С. 225) было: «правительственные здания Мандельштама», ср. в английском переводе романа: «торцы мандельштамовского неоклассицизма» (Долинин. <Примечания...> С. 647, 648)) — что, впрочем, не отменяет возможности подражания Мандельштаму у Годунова-Чердынцева, так как стиль Яши, как и других героев «вставных» пассажей — Гоголя, Чернышевского, Пушкина, русских путешественников — составляет разные, последовательно преодолеваемые, этапы писательской эволюции Федора Константиновича.

<sup>88</sup> В. Сирин. Молодые поэты // Руль. 1931, 28 января; перепеч. в: Набоков III. С. 689–691.

<sup>89</sup> См.: В. Сирин. Литературные заметки: О восставших ангелах / / Руль. 1930, 15 октября; цит. по: Набоков III. С. 687; см. также: В. Сирин. Три книги стихов // Руль. 1928, 23 мая; перепеч. в: Набоков II. С. 654–655.

<sup>90</sup> Поэтические литературные мистификации входят в более широкую парадигму создания героев-писателей (произведения Германа в «Отчаянии», Федора Годунова-Чердынцева в «Даре», Себастьяна Найта в «Истинной жизни Себастьяна Найта», Гумберта Гумберта в «Лолите», Шейда/Кинбота в «Бледном огне», Вана Вина в «Аде», Вадима Вадимыча в «Смотри на арлекинов!») — видимо, частичная передача прав авторства вымышленным персонажам была нужна Набокову для решения личных художественных задач.

<sup>91</sup> М. Шраер, как кажется, верно выделяет «шишковский цикл» в творчестве Набокова, присоединяя к нему стихотворение «Мы с тобою так верили в связь бытия...», впервые опубликованное в

сборнике 1952 года, но написанное в 1939 г. (тогда Набоков послал его своим друзьям, И. В. Гессену и З. Шаховской, за подписью «Василий Шишков»), и помещенное в сборнике, с нарушением хронологии публикаций, непосредственно перед «шишковскими» стихотворениями.

<sup>92</sup> Стихи 1979. С. 319–320.

<sup>93</sup> *Smith Gerald S. Nabokov and Russian Verse Form*. P. 285.

<sup>94</sup> *Шраер Максим Д.* Набоков: темы и вариации. С. 223.

<sup>95</sup> Там же.

<sup>96</sup> *В. Сирин.* О Ходасевиче // *Современные записки*. 1939. Кн. LXIX; цит. по: Набоков V. С. 588.

<sup>97</sup> *Маслов Борис.* Поэт: опыт текстологии персонажа // *Новое литературное обозрение*. 2001. № 47 (1). С. 179.

<sup>98</sup> *Ходасевич В. Ф.* Собрание сочинений: В 4-х т. Т. 3. М., 1990. С. 115.

<sup>99</sup> *Ронен Омри.* Подражательность, антипародия, интертекстуальность и комментарий // *Новое литературное обозрение*. 2000. № 42. С. 261.

<sup>100</sup> См.: *Ронен Омри.* Серебряный век как умысел и вымысел. М., 2000. С. 113.

<sup>101</sup> *Ронен Омри.* Подражательность, антипародия... С. 260.

<sup>102</sup> *Иванов Г. В.* Собрание сочинений: В 3-х т. Т. 2. М., 1993. С. 13.

<sup>103</sup> *В. Сирин.* Литературный смотр. Свободный сборник. Париж, 1939 // *Современные записки*. 1940. Кн. LXX; цит. по: Набоков V. С. 593.

<sup>104</sup> *Божнев Б.* Борьба за несуществование: Собрание стихотворений / Сост., вступ. ст., комм. С. Ивановой. СПб., 1999. С. 57.

<sup>105</sup> Письмо от 6 ноября 1953 г., цит. по: *Дребезжание моих ржавых русских струн...* С. 392.

<sup>106</sup> Указано в: *Johnson D. Barton.* Preliminary Notes on Nabokov's Russian Poetry: A Chronological and Thematic Sketch // *Russian Literature Triquarterly*. № 24. 1991. P. 313.

<sup>107</sup> *Nabokov Dmitry.* On Revisiting Father's Room // *Vladimir Nabokov: A Tribute*. London, 1979. P. 130.

<sup>108</sup> Опубликован в журнале «Тропинка» в 1909 г. См.: Набоков I. С. 773–775.

<sup>109</sup> Руль. 19 ноября 1922.

<sup>110</sup> *A Hero of Our Time*, by Mikhail Lermontov / Transl. by Vladimir Nabokov in Collaboration with Dmitry Nabokov. New York, 1958; пер. С. Таска цит. по: *Набоков В.* Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 429–430.

<sup>111</sup> «...существующие переводы (напр<имер>, «Шинели») — не перекладные лошади просвещения, а дикие ослы дикого невежества. Какая небрежность, какая недобросовестность...» (Письмо М. Карповичу, лето 1941 г. цит. по: *Звезда*. 1996. № 11. С. 98).

<sup>112</sup> *Nabokov V.* Problems of Translation: «Onegin» in English // *Partisan Review*. V. 22. № 4. Fall 1955. P. 496–512.

<sup>113</sup> Op. cit. P. 500.

<sup>114</sup> *Gershenkron Alexandr.* A Manufactured Monument? // *Modern Philology*. V. LXIII, 1966. P. 340.

<sup>115</sup> Пер. С. Ильина цит. по: *Набоков В. В. Собрание сочинений: В 5 т. / Пер. с англ. Сост. С. Ильина, А. Кононова. Т. 3. СПб., 1998. С. 610.*

<sup>116</sup> *Dolinin Alexander. «Eugene Onegin» // The Garland Companion. P. 117 – 130.*

<sup>117</sup> *Dupree F. W. Nabokov: The Prose and Poetry of It All // Dupree F. W. The King of Cats and Other Remarks on Writers and Writing. New York, 1965. P. 133.*

<sup>118</sup> *Eekman Th. Vladimir Nabokov's Poetry. P. 98.*

<sup>119</sup> Цит. по публикации В. Старка в: *Звезда. 1999. № 12, 4 стр. обложки.*

<sup>120</sup> *Ронен Омри. Подражательность, антипародия... С. 261.*



# ***СТИХОТВОРЕНИЯ***



## ИЗ АЛЬМАНАХА «ДВА ПУТИ»

---

### 1

Темно-синие обои

Голубеют.

Все — в лучах!

Жизнь — как небо голубое!

Радость, радость, я с тобою!

Ты смеешься, а в глазах

Золотые пляшут чертики.

Душно... Блики на ковре.

Откроем форточку...

Ах, поет шарманка во дворе!

— Утомленная,

Нежно-сонная,

Сонно-нежная,

Безнадежная. —

Здравствуй, солнечная высь,

Здравствуй, счастье впереди!

— Звуки плавные,

Звуки длинные,

Своенравные

И старинные.

Губы яркие прильзи, —

Но, целуя, ввысь гляди!

### 2

Плывут поля, болота мимо.

Стволы рябые выбегают,

Потом отходят. Ключья дыма,

Кружась, друг друга догоняют.

Грохочет мост. Столбов миганье

Тройную проволоку режет.

Внезапно переходит в скрежет  
Глухое рельсов бормотанье.  
Шлагбаум. Как нить, дорога рвется.  
В овраг шарахаются сосны.  
Свисток протяжный раздается,  
И чаще, чаще стук колесный.  
И вот — платформа подплывает.  
Всё так знакомо! Преодо мною —  
Весна. Чуть ветерок ласкает,  
И пахнет вспаханной землею.  
Весна! Застенчивая липка  
Платочком машет изумрудным.  
Весь мир — как детская улыбка.  
Всё ясным кажется, нетрудным...

### 3. СОНЕТ

Вернулся я к моей любви забытой.  
(О, ствол березы — белый, как фарфор!)  
Зеленый лес, лучами перевитый,  
Молчал, певучий затаив укор.  
Иван-да-Марья сам с собою спор  
Завел. Над сыроежкой домовитой  
Смеялся добродушно мухомор.  
Я шел тропинкой золотом залитой;  
Часы текли, как солнечные сны;  
Я думал думу светлой тишины:  
«Могла ли мне иная радость сниться?»  
Я чьи-то вздохи вспомнил у ручья,  
Где незабудки в платицах из ситца  
Смотрели грустно, как шалит струя.

### 4. ДОЖДЬ ПРОЛЕТЕЛ

Дождь пролетел и сторел на лету.  
Иду по румяной дорожке.  
Иволги свищут, рябины в цвету,  
Белеют на ивах сережки.  
Воздух живителен, влажен, душист.  
Как жимолость благоухает!

Кончиком вниз наклоняется лист  
И с кончика жемчуг роняет.

Май 1917  
Выра

5

Мятежными любясь облаками,  
В порыве юном, в солнечном бреду —  
Веселыми, широкими шагами  
Навстречу ветру по полю иду.

В душе поет восторг безбрежной воли...  
Весь мир в лучах! Вся жизнь передо мной!  
Как сердце, бьется огненное поле  
Под лаской ветра, буйной, молодой.

Весь мир горит, весь мир благоухает!  
Срывает ветер шляпу с головы.  
Шумит, блестит, отходит, набегаёт,  
Волна высокой, трепетной травы...

6

Гроза растаяла. Небо ясно.  
Трава подернута серебром.  
Светло и сыро. Хочу ужасно  
Пройти по радуге босиком;

С веселой песнею подниматься  
И на верхушку дуги цветной  
Верхом усесться и пошептаться  
С последней тучкою грозовой!

Я буду радостен и бесстрашен.  
Кругом — сияние синих снов,  
Внизу — квадратики пестрых пашен,  
Зигзаг речонки и пух лесов.

А если радуга вдруг исчезнет,  
Бледнея, спрячется в синеву, —  
Я с ней погибну в лазурной бездне  
Иль в мир надсолнечный уплыву!

С дождем и ветром борются березы.  
 На крыше мокрой — желтые листы.  
 Еще души невыплаканны слезы,  
 Еще живут измятые цветы!

День сердится, как взбалмошный ребенок.  
 Так рано, бедного, уводят спать!  
 Дождь ввечеру становится так тонок,  
 Что можно в парке сумрачном гулять.

Блуждаю в парке. Думаю о дальней.  
 В сырой траве боровичков ищу  
 Иль на песке — задумчиво, печально —  
 Всё то же имя палкою черчу.

## 8. ОСЕНЬ

Была в тот день светлей и шире даль,  
 В тот день упал увядший лист кленовый...  
 Он первый умер — дымчато-лиловый,  
 Весь нежная, покорная печаль...  
 Он падал медленно; мне было больно.  
 Он, может быть, не знал, что упадет  
 И в тихий, слишком тихий день умрет —  
 Такой красивый и такой безвольный...

## 9. СОНЕТ

Безоблачная высь и тишина...  
 Голубоватый снег; оцепененье;  
 Ветвей немых узорное сплетенье —  
 Моя страна — волшебная страна.  
 Когда в снегу сияющем она  
 Стоит как серебристое виденье —  
 Душа в таинственное влюблена,  
 В душе покой и кроткое смирение.  
 «Березка стройная под дымкой снежной,  
 Ты заколдована, скажи, навек?  
 Наверно, девушкой была ты нежной...»

«Ты, елочка, устала? Давит снег?  
Ну погоди, я осторожно сброшу  
С ветвей поникших снеговую ношу...»

10

Я незнакомые люблю вокзалы,  
Люблю вагоны дальних поездов.  
Свист паровоза — властный зов.  
Ночь. Мелкий дождь. Спешу я, запоздалый.

И в полночь вновь у чуждых городов  
Вхожу один, взволнованно-усталый,  
В пустынные, тоскующие залы,  
Где нет в углу знакомых образов.

Люблю вокзалов призраки: печаль,  
Прощаний отзвук, может быть, обманы...  
Зеленый луч кидает семафор;

Газ бледен; ночь черна; безвестна даль.  
Там ждут, зовут, тоскуют великаны.  
Но будет миг: метнется алый взор.

11

Вечный ужас. Черные трясины.  
Вопль, исполненный тоски ночной.  
Бегемота с шеей лебединой  
Силуэт над лунною водой.

Тех существ — чудовищ без названья —  
Кто тебе позволил пережить?  
Кем тебе дано самосознание,  
Белый зверь, умеющий грешить?

Может быть, я эту знаю тайну:  
Поутру, бродя в лесной глуши,  
Острый камень ты нашел случайно  
И впотьмах младенческой души

Боязливо, как слепой, пошарил,  
Камень прочно к палке прикрепил,  
Подстерег врага, в висок ударил  
И задумался, когда убил.

12

У мудрых и злых ничего не прошу;  
Гляжу, улыбаясь, в окно  
И левой рукою сонеты пишу  
О розе... Не правда ль, смешно?

И всё, что написано левой рукой,  
Весенним прочтут вечерком  
Какой-нибудь юноша с ватной душой  
И девушка с ватным лицом.

Я тихо смеюсь, беззаботный левша.  
Кто знает, что в сердце моем?  
О розе, о грезе пишу не спеша  
В цветной, глянцевитый альбом.

Но та, что живет у ворот золотых,  
У цели моей огневой,  
Хранит на груди мой единственный стих,  
Написанный правой рукой.



# ГРОЗДЬ

---

## 1. ГРОЗДЬ

13

Кто выйдет поутру? Кто спелый плод подметит!  
Как тесно яблоки висят!  
Как бы сквозь них, блаженно солнце светит,  
стекая в сад.

И сонный, сладостный в аллеях лепет слышен:  
то словно каплет на песок  
тяжелых груш, пурпурных поздних вишен  
пахучий сок.

На выгнутых стволах цветные тени тают;  
на листьях солнечный отлив...  
Деревья спят, и осы не слетают  
с лиловых слив.

Кто выйдет ввечеру? Кто плод поднимет спелый?  
Кто вертограда господин?  
В тени аллей, один, лилейно-белый,  
живет павлин.

<4 июня 1922>

14

Придавлен душною дремотой,  
я задыхался в черном сне.  
Как птица, вздрагивало что-то  
непостижимое во мне.

И возжелал я в буйном блеске  
свободно взмыть, — и в сердце был  
тяжелый шорох, угол резкий  
каких-то исполинских крыл.

И жизнь мучительно и чудно  
вся напряглась и не могла  
освободить их трепет трудный —  
крутые распахнуть крыла.

Как будто каменная сила, —  
неизмеримая ладонь —  
с холодным хрустом придавила  
их тяжкий шелковый огонь.

Ах, если б звучно их раскинуть,  
исконный камень превозмочь,  
громаду черную содвинуть,  
прорвать глухонемую ночь, —

с каким бы громом я воспрянул,  
огромен, светел и могуч!  
Какой бы гром в ответ мне грянул  
из глубины багряных туч!

15

Есть в одиночестве свобода,  
и сладость — в вымыслах благих.  
Звезду, снежинку, каплю меду  
я заключаю в стих.

И еженочно умирая,  
я рад воскреснуть в должный час,  
и новый день — росинка рая,  
а прошлый день — алмаз.

*25 октября 1921  
Кембридж*

16

Из блеска в тень и в блеск из тени  
с лазурных скал ручьи текли,  
в бреду извилистых растений  
овраги вешние цвели.

И в утро мира это было:  
дикарь еще полунемой,

с душой прозревшей, но бескрылой, —  
косматый, легкий и прямой, —

заметил, взмахивая луком,  
при взлете горного орла,  
с каким густым и сладким звуком  
освобождается стрела.

Забыв и шелесты оленьи,  
и тигра бархат огневой, —  
он шел, в блаженном удивленьи  
играя звучной тетивой.

Ее притягивал он резко  
и с восклицаньем отпускал.  
Из тени в блеск и в тень из блеска  
ручьи текли с лазурных скал.

Янтарной жилы звон упругий  
напоминал его душе  
призывный смех чужой подруги  
в чужом далеком шалаше.

И это было в утро мира,  
и угасая, и горя,  
казалось, призрачная лира  
звенит в руках у дикаря.

17

Я на море гляжу из мраморного храма:  
в просветах меж колон, так сочно, так упрямо,  
бьет в очи этот блеск, до боли голубой.  
Там — благовония, там — звоны, там — прибор,  
а тут на высоте — одна молитва линий  
стремительно простых; там словно шелк павлиний,  
тут целомудренность бессмертной белизны.  
О муза, будь строга! Из храма, с вышины, —  
гляжу на вырезы лазури беспокойной, —  
и вот, восходит стих, мой стих нагой и стройный,  
и наполняется прохладой и огнем,  
и возвышается, как мраморный, и в нем  
сквозят моей души тревоги и отрады,  
как жаркая лазурь в просветах колоннады.

Туман ночного сна, налет истомы пыльной  
 смываю мягко-золотой,  
 тяжелой губкою, набухшей пеной мыльной,  
 благоуханной и густой.

Голубоватая, в купальне млечной-белой,  
 вода струит чуть зримый пар,  
 и благодарное я погружаю тело  
 в ее глухой и нежный жар.

А после, наслаждаясь той лаской шелковистой,  
 люблю я влагой ледяной  
 лопатки окатить... Мгновенье — и пушистой  
 я обвиваюсь простыней.

Чуть кожа высохла — прохлада легкой ткани  
 спадает на плечи, шурша...  
 Для песен, для борьбы, для сказочных исканий  
 готовы тело и душа.

Так мелочь каждую — мы, дети и поэты, —  
 умеем в чудо превратить,  
 в обычном райские угадывать приметы,  
 и что ни тронем — расцветить...

На черный бархат лист кленовый  
 я, как святыню, положил:  
 лист золотой с пыльцой пунцовой  
 между лиловых тонких жил.

И с ним же рядом, неизбежно,  
 старинный стих — его двойник,  
 простой и радужный и нежный,  
 в душевном сумраке возник;

И всё нежнее, всё смиренней  
 он лепетал, полутаясь,  
 но слушал только лист осенний,  
 на черном бархате светясь...

<7 декабря 1921>

Нас мало — юных, окрыленных,  
не задохнувшихся в пыли,  
еще простых, еще влюбленных  
в улыбку детскую земли.

Мы только шорох в старых парках,  
мы только птицы; мы живем  
в очарованье пятен ярких,  
в чередованье звуковом.

Мы только смутный цвет миндальный,  
мы только первопутный снег,  
оттенок тонкий, отзвук дальний, —  
но мы пришли в зловецкий век.

Навис он, грубый и огромный,  
но что нам гром его тревог?  
мы целомудренно бездомны,  
и с нами звезды, ветер, Бог.

<29 января 1922>

*На годовщину смерти Достоевского*

Садом шел Христос с учениками...  
Меж кустов на солнечном песке,  
вытканном павлиньими глазками,  
песий труп лежал невдалеке.

И резцы белели из-под черной  
складки, и зловонным торжеством  
смерти — заглушен был ладан сладкий  
теплых миртов, млеющих кругом.

Труп гниющий, трескаясь, раздулся,  
полный склизких, слипшихся червей...  
Иоанн, как дева, отвернулся,  
сгорбленный поморщился Матфей.

Говорил апостолу апостол:  
«Злой был пес; и смерть его нага,  
мерзостна»...

Христос же молвил просто:  
«Зубы у него как жемчуга...»

6 ноября 1921  
Кембридж

22—23

*На смерть Блока*

1

За туманами плыли туманы,  
за луной расцветала луна...  
Воспевал он лазурные страны,  
где поет неземная весна.

И в туманах Прекрасная Дама  
проплывала, звала вдалеке, —  
словно звон отдаленного храма,  
словно лунная зыбь на реке.

Узнавал он ее в трепетанье  
розоватых вечерних теней  
и в мятелях, смятенье, молчанье  
чародейной отчизны своей.

Он любил ее гордо и нежно,  
к ней тянулся он, строен и строг, —  
но ладони ее белоснежной  
бледный рыцарь коснуться не мог.

Слишком сумрачна, слишком коварна  
одичалая стала земля,  
и, склонившись на щит лучезарный,  
оглянул он пустые поля.

И, обманут мечтой несказанной,  
и холодной мглой окружен,  
он растаял, как месяц туманный,  
как далекий молитвенный звон...

<14 августа 1921>

Пушкин — радуга по всей земле,  
 Лермонтов — путь млечный над горами,  
 Тютчев — ключ, струящийся во мгле,  
 Фет — румяный луч во храме.

Все они, уплывшие от нас  
 в рай, благоухающий широко,  
 собрались, чтоб встретить в должный час  
 душу Александра Блока.

Выйдет он из спутанных цветов,  
 из лады, на белые ступени...  
 подойдут божественных певцов  
 взволновавшие тени.

Пушкин — выпуклый и пышный свет,  
 Лермонтов — в венке из звезд прекрасных,  
 Тютчев — веющий росой, и Фет —  
 в ризе тонкой, в розах красных.

Подойдут с приветствием к нему,  
 возликуют, брата принимая  
 в мягкую цветную полутьму  
 вечно дышащего мая.

И войдет таинственный их брат,  
 перешедший вьюги и трясины,  
 в те сады, где в зелени стоят  
 серафимы, как павлины.

Сядет он в тени ветвей живых  
 в трепетно-лазоревых одеждах,  
 запоет о сбывшихся, святых  
 сновиденьях и надеждах.

И о солнце Пушкин запоет,  
 Лермонтов — о звездах над горами,  
 Тютчев — о сверканье звонких вод,  
 Фет — о розах в вечном храме.

И среди них прославит жданный друг  
 ширь весны нездешней, безмятежной,  
 и такой прольется блеск вокруг,  
 будут петь они так нежно, —

так безмерно нежно, что и мы,  
в эти годы горести и гнева,  
может быть, услышим из тюрьмы  
отзвук тайный их напева.

#### 24. ИВАНУ БУНИНУ

Как воды гор, твой голос горд и чист.  
Алмазный стих наполнен райским медом.  
Ты любишь мир и юный месяц, лист,  
желтеющий над смуглым сочным плодом.

Ты любишь змей, тяжелых злых узлов  
лиловый лоск на дне сухой ложбины.  
Ты любишь снежный шелест голубиный  
вокруг лазурных, влажных куполов.

Твой стих роскошный и скупой, холодный  
и жгучий стих один горит, один  
над маревом губительных годин,  
и весь в цветах твой жертвенник свободный.

Он каплет в ночь росой ледяной  
и янтарями благовоний знойных,  
и нагота твоих созвучий стройных  
сияет мне как бы сквозь шелк цветной.

Безвестен я и молод в мире новом,  
кощунственном, но светит всё ясней  
мой строгий путь: ни помыслом, ни словом  
не согрешу пред музою твоей.

<1 октября 1922>

#### II. ТЫ

25

Когда, туманные, мы свиделись впервые,  
когда задумчиво вернулся я домой,  
мне всё мерещились глаза твои живые  
сквозь дымку чуждости. Я заперся в немой



и светлой мастерской, моих видений полной,  
где в солнечной пыли белеет бог безмолвный,  
где музу радуют два бронзовых борца,  
их мышцы вздутые, лоснящиеся спины,  
и в глыбе голубой сырой и нежной глины  
я призрак твоего склоненного лица  
руками чуткими по памяти наметил:  
но за туманами еще таилась ты,  
и сущности твоей тончайшие черты  
в тот день я не нашел. И вновь тебя я встретил,  
и вновь среди тишины высокой мастерской,  
забыв наружный мир, с восторгом и тоской,  
я жадно стал творить и вновь прервал работу...  
Чредой сияли дни, чредой их позолоту  
смывала мгла ночей. Я грезил и ваял,  
и приходил к тебе, простые слышал речи,  
глубокий видел взор, и после каждой встречи  
чертою новою, волшебной пополнял  
несовершенное твое изображение.  
Порой казалось мне, что кончен тонкий труд,  
что под рукой моей уста твои поют,  
что я запечатлел живое выражение,  
все тени, все лучи любимого лица...  
но, встретившись с тобой, я чувствовал, как много  
еще не найдено, как смутно, как убого  
подобие твое... Далече до конца,  
но будет, будет час, когда я, торжествуя,  
нас разделявшую откину кисею;  
сверкнет твоя душа; и Счастьем назову я  
работу лучшую, чистейшую мою.

26

Мечтал я о тебе так часто, так давно,  
за много лет до нашей встречи,  
когда сидел один, и кралась ночь в окно,  
и перемигивались свечи.

И книгу о любви, о дымке над Невой,  
о неге роз и море мгlistом,  
я перелистывал — и чуял образ твой  
в стихе восторженном и чистом.

Дни юности моей, хмельные сны земли,  
мне в этот миг волшебно-звонкий  
казались жалкими, как мошки, что ползли  
в янтарном блеске по клеенке.

Я звал тебя, я ждал. Шли годы. Я бродил  
по склонам жизни каменистым  
и в горькие часы твой образ находил  
в стихе восторженном и чистом.

И ныне, наяву, ты, легкая, пришла,  
и вспоминаю суеверно,  
как те глубокие созвучья-зеркала  
тебя предсказывали верно.

*6 июля 1921*

## 27. СОНЕТ

Весенний лес мне чудится... Пстой,  
прислушайся... На свой язык певучий  
переведу я тысячу созвучий,  
что плещут там среди зелени святой.

И ты поймешь, и слух прозрачный твой  
всё различит: и солнца смех летучий,  
и в небе вздох блестящей легкой тучи,  
и песню пчел над шепчущей травой.

И ты войдешь тропинкою пятнистой  
туда, в мой лес, и яркий и тенистый,  
где сердце есть у каждого листка;

Туда, где нет ни жалоб, ни желаний,  
где азбуке душистой ветерка  
учился я у ландыша и лани.

*<25 июня 1922>*

## 28

Позволь мечтать... Ты первое страданье  
и счастье последнее мое.  
Я чувствую движенье и дыханье  
твоей души... Я чувствую ее,

как дальнее и трепетное пенье...  
Позволь мечтать, о, чистая струна!  
Позволь рыдать и верить в упоенье,  
что жизнь, как ты, лишь музыки полна.

*6 августа 1921*

29

Ее душа, как свет необычайный,  
как белый блеск за дивными дверьми,  
меня влечет. Войди, художник тайный,  
и кисть возьми.

Изобрази цветную вереницу  
волшебных птиц; огнисто распиши  
всю белую, безмолвную светлицу  
ее души.

Возьми на кисть росинки с розы чайной  
и красный сок раскрывшейся зари.  
Войди, любовь, войди, художник тайный,  
мечтай, твори.

*31 июля 1921*

30

Когда захочешь, я уйду,  
утрату сладостно прославлю, —  
но в зацветающем саду,  
во мгле пруда тебе оставлю  
одну бесценную звезду.

Заглянешь ты в зеркальный пруд  
и тронешь влагу, и движенья  
беспечных рук звезду вспугнут;  
но зыбь утихнет; отраженье  
вернется вновь, шепнет: я тут...

Ты кинешь камешек, и вновь  
зыбь круговая гладь встревожит.  
О нет, — звезде не прекословь, —  
растаять в сумраке не может  
мой лучший луч, моя любовь...

Над влагой душу наклоня,  
так незаметно ты привыкнешь  
к кольцу тончайшего огня;  
и вдруг поймешь, и тихо вскрикнешь,  
и тихо позовешь меня...

31

О светлый голос, чуть печальный,  
слыхал я прежде отзвук твой,  
пугливый, ласково-хрустальный,  
в тени, под влажною листвою,  
и в старом доме, в перезвоне  
подвесок-искорок... Звени,  
и будут ночи, будут дни  
полны видений, благовоний;  
забуду ветер для тебя,  
игравший в роще белоствольной,  
навек забуду ветер вольный,  
твой лепет сладостный любя...  
Очарованье звуковое,  
не умолкай, звени, звени.  
Я вижу прошлое живое,  
между деревьями огни  
в усадьбе прадеда, и окна  
открыты настезь, и скользят —  
как бы шелковые волокна —  
цветные звуки в темный сад,  
стекая с клавишей блестящих  
под чьей-то плещущей рукой  
и умолкая за рекой,  
в полях росистых, в синих чащах.

32

Все окна открыв, опустив занавески,  
ты в зале роялю сказала: живи!  
Как легкие крылья во мраке и в блеске  
зادвигались руки твои.

Под левой — мольба зазвенела несмело,  
под правую — отклик волнисто возник,  
за клавишем клавиш, то черный, то белый,  
звеня погружался на миг.

В откинутой крышке отливов лоснились,  
и руки твои, отраженные там,  
как бледные бабочки, плавно носились  
по черным и белым цветам.

И звуки холмились во мраке и в блеске,  
и ропот взбирался, и шепот сбегал,  
и ветер ночной раздувал занавески  
и звездное небо впускал.

### 33

В полнолуние, в гостиной пыльной и пышной,  
где рояль уснул среди узорных теней, —  
опустив ресницы, ты вышла неслышно  
из оливковой рамы своей.

В этом доме ветхом, давно опустелом,  
над лазурным креслом, на светлой стене  
между зеркалом круглым и шкапом белым,  
улыбалась ты некогда мне.

И блестящие клавиши пели ярко,  
и на солнце глубокий вспыхивал пол,  
и в окне, на еловой опушке парка,  
серебрился березовый ствол.

И потом не забыл я веселых комнат,  
и в сиянье ночи, и в сумраке дня,  
на чужбине я чуял, что кто-то помнит  
и спасет и утешит меня.

И теперь ты вышла из рамы старинной,  
из усадьбы любимой, и в час тоски  
я увидел вновь платья вырез невинный,  
на девичьих висках завитки.

И улыбка твоя мне давно знакома  
и знаком изгиб этих тонких бровей,

и с тобою пришло из родного дома  
много милых, душистых теней. —

Из родного дома, где легкие льдинки  
чуть блестят под люстрой, и льется в окно  
голубая ночь, и страница из Глинки  
на рояле белеет давно...

34

О любовь, ты светла и крылата, —  
но я в блеске твоём не забыл,  
что в пруду неизвестном, когда-то,  
я простым головастиком был.

Я на первой странице творенья  
только маленькой был запятой, —  
но уже я любил отраженья  
в полнолуние и в день золотой.

И, дивясь темно-синим стрекозкам,  
я играл, и нырял, и всплывал,  
отливал гуттаперчевым лоском  
и мерцающий хвостик свивал.

В том пруду изумрудно-узорном,  
где змеились лучи в темноте,  
где кружился я живчиком черным, —  
ты сияла на плоском листе.

О любовь. Я за тайной твоею  
возвращаюсь по лестнице лет...  
В добрый час водяную лилею  
полюбил головастик-поэт...

### 35. ГЛАЗА

Под тонкою луной, в стране далекой, древней,  
так говорил поэт смеющейся царевне:

«Напев сквозных цикад умрет в листве олив,  
погаснут светляки на гиацинтах смятых,  
но сладостный разрез твоих продолговатых  
атласно-темных глаз, их ласка, и отлив  
чуть сизый на белке, и блеск на нижнем веке,  
и складки нежные над верхним, — верь, навеки  
останутся в моих сияющих стихах,  
и людям будет мил твой длинный взор счастливый,  
пока есть на земле цикады и оливы  
и влажный гиацинт в алмазных светляках».

Так говорил поэт смеющейся царевне  
под тонкою луной, в стране далекой, древней...

<18 ноября 1922>

### 36

Пускай всё горестней и глуше  
уходит мир в стальные сны...  
Мы здесь одни, и наши души  
одной весной убелены.

И вместе, вместе, и навеки,  
построим мир — незримый, наш;  
я в нем создам леса и реки,  
ты звезды и цветы создашь.

И в этот век огня и гнева  
мы будем жить в веках иных, —  
в прохладах моего напева,  
в долинах ландышей твоих.

И только звуки наших внуков, —  
мой стих весенний полюбя, —  
сквозь тень и свет воздушных звуков  
увидят — белую — тебя...

<22 августа 1922>

### III. УШЕДШЕЕ

#### 37. ПАСХА

*На смерть отца*

Я вижу облако сияющее, крышу,  
блестящую вдали, как зеркало... Я слышу,  
как дышит тень и каплет свет...  
Так как же нет тебя? Ты умер, а сегодня  
синеет влажный мир, грядет весна Господня,  
растет, зовет... Тебя же нет.

Но если все ручьи о чуде вновь запели,  
но если перезвон и золото капли —  
не ослепительная ложь,  
а трепетный призыв, сладчайшее «воскресни»,  
великое «цвети», — тогда ты в этой песне,  
ты в этом блеске, ты живешь!..

*<16 апреля 1922>*

#### 38

Молчи, не вспенивай души,  
не расточай своей печали, —  
чтоб слезы душу расцветали  
в ненарушаемой тиши.

Слезу — бесценный самоцвет, —  
таи в сокровищнице черной...  
В порыве скорби непокорной  
ты погасил бы тайный свет.

Блаженно бережно таи  
дар лучезарный, дар страданья, —  
живую радугу, рыданья  
неизречимые свои...

Чтоб в этот час твои уста,  
как бездыханные, молчали...  
Вот целомудрие печали,  
глубин священных чистота.

*<22 августа 1922>*



## 1

По водам траурным и лунным  
не лебедь легкая плывет,  
плывет ладья и звоном струнным  
луну лилейную зовет.

Под небом нежным и блестящим  
ладью, поющую во сне,  
с увещеваньем шелестящим  
волна передает волне.

В ней рыцарь раненый и юный  
склонен на блеклые шелка,  
и арфы ледяные струны  
ласкает бледная рука.

И веют корабли далече,  
и не узнают никогда,  
что это плачет и лепечет —  
луна ли, ветер, иль вода...

<Ноябрь 1921>

## 2

Я странник. Я Тристан. Я в рощах спал душистых  
и спал на ложе изо льда.  
Изольда, золото волос твоих волнистых  
во сне являлось мне всегда.

Деревья надо мной цветущие змеились;  
другие, легкие, как сны,  
мерцали белизной. Изольда, мы сходились  
под сенью сумрачной сосны.

Я тигра обаграл средь тьмы и аромата,  
и бег лисицы голубой  
я по снегу следил. Изольда, мы когда-то  
вдвоем охотились с тобой.

Встречал я по пути гигантов белоглазых,  
ушистых сморщенных детей.  
В полночных небесах, Изольда, в их алмазах  
ты не прочтешь судьбы моей.

*30 августа 1921*

41

Ты видишь перстень мой? За звезды, за каменья,  
горящие на дне, в хрустальных тайниках,  
и на заломленных русалочьих руках,  
его я не отдам. Нет глубже упоенья,  
нет сладостней тоски, чем любоваться им  
в те чуткие часы, средь ночи одинокой,  
когда бывает дух ласкаем и язвим  
воспоминаньями о родине далекой...  
И многоцветные мне чудятся года,  
и колокольчики лиловые смеются;  
над полем небеса колеблются и льются,  
и жаворонка звон мерцает, как звезда...  
О прошлое мое, я сетовать не вправе!  
О Родина моя, везде со мною ты!  
Есть перстень у меня: крупца красоты,  
росинка русская в потускневшей оправе...

*<29 января 1922>*

42

Я помню только дух сосновый,  
удары дятла, тень и свет...  
Моряк косматый и суровый,  
хожу по водам много лет.

Во мгле выглядываю сушу  
и для кого-то берегу  
татуированную душу  
и бирюзовую серьгу.

В глуши морей, в лазури мрачной,  
в прибрежном дымном кабаке —  
я помню свято стук прозрачный  
цветного дятла в сосняке.

#### 43. РОЖДЕСТВО

Мой календарь полуопалый  
пунцовой цифрою зацвел;  
на стекла пальмы и опалы  
мороз колдующий навел.

Перистым вылился узором,  
лучистой выгнулся дугой,  
и мандаринами и бором  
в гостинной пахнет голубой.

*23 сентября 1921*  
*Берлин*

#### 44. НА СЕЛЬСКОМ КЛАДБИЩЕ

На кладбище — солнце, сирень и березки  
и капли дождя на блестящих крестах.  
Местами отлипли сквозные полоски  
и в трубки свернулись на светлых стволах.

Люблю целовать их янтарные раны,  
люблю их стыдливые гладить листки...  
То медом повеет с соседней поляны,  
то тиной потянет с недальной реки.

Прозрачны и влажны зеленые тени.  
Кузнечики тикают — шепчут кусты, —  
и бледные крестики тихой сирени  
кропят на могилах сырые кресты.

*<19 ноября 1922>*

#### 45. VIOLA TRICOLOR

Анютины-глазки, веселые-глазки,  
в утрюмое марево наших пустынь  
глядите вы редко из ласковой сказки,  
из мира забытых святынь.

Анютины-глазки... Расплывчато вьется  
по черному бархату мягкий узор,  
лиловый и желтый, — и кротко смеется  
цветов целомудренный взор.

Мы к чистой звезде потеряли дорогу,  
мы много страдали, котомки пусты,  
мы очень устали... Скажите вы Богу,  
скажите об этом, цветы.

Простим ли страданью, найдем ли звезду мы?  
Анютины-глазки, молитесь за нас,  
чтоб стали все люди, их чувства и думы,  
немного похожи на вас.

<21 августа 1921>

#### 46. В ЗВЕРИНЦЕ

Тут не звери — тут боги живут.  
Ослепленный любитесь люд  
                                павлинами, львами...  
А меня почему-то привлек  
ты, пушистый, ушастый зверек  
                                с большими глазами.  
Отыскал тебя в дальних краях  
путешественник в синих очках,  
                                в кокосовой шапке  
и, с добычей вернувшись назад,  
написал по-латыни доклад  
                                о складке на лапке.  
Ходит, ходит, не видя людей,  
желтый лев за решеткой своей,  
                                как маятник медный;  
рядом белый сияет павлин...  
Кто заметит тебя? Ты один,  
                                тушканчик мой бедный.  
И с тоскою великой любви  
я в глаза углубляюсь твои,  
                                большие, больные:  
в них вся жалоба жизни моей,  
в них предсмертная кротость детей,  
                                страданья родные...

<3 октября 1922>

#### 47. НОЧНЫЕ БАБОЧКИ

Я помню вечера в начале листопада,  
ночную глубину тоскующего сада,  
где дуба одного листва еще густа;  
и млеет мгlistая густая темнота  
под ветками его, и нежные ночницы  
еще к нему летят в лиловый сонный час:  
трепещут в темноте незримые ресницы,  
порхают призраки пушистые...

Для вас,  
ночные бабочки, приманку я готовлю:  
предчувствуя с утра удачливую ловлю,  
я пиво пьяное смешаю пополам  
с согретой патокой, потом прибавлю рому.

И в сад я выхожу, к туманам, к чудесам,  
и липким золотом я мажу по сырому  
дубовому стволу, и с кисти каплет сок,  
по трещинам ползет, блестящий и пахучий...  
Шафранный шар луны всплывает из-за тучи,  
и дуб, сообщник мой, развесист и высок.  
Впитал он не одно земное сновиденье;  
я жду в лиловой мгле, и он со мною ждет.

И вот, таинственно-внезапно, как паденье  
звезды, — задумчиво-беззвучно, как полет  
цветочного пушка, — одна, затем другая  
тень малая скользит, белеясь и мигая:  
рождаются во тьме седые мотыльки.

На ствол я навожу круг лампочки карманной  
и вижу: пять ночниц вбирают сок дурманной,  
блаженно выпустив витые хоботки  
и крылья серые на розовой подкладке  
подняв, оцепенев, — и вдруг, взмахнув крылом  
скрываются во мрак — и вновь на запах сладкий  
слетаются легко. Стою перед стволом,  
внимательно слежу наряд их полуявный,  
окраску и узор, и, выбрав мотылька,  
над самою корой я всплескиваю плавно  
белесой кисеей широкого сачка.

Чудесные часы! Восторг воспоминанья!  
Волнуется душа... Латинские названья  
кружатся в голове, — а ночь тепла, мутна...  
Висит в набухшей мгле лимон луны огромный.  
Вдали, между ветвей, за клумбами, за темной  
площадкою, — горят в усадьбе три окна.  
Оттуда в должный час меня окликнуть можно,  
сказать, что спать пора, и, выглянув в окно,  
увидеть: черный сад, фонарик осторожный,  
мелькнувшего сачка белесое пятно...

И возвращаюсь я с добычею воздушной:  
еще стучится жизнь о стенки коробка,  
на вату лью эфир, холодный, сладко-душный;  
под грудку я беру малютку мотылька, —  
слабеет, гаснет он — крылатый человечек,  
и в пробковую щель меж липовых дощечек  
поимки бережно я вкалываю в ряд.  
Усните, крылышки, глазастые головки,  
тончайшие сяжки!..

Вот пухлый шелкопряд,  
рябой, как палый лист; вот крылья черной совки  
с жемчужной ижицей на жилке узловый;  
вот веер крохотный с бахромкой световой;  
вот кроткий старичок, монашек в темной рясе  
— и вот царевна их, невеста ветерка:  
две ленты бархата на розовом атласе,  
фламинговый пушок на кончике брюшка...

Спасибо, нежные!.. шли годы за годами,  
вы таяли с теплом и вспыхивали вновь.  
Неизъяснимую я чувствовал любовь,  
мечтательно склонясь над вашими рядами  
в стеклянных ящиках душистых и сухих,  
как легкие листы больших, поблекших библий  
с цветами блеклыми, заложенными в них...  
Не знаю, мотыльки, быть может, вы погибли;  
проникла плесень, моль, подъели червячки,  
сломались крылышки, и лапки, и сяжки, —  
иль руки грубые заветный шкаф открыли  
и хрустнуло стекло, — и вы превращены  
в цветную горсточку благоуханной пыли...

Не знаю, нежные, — но из чужой страны  
гляжу я в глубину тоскующего сада;  
я помню вечера в начале листопада,  
и дуб мой на лугу, и запах медовой,  
и желтую луну над черными ветвями, —  
и плачу, и лечу, и в сумерки я с вами  
витаю и дышу под ласковой листвою.

*<15 марта 1922>*

#### **IV. ДВИЖЕНИЕ**

##### **48. В ПОЕЗДЕ**

Я выехал давно, и вечер неродной  
рдел над равниною нерусской,  
и стихословили колеса подо мной,  
и я уснул на лавке узкой.

Мне снились дачные вокзалы, смех, весна,  
и, окруженный тряской бездной,  
очнулся я, привстал, и ночь была душна,  
и замедлялся ямб железный.

По занавеске свет, как призрак, проходил.  
Внимая трепету и тренью  
смолкающих колес, я раму опустил:  
пахнуло сыростью, сиренью.

Была передо мной вся молодость моя:  
плетень, рябина подле клена,  
чернеющий навес, и мокрая скамья,  
и станционная икона.

И это длилось миг... Блестя, поплыли прочь  
скамья, кусты, фонарь смиренный.  
Вот хлынула опять чудовищная ночь,  
и мчусь я, крошечный и пленный.

Дорога черная, без цели, без конца,  
толчки глухие, вздох и выдох,  
и жалоба колес, как повесть беглеца  
о прежних тюрьмах и обидах.

*4 июля 1921  
Груневальд*

#### 49. ЭКСПРЕСС

На сумрачном вокзале по ночам  
торжественно и пусто, как в соборе, —  
но вот, вдали вздохнуло словно море,  
скользнула дрожь по двум стальным лучам,  
бегущим вдаль, сходящимся во мраке, —  
и щелкнули светящиеся знаки,  
и в черной глубине рубин мигнул,  
за ним — полоска янтарей, и гул  
влетел в вокзал, могучий гул чугунный, —  
из бездны бездн, из сердца ночи лунной,  
как бы катясь с уступа на уступ.

Вздохнул и стал; раскрылись две-три двери.  
Вагоны удлиненные под дуб  
окрашены. На матовой фанере,  
над окнами ряд смугло-золотых  
французских слов — как вырезанный стих,  
мою тоску дразнящий тайным зовом...

За тенью тень скользит по бирюзовым  
прозрачным занавескам. Плотно скрыв  
переходные шаткие площадки,  
чернеют пыльно кожаные складки  
над скрепами вагонов. Весь — порыв  
сосредоточенный, весь — напряженье  
блаженное, весь — жадность, весь — движенье, —  
дрожит живой, огромный паровоз,  
и жарко пар в железных жилах бьется,  
и в черноту по капле масло льется  
с чудовищных лоснящихся колес.

И через миг колеса раскочнулись  
и буферов забухали щиты —  
и пламенисто-плавно потянулись  
в зияющий колодец темноты  
вагоны удлиненные... И вскоре  
забыл вокзал их звон и волшебство,  
и стало вновь под сводами его  
торжественно и пусто, как в соборе.



Как часто, как часто я в поезде скором  
сидел и дивился плывущим просторам  
и льнул ко стеклу холодеющим лбом!..  
И мимо широких рокочущих окон  
свивался и таял за локоном локом  
летучего дыма; и столб за столбом  
проскакивал мимо, порыв прерывая  
взмывающих нитей; и даль полевая  
блаженно вращалась в бреду голубом.

И часто я видел такие закаты,  
что поезд, казалось, взбегает на скаты  
крутых огневых облаков и по ним  
спускается плавно, взвивается снова  
в багряный огонь из огня золотого, —  
и с поездом вместе по кручам цветным  
столбы пролетают в восторге заката,  
и черные струны взмывают крылато,  
и ангелом реет сиреневый дым.

## ГОРНИЙ ПУТЬ

---

*Памяти моего отца*

...Погиб и кормщик и пловец!  
Лишь я, таинственный певец,  
На берег выброшен грозою.  
Я гимны прежние пою  
И ризу влажную мою  
Сушу на солнце под скалою.

*Пушкин*

### 51. ПОЭТУ

Болота вязкие бессмыслицы певучей  
покинь, поэт, покинь и в новый день проснись!  
Напев начни иной — прозрачный и могучий;  
словами четкими передавать учись  
оттенки смутные минутных впечатлений,  
и пусть останутся намеки, полутени  
в самих созвучиях, и помни — только в них,  
чтоб созданный тобой по смыслу ясный стих  
был по гармонии таинственно-тревожный,  
туманно-трепетный; но рифмою трехсложной,  
размером ломаным не злоупотребляй.  
Отчетливость нужна, и чистота, и сила.  
Несносен звон пустой, неясность утомила:  
я слышу новый звук, я вижу новый край...

### 52

Живи. Не жалуйся, не числи  
ни лет минувших, ни планет,  
и стройные сольются мысли  
в ответ единый: смерти нет.



зеленая река застенчиво блестит,  
кой-где подернута парчою тонкой тины...  
Спешу к тебе, спешу, знакомая река!  
Неровный ветерок несет издалека  
крик сельских петухов и мерный шум плотины.  
Напротив берега я вижу мягкий скат,  
на бархатной траве разбросанные бревна,  
а дале — частокол, рябин цветущих ряд,  
в лучах, над избами, горящий крест церковный  
и небо ясное... Как хорошо! Но вот  
мой слух певучий скрип уключин различает.  
Вот лодка дачная лениво проплывает,  
и в лодке девушка одной рукой гребет...  
Склоненного плеча прелестно очертанье;  
она, рассеянно, речные рвет цветы.  
Ах, это снова ты, всё ты и всё не ты!

Звени, мой верный стих, витай, воспоминанье...

#### 54

Когда с небес на этот берег дикий  
роняет ночь свой траурный платок, —  
полушутя, дает мне Сон безликий  
небытия таинственный урок.

Я крепко сплю, не чая пробужденья;  
но день встает, и в лучезарный миг  
я узнаю, что б ы л и сновиденья  
и что конца еще я не постиг.

#### 55. ЭЛЕГИЯ

Я помню влажный лес, волшебные дороги,  
узорные лучи на дышащей траве...  
Как были хороши весенние тревоги!  
Как мчались облака по вольной синеве!  
Сквозная стрекоза, мой жадный взор чаруя,  
легко покоилась на освещенном пне.  
Со струнами души созвучья согласуя,

чудесно иволги сочувствовали мне:  
я чутко различал в зеленой вышине —  
то плач прерывистый, то переливы смеха.  
Березы, вкрадчиво шумящие вокруг,  
учили сочетать со звуком точный звук,  
и рифмы гулкие выдумывало эхо,  
когда, средь тишины темнеющего дня,  
бродя по прихоти тропы уединенной,  
своими кликами даль мирную дразня,  
я вызывал его из рощи отдаленной.

## 56. ДВА КОРАБЛЯ

У мирной пристани, блестя на солнце юга,  
с дремотной влагой в лад снастями шеveled,  
задумчивы, стояли друг близ друга  
два стройных корабля.

Но пробил час. Они пустились в море  
и молчаливо разошлись они.  
Стонали ветры на просторе;  
текли за днями дни.

Знакомы стали им коварные течения,  
знакома — верная, сияющая ночь;  
а берега вдали вставали, как виденья,  
и отходили прочь...

Порой казалось им: надежда — бесполезна.  
Катился бури гром, и быстрой чередой  
сменялась черная, зияющая бездна  
всплывающей волной.

А иногда, с тревогою угрюмой,  
они оглядывались вдруг,  
и каждый полон был одной и той же думой:  
«Где ты, мой бедный друг?»

Да, много было бурь, да, много снов печальных, —  
обманных маяков и скрытых скал,  
но ангел вещей, ангел странствий дальних,  
их строго охранял.

И срок иной настал... Угомонились бури;  
а корабли куда-то вновь спешат,  
и с двух сторон выходят из лазури,  
и вот — плывут назад!

Они сошлись и снова рядом встали,  
о шири шелестя изведанных морей,  
а волны слушали, но нет, — не узнавали  
тех старых кораблей...

57

Цветет миндаль на перекрестке;  
мерцает дымка над горой;  
бегут серебряные блески  
по глади моря голубой.

Щебечут птицы вдохновенней;  
вечно-зеленый ярче лист.  
Блажен, кто в этот день весенний  
воскликнет искренно: «Я чист!»

58

О ночь, я твой! Всё злое позабыто,  
и жизнь ясна, и непонятна смерть.  
Отражена в душе моей раскрытой  
блистательная твердь...

И мнится мне, что по небу ночному  
плыву я вдаль на призрачном челне,  
и нет конца сиянью голубому;  
я — в нем, оно — во мне.

Плыву, плыву. Проходят звезды мимо;  
к одной, к другой причаливает челн  
и вновь летит под шум неуловимый  
алмазно-чистых волн.

Я твой, о ночь! В душе — твоё сиянье;  
всё грешное осталось на земле,  
и ангелов я чувствую дыханье  
на поднятом челе!

<15 февраля 1922>

Ты войдешь и молча сядешь  
 близ меня, в вечерний час,  
 и рассеянно пригладишь  
 на груди атлас.

Тихо книгу я закрою,  
 тихо подниму глаза;  
 пронесется надо мною  
 прежняя гроза.

Ты устало усмехнешься;  
 я коснусь твоей руки;  
 побледнеешь, отвернешься,  
 полная тоски.

«Жизнь моя, — скажу я властно —  
 не сердись, — ты не права!» —  
 но пойму я, что напрасны  
 старые слова.

Ты ногтем забарабанишь:  
 поздно, поздно уж теперь!  
 Оглядишься, быстро встанешь...  
 скрипнет, стукнет дверь...

Отодвину занавески,  
 головой прижмусь к стеклу:  
 ты мелькнешь в закатном блеске  
 и уйдешь во мглу.

Вот дачный сад, где счастливы мы были:  
 стеклянный шар, жасмин и частокол.  
 Как некогда, каймою рдяной пыли  
 верхи берез день тающий обвел

Всё тот же вьется мотылек капустный  
 (он опоздал — беспечный — на ночлег).  
 Сегодня мне как будто и не грустно,  
 что кануло всё прежнее навек.

Уж светляки зеленые лампадки  
зажгли в траве, и нежно — как тогда —  
мне шлет привет свой девственный и сладкий  
алмаз вечерний — первая звезда.

#### 61. БЕРЕЗА В ВОРОНЦОВСКОМ ПАРКЕ

Среди цветущих, огненных деревьев  
грустит березка на лугу,  
как дева пленная в блистательном кругу  
иноплеменных дев.

И только я дружу с березкой одинокой,  
тоскую с ней весеннею порой:  
она мне кажется сестрой  
возлюбленной далекой.

#### 62. ОРЕШНИК И БЕРЕЗА

Два дерева... одно — развесистый орешник —  
листвой изнеженной, как шелком, шелестит;  
роскошным сумраком любви и лени льстит...  
Остановись под ним, себялюбивый грешник!

Ляг, позови подруг, беспечных, как и ты.  
Не слушай совести, не прекословь мгновенью;  
пей темное вино, пой песни упоенью —  
да будут в лад шуметь широкие листы.

Но если, путник, ты — душою чист и светел  
и если долго ты дорогою крутой  
неутомимо шел и на пути не встретил  
ни друга верного, ни радости простой, —

тогда не позабудь: есть дерево другое.  
Близ дерева греха березу ты найдешь...  
На озаренный дождь наряд ее похож,  
ее жемчужный ствол — что облачко прямое.

Садись в тень жидкую, но продолжай в мечтах  
свой путь; и шепотом невинным и тревожным  
расскажет каждый лист о милом невозможном,  
о дальней родине, о ветре, о лесах...



### 63. ПОСЛЕ ГРОЗЫ

Всё реже, реже влажный звон;  
кой-где светлеет небосклон;  
отходят тучи грозовые,  
жемчужным краем бороздя  
просветы пышно-голубые,  
и падают лучи косые  
сквозь золотую сеть дождя.

<Апрель 1919>  
Олеиз

### 64

Как пахнет липой и сиренью,  
как золотеет серп луны!  
Неторопливо, тень за тенью,  
подходят сумерки весны.  
Я возвращаюсь, молодею,  
мне прошлого не превозмочь!  
Вплывает в узкую аллею  
незабываемая ночь.  
И в полутьме, — то завлекая,  
то отступая, веешь вновь,  
ты — призрак северного мая,  
ты — отроческая любовь!  
И памятного сновиденью  
я предаюсь средь тишины...  
Как пахнет липой и сиренью,  
как золотеет серп луны!

### 65. ЛЕСТНИЦА

Ты — лестница в большом, туманном доме. Ты  
устало вьешься вверх средь мягкой темноты:  
огонь искусственный — и то ты редко видишь.  
Но знаю — ты живешь, ты любишь, ненавидишь,  
ты бережешь следы бесчисленных шагов:  
уродливых сапог и легких башмачков,  
калош воркующих и валенок бесшумных,  
подошв изношенных, но быстрых, неразумных,  
широких, добрых ног и узких, злых ступней...

О да! Уверен я: в тиши сырых ночей,  
кряхтя и охая, ты робко оживаешь,  
и вспомнить силишься, и точно повторяешь  
всех слышанных шагов запечатленный звук:  
прыжки младенчества и палки деда стук,  
стремительную трель поспешности любовной,  
дрожь нисходящую отчаянья, и ровный  
шаг равнодушия, шаг немощи скупой,  
мечтательности шаг, взволнованный, слепой,  
— всегда теряющий две или три ступени —  
и поступь важную самодовольной лени,  
и торопливый бег вседневного труда...  
Не позабудешь ты — я знаю — никогда,  
и звон моих шагов... Как, разве в самом деле  
они — веселые — там некогда звенели?  
А луч, по косяку взбегающий впотьмах,  
а шелест шелковый, а поцелуй в дверях?  
Да — сердце верило, да — было небо сине...  
Над ручкой медною — другое имя ныне,  
и сам скитаюсь я в далекой стороне.  
Но ты, о лестница, в полночной тишине  
беседуешь с былым. Твои перила помнят,  
как я покинул блеск еще манящих комнат  
и как в последний раз я по тебе сходил;  
как с осторожностью преступника закрыл  
одну, другую дверь и в сумрак ночи снежной  
таинственно ушел — свободный, безнадежный...

66

Забудешь ты меня, как эту ночь забудешь,  
как черный этот сад, и дальний плеск волны,  
и в небе облачном зеркальный блеск луны...  
Но — думается мне — ты счастлива не будешь.  
Быть может, я не прав. Я только ведь поэт;  
непостоянный друг печали мимолетной  
и краткой радости, мечтатель беззаботный,  
художник, любящий равно и мрак и свет.  
Но ясновиденье подобно вдохновенью:  
прозреньем окрылен тревожный голос мой!  
Вот почему твой путь и ясный и прямой  
туманю наперед пророческою тенью.

Предсказываю я: ты будешь мирно жить,  
как вдруг о пламенном в тебе тоска проснется,  
но, — видишь ли, — другой тех звезд и не коснется,  
которыми тебя могу я окружить!

## 67. ОЗЕРО

Взгляни на озеро: ни солнце, ни звезда,  
ни мощные дубы, ни тонкая осока —  
хоть отражаются так ярко, так глубоко —  
не оставляют в нем следа.

Взгляни и в душу мне: как трепетно, как ясно  
в ней повторяются виденья бытия!  
Как в ней печаль темна, как радость в ней  
прекрасна...

— и как спокоен я!

## 68

О чем я думаю? О падающих звездах...  
Гляди, вон там одна, беззвучная, как дух,  
алмазною стезей прорезывает воздух,  
и вот уж путь ее — потух...

Не спрашивай меня, куда звезда скатилась.  
О, я тебя молю, безмолвствуй, не дыши!  
Я чувствую — она лучисто раздробилась  
на глубине моей души.

## 69

*(Евангелие Иакова Еврея гл. XVIII.)*

И видел я: стемнели неба своды,  
и облака прервали свой полет,  
и времени остановился ход...  
Всё замерло. Реки умолкли воды.  
Седой туман сошел на берега,

и, наклонив над влагою рога,  
козлы не пили. Стадо на откосах  
не двигалось. Пастух, поднявши посох,  
оцепенел с простертою рукой,  
взор устремляя ввысь; а над рекой,  
над рощей пальм, вершины опустивших  
хоть воздух был бестрепетен и нем —  
повисли птицы на крылах застывших.  
Всё замерло. Ждал чутко Вифлеем...

И вдруг в листве проснулся чудный ропот,  
и стая птиц звенящая взвилась,  
и прозвучал копыт веселый топот,  
и водных струй слышался мне шепот,  
и пастуха вдруг песня раздалась!  
А вдалеке, развея сумрак серый,  
как некий Крест, — божественно-светла,  
звезда зажглась над вспыхнувшей пещерой,  
где в этот миг Мария родила.

<7 января 1921>

## 70. СОЛНЦЕ БЕССОННЫХ

*Sun of the Sleepless*

*(Из Байрона)*

Печальная звезда, бессонных солнце! Ты  
указываешь мрак, но этой темноты  
твой луч трепещущий, далекий, — не рассеет.  
С тобою я сравню воспоминаний свет,  
мерцанье прошлого, — иных, счастливых лет, —  
дрожащее во мгле; ведь, как и ты, не греет  
примеченный тоской бессильный огонек, —  
лучист, но холоден, отчетлив, но далек...

## 71. ЛУННАЯ НОЧЬ

Поляны окропил холодный свет луны.  
Чернеющая тень и пятна белизны  
застыли на песке. В небесное сиянье  
вершиной вырезной уходит кипарис.

Немой и стройный сад похож на изваянье.  
Жемчужною дугой над розами повис  
фонтан, журчащий там, где сада все дороги  
соединяются. Его спокойный плеск  
напоминает мне размер сонета строгий;  
и ритма четкого исполнен лунный блеск.  
Он всюду — на траве, на розах, над фонтаном, —  
бестрепетный; а там, в аллее, вдалеке,  
тень черная листвы дробится на песке,  
и платье девушки, стоящей под каштаном,  
белеет, как платок на шахматной доске...

## 72. БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА

Был грозен волн полночный рев...  
Семь девушек на взморье ждали  
невозвратившихся челнов  
и, руки заломив, рыдали.

Семь звездочек в суровой мгле  
над рыбаками четко встали  
и указали путь к земле...

*Сентябрь 1918  
Крым*

## 73

Вдали от берега, в мерцании морском,  
я жадной глубиной был сладостно влеком.  
Я видел небосвод сквозь пену золотую,  
дрожащий серп луны, звезду одну, другую...  
Тускнел далекий свет, я медленно тонул.  
Манил из глубины какой-то чудный гул.  
В волшебном сумраке мой призрак отражался.  
В блестящий траур волн я тихо погружался.

#### 74. ПОЭТ

Среди обугленных развалин,  
среди унижительных могил, —  
не безнадежен, не печален,  
но полон жизни, полон сил, —

с моею музою незримой  
так беззаботно я брожу  
и с радостью неизъяснимой  
на небо ясное гляжу.

Я над собою солнце вижу  
и сладостные слезы лью,  
и никого я не обижу,  
и никого не люблю.

Иное счастье мне доступно,  
я предаюсь иной тоске,  
а всё, что жалко иль преступно,  
осталось где-то вдалеке.

Там занимаются пожары,  
там, сполохами окружен,  
мир сотрясается, и старый  
переступается закон.

Там опьяневшие народы  
ведет безумие само, —  
и вот на чучеле свободы  
бессменной пошлости клеймо.

Я в стороне. Молюсь, ликую,  
и ничего не надо мне,  
когда вселенную я чую  
в своей душевной глубине.

То я беседую с волнами,  
то с ветром, с птицей уношусь  
и со святыми небесами  
мечтами чистыми делюсь.

*6 октября 1918*

## 75. ЖУРАВЛИ

Шумела роща золотая,  
ей море вторило вдали,  
и всхлипывали, пролетая,  
кочующие журавли;  
и в небе томном исчезали,  
всё тише, всё нежней звеня.  
Мне два последних рассказали,  
что вспоминаешь ты меня...

## 76

За полночь потушив огонь мой запоздалый,  
в притворном забытьи покоюсь я, бывало,  
и вот, преодолев ревнивый сумрак туч,  
подкрадывается неуловимый луч  
и разгорается и освещает странно  
картины на стене. Доносится неожиданно  
до слуха моего необъяснимый звук  
и повторяется отчетливей, и вдруг —  
всё оживляется! Волшебное — возможно:  
халат мой с вешалки сползает осторожно  
и, протянув ко мне пустые рукава,  
перегибается, и чья-то голова  
глядит, лукавая, из мусорной корзины,  
под письменным столом; а по стене картины  
кружатся, вылетев из неподвижных рам,  
как попугайчики, и шкаф дубовый сам  
завистливо кряхтит, с волнением наблюдая,  
как по полу бежит одна туфля ночная  
вдогонку за другой.

Но только двинусь я, —  
глядь — всё рассеялось, и комната моя  
мгновенно приняла свой вид обыкновенный.  
В окне дрожит луна невинно и смиренно,  
халат — на вешалке, повсюду тишина...  
Ах, знаю я тебя, обманщица луна!

Разгорается высь,  
 тает снег на горе.  
 Пробудись, отзовись,  
 говори о заре.  
 Тает снег на горе  
 пред пещерой моей,  
 и вся даль в серебре  
 осторожных лучей.  
 Повторяй мне, душа,  
 что сегодня весна,  
 что земля хороша,  
 что и смерть не страшна;  
 что над первой травой  
 дышит горный цветок,  
 наряженный в живой  
 мягко-белый пушок;  
 что лепечут ручьи  
 и сверкают кругом  
 золотые струи;  
 что во всех и во всем  
 тихий Бог, тайный Бог  
 неизменно живет;  
 что весенний цветок,  
 ветерок, небосвод,  
 нежных тучек кайма,  
 и скала, и поток,  
 и, душа, ты сама —  
 всё одно, и всё — Бог.

24 ноября 1918  
 Крым

В хрустальный шар заключены мы были,  
 и мимо звезд летели мы с тобой,  
 стремительно, безмолвно мы скользили  
 из блеска в блеск блаженно-голубой.

И не было ни прошлого, ни цели;  
 нас вечности восторг соединил;  
 по небесам, обнявшись, мы летели,  
 ослеплены улыбками светил.



Но чей-то вздох разбил наш шар хрустальный,  
остановил наш огненный порыв,  
и поцелуй прервал наш безначальный,  
и в пленный мир нас бросил, разлучив.

И на земле мы многое забыли:  
лишь изредка вспомнится во сне  
и трепет наш, и трепет звездной пыли,  
и чудный гул, дрожавший в вышине.

Хоть мы грустим и радуемся розно,  
твое лицо, средь всех прекрасных лиц,  
могу узнать по этой пыли звездной,  
оставшейся на кончиках ресниц...

*26 ноября 1918  
Крым*

79

Лишь то, что писано с трудом, читать легко.

*Жуковский.*

Если вьется мой стих и летит и трепещет,  
как в лазури озер облака,  
если солнечный звук так стремительно плещет,  
если песня так зыбко-легка, —

ты не думай, что не было острых усилий,  
что напевы мои, как во сне,  
незаметно возникли и вдаль поспешили,  
своевольные, чуждые мне.

Ты не знаешь, как медлил восход боязливый  
этих ясных созвучий — лучей...  
Долго-долго вникал я, бесплотно-пытливый,  
в откровенья дрожащих ночей.

Выбирал я виденья с любовью холодной;  
я следил и душой и умом,  
как у бабочки влажной, еще не свободной,  
расправлялось крыло за крылом.

Каждый звук был проверен и взвешен прилежно,  
каждый звук, как себя, сознаю, —  
а меж тем назовут и пустой и небрежной  
быстролетную песню мою...

## 80. ОСЕННЯЯ ПЛЯСКА

Кружитесь, падайте...

Мы — смуглые дриады, —  
осенним шорохам и рады и не рады:  
лес обнажается, и фавны видят нас,  
и негде спрятаться от их янтарных глаз.

Шуршите, блеклые...

Вчера мы на поляне  
плясали в розовом предутреннем тумане;  
подбрасывали мы увядшие листья,  
и сыпались они так мягко с высоты, —  
холодным золотом на плечи к нам спадали...  
Шуршите, блеклые...

Вчера нас увидали,  
и встрепенулись мы и разбежались вмиг;  
за нами топот был, и чей-то звучный клик  
то рядом, то вдали — звенел и повторялся...

Шуршите, блеклые...

Край неба разгорался,  
и шумно мчались мы, кто плача, кто смеясь,  
и пестрые листья, за нами вслед кружась,  
летели, шелестя, по рощам и по скатам,  
и дальше — по садам, по розам, нами смятым, —  
до моря самого...

А мы — опять назад,  
в леса да на холмы, — куда глаза глядят!

## 81. БАШМАЧОК

Ты его потеряла в траве замирающей,  
в мягком сумраке пряных волн.  
Этот вечер был вздохов любви умоляющей  
и любви отвечающей полн.

Отклонившись с улыбкой от ласок непрошенных,  
от моих непонятных слов,  
ты метнулась, ты скрылась в тумане нескошенных,  
голубых и мокрых лугов.

Я бежал за тобою сквозь дымку закатную,  
но догнать я не скоро мог...  
Ты вздыхала, раздвинув траву ароматную:  
«Потеряла я башмачок!»

Наклонились мы рядом. Твой локон взволнованный  
чуть коснулся щеки моей;  
ничего не нашли мы во мгле заколдованной  
шелестящих, скользких зыбей.

И, счастливый, безмолвный, до садика дачного  
я тебя донес на руках,  
и твой голос звенел чище неба прозрачного  
и на сонных таял цветах.

Как теперь далеко это счастье душистое!  
Одинокий, в чуждой стране,  
вспоминаю я часто минувшее чистое,  
а недавно приснилось мне,

что, бродя по лугам несравненного севера,  
башмачок отыскал я твой —  
свежей ночью, в траве, среди туманного клевера, —  
и в нем плакал эльф голубой...

82

Сторожевые кипарисы  
благоуханной веют мглой,  
и озарен Ай-Петри лысый  
магометанскою луной.  
И чья-то тень из-за ограды  
упорно смотрит на меня,  
и обезумели цикады,  
в листе невидимо звеня.  
И непонятных, пряных песен  
грудь упоительно полна,  
и полусумрак так чудесен,  
и так загадочна луна!  
А там — глаза Шехеразады  
в мой звездный и звенящий сад  
из-за белеющей ограды,  
продолговатые, глядят.

Ты многого, слишком ты многого хочешь!  
 Тоскливо и жадно любя,  
 напрасно ты грезам победу пророчишь,  
 когда он глядит на тебя.

Поверь мне: он женщину любит не боле,  
 чем любят поэты весну...  
 Он молит, он манит, а сердце — на воле  
 и ценит лишь волю одну!

И зори, и звезды, и радуги мая —  
 соперницы будут твои,  
 и в ночь упоенья, тебя обминая,  
 он вспомнит о первой любви.

Пусть эта любовь мимолетно-случайно  
 коснулась и канула... Пусть!  
 В глазах у него замечается тайна —  
 тебе непонятная грусть...

Тогда ты почувствуешь холод разлуки.  
 Что ж делать! Целуй и молчи;  
 сияй безмятежно, и в райские звуки  
 твои превратит он лучи!

Но ты... ты ведь любишь властительно-душно,  
 потребуешь жертв от него;  
 а он лишь вздохнет, отойдет равнодушно —  
 и больше не даст — ничего...

Феина дочь утонула в росинке,  
 ночью, играя с влюбленным жучком.  
 Поздно спасли... На сквозной паутинке  
 тихо лежит. Голубым лепестком  
 Божьи коровки ей ножки покрыли,  
 пять светляков засияли кругом,  
 ладаном синим ей звезды кадили,  
 плакала мать, заслонившись крылом.

А на заре пробудилась поляна:  
бабочка скорбную весть разнесла...  
Что — ей до смерти? Бела и румяна,  
пляшет в луче и совсем весела.

Все оживляются... «Верьте, не верьте, —  
шепчут друзьям два нескромных цветка, —  
Феина дочь за мгновение до смерти  
здесь, при луне, целовала жучка!»  
Мимо идет муравей деловитый.  
Мошки не поняли, — думают — бал.  
Глупый кузнечик, под лютиком скрытый,  
звонко твердит: «Так и знал, так и знал...»  
Каждый спешит, кто — беспечно, кто — мрачно.  
Два паука, всех пугая, бегут.  
Феина дочь холодна и прозрачна,  
и на челе чуть горит изумруд.  
Как хороша! Этот тоненький локон,  
плечики эти, — кто б мог описать?  
Чуткий червяк, уж закутанный в кокон,  
просто не вытерпел, вылез опять.  
Смотрят, толкаются... Бледная фея  
плачет, склонившись на венчик цветка.  
День разгорается, ясно алея...  
Вдруг спохватилась: «Не видно жучка!»  
Феина дочь утонула в росинке,  
и на заре, незаметен и тих,  
красному блику на мокрой былинке  
молится маленький, черный жених...

85

Ты на небе облачко нежное,  
ты пена прозрачная на море,  
ты тень от мимозы на мраморе,  
ты эхо души неизбежное...  
И песня звенит безначальная.  
Зову ли тебя — откликаешься,  
ищу ли — молчишь и скрываешься,  
найду ли? Не знаю, о Дальняя...

Ты сон навеваешь таинственный.  
Взволнован я ночью туманною,  
живу я мечтой несказанною,  
дышу я любовью единственной.  
И счастье мне грезится дальнее,  
и снится мне встреча блаженная,  
и песня звенит вдохновенная,  
свиваясь в кольцо обручальное.

*23 декабря 1918*  
*Крым*

#### 86. НА КАЧЕЛЯХ

В листву узорчатую зыбко  
плеснула тонкая доска,  
лазури брызнула улыбка,  
и заблистали небеса.

И на мгновенье, над ветвями,  
я замер в пламени весны,  
держась простертыми руками  
за две звенящие струны.

Но ослепительно метнулась  
ликующая синева,  
доска стремительно качнулась,  
и снизу хлынула листва.

И лиловеющая зелень  
вновь заслонила небосвод,  
и очарованно-бесцелен  
дугообразный стал полет.

Так реял я, то опускаясь —  
мелькая тенью по листьям,  
то на мгновенье приближаясь  
к недостижимым облакам.

## 87. НОВЫЙ ГОД

«Скорей, — мы говорим, — скорей!»  
И звонко в тишине холодной  
захлопнулись поочередно  
двенадцать маленьких дверей...  
И удалившихся не жаль нам:  
да позабудутся они!  
Прошли те медленные дни  
в однообразии печальном.  
А те — другие, — что вошли  
в полуотрывшиеся двери, —  
те не печали, не потери,  
а только радость принесли.  
Но светлые дары до срока  
они — туманные — таят;  
столпились и во мгле стоят,  
нам улыбаясь издалека...

88

Ю. Р.

Как ты — я с отроческих дней  
влюблен в веселую опасность...  
Друг милый, родственную ясность  
я узнаю в душе твоей.

Мы беззаботно сердцем юны...  
(Пусть муза хмурится моя!)  
На хрупкой арфе бытия  
перебираем те же струны;

и в соловьином забытии  
поем, беспечно принимая  
от неба жизненного мая  
грозу и радугу любви.

Нам до грядущего нет дела,  
и прошлое не мучит нас.  
Дверь черную в последний час  
мы распахнем легко и смело.

Я верю сказкам вековым  
и откровеньям простодушным:  
мы встретимся в краю воздушном  
и шуткой звезды рассмешим...

1919

#### 89. УТРО

Как светозарно день взошел!  
Ну, не улыбка ли Господня?  
Вот лапки согнутые поднял  
нежно-зеленый богомол.

Ведь небеса и для него...  
Гляжу я, кроткий и счастливый...  
Над нами — солнечное диво,  
одно и то же Божество!

#### 90

На ярком облаке покоясь,  
ты проплываешь надо мной.  
Под липами, в траве сырой  
я отыскал твой узкий пояс.  
Он ослепляет серебром...  
Я удаляюсь... В песне четкой  
я расскажу дриаде кроткой  
об одиночестве моем...  
Под липами — ручей певучий;  
темнеют быстрые струи...  
Подкидывают соловьи  
цветные шарики созвучий...  
Вот и янтарная луна.  
В луче вечернем, чародейном  
ты дуновеньем легковейным  
на небеса унесена...



## 91. СКИФ

Ночь расплелась над Римом сытым,  
и голубела глубь амфóр,  
и трепетал в окне раскрытом  
меж олеандров звезд узор.

Как бы струя ночной лазури,  
плыл отдаленный лиры звон.  
Я задремал на львиной шкуре  
среди обнаженных, сонных жен.

И сон мучительный, летучий  
играл и реял надо мной.  
Я плакал: чудились мне тучи  
и степи Скифии родной!

## 92

Я был в стране Воспоминанья,  
где величаво, среди сиянья  
небес и золота песков,  
проходят призраки веков  
по пирамидам смугло-голым;  
где вечность, медленным глаголом  
вникая в сумерки души,  
волнует путника, — в тиши  
пред сфинксом мудрым и тяжелым.  
Ключ неразгаданных чудес  
им человечеству завещан...  
О, глаз таинственный разрез!..

На глыбе голубой, среди трещин,  
застыл божественный Рамзес  
в движенье тонко-угловатом...  
Изиды близится закат;  
и пальмы жестко шелестят,  
и туч — над Нилом розоватым —  
чернеют узкие струи...

Там — на песке сыром, прибрежном —  
я отыскал следы твои...

Там — в полудымке, в блеске нежном —  
пять тысяч лет тому назад —  
прошла ты легкими шагами  
и пела, — глядя на закат  
большими, влажными глазами...

<23 ноября 1921>

93

О, встречи дивное волнение!  
Взгляд зоревой... Крылатый крик...  
Ты осязаемо, виденье!  
К тебе я трепетно приник...

Я по морям туманным плавал,  
томился в пасмурной стране,  
и скучный бог и скучный дьявол  
бесцельно спорили во мне.

И на полночных перепутях  
Страсть появлялась предо мной —  
босая, в огненных лоскутьях,  
с закинутою головой...

Но не просил я ласок ложных;  
я тосковал в садах земных...  
Среди сомнительных и сложных  
искал я верных и простых.

О, достижение, крылья, зори!  
Мечта оправдана вполне!  
С алмазной песнею во взоре  
ты наклоняешься ко мне...

94. ПЧЕЛА

По ночам — во мгле лазурной —  
вспоминаю жизнь мою;  
поцелуев мед пурпурный  
в сотах памяти таю.

На заре — в тени росистой —  
о грядущем сны мои,  
о цветах — в траве душистой  
по краям путей любви.

А уж в полдень полновластный —  
в ту весеннюю страну  
прилечу пчелою красной  
и к твоим устам прильну!

#### 95. ПЕТР В ГОЛЛАНДИИ

Из Московии суровой  
он сюда перешагнул.  
Полюбил он моря гул,  
городок наш изразцовый;

и бродил вдоль берегов, —  
загорелый, грубый, юный.  
Ветер. Пепельные дюны.  
Стук далеких топоров.

Разноцветные заплаты  
парусов над рябью вод.  
Стая чаек. Небосвод, —  
как фаянс, зеленоватый.

Были мудры вечера.  
Кружки. Сонные соседи.  
Думы голосом победы  
звали плотника-Петра.

У стола мечтал он важно.  
Четко тикали часы.  
Помню: жесткие усы,  
взор жестокий и отважный,  
тень локтей и головы,  
полки в маленькой таверне,  
и на печке — блеск вечерний  
и квадраты синевы.

Не всё ли равно мне, рабой ли, наемницей,  
 иль просто безумной тебя назовут?  
 Ты светишь... Взгляну — и мне счастье вспомнится.  
 Да, эти лучи не зайдут.

Ты в страсти моей, и в страданиях торжественных,  
 и в женском медлительном взгляде была.  
 В полях озаренных, холодных и девственных,  
 цветком голубым ты цвела.

Ты осень водила по рощам заплаканным,  
 весной целовала ресницы мои.  
 Ты в душных церквах повторяла за дьяконом  
 слепые слова ектеньи.

Ты летом за нивой звенела зарницами,  
 в день зимний я в инее видел твой лик.  
 Ты ночью склонялась со мной над страницами  
 властительных, песенных книг.

Была ты и будешь. Таинственно создан я  
 из блеска и дымки твоих облаков.  
 Когда надо мною ночь плещется звездная,  
 я слышу твой реющий зов.

Ты — в сердце, Россия. Ты — цель и подножие,  
 ты — в ропоте крови, в смятенье мечты.  
 И мне ли плутать в этот век бездорожия?  
 Мне светишь по-прежнему ты.

1918  
 Крым

Эту жизнь я люблю иступленной любовью...  
 По заре выхожу на крыльцо.  
 Из-за моря багряного пламенной кровью  
 солнце буйно мне плещет в лицо...

Дуновенья весны, как незримые девы,  
 с ярким смехом целуют меня.

Многозвучная жизнь! Лепестки и напевы,  
и на всем — паутина огня!

И когда всё уйдет, и томиться я буду  
у безмолвного Бога в плену, —  
о, клянусь — ничего, ничего не забуду  
и на мир отдаленный взгляну.

С сожаленьем безмерным и с завистью чудной  
оглянусь — и замру я, следя,  
как пылает и катится шар изумрудный  
в полосе огневого дождя!

И я вспомню о солнце, о солнце победном,  
и о счастье каждого дня.  
Вдохновенье я вспомню, и ангелам бледным  
я скажу: отпустите меня!

Я не ваш. Я сияньем горю беззаконным  
в белой дымке бестрепетных крыл,  
и мечтами я там, где ребенком влюбленным  
и ликующим богом я был!

*18 марта 1919*

#### **98. КИПАРИСЫ**

Склонясь над чашею прозрачной —  
над чашей озера жемчужной,  
три кипариса чудно-мрачно  
шумят в лазури ночи южной.

Как будто черные монахи,  
вокруг сияющей святыни,  
в смятенье вещем, в смутном страхе,  
поют молитвы по-латыни.

#### **99. ЕЩЕ БЕЗМОЛВСТВУЮ**

Еще безмолвствую и крепну я в тиши.  
Созданий будущих заоблачные грани  
еще скрываются во мгле моей души,  
как выси горные в предутреннем тумане.

Приветствую тебя, мой неизбежный день.  
Всё шире, шире даль, светлей, разнообразней,  
и на звенящую, на первую ступень  
всхожу, исполненный блаженства и боязни.

*5 апреля 1919*  
*Крым*

#### 100. СТАМБУЛ

Всплывает берег на заре,  
летает ветер благовонный.  
Как бы стоит корабль наш сонный  
в огромном, круглом янтаре.

Кругами влагу бороздя,  
плеснется стая рыб дремотно,  
и этот трепет мимолетный —  
как рябь от легкого дождя.

Стамбул из сумрака встает:  
два резко-черных минарета  
на смуглом золоте рассвета,  
над озаренным шелком вод.

*Апрель 1919*  
*Золотой Рог*

#### 101

По саду бродишь и думаешь ты.  
Тень пролилась на большие цветы.

Звонкою ночью у ветра спроси:  
так же ль березы шумят на Руси?

Страстно спроси у хрустальной луны:  
так же ль на родине реки ясны?

Ветер ответит, ответят лучи...  
Всё ты узнаешь, но только смолчи.

*Фалер*

Что нужно сердцу моему,  
 чтоб быть счастливым? Так немного...  
 Люблю зверей, деревья, Бога,  
 и в полдень луч, и в полночь тьму.

И на краю небытия  
 скажу: где были огорченья?  
 Я пел, а если плакал я —  
 так лишь слезами восхищенья...

### 103. ВЕРБА

Колоколов напев узорный;  
 волнение мартовского дня;  
 в спирту зеленом чертик черный,  
 и пестрота, и толкотня;  
 и ветер с влажными устами,  
 и почек вербных жемчуга,  
 и облака над куполами,  
 как лучезарные снега;  
 и красная звезда на палке,  
 и писк бумажных языков,  
 и гул, и лужи, как фиалки,  
 в просветах острых меж лотков;  
 и шепот дерзких дуновений:  
 лети, признаний не таи! —  
 О, юность, полная видений!  
 О, песни первые мои!

*Париж*

### 104. РУСАЛКА

Пахнуло с восходом огромной луны  
 сладчайшею свежестью в плечи весны.

Колебясь, колдуя в лазури ночной,  
 прозрачное чудо висит над рекой.

Всё тихо и хрупко. Лишь дышит камыш;  
 над влагой мелькает летучаямышь.

Волшебно-возможного полночь полна.  
Река предо мною зеркально-черна.

Гляжу я — и тина горит серебром,  
и капают звезды в тумане сыром.

Гляжу — и, сияя в извилистой мгле,  
русалка плывет на сосновом стволе.

Ладони простерла и ловит луну:  
качнется, качнется и канет ко дну.

Я вздрогнул, я крикнул: взгляни, подплыви!  
Вздохнули, как струны, речные струи.

Остался лишь тонкий, сверкающий круг, —  
да в воздухе тает таинственный звук...

105

Разбились облака. Алмазы дождевые,  
сверкая, капают, то тише, то быстрее,  
с благоухающих, взволнованных ветвей.  
Так Богу на ладонь дни катятся людские;  
так — отрывается дыханьем бытия  
и звучно падает в пределы неземные  
        песнь каждая моя....

106

Мне так просто и радостно снилось:  
ты стояла одна на крыльце  
и рукой от зари заслонилась,  
а заря у тебя на лице.

Упадали легко и росисто  
луч на платье и тень на порог,  
а в саду каждый листик лучистый  
улыбался, как маленький бог.

Ты глядела, мое сновиденье,  
в глубину голубую аллея,



и сквозное листвы отраженье  
трепетало на шее твоей.

Я не знаю, что всё это значит,  
почему я проснулся в слезах...  
Кто-то в сердце смеется и плачет,  
и стоишь ты на солнце в дверях.

#### 107. ПАМЯТИ ДРУГА

В той чаще, где тысячи ягод  
краснели, как точки огня,  
мы двое играли; он на год,  
лишь на год был старше меня.

Игру нам виденья внушали  
из пестрых, воинственных книг,  
и сказочно сосны шуршали,  
и мир был душист и велик.

Мы выросли... Годы настали  
борьбы и позора и мук.  
Однажды, мне тихо сказали:  
«Убит он — веселый твой друг...»

Хоть проще всё было, суровой, —  
играл он всё в ту же игру.  
Мне помнится: каплями крови  
краснела брусника в бору.

#### 108

Простая песня, грусть простая;  
меж дальних веток блеск реки.  
Жужжат так густо, пролетая,  
большие майские жуки.

Закатов поздних несказанно  
люблю алеющую лень...  
Благоуханна и туманна,  
как веер выцветший, сирень.

Ночь осторожна, месяц скромн;  
проснулся филин; луг росист.  
Берез прелестных четко-темен  
на светлом небе каждый лист.

Как жемчуг в раковине алой  
мелькает месяц вдалеке,  
и веет радостью бывалой  
девичья песня на реке...

<22 декабря 1921>

### 109. ВЬЮГА

Тень за тенью бежит — не догонит,  
вдоль по стенке... Лежи, не ворчи.  
Стонет ветер? И пусть себе стонет...  
Иль тебе не тепло на печи?

Ночь лихая... Тоска избяная...  
Что ж не спится? Иль ветра боюсь?

Это — Русь, а не вьюга степная!  
Это корчится черная Русь!

Ах, как воеет, как бьется — кликуша!  
Коли можешь — пойд и спаси!  
А тебе-то что? Полно, не слушай...  
Обойдемся и так — без Руси!

Стонет ветер всё тише, всё тише...  
Да как взвизгнет! Ах, жутко в степи...  
Завтра будут сугробы до крыши...  
То-то вьюга! Да ну ее! Спи.

1919

### 110

Катится небо, дыша и блистая...  
Вот он — дар Божий, бери не бери!  
Вот она — воля, босая, простая,  
холод и золото звонкой зари!

Тень моя резкая — тень исполина.  
Сочные стебли хрустят под ступней.  
В воздухе звон. Розовеет равнина.  
Каждый цветок — словно месяц дневной.

Вот она — воля, босая, простая!  
Пух облаков на рассветной кайме...  
И, как во тьме лебединая стая,  
ясные думы восходят в уме.

Боже! Воистину мир Твой чудесен!  
Молча, собрав полевую росу,  
сердце мое, сердце, полное песен,  
не расплескав, до Тебя донесу...

### 111. ОСЕНЬ

И снова, как в милые годы  
тоски, чистоты и чудес, —  
глядится в безвольные воды  
румяный, редеющий лес.

Простая, как Божье прощенье,  
прозрачная ширится даль.  
Ах, осень, мое упоенье,  
моя золотая печаль!

Свежо, и блестят паутины...  
Шурша, вдоль реки прохожу;  
сквозь ветви и гроздь рябины  
на тихое небо гляжу.

И свод голубеет широкий,  
и стаи кочующих птиц —  
что робкие, детские строки  
в пустыне старинных страниц.

Часы на башне распевали  
над зыбью ртутною реки,  
и в безднах улиц возникали,  
как капли крови, огоньки.

Я ждал. Мерцали безучастно  
скучающие небеса.  
Надежды пели ясно-ясно,  
как золотые голоса.

Я ждал, по улицам блуждая,  
и на колесах корабли,  
зрачками красными вращая,  
в тумане с грохотом ползли.

И ты пришла, необычайна,  
меня заметила впотьмах,  
и встала бархатная тайна  
в твоих языческих глазах.

И наши взгляды, наши тени  
как бы сцепились на лету,  
и как ты вздрогнула в смятенье,  
мою предчувствуя мечту!

И в миг стремительно-горящий,  
и отгоняя, и маня,  
с какой-то жалобой звенящей  
оторвалась ты от меня.

Исчезла, струнно улетела...  
На плен ласкающей любви  
ты променять не захотела  
пустыни вольные свои.

И снова жду я, беспокойный, —  
каких чудес, какой тиши?  
И мечется твой ветер знойный  
в грядущих впадинах души.

<Август 1920>  
Лондон. Marble Arch

Звон, и радугой росистой  
 малый купол окаймлен...  
 Капай, частый, капай, чистый,  
 серебристый перезвон...

Никого не забывая,  
 жемчуг выплесни живой...  
 Плачет свечка восковая,  
 голубь дымно-голубой...

И ясны глаза иконок,  
 и я счастлив, — потому  
 что церковенька-ребенок  
 распевает на холму...

Да над нею, беспорочной,  
 уплывает на восток  
 тучка вогнутая, точно  
 мокрый, белый лепесток...

*<Январь 1920>*  
*Кембридж*

Будь со мной прозрачнее и проще:  
 у меня осталась ты одна.  
 Дом сожжен, и вырублены рощи,  
 где моя туманилась весна,

где березы грезили, и дятел  
 по стволу постукивал... В бою  
 безысходном друга я утратил,  
 а потом и родину мою.

И во сне я с призраками реял,  
 наяву с блудницами блуждал;  
 и в горах я вымыслы развеял,  
 и в морях я песни растерял.

А теперь о прошлом суждено мне  
 тосковать у твоего огня.

Будь нежней, будь искреннее. Помни,  
ты одна осталась у меня.

12 ноября 1919

### 115. ЗИМА

Только елочки упрямы, —  
зеленеют, — то во мгле,  
то на солнце. Пахнут рамы  
свежим клеем; на стекле  
перламутровый и хрупкий  
вьется иней цветок;  
на лазури, в белой шубке,  
дремлет сказочный лесок.

Утро. К снежному сараю  
в гору повезли дрова.  
Крыша искрится; по краю —  
ледяные кружева.  
Где-то каркает ворона;  
чьи-то валенки хрустят;  
на ресницы с небосклона  
блестки пестрые летят...

### 116

Мой друг, я искренно жалею  
того, кто, в тайной слепоте,  
пройдя всю длинную аллею,  
не мог приметить на листе  
сеть изумительную жилок,  
и точки желтых бугорков,  
и след зазубренный от пилки  
голуборогих червяков.

### 117. ВЕСНА

Взволнован мир весенним дуновеньем,  
вернулись птицы, и звенят ручьи

бубенчиками влаги. С умилением  
я разбираю мелочи любви  
на пыльных полках памяти. Прохладно  
в полях и весело в лесу; куда  
ни ступишь — крупный ландыш. Как вода,  
дрожит лазурь — и жалобно и жадно  
глядит на мир. Березы у реки —  
там, на поляне, сердцем не забытой,  
столпились и так просто, деловито,  
развертывают липкие листки,  
как будто это вовсе и не чудо;  
а в синеве два тонких журавля  
колеблются, и может быть, оттуда  
им кажется зеленая земля  
неспелым, мокрым яблоком...

118

Маркиза маленькая знает,  
как хороша его любовь.  
В атласный сад луна вступает,  
подняв напудренную бровь.  
Но медлит милый, — а былинке  
былинка сказывает сон:  
на звонком-тонком поединке  
он шпагой мстительной пронзен.  
Фонтаны плещут, и струисто  
лепечет жемчуг жемчугу:  
лежит он, мальчик серебристый,  
комочком шелка на лугу.  
Она бледнеет и со страхом,  
ища примет, глядит на птиц,  
полет их провожая взмахом  
по-детски загнутых ресниц.  
И всё предчувствие живее;  
рыданий душит горький зной,  
и укорачивает веер  
полупрозрачный, вырезной,  
то смутно-розовый, то сизый,  
свою душистую дугу, —  
а рот у маленькой маркизы —  
что капля крови на снегу...

## 119. СМЕРТЬ

Выйдут ангелы навстречу, —  
многорадужная рать;  
на приветствия отвечу:  
не хочу я умирать!

Надо мной сомкнутся крылья,  
заблестают, зазвенят...  
Только вспомню, что любил я  
теплых и слепых щенят.

## 120—136. КАПЛИ КРАСОК

### 1. ВСЕПРОЩАЮЩИЙ

Он горстью мягкою земли  
и кровь и слезы многим вытер;  
Он милосерден. В рай вошли  
блудница бледная и мытарь.

И Он своим святым простит,  
что золотые моли гибли  
в лампадах и меж слитых плит  
благоуханно-блеклых библий.

1919

### 2. JOIE DE VIVRE\*

И в утро свежее любви  
на берег женственно-отлогий  
мы выбежали, и твои  
босые вспыхивали ноги.

Мы задыхались в серебре  
осоки сочной; и, бывало,

---

\* Радость жизни (фр.). — *Рег.*



подставя зеркальце к заре,  
ты отраженье целовала.

1919

### 3. КРЫМСКИЙ ПОЛДЕНЬ

Черешни, осы — на лотках;  
и точно отсвет моря синий,  
на знойно-каменных стенах  
горят, горят глаза глициний.

Белы до боли облака;  
ручей звездой в овраге высох,  
и, как на бархате мука,  
седеет пыль на кипарисах.

1919

### 4. БЫЛИНКИ

Мы пели в поле, и луны  
блуждало блещущее диво.  
Былинка были так бледны,  
так колебались боязливо.

Мы шли, — и может быть, цветок,  
между былинками, в тревоге  
шепнул: «я вижу, — я высок:  
блуждают блещущие боги...»

1919

### 5. ХУДОЖНИК

Он отвернулся от холста  
и в сад глядит, любуясь свято  
полетом алого листка  
и тенью клена лиловатой;  
любуюсь всем, как сын и друг, —  
без недоверья, без корысти,  
и капля радужная вдруг  
спадает с вытянутой кисти.

1919

## 6. ЯБЛОНИ

Где ты, апреля ветерок —  
прелестный, в яблони влюбленный?  
Цветут, цветут, а ты снежок  
сдуваешь этот благовонный...

В былые, благостные дни,  
в холодном розовом тумане —  
да, сладко сыпались они —  
цветы простых очарований...

1919

## 7. РЕЧНАЯ ЛИЛИЯ

На лодке выцветшей — вдвоем —  
меж камышей мы проплываем.  
Я вялым двигаю веслом,  
ты наклоняешься над краем.

И зеленеет глубина,  
и в лени влаги появленье  
илей — белой, как луна, —  
встречаешь всхлипом восхищенья...

1919

## 8. В ЛЕСУ

Шептала, запрокинув лик,  
ты о разлуке предстоящей, —  
а я глядел, как бился блик  
на дне шушукующей чащи;

как — в дымке — ландыша душа  
дышала и как с тонкой ношей  
полз муравей, домой спеша, —  
такой решительный, хороший...

1919

## 9. ВДОХНОВЕНЬЕ

Когда-то чудо видел я;  
передаю созвучьям ныне  
то чудо, — но душа моя —  
как птица белая на льдине,  
  
и хоть горит мой стих живой,  
мне чуждо самому волнение.  
Я скован. Холод заревой  
кругом. И это — вдохновение...

1919

## 10. LA MORTE DE ARTHUR\*

Всё, что я видел, но забыл,  
ты, сказка гулкая, напомни;  
да: робким рыцарем я был —  
и пряжка резала плечо мне.

Да. Злая встреча у ручья —  
в тот вечер шелково-зеленый.  
Кольчуги вражьей чешуя,  
и конь под траурной попоной.

16 декабря 1919

## 11. DÉCADENCE

Там — говорят — бои, гроза...  
А в Риме сумеречном, — тонко  
подкрасив грустные глаза, —  
стихи расплескиваю звонко.

Но завтра... сердца стебелек  
я обнажу; из нежной раны —  
в воде надушенной — дымок  
возникнет матово-румяный...

1919

---

\* Смерть Артура (фр.) — Рег.

## 12. КРЕСТОНОСЦЫ

Когда мы встали пред врагом,  
под белоснежными стенами,  
и стрелы взвизгнули кругом, —  
Христос явился между нами.

Взглянул — и стрелы на лету  
в цветы и в звезды превратились  
и роем радостным Христу  
на плечи плавно опустились.

1919

## 13. КИМОНО

Дыханье веера, цветы,  
в янтарном небе месяц узкий...  
Зевая, спрашиваешь ты,  
как слово «happiness»\*по-русски.

А в тучках нежность хризантем,  
и для друзей я отмечаю,  
что месяц тающий — совсем —  
лимона ломтик в чашке чаю.

1919

## 14. MERETRIX\*

Твой крест печальный — красота,  
твоя Голгофа — наслажденье.  
Скользишь, безвольна и чиста,  
из сновиденья в сновиденье;

не изменяя чистоте  
своей таинственной, — кому бы  
ни улыбались в темноте  
твои затравленные губы.

1919

---

\* Счастье (англ.) — *Рег.*

\*\* Блудница (фр.) — *Рег.*

## 15. ДОСТОЕВСКИЙ

Тоскуя в мире, как в аду, —  
уродлив, судорожно-светел, —  
в своем пророческом бреду  
он век наш бедственный наметил.

Услыша вопль его ночной,  
подумал Бог: ужель возможно,  
что всё дарованное Мной  
так страшно было бы и сложно?

1919

## 16. АЭРОПЛАН

Скользнув по стоптанной траве,  
взвился он звучно, без усилия,  
и засияли в синеве  
давно задуманные крылья.

И мысли гордые текли  
под музыку винта и ветра...  
Дно исцарапанной земли  
казалось бредом геометра.

1919

## 17. НАПОЛЕОН В ИЗГНАНИИ

Дом новый, глухо знойный день, —  
и пальма, точно жестяная...  
Вот он идет; глядит на тень  
свою смешную, вспоминая

тень пестрых, шелковых знамен —  
у сфинкса тусклого на лапе...  
Остановился; жалок он  
в широкополой этой шляпе...

1919  
Лондон

## I

При звуках, некогда подслушанных минувшим, —  
 любовью молодой и счастьем обманувшим, —  
 пред выцветшей давно, знакомою строкой,  
 с улыбкой начатой, дочитанной с тоской,  
 порой мы говорим: ужель всё это было?  
 И удивляемся, что сердце позабыло,  
 какая чудная нам жизнь была дана...

## II

Однажды, грусти полн, стоял я у окна:  
 братишка мой в саду, — Бог весть во что играя, —  
 клал камни на карниз. Вдруг, странно замирая,  
 подумал я: ужель и я таким же был?  
 И в этот миг всё то, что позже я любил,  
 всё, что изведал я, — обиды и успехи, —  
 всё затуманилось при тихом, светлом смехе  
 восставших предо мной младенческих годов.

## III

И вот мне хочется в размер простых стихов  
 то время заключить, когда мне было восемь,  
 да, только восемь лет. — Мы ничего не просим,  
 не знаем в эти дни, но многое душой  
 уж можем угадать. — Я помню дом большой,  
 я помню лестницу, и мраморной Венеры  
 меж окон статую, и в детской — полусерый  
 и полузолотой непостоянный свет.

## IV

Вставал я нехотя. (Как будущий поэт,  
 предпочитал я сон действительности ясной.

Конечно — не всегда: как торопил я страстно  
медлительную ночь пред светлым Рождеством!)  
Потом до десяти, склонившись над столом,  
писал я чепуху на языке Шекспира,  
а после шел гулять...

V

Отдал бы я полмира,  
чтоб снова увидеть мир яркий, молодой, —  
который видел я, когда ходил зимой  
вдоль скованной Невы великолепным утром!  
Снег, отливающий лазурью, перламутром,  
туманом розовым подернутый гранит, —  
как в ранние лета всё нежит, всё пленит!

VI

Тревожишь ты меня, сон дальний, сон неверный...  
Как сказочен был свет сквозь арку над Галерной!  
А горка изо льда меж липок городских,  
смех девочек-подруг, стук санок удалых,  
рябые воробьи, чугунная ограда?  
О сказка милая, о чистая отрада!

VII

Увы! Всё, всё теперь мне кажется другим:  
собор не так высок, и в сквере перед ним  
давно деревьев нет, и уж шаров воздушных,  
румяных, голубых, всем ветеркам послушных,  
на серой площади никто не продает...  
Да что и говорить! Мой город уж не тот...

VIII

Зато остались мне тех дней воспоминанья:  
я вижу, вижу вновь, как, возвратясь с гулянья,

позавтракав, ложусь в кроватку на часок.  
В мечтаньях проходил назначенный мне срок...  
Садилась рядом мать и мягко целовала  
и пароходики в альбом мне рисовала...  
Полезней всех наук был этот миг тиши!

## IX

Я разноцветные любил карандаши,  
пахучих сургучей густые капли, краски,  
бразильских бабочек и английские сказки.  
Я чутко им внимал. Я был героем их:  
как грозный рыцарь смел, как грустный рыцарь тих,  
колени преклонен пред смутной, пред любимой...  
О, как влекли меня — Ричард непобедимый,  
свободный Робин Гуд, туманный Ланцелот!

## X

Картинку помню я: по озеру плывет  
широкий, низкий челн; на нем простерта дева,  
на траурном шелку, средь белых роз, а слева  
от мертвой, на корме, таинственный старик  
седою головой в раздумии поник,  
и праздно весло скользит по влаге сонной,  
меж лилий водяных...

## XI

Глядел я, как влюбленный,  
мечтательной тоски, видений странных полн,  
на бледность этих плеч, на этот черный челн;  
и ныне, как тогда, вопрос меня печалит:  
к каким он берегам — неведомым — причалит,  
и дева нежная проснется ли когда?



## XII

Назад, скорей назад, счастливые года!  
Ведь я не выполнил заветов ваших тайных,  
ведь жизнь была потом лишь цепью дней случайных,  
прожитых без борьбы, забытых без труда.  
Иль нет, ошибся я, далекие года!  
Одно в душе моей осталось неизменным, —  
и это — преданность виденьям несравненным, —  
молитва ясная пред чистой красотой.  
Я ей не изменил, и ныне пред собой  
Я дверь минувшего без страха открываю  
и без раскаянья бывшее призываю!

## XIII

Та жизнь была тиха, как ангела любовь.  
День мирно протекал. Я вспоминаю вновь —  
безоблачных небес широкое блистанье,  
в коляске медленной обычное катанье  
и в предзакатный час — бисквиты с молоком.  
Когда же сумерки сгущались за окном,  
и шторы синие, скрывая мрак зеркальный,  
спускались, шелестя, и свет полупечальный,  
полуотрадный ламп даль комнат озарял, —  
безмолвно, сам с собой, я на полу играл;  
в невинных вымыслах, с беспечностью священной,  
я жизни подражал по-детски вдохновенно;  
из толстых словарей мосты сооружал,  
и поезд заводной уверенно бежал  
по рельсам жестяным...

## XIV

Потом — обед вечерний.  
Ночь приближается, и сердце суеверней.  
Уж постлана постель, потушены огни.  
Я слышу над собой: Господь тебя храни...  
Кругом чернеет тьма, и только щель дверная  
полоской узкою сверкает, — золотая.  
Блаженно кутаюсь и, ножки подобрав,

вникаю в радуго обещанных забав...  
Как сладостно тепло! И вот я позабылся...

XV

И странно: мнится мне, что сон мой долго длился,  
что я проснулся лишь — теперь, и что во сне,  
во сне младенческом, приснилась юность мне;  
что страсть, тревога, мрак — всё шутка домового,  
что вот сейчас, сейчас ребенком встану снова  
и в уголку свой мяч и паровоз найду...  
Мечты!..

XVI

Пройдут года, и с ними я уйду,  
веселый, дерзостный, но втайне беззащитный,  
и после, может быть, потомок любопытный,  
стихи безбурные внимательно прочтя,  
вздохнет, подумает: он сердцем был дитя!

<Январь 1922>

138—147. АНГЕЛЫ

О лучезарных запою,  
лазурь на звуки разбивая...  
Блится лестница в раю,  
потоком с облака спадая.  
О, дуновенье вечных сил!  
На бесконечные ступени  
текут волнующихся крыл  
цветные, выпуклые тени.  
Проходят ангелы в лучах.  
Сияют радостные лики,  
сияют ноги, и в очах  
Бог отражается великий.  
Струится солнце им вослед;  
и ослепителен и сладок —  
над ступенями — свежий свет  
пересекающихся радуг...

## I

### СЕРАФИМЫ

Из пламени Господь их сотворил, и встали  
они вокруг Него, запели, заблистали  
и — ослепленные сияньем Божества —  
расправили крыла и заслонились ими,  
и очи вспыхнули слезами огневыми.  
«Бог, — лучезарная, безмерная Любовь!» —  
шестикрылатые запели Серафимы;  
метнулись, трепеща, приблизились и вновь  
откинулись, огнем божественным палимы;  
и слезы райские из ангельских очей  
свободно полились, блеснув еще светлей...  
Одни на небесах остались, и звездами  
их люди назвали. Они горят над нами,  
как знаки Вечности... Другие — с высоты  
упали в этот мир, и на земле их много:  
живые отблески небесной красоты,  
хвала, предчувствие сияющего Бога,  
и пламенной любви блаженная тревога,  
и вдохновенья жар, и юности мечты.

## II

### ХЕРУВИМЫ

Они над твердью голубой —  
покрыв простертыми крылами  
Зерцало Тайн — перед собой  
глядят недвижными очами  
и созерцают без конца  
глубокую премудрость Бога;  
и, содрогаясь вокруг Творца  
и нагибаясь, шепчут строго  
друг другу тихое: «Молчи!»  
и в сумрак вечности вникают,  
где жизнью тонкие лучи  
из мира в мир перелетают,  
где загораются они  
под трепетными небесами,  
как в ночь пасхальную огни  
свеч, наклонившихся во храме.

И бытие, и небосвод,  
и мысль над мыслями людскими,  
и смерти сумрачный приход —  
всё им понятно. Перед ними,  
как вереницы облаков,  
плывут, над безднами творенья,  
плывут расчисленных миров  
запечатленные виденья.

<1 мая 1921>

### III ПРЕСТОЛЫ

Стоял он на скале высокой, заостренной...  
В широкой утопала мгле  
земля далекая. Стоял он на скале,  
весь солнцем озаренный.

От золотых вершин равнину заслонив,  
клубились тучи грозовые,  
и только вдалеке сквозь волны их седые  
чуть вспыхивал залив.

И на горе он пел, задумчиво-прекрасный,  
и видел под собой грозу, —  
извивы молнии, сверкнувшие внизу, —  
и слышал гром неясный.

За тучей туча вдаль торжественно текла.  
Из трещин вылетели с шумом  
и пронеслись дугой над сумраком угрюмым  
два царственных орла.

Густая пелена внезапно встрепенулась,  
и в ней блеснул просвет косой.  
Прорвал он облака. Волшебна пред горой  
равнина развернулась.

И рощи темные, и светлые поля,  
и рек изгибы и слиянья,  
и радуги садов, и тени, и сиянья, —  
вся Божия земля!

И ясно вдалеке виднелась ширь морская,  
простор зеркально-голубой.  
И звучно ангел пел, из мира в край иной  
неспешно улетая.

И песнь растаяла в блуждающих лучах,  
наполнила всё мирозданье.  
Величие Творца и красоту созданья  
он славил в небесах...

#### IV

### ГОСПОДСТВА

Заботлива божественная мощь.  
Ей радостный дивится небожитель.  
Оберегает мудро Промыслитель  
волну морей и каждый листик рощ.

Земных существ невидимый Хранитель,  
послушных бурь величественный Вождь, —  
от молнии спасает Он обитель  
и на поля ниспосылает дождь.

И ангелы глядят, как зреет нива,  
как луг цветет. Когда ж нетерпеливо  
мы предаемся гибельным страстям

и поздняя объемлет нас тревога, —  
слетает в мир посланник чуткий Бога  
и небеса указывает нам.

#### V

### СИЛЫ

Поведал ангел мне:

порочная жена  
для ветренных утех покинула супруга,  
и вскоре умер он, — жестокого недуга  
недолгий, кроткий раб...

Из-за морей она,

вину свою познав, тревожно возвратилась;  
прощенья жаждала и только прах нашла...  
Ночь беспросветная, печали ночь сошла.  
Вдова бессонная рыдала и молилась,  
томима памятью блистательных грехов,  
и медленно брела по дому. Звон шагов,  
скрип половиц гнилых в покоях одиноких —  
всё было как упрек; и слезы без конца  
лились и сердце жгли. Исчез с ее лица  
румянец радостный. В ее мольбах глубоких,  
в дрожанье сжатых рук смерть ранняя была.  
Тускнели впалые, заплаканные очи, —  
но скорбная душа ответа всё ждала.  
Воистину она раскаялась в те ночи!  
И это видел Бог, и Он меня призвал  
и чудо совершить позволил:

я из рая  
спустился в некий сад, могилу отыскал,  
как вихорь, пролетел над гробовым крестом,  
и сила дивная, мне данная Творцом,  
вдохнула снова жизнь в безобразное тело...  
Земля растрескалась. Могила опустела.  
Передо мной стоял недавний труп, — теперь —  
широкоплечий муж; и я, взмахнув крылами:  
«Иди!» — сказал ему, и твердыми шагами  
он к дому подошел, раскрыл бесшумно дверь,  
вошел, — как некогда, — высокий, тихий,  
стройный  
благословил ее, в чело поцеловал —  
и вновь ушел во мрак с улыбкою спокойной.

## VI ВЛАСТИ

Чу! Крыльев шум... и слуги сатаны  
рассеялись пред ангелами Власти.  
И в нас самих, как бурей, сметены  
виденья зла, виденья темной страсти.  
Шум крыльев, клик... Летят они, трубя,  
могучие, багряно-огневые.  
Стремясь, гремят их песни грозовые.

Летят они, всё грешное губя.  
Спускаются; неправых строго судят,  
и перед ними падаем мы ниц.  
Они блестят, как множество зарниц,  
они трубят и души сонных будят.  
Открыло им закон свой Божество —  
Царь над царями грозно-величавый,  
и в отблеске Его безмерной славы,  
шумя, кружатся ангелы Его.

## VI НАЧАЛА

На чьем плече, как голубь, спит луна,  
и чья ладонь — под облаком румяным?  
Кем ставится стеклянная стена  
перед волной, на берегу песчаном?

Гул наших струн, и жизни каждый вздох,  
и бред земли — кто, кроме смертных, слышит?  
Вот — ночь, вот — день; скажи, кто там колышет  
кадило зорь? — Я вижу четырех:

на четырех цветных вершинах горных  
они стоят, и ты не знаешь, чей  
прекрасней лик, и тысячи очей  
горят у них на крыльях нежно-черных.

Один — всю твердь, как чашу, поднимает;  
отхлынуть тот велит волнам морским;  
один — земле взывающей внимает;  
тот — властвует над пламенем благим.

## VII АРХАНГЕЛЫ

Поставь на правый путь. Сомнения развей.  
Ночь давит над землей, и ночь в душе моей.  
Поставь на правый путь.

И страшно мне уснуть, и бодрствовать невмочь.  
Небытия намеки я чувствую в эту ночь.

И страшно мне уснуть.

Я верю — ты придешь, наставник неземной,  
на миг, на краткий миг восстанешь предо мной.

Я верю, ты придешь.

Ты знаешь мира ложь, бессилье, сумрак наш,  
невидимого мне попутчика ты дашь.

Ты знаешь мира ложь.

И вотходишь ты. Не мею и дрожу,  
движеньем верное руки твоей слежу.

И вотходишь ты.

Средь чуждой темноты я вижу путь прямой.  
О дух пророческий, ты говоришь, он мой  
среди чуждой темноты...

Но я боюсь идти: могу свернуть, упасть.  
И льстива, и страшна ночного беса власть,  
о, я боюсь идти.

«Не бойся: по пути ты не один пойдешь.  
Не будешь ты один, и если соскользнешь  
с высокого пути...»

## IX

### АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ

В часы полуночи унылой  
отчетливее сердца стук,  
и ближе спутник яснокрылый,  
мой огорченный, кроткий друг.

Он приближается, но вскоре  
я забываюсь, и во сне  
я вижу бурю, вижу море  
и дев, смеющихся на дне.

Земного, темного неверья  
он знает бездны и грустит,



и светлые роняет перья,  
и робко в душу мне глядит.

И веет, крылья опуская,  
очарованьем тишины  
и тихо дышит, разгоняя  
мои кошунственные сны...

И я, проснувшись, ненавижу  
губительную жизнь мою;  
тьнь отлетающую вижу  
и вижу за окном зарю.

И падают лучи дневные...  
От них вся комната светла:  
они ведь — перья золотые  
с его незримого крыла.

*<18–30 сентября 1918>*  
Крым

#### 148. КРЫМ

Назло неистовым тревогам  
ты, дикий и душистый край,  
как роза, данная мне Богом,  
во храме памяти сверкай.  
Тебя покинул я во мраке:  
качаясь, огненные знаки  
в туманном небе спор вели  
над гулом берегов коварных.  
Кругом на столбиках янтарных  
стояли в бухте корабли.  
В краю неласковом сучая,  
всё помню, — плавные поля,  
пучки густые молочая,  
вкус теплых ягод кизиля.  
Я любовался мотыльками  
степными, — с красными глазками  
на темных крылышках... Текла  
от тени к тени золотистой,  
подобна музыке волнистой,  
неизъяснимая Яйла!

О, тиховейные долины,  
полдневный трепет над травой,  
и холм — залет перепелиный...  
О, странный отблеск меловой  
расщелин древних, где у края  
цветут пионы, обагрят  
чертополоха чешую,  
и лиловеет орхидея...  
О, рощи буковые, где я  
подслушал, Пан, свирель твою!

Воображаю грань крутую  
и прихотливую Яйлы, —  
и там — таинственную тую,  
а у подножия скалы —  
сосновый лес... С вершины острой  
так ясно виден берег пестрый, —  
хоть наклонись да подбери.  
Там я не раз, весною дальней,  
встречал, как счастье, луч начальный  
и ветер сладостный зари...

Там — ночью звездной — я порою  
о крыльях грезил... Вдалеке,  
меж гулким морем и горою,  
огни в знакомом городке,  
как горсть алмазных ожерелий,  
небрежно брошенных, горели  
сквозь дымку зыбкую, и шум  
далеких волн и шорох бора  
мне посылали без разбора  
за роем рой нестройных дум!

Любил я странствовать по Крыму...  
Бахчисарая тополя  
встают навстречу пилигриму,  
слегка верхами шевеля.  
В кофейне маленькой, туманной  
эстампы английские странно  
со стен засаленных глядят.  
Лет полтораста им, — и боле:  
бои былые, — тучи, поле  
и куртки красные солдат.

И посетил я по дороге  
чертог увядший. Лунный луч  
белел на каменном пороге.  
В сенях воздушных капал ключ  
очарованья, ключ печали,  
и сказки вечные журчали  
в ночной прозрачной тишине,  
и звезды сыпались над садом.  
Вдруг Пушкин встал со мною рядом  
и ясно улыбнулся мне...

О, греза, — где мы не бродили!  
Дни чередились, как стихи...  
Баюкал ветер, а будили,  
в цветущих селах, петухи.  
Я видел мертвый город: ямы  
былых темниц, глухие храмы,  
безмолвный холм Чуфуткалэ...  
Небес я видел блеск блаженный,  
кремнистый путь, и скит смиренный,  
и кельи древние в скале.

На перевале отдаленном,  
приют старик полуслепой  
мне предложил с поклоном сонным.  
Я утомлен был... Над тропой  
сгущались душные потемки.  
В плечо мне врезался котомки  
линячий, узкий ремешок.  
К тому ж над лысиною горной  
повисла туча, словно черный,  
разбухший, бархатный мешок.

И тучу, полную жемчужин,  
проткнула с хохотом гроза, —  
и был уютен малый ужин  
в татарской хижине: буза,  
черешни, пресный сыр овечий.  
Темнело. Тающие свечи  
на круглом низеньком столе,  
порытом пестрой скатереткой, —  
мерцали ласково и кротко  
в пахучей, теплой полумгле.

И синим утром я обратно  
спустился к морю по пятам  
своей же тени. Неопратно  
цвели на кручах, тут и там,  
деревья тусклые Иуды.  
На камнях млели изумруды  
дремотных ящериц. Тропа  
вилась меж садилов веселых.  
Пел ручеек. На частоколах  
белели козьи черепа.

О, заколдованный, о, дальний  
воспоминаний уголок!  
Внизу, над морем, цвет миндальный,  
как нежно-розовый дымок,  
и за поляною поляна,  
и кедры мощные Ливана, —  
аллей пленительная мгла  
(любовь любви моей туманной!),  
и кипарис благоуханный,  
и восковая мушмула...

Меня те рощи позабыли...  
В душе остался мне от них  
лишь тонкий слой цветочной пыли...  
К закату листья дум моих  
при первом ветре обратятся, —  
но если Богом мне простятся  
мечты ночей, ошибки дня,  
и буду я в раю небесном, —  
— он чем-то издавна известным  
повеет, верно, на меня!

*<Январь 1921>  
Лондон*

#### 149. СОН НА АКРОПОЛЕ

Я эти сны люблю и ненавижу.  
Ты знаешь ли их странную игру?  
На миг один, как стая птиц роскошных,  
в действительность ворвется вдруг бывшее  
и вокруг тебя, сверкая, закружится  
и улетит, всю душу взволновав.

Я в первый раз Акрополь посещал...  
Убогий грек со страхом на мизинце,  
всё добросовестно мне объясняя,  
вводил меня в разрушенные храмы  
своих непостижимых предков.

Маки

алели меж камней; и мимолетно  
подумал я, что мраморные глыбы,  
усеянные маками, похожи  
на мертвецов с пурпурными устами...

Мы миновали желтые колонны  
и с вышины увидели окрестность.  
Взглянул я вниз, и чудо совершилось...  
То южное ли солнце подшутило  
над северной, тоскующей душой,  
иль слишком жадные глаза поэта  
мучительно и чудно обманулись —  
не ведаю... Но вдруг исчезли горы,  
гладь синяя мерцающего моря  
в цветущую равнину превратилась:  
Ромашек золотистые сердца,  
и вдовый цвет лиловый и пушистый,  
и колокольчики — я различал  
в траве густой, лоснящейся на солнце...

Преобразились белые Афины.  
Передо мной — знакомое село:  
всё — сизые, полуслепые избы,  
кабак с зеленой вывеской, часовня,  
да мальчики, играющие в бабки,  
да жалобно мычащая корова,  
да пьяница, и пьяный русский ветер,  
вздувающий рубашку на спине...

А там вдали, меж полем и деревней,  
я вижу лес, — как молодость, веселый,  
березовый, бледно-зеленый лес,  
и просветы тропинок своенравных...  
Как хочется предаться их извивам,  
блуждать, мечтать, срывать кору с берез  
и обнимать янтарный, влажный ствол —  
льнуть, льнуть к нему и грудью и губами

и кровь его медовую впивать!  
Всё вижу: блеск песчинки на тропе,  
и труп крота близ горки чернозема,  
и пестрого жука на черной шкурке...

А сам я (о, как сладко-совершенно  
мне это чудилось!) — я сам стою  
на деревенском кладбище, где дышит  
так пряно тень черемухи склоненной,  
где меж могил алеет земляника,  
где сыплются ольховые сережки  
на старые, горбатые кресты...

И нехотя очнулся я, и голос  
поскрипывал, прилежно рассуждая  
о стройности дорических колонн  
и о былых властительных богинях.  
Что мне до них? Я видел сон иной.

День увядал. Внизу горели окна.  
На запад шли оранжевые тучи.  
«Благодарю», — промолвил я поспешно,  
и на ладонь услужливого грека  
упало несколько монет дырявых.

Так — за мечту платил я серебром...

*<Май 1919>*  
*Афины*

## 150. СТРАНСТВИЯ

Ты много странствовал. Рассказ холодный твой  
я ныне слушаю не с завистью живой,  
а с чувством сложного, глухого сожаленья.  
Мне горько за тебя. Скитался долго ты;  
езде вокруг себя единой красоты  
разнообразные ты видел проявления,  
и многих городов в записках путевых  
тобой приведены звенящие названья.  
Но ты не испытал тоски очарованья.  
На желтом мраморе святотлици вековых,  
на крыльях пестрых птиц, роскошных насекомых  
узор ты примечал, не чуя Божества;  
стыдливой музыке наречий незнакомых

с улыбкой ты внимал, а выучил слова  
приветствий утренних, вечерних пожеланий;  
в пустынях, в городах, иль ночью на поляне,  
сияющей в лесу, как озеро, — о нет! —  
не содрогался ты, внезапно потрясенный  
сознанием бытия... И через много лет  
ты возвращаешься, — но смотришь изумленно,  
когда я говорю, что сладостно потом  
о странствиях мечтать, о прошлом золотом, —  
и вдруг припоминать, в тревоге, в умиленье  
мучительном, — не то, что знать бы всякий мог,  
а мелочь дивную, оттенок, миг, намек, —  
звезду над деревом да песню в отдаленье.

<Май 1921>

### 151

Над землю стоит голубеющий пар.  
Почки лип озарили аллею;  
и с нелепою песенкой первый комар  
мне щекочет настойчиво шею...

И тоску по иной, сочно-черной весне —  
вдохновенное воспоминанье, —  
ах, какую тоску! — пробуждает во мне  
комариное это жужжанье...

### 152. FOOTBALL

Я видел, за тобой шел юноша, похожий  
на многих; знал я всё: походку, трубку, смех.  
Да и таких, как ты, немало ведь, — и что же,  
люблю по-разному их всех.

Вы проходили там, где дружественно-рьяно  
играли мы, кружась под зимней синевой.  
Отрадная игра! Широкая поляна;  
пестрят рубашки; мяч живой

то мечется в ногах, как молния кривая,  
то — выстрела звучней — взвивается, и вот  
подпрыгиваю я, с размаху прерывая  
его стремительный полет.

Увидя мой удар уверенно-умелый,  
спросила ты, следя вращающийся мяч:  
знаком ли он тебе — вон тот в фуфайке белой,  
худой, лохматый, как скрипач.

Твой спутник отвечал, что, кажется, я родом  
из дикой той страны, где каплет кровь на снег,  
и, трубку пососав, заметил мимоходом,  
что я — приятный человек.

И дальше вы пошли. Туманясь, удалился  
твой голос солнечный. Я видел, как твой друг  
последовал, дымя, потом остановился  
и трубку стукнул о каблук.

А там всё прыгал мяч, и ведать не могли вы,  
что вот один из тех беспечных игроков,  
в молчанье, по ночам, творит, неторопливый,  
созвучья для иных веков.

*26 февраля 1920  
Кембридж*

153

Безвозвратная, вечно-родная, —  
эти слезы, чуть слышно звенящие,  
проливал я, тебя вспоминая!  
Поглядел я на звезды, горящие,  
как высокие, скорбные мысли,  
и лучи удлиннились колючие,  
ослепили меня, и повисли  
на ресницах жемчужины жгучие.

О, стекайте по тайным морщинам,  
слезы яркие, слезы тяжелые!  
Над минувшим, над счастьем единым —  
разгорайтесь, лучи невеселые...  
Всё ушло, все дороги смешались,  
разлюбил я напевы искусные...  
Только звезды у сердца остались,  
только звезды большие и грустные...

*<27 марта 1921>*



## 154. ДВИЖЕНЬЕ

Искусственное тел передвиженье —  
вот разума древнейшая любовь,  
и в этом жадно ищет отраженья  
под кожей кружащаяся кровь.

Чу! По мосту над бешеною бездной  
чудовище с зарницей на хребте  
как бы грозой неистово-железной  
проносится в гремящей темноте.

И, чуя, как добычу, берег дальний, —  
стоокие, — по морокам морей  
плывут и плещут музыкаю бальной  
чертоги исполинских кораблей.

Наклон, оправданное вычисленье,  
да четкий, повторяющийся взрыв —  
и вот оно, Дедала сновиденье,  
взлетает, крылья струнные раскрыв.

*20 марта 1920*

## 155. ТЕЛЕГРАФНЫЕ СТОЛБЫ

Столбов однообразных придорожных  
фарфоровые бубенцы и шесть  
гудящих струн.

Скользит за вестью весть —  
шум голосов бесчисленных, тревожных  
и жалобных, скользит из края в край.

И ты — на бледной полосе дороги,  
ты, странник загорелый, босоногий,  
замедли шаг и с ветром замирай,  
внимая проплывающему пенью.

Гудит, гудит уныние равнин,  
И каждый столб ложится длинной тенью,  
и путь далек, и ты один...

*11 мая 1920*

## 156. КАШТАНЫ

Цветущие каштаны, словно храмы  
открытые, сияют вдоль реки.  
Их красоту задуют ветерки  
задорные, но в этот вечер — самый  
весенний из весенних вечеров —  
они чудесней всех твоих даров,  
незримый Зодчий! Кто-то тихо, чисто,  
в цветах звенит (кто, ангел или дрозд?),  
и тени изумрудные слоистой  
листвы и грозди розовые звезд  
в воде отражены.

Я здесь, упрямый,  
юродивый, у паперти стою  
и чуда жду, и видят грусть мою  
каштаны, восхитительные храмы...

*20 мая 1920  
Кембридж*

## 157

Люблю в струящейся дремоте  
сливаться с вечером, когда  
вы смутно в памяти поете,  
о потонувшие года!

Люблю я тайные кочевья...  
Целую умерших, во сне.  
Колосья, девушки, деревья —  
навстречу тянутся ко мне.

Еще не дышит вдохновенье,  
а мир обычного затих:  
то неподвижное мгновенье —  
уже не боль, еще не стих.

И полумысли, полужвуки  
вплывают в дымчатый мой сон,  
белея в сумерках, как руки  
недорисованных Мадонн...

(Отрывок)

Твоих одежд воздушных я коснулся,  
и мелкие посыпались цветы  
из облака благоуханной ткани.  
Стояли мы на белых ступенях,  
в полдневный час, у моря, — и на юге,  
сверкая, колебались корабли.  
Спросила ты:

что на земле прекрасней  
темно-лиловых лепестков фиалок,  
разбросанных по мрамору?

Твои  
глаза, твои покорные глаза,  
я отвечал.

Потом мы побрели  
вдоль берега, ладонями блуждая  
по краю бледно-каменной огады.  
Синела даль. Ты слабо улыбалась,  
любуюсь парусами кораблей,  
как будто вырезанными из солнца.

29 мая 1920

### 159. РОМАНС

И на берег весенний пришли мы назад  
сквозь туман исступленных растений.  
По сырому песку перед нами скользят  
наши узкие черные тени.

Ты о прошлом твердишь, о разбитой волне,  
а над морем, над золотоглазым,  
кипарисы на склонах струятся к луне,  
и внимаю я райским рассказам.

Отражаясь в воде, колокольчики звезд  
непонятно звенят, а над морем  
повисает горящий, змеящийся мост,  
и как дети о прошлом мы спорим.

Вспоминаем порывы разбрызганных дней.  
Это больно, и это не нужно...  
Мы идем, и следы наших голых ступней  
наполняются влагой жемчужной.

8 июня 1920  
Кембридж

#### 160. ЛАСТОЧКИ

Инок ласковый, мы реем  
над твоим монастырем  
и над озером, горящим  
синеватым серебром.

Завтра, милый, улетаем —  
утром сонным в сентябре.  
В Цареграде — на закате,  
в Назарете — на заре.

Но на север мы в апреле  
возвращаемся, и вот  
ты срываешь, инок тонкий,  
первый ландыш у ворот;

и, не понимая птичьих  
маленьких и звонких слов,  
ты нас видишь над крестами  
бирюзовых куполов.

10 июня 1920

#### 161. ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Час задумчивый строгого ужина,  
Предсказанья измен и разлуки.  
Озаряет ночная жемчужина  
олеандровые лепестки.

Наклонился апостол к апостолу.  
У Христа — серебристые руки.  
Ясно молятся свечи, и по столу  
ночные ползут мотыльки.

12 июня 1920

Е. Л.

Она давно ушла, она давно забыла...  
 Ее задумчивость любил я... Это было  
 в апреле лет моих, в прелестные лета,  
 на севере земли... Печаль и чистота  
 сливались в музыку воздушную, в созвучья  
 нерукотворные, когда, раздвинув сучья,  
 отяжелевшие от желтых звезд и пчел,  
 она меня звала. Я с нею перечел  
 все сказки юности, туманные, как ивы  
 над серым озером, на скатах, где, тоскливый,  
 играл я лютикам на лютне, под луной...  
 Ее задумчивость любил я. Надо мной  
 она как облако склонялась золотое,  
 о чем-то сетуя и в счастье простое  
 уверовать боясь. Ее полуобняв,  
 рассказывал я сны. Тогда, глаза подняв  
 (и лучезарная в них осень улыбалась),  
 она глядела вдаль; и плавно колебалась  
 тень ивовой листвы на платье, на плечах  
 ее девических, а волосы в лучах  
 горели призрачно... и всё так странно было...  
 Она давно ушла, она давно забыла...

М. Ш.

Я видел, ты витала меж алмазных  
 стволов и черных листьев, под луной;  
 воздушно выбегала из бессвязных  
 узоров сумрака на луг лесной.

Твое круженье было молчаливо,  
 как ночь, и вдохновенно — как любовь...  
 Руками всплескивала, и тоскливо  
 склонялась ты, и улетала вновь.

И волосы твои струились, ноги  
стремительно сияли, и луна  
в глазах плясала... Любовались боги  
лесные, любовалась тишина...

А жизнь, а жизнь, распутывая тени,  
к тебе тянулась, бредила, звала, —  
но пенем согласованных движений  
ты властно заколдована была...

164

Кто меня повезет  
по ухабам домой,  
мимо сизых болот  
и струящихся нив?  
Кто укажет кнутом,  
обернувшись ко мне,  
меж берез и рябин  
зеленеющий дом?  
Кто откроет мне дверь?  
Кто заплачет в сенях?  
А теперь — вот теперь —  
есть ли там кто-нибудь,  
кто почуял бы вдруг,  
что в далеком краю  
я брожу и пою,  
под луной, о былом?

*18 августа 1920  
Берлин*

165. ПАВЛИНЫ

Павы ходили, перье ронили,  
а за павами красная Панна,  
Панна Марья перье зберала,  
веночек вила.

*(Стих пинских калик перехожих)*

Видели мы, нищие, как Мария Дева  
проходила мимо округлого дворца;

словно отголосок нездешнего напева —  
веяло сиянье от тонкого лица.

Облаков полдневных, бесшумно-своенравных,  
в синеве глубокой дробилось серебро.  
Из-под пальмы выплыли три павлина плавных  
и роняли перья, и каждое перо —

то в тени блестящее, то — на солнце сонном,  
легкое, зеленое, с бархатным глазком,  
темною лазурью волшебно окаймленным, —  
падало на мрамор изогнутым цветком.

Видели мы, нищие, — как с улыбкой чудной  
Дева Несравненная перья подняла  
и венок мерцающий, синий, изумрудный,  
для Христа-ребенка в раздумии сплела.

<7 января 1921>

#### 166. В РАЮ

Здравствуй, смерть! — и спутник крылатый,  
объясняя, в рай уведет,  
но внезапно зеленый, зубчатый,  
нежный лес предо мною мелькнет.

И немой, в лучистой одежде,  
я рванусь и в чаще найду  
прежний дом мой земной, и как прежде  
дверь заплачет, когда я войду.

Одуванчик тучки апрельской  
в голубом окошке моем,  
да диван из березы карельской,  
да семья мотыльков под стеклом.

Буду снова земным поэтом:  
на столе открыта тетрадь...  
Если Богу расскажут об этом,  
Он не станет меня укорять.

13 сентября 1920  
Кембридж

Мерцательные тикают пружинки,  
и осыпаются календари.  
Кружатся то стрекозы, то снежинки,  
и от зари недолго до зари.

Но в темном переулке жизни милой,  
как в городке на берегу морском,  
есть некий гул; он дышит смутной силой,  
он ширится; он с детства мне знаком.

И ночью перезвоном волн да кликом  
струн, дальних струн, неисчислимых струн,  
взволнован мрак, и в трепете великом  
встаю на зов, доверчив, светел, юн...

Как чувствуешь чужой души участие,  
я чувствую, что ночи звезд полны;  
а жизнь летит, горит и гаснет счастье,  
и от весны недолго до весны.

*14 августа 1921*

#### 168. ЛЕС

Дорога в темноте печалится лесная,  
о давних путниках как будто вспоминая, —  
о бледном беглеце, о девушке хромой...  
Улыбка вечера под низкой бахромой  
туманно-гладких туч алеет сквозь ольшаник...  
Иди себе да пой, упорный Божий странник;  
к тебе навстречу ночь медлительно летит;  
всё глуше под листвою дорога шелестит,  
истлевшую красу вбирая всё покорней,  
и всюду расползлись уродливые корни,  
как мысли черные чудовищной души...  
Лес жаден, ночь слепа, ночлег далек; спеши!  
Чу! Ветер или зверь? Не ведаешь... То справа,  
в тумане меж стволов, пустынно-величава,  
распустится луна, то слева, из листвы,  
тропинка выбежит, — и жуткий гук совы  
проснется в глубине, как всплеск на дне колодца.



Порою же мелькнут над отблеском болотца  
семь-восемь сосенок причудливой чредой;  
в луче ты различишь цветов пушок седой  
да ягоды глухой, дремотной голубицы.  
Пройдешь, заденешь ветвь — и плач незримой  
птицы  
вновь скатится, замрет, и длительный двойник  
ответит издали...

Да, сказочен твой лик,  
да, чуден ропот твой, о хмурый, о родимый!  
Под тучами листвы звучат неутомимо —  
от внешних сумерек, до пасмурной зари —  
лесные голоса; поди же, разбери,  
что клич разбойничий, что посвист соловьиный!  
Все отзвуки земли слились в напев единый,  
и ветер мечется, и, ужаса полна,  
под каждой веткою свивается луна...

Так ночью бредит лес — величественно-черный,  
и лютый, и родной... О, путник, ты, упорной  
да ровной поступью, да с песнями, — иди,  
пока в нечаянном просвете, впереди,  
не развернется даль полей — еще лиловых  
в тот свежий, юный час. О странствиях суровых  
тогда забудешь ты. За полем вспыхнет день  
на крышах; имена оврагов, деревень  
чирикнуть в памяти, простые, дорогие...

И это вещей путь, и это — ты, Россия!

<27 ноября 1920>

### 169. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я всем вам говорю, о странники! Нежданный,  
глубокий благовест прольется над туманной  
землей, и, полный птиц, волнистый встанет лес.  
Черемухой пахнёт из влажного оврага,  
и ветру вешнему неведомый бродяга  
ответит радостно: воистину воскрес!  
В полях, на площадях, в толпе иноплеменной,  
на палубе, где пыль волны неугомонной

бессонного кропит, — да, где бы ни был он, —  
как тот, кто среди пустой беседы вдруг приметит  
любимый лик в окне, — так встанет он и встретит  
свой день, свет ласковый и свежий, свет и звон...  
И будет радостно и страшно возвращенье!  
Могилы голые найдем мы, разрушенье...  
Неузнаваемы дороги; всё смела  
гроза глумливая; пустынен край, печален...  
О, чудо! Среди глухих дымящихся развалин,  
раскрывшись, радуга пугливая легла...  
И строить мы начнем; и сердце будет строго,  
и ясен будет ум... Да, мучились мы много!  
Нас обнимала ночь, как плачущая мать,  
и зори над землей печальные лучились,  
и в дальних городах мы, странники, учились  
отчизну чистую любить и понимать.

*<10 декабря 1920>  
Кембридж*

#### 170. ПОЭТ

Он знал: отрада и тревога  
и всё, что зримо на земле, —  
всё только бред и прихоть Бога,  
туман дыханья на стекле!

Но от забвенья до забвенья  
ему был мир безмерно мил,  
и зной бессменный вдохновенья  
звукователя томил.

На крыльях чудного недуга  
летя вдоль будничных дорог,  
дружил он с многими, но друга  
иметь он, огненный, не мог!

И в час сладчайший, час напрасный,  
коснувшись бледных тайн твоих,  
в долине лилий сладострастной  
он лишь сорвал душистый стих!

## 171. ОСЕНЬ

Вот листопад. Бесплотным перезвоном  
сад окроплен. Свод легок и высок.  
Клен отдает со вздохом и с поклоном  
последний свой узорный образок.

И на листе огнистый ангел вышит,  
и радужна меж грядок борозда,  
и у крыльца стеклянного чуть дышит  
сиротка-ель, как черная звезда.

<2 октября 1921>

## 172. ПОДРАЖАНИЕ ДРЕВНИМ

Дия, мой бледный цветок, поверь ты случайному  
другу!

Звезд непорочных полна мраморной просади глубь.

Муж твой не видит, вставай, уходи ты отсюда,

молю я!

Дышит стоокая ткань, сердце амфоры горит;  
ластятся к тучному богу блудницы, как легкие волны;  
брови блаженно подняв, пьет он, чудовищный Вакх;  
пьет он, и липкая влага, рыжую шерсть обагроя,  
льется по жирной груди. Тут же, в сиянье цветном,  
выпятив смуглый живот, пьяный мальчик, смеясь,

орошает

смятый, упавший венок рдяных уродливых роз.

Песни. Бесстыдные стоны. Золотоногая дева

вьется среди томных гостей, вторя движеньям любви;

вот разбежался один, поймал на лету плясунью,

и покатился тимпан по полу, праздно звеня.

Дия, молю я, уйдем! Твой муж поседелей, беззубый,  
спит, благодарно прильнув к вялому юноше... Встань,  
выйдем мы в сад незаметно; там тихо, пустынно;

грозди

лунного света и мглы пышно свисают с ветвей.

Сочная ночь над землей алмазным стоит ветроградом;  
жажду полней утолит сладость холодная звезд.

Дия, мои корабли ожидают в недалеком заливе!  
В край увезу я тебя стройный, как зодчего сон...  
Горы там, горы одни! Вырезные, немые вершины,  
гордо прорвав облака, внемлют бесплотным богам...  
Будем мы там пировать в гостях у луны величавой,  
рядом, на черной скале... Дия, мой бледный цветок...

Берлин

### 173. LAWN TENNIS

Юноша, белый и легкий, пестрым платком подпоясан;  
ворот небрежно раскрыт, правый отвернут рукав.  
Встал он, на гладком лугу, за черту, проведенную  
мелом,  
голову поднял с улыбкой, мяч серебристый подкинул, —  
выгнувшись, плавно взмахнул многострунной  
широкой лаптою, —  
миг — и со звуком тугим мяч отлетает, и бледной  
молнией падает там, где стоит, ожидая, такой же  
юноша, белый и легкий; миг — и со звуком ответным  
мяч возвращается вновь через сетку, чуть вздутую  
ветром.  
Мягкие синие тени бегут по траве озаренной.  
Поодаль зыблется вяз. На ступени, у двери  
стеклянной,  
лоснится лейка забытая. Дышат, блестят занавески.  
В доме прохладно и пусто; а тут на упругой поляне  
гонится ветер за солнцем, и будет до вечера длиться  
легких мячей перезвон — юности белой игра...

### 174. БАБОЧКА

(*Vanessa antiopa*)

Бархатно-черная, с теплым отливом сливы созревшей,  
вот распахнулась она; сквозь этот бархат живой  
сладостно светится ряд васильково-лазоревых зерен  
вдоль круговой бахромы, желтой, как зыбкая рожь.  
Села на ствол, и дышат зубчатые нежные крылья,  
то припадая к коре, то обращаясь к лучам...  
О, как ликуют они, как мерцают божественно!  
Скажешь:

голубоокая ночь в раме двух палевых зорь.  
Здравствуй, о, здравствуй, греза березовой северной  
рощи!  
Трепет, и смех, и любовь юности вечной моей.  
Да, я узнаю тебя в Серафиме при дивном свиданье,  
крылья узнаю твои, этот священный узор.

10 января 1921

### 175. ВЕЛОСИПЕДИСТ

Мне снились полевые дали,  
дороги белой полоса,  
руль низкий, быстрые педали,  
два серебристых колеса.

Восторг мне снился, буйно-юный,  
и упоенье быстроты,  
и меж столбов стальные струны,  
и тень стремительной версты.

Поля, поля, и над равниной  
ворона тяжело летит.  
Под узкой и упругой шиной  
песок бежит и шелестит.

Деревня. Длинная канава.  
Сирень цветущая вокруг  
избушек серых. Слева, справа  
мальчишки выбегают вдруг.

Вдогонку шапку тот бросает,  
тот кличет тонким голоском,  
и звонко собачонка лает,  
вертясь пред зыбким колесом.

И вновь поля, и голубеет  
над ними чистый небосвод.  
Я мчусь, и солнце спину греет,  
и вот неожиданно поворот.

Колеса косо пробегают,  
не попадая в колею.  
Деревья шумно обступают.  
Я вижу старую скамью.

Но разглядеть не успеваю,  
чей вензель вырезан на ней.  
Я мимо, мимо пролетаю,  
и утихает шум ветвей.

30 сентября 1918

176

Вдохновенье — это сладострастье  
человеческого «я»:  
жарко возрастающее счастье —  
миг небытия.

Сладострастье — это вдохновенье  
тела, чуткого, как дух:  
ты прозрел, ты вспыхнул на мгновенье, —  
в трепете потух.

Но когда услада грозовая  
пронеслась и ты затих, —  
в тайнике возникла жизнь живая:  
сердце или стих...

Кёльн

177

Обезьяну в сарафане  
как-то ряженный привел;  
вперевалку подбежала,  
мягко вспрыгнула на стол.

Села (бисерные глазки,  
гносно выпученный рот...), —  
с человеческой ужимкой  
книгу чудище берет;

книгу песен, книгу неги....  
А она-то лапой хватать! —  
вмиг обнюхала страницы  
и давай их вырывать!

Пальцы рыжие топырит;  
молчаливо, с быстротой

деловитою, кромсает  
сердце книги золотой...

<25 января 1921>

178

Карлик безрукий во фраке,  
глупый, неловкий пингвин,  
помнишь сиянье во мраке,  
синие выступы льдин?

Помнишь зарницы ночные,  
кольца и складки огня?  
Помнишь туманы седые  
длинного, длинного дня?

Грустная птица, смешная,  
глядя на нас, на людей,  
плачешь ли ты, вспоминая  
ласковых, черных моржей?

Помнишь ли птицу-подругу,  
встречи на высшей скале,  
вьюгу, волшебную вьюгу,  
снежные вихри во мгле...

Ах, эти встречи! А ныне:  
душный, искусственный грот,  
имя твое по-латыни,  
пятиалтынный за вход...

#### 179. ИТАЛЬЯНКЕ

К тебе, в минувшее, к иной, чудесной доле  
душа моя плывет в зазубристой гондоле;  
осталось горе за кормой.

Я рад, что до конца молчали мы упрямо,  
что в пышный, страшный сад не вышли мы из храма  
любви глубокой и немой:  
на каменных устах прекрасного былого  
улыбкою горит несказанное слово,  
невоплощенная мечта, —

как световой двойник стоцветной, вечной зыби,  
дрожащий, над водой, на внутреннем изгибе  
венецианского моста...

*17 февраля 1921*  
*Кембридж*

#### 180. НА ГОЛГОФЕ

Восходит благовоние сырое  
со дна долин, и в небе, над холмом,  
на трех крестах во мгле белеют трое...  
Там женщина, в унынии немом,  
на среднего, на черную вершину  
глядит, глядит... провидеть ей дано,  
что, в горький час, ее земному сыну  
всего живей вспомнилось одно...  
Да, — с умиленьем сладостным и острым  
(колени сжав, лицо склонив во мглу...)  
он вспомнил домик в переулке пестром,  
и голубей, и стружки на полу.

*<23 февраля 1921>*

#### 181

Блаженство мое, облака и блестящие воды  
и всё, что пригоршнями Бог мне дает!  
Волнуясь, душа погружается в душу природы,  
и розою рдеет, и птицей поет!

Купаюсь я в красках и звуках земли многоликой,  
всё яркое, стройное жадно любя.  
Впитал я сиянье, омылся в лазури великой,  
и вот, сладость мира, я славлю тебя!

Я чувствую брызги и музыку влаги студенной,  
когда я под звездами в поле стою,  
и в капле медвяной, в росинке прозрачно-зеленой  
я Бога и мир и себя узнаю.

Заря ли, смеясь, восстает из смятенья цветного,  
я к голой груди прижимаю ее...  
Я — в яблоке пьяная моль, и мне рая иного  
не надо, не надо, блаженство мое!



Я без слез не могу  
тебя видеть, весна.  
Вот стою на лугу,  
да и плачу навзрыд.

А ты ходишь кругом,  
зеленея, шурша...  
Ах, откуда она,  
эта жгучая грусть!

Я и сам не пойму;  
только знаю одно:  
если б иволга вдруг  
зазвенела в лесу,

если б вдруг мне в глаза  
мокрый ландыш блеснул —  
в этот миг, на лугу,  
я бы умер, весна...

*1 апреля 1921*

### 183. ДОМОЙ

На мызу, милые! Ямщик  
вожжою овода прогонит,  
и — с Богом! Жаворонок тонет  
в звенящем небе, и велик,  
и свеж, и светел мир, омытый  
недавним ливнем: благодать,  
благоуханье. Что гадать?  
Всё ясно, ясно; мне открыты  
все тайны счастья; вот оно:  
сырой дороги блеск лиловый;  
по сторонам то куст ольховый,  
то ива; бледное пятно  
усадыбы дальней; рощи, нивы,  
среди колосьев васильки;  
зеленый склон; изгиб ленивый  
знакомой тинистой реки.  
Скорее, милые! Рокочет

мост под копытами. Скорей!  
И сердце бьется, сердце хочет  
взлететь и перегнать коней.  
О, звуки, полные былого!  
Мои деревья, ветер мой,  
и слезы чудные, и слово  
непостижимое: домой!

<2 октября 1921>

#### 184. БЕРЕЗЫ

Стволы сквозь легкое, зеленое сиянье  
белеют, тонкие, и воздух освежен  
грозой промчавшейся. Чуть слышный перезвон  
дробится надо мной, чуть слышное журчанье;  
и по невидимым качается волнам  
трава, вся в теневых лиловых паутинах,  
вся в ослепительных извилинах; а там,  
меж светлых облаков роскошно-лебединых,  
струится радуга и смутно с высоты  
мне улыбается, в лазури влажной тая,  
такая нежная, невинная, святая,  
что умиленные склоняются листья,  
роняя длинные, сверкающие слезы;  
и это жизнь моя, и это край родной,  
родная красота; и льется надо мной  
сиянье легкое, зеленое — березы...

<1 мая 1921>

#### 185. ПОЭТЫ

Что ж! В годы грохота и смрада,  
еще иссякнуть не успев,  
журчит, о бледная отрада,  
наш замирающий напев...  
И, слабый, ласковый, ненужный,  
он веет тонкою тоской,  
как трепет бабочки жемчужной  
в окне трескучей мастерской.

Так беспощаден гул окрестный,  
людей так грубы города,

нам так невесело и тесно, —  
что мы уходим навсегда...  
И, горько сжав сухие губы,  
глядим мы, падшие цари,  
как черные дымятся трубы  
среди перьев розовых зари.

26 апреля 1921  
Кембридж

### 186. BIOLOGY

Муза меня не винит: в науке о трепетах жизни  
всё — красота. Искромсав осторожно липовый  
листик,  
винт золотой верчу, пока не наметятся ясно  
в круглом белом просвете святые зеленые соты;  
или же сердцем живым распятой лягушки люблюсь:  
сладостно рдеет оно, будто спелая, липкая вишня.  
Режу, дроблю, вникаю; вижу сокрытые мышцы,  
ветви несметных жил, и, что вижу, мелкими цветными  
четко черчу на доске.

Сверкают стекла; невнятно  
пахнет эфиром и прелью в комнате длинной  
и светлой.  
Радостен тонкий труд, и радостно думать, что дома  
ждет меня томик стихов и музой набитая трубка.

Кембридж

### 187. В. Ш.

Если ветер судьбы, ради шутки,  
дохнув, забросит меня  
в тот город желанный и жуткий,  
где ты вянешь день ото дня,

и если на улице яркой,  
или в гостях, у новых друзей,  
или там, у дворца, под аркой,  
среди лунных круглых теней,

мы встретимся вновь, — о Боже,  
как мы будем плакать тогда

о том, что мы стали несхожи  
за эти глухие года;

о юности, в юность влюбленной,  
о великой ее мечте;  
о том, что дома на Мильонной  
на вид уж совсем не те.

*28 апреля 1921  
Кембридж*

### 188. ХУДОЖНИК-НИЩИЙ

Нередко на углу, под серою стеной,  
видал я нищего: безногий и больной,  
он в красках выражал свой вымысел нехитрый.  
Газетный лоскуток служил ему палитрой;  
его дрожащая, багровая рука  
писала тщательно цветы и облака  
на плитах каменных. Вот кончил. Робким взглядом  
прихожего зовет, сутулится, а рядом  
мечтает о гроше зияющий картуз.

И вспомнил я свой дар, ненужных светлых муз,  
недолговечные созвучья и виденья, —  
когда на улице, средь гула и движенья  
бесчувственных колес, не встретил я вчера  
калеки моего... Да что! Как из ведра  
бездонного, лил дождь, и каменные плиты  
блестели холодно, и краски были смыты...

### 189—190. ОБЛАКА

#### I

На солнце зóлотом сверкает дождь летучий,  
озера в небесах синеют горячо,  
и туча белая из-за лиловой тучи  
встает, как голое плечо.

Молчи, остановись... Роняют слезы рая  
соцветья вешние, склоняясь через плетень,

и на твоём лице играет их сырая,  
    благоухающая тень.

Не двигайся, молчи. Тень эту голубую  
я поцелуями любовно обогну.  
Цветы колышутся... я счастлив. Я целую  
    запечатленную весну.

*<22 мая 1921>*

## II

Закатные люблю я облака:  
над ровными, далекими лугами  
они висят гроздистыми венками,  
и даль горит, и молятся луга.

Я внемлю им. Душа моя строга,  
овеяна неизвестными веками:  
с кудрявыми багряными богами  
рядом плыл в те вольные века.

Я облаком в вечерний чистый час  
вставал, пылал, туманился и гас,  
чтоб вспыхнуть вновь с зарею неминучей.

Я облетал всё зримое кругом,  
блаженствовал и, помню, был влеком  
жемчужной тенью, женственной тучей.

*17 мая 1921  
Берлин*

## 191. ПИР

Так лучезарна жизнь, и радостей так много.  
От неба звездного чуть слышный веет звон:  
бесчисленных гостей полны чертоги Бога;  
    в один из них я приглашен.

Как нищий, я пришел; но дали мне у двери  
одежды светлые, и распахнулся мир:  
со стен расписанных глядят цветы и звери,  
    и звучен многолюдный пир.

Сижу я и дивлюсь... По временам, бесшумно  
дверь открывается в мерцающую тьму.  
Порою хмурится сосед мой неразумный,  
а я — я радуюсь всему:

и смоквам розовым, и сморщенным орехам,  
и чаше бражистой, и дани желтых пчел;  
и часто на меня со светлым, тихим смехом  
хозяин смотрит через стол.

22 мая 1921

### 192. БЕЛЫЙ РАЙ

Рай — широкая, пустая  
оснеженная страна:  
призрак неба голубого,  
тишь и белизна...

Там над озером пушистым,  
сладким холодом дыша,  
светит леса молодого  
белая душа...

Там блаженствовать я буду  
в блеске сети ледяной,  
пробираться, опьяненный  
вечной белизной,

и, стрелой из-под веток  
вылетая на простор,  
на лучистых, легких лыжах  
реять с белых гор.

23 мая 1921  
Кембридж

### 193. КОНИ

Гнедые, грузные, по зелени сырой  
весенней пажити, под тусклыми дубами,  
они чуть двигались и мягкими губами  
вбирали сочные былинки, и зарей,  
вечернею зарей полнеба розовело.

И показалось мне, что время обмертвело,  
что вечно предо мной стояли эти три  
чудовищных коня; и медные отливы  
на гривах медлили, и были молчаливы  
дубы священные под крыльями зари.

26 мая 1921  
Грэнчестер

#### 194. ЗЕРКАЛО

Ясное, гладкое зеркало, утром, по улице длинной,  
будто святыню, везли. Туча белелась на миг  
в синем глубоком стекле, и по сини порою мелькала  
ласточка черной стрелой... Было так чисто оно,  
так чисто, что самые звуки, казалось, могли  
отразиться.

Мимо меня провезли этот осколок живой  
вешнего неба, и там, на изгибе улицы дальнем,  
солнце нырнуло в него: видел я огненный всплеск.

О, мое сердце прозрачное, так ведь и ты отражало  
в дивные, давние дни солнце и тучи и птиц!  
Зеркало ныне висит в сенях гостиницы пестрой;  
люди проходят, спешат, смотрятся мельком в него.

#### 195. НОЧЬ

Как только лунные протянутся лучи,  
всплывает музыка в аллее...  
О, серебристая, катись и рокочи,  
всё вдохновенней, всё полнее!..

Порхает до зари незримая рука  
по клавишам теней и света  
и замедляется, ленива и легка...  
Последний звук, — и ночь допета...

2 июня 1921  
Кембридж

196. LA BELLE DAME SANS MERCI\*

(Из John Keats)

«Ах, что мучит тебя, горемыка,  
что ты, бледный, скитаешься тут?  
Озерная поблекла осока,  
и птицы давно не поют.

Ах, что мучит тебя, горемыка,  
какою тоской ты сожжен?  
Запаслась уже на зиму белка  
и по житницам хлеб развезен.

На челе твоём млеет лилея,  
томима росой огневой;  
на щеке твоей вижу я розу,  
розу бледную, цвет не живой...»

Шла по полю Прекрасная Дама,  
чародейки неведомой дочь:  
змеи — локоны, легкая поступь,  
а в очах — одинокая ночь.

На коня моего незнакомку  
посадил я, и, день заслоня,  
она с чародейною песней  
ко мне наклонялась с коня.

Я сплел ей запястья и пояс  
и венки из цветов полевых,  
и ласкалась она, и стонала  
так нежно в объятьях моих.

Находила мне сладкие зелья,  
мед пчелиный и мед на цветке,  
и, казалось, в любви уверяла  
на странном своем языке.

И, вздыхая, меня увлекала  
в свой приют между сказочных скал,  
и там ее скорбные очи  
поцелуями я закрывал.

---

\* Прекрасная дама, не знающая жалости (фр.). — *Reg.*



И мы рядом на мху засыпали,  
и мне сон померещился там...  
Горе, горе! С тех пор я бессонно  
брожу по холодным холмам;

королевичей, витязей бледных  
я увидел, и, вечно скорбя,  
все кричали: Прекрасная Дама  
без любви залучила тебя.

И алканье они предрекали,  
и зияли уста их во тьме,  
и я, содрогаясь, очнулся  
на этом холодном холме.

Потому-то, унылый и бледный,  
одинок скитаюсь я тут,  
хоть поблекла сырая осока  
и птицы давно не поют.

*1 июня 1921  
Кембридж*

### **197. ПЬЯНЫЙ РЫЦАРЬ**

С тонким псом и смуглым кубком  
жарко-рдяного вина,  
ночью лунной, в замке деда  
я зарезил у окна.

В длинном платье изумрудном,  
вдоль дубравы, на коне  
в серых яблоках, ты плавно  
проскакала при луне.

Встал я, гончую окликнул,  
вывел лучшего коня,  
рыскал, рыскал по дубраве,  
спотыкаясь и звеня;

и всего-то только видел,  
что под трэфовой листвой  
жемчуговые подковы,  
оброненные луной...

*4 июня 1921  
Кембридж*

Я думаю о ней, о девочке, о дальней,  
и вижу белую кувшинку на реке,  
и реющих стрижей, и в сломанной купальне  
стрекозку на доске.

Там, там встречались мы и весело оттуда  
пускались странствовать по шепчущим лесам,  
где луч в зеленой мгле являл за чудом чудо,  
блистая по листам.

Мы шарили во всех сокровищницах Божьих;  
мы в ивовом кусте отыскивали с ней  
то лаковых жучков, то гусениц, похожих  
на шахматных коней.

И ведали мы все тропинки дорогие,  
и всем березанькам давали имена,  
и младшую из них мы назвали: Мария  
святая Белизна.

О Боже! Я готов за вечными стенами  
неисчислимые страдания воспринять,  
но дай нам, дай нам вновь под теми деревцами  
хоть миг, да постоять.

*4 июня 1921  
Кембридж*

### 199. ПЕРО

Зелененьким юрким внучатам  
наказывал леший в бору:  
«По черным ветвям, по зубчатым,  
жар-птица порхнет ввечеру;

поймайте ее, лешенёчки,  
и клетку из лунных лучей  
возьмите у ключницы-ночки,  
да так, чтоб не видел Кашей.

Далече от чащи брусничной  
умчите добычу свою;

найдете вы домик кирпичный  
в заморском, туманном краю.

Оставьте ее на пороге:  
там кроткий изгнанник живет.  
Любил он лесные дороги  
и вольный зеленый народ».

Так дедушка-леший на ели  
шушукал, и вот, ввечеру,  
как струны, стволы зазвенели,  
и что-то мелькнуло в бору.

Маячило, билось, блестело,  
заохал, нахохлился дед...  
Родимые, знать, улетела  
жар-птица из тонких тенет.

Но утром, как пламя живое,  
на пыльном пороге моем  
лежало перо огневое  
с цветным удлинненным глазком.

Ну что ж, и за этот подарок  
спасибо, лесные друзья.  
Я беден, и день мой неярок,  
и как же обрадован я.

*6 июня 1921  
Кембридж*

## 200

Мы столпились в туманной церковеньке;  
вспоминали, молились и плакали,  
как нечаянно двери бесшумные  
распахнулись, и тенью лазоревой  
ты вошла, о весна милосердная!  
Разогнулись колена покорные,  
прояснились глаза углубленные...  
Что за чудо свершилось отрадное!

Заливаются птицы на клиросе,  
плещут воды живые под сводами,  
вдоль по ризам колеблются радуги,  
и не свечи мы держим, а ландыши,

влажной зеленью веет, не ладаном,  
и, расставя ладони лучистые,  
окруженная сумраком сладостным,  
на иконе Весна улыбается.

<29 июля 1921>

201

*Посв<ящается> матери*

Людам ты скажешь: настало.  
Завтра я в путь соберусь.  
(Голуби. Двор постоялый.  
Ржавая вывеска: Русь.)

Скажешь ты Богу: я дома.  
(Кладбище. Мост. Поворот.)  
Будет старик незнакомый  
Вместо дубка у ворот.

3 мая 1920  
Кембридж

202. РУСЬ

Пока в тумане странных дней  
еще грядущего не видно,  
пока здесь говорят о ней  
красноречиво и обидно, —

сторонкой, молча, проберусь  
и, уповая неизменно,  
мою неведомую Русь  
пойду отыскивать смиренно —

по черным сказочным лесам,  
вдоль рек, да по болотам сонным,  
по темным пашням, к небесам  
бесплодной грудью обращенным.

Так побываю я везде,  
в деревню каждую войду я...  
Где ж цель заветная, о, где,  
непостижимую, — найду я?

В лесу ли — сумраком глухим  
сырого ельника сокрытой, —  
нагой, разбойником лихим  
поруганною и убитой?

Иль поутру, в селе пустом, —  
о жданная! — пройдешь ты мимо,  
с улыбкой на лице простом  
задумчиво-неуловимой?

Или старушкой встанешь ты  
и, в голубой струе кадильной,  
кладя дрожащие кресты,  
к иконе припадешь бессильно?

Где ж просияет берег мой?  
В чем угадаю лик любимый?  
Русь! иль во мне, в душе самой  
уж расцветает ты незримо?

<1921>

### 203. ЖИЗНЬ

Шла мимо Жизнь; но ни лохмотий,  
ни ран ее, ни пыльных ног  
не видел я... Как бы в дремоте,  
как бы сквозь душу звездной ночи, —  
одно я только видеть мог:  
ее ликующие очи  
и губы, шепчущие: Бог!

## ИЗ СБОРНИКА «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА. РАССКАЗЫ И СТИХИ»

---

### 204. ОТ СЧАСТИЯ ВЛЮБЛЕННОМУ НЕ СПИТСЯ

От счастья влюбленному не спится;  
стучат часы; купцу седому снится  
в червонном небе вычерченный кран,  
спускающийся медленно над трюмом;  
мерещится изгнанникам угрюмым  
в цвет юности окрашенный туман.

В волненье повседневности прекрасной,  
где б ни был я, одним я обуян,  
одно зовет и мучит ежечасно:

на освещенном острове стола  
граненый мрак чернильницы открытой,  
и белый лист, и лампы свет забытый  
под куполом зеленого стекла.

И поперек листа полупустого  
мое перо, как черная стрела,  
и недописанное слово.

*18 мая 1928  
Берлин*

### 205. ТИХИЙ ШУМ

Когда, в приморском городке,  
среди ночи пасмурной, со скуки  
окно откроешь, вдалеке  
прольются шепчущие звуки.

Прислушайся и различи  
шум моря, дышащий на сушу,  
оберегающий в ночи  
ему внимающую душу.

Весь день невнятен шум морской,  
но вот проходит день незванный,  
позванивая, как пустой  
стакан на полочке стеклянной, —

И вновь в бессонной тишине  
открой окно свое пошире,  
и с морем ты наедине  
в огромном и спокойном мире.

Не моря шум — в тиши ночей  
иное слышно мне гуденье:  
шум тихий родины моей,  
ее дыханье и биенье.

В нем все оттенки голосов  
мне милых, прерванных так скоро, —  
и пенье пушкинских стихов,  
и ропот памятного бора.

Отдохновенье, счастье в нем,  
благословенье над изгнаньем...  
Но тихий шум не слышен днем  
за суетой и дребезжаньем.

Зато — в полночной тишине  
внимает долго слух неспящий  
стране родной, ее шумящей,  
ее бессмертной глубине...

*6 июня 1926*

## 206. КИРПИЧИ

Ища сокровищ позабытых  
и фараоновых мощей,  
ученый в тайниках разрытых  
набрел на груды кирпичей,  
среди которых был десяток  
совсем особенных: они  
хранили беглый отпечаток  
босой младенческой ступни,  
собачьей лапы и копытца  
газели. Многие за них  
лихому времени простится —

безрукий мрамор, темный стих,  
обезображенные фрески...

Как это было? В синем блеске  
я вижу красноту песков.  
Жара. Полуденное время.  
Еще одиннадцать веков  
до звездной ночи в Вифлееме.

Кирпичник спит, пока лучи  
пекут, работают беззвучно.  
Он спит, пока благополучно  
на солнце сохнут кирпичи.  
Но вот по ним дитя ступает,  
отцовский позабыв запрет,  
то скачет, то перебегает,  
невольный вдавливая след,  
меж тем как, вокруг него играя,  
собака и газель ручная  
пускаются вперегонки.  
Внезапно — окрик, тень руки:  
конец летучему веселью.  
Дитя с собакой и газелью  
скрывается. Всё горячей  
синеет небо. Сохнут чинно  
ряды лиловых кирпичей.

Улыбка вечности невинна.  
Мир для слепцов необъясним,  
но зрячим всё понятно в мире,  
и ни одна звезда в эфире,  
быть может, не сравнится с ним.

*<1 апреля>1928*

207

Когда весеннее мечтанье  
влечет в синеющую мглу,  
мне назначается свиданье  
под тем каштаном на углу.

Его цветущая громада  
туманно звездами сквозит.



Под нею — черная ограда,  
и ящик спереди прибит.

Я приникаю к самой щели,  
ловлю волнующийся гам,  
как будто звучно закипели  
все письма, спрятанные там.

Еще листов не развернули,  
еще никто их не прочел...  
Гуди, гуди, железный улей,  
почтовый ящик, полный пчел.

Над этим трепетом и звоном  
каштан раскидывает кров,  
и сладко в сумраке зеленом  
сияют факелы цветов.

*14 мая 1925*

## 208. ПРЕЛЕСТНАЯ ПОРА

В осенний день, блистая, как стекло,  
потрескивая крыльями, стрекозы  
над лугом вьются. В Оредежь глядится  
сосновый лес, и тот, что отражен, —  
яснее настоящего. Опавшим  
листом шурша, брожу я по тропам,  
где быстрым, шелковистым поцелуем  
луч паутины по лицу пройдет  
и вспыхнет радугой. А небо — небо  
сплошь синее, насыщенное светом,  
и нежит землю, и земли не видит.

Задумчиво в усадьбу возвращаюсь.  
В гостиной печь затоплена, и в вазах  
мясистые теснятся георгины.  
Пишу стихи, валяясь на диване,  
и все слова без цвета и без веса —  
не те слова, что в будущем найдет  
воспоминанье. В комнате соседней  
играют в бикс: прерывисто, по капле,  
по капельке сбегает тонкий звон.

Как перед тем, чтоб на зиму уехать,  
в гербарий, на шершавую страницу  
кладешь очаровательно-увядший  
кленовый лист, полоскою бумаги  
приклеиваешь стебель, пишешь дату,  
чтоб вновь раскрыть альбом благоуханный  
да вспомнить деревенский сад, найдя  
багряный лист, оранжевый по краю, —  
так, некогда, осенний ясный день  
я сохранил и ныне им люблюсь.

<17 октября>1926

### 209. СНИМОК

На пляже в полдень лиловатый  
в морском каникульном раю  
снял купальщик полосатый  
свою счастливую семью.

И замирает мальчик голый,  
и улыбается жена,  
в горячий свет, в песок веселый,  
как в серебро, погружена.

И полосатым человеком  
направлен в солнечный песок,  
мигнул и щелкнул черным веком  
фотографический глазок.

Запечатлела эта пленка  
всё, что могла она поймать:  
оцепеневшего ребенка,  
его сияющую мать,

и ведерцо, и две лопаты,  
и в стороне песчаный скат.  
И я, случайный соглядатай,  
на заднем плане тоже снят.

Зимой в неведомом мне доме  
покажут бабушке альбом,  
и будет снимок в том альбоме,  
и буду я на снимке том:

мой облик меж людьми чужими,  
один мой августовский день,  
моя неизвестная ими,  
вотще украшенная тень.

*20 августа 1927*  
*Бинц*

## 210. АЭРОПЛАН

Как поет он, как неожиданно  
вспыхнул искрою стеклянной,  
вспыхнул и поет,  
там, над крышами, в глубоком  
небе, где блестящим боком  
облако встает.

В этот мирный день воскресный  
чуден блеск его небесный,  
бархат громовой.  
И у парковой решетки,  
на обычном месте, кроткий  
слушает слепой:

Губы слушают и плечи —  
тихий сумрак человеческий,  
обращенный в слух.  
Неземные реют звуки.  
Рядом пес его со скуки  
щелкает на мух.

И прохожий, деньги вынув,  
замер, голову закинув,  
смотрит, как скользят  
крылья сизые, сквозные,  
по лазури, где большие  
облака блестят.

*5 июля 1926*

## 211. КРУШЕНИЕ

В поля, под сумеречным сводом,  
сквозь опрокинувшийся дым  
прошли вагоны полным ходом  
за паровозом огневым:

багажный — запертый, зловещий,  
где сундуки на сундуках,  
где обезумевшие вещи,  
проснувшись, бухают впотьмах —

и четырех вагонов спальных  
фанерой выложенный ряд,  
и окна в молниях зеркальных  
чредою беглою горят.

Там штору кожаную спустит  
дремота, рано подоспев,  
и чутко в стукотне и хрусте  
отыщет правильный напев.

И кто не спит, тот глаз не сводит  
с туманных впадин потолка,  
где под сквозящей лампой ходит  
кисть задвижного колпака.

Такая малость — винт некрепкий,  
и вдруг под самой головой  
чугун бегущий, обод цепкий  
соскочит с рельсы роковой.

И вот по всей ночной равнине  
стучит, как сердце, телеграф,  
и люди мчатся на дрезине,  
во мраке факелы подняв.

Такая жалость: ночь росиста,  
а тут — обломки, пламя, стон...  
Недаром дочке машиниста  
приснилась насыпь, страшный сон:

там, завывая на изгибе,  
стремилось сонмище колес,  
и двое ангелов на гибель  
громадный гнали паровоз.

И первый наблюдал за паром,  
смеясь, переставляя рычаг,  
сияя перистым пожаром,  
в летучий вглядывался мрак.

Второй же, кочегар крылатый,  
стальной чешуей блистал —  
и уголь черною лопатой  
он в жар без усталости метал.

<16 августа> 1925

## 212. СВЯТКИ

Под окнами полозья  
пропели, — и воскрес  
на святочном морозе  
серебряный мой лес.

Средь лунного тумана  
я залу отыскал.  
Зажги, моя Светлана,  
свечу между зеркал.

Заплавает по тазу  
дрожащий огонек.  
Причаливает сразу  
ореховый челнок.

И в зале, где блистает  
под люстрой паркет,  
пускай нам погадает  
наш старенький сосед.

Все траурные пики  
накладывает он  
на лаковые лики  
оранжевых бубен.

Ну что ж, моя Светлана?  
Туманится твой взгляд...  
Прелестного обмана  
нам карты не сулят.

Сам худо я колдую,  
а дедушка в гробу,  
и нечего седую  
допрашивать судьбу.

В смеркающемся блеске  
всё уплывает вдаль —  
хрустальные подвески  
и белая рояль.

И огонек плавучий  
потух, — и ты исчез  
за сумрачные тучи,  
серебряный мой лес.

*<26 августа 1924>*

### 213. РАССТРЕЛ

Бывают ночи: только лягу,  
в Россию поплывет кровать;  
и вот ведут меня к оврагу,  
ведут к оврагу убивать.

Проснусь, и в темноте, со стула,  
где спички и часы лежат,  
в глаза, как пристальное дуло,  
глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею, —  
вот-вот, сейчас, пальнет в меня —  
я взгляда отвести не смею  
от круга тусклого огня.

Оцепенелого сознания  
коснется тиканье часов,  
благополучного изгнанья  
я снова чувствую покров.

Но сердце, как бы ты хотело,  
чтоб это вправду было так:  
Россия, звезды, ночь расстрела  
и весь в черемухе овраг.

*1927  
Берлин*

## 214. ГОСТЬ

Хоть притупилась шпага, и сутулей  
вхожу в сады, и запылен  
мой черный плащ, — душа всё тот же улей  
случайно-сладостных имен.

И ни одна не ведает, внимая  
моей заученной мольбе,  
что рядом склеп, где статуя немая,  
воспоминанье о тебе.

О, смена встреч, обманы вдохновенья.  
В обманах смысл и сладость есть:  
не жажда невозможного забвенья,  
а увлекательная месть.

И вот душа вздыхает, как живая,  
при убедительной луне,  
в живой душе искусно вызывая  
всё то, что умерло во мне.

Но только с ней поникну в сумрак сладкий,  
и дивно задрожит она,  
тройным ударом мраморной перчатки  
вдруг будет дверь потрясена.

И вспомнится испанское сказанье,  
и тяжело из загробных стран  
смертельное любви воспоминанье  
войдет, как белый великан.

Оно сожмет, торжественно, без слова,  
мне сердце дланью ледяной,  
и пламенные пропасти былого  
вдруг распахнутся предо мной.

Но, не поняв, что сердцу нежеланна,  
что сердце темное мертво,  
доверчиво лепечет Донна Анна,  
не видя гостя моего.

15 мая 1924

## 215. LA BONNE LORRAINE\*

Жгли англичане, жгли мою подругу,  
на площади в Руане жгли ее.  
Палач мне продал черную кольчугу,  
клювастый шлем и мертвое копье.

Ты здесь со мной, железная святая,  
и мир с тех пор стал холоден и прост:  
косая тень, и лестница витая,  
и в бархат ночи вбиты гвозди звезд.

Моя свеча над ржавою резьбою  
дрожит и каплет воском на ремни.  
Мы, воины, летали за тобою,  
в твои цвета окрашивая дни.

Но опускала ночь свое забрало,  
и, молча выскользнув из лат мужских,  
ты, белая и слабая, сгорала  
в объятьях верных рыцарей твоих.

*6 сентября 1924  
Берлин*

## 216. ГОДОВЩИНА

В те дни, дай Бог, от краю и до краю  
гражданская повеет благодать:  
всё сбудется, о чем за чашкой чаю  
мы на чужбине любим погадать.

И вот последний человек на свете,  
кто будет помнить наши времена,  
в те дни на оглушительном банкете,  
шалея от волнения и вина,

дрожащий, слабый, в дряхлом умиленье  
поднимется... Но нет, он слишком стар:  
черта изгнания тает в отдаленье,  
и ничего не помнит юбиляр.

---

\* Добрая Лотарингка (фр.). — *Рег.*



Мы будем спать, минутные поэты;  
я, в частности, прекрасно буду спать,  
в бою случайном ангелом задетый,  
в родимый прах вернувшийся опять.

Библиофил какой-нибудь, я чую,  
найдет в былых, не нужных никому  
журналах, отпечатанных вслепую  
нерусскими наборщиками, тьму

статей, стихов, чувствительных романов  
о том, как Русь была нам дорога,  
как жил Петров, как странствовал Иванов  
и как любил покорный ваш слуга.

Но подписи моей он не отметит:  
забыто всё. И, Муза, не беда.  
Давай блуждать, давай глазеть, как дети,  
на проносящиеся поезда,

на всякий блеск, на всякое движение,  
предоставляя выпреним глупцам  
бранить наш век, пенять на сновиденье,  
единый раз дарованное нам.

*<26 октября> 1926*

### 217. СИРЕНЬ

Ночь в саду, послушная волненью,  
нарастающему в тишине,  
потянулась, дрогнула сиренью,  
серой и пушистой при луне.

Смешанная с жимолостью темной,  
всколыхнулась молодость моя.  
И скользнула, при луне огромной,  
белизной решетчатой скамья.

И опять на листья без дыханья  
пали гроздьи смутной чередой.  
Безымянное воспоминанье,  
не засни, откройся мне, постой.

Но едва пришедшая в движенье  
ночь моя, туманна и светла,  
как в стеклянной двери отраженье,  
повернулась плавно и ушла.

7 мая 1928

## 218. ПАЛОМНИК

Хозяин звезд, и ветра зычного,  
и вьющихся дорог,  
бог-виноградарь, бог коричневый,  
смеющийся мой бог,  
позволь зарю в стакан мой выдавить,  
чтобы небесный хмель  
понес, умчал меня за тридевять  
синюющих земель.  
Я возвращусь в усадьбу отчую  
среди клеверных полей;  
дом обойду, зерном попотчую  
знакомых голубей.  
Дни медленные, деревенские...  
ложится жаркий свет  
на скатерть и под стулья венские  
решеткой на паркет.  
Там в доме с радужной верандою,  
с березой у дверей  
в халате старом проваландаю  
остаток жизни сей.  
Но часто, ночью, гул бессонницы  
нахлынет на постель,  
тряхнет, замрет и снова тронется,  
как поезд сквозь метель.  
И я тогда услышу: вспомни-ка  
рыдающий вагон  
и счастье странного паломника,  
чья Мекка там, где он.  
Он рад бывал, скитаясь по миру,  
озерам под луной,  
вокзалам громовым и номеру  
в гостинице ночной.  
О, как потянет вдруг на яркую  
чужбину, в дальний путь,

как тяжело к окну прошаркаю,  
как захочу вернуть  
всё то дрожащее, весеннее,  
что плакало во мне,  
и — всякой яви совершеннее —  
сон о родной стране.

*4 февраля 1927*

### 219. СНОВИДЕНЬЕ

Будильнику на утро задаю  
урок, и в сумрак отпускаю,  
как шар воздушный, комнату мою,  
и облегченно в сон вступаю.

Меня берет — уже во сне самом —  
как бы вторичная дремота.  
Туманный стол. Сидящих за столом  
не вижу. Все мы ждем кого-то.

Фонарь карманный кто-то из гостей  
на дверь, как пистолет, наводит,  
и, ростом выше и лицом светлей,  
убитый друг со смехом входит.

Я говорю без удивленья с ним  
живым и знаю, нет обмана.  
Со лба его сошла, как легкий грим,  
смертельная когда-то рана.

Мы говорим. Мне весело. Но вдруг —  
заминка, странное стесненье.  
Меня отводит в сторону мой друг  
и что-то шепчет в объясненье.

Но я не слышу. Длительный звонок  
на представленье созывает:  
будильник повторяет свой урок,  
и день мне веки прорывает.

Лишь миг один неправильный на вид  
мир падает, как кошка, сразу  
на все четыре лапы, и стоит,  
знакомый разуму и глазу.

Но, Боже мой, — когда припомнишь сон,  
случайно, днем, в чужой гостиной,  
или, сверкнув, придет на память он  
пред оружейною витриной,  
как благодарен силам неземным,  
что могут мертвые нам сниться.  
Как этим сном, событием ночным,  
душа смятенная гордится!

<1 мая>1927

## 220. ПРОХОЖИЙ С ЕЛКОЙ

На белой площади поэт  
запечатлел твой силуэт.

Домой, в непраздничный мороз,  
ты елку черную понес.

Пальто российское до пят.  
Калоши по снегу скрипят.

С зубчатой елкой на спине  
ты шел по ровной белизне,

сам черный, сторбленный, худой,  
уткнувшись в ворот бородой,

в снегах не наших площадей,  
с немецкой елочкой своей.

И в поэтический овал  
твой силуэт я врисовал.

<25 декабря> 1925

## 221. ТЕНЬ

К нам в городок приехал в гости  
бродячий цирк на семь ночей.  
Блистали трубы на помосте,  
надулись щеки трубачей.

На площадь, убранную странно,  
мы все глядели — синий мрак,  
собор святого Иоанна  
и сотня пестрая зевак.

Дыханье трубы затаили,  
и над бесшумною толпой  
вдруг тишину переступили  
куранты звонкою стопой.

И в вышине, перед старинным  
собором, на тугой канат,  
шестом покачивая длинным,  
шагнул, сияя, акробат.

Курантов звон, который длился,  
пока в нем пребывал Господь,  
как будто в свет преобразился  
и в вышине облекся в плоть.

Стена соборная щербата  
и ослепительна была;  
тень голубая акробата  
подвижно на нее легла.

Всё выше над резьбой портала,  
где в нише — статуя и крест,  
тень угловатая ступала,  
неся свой вытянутый шест.

И вдруг над башней с циферблатом,  
ночною схвачен синевою,  
исчез он с трепетом крылатым —  
прелестный облик теневой.

И снова заиграли трубы,  
меж тем как, потен и тяжел,  
в погасших блестках, гаер грубый  
за подаяньем к нам сошел.

*3 сентября 1925  
Шварцвальд*

Слоняюсь переулками без цели,  
 прислушиваюсь к древним временам:  
 при Цезаре цикады те же пели  
 и то же солнце стлалось по стенам.

Поет платан, и ствол в пятнистом блеске;  
 поет лавчонка; можно отстранить  
 легко звенящий бисер занавески:  
 поет портной, вытягивая нить.

И женщина у круглого фонтана  
 поет, полощет синее белье,  
 и пятнами ложится тень платана  
 на камни, на корзину, на нее.

Как хорошо в звенящем мире этом,  
 скользя плечом вдоль меловых оград,  
 быть русским заблудившимся поэтом  
 средь лепета латинского цикад!

*19 августа 1923*  
*Солье-Пон*

### 223. СНЫ

Странствуя, ночуя у чужих,  
 я гляжу на спутников моих,  
     я ловлю их говор тусклый.  
 Роковых я требую примет:  
 кто увидит родину, кто нет,  
     кто уснет в земле нерусской?

Если б знать. Ведь странникам даны  
 только сны о родине, а сны  
     ничего не переменят.  
 Что таить — случается и мне  
 видеть сны счастливые: во сне  
     я со станции в именье

еду, не могу сидеть, стою  
 в тарантасе тряском, узнаю  
     все толчки весенних рытвин,

еду, с непокрытой головой,  
белый, что платок твой, и с душой,  
слишком полной для молитвы.

Господи, я требую примет:  
кто увидит родину, кто нет,  
кто уснет в земле нерусской.  
Если б знать. За годом валит год,  
даже тем, кто верует и ждет,  
даже мне бывает грустно.

Только сон утешит иногда.  
Не на области и города,  
не на волости и села,  
вся Россия делится на сны,  
что несметным странникам даны  
на чужбине, ночью долгой.

22 июля 1926

#### 224. КОМНАТА

Вот комната. Еще полуживая,  
но оживет до завтрашнего дня.  
Зеркальный шкаф глядит, не узнавая,  
как ясное безумье, на меня.

В который раз выкладываю вещи,  
знакомлюсь вновь с причудами ключей;  
и медленно вся комната трепещет,  
и медленно становится моей.

Совершенно. Всё призвано к участию  
в моем существованье, каждый звук:  
скрип ящика, своюю доброй пастью  
пласты белья берущего из рук.

И рамы, запирающейся плохо,  
стук по ночам — отмщенье за сквозняк;  
возня мышей, их карликовый грохот,  
и чей-то приближающийся шаг:

он никогда не подойдет вплотную;  
как на воде за кругом круг, идет  
и пропадает, и опять я чую,  
как он вздохнул и двинулся вперед.

Включаю свет. Всё тихо. На перину  
свет падает малиновым холмом.  
Всё хорошо. И скоро я покину  
вот эту комнату и этот дом.

Я много знал таких покорных комнат,  
но пригляжусь, и грустно станет мне:  
никто здесь не полюбит, не запомнит  
старательных узоров на стене.

Сухую акварельную картину  
и лампу в старом платице сквозном  
забуду сам, когда и я покину  
вот эту комнату и этот дом.

В другой пойду: опять однообразность  
обоев, то же кресло у окна...  
Но грустно мне: чем незаметней разность,  
тем, может быть, божественней она.

И может быть, когда похолодеем  
и в голый рай из жизни перейдем,  
забывчивость земную пожалеем,  
не зная, чем обставить новый дом...

22 июня 1926

## 225. МАТЬ

Смеркается. Казнен. С Голгофы отвалив,  
спускается толпа, вивась между олив,  
    подобно медленному змию;  
и матери глядят, как под гору, в туман  
увещавающий уводит Иоанн  
    седую, страшную Марию.

Уложит спать ее и сам приляжет он  
и будет до утра подслушивать сквозь сон  
    ее рыданья и томленье.  
Что, если у нее остался бы Христос,  
и плотничал, и пел? Что, если этих слез  
    не стоит наше искупленье?

Воскреснет Божий Сын, сияньем окружен;  
у гроба, в третий день, виденье встретит жен,  
    вотще купивших ароматы;



светящуюся плоть ощупает Фома;  
от веянья чудес земля сойдет с ума,  
и будут многие распяты.

Мария, что тебе до бреда рыбарей!  
Неосвязаемо над горестью твоей  
дни проплывают, и ни в третий,  
ни в сотый, никогда не вспрянет Он на зов,  
твой смуглый первенец, лепивший воробьев  
на солнцепеке, в Назарете.

*<19 апреля> 1925  
Берлин*

## 226. ВЕСНА

Помчал на дачу паровоз.  
Толпою легкой, оробелой  
стволы взбегают на откос:  
дым засквозил волною белой  
в апрельской пестроте берез.  
В вагоне бархатный диванчик  
еще без летнего чехла.  
У рельс на желтый одуванчик  
садится первая пчела.

Где был сугроб, теперь дырявый  
продолговатый островок  
вдоль зеленеющей канавы:  
покрылся копотью, размок  
весною пахнувший снежок.

В усадьбе сумерки и стужа.  
В саду, на радость голубям,  
блистает облачная лужа.  
По старой крыше, по столбам,  
по водосточному колену —  
помазать наново пора  
зеленой краской из ведра —  
ложится весело на стену  
тень лестницы и маляра.

Верхи берез в лазури свежей,  
усадьба, солнечные дни —

все образы одни и те же,  
всё совершеннее они.  
Вдали от ропота изгнанья  
живут мои воспоминанья  
в какой-то неземной тиши:  
бессмертно всё, что невозвратно,  
и в этой вечности обратной  
блаженство гордое души.

*2 мая 1925*

### 227. В РАЮ

Моя душа, за смертью дальней  
твой образ виден мне вот так:  
натуралист провинциальный,  
в раю потерянный чудак.

Там в роще дремлет ангел дикий,  
полулавлинье существо.  
Ты любознательно потыкай  
зеленым зонтиком в него,

соображая, как сначала  
о нем напишешь ты статью,  
потом... но только нет журнала,  
и нет читателей в раю.

И ты стоишь, еще не веря  
немому горю своему:  
об этом синем сонном звере  
кому расскажешь ты, кому?

Где мир и названные розы,  
музей и птичьи чучела?  
И смотришь, смотришь ты сквозь слезы  
на безымянные крыла.

*25 сентября 1927*  
*Берлин*

## СТИХОТВОРЕНИЯ 1929—1951

---

### 228. К МУЗЕ

Я помню твой приход: растущий звон,  
волнение, неведомое миру.  
Луна сквозь ветки тронула балкон,  
и пала тень, похожая на лиру.

Мне, юному, для неги плеч твоих  
казался ямб одеждой слишком грубой.  
Но был певуч неправильный мой стих  
и улыбался рифмой краснотубой.

Я счастлив был. Над гаснувшим столом  
огонь дрожал, вылуцивал огарок;  
и снилось мне: страница под стеклом,  
бессмертная, вся в молниях помарок.

Теперь не то. Для утренней звезды  
не откажусь от утренней дремоты.  
Мне не под силу многие труды,  
особенно тщеславия заботы.

Я опытен, я скуп и нетерпим.  
Натертый стих блистает чище меди.  
Мы изредка с тобою говорим  
через забор, как старые соседи.

Да, зрелость живописна, спору нет:  
лист виноградный, груша, пол-арбуза  
и — мастерства предел — прозрачный свет.  
Мне холодно. Ведь это осень, муза.

*13 сентября 1929  
Берлин*

## 229. ВЕЧЕР НА ПУСТЫРЕ

Вдохновенье, розовое небо,  
черный дом с одним окном  
огненным. О, это небо,  
выпитое огненным окном!  
Загородный сор пустынный,  
сорная былинка со слезой,  
череп счастья, тонкий, длинный,  
вроде черепа борзой.  
Что со мной? Себя теряю,  
растворяюсь в воздухе, в заре;  
бормочу и обмираю  
на вечернем пустыре.  
Никогда так плакать не хотелось.  
Вот оно, на самом дне.  
Донести тебя, чуть запотелое  
и такое трепетное, в целости  
никогда так не хотелось мне...  
Выходи, мое прелестное,  
зацепись за стебелек,  
за окно, еще небесное,  
иль за первый огонек.  
Мир, быть может, пуст и беспощаден,  
я не знаю ничего,  
но родиться стоит ради  
этого дыханья твоего.

Когда-то было легче, проще:  
две рифмы — и раскрыл тетрадь.  
Как смутно в юности заносчивой  
мне довелось тебя узнать.  
Облокотившись на перила  
стиха, плывущего, как мост,  
уже душа вообразила,  
что двинулась, и заскользила,  
и доплывет до самых звезд.  
Но, переписанные начисто,  
лишась мгновенно волшебства,  
бессильно друг за друга прячутся  
отяжелевшие слова.

Молодое мое одиночество  
среди ночных, неподвижных ветвей;

над рекой изумление ночи,  
отраженное полностью в ней;  
и сиреневый цвет, бледный баловень  
этих первых неопытных стоп,  
освещенный луной небывалой  
в полутрауре парковых троп;  
и теперь, увеличенный памятью,  
и прочнее, и краше вдвойне,  
старый дом, и бессмертное пламя  
керосиновой лампы в окне;  
и во сне приближение счастья,  
дальний ветер, воздушный гонец,  
всё шумней проникающий в чашу,  
наклоняющий ветвь наконец;  
всё, что время как будто и отняло,  
а глядишь — засквозило опять,  
оттого что закрыто неплотно,  
и уже невозможно отнять.

Мигая, огненное око  
глядит сквозь черные персты  
фабричных труб на сорные цветы  
и на жестянку кривобокою.  
По пустырю в темнеющей пыли  
поджарый пес мелькает шерстью снежной.  
Должно быть, потерялся. Но вдали  
уж слышен свист настойчивый и нежный.  
И человек навстречу мне сквозь сумерки  
идет, зовет. Я узнаю  
походку бодрую твою.  
Не изменился ты с тех пор, как умер.

*31 июля 1932  
Берлин*

### **230. КАК Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ**

Такой зеленый, серый, то есть  
весь заштрихованный дождем,  
и липовое, столь густое,  
что я перенести... уйдем.  
Уйдем, и этот сад оставим,  
и дождь, кипящий на тропках  
между тяжелыми цветами,

целующими липкий прах.  
Уйдем, уйдем, пока не поздно,  
скорее, под плащом, домой,  
пока еще ты не опознан,  
безумный мой, безумный мой!

Держусь, молчу. Но с годом каждым,  
под гомон птиц и шум ветвей,  
разлука та обидней кажется,  
обида кажется глупей.  
И всё страшней, что опрометчиво  
проговорюсь и перебью  
теченье тихой, трудной речи,  
давно проникшей в жизнь мою.

Над краснощекиными рабами  
лазурь как лаковая вся,  
с накачанными облаками,  
едва заметными толчками  
передвигающимися.  
Ужель нельзя там притулиться  
и нет там темного угла,  
где темнота могла бы слиться  
с иероглифами крыла?  
Так бабочка не шевелится  
пластом на плесени ствола.

Какой закат! И завтра снова,  
и долго-долго быть жаре,  
что безошибочно основано  
на тишине и мошкаре.  
В луче вечернем повисая,  
она толчется без конца,  
как бы игрушка золотая  
в руках немого продавца.

Как я люблю тебя. Есть в этом  
вечернем воздухе порой  
лазейки для души, просветы  
в тончайшей ткани мировой.  
Лучи проходят меж стволами.  
Как я люблю тебя! Лучи  
проходят меж стволами, пламенем  
ложатся на стволы. Молчи.

Замри под веткою расцветшей,  
вдохни, какое разлилось —  
зажмурься, уменьшись и в вечное  
пройди украдкою насквозь.

17 апреля 1934  
Берлин

### 231. НА ЗАКАТЕ

На закате, у той же скамьи,  
как во дни молодые мои,  
на закате, ты знаешь каком,  
с яркой тучей и майским жуком,  
у скамьи с полусгнившей доской  
высоко над румяной рекой,  
как тогда, в те далекие дни,  
улыбнись и лицо отверни,  
если душам умерших давно  
иногда возвращаться дано.

1935  
Берлин

### 232. L'INCONNUE DE LA SEINE\*

Торопя этой жизни развязку,  
не любя на земле ничего,  
всё гляжу я на белую маску  
неживого лица твоего.

В без конца замирающих струнах  
слышу голос твоей красоты.  
В бледных толпах утопленниц юных  
всех бледней и пленительней ты.

Ты со мною хоть в звуках помешкай,  
жребий твой был на счастье скуп,  
так ответь же посмертной усмешкой  
очарованных гипсовых губ.

---

\* Незнакомка из Сены (фр.). — *Рег.*

Неподвижны и выпуклы веки,  
густо слиплись ресницы. Ответь,  
неужели навеки, навеки...  
А ведь как ты умела глядеть!

Плечи худенькие, молодые,  
черный крест шерстяного платка,  
фонари, ветер, тучи ночные,  
в темных яблоках злая река.

Кто он был, умоляю, поведай,  
соблазнитель таинственный твой, —  
кудреватый племянник соседа —  
пестрый галстучек, зуб золотой?

Или звездных небес завсегдагой,  
друг бутылки, костей и кия,  
вот такой же гуляка проклятый,  
прогоревший мечтатель, как я?

И теперь, сотрясаясь всем телом,  
он, как я, на кровати сидит  
в черном мире, давно опустелом,  
и на белую маску глядит.

*<28 июня> 1934  
Берлин*

### 233. ЧТО ЗА НОЧЬ С ПАМЯТЬЮ СЛУЧИЛОСЬ

Что за ночь с памятью случилось?  
Снег выпал, что ли? Тишина.  
Душа забвенью зря училась:  
во сне задача решена.

Решенье чистое, простое  
(о чем я думал столько лет?).  
Пожалуй, и вставать не стоит:  
ни тела, ни постели нет.

*1938  
Ментона*



### 234. МЫ С ТОБОЮ ТАК ВЕРИЛИ

Мы с тобою так верили в связь бытия,  
но теперь оглянулся я, и удивительно,  
до чего ты мне кажешься, юность моя,  
по цветам не моей, по чертам недействительной.

Если вдуматься, это как дымка волны  
между мной и тобой, между мелью и тонущим;  
или вижу столбы и тебя со спины,  
как ты прямо в закат на своем полуночном.

Ты давно уж не я, ты набросок, герой  
всякой первой главы, а как долго нам верилось  
в непрерывность пути от ложбины сырой  
до нагорного вереска.

*<Январь> 1939  
Париж*

### 235. ПОЭТЫ

Из комнаты в сени свеча переходит  
и гаснет. Плывет отпечаток в глазах,  
пока очертаний своих не находит  
беззвездная ночь в темно-синих ветвях.

Пора, мы уходим — еще молодые,  
со списком еще не приснившихся снов,  
с последним, чуть зримым сияньем России  
на фосфорных рифмах последних стихов.

А мы ведь, поди, вдохновение знали,  
нам жить бы, казалось, и книгам расти,  
но музы безродные нас доконали,  
и ныне пора нам из мира уйти.

И не потому, что боимся обидеть  
своею свободой добрых людей.  
Нам просто пора, да и лучше не видеть  
всего, что сокрыто от прочих очей:

не видеть всей муки и прелести мира,  
окна, в отдаленье поймавшего луч,  
лунатиков смирных в солдатских мундирах,  
высокого неба, внимательных туч;

Александр Бродский  
Лесену I.39

Мне и тебе нам втроем бы чего бывать -  
но пережить охотнее я, - а выдумывать,  
до тех пор как начнемся, юности пол,  
но и думать не смей, но и думать не смейте

Если бы вы знали, что - как душа была  
моя, и вы и я, и вы, и вы и вы,  
и вы бы знали и вы бы со мной,  
как мы пере бы знаем на деле выдумать

Мне давай ты не з, мы - попробуй, ты  
иногда не выходи; а как было нам втроем  
бы пережить ты, но выдумать вы  
до пережить выдумать

В. Улицкой



В центре...  
Кто знает...  
Или...  
Улицкой В. Улицкой

В. Улицкой 1977

красы, укоризны; детей малолетних,  
играющих в прятки вокруг и внутри  
уборной, кружащейся в сумерках летних;  
красы, укоризны вечерней зари;

всего, что томит, обвивается, ранит;  
рыдания рекламы на том берегу,  
текучих ее изумрудов в тумане,  
всего, что сказать я уже не могу.

Сейчас переходим с порога мирского  
в ту область... как хочешь ее назови:  
пустыня ли, смерть, отрешенье от слова,  
иль, может быть, проще: молчанье любви.

Молчанье далекой дороги тележной,  
где в пене цветов колея не видна,  
молчанье отчизны — любви безнадежной, —  
молчанье зарницы, молчанье зерна.

*<Январь> 1939  
Париж*

### 236. К РОССИИ

Отвяжись, я тебя умоляю!  
Вечер страшен, гул жизни затих.  
Я беспомощен. Я умираю  
от слепых наплываний твоих.

Тот, кто вольно отчизну покинул,  
волен быть на вершинах о ней,  
но теперь я спустился в долину,  
и теперь приближаться не смей.

Навсегда я готов затаиться  
и без имени жить. Я готов,  
чтоб с тобой и во снах не сходиться,  
отказаться от всяческих снов;

обескровить себя, искалечить,  
не касаться любимейших книг,  
променять на любое наречье  
всё, что есть у меня, мой язык.

Но зато, о Россия, сквозь слезы,  
сквозь траву двух несмежных могил,  
сквозь дрожащие пятна березы,  
сквозь всё то, чем я смолоду жил,

дорогими слепыми глазами  
не смотри на меня, пожалей,  
не ищи в этой угольной яме,  
не нащупывай жизни моей!

Ибо годы прошли и столетья,  
и за горе, за муку, за стыд,  
поздно, поздно, никто не ответит,  
и душа никому не простит.

*16 сентября 1939  
Париж*

### 237. СЛАВА

И вот, как на колесиках, вкатывается ко мне некто  
восковой, поджарый, с копотью в красных ноздрях,  
и сижу, и решить не могу: человек это  
или просто так — разговорчивый прах.  
Как проситель из нагих, гроза общежитий,  
как зловещий друг детства, как старший шпион  
(шепелявым таким шепотком: а скажите,  
что вы делали там-то?), как сон,  
как палач, как шпион, как друг детства зловещий,  
как в балканской новелле влиянье, как их,  
символистов, — но хуже. Есть вещи, вещи,  
которые... даже... (Акакий Акакиевич  
любил, если помните, «плевели речи»,  
и он, как Наречье, мой гость восковой),  
и сердце просится, и сердце мечется,  
и я не могу. А его разговор  
так и катится острою осыпью под гору,  
и картавое, кроткое слушать должно  
и заслушиваться господина бодрого,  
оттого что без слов и без славы оно.  
Как пародия совести в драме бездарной,  
как палач, и озноб, и последний рассвет —  
о, волна, поднимись, тишина благодарна  
и за эту трехсложную музыку. Нет,

не могу языку заказать эти звуки,  
ибо гость говорит, и так веско,  
господа, и так весело, и на гадюке  
то панама, то шлем, то фуражка, то феска:  
иллюстрации разных существенных доводов,  
головные уборы, как мысли вовне;  
или, может быть, — было бы здорово,  
если б этим шутник указывал мне,  
что я страны менял, как фальшивые деньги,  
торопясь и боясь оглянуться назад,  
как раздваивающееся привиденье,  
как свеча меж зеркал, уплывая в закат.  
Далеко от лугов, где ребенком я плакал,  
упустив аполлона, и дальше еще  
до еловой аллеи с полосками мрака,  
меж которыми полдень сквозил горячо.  
Но воздушным мостом мое слово изогнуто  
через мир, и чредой спицевидных теней  
без конца по нему прохожу я инкогнито  
в полыхающий сумрак отчизны моей.  
Я божком себя вижу, волшебником с птичьей  
головой, в изумрудных перчатках, в чулках  
из лазурных чешуй. Прохожу. Перечтите  
и остановитесь на этих строках.  
Обращение к несуществующим: кстати,  
он не мост, этот шорох, а цепь облаков,  
и, лишенные самой простой благодати  
(дохожденья до глаз, до локтей, до висков),  
«твои бедные книги, — сказал он развязно, —  
безнадежно растают в изгнание. Увы,  
эти триста листов беллетристики праздной  
разлетятся — но у настоящей листы  
есть куда упасть, есть земля, есть Россия,  
есть тропа вся в лиловой кленовой крови,  
есть порог, где слоются тузы золотые,  
есть канавы — а бедные книги твои,  
без земли, без тропы, без канав, без порога,  
опадут в пустоте, где ты вырастил ветвь,  
как базарный факир, то есть не без подлога,  
и недолго ей в дымчатом воздухе цвести.  
Кто в осеннюю ночь, кто, скажи-ка на милость,  
в захолуствии русском, при лампе, в пальто,  
среди гильз папиросных, каких-то опилок

и других озаренных неясностей, кто на столе развернет образец твоей прозы, зачитается ею под шум дождевой, набегающий шум заоконной березы, поднимающей книгу на уровень свой? Нет, никто никогда на просторе великом ни одной не помянет страницы твоей: ныне дикий пребудет в неведенье диком, друг степей для тебя не забудет степей. В длинном стихотворении «Слава» писателя, так сказать, занимает проблема, гнетет мысль о контакте с сознанием читателя. К сожаленью, и это навек пропадет. Повторяй же за мной, дабы в сладостной язве до конца, до небес доскрестись: никогда, никогда не мелькнет мое имя — иль разве (как в трагических тучах мелькает звезда) в специальном труде, в примечанье к названью эмигрантского кладбища и наравне с именами братьев по правописанью, обстоятельством места навязанных мне. Повторил? А случалось еще, ты пописывал не без блеска на вовсе чужом языке, и припомни особенный привкус анисовый тех потуг, те метанья в словесной тоске. И виденье: на родине. Мастер. Надменность. Непреклонность. Но тронуть не смеют. Порой перевод иль отрывок. Поклонники. Ценность европейская. Дача в Алуште. Герой».

И тогда я смеюсь, и внезапно с пера  
мой любимый слетает анапест,  
образуя ракеты в ночи, так быстра  
золотая становится запись.  
И я счастлив. Я счастлив, что совесть моя,  
сонных мыслей и умыслов сводня,  
не затронула самого тайного. Я  
удивительно счастлив сегодня.  
Это тайна та-та, та-та-та-та, та-та,  
а точнее сказать я не вправе.  
Оттого так смешна мне пустая мечта  
о читателе, теле и славе.  
Я без тела разросся, без отзвука жив,  
и со мной моя тайна всечасно.

Что мне тление книг, если даже разрыв  
    между мной и отчизною — частность.  
Признаюсь, хорошо зашифрована ночь,  
    но под звезды я буквы подставил  
и в себе прочитал, чем себя превозмочь,  
    а точнее сказать я не вправе.  
Не доверяюсь соблазнам дороги большой  
    или снам, освященным веками,  
остаюсь я безбожником с вольной душой  
    в этом мире, кишашем богами.  
Но однажды, пласты разуменья дробя,  
    углубляясь в свое ключевое,  
я увидел, как в зеркале, мир и себя  
    и другое, другое, другое.

22 марта 1942  
Уэльслей, Масс.

### 238. ПАРИЖСКАЯ ПОЭМА

«Отведите, но только не бросьте.  
Это — люди; им жалко Москвы.  
Позаботьтесь об этом прохвосте:  
он когда-то был ангел, как вы.  
И подайте крыло Никанору,  
Аврааму, Владимиру, Льву —  
смерду, князю, предателю, вору:  
ils furent des anges comme vous\*  
Всю ораву, ужасные выи  
стариков у чужого огня,  
господа, господ голубые,  
пожалейте вы ради меня!

От кочующих, праздно плутающих  
уползаю, и вот привстаю,  
и уже я лечу, и на тающих  
рифмы нет в моем новом раю.  
Потому-то я вправе по чину  
к вам, брящая, в палаты войти.  
Хорошо. Понимаю причину —

---

\* Они когда-то были ангелы, как вы (фр.).— *Рег.*

но их надо, их надо спасти.  
Хоть бы вы призадумались, хоть бы  
согласились взглянуть. А пока  
остаюсь с привидением (подпись  
неразборчива: ночь, облака)».

Так он думал без воли, без веса,  
сам в себя, как наследник, летя.  
Ночь дышала: вздувалась завеса,  
облакам облаками платя.  
Стул. На стуле он сам. На постели  
снова — он. В бездне зеркала — он.  
Он — в углу, он — в полу, он — у цели,  
он в себе, он в себе, он спасен.

А теперь мы начнем. Жил в Париже,  
в пятом доме по рю Пьер Лоти,  
некто Вульф, худощавый и рыжий  
инженер лет пятидесяти.  
А под ним — мой герой: тот писатель,  
о котором писал я не раз,  
мой приятель, мой работодатель.

Посмотрев на часы, и сквозь час  
дно и камушки мельком увидя,  
он оделся и вышел. У нас  
это дно называлось: Овидий  
откормлен (от *Carmina*\*). Муть  
и комки в голове после черной  
стихотворной работы. Чуть-чуть  
моросит, и на улице черной  
без звездочки муругая муть.  
Но поэмы не будет: нам некуда  
с ним идти. По ночам он гулял.  
Не любил он ходить к человеку,  
а хорошего зверя не знал.

С этим камнем ночным породниться,  
пить извозчицье это вино...  
Трясогузками ходят блудницы,  
и на русском Парнасе темно.

---

\* Песни, стихи (лат.). — *Рег.*



Вымирают косматые мамонты,  
чуть жива красноглазая мышь.  
Бродят отзвуки лиры безграмотной:  
с кандачка переход на Буль-Миш.  
С полурусского, полузабытого,  
переход на подобье арго.  
Бродит боль позвонка перебитого  
в черных дебрях Бульвар Араго.  
Ведь последняя капля России  
уже высохла. Будет, пойдем.  
Но еще подписаться мы силится  
кривоклювым почтамтским пером.

Чуден ночью Париж сухопарый.  
Чу! Под сводами черных аркад,  
где стена, как скала, писсуары  
за щитами своими журчат.  
Есть судьба и альпийское нечто  
в этом плеске пустынном. Вот-вот  
захлебнется меж четом и нечетом,  
между мной и не мной, счетовод.  
А мосты — это счастье навеки,  
счастье черной воды. Посмотри:  
как стекло несравненной аптеки  
и оранжевые фонари.  
А вверху — там неважные вещи.  
Без конца. Без конца. Только муть.  
Мертвый в омуте месяц мерещится.  
Неужели я тоже? Забудь.  
Смерть еще далека (послезавтра я  
всё продумаю), но иногда  
сердцу хочется «автора, автора».  
В зале автора нет, господа.  
И покуда глядел он на месяц,  
синеватый, как кровоподтек,  
раздался где-то в дальнем предместье  
паровозный щемящий свисток.  
Лист бумаги, громадный и чистый,  
стал вытаскивать он из себя:  
лист был больше него и неистовствовал,  
завиваясь в трубу и скрипя.  
И борьба показалась запутанной,  
безысходной: я, черная мгла,

я, огни и вот эта минута —  
и вот эта минута прошла.  
Но как знать, может быть, бесконечно  
драгоценна она, и потом  
пожалую, что бесчеловечно  
обошелся я с этим листом.  
Что-нибудь мне, быть может, напели  
эти камни и дальний свисток.  
И, пошарив по темной панели,  
он нашел свой измятый листок.

В этой жизни, богатой узорами  
(неповторной, поскольку она  
по-другому, с другими актерами,  
будет в новом театре дана),  
я почел бы за лучшее счастье  
так сложить ее дивный ковер,  
чтоб пришелся узор настоящего  
на былое, на прежний узор;  
чтоб опять очутиться мне — о, не  
в общем месте хотений таких,  
не на карте России, не в лоне  
ностальгических неразберих, —  
но, с далеким найдя соответствие,  
очутиться в начале пути,  
наклониться — и в собственном детстве  
кончик спутанной нити найти.  
И распутать себя осторожно,  
как подарок, как чудо, и стать  
серединою многодорожного  
громогласного мира опять.  
И по яркому гомону птичьему,  
по ликующим липам в окне,  
по их зелени преувеличенной,  
и по солнцу на мне и во мне,  
и по белым гигантам в лазури,  
что стремятся ко мне напрямик,  
по сверканью, по мощи, прищуриться  
и узнать свой сегодняшний миг.

1943  
*Кембридж, Масс.*

### 239. КАКИМ БЫ ПОЛОТНОМ

Каким бы полотном батальным ни являлась  
советская сусальнейшая Русь,  
какой бы жалостью душа ни наполнялась,  
не поклонюсь, не примирюсь

со всюю мерзостью, жестокостью и скукой  
немного рабства — нет, о нет,  
еще я духом жив, еще не сыт разлукой,  
увольте, я еще поэт.

*<2 апреля 1943>  
Кембридж, Масс.*

### 240. О ПРАВИТЕЛЯХ

Вы будете (как иногда  
говорится)  
смеяться, вы будете (как ясновидцы  
говорят) хохотать, господа, —  
но, честное слово,  
у меня есть приятель,  
которого  
привела бы в волнение мысль поздороваться  
с главою правительства или другого какого  
предприятия.  
С каких это пор, желал бы я знать,  
под ложечкой  
мы стали испытывать вроде  
нежного бульканья, глядя в бинокль  
на плотного с ежиком в ложе?  
С каких это пор  
понятие власти стало равно  
ключевому понятию родины?  
Какие-то римляне и мясники,  
Карл Красивый и Карл Безобразный,  
совершенно гнилые князьки,  
толстогрудые немки и разные  
людоеды, любовники, ломовики,  
Иоанны, Людовики, Ленины,  
всё это сидело, кряхтя на эх и на ых,  
упираясь локтями в колени,  
на престолах своих матерых.

Умирает со скуки историк:  
за Мамаем всё тот же Мамай.  
В самом деле, нельзя же нам с горя  
поступить как чиновный Китай,  
кучу лишних веков присчитавший  
к истории скромной своей,  
от этого, впрочем, не ставшей  
ни лучше, ни веселей.

Кучера государств зато хороши  
при исполнении должности: шибко  
ледяная навстречу летит синева,  
огневые трещат на ветру рукава...  
Наблюдатель глядит иностранный  
и спереди видит прекрасные очи навывкат,  
а сзади прекрасную помесь диванной  
подушки с чудовищной тыквой.

Но детина в регалиях или  
волк в макинтоше,  
в фуражке с немецким крутым козырьком,  
охрипший и весь перекошенный,  
в остановившемся автомобиле —  
или опять же банкет  
с кавказским вином —  
нет.

Покойный мой тетка,  
писавший стихи и в полоску,  
и в клетку, на самом восходе  
всесоюзно-мещанского класса,  
кабы дожил до полдня,  
нынче бы рифмы натягивал  
на «монументален»,  
на «переперчил»  
и так далее.

1944  
Кембридж, Масс.

1

Качурин, твой совет я принял  
и вот уж третий день живу  
в музейной обстановке, в синей  
гостиной с видом на Неву.

Священником американским  
твой бедный друг переодет,  
и всем долинам дагестанским  
я шлю завистливый привет.

От холода, от перебоев  
в подложном паспорте не сплю:  
исследователям обоев  
лилеи и лианы шлю.

Но спит, на канаве устроясь,  
коленки приложив к стене  
и завернувшись в плед по пояс,  
толмач, приставленный ко мне.

2

Когда я в это воскресенье,  
по истечении почти  
тридцатилетнего затмения,  
мог встать и до окна дойти;

когда увидел я в тумане  
весны, и молодого дня,  
и заглушенных очертаний  
то, что хранилось у меня

так долго, вроде слишком яркой  
цветной открытки без угла  
(отрезанного ради марки,  
которая в углу была);

когда всё это появилось  
так близко от моей души,

она, вздохнув, остановилась,  
как поезд в полевой тиши.

И за город мне захотелось:  
в истоме юности опять  
мечтательно заныло тело,  
и начал я соображать,

как буду я сидеть в вагоне,  
как я его уговорю,  
но тут зачмокал он спросонья  
и потянулся к словарю.

3

На этом я не успокоюсь,  
тут объяснение жизни всей,  
остановившейся, как поезд  
в шершавой тишине полей.

Воображаю щебетанье  
в шестидесяти девяти  
верстах от города, от зданья,  
где запинаясь взаперти,

и станцию, и дождь наклонный,  
на темном видный, и потом  
захлест сирени станционной,  
уж огрубевшей под дождем,

и дальше: фартук тарантасный  
в дрожащих ручейках, и все  
подробности берез, и красный  
амбар налево от шоссе.

Да, все подробности, Качурин,  
все бедненькие, каковы  
край сизой тучи, ромб лазури  
и крап ствола сквозь рябь листвы.

Но как я сяду в поезд дачный  
в таком пальто, в таких очках  
(и, в сущности, совсем прозрачный,  
с романом Сирина в руках)?

Мне страшно. Ни столбом ростральным,  
ни ступенями при луне,  
ведущими к огням спиральным,  
ко ртутной и тугой волне,

не заслоняется... при встрече  
я, впрочем, всё скажу тебе  
о новом, о широкоплечем  
провинциале и рабе.

Мне хочется домой. Довольно.  
Качурин, можно мне домой?  
В пампасы молодости вольной,  
в техасы, найденные мной.

Я спрашиваю, не пора ли  
вернуться к теме тетивы,  
к чарующему чапаралю  
из «Всадника без головы»,

чтоб в Матагордовом Ущелье  
заснуть на огненных камнях  
с лицом, сухим от акварели,  
с пером вороньим в волосах?

*<Март> 1947  
Кембридж, Масс.*

#### 242. БЫЛ ДЕНЬ КАК ДЕНЬ

Был день как день. Дремала память. Длилась  
холодная и скучная весна.  
Внезапно тень на дне зашевелилась —  
и поднялась с рыданием со дна.

О чем рыдать? Утешить не умею.  
Но как затопала, как затряслась,  
как горячо цепляется за шею,  
в ужасном мраке на руки просясь.

*1951  
Итака, Нью-Йорк.*

### 243. К СВОБОДЕ

Ты медленно бредешь по улицам бессонным;  
на горестном челе нет прежнего луча,  
зовущего к любви и высям озаренным.  
В одной руке дрожит потухшая свеча.  
Крыло подбитое по трупам волоча  
и заслоняя взор локтем окровавленным,  
обманутая вновь, ты вновь уходишь прочь,  
а за тобой, увы, стоит всё та же ночь.

*3(16) декабря 1917*  
*Крым*

### 244. НОМЕР В ГОСТИНИЦЕ

Не то кровать, не то скамья.  
Угрюмо-желтые обои.  
Два стула. Зеркало кривое.  
Мы входим — я и тень моя.

Окно со звоном открываем:  
спадает отблеск до земли.  
Ночь бездыханна. Псы вдали  
тишь рассекают пестрым лаем.

Я замираю у окна,  
и в черной чаше небосвода,  
как золотая капля меда,  
сверкает сладостно луна.

*8 апреля 1919*  
*Севастополь*

### 245. ГЕРБ

Лишь отошла земля родная,  
в соленой тьмедохнул норд-ост,



как меч алмазный, обнажая  
среди облаков стремнину звезд.

Мою тоску, воспоминанья  
клянусь я царственно беречь  
с тех пор, как принял герб изгнанья:  
на черном поле звездный меч.

*24 января 1925  
Берлин*

#### 246. ВЕРШИНА

Люблю я гору в шубе черной  
лесов еловых, потому  
что в темноте чужбины горной  
я ближе к дому моему.

Как не узнать той хвои плотной  
и как с ума мне не сойти  
хотя б от ягоды болотной,  
заголубевшей на пути.

Чем выше темные, сырые  
тропинки вьются, тем ясней  
приметы, с детства дорогие,  
равнины северной моей.

Не так ли мы по склонам рая  
взбираться будем в смертный час,  
всё то любимое встречая,  
что в жизни возвышало нас?

*31 августа 1925  
Фельдберг (Шварцвальд)*

#### 247. ЛИЛИТ

Я умер. Яворы и ставни  
горячий теребил Эол  
вдоль пыльной улицы.

Я шел,  
и фавны шли, и в каждом фавне  
я мнил, что Пана узнаю:  
«Добро, я, кажется, в раю».

От солнца заслонясь, сверкая  
подмышкой рыжею, в дверях  
вдруг встала девочка нагая  
с речною лилией в кудрях,  
стройна, как женщина, и нежно  
цвели сосцы — и вспомнил я  
весну земного бытия,  
когда из-за ольхи прибрежной  
я близко-близко видеть мог,  
как дочка мельника меньшая  
шла из воды, вся золотая,  
с бородкой мокрой между ног.

И вот теперь, в том самом фраке,  
в котором был вчера убит,  
с усмешкой хищною гуляки  
я подошел к моей Лилит.  
Через плечо зеленым глазом  
она взглянула — и на мне  
одежды вспыхнули и разом  
испепелились.

В глубине  
был греческий диван мохнатый,  
вино на столике, гранаты,  
и в вольной росписи стена.  
Двумя холодными перстами  
по-детски взяв меня за пламя:  
«Сюда», — промолвила она.  
Без принужденья, без усилья,  
лишь с медленностью озорной,  
она раздвинула, как крылья,  
свои коленки предо мной.  
И обольстителен и весел  
был запрокинувшийся лик,  
и яростным ударом чресел  
я в незабытую проник.  
Змея в змее, сосуд в сосуде,  
к ней пригнанный, я в ней скользил,  
уже восторг в растущем зуде  
неописуемый сквозил, —  
как вдруг она легко рванулась,  
отпрянула и, ноги сжав,  
вуаль какую-то подняв,

в нее по бедра завернулась,  
и, полон сил, на полпути  
к блаженству, я ни с чем остался  
и ринулся и зашатался  
от ветра странного. «Впусти», —  
я крикнул, с ужасом заметя,  
что вновь на улице стою  
и мерзко блеющие дети  
глядят на булаву мою.  
«Впусти», — и козлоногий, рыжий  
народ всё множился. «Впусти же,  
иначе я с ума сойду!»  
Молчала дверь. И перед всеми  
мучительно я пролил семя  
и понял вдруг, что я в аду.

1928  
Берлин

#### 248. СНЕГ

О, этот звук! По снегу —  
скрип, скрип, скрип —  
в валенках кто-то идет.

Толстый крученный лед  
остриями вниз с крыши повис.  
Снег скрипуч и блестящ.  
(О, этот звук!)

Салазки сзади не тащатся —  
сами бегут, в пятки бьют.

Сяду и съеду  
по крутому, по ровному:  
валенки врозь,  
держусь за веревочку.

Отходя ко сну,  
всякий раз думаю:  
может быть, удосужится  
меня посетить  
тепло одетое, неуклюжее  
детство мое.

<7 февраля> 1930  
Берлин

## 249. ФОРМУЛА

Сутулится на стуле  
беспалое пальто.  
Потемки обманули,  
почудилось не то.

Сквозняк прошел недавно,  
и душу унесло  
в раскрывшееся плавно  
стеклянное число.

Сквозь отсветы пропущен  
сосудов цифровых,  
раздут или расплющен  
в алембиках кривых,

мой дух преображался:  
на тысячу колец,  
вращаясь, размножался  
и замер наконец

в хрустальнейшем застое,  
в отличнейшем Ничто,  
а в комнате пустое  
сутулится пальто.

*<5 апреля> 1931  
Берлин*

## 250. НЕОКОНЧЕННЫЙ ЧЕРНОВИК

Поэт, печалью промышляя,  
твердит прекрасному: прости.  
Он говорит, что жизнь земная —  
слова на поднятой в пути —  
откуда вырванной? — странице  
(не знаем и швыряем прочь)  
или пролет мгновенный птицы  
через светлый зал из ночи в ночь.

Зоил (пройдоха величавый,  
корыстью занятый одной)  
и литератор площадной  
(тревожный арендатор славы)

меня страшатся потому,  
что зол я, холоден и весел,  
что не служу я никому,  
что жизнь и честь мою я взвесил  
на пушкинских весах и честь  
осмеливаюсь предпочесть.

*1 июля 1931  
Берлин*

## 251. БЕЗУМЕЦ

В миру фотограф уличный, теперь же  
царь и поэт, парнасский самодержец  
(который год сидящий взаперти),  
он говорил:

«Ко славе низойти  
я не желал. Она сама примчалась.  
Уж я забыл, где муза обучалась,  
но путь ее был прям и одинок.  
Я не умел друзей готовить впрок,  
из лапы льва не извлекал занозы.  
Вдруг снег пошел; гляжу, а это розы.

Блаженный жребий. Как мне дорога  
унылая улыбочка врага.  
Люблю я неудачника тревожить,  
сны обо мне мучительные множить  
и теневой рассматривать скелет  
завистника прозрачного на свет.

Когда луну я балую балладой,  
волнуются деревья за оградой,  
вне очереди торопясь попасть  
в мои стихи. Доверена мне власть  
над всей землей, Соседу непослушной.  
И счастье так ширится воздушно,  
так полнится сияньем голова,  
такие совершенные слова  
встречают мысль и улетают с нею,  
что ничего записывать не смею.

Но иногда — другим бы стать, другим!  
О, поскорее! Плотником, портным,

а то еще — фотографом бродячим:  
как в старой сказке жить, ходить по дачам,  
снимать детей пятнистых в гамаке,  
собаку их и тени на песке».

*<29 января> 1933  
Берлин*

## 252. ОКО

К одному исполинскому оку  
без лица, без чела и без век,  
без телесного марева сбоку  
наконец-то сведен человек.

И, на землю без ужаса глянув  
(совершенно не схожую с той,  
что, вся пегая от океанов,  
улыбалась одною щекой),

он не горы там видит, не волны,  
не какой-нибудь яркий залив  
и не кинематограф безмолвный  
облаков, виноградников, нив;

и, конечно, не угол столовой  
и свинцовые лица родных —  
ничего он не видит такого  
в тишине обращений своих.

Дело в том, что исчезла граница  
между вечностью и веществом,  
и на что неземная зеница,  
если вензеля нет ни на чем?

*1939  
Париж*

## 253. НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЯМБЫ

В последний раз лиясь листьями  
между воздушными перстами  
и проходя перед грозой  
от зелени уже настойчивой

до серебристости простой,  
олива бедная, листва  
искусства, плещет, и слова  
лелеять бы уже не стоило,

если б не зоркие глаза  
и одобрение бродяги,  
если б не лилия в овраге,  
если б не близкая гроза.

*<5 октября 1952>  
Итака, Нью-Йорк*

#### 254. КАКОЕ СДЕЛАЛ Я ДУРНОЕ ДЕЛО

*Какое сделал я дурное дело,  
и я ли развратитель и злодей,  
я, заставляющий мечтать мир целый  
о бедной девочке моей.*

О, знаю я, меня боятся люди,  
и жгут таких, как я, за волшебство,  
и, как от яда в полом изумруде,  
мрут от искусства моего.

Но как забавно, что в конце абзаца,  
корректору и веку вопреки,  
тень русской ветки будет колебаться  
на мраморе моей руки.

*28 декабря 1959  
Сан-Ремо*

#### 255. С СЕРОГО СЕВЕРА

С серого севера  
вот пришли эти снимки.

Жизнь успела не все  
погасить недоимки.  
Знакомое дерево  
вырастает из дымки.

Вот на Лугу шоссе.  
Дом с колоннами. Оредежь.

Отовсюду почти  
мне к себе до сих пор еще  
удалось бы пройти.

Так, бывало, купальщикам  
на приморском песке  
приносится мальчиком  
кое-что в кулачке.

Всё, от камушка этого  
с каймой фиолетовой  
до стеклышка матово-  
зеленоватого,  
он приносит торжественно.

Вот это Батово.  
Вот это Рожествено.

*20 декабря 1967*  
*Монтре*



С серого севера  
Вот пришли эти сны.

Жизнь дитя не все  
Поласить ледянки,  
Знающее дерево  
Видит из дупла.

Вот на льду море,  
Дом с колоннами, Ореда,  
Отвсюду пелена  
Мне к себе до сих пор слез  
Удалось бы пройти.

Мам, Говило, купальщица  
На пригорке песке  
Приползла маленькая  
Коса в руках.

Все, от казула этого  
С наймой фиолетовой  
До стеклышка матово-  
Зеленоватого,  
Она привнесла торжественно.

Вот это Батюга.  
Вот это Рождество.

10.12.1967

Владимир Маяковский

## СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

---

### 256. ПРОГУЛКА С J.-J. ROUSSEAU<sup>1</sup>

*Посв<ящается> Александру Николаевичу Бенуа*

Сад Le Nôtre'a. В лазурных прудах —  
отраженья дельфинов и статуй:  
он идет по аллее стрельчатой  
с маргариткой и книгой в руках;

и, мечтая о новом «Emile»,  
он любит стройностью сада.  
Средь притворств витиеватых — отрада —  
этот строгий, размерный стиль.

У фонтана — прямые партеры.  
Чуть насмешливо смотрит Rousseau,  
как жеманно играют в serceau<sup>2</sup>  
две маркизы и два кавалера.

*Январь 1917*

### 257. ЗИМНЯЯ НОЧЬ

1

Зимнею лунною ночью молчанье  
Кажется ровным дыханьем небес...  
В воздухе — бледных лучей обаянье...  
Благословенные лунным сияньем,  
Дремлют аллея, и поле, и лес...

---

<sup>1</sup> Ж.-Ж. Руссо (фр.). — *Рег.*

<sup>2</sup> Серсо (фр.). — *Рег.*

Лыжи упругие сладко скрипят;  
 Длинная синяя тень провожает...  
 Липы, как призраки черные в ряд,  
 Странные, грустные, в инее спят...  
 Мягко сугробы луна освещает.

Царственно круглое белое пламя  
 Смотрит на поле, на снежную гладь...  
 Зайца спугну за нагими кустами;  
 Гладь нарушая тройными следами,  
 Он пропадет... и безмолвно опять.

Нивой пойду... Беспредельна она...  
 Воздух хрустально-морозный целую...  
 Небо — сиянье, земля — тишина...  
 В этом безмолвии смерти и сна  
 Ясной душой я бессмертие чую.

<Март 1917>

#### 258. РЕВОЛЮЦИЯ

Я слово длинное с нерусским окончанием  
 нашел нечаянно в рассказе для детей,  
 и отвернулся я со странным содроганьем.

В том слове был извив неведомых страстей:  
 рычанье, вопли, свист, нелепые виденья,  
 стеклянные глаза убитых лошадей,

кривые улицы, зловещие строенья,  
 кровавый человек, лежащий на земле,  
 и чьих-то жадных рук звериные движенья...

А некогда читать так сладко было мне  
 о зайчиках смешных со свинками морскими,  
 танцующих на пнях весною, при луне!

Но слово грозное над сказками моими  
как пронеслось! Нет прежней простоты:  
и мысли страшные ночами роковыми  
шуршат, как старые газетные листы!

<1917>

259.

Вечер тих. Я жду ответа.  
Светит око Магомета.  
Светит вышка минарета  
На оранжевой черте.  
Безрассудно жду ответа,  
К огневой стремясь мечте.  
Муэдзина песнь допета.  
Розы дымки, розы света  
Увядают в высоте.  
Я взываю. Нет ответа...

2 августа 1918

## 260. БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН

(Памяти Пушкина)

Он здесь однажды был. Вода едва журчит.  
На камне свет лежит белеющим квадратом.  
Шныряют ласточки под сводом полосатым.  
Я чую прошлое: но сердца не пленит  
Фонтана вечный плач; ни страшные виденья,  
Ни тени томных жен, скользящих меж цветов,  
Ни роскошь темная тех сказочных веков,  
Мне ныне чудятся и будят вдохновенье.  
О нет! Иных времен я слышу тайный зов.  
Я вижу здесь его в косой полоске света, —  
Густые волосы и резкие черты  
И на руке кольцо, не спасшее поэта.  
И на челе его — тень творческой мечты.  
В святом предчувствии своих грядущих песен  
Он — тихий — здесь стоял, и — как теперь, — тогда  
Носились ласточки, и зеленела плесень  
На камнях вековых, и капала вода.

18 августа 1918  
Бахчисарайский дворец

Плыви, бессонница, плыви, воспоминанье...  
 Я дивно одинок. Ни звука, ни луча...  
 Ночь за оконницей безмолвна, как изгнанье,  
 черна, как совесть палача.

Мой рай уже давно и срублен, и распродан...  
 Я рос таинственно в таинственном краю,  
 но Бог у юного, небрежного народа  
 Россию выхолил мою.

Рабу стыдливую, поющую про зори  
 свои дрожащие, увел он в темноту  
 и в ужасе ее, терзаньях и позоре  
 познал восторга полноту.

Он груди вырвал ей, глаза святые выжег,  
 и что ей пользы в том, что в тишь ее равнин  
 полетится ныне смрад от угольных изрыжек  
 Европой пущенных машин?

Напрасно ткут они, напрасно жнут и веют,  
 развозят по Руси и сукна, и зерно:  
 она давно мертва, и тленом ветры веют,  
 и всё, что пело, сожжено.

Он душу в ней убил. Хватил с размаху о пол  
 младенца теплого. Вдавил пятою в грязь  
 живые лепестки и, скорчившись, захолопал  
 в ладоши, мерзостно смеясь.

Он душу в ней убил — всё то, что распевало,  
 тянулось к синеве, плясало по лесам,  
 всё то, что при луне над водами всплывало,  
 всё, что прочувствовал я сам.

Всё это умерло. Христу ли, Немезиде  
 молиться нам теперь? Дождемся ли чудес?  
 Кто скажет наконец лукавому: изыди?  
 Кого послушается бес?

Всё это умерло, и всё же вдохновенье  
 волнуется во мне, — сгораю, но пою.

Родная, мертвая, я чаю воскресенья  
и жизнь грядущую твою!

*5 (18) марта 1919*

## 262. АКРОПОЛЬ

Чей шаг за мной? Чей шелестит виссон?  
Кто там поет пред мрамором богини?  
Ты, мысль моя. В резной тени колонн  
как бы звенят порывы дивных линий.

Я рад всему. Струясь в Эректеон,  
мне льстит лазурь и моря блеск павлиний;  
спускаюсь вниз, и вот запечатлен  
в пыли веков мой след — от солнца синий.

Во мглу, во глубь хочу на миг сойти,  
там, чудится: по млечному пути  
былых времен, сквозь сумрак молчаливый

в певучем сне таинственно летишь...  
О, как свежа, благоговейна тишь...  
в святилище, где дышит тень оливы!

*7 июня 1919*  
*Англия*

## 263. ПАНИХИДА

Сколько могил,  
Сколько могил,  
Ты — жестока, Россия!  
Родина, родина, мы с упованием,  
Сирые, верные, греем последним дыханьем  
Ноги твои ледяные.  
Хватит ли сил?  
Хватит ли сил?  
Ты давно ведь ослепла...  
В сумрачной церкви поют и рыдают.  
Нищие, сгорбясь у входа, тебя называют  
Облаком черного пепла.  
Капает воск,  
Капает воск  
И на пальцах твердеет.

Стонет старик пред иконою смуглой.  
Глухо молитву поют; звук тяжелый и круглый  
Катится, медлит, немеет...  
Капает воск,  
Капает воск,  
Как слеза за слезою.

Плещет кадило пред мертвым, пред гробом.  
Родина, родина! Ты исполинским сугробом  
Встала во мгле надо мною.  
Мрак обступил,  
Мрак обступил...  
Неужели возможно  
Верить еще? Да, мы верим, мы верим  
И оскорбленной мечтою грядущее мерим...  
Верим, но сердце — тревожно.  
Сколько могил,  
Сколько могил,  
Ты — жестока, Россия!  
Слышишь ли, видишь ли? Мы с упованием,  
Сирые, верные, — греем последним дыханьем  
Ноги твои ледяные.

<1919>

#### 264. У КАМИНА

Ночь. И с тонким чешуйчатым шумом  
зацветающие угольки  
расправляют в камине угрюмом  
огневые свои лепестки.

И гляжу я, виски зажимая,  
в золотые глаза угольков,  
я гляжу, изумленно внимая  
голосам моих первых стихов.

Серафимом незримым согреты,  
оживают слова как цветы:  
узнаю понемногу приметы  
вдохновившей меня красоты;

воскрешаю я всё, что, бывало,  
хоть на миг умилило меня:

ствол сосны пламенеющий, алый  
на закате июльского дня...

*13 марта 1920*

#### 265. БЕЖЕНЦЫ

Я объездил, о Боже, Твой мир,  
оглядел, облизал, — он, положим,  
горьковат... Помню пыльный Каир:  
там сапожки я чистил прохожим...  
Также помню и бойкий Бостон,  
где плясал на кабацких подмостках...  
Скучно, Господи! Вижу я сон,  
белый сон о каких-то березках...  
Ах, когда-нибудь райскую весть  
я примечу в газетке раскрытой,  
и рванусь, и без шапки, как есть,  
возвращусь я в мой город забытый!  
Но, увы, приглянувшись к нему,  
не узнаю... и скорчусь от боли;  
даже вывесок я не пойму:  
по-болгарски написано, что ли...  
Поброжу по садам, площадям,  
большеглазый, в поношенном фраке...  
«Извините, какой это храм?»  
И мне встречный ответит: «Исакий».  
И друзьям он расскажет потом:  
«Иностранец пристал, всё дивился...»  
Буду новое чують во всем  
и томиться, как вчуже томился...

*13 мая 1920*

#### 266. ПОЭТ

Являюсь в черный день родной моей земли,  
поблекшие сердца в пыли поникли долу...  
Но, с детства преданный глубокому глаголу,  
нам данному затем, чтоб мыслить мы могли,  
как мыслят яркие клубящиеся воды, —  
я всё же, в этот век поветренных скорбей,  
молюсь величию и нежности природы,



в земную верю жизнь, угадывая в ней  
дыханье Божие, лазурные просветы,  
и славлю радостно творенье и Творца,  
да будут злобные, пустынные сердца  
моими песнями лучистыми согреты...

*Начало 1920-х гг.*

## 267. РОССИИ

Не предаюсь пустому гневу,  
не проклинаю, не молю;  
как изменившую мне деву,  
отчизну прежнюю люблю.

Но как я одинок, Россия!  
Как далеко ты отошла!  
А были дни ведь и другие:  
ты сострадательной была.

Какою нежностью щемящей;  
какою страстью молодой  
звенел в светло-зеленой чаще  
смех пробуждающийся твой!

Я целовал фиалки мая —  
глаза невинные твои, —  
и лепестки, всё понимая,  
чуть искрились росой любви...

И потому, моя Россия,  
не смею гневаться, грустить...  
Я говорю: глаза такие  
у грешницы не могут быть!

*Начало 1920-х гг.*

## 268. ТИХАЯ ОСЕНЬ

У самого крыльца обрызгала мне плечи  
Протянутая ветвь. Белеет небосклон,  
И солнце на луну похоже, и далече,  
Далече, как дымок, восходит тонкий звон,

Вон там, за нежно пожелтевшим  
Сквозным березняком, за темною рекой...  
И сердце мягкою сжимается тоской,  
И, сетуя, поет, и вторит пролетевшим  
Чудно-унылым журавлям,  
За облаками умолкая...

А солнце круглое чуть тлеет; и такая  
Печаль воздушная блуждает по полям,  
Так расширяется, и скорбно, и прекрасно,  
Полей бледнеющая даль,  
Что сердцу кажется притворною, напрасной  
Людская шумная печаль.

<20 февраля 1921>

## 269

Был крупный дождь. Лазурь и шире и живей.  
Уж полдень. Рожицы березовой опушка  
И солнце мокрое.

Задумчиво кукушка  
Считает золото, что капает с ветвей,  
И рада сырости пятнистая лягушка,  
И тонет в капельке уродик-муравей,  
И скромно гриб стоит, как толстый человечек,  
Под красным зонтиком, и зыблется везде  
Под плачущей листвою сеть огненных колечек,  
А в плачущей траве — серебряной звезде  
Ромашки — молится неистово кузнечик,  
И, по небу скользя, как будто по воде,  
Блится облако...

<20 февраля 1921>

## 270. РОДИНА

Как весною мой север призывен!  
О, мятежная свежесть его!  
Золотой, распевающий ливень,  
А потом — торжество... торжество...

Облака восклицают невнятно.  
Вся черемуха в звонких шмелях.

Тают бледно-лиловые пятна  
На березовых светлых стволах.

Над шумливой рекою — тяжелой  
От лазури влекомых небес —  
Раскачнулся и замер веселый,  
Но еще не уверенный лес.

В глубине изумрудной есть место,  
Где мне пальцы трава леденит,  
Где, как в сумерках храма невеста, —  
Первый ландыш, сияя, стоит...

Неподвижен, задумчиво-дивен  
Ослепительный, тонкий цветок...  
Как весною мой север призывен!  
Как весною мой север далек!

<27 марта 1921>

#### 271. МОЯ ВЕСНА

Всё загудело, всё блеснуло,  
так стало шумно и светло!  
В лазури облако блеснуло,  
как лебединое крыло.

И лóснится, и пахнет пряно  
стволов березовых кора,  
и вся в подснежниках поляна,  
и роща солнечно-пестра.

Вот серые, сырые сучья,  
вот блески свернутых листков...  
Как спутываются созвучья  
гремящих птичьих голосов!

И, многозвучный, пьяный, вольный,  
гуляет ветер, сам не свой.  
И ухаает звон колокольный  
над темно-синею рекой!

Ах, припади к земле дрожащей,  
губами крепко припади

к ее взволнованно звенящей,  
благоухающей груди!

И, над тобою пролетая,  
божественно озарена,  
пусть остановится родная,  
неизъяснимая весна!

<1 мая 1921>

## 272. ПЕТЕРБУРГ

Так вот он, прежний чародей,  
глядевший вдаль холодным взором  
и гордый гулом и простором  
своих волшебных площадей, —  
теперь же, голодом томимый,  
теперь же, падший властелин,  
он умер, скорбен и один...  
О город, Пушкиным любимый,  
как эти годы далеки!  
Ты пал, замученный, в пустыне...  
О город бледный, где же ныне  
твои туманы, рысаки,  
и сизокрылые шинели,  
и разноцветные огни?  
Дома скосились, почернели,  
прохожих мало, и они  
при встрече смотрят друг на друга  
глазами, полными испуга,  
в какой-то жалобной тоске,  
и все потухли, исхудали:  
кто в бабьем выцветшем платке,  
кто просто в ветхом одеяле,  
а кто в тулупе, но босой.  
Повсюду выросла и сгнила  
трава. Средь улицы пустой  
зияет яма, как могила;  
в могиле этой — Петербург...

Столица нищих молчалива.  
В ней жизнь угрюма и пуглива,  
как по ночам мышиный шурк  
в пустынном доме, где недавно

смеялись дети, пел рояль  
и ясный день кружился плавно —  
а ныне пыльная печаль  
стоит во мгле бледно-лиловой;  
вдовец завесил зеркала,  
чуть пахнет ладаном в столовой,  
и, тихо плача, жизнь ушла.

Пора мне помнится иная:  
живое утро, свет, размах.  
Окошки искрятся в домах,  
блестит карниз, как меловая  
черта на грифельной доске.  
Собора купол вдалеке  
мерцает в синем и молочном  
весеннем небе. А кругом —  
числа нет вывескам лубочным:  
кривая прачка с утюгом,  
две накрест сложенные трубки  
сукна малинового, ряд  
смазных сапог, — иль виноград  
и ананас в охряном кубке,  
или, над лавкой мелочной, —  
рог изобилья полустертый...  
О, сколько прелести родной  
в их смехе, красочности мертвой,  
в округлых знаках, в букве ять,  
подобной церковке старинной!  
Как, на чужбине, в час пустынный,  
всё это больно вспоминать!

\*

Брожу в мечтах, где брел когда-то.  
Моя синеющая тень  
струится рядом, угловато  
перегибаясь. Теплый день  
горит и ясно и неясно.  
Посередине мостовой,  
седой в усах, городской  
столбом стоит, и дворник красный  
шуршит метлою. Не горя,  
цветок жемчужный фонаря,  
закрывшись сонно, повисает

на тонком, выгнутом стебле.  
(Он в час вечерний воскресает,  
и свет сиреневый во мгле  
жужжит, втекая в шар сетистый,  
и мошки ластиятся к стеклу.)  
Торчит из будки, на углу,  
зеленовато-водянистый  
юмористический журнал.  
Три воробья неутомимо  
клюют навоз. Проходят мимо  
посыльный с бляхой, генерал;  
в носочках лунных фронт дебелый;  
худая барышня в очках;  
другая, в шляпе нежно-белой  
и с завитками на щеках,  
чуть отуманенных румянцем;  
газетчик; праздный молодец;  
в галошах мальчик с пегим ранцем;  
шаров воздушных продавец  
(знакомы с детства гроздь цветная,  
передник, ножницы его).  
Гляжу я, всё запоминая,  
не презирая ничего...

Морская улица. Под аркой,  
на красной внутренней стене  
бочком торчат, как гриб на пне,  
часы большие. Синью жаркой,  
перед дворцом, на мостовой  
сияют лужи, и ограда  
в них отразилась. Там, вдоль сада,  
над обольстительной Невой,  
в весенний день пройдешь, бывало:  
дворцы как призраки легки,  
весна гранит околдовала,  
и риза синяя реки  
вся в мутно-розовых заплатах.  
Два смуглых столбика крылатых  
за ней, у биржи, различишь.  
Идет навстречу оборванец:  
под мышкой клетка, в клетке чиж;  
повеет Вербой... Влажный глянец  
на листьях липовых дрожит;  
со скрипом жметя баржа к барже;

по круглым камням дребезжит  
пролетка грязная, — и стар же  
убогий ванька, день-деньской  
на облучке сидящий криво,  
как кукла мягкая... Тоской  
туманной, ласковой, стыдливой,  
тоскою северной весны  
цвета и звуки смягчены.

Да, были дни, — но незаконно  
сменила буря тишину.  
Я помню, город погребенный,  
твою последнюю весну,  
когда на площади Дворцовой,  
махая тряпкою пунцовой,  
вприсядку лихо смерть пошла!  
Уже зима тускнела, мокла,  
фиалка первая цвела,  
но сквозь простреленные стекла  
цветочных выставок протек  
иных, болезненных растений  
слащавый дух, подобный тени  
блудницы пьяной, и цветок  
бумажный, яростный и жалкий,  
заместо мартовской фиалки,  
весной искусственной дыша,  
алел у каждого в петлице.  
В своей таинственной темнице  
Невы крамольная душа  
очнулась; буйная свобода  
ее окликнула, — но звон  
могучий, вольный ледохода  
иным был гулом заглушен...

Неискупимая година!  
Слепая жизнь над бездной шла:  
за ночью ночь, за мглою мгла,  
за льдиной тающая льдина...  
Пьянел неистовый народ.  
Безумец, каторжник, мечтатель,  
поклонник радужных свобод,  
картавый плут, чревовещатель, —  
сбежались все; и там и тут,  
на площадях, на перекрестках,

перед народом на подмостках  
захлебывался бритый шут...

Не надо, жизнь моя, не надо!  
К чему их вопли вспоминать?  
Есть чудно-грустная отрада:  
уйти, не слушать, отстранять  
день настоящий, как глухую  
завесу, видеть пред собой  
не взмах пожаров в ночь лихую,  
а купол в дымке голубой,  
да цепь домов, веселых, хмурых,  
оливковых, лимонных, бурых,  
и кирку, будто паровоз  
в начале улицы, над Мойкой.  
О, как стремительно, как бойко  
катился поезд, полный грез, —  
мои сверкающие годы!

Крушенье было. Брошен я  
в иные, чуждые края,  
гляжу на зори через воды,  
среди волнующейся тьмы...  
Таких, как я, немало. Мы  
блуждаем по миру бессонно  
и знаем: город погребенный  
воскреснет вновь; всё будет в нем  
прекрасно, радостно и ново, —  
а только прежнего, р о д н о г о,  
мы никогда уж не найдем...

*<17 июля 1921>*

273

Давно ль — по набережной снежной,  
в пыли морозно-голубой,  
шутя и нежно, и небрежно, —  
мы звонко реяли с тобой?

Конь вороной под сеткой синей,  
метели плеск, метели зов,  
глаза, горящие сквозь иней,  
и влажность облачных мехов,



и огонек бледно-лиловый,  
скользящий по мосту шурша,  
и смех любви, и цок подковы,  
и наша вольная душа, —

всё это в памяти хрустальной,  
как лунный луч, заключено...  
«Давно ль?» — и вторит мне печально  
лишь эхо давнее: «Давно...»

<1921>

#### 274. ХРАМ

Стоял костел незрублены,  
а в том костеле три оконечки...

*(Стих калик перехожих)*

Тучи ходят над горами,  
Путник бродит по горам,  
На утесе видит храм:  
Три оконца в этом храме  
Небольшом, да расписном;  
В первом светится оконце  
Ослепительное солнце;  
Белый месяц — во втором;  
В третьем звездочки... Прохожий!  
Здесь начало всех дорог...  
Солнце пламенное — Бог;  
Месяц ласковый — сын Божий;  
Звезды малые во мгле —  
Божьи дети на земле.

<4 декабря 1921>

#### 275

В переулке на скрипке играет слепой,  
Здравствуй, осень!  
Пляшут листья, летят золотою толпой.  
Здравствуй, осень!  
Медяки из окна покатались, звеня.  
Славься, осень!

Ветер легкими листьями бросил в меня.  
Славься, осень!

<7 декабря 1921>

### 276. НОЧЬ

Уж догорел лучистый край  
летучей тучки, и, вздыхая,  
ночь подошла... О, голубая,  
о, величавая, сияй,  
сияй мне бесконечно: всюду,  
где б ни застала ты меня, —  
у кочевого ли огня,  
иль в гордом городе, — я буду,  
о, звездная, как ныне, рад  
твоей улыбке непостижной...  
Я выпрямлюсь и взор недвижимый  
скрещу с твоим! О, как горят,  
ночь ясная, твои запястья,  
да, ослепи, да, опьяни...  
Я лучшего не знаю счастья!  
Ночь, ты развертываешь рай  
над темным миром и, вздыхая,  
на нас глядишь... О, голубая,  
о, величавая, сияй!

<22 декабря 1921>

### 277. ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ

Стою я на крыльце. Напротив обитает  
ценитель древностей; в окошке пастушок  
точеный выставлен. В лазури тучка тает,  
как розовый пушок.

Гляди, фарфоровый, блестящий человечек:  
чернеют близ меня два голых деревца,  
и сколько золотых рассыпленных сердечек  
на ступенях крыльца.

8 ноября 1921  
Кембридж

Мне снится: карлик я. Меня скрывают травы;  
 Так страшно: крот — медведь, оса — крылатый тигр.  
 Вот жук, огромный жук, лоснящийся, лукавый;  
 Вот лягушат семья; боюсь их сонных игр...

Кто примет странника, кто сердце успокоит?  
 Там, где вчера упал березовый листок,  
 Там в келье молится мохнатый червячок;  
 Я постучусь к нему: он добрый, он откроет...

<1922>

Мы вернемся, весна обещала,  
 о, мой тихий, тоскующий друг!  
 Поцелуем мы землю сначала,  
 а потом оглядимся вокруг.

Позабудем о пляске и плаче  
 бесновато уродливых дней...  
 Мы вернемся. Всё будет иначе,  
 где горячий был некогда луг.

Мы дороги иные отыщем,  
 мы построим иные дома...  
 Зреет нива на кладбище нищем,  
 где грозилась зеленая тьма.

Млеет зелень младенческой рощи,  
 где горячий был некогда луг.  
 Всё иначе, отраднее, проще,  
 чем мы думали, милый мой друг!

<Январь 1922>

Уста земли великой и прекрасной  
 в уста целуют жизнь мою.  
 Я брежу радугами страстно  
 и млечный свет из лунной чаши пью.

И я храним надеждой беззаветной:  
я верю — Бог позволит мне  
хоть луг один земли стоцветной  
запечатлеть на тленном полотне.

<Январь 1922>

281

Ночь бродит по полям и каждую былинку  
обводит узкою жемчужною каймой,  
и точно в крупную, дрожащую росинку  
земля заключена, средь вечности немой.

И светится трава, и клевер дышит сладко,  
и дымка зыблется над пухом полевым,  
и смерть мне кажется не грозною загадкой —  
а этим реющим туманом медовым.

<Январь 1922>

282

Шепчут мне странники ветры:  
брат, вспоминаешь ли ты?  
Утром, на севере светлом,  
выше и тоньше цветы.

Дымчато влажное поле,  
воздух — как детство Христа...  
Это ль не лучшая доля?  
Это ли не красота?

Стелется розовый шелест  
чистой зари по лесам...  
В небе ли солнце, в душе ли —  
ты и не ведаешь сам...

<Январь 1922>

### 283. ЗНАЕШЬ ВЕРУ МОЮ?

Слышишь иволгу в сердце моем шелестящем?  
Голубою весной облака я люблю,  
райский сахар на блюде блестящем;

и люблю я, как льются под осень дожди,  
и под пестрыми кленами пеструю слякоть.  
Есть такие закаты, что хочется плакать,  
а иному шепнешь: подожди.  
Если ветер ты любишь и ветки сырые,  
Божьи звезды и Божьих зверьков,  
если видишь при сладостном слове «Россия»  
только даль, и дожди золотые, косые,  
и в колосьях лазурь васильков, —  
я тебя полюблю, как люблю я могучий,  
пышный шорох лесов, и закаты, и тучи,  
и мохнатых цветных червяков;  
полюблю я тебя оттого, что заметишь  
все пылинки в луче бытия,  
скажешь солнцу: спасибо, что светишь.

Вот вся вера моя.

<22 июня> 1922

#### 284. ПЕТЕРБУРГ

Он на трясине был построен  
среди бури творческих времен:  
он вырос — холоден и строен,  
под вопли нищих похорон.

Он сонным грезам предавался,  
но под гранитною пятой  
до срока тайного скрывался  
мир целый — мстительно-живой.

Дышал он смертною отравой,  
весь беззаконных полон сил.  
А этот город величавый  
главу так гордо возносил.

И, оснеженный, в дымке синей,  
однажды спал он — недвижим,  
как что-то в сумрачной трясине  
внезапно вздрогнуло под ним.

И всё кругом затрепетало,  
и стоглагольный грянул зов:

раскрывшись, бездна отдавала  
замерзших мертвецов.

И пошатнулся всадник медный,  
и помрачился свод небес,  
и раздавался крик победный:  
«Да здравствует болотный бес».

<Июнь 1922>

## 285. ВЕСНА

Ты снишься миру снова, снова, —  
весна! — я душу распахнул;  
в потоках воздуха ночного  
я слушал, слушал горний гул!

Блаженный блеск мне веял в очи.  
Лазурь торжественная ночи  
текла над городом, и там,  
как чудо, плавал купол смуглый  
и гул тяжелый, гул округлый  
всходил к пасхальным высотам!

Клубились бронзовые волны,  
и каждый звук, как будто полный  
густого меда, оставлял  
в лазури звездной след пахучий,  
и Дух стокий, Дух могучий  
восторг земли благословлял.

Восторг земли, дрожащей дивно  
от бури, бури непрерывной  
еще сокрытых, гулких вод... —  
я слушал, в райский блеск влюбленный,  
и в душу мне дышал бездонный  
золотозвонный небосвод!

И ты с весной мне приснилась,  
ты, буйнокудрая любовь,  
и в сердце радостном забились  
глубоким колоколом кровь.

Я встал, крылатый и высокий,  
и ты, воздушная, со мной...

Весны божественные соки  
о солнце бредят под землей!

И будут утром отраженья,  
и световая пестрота,  
и звон, и тени, и движенье,  
и ты, о звучная мечта!

И в день видений, в вихре синем,  
когда блеснут все купола, —  
мы, обнаженные, раскинем  
четыре огненных крыла!

<Июль 1922>

#### 286. СУФЛЕР

С восьми до полночи таюсь я в будке тесной,  
за книгой, много раз прочитанной, сижу  
и слышу голос ваш... Я знаю — вы прелестны,  
но, спутаться боясь, на вас я не гляжу.  
Не ведаете вы моих печалей скрытых...  
Я слышу голос ваш, надтреснутый слегка,  
и в нем — да, только в нем, а не в словах избитых —  
звучат пленительно блаженство и тоска.  
Всё так недалеко, всё так недостижимо.  
Смеетесь, плачете, стучите каблучком,  
вблизи проходите, и платье, вея мимо,  
вдруг обдает меня воздушным холодком.  
А я — исполненный и страсти и страданья,  
глазами странствуя по пляшущим строкам, —  
я кукольной любви притворные признанья  
бесстрастным шепотом подсказываю вам...

<Октябрь 1922>

#### 287. РОССИЯ

Под окном моим, ночью, на улице, —  
да на улице города чуждого, —  
под окном, и в углу, в каждой комнате, —  
в каждой комнате, — да неприветливой, —  
наяву и во сне, — словно в зеркале  
отраженье свечей многоликое, —

передо мною, за мною, — повсюду ты,  
ах, повсюду стоишь, незабвенная!  
Все мы — странники, нищие, гордые:  
и цари-то и голь перекатная... —  
заклинаем тебя, заклинаем мы:  
где ты, лютая, где ты, любовная?  
Отзовись! — Но молчишь ты, далекая, —  
и глаза твои странникам чудятся, —  
то лучистые, то затемненные,  
как вода в полдень солнечно-ветряный...  
А теперь ты печально потупилась,  
одинокая ты, одинокая!  
Скоро ль сын твой вернется из сумрака,  
и возьмет тебя ласково за плечи,  
и, безмолвно, глаза твои бедные  
поцелуем откроет таинственным?  
Ты потупилась, жалкая, чудная, —  
и душа твоя — нива несжатая:  
наклоняйтесь, колосья незримые, —  
думы кроткие, думы великие!  
Где же серп? Он — в забытой часовенке;  
на иконе, туманной как облако, —  
он белеет над ликом Спасителя...  
Где же серп? Он в неведомом озере  
в новолунье сияет, закинутый...  
Ты потупилась, милая, милая!  
Холодеешь в тумане мучительном;  
твои руки бессильные светятся,  
словно снежные ветви, недвижные...  
Ах, летите, звените, весенники!  
Да заплещут в лазури заплаканной  
ветви яблони, яблони белые!..  
Под окном моим, ночью, на улице, —  
в моем сердце певучем и жалобном, —  
за горами, за тучами, за морем, —  
ты стоишь, о моя несравненная!..  
Опечалена вестью пылающей,  
расклубившейся мглою обвеяна,  
одинокая, поругана многими, —  
но родимая, но неизменная!..

<Ноябрь 1922>



## 288. СНЕЖНАЯ НОЧЬ

Как призрак я иду, и реет в тишине  
такая тающая нега —  
что словно спишь в раю и чувствуешь во сне  
порханье ангельского снега.

Как поцелуи губ незримых и немых,  
снежинки на ресницах тают.  
Иду, и фонари в провалах кружевных  
слезами смутными блистают.

Ночь легкая, целуй, ночь медленная, лей  
сладчайший снег зимы Господней, —  
да светится душа во мраке всё белей,  
и чем белей — тем превосходней.

Так, ночью, в вышине воздушной бытия,  
сквозь некий трепет слепо-нежный,  
навстречу призракам встает душа моя,  
проникшись благодати снежной.

*<3 декабря 1922>*

## 289. НЕВЕСТА РЫЦАРЯ

Жду рыцаря, жду юного Ивэйна,  
и с башни вдаль гляжу я ввечеру.  
Мои шелка вздыхают легкой веено,  
и огневает сердце на ветру.

Твой светлый конь и звон его крылатый  
в пыли цветной мне снится с вышины.  
Твои ли там поблескивают латы  
иль блеска слез глаза мои полны?

Я о тебе слыхала от трувэра,  
о странствиях, о приступах святых.  
Я ведаю, что истинная вера  
душистей роз и сумерек моих.

Ты нежен был, — а нежность так жестока!  
Одна, горю в вечерней вышине.  
В блистанье битв, у белых стен Востока,  
таишь любовь учтивую ко мне.

Но возвратись... Пускай твоя кольчуга  
сомнет мою девическую грудь...  
Я жду, Ивэйн, не призрачного друга, —  
я жду того, с кем сладостно уснуть.

*<3 декабря 1922>*

### 290. ПЕГАС

Гляди: вон там, на той скале, — Пегас!  
Да, это он, сияющий и бурный!  
Приветствуй эти горы. День погас,  
а ночи нет... Приветствуй час пурпурный.

Над крутизной огромный белый конь,  
как лебедь, плещет белыми крылами, —  
и вот взвился, и в тучи, над скалами,  
плеснул копыт серебряный огонь.

Ударил в них, прожег одну, другую  
и в исступленном пурпуре исчез.  
Настала ночь. Нет мира, нет небес, —  
всё — только ночь. Приветствуй ночь нагую.

Вглядись в нее: копыта след крутой  
узнай в звезде, упавшей молчаливо.  
И Млечный Путь плывет над темнотой  
воздушной распущенной гривой.

*<6 декабря 1922>*

### 291. ВОЛЧОНОК

Один, в рождественскую ночь, скулит  
и ежится волчонок желтоглазый.  
В седом лесу лиловый свет разлит,  
на пухлых елочках алмазы.

Мерцают звезды на ковре небес,  
мерцая, ангелам щекочут пятки.  
Взъерошенный волчонок ждет чудес,  
а лес молчит, седой и гладкий.

Но ангелы в обителях своих  
все ходят и советуются тихо,  
и вот один прикинулся из них  
    большой пушистою волчихой.

И к нежным волочащимся сосцам  
зверек припал, пыхтя и жмурясь жадно.  
Волчонку, елкам, звездным небесам —  
    всем было в эту ночь отрадно.

*8 декабря 1922.*

## 292. ЖУК

В саду, где по ночам лучится и дрожит  
луна сквозь локоны мимозы, —  
ты видел ли, поэт? — живой сапфир лежит  
меж лепестков блаженной розы.

Я тронул выпуклый, алеющий огонь,  
огонь цветка, и жук священный,  
тяжелый, гладкий жук мне выпал на ладонь, —  
казалось: камень драгоценный.

В саду, где кипарис, как черный звездочет,  
стоит над лунною поляной,  
где соловьиный звон всю ночь течет, течет, —  
кто, кто любезен розе рдяной?

Не мудрый кипарис, не лстивый соловей,  
а бог сапфирный, жук точеный;  
с ним роза счастлива... Поэт, нужны ли ей  
твои влюбленные пэоны?

*<17 декабря 1922>*

## 293. ЛЕГЕНДА О СТАРУХЕ, ИСКАВШЕЙ ПЛОТНИКА

Домик мой, на склоне, в Назарете,  
почернел и трескается в зной.  
Дождик ли стрекочет на рассвете, —  
мокну я под крышею сквозной.

Крыс-то в нем, пушистых мухоловок,  
скорпионов сколько... как тут быть?

Плотник есть: не молод и не ловок,  
да, пожалуй, может подсобить.

День лиловый гладок был и светел.  
Я к седому плотнику пошла;  
но на стук никто мне не ответил,  
постучала громче, пождала.

А затем — толкнула дверь тугую, —  
и, склонив горящий гребешок,  
с улицы в пустую мастерскую  
шмыг за мной какой-то петушок.

Тишина. У стенки дремлют доски,  
прислонясь друг к дружке, и в углу  
дремлет блеск зазубренный и плоский  
там, где солнце тронуло пилу.

Петушок, скажи мне, где Иосиф?  
Петушок, ушел он, — как же так? —  
все рассыпав гвоздики и бросив  
кожаный передник на верстак.

Потопталась смутно на пороге,  
восвоися в гору поплелась.  
Камешки сверкали на дороге.  
Разомлела, грезить принялась.

Всё-то мне, старухе бестолковой,  
вспоминалась плотника жена;  
поглядит, бывало, молвит слово,  
улыбнется, пристально-ясна, —

и пройдет, осленка понукая,  
лепестки, колючки в волосах, —  
легкая, лучистая такая, —  
а была, голубка, на сносях.

И куда ж они бежали ныне?  
Грезя так, я, сторбленная, шла.  
Вот мой дом на каменной вершине, —  
глянула — и в блеске замерла...

Преодо мной — обделанный на диво,  
новенький и белый, как яйцо,

домик мой, с оливою радивой,  
серебром купающей крыльцо!

Я вхожу... Уж в облаке лучистом  
разметалось солнце за бугром.  
Умиляюсь, плачу я над чистым,  
синим и малиновым ковром.

Умер день. Я видела осленка,  
петушка и гвоздики во сне.  
День воскрес. Дивясь, толкуя звонко,  
две соседки юркнули ко мне.

Милые! Сама помолодею  
за сухой, за новою стеной!  
Говорят: ушел он в Иудею,  
старый плотник с юною женой.

Говорят: пришедшие оттуда  
пастухи рассказывают всем,  
что в ночи сияющее чудо  
пролилось на дальний Вифлеем...

<24 декабря 1922>

## 294. ГРИБЫ

У входа в парк, в узорах летних дней,  
скамейка светит, ждет кого-то...  
На столике железном перед ней  
грибы разложены для счета.

Малютки русого боровика —  
что пальчики на детской ножке.  
Их извлекла так бережно рука  
из темных люлек вдоль дорожки.

И красные грибы: иголки, слизь —  
на шляпках выгнутых, дырявых.  
Они во мраке влажном вознеслись  
под хвоей елочек, в канавах.

И бурых подберезовиков ряд,  
таких родных, пахучих, мшистых;

и слезы леса летнего горят  
на корешочках их пятнистых.

А на скамейке белой — посмотри —  
плетеная корзинка боком  
лежит, и вся испачкана снутри  
черничным лиловатым соком.

*13 ноября 1922*

## 295. ПЕТЕРБУРГ

Мне чудится в Рождественское утро  
мой легкий, мой воздушный Петербург...  
Я странствую по набережной... солнце  
взошло туманной розой. Пухлым слоем  
снег тянется по выпуклым перилам.  
И рысаки под сетками цветными  
проносятся, как сказочные птицы;  
а вдалеке, за ширию снежной, тают  
в лазури сизой розовые струи  
над кровлями; как призрак золотистый,  
мерцает крепость (в полдень бухнет пушка:  
сперва дымок, потом раскат звенящий);  
и на снегу зеленой бирюзою  
горят квадраты вырезанных льдин.

Приземистый вагончик темно-синий,  
пером скользя по проволоке тонкой,  
через Неву пушистую по рельсам  
игрушечным бежит себе; а рядом  
расчищенная искрится дорожка  
меж елочек, повоткнутых в сугробы:  
бывало, сядешь в кресло на сосновых  
полозьях, — парень в желтых рукавицах  
за спинку хватать, — и вот по голубому  
гудящему ледку толкает, крепко  
отбрасывая ноги, косо ставя  
ножи коньков, веревкой кое-как  
прикрученные к валенкам, тупые,  
такие же, как в пушкинские зимы...

Я странствую по городу родному,  
по улицам таинственно-широким,

гляжу с мостов на белые каналы,  
на пристани и рыбные садки.  
Катки, катки — на Мойке, на Фонтанке,  
в Юсуповском серебряном раю:  
кто учится, смешно раскинув руки,  
кто плавные описывает дуги,  
и бегуны в рейтузах шерстяных  
гоняются по кругу, перегнувшись,  
сжав за спиной футляр от этих длинных  
коньков своих, сверкающих, как бритвы,  
по звучному лоснящемуся льду.

А в городском саду — моем любимом, —  
между Невой и дымчатым собором,  
сияющие, легкие виденья  
сквозных ветвей склоняются под снегом,  
над будками, над каменным верблюдом  
Пржевальского, над скованным бассейном, —  
и дети с гор катаются, гремят,  
ложась ничком на бархатные санки.

Я помню всё: Сенат охряный, тумбы  
и цепи их чугунные вокруг  
седой скалы, откуда рвется в небо  
крутой восторг зеленоватой бронзы.  
А там, вдали, над сетью серебристой,  
над кружевами дивными деревьев, —  
там величаво плавает в лазури  
морозом очарованный Исакий:  
воздушный луч — на куполе туманном,  
подернутые инеем колонны...

Мой девственный, мой призрачный!.. Навеки  
в душе моей, как чудо, сохранится  
твой легкий лик, твой воздух несравненный;  
твои сады, и дали, и каналы,  
твоя зима, высокая, как сон  
о стройности нездешней...

Ты растаял,  
ты отлетел, а я влачу виденья  
в иных краях — на площадях зеркальных,  
на палубах скользящих... Трудно мне...  
Но иногда во сне я слышу звуки

далекие, я слышу, как в раю  
о Петербурге Пушкин ясноглазый  
беседует с другим поэтом, поздно  
пришедшим в мир и скорбно отошедшим,  
любившим город свой непостижимый  
рыдающей и реющей любовью...

И слышу я, как Пушкин вспоминает  
все мелочи крылатые, оттенки  
и отзвуки: «Я помню, — говорит, —  
летучий снег, и Летний сад, и лепет  
Олениной... Я помню, как, женатый,  
я возвращался с медленных балов  
в карете дребезжащей по Мильонной,  
и радуги по стеклам проходили;  
но, веришь ли, всего живее помню  
тот легкий мост, где встретил я Данзаса  
в январский день, пред самую дуэлью...»

<14 января 1923>

## 296. РАЗМЕРЫ

*Глебу Струве*

Что хочешь ты? Чтоб стих твой говорил,  
повествовал? Вот мерный амфибрахий...  
А хочешь петь — в золотом размахе  
анапеста — звон лютен и ветрил.

Люби тройные отсветы лазури  
эгейской — в гулком дактиле; отметь  
гекзаметра медлительного медь  
и мрамор — и виденье на цезуре.

Затем: двусложных волн не презирай;  
есть бубенцы и ласточки в хорее:  
он искритя, всё звонче, всё острее,  
торопится... А вот — созвучий рай —

резная чаша: ярче в ней, и слаще,  
и крепче мысль; играет по краям  
блеск, блеск живой! Испей же: это ямб,  
ликующий, поющий, говорящий...

<Январь 1923>



## 1. ЧУДО

В жизни чудес не ищи; есть мелочи — родинки жизни;  
 мелочь такую заметь — чудо возникнет само.  
 Так мореход, при луне увидавший моржа на утесе,  
 внуков своих опьянит сказкой о деве морской.

<6 мая 1923>

## 2. ОЧКИ ИОСИФА

Слезы отри и послушай: в солнечный полдень старый  
 плотник очки позабыл на своем верстаке. Со смехом  
 мальчик вбежал в мастерскую; замер; заметил;  
 подкрался;  
 тронул легкие стекла, и только он тронул —  
 мгновенно  
 по миру солнечный зайчик стрельнул, заиграл  
 по далеким  
 пасмурным странам, слепых согревая и радуя зрячих.

<6 мая 1923>

## 3

Бережно нес я к тебе это сердце прозрачное. Кто-то  
 в локоть толкнул, проходя. Сердце, на камни упав,  
 скорбно разбилось на песни. Прими же осколки.

Не знаю,  
 кто проходил, подтолкнул: сердце я бережно нес.

7 марта 1923

## 4. ПАМЯТИ ГУМИЛЕВА

Гордо и ясно ты умер, умер, как Муза учила.  
 Ныне, в тиши Елисейской, с тобой говорит о летящем  
 медном Петре и о диких ветрах африканских — Пушкин

19 марта 1923

### 301. ГЕКЗАМЕТРЫ

*Памяти В. Д. Набокова*

Смерть — это утренний луч, пробужденье весеннее.  
Верю,  
ты, погруженный в могилу, ты, пробужденный,  
свободный,  
ходишь, сияя незримо, здесь, между нами — до срока  
спящими...  
О, наклонись надо мной, сон мой подслушай —

снятса мне слезы, снятса напевы, снятса молитвы...  
Сплю я, раскинув руки, лицом обращенный к звездам:  
в сон мой втекает мерцающий свет, оттого-то  
прозрачны  
даже и скорби мои...

Я чую: ты ходишь так близко,  
смотришь на спящих: ветер твой нежный целует мне  
веки,  
что-то во сне я шепчу: наклонись надо мной и  
услышишь  
смутное имя одно — что звучнее рыданий, и слаще  
песен земных, и глубже молитвы, — имя отчизны.

*<30 марта> 1923*

### 302. БАРС

Пожаром яростного крапа  
маячу в травяной глуши,  
где дышит след и росный запах  
твоей промчавшейся души.

И в нестерпимые пределы,  
то близко, то вдали звеня,  
летит твой смех обезумелый  
и мучит и пьянит меня.

Луна пылает молодая,  
мед каплет на мой жаркий мех;  
бьет, скатывается, рыдая,  
твой задыхающийся смех.

И в липком сумраке зеленом,  
пожаром гибким и слепым,  
кружусь я, опьяненный звоном,  
полетом, запахом твоим...

Но не уйдешь ты! В полнолуние  
в тиши настигну у ручья,  
сомну тебя, мое безумье  
серебряное, лань моя.

*13 апреля 1923*

### 303. НА ОЗЕРЕ

В глазах рябило от резьбы  
оранжевой и черной зыби,  
и плыл к огню — к библейской глыбе  
заката — сумрак из трубы.

И, черный жар и дым мохнатый  
следя торжественно с кормы,  
следя прибрежный бор зубчатый, —  
в очарованье плыли мы.

И Сердце было так прозрачно,  
так пел прожженный Богом свод,  
что бор, и озеро, и дачный,  
дымящий глухо пароход, —

приобретали незаметно  
значение чуда в этот час, —  
и в темной зыби женских глаз  
плыл и дышал огонь стоцветный.

*<22 апреля 1923>*

### 304

Живи, звучи, не поминай о чуде, —  
но будет день, войду в твой скромный дом,  
твой смех замрет, ты встанешь: стены, люди —  
всё поплывет, — и будем мы вдвоем...

Прозреешь ты в тот миг невыразимый,  
спадут с тебя, рассыплются, звеня,

стеклом поблескивая дутым, зимы  
и весны, прожитые без меня...

Я пламенем моих бессонниц, хладом  
моих смятений творческих прильну,  
взгляну в тебя — и ты ответишь взглядом  
покорным и крылатым в вышину.

Твои плеча закутав в плащ шумящий,  
я по небу, сквозь звездную росу,  
как через луг некошенный, дымящий,  
тебя в свое бессмертье унесу...

<Июнь 1923>

### 305. РОДИНА

Когда из родины звенит нам  
сладчайший, но лукавый слух, —  
не празднословью, не молитвам  
мой предается скорбный дух.

Нет, — не из сердца, вот отсюда,  
где боль неукротима, вот —  
крылом, окровавленной грудой,  
обрубком костяным — встает

мой клетот, клокотанье: Боже,  
Ты, отдыхающий в раю, —  
на смертном, на проклятом ложе  
тронь, воскреси — ее... мою!..

<23 сентября 1923>

### 306

И в Божий рай пришедшие с земли  
устали, в тихом доме прилегли...

Летают на качелях серафимы  
под яблонями белыми. Скрипят  
веревки золотые. Серафимы  
кричат взволнованно...

А в доме спят, —  
в большом, совсем обыкновенном доме,  
где Бог живет, где солнечная лень  
лежит на всем; и пахнет в этом доме,  
как, знаешь ли, на даче — в первый день...

Потом проснутся; в радостной истоме  
посмотрят друг на друга; в сад пройдут —  
давным-давно знакомый и любимый...

О, как воздушно яблони цветут!..  
О, как кричат, качаясь, серафимы!

*<Ноябрь 1923>*

### 307. ЖЕМЧУТ

Посланный мудрейшим властелином  
страстных мук изведать глубину,  
тот блажен, кто руки сложит клином  
и скользнет, как бронзовый, ко дну.

Там, исполнен сумрачного гула,  
среди морских свивающихся звезд,  
зачерпнет он раковину: чудо  
будет в ней, лоснящийся нарост.

И тогда он вынырнет, раздвинув  
яркими кругами водный лоск,  
и спокойно улыбнется, вынув  
из ноздрей побагровевший воск.

Я сошел в свою глухую муку,  
я на дне. Но снизу, сквозь струи,  
всё же внемлю шелковому звуку  
уносящейся твоей ладьи.

*14 января 1923*

### 308. СОН

Знаешь, знаешь, обморочно-пьяно  
снилось мне, что в пропасти окна  
высилась, как череп великана,  
костяная, круглая луна.

Снилось мне, что на кровати, криво  
выгнувшись под вздутой простыней,  
всю подушку заливая гривой,  
конь лежал атласно-вороной.

А вверху — часы стенные, с бледным,  
бледным человеческим лицом,  
поводили маятником медным,  
полосуя сердце мне концом.

Сонник мой не знает сна такого,  
промолчал, притих перед бедой  
сонник мой с закладкой васильковой  
на странице, читанной с тобой...

*15 января 1923*

309

В каком раю впервые прожурчали  
истоки сновиденья моего?  
Где жили мы, где встретились вначале,  
мое кочующее волшебство?

Неслись века. При Августе из Рима  
я выслал в Байи голого гонца  
с мольбой к тебе, но ты неуловима  
и сказочной осталась до конца.

И не грустила ты, когда при звоне  
сирийских стрел и рыцарских мечей  
мне снилось: ты — за пряжей, на балконе,  
под стражей провансальских тополей.

Среди шелков, левреток, винограда  
играла ты, когда я по нагим  
волнам в неведомое Эльдorado  
был генуэзским гением гоним.

Ты знаешь, калиострововой науки  
мы оправданьем были: годы шли,  
вставляли за разлуками разлуки  
тоской богов и музыкой земли.

И снова в Термидоре одурелом,  
пока в тюрьме душа тобой цвела,

а дверь мою тюремщик метил мелом,  
ты в Кобленце так весело жила...

И вдоль Невы, всю ночь не спав, раз двести  
лепажи зарядив и разрядив,  
я шел, веселый, к Делии — к невесте,  
все вальсы ей коварные простив.

А после, после, став вплоборота,  
так поднимая руку, чтобы грудь  
прикрыта локтем, целился в кого-то  
и не успел тугой курок пригнуть.

Вставали за разлуками разлуки,  
и вновь я здесь, и вновь мелькнула ты,  
и вновь я обречен извечной муке  
твоей неуловимой красоты...

*16 января 1923*

310

Я где-то за городом, в поле,  
и звезды гулом неземным  
плывут, и сердце вздулось к ним,  
как темный купол гулкой боли.

И в некий напряженный свод —  
и всё труднее, всё суровей —  
в моих бессонных жилах бьет  
глухое всхлипыванье крови.

Но в этой пустоте ночной,  
при этом голом звездном гуле,  
вложу ли в барабан резной  
тугой и тусклый жемчуг пули.

И, дула кислотатый лед  
прижав о высохшее небо,  
в бесплотный ринусь ли полет  
из разорвавшегося гроба?

Или достойно дар приму,  
великолепный и тяжелый, —

всю полнозвучность ночи голой  
и горя творческую тьму?

*20 января 1923*

311

День за днем, цветущий и летучий,  
мчится в ночь, и вот уже мертво  
царство исполинское, дремучий  
папоротник счастья моего.

Но хранится под землей беспечной,  
в сердце сокровенного пласта,  
отпечаток веерный и вечный,  
призрак стрекозы, узор листа.

*24 января 1923*

312

Ты всё глядишь из тучи темно-сизой,  
и лилия — в светящейся руке;  
а я сквозь сон молю о лепестке  
и всё ищу в изгибах смутной ризы  
изгиб живой колена иль плеча.

Мне твоего не выразить подобья  
ни в музыке, ни в камне... Исподлобья  
глядят в мой сон два горестных луча.

*27 января 1923*

313

И утро будет: песни, песни,  
каких не слышно и в раю,  
и огненный промчится вестник,  
взвив тонкую трубу свою!

Распахивая двери наши,  
он пронесется, протрубит,



дыханьем расплавляя чаши  
неупиваемых обид.

Весь мир, извилистый и гулкий,  
неслыханные острова,  
немыслимые закоулки, —  
как пламя, облетит молва!

Тогда-то с плавностью блаженной,  
как ясновидящие, все  
поднимемся — и в путь священный  
по первой утренней росе!..

*30 января 1923*

### 314. РОДИНЕ

*Посвящается моей сестре Елене*

Воркующею теплотой шестая —  
чужая — наливается весна.  
Всё ждет тебя душа моя простая,  
гадая у восточного окна.

Позволь мне помнить холодок щемящий  
зеленоватых ландышей, когда  
твой светлый лес плывет, как сон шумящий,  
а воздух — как дрожащая вода.

Позволь мне жить, искать Творца в творенье,  
звать изумленье рифмы и любви.  
Не укоряй в час трудного горенья,  
что вот я вспомнил ландыши твои.

Как тень твоя, чужой апрель мне сладок.  
Взволнованно душа тебя зовет,  
текучий блеск твоих дождей и радуг,  
когда весь лес лепечет и плывет.

Твой будет взлет неизъяснимо-ярок,  
а наша встреча — творчески-тиха:  
склонюсь, шепну: вот мой простой подарок,  
вот капля солнца в венчике стиха.

*31 марта 1923*

### 315. РЕКА

Каждый помнит какую-то русскую реку,  
но бессильно запнется, едва  
говорить о ней станет: даны человеку  
лишь одни человечесьи слова.  
А ведь реки, как души, все разные... нужно,  
чтоб соседу поведать о них,  
знать, пожалуй, русалочий лепет жемчужный,  
изумрудную речь водяных.  
Но у каждого в сердце, где клад заковала  
кочевая стальная тоска,  
отзывается внятно, что сердцу, бывало,  
напевала родная река.

Для странников верных  
качнул я дыханьем души  
эти качели слогов равномерных  
в бессонной тиши.

Повсюду —  
в мороз и на зное —  
встретишь  
странников этих  
несущих, как чудо,  
как бремя страстное,  
родину.

Сам я, бездомный,  
как-то ночью стоял на мосту  
в городе мгlistом,  
огромном,  
и глядел в маслянистую  
темноту  
рядом с тенью случайно любимой,  
стройной, как черное пламя,  
да только с глазами  
безнадежно чужими.

Я молчал, и спросила она на своем языке:  
«Ты меня уж забыл?» —  
и не в силах я был  
объяснить,  
что я там, далеко, на реке  
илистой, тинистой, с именем милым,  
с именем, что камышовая тишь...  
Это словно из ямочки в глине  
черно-синий  
выстрелит стриж.

И вдоль по сердцу  
носится  
с криком своим изумленным: вий-вии!  
Это было в России,  
это было в раю...  
Вот,  
гладкая лодка плывет  
в тихоструйную юность мою,  
мимо леса,  
полного иволог, солнца, прохлады грибной,  
мимо леса,  
где березовый ствол чуть сквозит белизной  
стройной  
в буйном бархате хвойном,  
мимо красных крутых берегов  
парчевых островков,  
мимо плавных полянок сырых, в скабиозах  
и лютиках.  
Раз! — и тугие уключины  
звякают, — раз! — и весло на весу  
проливает огнистые слезы  
в зеленую тень.  
Чу! — в прибрежном лесу  
кто-то легко зааукал...  
Дремлет цветущая влага, подковы  
листьев ползучих, фарфоровый купол  
цветка  
водяного.  
Как мне запомнилась эта река,  
узорная, узкая.  
Вечереет...  
(и как объяснить,  
что значило русское  
«вечереет»?)  
стрекоза, бирюзовая нить,  
два крыла слюдяных — замерла  
на перилах купальни...  
Солнце в черемухах. Колокол дальний.  
Тучки румяные, русые.  
Червячка из чехла  
выжмешь, за усики  
вытащишь, и на крючок.  
Ждешь. Клюет.

Сладко дрогнет леса, и блеснет,  
шлепнет о мокрые доски  
голубая плотва, головастый бычок  
или хариус жесткий.  
А когда мне удить надоест,  
на деревянный навес  
взберусь  
    (...Русь!..)  
        и оттуда беззвучно ныряю  
        в отраженный закат...  
Ослепленный, плыву наугад,  
        ширяю,  
навзничь ложусь — и не ведаю, где я —  
        в небесах, на воде ли.  
Мошкара надо мною качается  
        вверх и вниз, вверх и вниз — без конца...  
Вечер кончается.  
Осторожно сдираю с лица  
        липкую травку.  
В щиколку щиплет малявка:  
        сладок мне рыбий  
        слепой поцелуй.  
В лиловеющей зыби  
узел огненных струй —  
        и плыву я  
        горю,  
        глотая зарю  
        вечеровую...  
А теперь в бесприютном краю,  
уж давно не снимая котомки,  
качаю — ловлю я, качаю — ловлю  
строки о русской речонке,  
строки, как отблески солнца, бессвязные...  
А ведь реки, как души, все разные,  
        нужно,  
чтоб соседу поведать о них,  
знать, пожалуй, русалочий лепет жемчужный,  
изумрудную речь водяных.  
Но у каждого в сердце, где клад заковала  
кочевая стальная тоска,  
отзывается внятно, что сердцу, бывало,  
напевала родная река...

*8 апреля 1923  
Берлин*

Когда я по лестнице алмазной  
поднимусь из жизни на райский порог,  
за плечом, к дубине легко привязан,  
будет заплатанный узелок.

Узнаю: ключи, кожаный пояс,  
медную плешь Петра у ворот.  
Он заметит: я что-то принес с собою —  
и остановит, не отопрет.

«Апостол, — скажу я, — пропусти мя!..»  
Перед ним развяжу я узел свой:  
два-три заката, женское имя  
и темная горсточка земли родной...

Он поводит строго бровью седою,  
но на ладони каждый изгиб  
пахнет еще гефсиманской росой  
и чешуей иорданских рыб.

И потому-то без трепета, без грусти  
приду я, зная, что, звякнув ключом,  
он улыбнется и меня пропустит,  
в рай пропустит с моим узелком.

*21 апреля 1923*

О, как ты рвешься в путь крылатый,  
безумная душа моя,  
из самой солнечной палаты  
в больнице светлой бытия!

И, бредя о крутом полете,  
как топчешься, как бьешься ты  
в горячечной рубашке плоти,  
в тоске телесной тесноты!

Иль, тихая, в безумье тонком  
гудишь-звенишь сама с собой,  
вообразив себя ребенком,  
сосною, соловьем, совой.

Поверь же соловьям и совам,  
терпи, самообман любя, —  
смерть громыхнет тугим засовом  
и в вечность выпустит тебя.

*2 мая 1923*

### 318. ГРОЗА

Стоишь ли, смотришь ли с балкона,  
деревья ветер гнет и сам  
шалеет от игры, от звона  
с размаху хлопающих рам.

Клубятся дымы дождевые  
по заблеставшей мостовой  
и над промокшею впервые  
зелено-яблочной листвой.

От плеска слепну: ливень, снег ли,  
не знаю. Громовой удар,  
как будто в огненные кегли  
чугунный прокатился шар.

Уходят боги, громыхая,  
стихает горняя игра,  
и вот вся улица пустая —  
лист озаренный серебра.

И с неба липою пахнуло  
из первой ямки голубой,  
и влажно в памяти скользнуло,  
как мы бежали раз с тобой:

твой лепет, завитки сырые,  
лучи смеющихся ресниц.  
Наш зонтик, капли золотые  
на кончиках раскрытых спиц...

*7 мая 1923*

### 319. ВСТРЕЧА

И странной близостью закованный...

А. Блок

Тоска, и тайна, и услада...  
Как бы из зыбкой черноты  
медлительного маскарада  
на смутный мост явилась ты.

И ночь текла, иплыли молча  
в ее атласные струи  
той черной маски профиль волчий  
и губы нежные твои.

И под каштаны, вдоль канала,  
прошла ты, искоса маня;  
и что душа в тебе узнала,  
чем волновала ты меня?

Иль в нежности твоей минутной,  
в минутном повороте плеч  
переживал я очерк смутный  
других — неповторимых — встреч?

И романтическая жалость  
тебя, быть может, привела  
понять, какая задрожала  
стихи пронзившая стрела?

Я ничего не знаю. Странно  
трепещет стих, и в нем — стрела...  
Быть может, необманной, жданной  
ты, безымянная, была?

Но недоплаканная горесть  
наш замутила звездный час.  
Вернулась в ночь двойная прорезь  
твоих — непросиявших — глаз...

Надолго ли? Навек?.. Далече  
брожу и вслушиваюсь я  
в движенье звезд над нашей встречей...  
И если ты — судьба моя...

Тоска, и тайна, и услада,  
и словно дальняя мольба...  
Еще душе скитаться надо.  
Но если ты — моя судьба...

1 июня 1923

### 320. ПЕСНЯ

Верь: вернутся на родину все —  
вера ясная, крепкая: с севера  
лыжи неслышные, с юга  
ночная фелюга.

Песня спасет нас.

Проулками в гору  
шел я, в тяжелую шел темноту,  
чуждый всему — и крутому узору  
черных платанов, и дальнему спору  
волн, и кабацким шарманкам в порту.

Ветер прошел по листам искривленным,  
ветер, мой пьяный и горестный брат,  
и вдруг затих под окном озаренным:  
ночь, ночь — и янтарный квадрат.

Кто-то была та, чей голос горящий  
русскою песней гремел за окном?  
В сумраке видел я отблеск горящий,  
слушал ее под поющим окном.

Как распевала она! Проплывало  
сердце ее в лучезарных струях,  
Как тосковала,

как распевала,  
молясь былому в чужих краях,  
о полнолуние небывалом,  
о небывалых соловьях.  
И в темноте пылали звуки —  
рыдающая даль любви,  
даль — и цыганские разлуки,  
ночь, ночь — и в роще соловьи.

Но проносился ветер с моря  
дыханьем соли и вина,



и гармонического горя  
спала жаркая волна.

Касался грубо ветер с моря  
глициний вдоль ее окна,  
и вновь, как бы в блаженстве горя,  
пылала звуками она...

О чем? О лепестке завялом,  
о горестной своей красе,  
о полнолуние небывалом,  
о небывалом —

ветер! Вернутся на родину все —  
вера ясная, крепкая: с севера  
лыжи неслышные, с юга ночная фелюга...  
Все.

*19 июня 1923*  
*Сольес-Пон*

321

Как жадно, затаив дыханье,  
склоня колена и плеча,  
напьюсь я хладного сверканья  
из придорожного ключа.

И, запыленный и счастливый,  
лениво развяжу в тени  
евангелической оливы  
сандалий узкие ремни.

Под той оливой, при дороге,  
бродячей радуясь судьбе,  
без удивленья, без тревоги,  
быть может, вспомню о тебе.

И, пенем дум моих влекома,  
в лазури лиловой дня,  
в знакомом платье незнакома,  
пройдешь ты, не узнав меня.

*15 июня 1923*

## 322. ОЛЕНЬ

Слова — мучительные трубы,  
гремящие в глухом лесу, —  
следят, перекликаясь грубо,  
куда я пламя пронесу.

Но что мне лай Дианы жадной,  
ловитвы топот и полет?  
Моя душа — огонь громадный —  
псов обезумевших стряхнет!

Стряхнет — и по стезе горячей  
промчится, распахнув рога,  
сквозь черные ночные чащи  
на огненные берега!

*<23 сентября 1923>*

## 323

Из мира уползли — и ноют на луне  
шарманщики воспоминаний...  
Кто входит? Муза, ты? Нет, не садись ко мне:  
я только пасмурный изгнанник.

Полжизни — тут, в столе; шуршит она в руках;  
тетради трогаю, хрустящий  
клин веера, стихи — души певучий прах, —  
и грудью задвигаю ящик...

И вот уходит всё, и я — в тенях ночных,  
и прошлое горит неяро,  
как в черепе сквозном, в провалах костяных  
зажженный восковой огарок...

И ланнеровский вальс не может заглушить...  
Откуда?.. Уходи... Не надо...  
Как были хороши... Мне лепестков не сшить,  
а тлен цветочный сладок, сладок...

Не говори со мной в такие вечера,  
в часы томленья и тумана,  
Когда мне чудится невнятная игра  
ушедших на луну шарманок...

*18 ноября 1923*

Я Индией невидимой владею:  
 приди под синеву мою.  
 Я прикажу нагому чародею  
 в запястье обратить змею.

Тебе, неопикуемой царевне,  
 отдам за поцелуй Цейлон,  
 а за любовь — весь мой роскошный, древний,  
 тяжелоозвездный небосклон.

Павлин и барс мой, бархатно-горящий,  
 тоскуют; и кругом дворца  
 шумят, как ливни, пальмовые чащи,  
 все ждем мы твоего лица.

Дам серьги — два стекающих рассвета,  
 дам сердце — из моей груди.  
 Я царь, и если ты не веришь в это,  
 не верь, но всё равно, приди!

*7 декабря 1923*

### 325. РОЖДЕСТВО

Свеча прозрачная мигает.  
 В окно синее Рождество.  
 Где ты живешь? Где пробегает  
 дыханье платья твоего?

И у шарахнувшейся двери  
 какого гостя среди гостей  
 встречают бархатные перья  
 твоих стремительных бровей?

А помнишь — той зимой старинной, —  
 как жадно ты меня ждала,  
 как елка выросла в гостиной  
 и лапой в зеркало вросла.

На лесенке, чуть прикасаясь  
 рукою к моему плечу,  
 другую тянешь, зажигая  
 свечу на ветке об свечу.

Горят под золотистым газом  
лучи раскинутых ключиц,  
а елка — в дымчатых алмазах,  
в дрожанье льющих зарниц.

И прыгиваешь со ступени —  
как бы вдоль сердца моего, —  
и я один... Мигают тени.  
В окно синее Рождество.

Свеча сияющая плачет,  
и уменьшенный образ твой  
течет жемчужиной горячей,  
жемчужиною восковой.

*<25 декабря 1923>*

### 326. КУБЫ

Сложим крылья наших видений.  
Ночь. Друг на друга дома углами  
валятся. Перешиблены тени.  
Фонарь — сломанное пламя.

В комнате деревянный ветер косит  
мебель. Зеркалу удержать трудно  
стол, апельсины на подносе.  
И лицо мое изумрудно.

Ты — в черном платье, полет, поэма  
черных углов в этом мире пестром.  
Упираешься, траурная теорема,  
в потолок коленом острым.

В этом мире страшном, не нашем, Боже,  
буквы жизни и целые строки  
наборщики переставили. Сложим  
крылья, мой ангел высокий.

*<9 марта 1924>*

### 327. ЛЕНИНГРАД

Великие, порою,  
бывают перемены...  
Но, пламенные мужи,  
что значит этот сон?  
Был Петроград — он хуже,  
чем Петербург, — не скрою, —  
но не походит он —  
как ни верти — на Троицу:  
зачем же в честь Елены —  
так ласково к тому же —  
он вами окрещен?

*<23 марта 1924>*

### 328. АВТОМОБИЛЬ В ГОРАХ

*Сонет*

Как сон, летит дорога, и ребром  
встает луна за горною вершиной.  
С моею черной гоночной машиной  
сравню — на волю вырвавшийся гром!

Всё хочется — пока под тем бугром  
не стала плоть личинкою мушиной —  
слышать, как прах под бешеною шиной  
рыдающим исходит серебром...

Сжимая руль наклонный и упругий,  
куда лечу? У альповой лачуги —  
почудится отеческий очаг;

и в путь обратный — вдавливая конус  
подошвою и боковой рычаг  
переставляя по дуге — я тронусь.

*<20 апреля 1924>*

### 329. ПОДРУГА БОКСЕРА

Дрожащая, в змеином платье бальном,  
и я пришла смотреть на этот бой.

Окружена я черною толпой:  
мелькает блеск по вырезам крахмальным,

свет льется, ослепителен и бел,  
посередине залы, над подмостком.  
И два бойца в сиянье этом жестком  
сшибаются... Один уж ослабел.

И ухаёт толпа. Могуч и молод,  
неуязвим, как тень, — противник твой.  
Уж ты прижат к веревке круговой  
и подставляешь голову под молот.

Всё чаще, всё короче, всё звучней  
бьет снизу, бьет и хлещет этот сжатый  
кулак в перчатке сально-желтоватой,  
под сердце и по челюсти твоей.

Сутулишься и екаешь от боли,  
и напряженно лоснится спина.  
Кровь на лице, на ребрах так красна,  
что я тобой люблюсь поневоле.

Удар — и вот не можешь ты вздохнуть, —  
еще удар, два боковых и пятый —  
прямой в кадык. Ты падаешь. Распятым,  
лежишь в крови, крутую выгнув грудь.

Волненье, гул... Тебя уносят двое  
в фуфайках белых. Победитель твой  
с улыбкой поднимает руку. Вой  
приветственный, — и смех мой в этом вое.

Я вспоминаю, как недавно, там,  
в гостинице зеркальной, встав с обеда, —  
за взгляд и за ответный взгляд соседа  
ты бил меня наотмашь по глазам.

<11 мая 1924>

### 330. СМЕРТЬ ПУШКИНА

Он первый подошел к барьеру; очи  
так пристально горели, что Дантес

нажал курок. И был встревожен лес:  
сыпучий снег, пугливый взмах сорочий...

Пробита печень. Мучился две ночи.  
На ране — лед. В бреду своем он лез  
по книжным полкам, — выше... до небес...  
ах, выше!.. Пот блестел на лбу.

Короче, —  
он умирал: но долго от земли  
уйти не мог. «Приди же, Натали,  
да покорми моченою морошкой»...

И верный друг, и жизни пьяный пыл,  
и та рука с протянутою ложкой —  
отпало всё. И в небо он поплыл.

*<8 июня 1924>*

### 331—332. ОБ АНГЕЛАХ

#### 1

Неземной рассвет блеском облил...  
Миры прикатили: распрягай!  
Подняты огненные оглобли.  
Ангелы. Балаган. Рай.

Вспомни: гиганты промахивают попарно,  
торгуют безднами. Алый пар  
от крыльев валит. И лучезарно  
кипит божественный базар.

И, в этом странствуя сиянье,  
там я купил — за песнь одну —  
женскую душу и в придачу нанял  
самую дорогую весну.

*24 апреля 1924*

#### 2

Представь: мы его встречаем  
вот там, где в лисичках пень,

и был он необычаен,  
как радуга в зимний день.

Он хвойную занозу  
из пятки босой тащил.  
Сквозили снега и розы  
праздно склоненных крыл.

Наш лес, где была черника  
и телесного цвета грибы,  
вдруг пронзен был дивным криком  
золотой, неземной трубы.

И, он нас увидел; замер,  
оглянул людей, лес  
испуганными глазами  
и, вспыхнув крылом, исчез.

Мы вернулись домой с сырыми  
грибами в узелке  
и с рассказом о серафиме,  
встреченном в сосняке.

*8 июля 1924*

### 333—335. ПЕТЕРБУРГ

#### ТРИ СОНЕТА

##### 1

Единый путь — и множество дорог;  
тьма горестей — и стон один: «когда же?..»  
Что город мой? я забываю даже  
названья улиц... Тонет. Изнемог.

Безлюдие. Остались только Бог,  
рябь под мостом, да музы в Эрмитаже,  
да у ворот луна блестит всё та же  
на мраморных ногтях гигантских ног.

И это всё. И это всё на свете...  
В зеркальные туманы двух столетий  
гляделся ты, мой город, мой Нарцисс...



Там, над каналом, круглыми камнями  
взбухал подъем, и — с дребезжаньем — вниз...  
Терзаем я утраченными днями...

<24 августа 1924>

2

Терзаем я утраченными днями,  
и тленом тянет воздух неродной.  
Я сжал в алмаз невыплаканный зной,  
я духом стал прозрачный и упрямый.

Но сны меня касаются краями  
орлиных крыл, — и снова, в час ночной,  
Нева чернеет, вздутая весной,  
и дышит маслянистыми огнями.

Гранит шероховат. Внизу вода  
чуть хлюпает под баржами, когда  
к их мерному прислушаешься тренью.

Вот ветерок возник по волшебству, —  
и с островов как будто бы сиренью  
повеяло... Прошедшим я живу.

<24 августа 1924>

3

Повеяло прошедшим... Я живу  
там... далеко... в какой-то тьме певучей...  
Под аркою мелькает луч пловучий, —  
плеснув веслом, выходит на Неву.

Гиганты ждут... Один склонил главу,  
всё подпирая мраморные тучи.  
Их четверо. Изгиб локтей могучий  
звездистую пронзает синеву.

Чего им ждать? Что под мостами плещет?  
Какая сила в воздухе трепещет,  
проносится?.. О чем мне шепчет Бог?

Мы странствуем, — а дух стоит на страже  
единый путь — и множество дорог;  
тьма горестей — и стон один: когда же?

<24 августа 1924>

336

Отдалась необычайно  
на крыле тупом и плоском  
исполинского Бехштайна,  
и живая наша тайна  
в глубине под черным лоском  
глухо струны колебала.  
Это было после бала, —  
и, подобные полоскам  
густо вытканной гуаши,  
лунные лучи во мраке  
отражались в черном лаке,  
и глухие вопли наши  
упоительно пронзали  
бездны струнные Бехштайна,  
нас принявшего случайно  
после бала, в темном зале...

<24 сентября 1924>

### 337—339. ТРИ ШАХМАТНЫХ СОНЕТА

1

В ходах ладьи — ямбический размер,  
в ходах слона — анапест. Полутанец,  
полурасчет — вот шахматы. От пьяниц  
в кофейне шум, от дыма воздух сер.

Там Филидор сражался и Дюсер.  
Теперь сидят — бровастый, злой испанец  
и гном в очках. Ложится странный глянец  
на жилы рук, а взгляд — как у химер.

Вперед ладья прошла стопами ямба.  
Потом опять — раздумие. «Карамба,  
сдавайтесь же!» Но медлит тихий гном.

И вот толкнул ногтями цвета йода  
фигуру. Так! Он жертвует слоном:  
волшебный шах и мат в четыре хода.

<30 ноября 1924>

2

Движенья рифм и танцовщиц крылатых  
есть в шахматной задаче. Посмотри:  
тут белых семь, а черных только три  
на световых и сумрачных квадратах.

Чернеет ферзь между коней горбатых,  
и пешки в ночь впились, как янтари.  
Решенья ждут и слуги, и цари  
в резных венцах и высеченных латах.

Звездообразны каверзы ферзя.  
Дразнящая, узорная стезя  
уводит мысль, — и снова ум во мраке.

Но фея рифм — на шахматной доске  
является, отблескивая в лаке,  
и — легкая — взлетает на носке.

<30 ноября 1924>

3

Я не писал законного сонета,  
хоть в тополях не спали соловьи, —  
но, трогая то пешки, то ладьи,  
придумывал задачу до рассвета.

И заключил в узор ее ответа  
всю нашу ночь, все возгласы твои,  
и тень ветвей, и яркие струи  
текучих звезд, и мастерство поэта.

Я думаю, испанец мой, и гном,  
и Филидор — в порядке кружевном  
скупых фигур, играющих согласно, —

увидят все, — что льется лунный свет,  
что я люблю восторженно и ясно,  
что на доске составил я сонет.

*<30 ноября 1924>*

#### 340. К РОДИНЕ

Ночь дана, чтоб думать и курить  
и сквозь дым с тобою говорить.

Хорошо... Пошуркиваетмышь,  
много звезд в окне и много крыш.

Кость в груди нащупываю я:  
родина, вот эта кость — твоя.

Воздух твой, вошедший в грудь мою,  
я тебе стихами отдаю.

Синей ночью рдяная ладонь  
охраняла вербный твой огонь.

И тоскуют впадины ступней  
по земле пронзительной твоей.

Так всё тело — только образ твой,  
и душа — как небо над Невой.

Покурю и лягу, и засну,  
и твою почувствую весну:

угол дома, памятный дубок,  
граблями расчесанный песок.

*<25 декабря 1924>*

#### 341. ВИДЕНИЕ

В снегах полуночной пустыни  
мне снилась мать всех берез,  
и кто-то — движущийся иней —  
к ней тихо шел и что-то нес.

Нес на плече, в тоске высокой,  
мою Россию, детский гроб:

и под березой одинокой  
в бледно-пылящийся сугроб

склонился в трепетанье белом,  
склонился, как под ветром дым.  
Был предан гробик с легким телом  
снегам невинным и немым.

И вся пустыня снеговая,  
молясь, глядела в вышину,  
где плыли тучи, задевая  
крылами тонкими луну.

В просвете лунного мороза  
то колебалась, то в дугу  
стибалась голая береза,  
и были тени на снегу —

там, на могиле этой снежной,  
сжимались, разгибались вдруг,  
заламывались безнадежно,  
как будто тени Божьих рук.

И поднялся, и по равнине  
в ночь удалился навсегда  
лик Божества, виденье, иней,  
не оставляющий следа...

*16 января 1924*

#### 342. СКИТАЛЬЦЫ

За громадные годы изгнанья,  
вся колючим жаром дыша,  
исходила ты мирозданья,  
о, косматая наша душа.

Семимильных сапог не обула,  
и не мчал тебя чародей,  
но от пыльных зловоний Стамбула  
до парижских литых площадей,

от полярной губы до Бискры,  
где с арабом прильнула к ручью,  
ты прошла и сыпала искры,  
если трогали шерсть твою.

Мы, быть может, преступнее, краше,  
голодней всех племен мирских.  
От языческой нежности нашей  
умирают девушки их.

Слишком вольно душе на свете.  
Встанет ветер всяя Руси,  
и душа скитальцев ответит,  
и ей ветер скажет: неси.

И по ребрам дубовых лестниц  
мы прикатим с собою на пир  
бочки солнца, тугие песни  
и в рогожу завернутый мир.

*27 февраля 1924*

### 343

При луне, когда косую крышу  
лижет металлический пожар,  
из окна случайного я слышу  
сладкий и пронзительный удар  
музыки; и чувствую, как холод  
счастья мне душу обдает;  
кем-то ослепительно расколот  
лунный мрак; и медленно в полет  
собираюсь, вынимаю руки  
из карманов, трепещу, лечу,  
Но в окне мгновенно гаснут звуки,  
и меня спокойно по плечу  
хлопает прохожий: «Вы забыли, —  
говорит, — летать запрещено».  
И, застыв, в венце из лунной пыли,  
я гляжу на смолкшее окно.

*6 марта 1924*  
*Берлин*

### 344. СТИХИ

Блуждая по запущенному саду,  
я видел — в полдень, в воздухе слепом,  
двух бабочек глазастых, до упаду  
хохочущих над бархатным пупом

подсолнуха. А в городе однажды  
я видел дом: был у него такой  
вид, словно он смех сдерживает; дважды  
прошел я мимо, и потом рукой  
махнул и рассмеялся сам; а дом, нет,  
не прыснул: только в окнах огонек  
лукавый промелькнул. Всё это помнит  
моя душа; всё это ей намек,  
что на небе по-детски Бог хохочет,  
смотря, как босоногий серафим  
вниз перегнулся и наш мир щекочет  
одним лазурным перышком своим.

*9 марта 1924*

#### 345. СТАНСЫ

Ничем не смоешь подписи косою  
судьбы на человеческой ладони —  
ни грубыми трудами, ни росой  
всех аравийских благовоний.

Ничем не смоешь взгляда моего,  
тобой допущенного на мгновенье.  
Не знаешь ты, как страшно волшебство  
бесплотного прикосновенья.

И в этот миг, пока дышал мой взгляд,  
издалека тобою обладавший,  
моя мечта была сильнее стократ  
твоей судьбы, тебя создавшей.

Но кто из нас мечтать не приходил  
к семейственной и глупой Мона Лизе,  
чей глаз, как всякий глаз, составлен был  
из света, жилочек и слизи?

О, я рифмую радугу и прах.  
Прости, прости, что рай я уничтожил,  
в двух бархатных и пристальных мирах  
единый миг как бог я прожил.

Да будет так. Не в силах я тебе  
открыть, с какою жадностью певучей,

с каким немым доверием судьбе  
невыразимой, неминучей...

24 марта 1924

### 346. МОЛИТВА

Пыланье свеч то выявит морщины,  
то по белку блестящему скользнет.  
В звездах шумят древесные вершины,  
и замирает крестный ход.  
Со мною ждет ночь темно-голубая,  
и вот, из мрака, церковь огибая,  
пасхальный вопль опять растет.

Пылай, свеча, и трепетные пальцы  
жемчужинами воска ороси.  
О милых мертвых думают скитальцы,  
о дальней молятся Руси.  
А я молюсь о нашем дивьем диве,  
о русской речи, плавной, как по ниве  
движенье ветра... Воскреси!

О, воскреси душистую, родную,  
косноязычный сон ее гнетет.  
Искажена, искромсана, но чую  
ее невидимый полет.  
И ждет со мной ночь темно-голубая,  
и вот, из мрака, церковь огибая,  
пасхальный вопль опять растет.

Тебе, живой, тебе, моей прекрасной,  
вся жизнь моя, огонь несметных свеч.  
Ты станешь вновь, как воды, полногласной,  
и чистой, как на солнце меч,  
и величавой, как волнение нивы.  
Так молится ремесленник ревнивый  
и рыцарь твой, родная речь.

3 мая 1924



### 347. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Ко мне, туманная Леила!  
Весна пустынная, назад!  
Бледно-зеленые ветрила  
дворцовый распускает сад.

Орлы мерцают вдоль опушки.  
Нева, лениво шелестя,  
как Лета льется. След локтя  
оставил на граните Пушкин.

Леила, полно, перестань,  
не плачь, весна моя бывая.  
На вывеске плавучей — глянь —  
какая рыба голубая.

В Петровом бледном небе — штиль,  
флотилия туманов вольных,  
и на торцах восьмиугольных  
всё та же золотая пыль.

*26 мая 1924  
Берлин*

### 348. СМЕРТЬ

Утихнет жизни рокот жадный,  
и станет музыкою тишь,  
гость босоногий, гость прохладный,  
ты и за мною прилетишь.

И душу из земного мрака  
поднимешь, как письмо, на свет,  
ища в ней водяного знака  
сквозь тени суетные лет.

И просияет то, что сонно  
в себе я чую и таю, —  
знак нестираемый, исконный,  
узор, придуманный в раю.

О, смерть моя! С землей уснувшей  
разлука плавная светла:

полет страницы, соскользнувшей  
при дуновенье со стола...

13 июня 1924

### 349. ИСХОД

Муза, возгласом, со вздохом шумным  
у меня забилась на руках.  
В звездном небе тихом и безумном  
снежный поднимающийся прах

очертанья принимал, как если  
долго вглядываться в облака:  
образы гранитные воскресли,  
смуглый купол плыл издалека.

Через Млечный Путь бледно-туманный  
перекинулись из темноты  
в темноту — о, муза, как неожиданно! —  
явственные невские мосты.

И, задев в седом и синем мраке  
исполинским куполом луну,  
скрипнувшую, как сугроб, Исакий  
медленно пронесся в вышину.

Словно ангел на носу фрегата,  
бронзовым протянутым перстом  
рассекая звезды, плыл куда-то  
Всадник в изумленье неземном.

И по тверди поднимался тучей,  
тускло озаренной изнутри,  
дом; и вереницею текучей  
статуи, колонны, фонари

таяли в просторах ночи синей,  
и, неспешно догоняя их,  
к Господу несли свой чистый иней  
призраки деревьев неживых.

Так проплыл мой город непорочный,  
дивно оторвавшись от земли.  
И опять в гармонии полночной  
только звезды тихие текли.

И тогда моя полуживая  
маленькая муза, трепеща,  
высунулась робко из-за края  
нашего широкого плаща.

*11 сентября 1924*  
*Берлин*

350

Откуда прилетел? Каким ты дышишь горем?  
Скажи мне, отчего твои уста, летун,  
как мертвые, бледны, а крылья пахнут морем?

И демон мне в ответ: «Ты голоден и юн,  
но не насытишься ты звуками. Не трогай  
натянутых тобой нестройных этих струн.

Нет выше музыки, чем тишина. Для строгой  
ты создан тишины. Узнай ее печать  
на камне, на любви и в звездах над дорогой».

Исчез он. Тает ночь. Мне Бог велел звучать.

*27 сентября 1924*  
*Берлин*

### 351. СТРАНА СТИХОВ

Дай руки, в путь! Найдем среди планет  
пленительных такую, где не нужен  
житейских труд. От хлеба до жемчужин  
всё купит звон особенных монет.

И доступа злым и бескрылым нет  
в блаженный край, что музой обнаружен,  
где нам дадут за рифму целый ужин  
и целый дом за правильный сонет.

Там будем мы свободны и богаты...  
Какие дни. Как благодны закаты.  
Кипят ключи кастальские во мгле.

И, глядя в ночь на лунные оливы  
в стране стихов, где боги справедливы,  
как тосковать мы будем о земле!

*26 октября 1924*

### 352. КОСТЕР

На сумрачной чужбине, в чаще,  
где ужас очертанья стер,  
среди прогалины — горящий,  
как сердце жаркое, костер.

Вокруг синеющие тени,  
и сквозь летающую сеть  
теней и рдяных отражений  
склоненных лиц не рассмотреть.

Но, отгоняя сумрак жадный,  
вот песня вспыхнула в тиши,  
гори, гори, костер отрадный,  
шинели наши осуши.

И снова всколыхнулись плечи,  
и снова полнозвучный взмах,  
кипят воинственные речи,  
и слезы светятся в глазах.

Зверье, блуждающее в чащах,  
ночные духи и ветра  
бегут от этих глаз горящих  
и от поющего костра.

Зато с каким благоговеньем,  
с какою верой в трудный путь,  
утешен пламенем и пеньем,  
подходит странник отдохнуть.

*26 ноября 1924  
Берлин*

### 353. ШЕКСПИР

Среди вельмож времен Елизаветы  
и ты блистал, чтил пышные заветы,  
и круг брыжей, атласным серебром  
обтянутая ляжка, клин бородки —  
всё было как у всех... Так в плащ короткий  
божественный запахивался гром.

Надменно-чужд тревоге театральной,  
ты отстранил легко и беспечально

в сухой венок свивающийся лавр  
и скрыл навек чудовищный свой гений  
под маскою, но гул твоих видений  
остался нам: венецианский мавр  
и скорбь его; лицо Фальстафа — вымя  
с наклеенными усиками; Лир  
бушующий... Ты здесь, ты жив, — но имя,  
но облик свой, обманывая мир,  
ты потопил в тебе любезной Лете.  
И то сказать: труды твои привык  
подписывать — за плату — ростовщик,  
тот Виль Шекспир, что «Тень» играл в «Гамлете»,  
жил в кабаках и умер, не успев  
переварить кабанью головизну...

Дышал фрегат, ты покидал отчизну.  
Италию ты видел. Нараспев  
звал женский голос сквозь узор железа,  
звал на балкон высокого инглеза,  
томимого лимонною луной  
на улицах Вероны. Мне охота  
вообразать, что, может быть, смешной  
и ласковый создатель Дон Кихота  
беседовал с тобою — невзначай,  
пока меняли лошадей, — и, верно,  
был вечер синь. В колодце, за таверной,  
ведро звенело чисто... Отвечай,  
кого любил? Откройся, в чьих записках  
ты упомянут мельком? Мало ль низких,  
ничтожных душ оставили свой след —  
каких имен не сыщешь у Брантома!  
Откройся, бог ямбического грома,  
стоустый и немыслимый поэт!

Нет! В должный час, когда почуял — гонит  
тебя Господь из жизни, — вспоминал  
ты рукописи тайные и знал,  
что твоего величия не тронет  
молвы мирской бесстыдное клеймо,  
что навсегда в пыли столетий зыбкой  
пребудешь ты безликим, как само  
бессмертие... И вдаль ушел, с улыбкой.

*Декабрь 1924*

### 354. В ПЕЩЕРЕ

Над Вифлеемом ночь застыла.  
Я блудную овцу искал.  
В пещеру заглянул — и было  
виденье между черных скал.

Иосиф, плотник бородатый,  
сжимал, как смуглые тиски,  
ладони, знавшие когда-то  
плоть необструганной доски.

Мария слабая на чадо  
улыбку устремляла вниз,  
вся умиление, вся прохлада  
линялых синеватых риз.

А он, младенец светлоокий  
в венце из золотистых стрел,  
не видя матери, в потоки  
своих небес уже смотрел.

И рядом, в темноте счастливой,  
по белизне и бубенцу  
я вдруг узнал, пастух ревнивый,  
свою пропавшую овцу.

*11 декабря 1924  
Берлин*

### 355. ВЕЛИКАН

Я вылепил из снега великана,  
дал жизнь ему, и в ночь на Рождество  
к тебе, в поля, через моря тумана,  
я, грозный мастер, выпустил его.  
Над ним кружились вороны — как мухи  
над головою белого быка...  
Его не вьюги создали, не духи,  
а только огрубелая тоска.  
Слепой, как мрамор, — близился он к цели,  
шагал, — неотразимый, как зима.  
Охотники, плутовавшие в метели,  
его видали и сошли с ума.  
И вот достиг он твоего предела —

и замер вдруг: цвела твоя страна.  
Была ты счастлива, дышала, рдела,  
в твоей стране всем правила весна!  
Проста, легка, с душою шелковистой,  
ты в солнечной скользила тишине —  
и новому попутчику так чисто,  
так гордо говорила обо мне!

И, перед этим солнцем отступая,  
поняв, что с ним соперничать нельзя,  
растаяла тоска моя слепая,  
вся синевой весеннею сквозя...

*13 декабря 1924*

### 356. ПЛЕВИЦКОЙ

Кипит, и пенится, и бродит...  
то греет, как румяный день,  
то, Богу жалуясь, отходит  
как будто в бархатную тень.

Шепнула о тишайшей муке  
и снова прянула, спеша, —  
Ты, пролетающая в звуки,  
росой омытая душа!

Уста отчизны молчаливы:  
не смеют жаворонки петь,  
молчат незреющие нивы  
и неколышимая медь...

Но от навета, от попрянья,  
от унижительного зла, —  
в державу славного изгнанья  
ты наши песни унесла!

*<3 января 1925>*

### 357. КОНЬКОБЕЖЕЦ

Плясать на льду учился он у музыки,  
у зимней Терпсихоры... Погляди:

открытый лоб, и черные рейтузы,  
и огонек медали на груди.

Он вьется, и под молнией алмазной  
его непостижимого конька  
ломается, растет звездообразно  
узорное подобие цветка.

И вот на льду густом и шелковистом  
подсолнух обрисован. Но постой —  
не я ли сам, с таким певучим свистом,  
коньком стиха блеснул перед тобой.

Оставил я один узор словесный,  
мгновенно раскружившийся цветок.  
И завтра снег бесшумный и отвесный  
запорошит исчерченный каток.

*<5 февраля 1925>*

358

Пою. Где ангелы? В разлуке  
я проживаю с ними, ведь:  
и еле слышимые звуки...  
«И неколышима медь»...  
Прошла. Устало оглянулась.  
Ты видишь Блютнера рояль?  
К бемолям, сидя, прикоснулась —  
и еле слышима педаль.  
Домов и кубиков ступени.  
Над крышей проволоки сеть.  
Волью изысканное пенье  
я в неколышимую медь.

*<1 апреля 1925>*

359. ИЗГНАНЬЕ

Я занят странными мечтами  
в часы рассветной полутьмы:  
что, если б Пушкин был меж нами —  
простой изгнанник, как и мы?



Так, удалясь в края чужие,  
он вправду был бы обречен  
«вздыхать о сумрачной России»,  
как пожелал однажды он.

Быть может, нежностью и гневом —  
как бы широким шумом крыл, —  
еще неслыханным напевом  
он мир бы ныне огласил.

А может быть, и то: в изгнание  
свершая страннический путь,  
на жарком сердце плащ молчанья  
он предпочел бы запахнуть, —

боясь унижить даже песней,  
высокой песнею своей,  
тоску, которой нет чудесней,  
тоску невозвратимых дней...

Но знал бы он: в усадьбе дальней  
одна душа ему верна,  
одна лампада тлеет в спальне,  
старуха вяжет у окна.

Голубка дряхлая дождется!  
Ворота настезь... Шум живой...  
вбежит он, глянет, к ней прижмется  
и всё расскажет — ей одной...

<14 июня 1925>

### 360. СОН

Однажды ночью подоконник  
дождем был шумно орошен.  
Господь открыл свой тайный сонник  
и выбрал мне сладчайший сон.

Звуча знакомою тревогой,  
рыданье ночи дом трясло.  
Мой сон был синею дорогой  
через тенистое село.

Под мягкой грудой колеса  
скрипели глубоко внизу:

я навзничь ехал с сенокоса  
на синем от теней возу.

И снова, тяжело, упрямо,  
при каждом повороте сна  
скрипела и кренилась рама  
дождем дышавшего окна.

И я, в своей дремоте синей,  
не знал, что истина, что сон:  
та ночь на роковой чужбине,  
той рамы беспокойный стон

или ромашка в теплом сене  
у самых губ моих, вот тут,  
и эти лиственные тени,  
что сверху кольцами текут...

*<30 июня 1925>*

### 361. РАЙ

Любимы ангелами всеми,  
толпой глядящими с небес,  
вот люди зажили в Эдеме, —  
и был он чудом из чудес.  
Как на раскрытой Божьей длани,  
я со святою простотой  
изобразу их на поляне,  
прозрачным лаком залитой,  
среди павлинов, ланей, тигров,  
у живописного ручья...  
И к ним я выберу эпитаф  
из первой Книги Бытия.

Я тоже изгнан был из рая  
лесов родимых и полей,  
но жизнь проходит, не стирая  
картины в памяти моей.  
Бессмертен мир картины этой,  
и сладкий дух таится в нем:  
так пахнет желтый воск, согретый  
живым дыханьем и огнем.  
Там, по написанному лесу

тропами смуглыми брожу, —  
и сокровенную завесу  
опять со вздохом завожу...

*<26 июля 1925>*

### 362. ПУТЬ

Великий выход на чужбину,  
как дар божественный, цenia,  
веселым взглядом мир окину,  
отчизной ставший для меня.

Отраду слов скупых и ясных  
прошу я Господа мне дать, —  
побольше странствий, встреч опасных,  
в лесах подальше заплутать.

За поворотом, ненароком,  
пускай найду когда-нибудь  
наклонный свет в лесу глубоко,  
где корни переходят путь, —

то теневое сочетанье  
листвы, тропинки и корней,  
что носит — для души — названье  
России, родины моей.

*<13 декабря 1925>*

### 363. БЕРЛИНСКАЯ ВЕСНА

Нищетою необычной  
на чужбине дорожу.  
Утром в ратуше кирпичной  
за конторкой не сажу.

Где я только не шатаюсь  
в пустоте весенних дней!  
И к подруге возвращаюсь  
всё позднее и поздней.

В полумраке стул задену  
и, нащупывая свет,

так растопаюсь, что в стену  
стукнет яростно сосед.

Утром он наполовину  
открывать окно привык,  
чтобы высунуть перину,  
как малиновый язык.

Утром музыкант бродячий  
двор наполнит до краев  
при участии горячей  
суматохи воробьев.

Понимают, слава Богу,  
что всему я предпочту  
дикую мою дорогу,  
золотую нищету.

*14 мая 1925*

#### **364. ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ**

Нам, потонувшим мореходам,  
похороненным в глубине  
под вечно движущимся сводом,  
являлся старый порт во сне:

кайма сбегаящая пены,  
на камне две морских звезды,  
из моря выросшие стены  
в дрожащих отблесках воды.

Но выплыли и наши души,  
когда небесная труба  
пропела тонко, и на суше  
распались с грохотом гроба.

И к нам туманная подходит  
ладья апостольская, в лад  
с волною дышит и наводит  
огни двенадцати лампад.

Всё, чем пленяла жизнь земная,  
всю прелесть, теплоту, красу

в себе божественно вмещаю,  
горит фонарик на носу.

Луч окунается в морские  
им разделенные струи,  
и наших душ ловцы благие  
берут нас в тишину ладьи.

Плыви, ладья, в туман суровый,  
в залив играющий влечай,  
где ждет нас городок портовый,  
как мы, перенесенный в рай.

*19 июля 1925  
Франция*

### 365. ЛЫЖНЫЙ ПРЫЖОК

Для состязаний быстролетных  
на том белеющем холму  
вчера был скат на сваях плотных  
сколочен. Лыжник по нему

съезжал со свистом; а пониже  
скат обрывался: это был  
уступ, где становились лыжи  
четою ясневых крыл.

Люблю я встать над бездной снежной,  
потуже затянуть ремни...  
Бери меня, наклон разбежный,  
и в дивной пустоте — распни.

Дай прыгнуть, под гуденье ветра,  
под трубы ангельских высот,  
не семьдесят четыре метра,  
а миль, пожалуй, девятьсот.

И небо звездное качнется,  
легко под лыжами скользят,  
и над Россией пресечется  
моя воздушная стезя.

Увижу инистый Исакий,  
огни мохнатые на льду

и, вольно прозвенев во мраке,  
как жаворонок, упаду.

*Декабрь 1925  
Райзенгебурге*

### 366. UT PICTURA POESIS<sup>1</sup>

*М. В. Добужинскому.*

Воспоминанье, острый луч,  
преобрази мое изгнанье,  
пронзи меня, воспоминанье  
о баржах петербургских туч  
в небесных ветреных просторах,  
о закоулочных заборах,  
о добрых лицах фонарей...  
Я помню, над Невой моей  
бывали сумерки, как шорох  
тушующих карандашей.

Всё это живописец плавный  
передо мною развернул,  
и, кажется, совсем недавно  
в лицо мне этот ветер дул,  
изображенный им в летучих  
осенних листьях, зыбких тучах,  
и плыл по набережной гул,  
во мгле колокола гудели —  
собора медные качели...

Какой там двор знакомый есть,  
какие тумбы! Хорошо бы  
туда перешагнуть, пролезть,  
там постоять, где спят сугробы  
и плотно сложены дрова,  
или под аркой, на канале,  
где нежно в каменном овале  
синеют крепость и Нева.

*25 апреля 1926*

---

<sup>1</sup> Поэзия как живопись (лат.).— *Рег.*

Пустяк — название мачты, план — и следом  
за чайкою взмывает жизнь моя;  
и человек на палубе, под пледом,  
вдыхающий сиянье, — это я.

Я вижу на открытке глянцевитой  
развратную залива синеву,  
и белозубый городок со свитой  
несметных пальм, и дом, где я живу.

И в этот миг я с криком покажу вам  
себя, себя — но в городе другом:  
как попугай пощелкивает клювом,  
так терблю с открытками альбом.

Вот это — я и призрак чемодана;  
вот это — я, по улице сырой  
идуший в вас, как будто бы с экрана,  
и расплывающийся слепотой.

Ах, чувствую в ногах отяжелевших,  
как без меня уходят поезда,  
и сколько стран еще меня не гревших,  
где мне не жить, не греться никогда!

И в кресле путешественник из рая  
описывает, руки заломив,  
дымок из трубки с присвистом вбирая,  
свою любовь — тропический залив.

*18 июня 1926  
Шварцвальд*

### 368. РОДИНА

Бессмертное счастье наше  
Россией зовется в веках.  
Мы края не видели краше,  
а были во многих краях.

Но где бы стезя ни бежала,  
нам русская снилась земля.

Изгнание, где твое жало,  
чужбина, где сила твоя?

Мы знаем молитвы такие,  
что сердцу легко по ночам;  
и гордые музы России  
незримо сопутствуют нам.

Спасибо дремучему шуму  
лесов на равнинах родных,  
за ими внушенную думу,  
за каждую песню о них.

Наш дом на чужбине случайной,  
где мирен изгнанника сон,  
как ветром, как морем, как тайной,  
Россией всегда окружен.

*4 июня 1927*

### 369. БИЛЕТ

На фабрике немецкой, вот сейчас, —  
дай рассказать мне, муза, без волненья! —  
на фабрике немецкой, вот сейчас,  
все в честь мою, идут приготовленья.

Уже машина говорит: «Жую;  
бумажную выглаживаю кашу;  
уже пласты другой передаю».  
Та говорит: «Нарежу и подкрашу».

Уже найдя свой правильный размах,  
стальное многорукое созданье  
печатает на розовых листах  
невероятной станции названье.

И человек бесстрастно рассует  
те лепестки по ящикам в конторе,  
где на стене глазастый пароход,  
и роща пальм, и северное море.

И есть уже на свете много лет  
тот равнодушный, медленный приказчик,



который выдвинет заветный ящик  
и выдаст мне на родину билет.

14 мая 1927

### 370. ШАХМАТНЫЙ КОНЬ

Круглогривый, тяжелый, суконцем подбитый,  
шахматный конь в коробке уснул, —  
а давно ли, давно ли в пивной знаменитой  
стоял живой человеческий гул?

Гул живописцев, ребят бородатых,  
и крики поэтов, и стон скрипачей...  
Лампа сияла, а пол под ней  
был весь в очень ровных квадратах.

Он сидел с друзьями в любимом углу,  
по привычке слегка пригнувшись к столу,  
и друзья вспоминали турниры былые,  
говорили о тонком его мастерстве...

Бархатный стук в голове:  
это ходят фигуры резные.

Старый маэстро пивцо попивал,  
слушал друзей, сигару жевал,  
кивал головой седовато-кудластой,  
и ворот осыпан был перхотью частой —  
скорлупками шахматных мыслей.

И друзья вспоминали, как, матом грозя,  
Кизерицкому в Вене он отдал ферзя.  
Кругом над столами нависли  
табачные тучи; а плиточный пол  
был в темных и светлых квадратах.  
Друзья вспоминали, какой изобрел  
он дерзостный гамбит когда-то.

Старый маэстро пивцо попивал,  
слушал друзей, сигару жевал  
и думал с улыбкою хмурой:  
«Кто-то, а кто — я понять не могу,  
переставляет в мозгу,  
как тяжелую мебель, фигуры,  
и пешка одна со вчерашнего дня  
черною куклой идет на меня».

Старый маэстро сидел согнувшись,  
пепел ронял на пикейный жилет, —  
и нападал, пузырями раздувшись,  
неудержимый шахматный бред.  
Пили друзья за здоровье маэстро,  
вспоминали, как с этой сигарой в зубах  
управлял он вслепую огромным оркестром  
незримых фигур на незримых досках.

Вдруг черный король, подкрепив проходную  
пешку свою, подошел вплотную.

Тогда он встал, отстранил друзей,  
и смеющихся, и оробелых.  
Лампа сияла, а пол под ней  
был в квадратах черных и белых.

На лице его старом, растерянном, добром  
деревянный отблеск лежал.  
Он сторбился, шею надул, прижал  
напряженные локти к ребрам  
и прыгать пошел по квадратам большим,  
через один, то влево, то вправо, —  
и это была не пустая забава,  
и недолго смеялись над ним.

И потом, в молчании чистой палаты,  
куда черный король его увел,  
на шестьдесят четыре квадрата  
необъяснимо делился пол.  
И эдак, и так — до последнего часа —  
в бредовых комбинациях, ночью и днем,  
прыгал маэстро, старик седовласый,  
белым конем.

<23 октября 1927>

### 371. УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ПОЭМА

1

«Итак, вы русский? Я впервые  
встречаю русского...» Живые,  
слегка навывкате глаза

меня разглядывают: «К чаю  
лимон вы любите, я знаю;  
у вас бывают образа  
и самовары, знаю тоже!»  
Она мила: по нежной коже  
румянец Англии разлит.  
Смеется, быстро говорит:  
«Наш город скучен, между нами, —  
но речка — прелесть!... Вы гребец?»  
Крупна, с покатыми плечами,  
большие руки без колец.

2

Так у викария за чаем  
мы, познакомившись, болтаем,  
и я старательно острою,  
и не без сладостной тревоги  
на эти скрещенные ноги  
и губы яркие смотрю,  
и снова отвожу поспешно  
нескромный взгляд. Она, конечно,  
явилась с теткою, но та  
социализмом занята, —  
и, возражая ей, викарий —  
мужчина кроткий, с кадыком —  
скосил по-песьи глаз свой карий  
и нервным давится смешком.

3

Чай крепче мюнхенского пива.  
Туманно в комнате. Лениво  
в камине слабый огонек  
блестит, как бабочка на камне.  
Но засиделся я — пора мне...  
Встаю, кивок, еще кивок,  
прощаюсь я, руки не тыча, —  
так здешний требует обычай, —  
сбегаю вниз через ступень  
и выхожу. Февральский день,  
и с неба вот уж две недели

непрекращающийся ток.  
Неужто скучен в самом деле  
студентов древний городок?

4

Дома — один другого краше, —  
чью старость розовую наши  
велосипеды веселят;  
ворота колледжей, где в нише  
епископ каменный, а выше —  
как солнце, черный циферблат;  
фонтаны, гулкие прохлады,  
и переулки, и ограды  
в чугунных розах и шипах,  
через которые впотьмах  
перелезть совсем не просто;  
кабак — и тут же антиквар,  
и рядом с плитами погоста  
живой на площади базар.

5

Там мяса розовые глыбы,  
сырая вонь блестящей рыбы,  
ножи, кастрюли, пиджаки  
из гардеробов безымянных;  
отдельно, в положеньях странных,  
кривые книжные лотки  
застыли, ждут, как будто спрятав  
тьму алхимических трактатов;  
однажды, эту дребедень  
перебирая, — в зимний день,  
когда, изгнанника печалю,  
шел снег, как в русском городке, —  
нашел я Пушкина и Даля  
на заколдованном лотке.

6

За этой площадью щербатой  
кинематограф, и туда-то

по вечерам мы в глубину  
туманной дали заходили, —  
где мчались кони в клубах пыли  
по световому полотну,  
волшебнo зрителя волнуя;  
где силуэтом поцелуя  
всё завершалось в должный срок;  
где добродетельный урок  
всегда в трагедию был вкраплен;  
где семенил, носками врозь,  
смешной и трогательный Чаплин;  
где и зевать нам довелось.

7

И снова — улочки кривые,  
ворот громады вековые, —  
а в самом сердце городка  
цирюльня есть, где брился Ньютон,  
и древней тайною окутан  
трактирчик «Синего Быка».  
А там, за речкой, за домами,  
дерн, утрамбованный веками,  
темно-зеленые ковры  
для человеческой игры,  
и звук удара деревянный  
в холодном воздухе. Таков  
был мир, в который я нежданно  
упал из русских облаков.

8

Я по утрам, вскочив с постели,  
летел на лекцию; свистели  
концы плаща, — и наконец  
стихало всё в холодноватом  
амфитеатре, и анатом  
всходил на кафедру — мудрец  
с пустыми детскими глазами;  
и разноцветными мелками  
узор японский он чертил

переплетающихся жил  
или коробку черепную;  
чертил, — и шуточку нет-нет  
да и отпустит озорную, —  
и все мы топали в ответ.

9

Обедать. В царственной столовой  
портрет был Генриха Восьмого —  
тугие икры, борода —  
работы пышного Гольбайна;  
в столовой той, необычайно  
высокой, с хорами, всегда  
бывало темновато, даром  
что фиолетовым пожаром  
от окон веяло цветных.  
Нагие скамьи вдоль нагих  
столов тянулись. Там сидели  
мы в черных конусах плащей  
и переперченные ели  
супы из вялых овощей.

10

А жил я в комнате старинной,  
но в тишине ее пустынной  
теньями мало дорожил.  
Держа московского медведя,  
боксеров жалуя и бредя  
красой Италии, тут жил  
студентом Байрон хромоногий.  
Я вспоминал его тревоги —  
как Геллеспонт он переплыл,  
чтоб похудеть... Но я остыл  
к его твореньям... Да простится  
неромантичности моей, —  
мне розы мраморные Китса  
всех бутафорских бурь милей.

Но о стихах мне было вредно  
 в те годы думать. Винтик медный  
 вращать, чтоб, в капельках воды,  
 сияя, мир явился малый, —  
 вот это день мой занимало.  
 Люблю я мирные ряды  
 лабораторных ламп зеленых,  
 и пестроту таблиц мудреных,  
 и блеск приборов колдовской.  
 И углубляться день-деньской  
 в колодец светлый микроскопа  
 ты не мешала мне совсем,  
 тоскующая Каллиопа,  
 тоска неконченных поэм.

Зато другое отвлекало:  
 вдруг что-то в памяти мелькало,  
 как бы не в фокусе, — потом  
 ясней, и снова пропадало.  
 Тогда мне вдруг надоедало  
 иглой работать и винтом,  
 мерцанье наблюдать в узоре  
 однообразных инфузорий,  
 кишки разматывать в уже;  
 лаборатория уже  
 мне больше не казалась раем;  
 я начинал воображать,  
 как у викария за чаем  
 мы с нею встретимся опять.

Так! Фокус найден. Вижу ясно.  
 Вот он, каштаново-атласный  
 переливающийся лоск  
 прически, и немного грубый  
 рисунок губ, и эти губы,

как будто ярко-красный воск  
в мельчайших трещинках. Прикрыла  
глаза от дыма, докурила  
и, жмурясь, тычет золотым  
окурком в пепельницу... Дым  
сейчас рассеется, и станут  
мигать ресницы, и в упор  
глаза играющие глянут,  
и, первый, опущу я взор.

14

Не шло ей имя Виолета  
(вернее: Вийолет, но это  
едва ли мы произнесем).  
С фиалкой не было в ней сходства, —  
напротив: ярко, до уродства,  
глаза блестели, и на всем  
подолгу, радостно и важно  
взор останавливался влажный,  
и странно ширились зрачки...  
Но речи, быстры и легки,  
не соответствовали взору, —  
и доверять не знал я сам  
чему — пустому разговору  
или значительным глазам...

15

Но знал: предельного расцвета  
в тот год достигла Виолета, —  
а что могла ей принести  
британской барышни свобода?  
Осталось ей всего три года  
до тридцати, до тридцати...  
А сколько тщетных увлечений, —  
и все они прошли, как тени, —  
и Джим, футбольный чемпион,  
и Джо мечтательный, и Джон,  
герой угрюмый интеграла...  
Она лукавила, влекла,  
в любовь воздушную играла,  
а сердцем большего ждала.



Но день приходит неминуемый,  
он уезжает, друг летучий:  
оплачен счет, экзамен сдан,  
ракетка теннисная в раме, —  
и вот блестящими замками,  
набитый, щелкнул чемодан.  
Он уезжает. Из передней  
выносят вещи. Стук последний —  
и тронулся автомобиль.  
Она вослед глядит на пыль:  
ну что ж — опять фаты венчальной  
напрасно призрак снился ей...  
Пустая улочка и дальний  
звук перебора скоростей...

От инфлуэнции презренной  
ее отец, судья почтенный,  
знаток портвейна, балагур,  
недавно умер. Виолета  
жила у тетки. Дама эта,  
одна из тех ученых дур,  
какими Англия богата, —  
была, в отличие от брата,  
высокомерна и худа,  
ходила с тросточкой всегда,  
читала лекции рабочим,  
культуры чтит идеал  
и полагала, между прочим,  
что Харьков — русский генерал.

С ней Виолета не бранилась, —  
порой могла бы, но ленилась, —  
в благополучной тишине  
жила, о мире мало зная,  
отца всё реже вспоминая,  
не помня матери (но мне

о ней альбомы рассказали, —  
о временах осиных талий,  
горизонтальных канотье.  
Последний снимок: на скамье  
она сидит, по юбке длинной  
стекают тени на песок,  
скромна горжетка, взор невинный,  
в руке крокетный молоток).

19

Я приглашен был раза два-три  
в их дом радушный, да в театре  
раз очутилась невзначай  
со мною рядом Виолета.  
(Студены ставили Гамлета,  
и в этот день был рай не в рай  
великой тени барда.) Чаше  
мы с ней встречались на кричащей  
вечерней улице, когда  
снует газетчиков орда,  
гортанно вести выкликая.  
Она гуляла в этот час.  
Два слова, шуточка пустая,  
великолепье темных глаз.

20

Но вот однажды, помню живо,  
в начале марта, в день дождливый,  
мы на футбольном были с ней  
соревнованье. Понемногу  
росла толпа, — отдавит ногу,  
пихнет в плечо, — и всё тесней  
многоголовое кишенье.  
С самим собою в соглашенье  
я молчаливое вошел:  
как только грянет первый гол,  
я трону руку Виолеты.  
Меж тем, в короткие портки,  
в фуфайки пестрые одеты, —  
уж побежали игроки.

Обычный зритель: из-под кепки  
 губа брезгливая и крепкий  
 дымок Виргинии. Но вдруг  
 разжал он губы, трубку вынул,  
 еще минута — рот разинул,  
 еще — и воет. Сотни рук  
 взвились, победу понукая:  
 игрок искусный, мяч толкая,  
 вдоль поля ласточкой стрельнул, —  
 навстречу двое, — он вильнул,  
 прорвался, — чистая работа, —  
 и на бегу издалека  
 дубленный мяч кладет в ворота  
 ударом меткого носка.

И тихо протянул я руку,  
 доверясь внутреннему стуку,  
 мне повторяющему: тронь...  
 Я тронул. Я собрался даже  
 пригнуться, зашептать... Она же  
 непотеплевшую ладонь  
 освободила молчаливо,  
 и прозвучал ее шуточный,  
 всегдашний голос, легкий смех:  
 «Вон тот играет хуже всех, —  
 всё время падает, бедняга...»  
 Дождь моросил едва-едва;  
 мы возвращались вдоль оврага,  
 где прела черная листва.

Домой. С гербами на фронтонах  
 большое здание, в зеленых  
 просветах внутренних дворов.  
 Там тихо было. Там в суровой  
 (уже описанной) столовой  
 был штат лакеев-стариков.

Там у ворот швейцар был зоркий.  
Существовала для уборки  
глухой студенческой норы  
там с незапамятной поры  
старушек мелкая порода;  
одна ходила и ко мне  
сбивать метелкой пыль с комода  
и с этажерок на стене.

24

И с этим образом расстаться  
мне трудно. В памяти хранятся  
ее мышинные шажки,  
смешная траурная шляпка —  
в какой, быть может, и прабабака  
ее ходила, — волосы  
на подбородке... Утром рано  
из желтоватого тумана  
она беззвучно, в черном вся,  
придет и, щепки принеся,  
согнетса куклою тряпичной  
перед холодным очагом,  
наложит кокс рукой привычной  
и снизу чиркнет огоньком.

25

И этот образ так тревожит,  
так бередит меня... Быть может,  
в табачной лавочке отца  
во дни Виктории, бывало,  
она румянцем волновала  
в жилетах клетчатых сердца —  
сердца студентов долговязых...  
Когда играет в темных вязах  
звук драгоценный соловья,  
ее встречал такой, как я,  
и с этой девочкой веселой  
сирень персидскую ломал;  
к ее склоненной шее голой  
в смятенье губы прижимал.

Воображенье дальше мчится:  
 ночь... лампа на столе... не спится  
 больному старику... застыл,  
 ночной подслушивает шепот:  
 отменно важный начат опыт  
 в лаборатории... нет сил...  
 Она приходит в час урочный,  
 поднимет с полу сор полночный —  
 окурки, ржавое перо,  
 из спальни вынесет ведро.  
 Профессор стар. Он очень скоро  
 умрет, и он давно забыл  
 душистый табачок, который  
 во дни Виктории курил.

Ушла. Прикрыла дверь без стука...  
 Пылают угли. Вечер. Скука.  
 И, оглушенный тишиной,  
 я с кексом в родинках изюма  
 пью чай, бездействуя угрюмо.  
 В камине ласковый, ручной  
 огонь стоит на задних лапах,  
 и от тепла шершавый запах  
 увядшей мебели слышней  
 в старинной комнатке моей.  
 Горящей кочергою ямки  
 в шипящей выжигать стене,  
 играть с самим собою в дамки,  
 читать, писать, — что делать мне?

Отставя чайничек кургузый,  
 родной словарь беру — и с музой,  
 моею вялой госпожой,  
 читаю в тягостной истоме  
 и нахожу в последнем томе

меж «хананыгой» и «ханжой»:  
«Хандра: тоска, унынье, скука;  
сплин, ипохондрия». А ну-ка  
стихотворенье сочиню...  
Так час-другой, лицом к огню,  
сизу я, рифмы подбирая,  
о Виолете позабыв, —  
и вот, как музыка из рая,  
звучит курантов перелив.

29

Открыв окно, курантам внемлю:  
перекрестили на ночь землю  
святые ноты четвертей,  
и бьют часы на башне дальней,  
считает башня, и печальней  
вдали другая вторит ей.  
На тяжелеющие зданья  
по складкам мантия молчанья  
спадает. Вслушиваюсь я, —  
умолкло всё. Душа моя  
уже к безмолвию привыкла, —  
как вдруг со смехом громовым  
взмывает ветер мотоцикла  
по переулкам неживым!

30

С тех пор душой живу я шире:  
в те годы понял я, что в мире  
пред Богом звуки все равны.  
В том городке под сенью Башен  
был грохот жизни бесшабашен,  
и смесь хмельная старины  
и настоящего живого  
мне впрок пошла: душа готова  
всем любоваться под луной —  
и стариной и новизной.  
Но я в разладе с лунным светом,  
я избегаю тосковать...

Не дай мне, Боже, стать поэтом,  
земное сдуру прозевать!

31

Нет! Я за книгой в кресле сонном  
перед камином озаренным  
не пропустил, тоскуя зря,  
весны прелестного вступленья.  
Довольно угли и поленья  
совать в камин — до октября.  
Вот настезь небеса открыты,  
вот первый крокус глянцевитый,  
как гриб, сквозь мураву пророс,  
и завтра, без обильных слез,  
без сумасшедшего напева,  
придет, усядется она —  
совсем воспитанная дева,  
совсем не русская весна.

32

И вот пришла. Прозрачней, выше  
курантов музыка, и в нише  
епископ каменный сдает  
квартиры ласточкам. И, гулко  
дудя в пролете переулка,  
машина всякая снует.  
Шумит фонтан, цветет ограда.  
Лоун-теннис — белая отрада —  
сменяет буйственный футбол:  
в штанах фланелевых пошел  
весь мир играть. В те дни кончался  
последний курс — девятый вал,  
и с Виолетой я встречался  
и Виолету целовал.

33

Как в первый раз она метнулась  
в моих объятьях, — ужаснулась,

мне в плечи руки уперев,  
и как безумно и уныло  
глаза глядели! Это было  
не удивление и не гнев,  
не девичий испуг условный...  
Но я не понял... Помню ровный,  
остриженный по моде сад,  
шесть белых мячиков и ряд  
больших кустов рододендрона;  
я помню, пламенный игрок,  
площадку твердого газона  
в чертах и с сеткой поперек.

34

Она лениво — значит, скверно —  
играла; не летала серной,  
как легконогая Ленглен.  
Ах, признаюсь, люблю я, други,  
на всем разбеге взмах упругий  
богини в платье до колен!  
Подбросить мяч, назад согнуться,  
молниеносно развернуться,  
и струнной плоскостью плеча  
скользнуть по темени мяча,  
и, ринувшись, ответ свистящий  
уничтожительно прервать, —  
на свете нет забавы слаще...  
В раю мы будем в мяч играть.

35

Стоял у речки дом кирпичный:  
плющом, глицинией обычной  
стена меж окон обвита.  
Но кроме плющевой гостиной,  
где я запомнил три картины:  
одна — Мария у Креста,  
другая — ловчий в красном фраке,  
и третья — спящие собаки, —  
я комнат дома не видал.



Камин и бронзовый шандал  
еще, пожалуй, я отмечу,  
и пианолу под чехлом,  
и ног нечаянную встречу  
под чайным чопорным столом.

36

Она смирилась очень скоро...  
Уж я не чувствовал укора  
в ее послушности. Весну  
сменило незаметно лето.  
В полях блуждаем с Виолетой:  
под черной тучей глубину  
закат, бывало, разрумянит, —  
и так в Россию вдруг потянет,  
обдаст всю душу тошный жар, —  
особенно когда комар  
над ухом пропоет, в безмолвный  
вечерний час, — и ноет грудь  
от запаха черемух. Полно,  
я возвращусь когда-нибудь.

37

В такие дни, с такою ленью  
не до науки. К сожаленью,  
экзамен нудит, хошь не хошь.  
Мы поработаем, пожалуй...  
Но книга — словно хлеб лежалый,  
суха, тверда — не разгрызешь.  
Мы и не то одолевали...  
И вот верчусь средь вакханалий  
названий, в оргиях систем  
и вспоминаю вместе с тем,  
какую лодочник знакомый  
мне шлюпку обещал вчера,  
и недочитанные томы —  
хлоп, и на полочку. Пора!

К реке воскресной, многолюдной  
 местами сходит изумрудный  
 геометрический газон,  
 а то нависнет арка: тесен  
 под нею путь — потемки, плесень.  
 В густую воду с двух сторон  
 вросли готические стены.  
 Как неземные гобелены,  
 цветут каштаны над мостом,  
 и плющ на камне вековом  
 тузами пиковыми жметяся, —  
 и дальше, узкой полосой,  
 река вдоль стен и башен вьется  
 с венецианскою ленцой.

Плоты, пироги да байдарки;  
 там граммофон, тут зонтик яркий;  
 и осыпаются цветы  
 на зеленеющую воду.  
 Любовь, дремота, тьма народу,  
 и под старинные мосты,  
 сквозь их прохладные овалы,  
 как сон блестящий и усталый,  
 всё это медленно течет,  
 переливается, — и вот  
 уводит тайная излука  
 в затон черемухи глухой,  
 где нет ни отсвета, ни звука,  
 где двое в лодке под ольхой.

Вино, холодные котлеты,  
 подушки, лепет Виолеты;  
 легко дышал ленивый стан,  
 охвачен шелковою вязкой;  
 лицо, не тронутое краской,  
 пылало. Розовый каштан

цвел над ольшаником высоко,  
и ветерок играл осокой,  
по лодке шарил, чуть трепал  
юмористический журнал;  
и в шею трепетную, в душку  
я целовал ее, смеясь.  
Смотрю: на яркую подушку  
она в раздумье оперлась.

41

Перевернула лист журнала  
и взгляд как будто задержала,  
но взгляд был темен и тягуч:  
она не видела страницы...  
Вдруг из-под дрогнувшей ресницы  
блестящий вылутился луч,  
и по щеке румяно-смуглой,  
играя, покатился круглый  
алмаз... «О чем же вы, о чем,  
скажите мне?» Она плечом  
пожала и небрежно стерла  
блистанье той слезы немой,  
и тихим смехом вздулось горло:  
«Сама не знаю, милый мой...»

42

Текли часы. Туман закатный  
спустился. Вдалеке невнятно  
пропел на пастбище рожок.  
Налетом сумеречно-мглистым  
покрылся мир, и я в слоистом,  
цветном фонарике зажег  
свечу, и тихо мы поплыли  
в туман, где плакала не ты ли,  
Офелия, иль то была  
лишь граммофонная игла?  
В тумане звук неизъяснимый  
всё ближе, и, плеснув слегка,  
тень лодки проходила мимо,  
алела капля огонька.

И может быть, не Виолета —  
 другая, и в другое лето,  
 в другую ночь плывет со мной...  
 Ты здесь, и не было разлуки,  
 ты здесь, и протянула руки,  
 и в смутной тишине ночной  
 меня ты полюбила снова,  
 с тобой средь марева речного  
 я счастья наконец достиг...  
 Но, слава Богу, в этот миг  
 стремленье грезы невозможной  
 звук речи английской прервал:  
 «Вот пристань, милый. Осторожно».  
 Я затабанил и пристал.

Там на скамье мы посидели...  
 «Ах, Виолета, неужели  
 вам спать пора?» И, заблистав  
 преувеличенно глазами,  
 она в ответ: «Судите сами —  
 одиннадцать часов», — и, встав,  
 в последний раз мне позволяет  
 себя обнять. И поправляет  
 прическу: «Я дойду одна.  
 Прощайте». Снова холодна,  
 печальна, чем-то недовольна, —  
 не разберешь... Но счастлив я:  
 меня подхватывает вольно  
 восторг ночного бытия.

Я шел домой, пьянея в тесных  
 объятьях улочек прелестных, —  
 и так душа была полна,  
 и слов была такая скудность!  
 Крутом — безмолвие, безлюдность  
 и, разумеется, луна.

И, блики на панели гладкой  
давя резиновой пяткой,  
я шел и пел «Алла верды»,  
не чуя близости беды...  
Предупредительно и хмуро  
из-под невидимых ворот  
внезапно выросли фигуры  
трех неприятнейших господ.

46

Глава их — ментор наш упорный:  
осанка, мантия и черный  
квадрат покрышки головной, —  
весь вид его — укор мне строгий.  
Два молодца — его бульдоги —  
с боков стоят, следят за мной.  
Они на сыщиков похожи,  
но и на факельщиков тоже:  
крепки, мордасты, в сюртуках,  
в цилиндрах. Если же впотьмах  
их жертва в бегство обратится,  
спасет едва ли темнота, —  
такая злая в них таится  
выносливость и быстрота.

47

И тихо помянул я черта...  
Увы, я был одет для спорта,  
а ночью требуется тут  
(смотри такой-то пункт статута)  
ходить в плаще. Еще минута,  
ко мне все трое подойдут,  
и средний взгляд мой взглядом встретит,  
и спросит имя, и отметит,  
«спасибо» вежливо сказав;  
а завтра — выговор и штраф.  
Я замер. Свет белесый падал  
на их бесстрастные черты.  
Надвинулись... И тут я задал,  
как говорится, лататы.

Луна... Погоня... Сон безумный...  
 Бегу, шарахаюсь бесшумно:  
 то на меня из тупика  
 цилиндра призрак выбегает,  
 то тьма плащом меня пугает,  
 то словно тянется рука  
 в перчатке черной... Мимо, мимо...  
 И всё луною одержимо,  
 всё исковеркано кругом...  
 И вот стремительным прыжком  
 окончил я побег бесславный,  
 во двор коллегии пролез,  
 куда не вхож ни ангел плавный,  
 ни изворотливейший бес.

Я запыхался... Сердце бьется...  
 И ночь томит, лениво льется...  
 И в холодок моих простынь  
 вступаю только в час рассвета,  
 и ты мне снишься, Виолета,  
 что просишь будто: «Плащ накинь...  
 не тот, не тот... он слишком узкий...»  
 Мне снится, что с тобой по-русски  
 мы говорим, и я во сне  
 с тобой на «ты», — и снится мне,  
 что будто принесла ты щепки,  
 ломаешь их, в камин кладешь...  
 Ползи, ползи, огонь нецепкий, —  
 ужели дымом изойдешь?

Я поздно встал, проспал занятия...  
 Старушка чистила мне платье:  
 под щеткой — пуговицы стук.  
 Оделся, покурил немного,  
 зевая, в клуб Единорога  
 пошел позавтракать, — и вдруг

встречаю Джонсона у входа!  
Мы не видались с ним полгода —  
с тех пор, как он экзамен сдал.  
«С приездом, вот не ожидал!» —  
«Я ненадолго, до субботы,  
мне нужно только разный хлам —  
мои последние работы —  
представить здешним мудрецам».

51

За столик сели мы. Закуски  
и разговор о том, что русский  
прожить не может без икры;  
потом — изгиб форели синей  
и разговор о том, кто ныне  
стал мастер теннисной игры;  
за этим — спор довольно скучный  
о стачке и пирог воздушный.  
Когда же, мигом разыграв  
бутылку дружеского «Грав»,  
за обольстительное «Асти»  
мы деловито принялись, —  
о пустоте сердечной страсти  
пустые толки начались.

52

«Любовь... — и он вздохнул протяжно: —  
Да, я любил... Кого — не важно;  
но только минула весна,  
я замечаю — плохо дело;  
воображенье охладело,  
мне опостылела она».  
Со мной он чокнулся уныло  
и продолжал: «Ужасно было...  
Вы к ней нагнетесь, например,  
и глаз, как, скажем, Гулливер,  
гуляющий по великанше,  
увидит борозды, бугры  
на том, что нравилось вам раньше,  
что отвращает с той поры...»

Он замолчал. Мы вышли вместе из клуба. Говоря по чести, я был чуть с мухой, и домой хотелось. Солнце жгло. Сверкали деревья. Молча мы шагали, — как вдруг угрюмый спутник мой — на улице Святого Духа — мне локоть сжал и молвил сухо: «Я вам рассказывал сейчас... — Смотрите, вот она как раз...» И шла навстречу Виолета, великолепна, весела, в потоке солнечного света, и улыбнулась, и прошла.

В каком-то раздраженье тайном с моим приятелем случайным я распрощался. Хмель пропал. Так: поваландался, и баста! Я стал работать — как не часто работал, днями утопал, ероша волосы, в науке, и с Виолетою разлуки не замечал; и, наконец (как напрягается гребец у приближающейся цели), уже я ночи напролет зубрил учебники в постели, к вискам прикладывая лед.

И началось. Экзамен длился пять жарких дней. Так накалился от солнца тягостного зал, что даже обморока случай произошел, и вид падучей сосед мой справа показал во избежание провала.



И кончилось. Поцеловала  
счастливец Альма Матер в лоб;  
убрал я книги, микроскоп —  
и вспомнил вдруг о Виолете,  
и удивился я тогда:  
как бы таинственных столетий  
нас разделила череда.

56

И я уже шатун свободный,  
душою легкой и голодной  
в другие улетаю края —  
в знакомый порт, и там в конторе  
вербует равнодушно море  
простых бродяг, таких, как я.  
Уже я прожил все богатства:  
портрет известного аббатства  
всего в двух копиях упас.  
И в ночь последнюю — у нас  
был на газоне, посредине  
венецианского двора,  
обычный бал, и в серпантине  
мы проскользили до утра.

57

Двор окружает галерея.  
Во мраке синем розовея,  
горят гирлянды фонарей —  
Эола легкие качели.  
Вот музыканты загремели —  
пять черных яростных теней  
в румяной раковине света.  
Однако где же Виолета?  
Вдруг вижу: вот стоит она,  
вся фонарем озарена,  
меж двух колонн, как на подмостках.  
И что-то подошло к концу...  
Ей это платье в черных блестках,  
быть может, не было к лицу.

Прикосновеньем не волнуем,  
 я к ней прильнул, и вот танцуем:  
 она безмолвна и строга,  
 лицом сверкает недвижимым,  
 и поддается под нажимом  
 ноги упругая нога.  
 Послушны грохоту и стону,  
 ступают пары по газону,  
 и серпантин со всех сторон.  
 То плачет в голос саксофон,  
 то молоточки и трещотки,  
 то восклицание цимбал,  
 то длинный шаг, то шаг короткий, —  
 и ночь любитесь на бал.

Живой душой не правит мода,  
 но иногда моя свобода  
 случайно с нею совпадет:  
 мне мил фокстрот, простой и нежный...  
 Иной мыслитель неизбежно  
 симптомы века в нем найдет —  
 разврат под музыку бедлама;  
 иная пищущая дама  
 или копеечный пиит  
 о прежних танцах возопит;  
 но для меня, скажу открыто,  
 особой прелести в том нет,  
 что грубоватый и невытый  
 маркиз танцует менуэт.

Оркестр умолк. Под колоннаду  
 мы с ней прошли, и лимонаду  
 она глотнула, лепеча.  
 Потом мы сели на ступени.  
 Смотрю: смешные наши тени

плечом касаются плеча.  
«Я завтра еду, Виолета».  
И было выговорить это  
так просто... Бровь подняв, она  
мне улыбнулась, и ясна  
была улыбка: «После бала  
легко все поезда проспять».  
И снова музыка стонала,  
и танцевали мы опять.

61

Прервись, прервись, мой бал прощальный!  
Пока роняет ветер бальный  
цветные ленты на газон  
и апельсиновые корки, —  
должно быть, где-нибудь в каморке  
старушка спит, и мирен сон.  
К ней пятна лунные прильнули;  
чернеет платье на стуле,  
чернеет шляпка на крюке,  
будильник с искрой в куполке  
прилежно тикает, под шкапом  
мышь пошуршит и шуркнет прочь,  
и в тишине смиренным храпом  
исходит нищенская ночь.

62

Моя старушка в полдень ровно  
меня проводит. Я любовно  
ракету в раму завинтил,  
нажал на чемодан коленом,  
захлопнул. По углам, по стенам  
душой и взглядом побродил:  
да, взято всё... Прощай, берлога!  
Стоит старушка у порога...  
Мотора громовая дрожь —  
колеса тронулись... Ну что ж,  
еще один уехал... Свежий  
сюда вселится в октябре, —

и разговоры будут те же  
и тот же мусор на ковре...

63

И это всё. Довольно, звуки,  
довольно, муза. До разлуки  
прошу я только вот о чем:  
летя, как ласточка, то ниже,  
то в вышине, найди, найди же  
простое слово в мире сем,  
всегда понять тебя готовом;  
и да не будет этим словом  
ни моль бичуема, ни ржа,  
мгновеньем всяким дорожа,  
благослови его движенье,  
ему застыть не повели,  
почувствуй нежное вращенье  
чуть накренившейся земли.

<Декабрь 1927>

### 372. РАССТРЕЛ

Небритый, смеющийся, бледный,  
в чистом пиджаке,  
без галстука, с маленькой, медной  
запонкой на кадыке;

он ждет; и всё зримое в мире  
только — высокий забор,  
жестянка в траве и четыре  
дула, смотрящих в упор.

Так ждал он, смеясь и мигая,  
на именинах не раз,  
чтоб магний блеснул, озаряя  
белые лица без глаз.

Всё. Молния боли железной...  
Неумолимая тьма.

И, воя, крутится над бездной  
ангел, сошедший с ума.

<20 декабря 1927>

### 373. РАЗГОВОР

Писатель. Критик. Издатель.

Писатель

Легко мне на чужбине жить,  
писать трудненько, — вот в чем штука.  
Вы морщитесь, я вижу?

Критик

Скука.

Нет книг.

Издатель

Могу вам одолжить  
два-три журнала — цвет изданий  
московских, — «Алую Зарю»,  
«Кряж», «Маховик»...

Критик

Благодарю.

Не надо. Тошно мне заране.  
У музы тамошней губа  
отвисла, взгляд блуждает тупо,  
разгульна хочет быть, груба:  
всё было б ничего — да глупо.

Издатель

Однако хвалят. Новизну,  
и быт, и пафос там находят.

Иного — глядь — и переводят.  
Я знаю книжицу одну...

### К р и т и к

Какое! Грамотеи эти,  
Цементов, Молотов, Серпов,  
сосредоточенно, как дети,  
рвут крылья у жужжащих слов.  
Мне их убожество знакомо:  
был Писарев, была точь-в-точь  
такая ж серенькая ночь.  
Добро еще, что пишут дома, —  
а то какой-нибудь Лидняк,  
как путешествующий купчик,  
на мир глядит, и пучит зрак,  
и ужасается, голубчик:  
куда бы ни поехал он,  
в Бордо ли, Токио, — всё то же:  
матросов бронзовые рожи  
и в переулочке притон.

### И з д а т е л ь

Так вы довольны музой здешней,  
изгнанницей немолодой?  
Неужто по сравненью с той  
она вам кажется —

### К р и т и к

Безгрешней.  
Но, впрочем, и она скучна...  
А там, — нет, все-таки там хуже!  
Отражены там в серой луже  
штык и фабричная стена.  
Где прихоть вольная развязки?  
Где жизни полный разговор?  
Мучитель муз, евнух парнасский,  
там торжествует резонер.

## Издатель

Да вы, как погляжу, каратель  
былого, нового, всего!  
что ж надо делать?

## Критик

Ничего.  
Скучать.

## Издатель

Что думает писатель?  
Как знать, — быть может, суждено  
так развернуться...

## Писатель

Мудрено.  
Года идут. Язык, мне данный,  
скудеет, жара не храня,  
вдали живительной стихии.  
Слова, как берега России,  
в туман уходят от меня.  
Бывало, поздно возвращаюсь,  
иду, не поднимая глаз,  
неизъяснимым насыщаюсь  
и знаю: где-то вот сейчас  
любовь земная ждет ответа  
иль человек родился; где-то  
в ночи блуждают налегке  
умерших мыслящие тени;  
бормочет где-то русский гений  
на иностранном чердаке.  
И оглушительное счастье  
в меня врывается... Во всем  
к себе я чувствую участие —  
в звездах и в камне городском.  
И остываю я словами  
на ожидающем листе...

Очнусь — и кроткими друзьями  
я брошен, и слова — не те.

### Издатель

Я б, господа, на вашем месте  
Парнас и прочее — забыл.  
Поймите, мир не тот, что был.  
Сто лет назад целковых двести  
вам дал бы Греч за разговор,  
такой по-новому проворный,  
за ямб искусно-разговорный...  
Увы: он устарел с тех пор.

<14 апреля 1928>

### 374. ОСА

Твой панцирь, желтый и блестящий,  
булавкой я проткнул  
и слушал плач твой восходящий,  
прозрачнейший твой гул.

Тупыми ножницами жало  
я защебил — и вот  
отрезал... Как ты зажужжала,  
как выгнула живот!

Теперь гуденье было густо,  
и крылья поскорей  
я отхватил, почти без хруста,  
у самых их корней.

И обеззвученное тело  
шесть вытянуло ног,  
глазастой головой вертело...  
И спичку я зажег —

чтоб видеть, как вскипишь бурливо,  
лишь пламя поднесу...  
Так мучит отрок терпеливый  
чудесную осу;

так, изощряя слух и зренье,  
взрезая, теребя, —



мое живое вдохновенье,  
замучил я тебя!

<24 июня 1928>

### 375. ТОЛСТОЙ

Картина в хрестоматии: босой  
старик. Я поворачивал страницу,  
мое воображение оставалось  
холодным. То ли дело — Пушкин: плащ,  
скала, морская пена... Слово «Пушкин»  
стихами обрастает, как плющом,  
и муза повторяет имена,  
вокруг него бряцающие: Дельвиг,  
Данзас, Дантес, — и сладостно звучна  
вся жизнь его — от Делии лицейской  
до выстрела в морозный день дуэли.  
К Толстому лучезарная легенда  
еще не прикоснулась. Жизнь его  
нас не волнует. Имена людей,  
с ним связанных, звучат еще незрело:  
им время даст таинственную знатность,  
то время не пришло; назвав Черткова,  
я только б сузил горизонт стиха.  
И то сказать: должна людская память  
утратить связь вещественную с прошлым,  
чтобы создать из сплетни эпопею  
и в музыку молчанье претворить.  
А мы еще не можем отказаться  
от слишком лестной близости к нему  
во времени. Пожалуй, внуки наши  
завидовать нам будут неразумно.  
Коварная механика порой  
искусственно поддерживает память.  
Еще хранит на граммафонном диске  
звук голоса его: он вслух читает,  
однообразно, торопливо, глухо,  
и запинается на слове «Бог»,  
и повторяет: «Бог», и продолжает,  
чуть хриплым говорком, — как человек,  
что кашляет в соседнем отделенье,  
когда вагон на станции ночной,

бывало, остановится со вздохом.  
Есть, говорят, в архиве фильмов ветхих,  
теперь мигающих подслеповато,  
яснополянский движущийся снимок:  
старик невзрачный, роста небольшого,  
с растрепанною ветром бородой,  
проходит мимо скорыми шажками,  
сердясь на оператора. И мы  
довольны. Он нам близок и понятен.  
Мы у него бывали, с ним сидели.  
Совсем не страшен гений, говорящий  
о браке или о крестьянских школах...  
И, чувствуя в нем равного, с которым  
поспорить можно, и зовя его  
по имени и отчеству, с улыбкой  
почтительной, мы вместе обсуждаем,  
как смотрит он на то, на се... Шумят  
витии за вечерним самоваром;  
по чистой скатерти мелькают тени  
религий, философий, государств —  
отрада малых сих... Но есть одно,  
что мы никак вообразить не можем,  
хоть рыщем мы с блокнотами, подобно  
корреспондентам на пожаре, вкруг  
его души. До некой тайной дрожи,  
до главного добраться нам нельзя.  
Почти нечеловеческая тайна!  
Я говорю о тех ночах, когда  
Толстой творил, я говорю о чуде,  
об урагане образов, летящих  
по черным небесам в час созиданья,  
в час воплощенья... Ведь живые люди  
родились в эти ночи... Так Господь  
избраннику передает свое  
старинное и благодное право  
творить миры и в созданную плоть  
вдыхать мгновенно дух неповторимый.  
И вот они живут; всё в них живет —  
привычки, поговорки и повадка;  
их родина — такая вот Россия,  
какую носим мы в той глубине,  
где смутный сон примет невыразимых, —  
Россия запахов, оттенков, звуков,

огромных облаков над сенокосом,  
Россия обольстительных болот,  
богатых дичью... Это всё мы любим.  
Его создання, тысячи людей,  
сквозь нашу жизнь просвечивают чудно,  
окрашивают даль воспоминаний —  
как будто впрямь мы жили с ними рядом.  
Среди толпы Каренину не раз  
по черным завиткам мы узнавали;  
мы с маленькой Щербацкой танцевали  
заветную мазурку на балу...  
Я чувствую, что рифмой расцветая,  
я предаюсь незримому крылу...  
Я знаю, смерть лишь некая граница;  
мне зрима смерть лишь в образе одном:  
последняя дописана страница,  
и свет погас над письменным столом.  
Еще виденье, отблеском продлившись,  
дрожит, и вдруг — немыслимый конец...  
И он ушел, разборчивый творец,  
на голоса прозрачные деливший  
гул бытия, ему понятный гул...  
Однажды он со станции случайной  
в неведомую сторону свернул,  
и дальше — ночь, безмолвие и тайна...

*<16 сентября 1928>*

### 376. ОСТРОВА

В книге сказок помню я картину:  
ты да я на башне угловой.  
Стань сюда, и снова я застыну  
на ветру, с протянутой рукой.

Там, вдали, где волны завитые  
переходят в дымку, различи  
острова блаженства, как большие  
фиолетовые куличи.

Ибо золотистыми перстами  
из особой сладостной земли  
пекаря с кудрявыми крылами  
их на грани неба испекли.

И должно быть легче там и краше,  
и, пожалуй, мы б пустились вдаль,  
если б наших книг, собаки нашей  
и любви нам не было так жаль.

*Февраль 1928*

### 377. К РОССИИ

Мою ладонь географ строгий  
разрисовал: тут все твои  
большие, малые дороги,  
а жилы — реки и ручьи.

Слепец, я руки простираю  
и всё земное осязаю  
через тебя, страна моя.  
Вот почему так счастлив я.

И если правда, что намедни  
мне померещилось во сне,  
что час беспечный, час последний  
меня найдет в чужой стране,

как на покато́й школьной парте,  
совьешься ты подобно карте,  
как только отпущу края,  
и ляжешь там, где лягу я.

*23 июня 1928*

### 378. КИНЕМАТОГРАФ

Люблю я световые балаганы  
всё безнадежнее и всё нежней.  
Там сложные вскрываются обманы  
простым подслушиваньем у дверей.

Там для распутства символ есть единый —  
бокал вина; а добродетель — шьет.  
Между чертами матери и сына  
острейший глаз там сходства не найдет.

Там, на руках, в автомобиль огромный  
не чуждый сострадания богаты  
усердно вносит барышень бездомных,  
в тигровый плед закутанных детей.

Там письма спешно пишутся среди ночи:  
опасность... трепет... поперек листа  
рука бежит... И как разборчив почерк,  
какая писарская чистота!

Вот спальня озаренная. Смотрите,  
как эта шаль упала на ковер.  
Не виден ослепительный юпитер,  
не слышен раздраженный режиссер;

но ничего там жизнью не трепещет:  
пытливый гость не может угадать  
связь между вещью и владельцем вещи,  
житейского особую печать.

О да! Прекрасны гонки, водопады,  
вращение зеркальной темноты.  
Но вымысел? Гармонии услада?  
Ума полет? О Муза, где же ты?

Утопит злого, доброго поженит,  
и снова, через веки и века,  
спешит роскошное воображенье  
самоуверенного пошляка.

И вот — конец... Рояль незримый умер,  
темно и незначительно пожив.  
Очнулся мир, прохладой и шумом  
растаявшую выдумку сменив.

И со своей подругою приказчик,  
встречая ветра влажного напор,  
держа ладонь над спичкою горящей,  
насмешливый выносит приговор.

*10 ноября 1928*

### 379. СТАНСЫ О КОНЕ

На полотнищах, озаренных  
игрой малиновый лучей,  
условный выгиб окрыленных  
Наполеоновых коней.

И цирковое полнолуние,  
огромный снежный круп, оплот  
сосредоточенной плясуньи;  
песок, и музыка, и пот.

И всадник, по лесу спешащий,  
седла поскрипыванье, хруст;  
волною счастья шуршащий  
по голенищу влажный куст.

И ты, лирическое имя  
в газете уличной, скакун,  
гнедым огнем летящий мимо  
тобою вспыхнувших трибун.

И столь покорный конь манежный,  
и Фальконетов конь живой.  
Но самый жалостный и нежный,  
невыносимый образ твой:

обросший шерстью с голодухи,  
не чующий моей любви,  
и без конца щекочат мухи  
ресницы длинные твои.

*26 ноября 1928*

### 380

Для странствия ночного мне не надо  
ни кораблей, ни поездов.  
Стоит луна над шашечницей сада.  
Окно открыто. Я готов.

И прыгает с беззвучностью привычной,  
как ночью кот через плетень,  
на русский берег речки пограничной  
моя беспаспортная тень.

Таинственно, легко, неуязвимо  
ложусь на стены чередой,  
и в лунный свет, и в сон, бегущий мимо,  
напрасно метит часовой.

Лечу лугами, по лесу танцую —  
и кто поймет, что есть один,  
один живой на всю страну большую,  
один счастливый гражданин.

Вот блеск Невы вдоль набережной длинной.  
Всё тихо. Поздний пешеход,  
встречая тень средь площади пустынной,  
воображение клянет.

Я подхожу к неведомому дому,  
я только место узнаю...  
Там, в темных комнатах, всё по-другому  
и всё волнует тень мою.

Там дети спят. Над уголком подушки  
я наклоняюсь, и тогда  
им снятся прежние мои игрушки,  
и корабли, и поезда.

*20 июля 1929*

### **381. ВОЗДУШНЫЙ ОСТРОВ**

Средь пустоты, над полем дальним,  
пласты закатных облаков  
казались призраком зеркальным  
океанических песков.

Как он блистает, берег гладкий,  
необитаемый... Толчок,  
дно поднимается под пяткой,  
и выхожу я на песок.

Дрожа от свежести и счастья,  
стою я, новый Робинзон,  
на этой отмели блестящей,  
пустой лазурью окружен.

И странно вспоминать минуту  
недоумения, когда  
нащупала мою каюту  
и хищно хлынула вода;

когда она, вращаясь зыбко  
в нетерпеливости слепой,  
внесла футляр от чьей-то скрипки  
и фляжку унесла с собой.

О том, как палуба трещала,  
приняв смертельную волну,  
о том, как музыка играла,  
пока мы бурно шли ко дну,

пожалуй, будет и нетрудно  
мне рассказать когда-нибудь...  
Да что ж мечтать, какое судно  
на остров мой направит путь.

Он слишком призрачен, воздушен.  
О нем не знают ничего.  
К нему создатель равнодушен.  
Он меркнет, тает... нет его.

И я охвачен темнотою,  
и, сладостно в ушах звеня  
и вздрагивая под рукою,  
проходят звезды сквозь меня.

*Август 1929*

### 382. БУДУЩЕМУ ЧИТАТЕЛЮ

Ты, светлый житель будущих веков,  
ты, старины любитель, в день урочный  
откроешь антологию стихов,  
забытых незаслуженно, но прочно.

И будешь ты как шут одет на вкус  
моей эпохи фрачной и сюртучной.  
Облокотись. Прислушайся. Как звучно  
былое время — раковина муз.



Шестнадцать строк, увенчанных овалом  
с неясной фотографией... Посмей  
побрезговать их слогом обветшалым,  
опрятностью и бедностью моей.

Я здесь с тобой. Укрыться ты не волен.  
К тебе на грудь я прынул через мрак.  
Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк  
из прошлого... Прощай же. Я доволен.

*<7 февраля> 1930*

### 383. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

В листве березовой, осиновой,  
в конце аллеи у мостка,  
вдруг падал свет от платья синего,  
от василькового венка.

Твой образ легкий и блистающий  
как на ладони я держу  
и бабочкой не улетающей  
благоговейно дорожу.

И много лет прошло, и счастливо  
я прожил без тебя, а всё ж  
порой я думаю опасно:  
жива ли ты и где живешь.

Но если встретиться нежданная  
судьба заставила бы нас,  
меня бы, как уродство странное,  
твой образ нынешний потряс.

Обиды нет неизъяснимее:  
ты чуждой жизнью обросла.  
Ни платья синего, ни имени  
ты для меня не сберегла.

И всё давным-давно просрочено,  
и я молюсь, и ты молишь,  
чтоб на утоптанной обочине  
мы в тусклый вечер не сошлись.

*12 февраля 1930*

### 384. УЛЬДАБОРГ

*(Перевод с зоорландского)*

Смех и музыка изгнаны. Страшен  
Ульдаборг, этот город немой.  
Ни садов, ни базаров, ни башен,  
и дворец обернулся тюрьмой:

математик там плачется кроткий,  
там — великий бильярдный игрок.  
Нет прикрас никаких у решетки.  
О, хотя бы железный цветок,

хоть бы кто-нибудь песней прославил,  
как на площади, пачкая снег,  
королевских детей обезглавил  
из Торвальта силач-дровосек.

И какой-то назойливый нищий  
в этом городе ранних смертей,  
говорят, всё танцмейстера ищет  
для покойных своих дочерей.

Но последний давно удавился,  
сжег последнюю скрипку палач,  
и в Германию переселился  
в опаленных лохмотьях скрипач.

И хоть праздники все под запретом  
(на молу фейерверки весной  
и балы перед ратушей летом),  
будет праздник, и праздник большой.

Справа горы и Воцберг алмазный,  
слева сизое море горит,  
а на площади шепот бессвязный:  
Ульдаборг обо мне говорит.

Озираются, жмутся тревожно.  
Что за странные лица у всех!  
Дико слушают звук невозможный:  
я вернулся, и это мой смех —

над запретами голого цеха,  
над законами глухонемых,

над пустым отрицанием смеха,  
над испугом сограждан моих.

Погляжу на знакомые дюны,  
на алмазную в небе гряду,  
глубже руки в карманы засуну  
и со смехом на плаху взойду.

*Апрель 1930*

### 385. ОКНО

Соседний дом в сиренях ночи тонет,  
и сумраком становится он сам.  
Кой-где забыли кресло на балконе,  
не затворили рам.

Внезапно, как раскрывшееся око,  
свет зажигается в одном из окон.  
К буфету женщина идет.

А тот уж знает, что хозяйке надо,  
и жители хрустальные ей рады,  
и одного она берет.

Бесшумная, сияя желтым платьем,  
протягивает руку, и невнятен  
звук выключателя: трик-трак.

Сквозь темноту наклонного паркета  
уходит силуэт тропинкой света,  
дверь закрывается, и — мрак.

Но чем я так пронзительно взволнован,  
откуда эта радость бытия?  
И опытом каким волшебного-новым  
обогатился я?

*<5 мая>1930*

### 386. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Еще темно. В оркестре стеснены  
скелеты музыки, и пусто в зале.

Художнику еще не заказали  
густых небес и солнечной стены.

Но толстая растерзана тетрадь,  
и розданы страницы лицедеям.  
На чердаках уже не холодеем.  
Мы ожили, мы начали играть.

И вот сажусь на выцветший диван  
с невидимой возлюбленной рядом,  
и голый стол следит собачьим взглядом,  
как я беру невидимый стакан.

А утром собираемся в аду,  
где говорим и ходим, громыхая.  
Еще темно. Уборщица глухая  
одна сидит в тринадцатом ряду.

Настанет день. Ты будешь королем.  
Ты — поселянкой с кистью винограда.  
Вы — нищими. А ты, моя отрада,  
сама собой, но в платье дорогом.

И вот настал. Со стороны земли  
замрела пыль. И в отдаленье зримы,  
идут, идут кочующие мимы,  
и музыка слышна, и вот пришли.

Тогда-то небожителям нагим  
и золотым от райского загара,  
исполненные нежности и жара,  
представим мир, когда-то милый им.

*6 октября 1930*

### 387. ПРОБУЖДЕНИЕ

Спросонья вслушиваюсь в звон  
и думаю: еще мгновенье —  
и вновь забудусь я... Но сон  
уже утратил дар забвенья —

не может дочитать строку,  
восстановить страну ночную,

обратно съехать по ледку...  
Куда там! — в оттепель такую.

Звон в отопленье по утрам —  
необычайно музыкальный:  
удар или двойной тра-рам,  
как по хрустальной наковальне.

Март, ветреник и скороход,  
должно быть, облака пугает:  
свет абрикосовый растет  
сквозь веки и опять сбегает.

Тут, перелившись через край,  
вся нежность мира накатила:  
пса молодого добрый лай,  
а в комнате — твой голос милый.

*<Январь 1931>*

### 388. ПОМПИМУСУ

Прекрасный плод, увесистый и гладкий,  
ты светишься, как полная луна;  
глухой сосуд амброзии несладкой,  
душистый холод белого вина.

Лимонами блистают Сиракузы,  
Миньону соблазняет апельсин,  
но ты один достоин жажды Музы,  
когда она спускается с вершин.

*<24 января> 1931*

### 389. ИЗ КАЛМБРУДОВОЙ ПОЭМЫ «НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

(Vivian Calmbrood's «The Night Journey»)

От Меррифильда до Ольдгрова  
однообразен перегон:  
всё лес да лес со всех сторон.  
Ночь холодна, луна багрова.  
Тяжелым черным кораблем

проходит дилижанс, и в нем  
спят пассажиры, спят, умаясь:  
бессильно клонится чело  
и вздрагивает, поднимаясь,  
и снова никнет тяжело.  
И смутно слышатся средь мрака  
приливы и отливы снов,  
храпенье дюжины носов.

В ту ночь осеннюю, однако,  
был у меня всего один  
попутчик: толстый господин  
в очках, в плаще, в дорожном пледе.  
По кашлю судя, он к беседе  
был склонен, и пока рыдван  
катился грузно сквозь туман,  
и жаловались на ухабы  
колеса, и скрипела ось,  
и всё трещало и тряслось,  
разговорились мы.

«Когда бы  
(со вздохом начал он) меня  
издатель мой не потревожил,  
я б не покинул мест, где прожил  
всё лето с Троицына дня.  
Вообразите гладь речную,  
березы, вересковый склон.  
Там жил я, драму небольшую  
писал из рыцарских времен;  
ходил я в сюртучке потертом,  
с соседом, с молодым Вордсвортом,  
удил форелей иногда  
(его стихам вредит вода,  
но человек он милый), — словом,  
я счастлив был — и признаюсь,  
что в Лондон с манускриптом новым  
без всякой радости тащусь.

В лирическом служенье музе,  
в изображении стихий  
люблю быть точным: щелкнул кий,  
и слово правильное в лузе;  
а вот изволь-ка, погрузясь

в туман и лондонскую грязь,  
сосредоточить вдохновенье:  
всё расплывается, дрожит,  
и рифма от тебя бежит,  
как будто сам ты привиденье.  
Зато как сладко для души  
в деревне, где-нибудь в глуши,  
внимая думам тиховейным,  
котенка за ухом чесать,  
ночь многозвездную вкушать,  
и запивать ее портвейном,  
и, очинив перо острей,  
всё тайное в душе своей  
певучей предавать огласке.

Порой слезу не без опаски  
за резвою игрой стиха:  
он очень мил, он просит ласки,  
но далеко ли до греха?  
Там одномесечный тигренок  
по-детски мягок и пузат,  
но как он щурится спросонок,  
какие огоньки сквозят...  
Нет, я боюсь таких котят.

Вам темным кажется сравненье?  
Пожалуй, выразусь ясней:  
есть кровожадное стремленье  
у музы ласковой моей —  
пороки бичевать со свистом,  
тигрицей прядать огневой,  
впиваться вдруг стихом когтистым  
в загривок пошлости людской.  
Да здравствует сатира! Впрочем,  
нет пищи для нее в глухом  
журнальном мире, где хлопчем  
мы о бессмертии своем.  
Дни Ювенала отлетели.  
Не воспевать же, в самом деле,  
как за крапленую статью  
побили Джонсона шандалом?  
Нет воздуха в сем мире малом.  
Я музу увожу мою.  
Вы спросите, как ей живется,

привольно ль, весело? О да.  
Идет, молчит, не обернется,  
хоть пристают к ней иногда  
сомнительные господа.  
К иному критику в немилость  
я попадаю оттого,  
что мне смешна его унылость,  
чувствительное кумовство,  
суждений томность, слог жеманный,  
обида отзвук постоянный,  
а главное — стихи его.  
Бедняга! Он скрипит костями,  
бренча на лире жестяной,  
он клонится к могильной яме  
адамовою головой.  
И вообще: поэты много  
о смерти ныне говорят;  
венки и выцветшая тога —  
обыкновенный их наряд,  
Ущерб, закат... Петроний новый,  
с полуулыбкой на устах,  
с последней розой бирюзовой  
в изящно сложенных перстах,  
садится в ванну. Всё готово.  
Уж вольной смерти близок час.  
Но погоди! Чем резать жилу,  
не лучше ль обратиться к мылу,  
не лучше ль вымыться хоть раз?»

.....

Сей разговор литературный  
не занимал меня совсем.  
Я сам, я сам пишу недурно,  
и что мне до чужих поэм?  
Но этот облик, этот голос...  
Нет, быть не может...

Между тем  
заря с туманами боролась,  
уже пронизывала тьму,  
и вот к соседу моему  
луч осторожный заструился,  
на пальце вспыхнуло кольцо,  
и подбородок осветился,  
а погода и всё лицо.



Тут я не выдержал. «Скажите,  
как ваше имя?» Смотрит он  
и отвечает: «Я — Ченстон».

Мы обнялись.

*1 июля 1931*

390

Сам треугольный, двукрылый, безногий,  
но с округленным, прелестным лицом,  
ижицей быстрой в безумной тревоге  
комнату всю облетая кругом,

страшный малютка, небесный калека,  
гость, по ошибке влетевший ко мне,  
дико метался, боясь человека,  
а человек прижимался к стене,

всё еще в свадебном галстуке белом,  
выставив руку, лицо отклоня,  
с ужасом тем же, но оцепенелым:  
только бы он не коснулся меня,

только бы вылетел, только нашел бы  
это окно и опять, в неземной  
лаборатории, в синюю колбу  
сел бы, сложась, ангелочек ночной.

*2 сентября 1932*

### 391. РУСАЛКА

Заключительная сцена к пушкинской «Русалке»

БЕРЕГ

К н я з ь

Печальные, печальные мечты  
вчерашняя мне встреча оживила.  
Отец несчастный! Как ужасен он!  
Авось опять его сегодня встречу,



Р у с а л о ч к а

Я б деду отнесла, да мудрено  
его поймать. Крылом мах-мах — и скрылся.

К н я з ь

Кто — скрылся?

Р у с а л о ч к а

Ворон.

К н я з ь

Будет лепетать.  
Да что ж ты смотришь на меня так кротко?  
Скажи... Нет, я обманут тенью листьев,  
игрой луны. Скажи мне... Мать твоя  
в лесу, должно быть, ягоду собирала  
и к ночи заблудилась... иль попав  
на топкий берег... Нет, не то. Скажи,  
ты — дочка рыбака, меньшая дочь,  
не правда ли? Он ждет тебя, он кличет.  
Поди к нему.

Р у с а л о ч к а

Вот я пришла, отец.

К н я з ь

Чур, чур меня!

Р у с а л о ч к а

Так ты меня боишься?  
Не верю я. Мне говорила мать,  
что ты силен, приветлив и отважен,  
что пересвищешь соловья в ночи,  
что лань лесную пеший перегонишь.

В реке-Днепре она у нас царица;  
«Но, говорит, в русалку обратясь,  
я всё люблю его, всё улыбаюсь,  
как в ночи прежние, когда бежала,  
платок забывши впопыхах, к нему  
за мельницу».

К н я з ь

Да, этот голос милый  
мне памятен. И это всё безумье —  
и я погибну...

Р у с а л о ч к а

Ты погибнешь, если  
не наведишь нас. Только человек  
боится нежити и наважденья,  
а ты не человек. Ты наш, с тех пор  
как мать мою покинул и тоскуешь.  
На темном дне отчизну ты узнаешь,  
где жизнь течет, души не утруждая.  
Ты этого хотел. Дай руку. Видишь,  
луна скользит, как чешуя, а там...

К н я з ь

Ее глаза сквозь воду ясно светят,  
дрожащие ко мне струятся руки!  
Веди меня, мне страшно, дочь моя...  
(Исчезает в Днепре.)

Р у с а л к и (поют)

Всплываем, играем  
и пеним волну.  
На свадьбу речную  
зовем мы луну.  
Всё тише качаясь,  
туманный жених  
на дно опустился  
и вовсе затих.

И вот осторожно,  
до самого дна,  
до лба голубого  
доходит луна.  
И тихо смеется,  
склоняясь к нему,  
Царица-Русалка  
в своем терему.

(Скрываются. Пушкин пожимает плечами.)

<Февраль 1942>

### 392—398. СЕМЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

#### 1

Как над стихами силы средней  
эпиграф из Шенье,  
как луч последний, как последний  
зефир... *comme un dernier*...<sup>1</sup>

Так над простором голым  
моих нелучших лет  
каким-то райским ореолом  
горит нерусский свет!

1945

#### 2

Целиком в мастерскую высокую  
входит солнечный вечер ко мне:  
он как нотные знаки, как фокусник,  
он сирень на моем полотне.

Ничего из работы не вышло,  
только пальцы в пастельной пыли.

---

<sup>1</sup> Как последний... (фр.).— *Рег.*

Смотрят с неба художники бывшие  
на румяную щеку земли.

Я ж смотрю, как в стеклянной обители  
зажигается сто этажей  
и как американские жители  
там стойком поднимаются в ней.

*<Ноябрь 1953>*

3

Всё, от чего оно сжимается,  
миры в тумане, сны, тоска  
и то, что мною принимается  
как должное — твоя рука;

всё это под одною крышею  
в плену моем живет, поет,  
но сводится к четверостишию,  
как только ямб ко дну идет.

И оттого, что — как мне помнится —  
жильцы родного словаря  
такие бедняки и скромницы:  
холм, папоротник, ель, заря,

читателя мне не разжалобить,  
а с музыкой я незнаком,  
и удовлетворяюсь, стало быть,  
ничьей меж смыслом и смычком.

—————

«Но вместо всех изобразительных  
приемов и причуд, нельзя ль  
одной опушкой существительных  
и воздух передать и даль?»

Я бы добавил это новое,  
но наподобие кольца  
сомкнуло строй уже готовое  
и не впустило пришлеца.

*Август 1953*

Вечер дымчат и долог:  
я с мольбою стою,  
молодой энтомолог,  
перед жимолостью.

О, как хочется, чтобы  
там, в цветах, вдруг возник,  
запуская в них хобот,  
райский сумеречник.

Содроганье — и вот он,  
я по ангелу бью,  
и уж демон замотан  
в сетку дымчатую.

*Сентябрь 1953*

Какое б счастье или горе  
ни пело в прежние года,  
метафор, даже аллегорий,  
я не чуждался никогда.

И ныне замечаю с грустью,  
что солнце меркнет в камышах,  
и рябь чешуйчатее к устью,  
и шум морской уже в ушах.

*28 декабря 1953*  
*Итака*

## 6. СОН

Есть сон. Он повторяется, как томный  
стук замурованного. В этом сне  
киркой работаю в дыре огромной  
и нахожу обломок в глубине.

И фонарем на нем я освещаю  
след надписи и наготу червя.  
«Читай, читай!» — кричит мне кровь моя:  
Р,О,С, — нет, я букв не различаю.

*1953*

Зимы ли серые смыли  
 очерк единственный? Эхо ли —  
 всё, что осталось от голоса? Мы ли  
 поздно приехали?

Только никто не встречает нас. В доме  
 рояль — как могила на полюсе. Вот тебе  
 ласточки. Верь тут, что кроме  
 пепла есть оттепель!

*Ноябрь 1953*

## 399

Минуты есть: «Не может быть, — бормочешь, —  
 не может быть, не может быть, что нет  
 чего-то за пределом этой ночи»,  
 и знаков ждешь, и требуешь примет.

Касаясь до всего душою голой,  
 на бесконечно милых мне гляжу  
 со стоном умиленья; и, тяжелый,  
 по тонкому льду счастья хожу.

*27 декабря 1953*

## 400

Сорок три или четыре года  
 ты уже не вспоминалась мне:  
 вдруг, без повода, без перехода,  
 посетила ты меня во сне.

Мне, которому претит сегодня  
 каждая подробность жизни той,  
 самовольно вкрадчивая сводня  
 встречу приготовила с тобой.

Но хотя, опять возясь с гитарой,  
 ты опять «молодушкой была»,  
 не терзать взялась ты мукой старой,  
 а лишь рассказать, что умерла.

*9 апреля 1967*



## *ПЕРЕВОДЫ*



## Шимус о'Салливэн

### 401. ОВЦЫ

Тихо проходит  
в сумерках серых  
по мокрой дороге  
стадо овец.  
Пробираются тихо  
они в полумраке  
по мокрой дороге,  
что вьется чрез город.  
Тихо проходят,  
блистая, белея,  
и вот уж скрываются  
в сумерках серых.  
Так прошлые дни  
всплывают на миг,  
блистают на миг  
и снова бледнеют;  
те белые дни,  
когда мы с тобой  
в час вечерний брели  
там, где овцы паслись;  
когда мы с тобою  
шли поступью медленной  
в сумерках серых,  
где овцы паслись...  
Белеют они  
и чрез миг исчезают  
в горестной дымке  
заплаканных лет:  
блистают на миг  
и, туманясь, уходят  
в серую тень  
разлучающих лет.

<5 июня 1921>

Свет пасмурный утра земли.  
 Равнины дрожащие вод.  
 Полуизгнан хаос  
 из туманности моря и суши,  
 и очи богов  
 сквозь сумрак глядят;  
 очи богов, и молчанье,  
 и трепет от смеха богов.  
 И там, одиноко в тумане, —  
 тонкие, нежные, робкие,  
 с большими от страха глазами  
 олени стоят.  
 И шепот — он тише, чем мысль:  
 «Малые, кроткие твари,  
 в заветной лесной глубине  
 вас ждет тишина, ваш приют.  
 Спрячьтесь от взоров и смеха богов  
 в лиственный мрак».

<5 июня 1921>

### *Пьер Ронсар*

#### 403. СОНЕТ

Когда на склоне лет и в час вечерний, чарам  
 стихов моих дивясь и грезя у огня,  
 вы скажете, лицо над пряжею склоня:  
 «Весна моя была прославлена Ронсаром», —

при имени моем служанка в доме старом,  
 уже дремотою работу заменя,  
 очнется, услышав, что знали вы меня,  
 вы, озаренная моим бессмертным даром.

Я буду под землей, и, призрак без костей,  
 покой я обрету среди миртовых теней.  
 Вы будете, в тиши, склоненная, седая,

<sup>1</sup> Из сильного вышло сладкое (англ.). — *Рег.*

жалеть мою любовь и гордый холод свой.  
Не ждите — от миртовых дней, цените день живой,  
спешите розы взять у жизненного мая.

<13 августа 1922>

## *Шарль Бодлер*

### 404. АЛЬБАТРОС

Бывало, по зыбям скользят матросы  
среди плаванья берут, чтоб стало веселей,  
великолепных птиц, ленивых альбатросов,  
сопровождающих стремленья кораблей.

Как только он людьми на палубу поставлен,  
лазури властелин, неловок и уныл,  
старается ступать, и тащатся бесславно  
громады белые отяжелевших крыл.

Воздушный странник тот — какой он неуклюжий!  
Та птица пышная — о, как смешит она!  
Эй, трубкою тупой мазни его по клюву,  
шагнув, передразни калеку-летуна...

Поэт похож на них — царей небес волнистых:  
им стрелы не страшны, и буря им мила.  
В изгнание — на земле, — среди хохота и свиста,  
мешают им ходить огромные крыла.

<3 сентября 1924>

## *Альфред Теннисон*

### 405. IN MEMORIAM

Вот лунный луч блеснул на одеяле,  
И знаю: там, где предан ты земле,  
Над западными водами, во мгле,  
Бледно и дивно стены просияли.

Там жизнь твою читает лунный свет:  
Как перст скользит серебряное пламя

По мраморной доске твоей, во храме,  
По буквам имени и числам лет.

И вот сиянье плавное слабеет;  
Вот на моей постели луч погас.  
Смежаю веки утомленных глаз  
И сплю, пока окно не посереет.

Тогда земля туманом заревым  
Напоена от краю и до краю, —  
И там, во храме сумрачном, я знаю,  
Чуть брезжит мрамор с именем твоим.

<23 мая 1926>

### *Уильям Шекспир*

#### **406. XVII СОНЕТ**

Сонет мой за обман века бы осудили,  
когда б он показал твой образ неземной, —  
но в песне, знает Бог, ты скрыта, как в могиле,  
и жизнь твоих очей не выявлена мной.

Затем ли волшебство мной было бы воспето  
и чистое число всех прелестей твоих, —  
чтоб молвили века: «Не слушайте поэта;  
божественности сей нет в обликах мирских»?

Так высмеют мой труд, поблекнувший и сырый,  
так рассказы смешны речистых стариков, —  
и правду о тебе сочтут за прихоть лиры,  
за древний образец напыщенных стихов...

Но если бы нашлось дитя твое на свете,  
жила бы ты вдвойне — в потомке и в сонете.

<18 сентября 1926>

#### **407. XXVII СОНЕТ**

Спешу я, утомясь, к целительной постели,  
где плоти суждено от странствий отдохнуть, —

но только все труды от тела отлетели,  
пускается мой ум в паломнический путь.

Потоки дум моих, отсюда, издалека,  
настойчиво к твоим стремятся чудесам, —  
и держат, и влекут измученное око,  
открытое во тьму, знакомую слепцам.

Зато моей души таинственное зреньё  
торопится помочь полночной слепоте:  
окрашивая ночь, твое отображенье  
дрожит, как самоцвет, в могильной темноте.

Так, ни тебе, ни мне покоя не давая,  
днем тело трудится, а ночью мысль живая.

*<18 сентября 1926>*

#### 408—410. ИЗ «ГАМЛЕТА»

##### 1

##### (Действие III, сцена 1)

Быть иль не быть — вот в этом  
вопрос; что лучше для души — терпеть  
пращи и стрелы яростного рока  
или, на море бедствий ополчившись,  
покончить с ними? Умереть: уснуть,  
не более, и если сон кончает  
тоску души и тысячу тревог,  
нам свойственных, — такого завершения  
нельзя не жаждать. Умереть, уснуть;  
уснуть: быть может, сны увидеть; да,  
вот где затор, какие сновиденья  
нас посетят, когда освободимся  
от шелухи сует? Вот остановка.

Вот почему напасти так живучи;  
ведь кто бы снес бичи и глум времен,  
презренье гордых, притеснение сильных,  
любви напрасной боль, закона леность,  
и спесь властителей, и всё, что терпит  
достойный человек от недостойных,  
когда б он мог кинжалом тонким сам

покой добыть? Кто б стал под грузом жизни  
кряхтеть, потеть, — но страх, внушенный чем-то  
за смертью — неоткрытою страной,  
из чьих пределов путник ни один  
не возвращался, — он смущает волю  
и заставляет нас земные муки  
предпочитать другим, безвестным. Так  
всех трусами нас делает сознание,  
на яркий цвет решимости природной  
ложится бледность немощная мысли,  
и важные, глубокие затеи  
меняют направленье и теряют  
название действий. Но теперь — молчанье...  
Офелия...

В твоих молитвах, нимфа,  
ты помяни мои грехи.

<23 ноября 1930>

2

(Действие IV, сцена 7)

К о р о л е в а

Одна беда на пятки наступает  
другой — в поспешной смене: утонула  
твоя сестра, Лаэрт.

Л а э р т

Сестра! О, где?

К о р о л е в а

Есть ива у ручья; к той бледной иве,  
склонившейся над ясною водой,  
она пришла с гирляндами ромашек,  
крапивы, лютиков, лиловой змейки,  
зовущейся у вольных пастухов  
иначе и грубее, а у наших



холодных дев — перстами мертвых. Там она взбиралась, вешая на ветви свои венки, завистливый сучок сломался, и она с цветами вместе упала в плачущий ручей. Одежды раскинулись широко и сначала ее несли на влаге, как русалку. Она обрывки старых песен пела, как бы не чуя гибели — в привычной родной среде. Так длиться не могло. Тяжелый груз напившихся покровов несчастную увлек от сладких звуков на илистое дно, где смерть.

<19 октября 1930>

3

(Действие V, сцены 1)

Л а э р т

*(прыгает в могилу, вырытую для Офелии)*

...Теперь заройте с мертвою живого,  
сыпучий прах нагромоздите выше  
седого Пелиона и главы  
Олимпа синего.

Г а м л е т

*(подходя)*

Кто сей, чье горе  
так выпренне? Чья печаль  
блуждающие звезды заклинает  
и слушателей делает из них,  
пронзенных изумленьем? Я — Гамлет,  
принц Датский.

*(Прыгает в могилу.)*

Л а э р т  
К дьяволу пускай пойдет  
твоя душа!

*(Схватывается с ним.)*

Г а м л е т

Дурна твоя молитва.  
Сними ты пальцы с горла моего,  
прошу тебя, хоть вовсе я не вспылчив,  
но что-то есть опасное во мне, —  
ты будь благоразумнее. Прочь руку!

К о р о л ь

Растащите их!

К о р о л е в а

Гамлет! Гамлет!

В с е

Мы просим вас...

Г о р а ц и о

Мой принц, мой друг, не надо!

*Их разъединяют, и они выходят из могилы.*

Г а м л е т

Я с ним готов на эту тему спорить,  
покамест у меня моргают веки.

К о р о л е в а

О чем, мой сын, о чем ты?

Г а м л е т

Я любил  
Офелию, и сорок тысяч братьев,  
свою любовь слагая, мой итог  
набрать бы не могли. Что для нее  
ты сделаешь?

К о р о л ь

Лаэрт, ведь он безумен.

К о р о л е в а

Молю, будь терпелив...

Г а м л е т

Что можешь ты?  
Рыдать? Терзать себя? Поститься? Драться?  
Испить отравы? Крокодила съесть?  
Всё сделаю. Зачем пришел? Чтоб выть?  
Ложись в могилу к ней, — я лягу тоже.  
Болтаешь о горах? Так пусть навалят  
на нас с тобой земли такую груду,  
что темя опалит она о солнце  
и Оссу обратит в волдырь. Как видишь,  
и я речист.

К о р о л е в а

Всё это лишь безумье.  
Так с ним бывает, на него находит, —  
а погода, смиреннее голубки,  
уж выведшей птенцов своих златых,  
он замолчит, потупясь.

<19 октября 1930>

## Альфред де Мюссе

### 411. МАЙСКАЯ НОЧЬ

Муза

Тронь лютню, о поэт, и поцелуй мне дай,  
шиповник ждет цветка из каждой почки узкой.  
В ночи грядет весна, он близок, знойный май,  
и вот уж до зари — воздушной трясогузкой  
зазеленевший куст разбужен невзначай.  
Тронь лютню, о поэт, и поцелуй мне дай.

Поэт

Как почернела ночь в долине!  
А мнилось — облик смутно-синий  
вот там струился через лес.  
Он облетел луга ночные;  
едва задел цветы сырые;  
неизъяснимы сны такие;  
и он погас, и он исчез.

Муза

Тронь лютню, о поэт, вуалью благовонной  
ночь зыблет на лугах Эолову росу.  
И роза чистая закрылась непреклонно,  
замкнув и опьянив блестящую осу.  
Послушай: всё молчит; возлюбленную вспомни.  
Сегодня, в темноте, под липами, укромней,  
зари прощальный луч нежнее там затих.  
Сегодня всё цветет: всё ширь природы Божьей  
любовью полнится и шепотом, как ложе  
благоуханное супругов молодых.

Поэт

Как сердца трепетно биенье!  
Как слушаю свое смятенье,  
дыханье в страхе затая!  
Кто там стучит, войти желает?

Меня, как солнце, ослепляет  
свеча неяркая моя.  
Откуда страх и слабость эта?  
Кто там? Кто кличет? Нет ответа.  
Обман: то полночь была где-то;  
как я один! Как беден я!

### Муза

Тронь лютню, о поэт, хмель юности небесной  
играет в эту ночь по жилам Божества.  
Тревожно я дышу, мне сладостно, мне тесно,  
мне ветер губы жжет, дышу, полужива.  
Ленивое дитя! Прекрасна я, смотри же.  
Наш первый поцелуй... О нет, не забудь,  
как я пришла к тебе, крылом скользя всё ближе,  
и, бледный, плачущий, ты пал ко мне на грудь.  
О, я спасла тебя! Ты умирал, я знаю,  
от горестной любви. Теперь тебя зову,  
надеждою томлюсь, без песен умираю.  
Спаси — я до утра без них не доживу.

### Поэт

Так это ты, твое дыханье?  
Бедняжка муза, это ты?  
Бессмертие, благоуханье,  
одно мне верное созданье  
среди враждебной темноты!  
Друг белокурый, друг мой чистый,  
моя любовь, сестра моя!  
И в сердце мне, средь ночи мгlistой,  
с твоей одежды золотистой  
скользит лучистая струя.

### Муза

Тронь лютню. Это я. Увидела я, милый,  
что ты один в ночи, унылый и немой.  
К тревожному гнезду я птицей быстрокрылой  
спустилась с облаков посетовать с тобой.

Так ты страдаешь, друг? Какую-то случайность,  
какую-то любовь оплакиваешь ты;  
измучила тебя земная обычайность —  
тень наслаждения, подобие мечты.  
Так пой же! Внемлет Бог. Всё песней будет взято —  
минувшая печаль, сердечная утрата.  
Давай в безвестный мир, обнявшись, улетим.  
Разбудим наугад мы жизненное эхо.  
Коснемся славы мы, безумия и смеха.  
Забвения страну с тобою создадим.  
Сон выберем любой, лишь был бы он бесценен.  
Умчимся. Мы одни. Вселенная нас ждет.  
Италия смугла, и край Шотландский зелен,  
Эллада, мать моя, хранит сладчайший мед.  
Вот Аргос, Птелеон, как жертвенник огромный,  
и Месса дивная, отрада голубей;  
косматый Пелион, то солнечный, то темный,  
и — чище серебра и неба голубей —  
залив, где лебедь спит, один в зеркальном мире,  
и снится белый сон белеющей Камире.  
Поведай мне, над чем рыдания прольем?  
Какие вымыслы напевом раскачем?  
Сегодня, только свет в твои ударил вежды,  
не правда ль, серафим был над тобой склонен,  
сирени просыпал на легкие одежды  
и о любви шептал, которой грезил он?  
Надежда, счастье, грусть — какое скажем слово?  
Стальной ли батальон мы кровью заплеснем?  
Любовника ль взовьем на лестнице шелковой?  
Иль пену скакуна мы по ветру метнем?  
Поведаем ли, кто в обитель ночи сине  
приходит зажигать лампы без числа,  
чтоб теплилась любовь, чтоб жизнь была светла?  
Воскликнем ли: «Пора, вот сумрак, о Тарквиний!»?  
Сберем ли жемчуга, где океан глубок?  
Пойдем ли коз пасти, где горько пахнет дрок?  
Укажем ли тоске небесные селенья?  
Возьмет ли нас ловец в скалистый горный край?  
Взирает на него, грустит душа оленья,  
жалая оленят и вересковый рай;  
но он вонзает нож и тот кусок добычи,  
то сердце теплое бросает жадным псам.  
Изобразим ли мы румяный жар девичий?  
В сопутствии пажы вошла она во храм

и подле матери садится, но забыла  
молитвы, замерла, уста полуоткрыла  
и слушает, дрожа, как гулко меж колонн  
проходит чей-то шаг и дерзкой шпоры звон.  
Прикажем ли взойти на башни боевые  
героям Франции, героям древних лет,  
чтоб песни воскресить пленительно-простые,  
что славе посвящал кочующий поэт?  
Ленивую ли мы элегию напишем?  
От Корсиканца ли про Ватерло услышим,  
и сколько ковыля людского он скосил,  
пока не налетел дух ночи безрассветной,  
не сбил его крылом на холмик неприметный  
и руки павшему на сердце не скрестил?  
К столбу ли громовой сатиры в назиданье  
прибьем продажное памфлетчика прозвание,  
который с голоду из темного угла  
выходит крадучись, от зависти трепещет,  
на веру гения беспомощно клеветает  
и к лаврам тянется венчанного чела?  
Тронь лютню! Лютню тронь! Молчать мне нестерпимо.  
Вздувают мне крыло весенние ветра.  
Сейчас я улечу, покину мир любимый.  
Дай мне одну слезу! Бог слушает, пора!

### П о э т

О, если, милая, тоскуя,  
ты просишь только поцелуя,  
одной слезы из глаз моих,  
я услужу тебе охотно;  
и о любви мимолетной  
ты вспомнишь в небесах родных.  
Я не пою ни упованья,  
ни славы, ни счастливых дней,  
ни даже верного страданья.  
Мои уста хранят молчанье,  
чтоб шепот сердца был слышной.

### М у з а

Не думаешь ли ты, что я, как ветер грубый,  
надгробных жажду слез осеннею порой,  
что горе кажется мне каплей дождевой?

Поэт, ведь я сама тебя целую в губы.  
Те плевелы, что рву, придя на твой порог,  
то лень души твоей, а горем правит Бог.  
Что ж, если молодость печалью обуяна?  
Пусть разгорается божественная рана,  
где черный серафим к душе твоей приник.  
Чье горе велико, тот истинно велик.  
Но если ты познал страдание, не думай,  
что должен ты, поэт, немотствовать угрюмо.  
Чем горестней напев, тем сладостнее он.  
Есть песни вечные — рыданий чистый звон.  
Как только пеликан спускается тяжелый,  
из странствий возвратясь, к туманным тростникам,  
голодные птенцы бегут на берег голый,  
узнав его вдали по плещущим крылам.  
Уже обильную добычу предвкушая,  
на радостях крича и клювами качая,  
зобастые птенцы торопятся к нему.  
Но он, на берегу, застыв на камне вышем,  
он порывает их крылом своим повисшим,  
как горестный рыбак, глядит в ночную тьму.  
Сквозь жесткое перо сочится кровь из раны.  
Бесцельно было ночь пучинную пытаться:  
безжизненны пески, безрыбны океаны,  
и он своим птенцам лишь сердце может дать.  
На камень опустясь, угрюмый, неуклюжий,  
деля между детьми живую плоть свою же,  
всей силою любви боль заглушает он,  
и, глядя, как бежит горячий ток багряный,  
среди пира падает, шатается, как пьяный,  
блаженством, ужасом и нежностью пронзен.  
Но иногда среди высокой этой казни,  
наскуча смертью столь длительной, в боязни,  
что сытые птенцы его оставят жить,  
он поднимается, чтоб крылья распустить,  
и, яростно себя по сердцу ударяя,  
с такою дикою унылостью кричит,  
что в трепете со скал взмывает птичья стая,  
и путник, в поздний час по берегу блуждая,  
почуя смерть вблизи, молитву вслух твердит.  
Поэт, так делают великие поэты.  
Но время любо им, чтоб веселился мир,  
но песнопенья их, парнасские банкеты,



похожи иногда на пеликаний пир.  
Когда они твердят о ложном упованье,  
поют забвение, любовь или печаль,  
душа от песен их раскроется едва ль.  
Как шпага быстрая, их звонкое зыванье  
кольцеобразное сияние чертит,  
но капля крови там дрожащая блестит.

## П о э т

О Муза, многого не требуй,  
о жадный призрак, полно звать!  
Когда клубятся вихри к небу,  
кто станет на песке писать!  
Как птица, молодость, бывало,  
у самых губ моих витала,  
запеть готова каждый миг.  
Но столько выстрадал я в мире,  
что если первые четыре  
стиха сложил бы я на лире,  
она б сломалась, как тростник.

*<20 ноября 1927>*

### 412. ДЕКАБРЬСКАЯ НОЧЬ

Однажды в детстве, после школы,  
я в нашей зале невеселой  
один читал на склоне дня;  
вошел и сел со мною рядом  
ребенок в черном, с кротким взглядом,  
как брат, похожий на меня.

Склонясь, печальный и прекрасный,  
к свече, пылающей неясно,  
он в книгу стал глядеть со мной;  
к моей руке челом прижался  
и до рассвета так остался —  
в мечтах, с улыбкою немой.

В мое пятнадцатое лето  
по вереску в дубраве где-то  
однажды брел я наугад;  
прошел и сел в тени древесной

весь в черном юноша безвестный,  
похожий на меня, как брат.

Я у него спросил дорогу;  
держал он лютню и немного  
шиповника в пучок связал;  
с очаровательным приветом,  
слегка оборотясь, букетом  
на ближний холм он показал.

Во дни слепой сердечной жажды  
я у огня рыдал однажды,  
измену первую кляня;  
поближе к трепетному свету  
сел кто-то, в черное одетый,  
как брат, похожий на меня.

Дышал он сумрачной тоскою;  
он твердь указывал рукою,  
в другой руке блестел кинжал,  
он знал мои глухие думы,  
но испустил лишь вздох угрюмый  
и, как видение, пропал.

Во дни, когда, гуляка вольный,  
подняв бокал, под гул застольный,  
любому тосту был я рад, —  
одетый в черное, нежданно,  
сел рядом собутыльник странный,  
похожий на меня, как брат...

Он плащ стяхнул, на тощем теле  
лохмотья пурпура висели,  
и был он в миртовом венке —  
символ бесплодья, он склонился;  
мы чокнулись, бокал разбился  
в моей трепещущей руке.

А год спустя, порой ночью,  
лежал недвижно предо мною  
отец мой, вечностью объят;  
у ложа смертного покорно  
сел сирота в одежде черной,  
похожий на меня, как брат.

Глядел он влажными очами,  
увит терновыми шипами,  
как ангел, нежен и уныл;  
и лютня на земле лежала,  
и в грудь вошел клинок кинжала,  
и пурпур цвета крови был.

Его запомнил я так ясно,  
что после в жизни я всечасно,  
повсюду — узнавал его;  
поистине то — призрак странный,  
друг пасмурный и безымянный,  
не демон и не божество.

Когда же, не стерпев страданья,  
задумав дальние скитанья,  
чтоб смерть найти иль вновь расцвести,  
я вышел из родного края,  
нетерпеливо настигая  
надежды призрачную весть,

на склонах Пизы, в Апеннингах,  
на Рейне, в Кельне, и в долинах  
пологих Ниццы, и в тиши  
дворцов Флоренции священной,  
в шале, стареющих смиренно  
в альпийской горестной глуши,

и в Генуе, в садах лимонных,  
в Вевэ, меж яблоней зеленых,  
и в атлантическом порту,  
и в Лидо, на траве могильной,  
где Адриатика бессильно  
лобзает хладную плиту, —

повсюду, где, среди простора,  
оставил сердце я и взоры,  
терзаясь раной роковой;  
повсюду, где хандра хромая,  
на посмеянье выставляя,  
меня тащила за собой;

повсюду, где, тоской суровой  
тоскуя по отчизне новой,  
я шел за тенью снов моих;  
повсюду, где, пожив так мало,

я видел всё, что сердце знало, —  
всё ту же ложь личин людских;

повсюду, где в пустыне пыльной  
я, словно женщина, бессильно  
рыдал, закрывшись рукавом;  
повсюду, где в лесу тернистом  
душа цеплялась шелковистым,  
легко теряемым руном;

повсюду, где дрема долила,  
повсюду, где звала могила,  
повсюду, где коснулся я  
земли, — садился при дороге,  
весь в черном, человек убогий,  
как брат, похожий на меня.

Откройся мне, ты, знающий все дали,  
все колеи моих дорог!

Так скорбен ты, что я могу едва ли  
в тебе признать мой злобный рок.

В твоей улыбке кротости так много,  
так сердобольно слезы льешь...

Когда ты здесь, любовно чую Бога;  
твоей тоске близка моя тревога,  
на образ дружбы ты похож.

Но кто же ты? Не ангел, Богом данный,  
руководитель душ людских.

Вот мучусь я, но ты — и это странно! —  
молчишь при виде слез моих.

Я двадцать лет знаком с твоею властью,  
неведомое существо,

меня жалеешь, но твое участие  
не греет; улыбаешься, но счастья  
не разделяешь моего.

Сегодня вновь явился ты ко сроку;  
лилась ночная темнота,

крылом в окно бил ветер одиноко,  
моя печаль была пуста:

но там остался отпечаток томный,  
еще лобзанья жар тая;

и думал я о страсти вероломной,  
и медленно, подобно ткани темной,  
рвалась на части жизнь моя.

Собрал я письма, прядь волос — обломки  
любви недавней, — всё собрал;  
и голос прошлого, не в меру громкий,  
пустые клятвы повторял.  
Прелестный прах, не смея с ним расстаться,  
я гладил, трепетен и тих.  
Плачь, сердце, плачь! Слезами напитаться  
поторопись! Ведь завтра, может статься,  
ты не узнаешь слез своих.

Я завернул остатки счастья эти  
в обрывок бурого сукна.  
Среди недолговечного на свете,  
пожалуй, прядь волос вечна.  
Как бы в подводный сумрак погруженный,  
я глубь забвения пытал;  
мой лот терялся в этой тьме бездонной,  
я над моей любовью погребенной,  
над бледным счастьем рыдал.

И вот уже сургуч я выбрал черный,  
чтоб запечатать нежный клад,  
еще не веря, в скорби непокорной,  
что я отдам его назад.  
Ты, слабая, надменная, слепая,  
былого не сорвешь с себя!  
О Господи, зачем же ложь такая?  
Как страстно задыхалась ты, рыдая,  
зачем рыдала — не любя?

Да, ты грустишь, томишься, но меж нами —  
преграда прихоти твоей.  
Ну что ж, прощай! Ты будешь со слезами  
считать часы пустых ночей.  
Уйди, уйди! В холодный сон гордыни  
твоя душа погружена...  
Моя же не стареет и не стынет,  
и кроме горя, узнанного ныне,  
немало мук вместит она.

Уйди, уйди! Не всё от полновластной  
природы получила ты,  
увы, дитя, ты хочешь быть прекрасной —  
что красота без доброты?

Пусть судьба тебя уносит мимо,  
моей души ты не взяла...  
Развей золу любви неповторимой...  
Как я любил, и как непостижимо,  
что ты любила и ушла!

Но вдруг в ночи как будто тень мелькнула,  
затрепетала по стене,  
по занавеске медленно скользнула  
и села на постель ко мне.

О, кто ты, образ бледный и печальный,  
одетый в черное двойник?  
Чего ты ищешь здесь, паломник дальний?  
Иль это сон, иль в глубине зеркальной  
я отражением возник?

О, кто ты, спутник юности обманной,  
упорный, призрачный ходок?  
Зачем тебя я вижу постоянно  
среди мрака, где мой путь пролег?  
О, соглядатай скорби и заботы!  
За что ты, горестная тень,  
осуждена считать все повороты  
моей стези? О, кто ты, брат мой, кто ты,  
являющийся в черный день?

В и д е н и е (отвечает)

Друг, мы — дети единого лона.  
Я не ангел, к тебе благосклонный,  
я не злая судьбина людей.  
Я иду за любимыми следом,  
но, увы, мне их выбор неведом,  
мне чужда суета их путей.

Я не Бог и не демон крылатый;  
но ты дал мне название брата,  
и название это верней.  
Где ты будешь, там буду я рядом  
до последнего дня — когда сяду  
я на камень могилы твоей.

Небо сердце твое мне вручило.  
Я хочу, чтоб ко мне приходила  
без боязни кручина твоя.

Я с тобой не расстанусь. Но помни,  
прикоснуться к тебе не дано мне;  
о мой друг, одиночество я.

<7 октября 1928>

## Артур Рембо

### 413. ПЬЯНЫЙ КОРАБЛЬ

В стране бесстрастных рек спускаясь по течению,  
хватился я моих усердных бурлаков:  
индейцы ярые избрали их мишенью,  
нагими их сковав у радужных столбов.

Есть много кораблей, фламандский хлеб везущих  
и хлопок английский, — но к ним я охладел.  
Когда прикончили тех пленников орущих,  
открыли реки мне свободнейший удел.

И я — который был, зимой недавней, глуше  
младенческих мозгов — бежал на зов морской,  
и полуостровам, оторванным от суши,  
не знать таких боев и удали такой.

Был штормом освящен мой водный первопуток.  
Средь волн, без усталы влачащих жертв своих,  
протанцевал и я, как пробка, десять суток,  
не помня глупых глаз огней береговых.

Вкусней, чем мальчику плоть яблока сырая,  
вошла в еловый трюм зеленая вода,  
меня от пятен вин и рвоты очищая  
и унося мой руль и якорь навсегда.

И вольно с этих пор купался я в поэме  
кишащих звездами лучисто-млечных вод,  
где, очарованный и безучастный, время  
от времени ко дну утопленник идет,

где, в пламенные дни, лазурь сквозную влаги  
окрашивая вдруг, кружатся в забыты —  
просторней ваших лир, разымчивее браги —  
туманы рыжие и горькие любви.

Я знаю небеса в сполохах, и глубины,  
и водоверть, и смерч, покой по вечерам,  
рассвет восторженный, как вылет голубиный,  
и видел я подчас, что мнится морякам;

я видел низких зорь пятнистые пожары,  
в лиловых сгустках туч мистический провал,  
как привидения из драмы очень старой,  
волнуясь чередой, за валом веял вал,

я видел снежный свет ночей зеленооких,  
лобзанья долгие медлительных морей,  
и ваш круговорот, несслыханные соки,  
и твой цветной огонь, о фосфор-чародей!

По целым месяцам внимал я истерии  
скотоподобных волн при взятии скалы,  
не думая о том, что светлые Марии  
могли бы обуздать бодливые валы.

Уж я ль не приставал к немыслимой Флориде,  
где смешаны цветы с глазами, с пестротой  
пантер и тел людских и с радугами, в виде  
натянутых вожжей над зеленью морской!

Брожения болот я видел — словно мрежи,  
где в тине целиком гниет левиафан,  
штиль и крушение волн, когда всю даль прорежет  
и опрокинется над бездной ураган.

Серебряные льды, и перламутр, и пламя,  
коричневую мель у берегов гнилых,  
где змеи тяжкие, едомые клопами,  
с деревьев падают смолистых и кривых.

Я б детям показал огнистые созданья  
морские — золотых, певучих этих рыб.  
Прелестной пеною цвели мои блужданья,  
мне ветер придавал волшебных крыл изгиб.

Меж полюсов и зон устав бродить без цели,  
порой качался я нежнее. Подходил  
рой теневых цветов, присоски их желтели,  
и я как женщина молящая был, —



пока, на палубе колыша нечистоты,  
золотоглазых птиц, их клики, кутерьму,  
я плыл, и сквозь меня, сквозь хрупкие пролеты,  
дремотно пятился утопленник во тьму.

Но я, затерянный в кудрях травы летеиской,  
я, бурей брошенный в эфир глухонемой,  
шатун, чьей скорлупы ни парусник ганзейский,  
ни зоркий монитор не сыщет под водой, —

я, вольный и живой, дымно-лиловым мраком  
пробивший небеса, кирпичную их высь,  
где б высмотрел поэт всё, до чего он лаком, —  
лазури лишаи и солнечную слизь, —

я, дикою доской в трескучих пятнах ярких  
бежавший среди морских изогнутых коньков,  
когда дубинами крушило солнце арки  
ультрамариновых июльских облаков, —

я, трепетавший так, когда был слышен топот  
Мальстромов вдалеке и Бегемотов бег,  
паломник в синеве недвижной, — о Европа,  
твой древний парапёт запомнил я навек!

Я видел звездные архипелаги! Земли,  
приветные пловцу, и небеса, как бред.  
Не там ли, в глубине, в изгнании ты дремлешь,  
о стая райских птиц, о мощь грядущих лет?

Но, право ж, нету слез. Так безнадежны зори,  
так солнце солоно, так тягостна луна...  
Любовью горькою меня раздуло море...  
Пусть лопнет остов мой! Бери меня, волна!

Из европейских вод мне сладостна была бы  
та лужа черная, где детская рука,  
среди грустных сумерек, челнок пускает слабый,  
напоминающий сквозного мотылька.

О, волны, не могу, исполненный истомы,  
пересекать волну купеческих судов,  
победно проходить среди знамен и грома  
и проплывать вблизи ужасных глаз мостов.

<16 декабря 1928>

## *Иоганн Вольфганг Гете*

### 414. ПОСВЯЩЕНИЕ К «ФАУСТУ»

Вы снова близко, реющие тени.  
Мой смутный взор уже вас видел раз.  
Хочу ль теперь безумия видений?  
Запечатлеть попробую ли вас?  
Теснитесь вы! Среди дымных испарений —  
да будет так! — вы явитесь сейчас;  
по-юному мне сердце потрясает  
туман чудес, что вас сопровождает.

Отрада в вас мне чудится бывая,  
а тень встает родная не одна,  
встает любовь и дружба молодая,  
как полужвук, преданье, старина,  
и снова — боль, и, жалуясь, блуждая  
по лабиринту жизненного сна,  
зову я милых, счастьем жестоко  
обмеренных, исчезнувших до срока.

Те, для кого я пел первоначально,  
не слышат песен нынешних моих,  
ушли друзья, и замер отзвук дальний  
из первого привета. Для чужих,  
неведомых, звучит мой стих печальный,  
боюсь я даже одобренья их,  
а верные мне души, если живы,  
скитаются в изгнанье сиротливо.

По истовом и тихом царстве духа  
во мне тоска забытая зажглась,  
трепещет песнь, неясная для слуха,  
как по струнам золовым струясь,  
и плачу я, и ужасаюсь глухо,  
в суровом сердце нежность разлилась;  
всё настоящее вдали пропало,  
а прошлое действительностью стало.

<15 декабря 1932>

**СТИХОТВОРЕНИЯ  
НА АНГЛИЙСКОМ  
И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ**



## POEMS AND PROBLEMS

---

### 415. A LITERARY DINNER

Come here, said my hostess, her face making room  
for one of those pink introductory smiles  
that link, like a valley of fruit trees in bloom,  
the slopes of two names.

I want you, she murmured, to eat Dr. James.

I was hungry. The Doctor looked good. He had read  
the great book of the week and had liked it, he said,  
because it was powerful. So I was brought  
a generous helping. His mauve-bosomed wife  
kept showing me, very politely, I thought,  
the tenderest bits with the point of her knife.  
I ate — and in Egypt the sunsets were swell;  
The Russians were doing remarkably well;  
had I met a Prince Poprinsky, whom he had known  
in Caparabella, or was it Mentone?  
They had traveled extensively, he and his wife;  
her hobby was People, his hobby was Life.  
All was good and well cooked, but the tastiest part  
was his nut-flavored, crisp cerebellum. The heart  
resembled a shiny brown date,  
and I stowed all the studs on the edge of my plate.

*<11 апреля> 1942*

### 416. THE REFRIGERATOR AWAKES

Crash!

And if darkness could sound, it would sound like this giant  
waking up in the torture house, trying to die  
and not dying, and trying  
not to cry and immediately crying  
that he will, that he will, that he will do his best  
to adjust his dark soul to the pressing request

of the only true frost,  
and he pants and he gasps and he rasps and he wheezes:  
*ice is the solid form when the water freezes;*  
*a volatile liquid (see «Refrigerating»)*  
*is permitted to pass into evaporating*  
*coils, where it boils,*  
*which somehow seems wrong,*  
*and I wonder how long*  
*it will rumble and shudder and crackle and pound;*  
*Scudder, the Alpinist, slipped and was found*  
*half a century later preserved in blue ice*  
*with his bride and two guides and a dead edelweiss;*  
*a German has proved that the snowflakes we see*  
*are the germ cells of stars and the sea life to be;*  
*hold*  
*the line, hold the line, lest its tale be untold;*  
*let it amble along through the thumping pain*  
*and horror of dichlorodisomethane,*  
*a trembling white heart with the frost froth upon it,*  
*Nova Zembla, poor thing, with that B in her bonnet,*  
*stunned bees in the bonnets of cars on hot roads,*  
*Keep it Kold, says a poster in passing, and lo,*  
*loads,*  
*of bright fruit, and a ham, and some chocolate cream,*  
*and three bottles of milk, all contained in the gleam*  
*of that wide-open white*  
*god, the pride and delight*  
*of starry-eyed couples in dream kitchenettes,*  
*and it groans and it drones and it toils and it sweats —*  
*Shackleton, pemmican, penguin, Poe's Pym —*  
collapsing at last in the criminal  
night.

<28 ноября 1941>

#### 417. A DISCOVERY

I found it in a legendary land  
all rocks and lavender and tufted grass,  
where it was settled on some sodden sand  
hard by the torrent of a mountain pass.

The features it combines mark it as new  
to science: shape and shade — the special tinge,

akin to moonlight, tempering its blue,  
the dingy underside, the checquered fringe.

My needles have teased our its sculptured sex;  
corroded tissues could no longer hide  
that priceless mote now dimpling the convex  
and limpid teardrop on a lighted slide.

Smoothly a screw is turned; our of the mist  
two ambered hooks symmetrically slope,  
or scales like battledores of amethyst  
cross the charmed circle of the microscope.

I found it and I named it, being versed  
in taxonomic Latin; thus became  
godfather to an insect and its first  
describer — and I want no other fame.

Wide open on its pin (though fast asleep),  
and safe from creeping relatives and rust,  
in the secluded stronghold where we keep  
type specimens it will transcend its dust.

Dark pictures, thrones, the stones that pilgrims kiss,  
poems that take a thousand years to die  
but ape the immortality of this  
red label on a little butterfly.

*<12 января> 1943*

#### 418. THE POEM

Not the sunset poem you make when you think aloud,  
with its linden tree in India ink  
and the telegraph wires across its pink cloud;

not the mirror in you and her delicate bare  
shoulder still glimmering there;  
not the lyrical click of a pocket rhyme —  
the tiny music that tells the time;

and not the pennies and weights on those  
evening papers piled up in the rain;  
not the cacodemons of carnal pain;  
not the things you can say so much better in plain prose —

but the poem that hurtles from heights unknown  
— when you wait for the splash of the stone  
deep below, and grope for your pen,  
and then comes the shiver, and then —

in the tangle of sounds, the leopards of words,  
the leaflike insects, the eye-spotted birds  
fuse and form a silent, intense,  
mimetic pattern of perfect sense.

<10 июня> 1944

#### 419. AN EVENING OF RUSSIAN POETRY

*«... seems to be the best train. Miss Ethel Winter  
of the Department of English will meet you at  
the station and...»*

From a letter addressed to the visiting speaker

The subject chosen for tonight's discussion  
is everywhere, though often incomplete:  
when their basaltic banks become too steep,  
most rivers use a kind of rapid Russian,  
and so do children talking in their sleep.  
My little helper at the magic lantern,  
insert that slide and let the colored beam  
project my name or any such-like phantom  
in Slavic characters upon the screen.  
The other way, the other way. I thank you.

On mellow hills the Greek, as you remember,  
fashioned his alphabet from cranes in flight;  
his arrows crossed the sunset, then the night.  
Our simple skyline and a taste for timber,  
the influence of hives and conifers,  
Yes, Sylvia?

*«Why do you speak of words  
when all we want is knowledge nicely browned?»*

Because all hangs together — shape and sound,  
heather and honey, vessel and content.



Not only rainbows — every line is bent,  
and skulls and seeds and all good words are round,  
like Russian verse, like our colossal vowels:  
those painted eggs, those glossy pitcher flowers  
that swallow whole a golden bumblebee,  
those shells that hold a thimble and the sea.  
Next question.

*«Is your prosody like ours?»*

Well, Emmy, our pentameter may seem  
to foreign ears as if it could not rouse  
the limp iambus from its pyrrhic dream.  
But close your eyes and listen to the line.  
The melody unwinds; the middle word  
is marvelously long and serpentine:  
you hear one beat, but you have also heard  
the shadow of another, then the third  
touches the gong, and then the fourth one sighs.

It makes a very fascinating noise:  
it opens slowly, like a greyish rose  
in pedagogic films of long ago.

The rhyme is the line's birthday, as you know,  
and there are certain customary twins  
in Russian as in other tongues. For instance,  
love automatically rhymes with blood,  
nature with liberty, sadness with distance,  
humane with everlasting, prince with mud,  
moon with a multitude of words, but sun  
and song and wind and life and death with none.

Beyond the seas where I have lost a scepter,  
I hear the neighing of my dappled nouns,  
soft participles coming down the steps,  
treading on leaves, trailing their rustling gowns,  
and liquid verbs in *ahla* and in *ili*,  
Aonian grottoes, nights in the Altai,  
black pools of sound with «l»s for water lilies.  
The empty glass I touched is tinkling still,  
but now 'tis covered by a hand and dies.

*«Trees? Animals? Your favorite precious stone?»*

The birch tree, Cynthia, the fir tree, Joan.  
Like a small caterpillar on its thread,  
my heart keeps dangling from a leaf long dead  
but hanging still, and still I see the slender  
white birch that stands on tiptoe in the wind,  
and firs beginning where the garden ends,  
the evening ember glowing through their cinders.

Among the animals that haunt our verse,  
that bird of bards, regale of night, comes first:  
scores of locutions mimicking its throat  
render its every whistling, bubbling, bursting,  
flutelike or cuckoolike or ghostlike note.  
But lapidary epithets are few;  
we do not deal in universal rubies.  
The angle and the glitter are subdued;  
our riches lie concealed. We never liked  
the jeweler's window in the rainy night.

My back is Argus-eyed. I live in danger.  
False shadows turn to track me as I pass  
and, wearing beards, disguised as secret agents,  
creep in to blot the freshly written page  
and read the blotter in the looking glass.  
And in the dark, under my bedroom window,  
until, with a chill whirr and shiver, day  
presses its starter, warily they linger  
or silently approach the door and ring  
the bell of memory and run away.

Let me allude, before the spell is broken,  
to Pushkin, rocking in his coach on long  
and lonely roads: he dozed, then he awoke,  
undid the collar of his traveling cloak,  
and yawned, and listened to the driver's song.  
Amorphous sallow bushes called *rakeety*,  
enormous clouds above an endless plain,  
songline and skyline endlessly repeated,  
the smell of grass and leather in the rain.  
And then the sob, the syncope (Nekrasov!),  
the panting syllables that climb and climb,  
obsessively repetitive and rasping,  
dearer to some than any other rhyme.  
And lovers meeting in a tangled garden,

dreaming of mankind, of untrammled life,  
mingling their longings in the moonlit garden,  
where trees and hearts are larger than in life.  
This passion for expansion you may follow  
throughout our poetry. We want the mole  
to be a lynx or turn into a swallow  
by some sublime mutation of the soul.  
But to unneeded symbols consecrated,  
escorted by a vaguely infantile  
path for bare feet, our roads were always fated  
to lead into the silence of exile.

Had I more time tonight I would unfold  
the whole amazing story — *neighuklúzhe*,  
*nevynossímo* — but I have to go.

What did I say under my breath? I spoke  
to a blind songbird hidden in a hat,  
safe from my thumbs and from the eggs I broke  
into the gibus brimming with their yolk.

An now I must remind you in conclusion,  
that I am followed everywhere and that  
space is collapsible, although the bounty  
of memory is often incomplete:  
once in a dusty place in Mora county  
(half town, half desert, dump mound and mesquite)  
and once in West Virginia (a muddy  
red road between an orchard and a veil  
of tepid rain) it came, that sudden shudder,  
a Russian something that I could inhale  
but could nor see. Some rapid words were uttered —  
and then the child slept on, the door was uttered —  
and then the child slept on, the door was shut.

The conjurer collects his poor belongings —  
the colored handkerchief, the magic rope,  
the double-bottomed rhymes, the cage, the song.  
You tell him of the passes you detected.  
The mystery remains intact. The check  
comes forward in its smiling envelope.

«How would you say "delightful talk" in Russian?»  
«How would you say "good night"?»

Oh, that would be:

*Bessónnitza, tvoy vzor oonyl i stráshen;  
lubóv moyá, otstópnika prostée.*

(Insomnia, your stare is dull and ashen,  
my love, forgive me this apostasy.)

<2 декабря 1944>  
Кембридж, Масс.

#### 420. THE ROOM

The room a dying poet took  
at nightfall in a dead hotel  
had both directories — the Book  
of Heaven and the Book of Bell.

It had a mirror and a chair,  
it had a window and a bed,  
its ribs let in the darkness where  
rain glistened and a shopsign bled.

Not tears, not terror, but a blend  
of anonymity and doom,  
it seemed, that room, to condescend  
to imitate a normal room.

Whenever some automobile  
subliminally slit the night,  
the walls and ceiling would reveal  
a wheeling skeleton of light.

Soon afterwards the room was mine.  
A similar striped cageling, I  
groped for the lamp and found the line  
«Alone, unknown, unloved, I die»

in pencil, just above the bed.  
It had a false quotation air.  
Was it a she, wild-eyed, well-read,  
or a fat man with thinning hair?

I asked a gentle Negro maid,  
I asked a captain and his crew,  
I asked the night clerk. Undismayed,  
I asked a drunk. Nobody knew.

Perhaps when he had found the switch  
he saw the picture on the wall  
and cursed the red eruption which  
tried to be maples in the fall?

Artistically in the style  
of Mr. Churchill at his best,  
those maples marched in double file  
from Glen Lake to Restricted Rest.

Perhaps my text is incomplete.  
A poet's death is, after all,  
a question of technique, a neat  
enjambment, a melodic fall.

And here a life had come apart  
in darkness, and the room had grown  
a ghostly thorax, with a heart  
unknown, unloved — but not alone.

<13 мая> 1950  
*Итака*

#### 421. VOLUPTATES TACTIONUM<sup>1</sup>

Some inevitable day  
On the editorial page  
Of your paper it will say,  
«Tactio has come of age».

When you turn a knob, your set  
Will obligingly exhale  
Forms, invisible and yet  
Tangible — a world in Braille.

Think of all the things that will  
Really be within your reach!  
Phantom bottle, dummy pill,  
Limpid limbs upon a beach.

Grouped before a Magnotact,  
Clubs and families will clutch  
Everywhere the same compact  
Paradise (in terms of touch).

---

<sup>1</sup> Радости осязания (лат.). — *Рег.*

Palpitating fingertips  
Will caress the flossy hair  
And investigate the lips  
Simulated in midair.

See the schoolboy, like a blind  
Lover, frantically grope  
For the shape of love — and find  
Nothing but the shape of soap.

<27 января> 1951

#### 422. RESTORATION

To think that any fool may tear  
by chance the web of when and where.  
O window in the dark! To think  
that every brain is on the brink  
of nameless bliss no brain can bear,

unless there be no great surprise —  
as when you learn to levitate  
and, hardly trying, realize  
— alone, in a bright room — that weight  
is but your shadow, and you rise.

My little daughter wakes in tears:  
She fancies that her bed is drawn  
into a dimness which appears  
to be the deep of all her fears  
but which, in point of fact, is dawn.

I know a poet who can strip  
a William Tell or Golden Pip  
in one uninterrupted peel  
miraculously to reveal,  
revolving on his fingertip,

a snowball. So I would unrobe,  
turn inside out, pry open, probe  
all matter, everything you see,  
the skyline and its saddest tree,  
the whole inexplicable globe,

to find the true, the ardent core  
as doctors of old pictures do  
when, rubbing our a distant door  
or sooty curtain, they restore  
the jewel of a bluish view.

9 марта 1952

#### 423. THE POPLAR

Before this house a poplar grows  
Well versed in dowsing, I suppose,

But how it sighs! And every night  
A boy in black, a girl in white

Beyond the brightness of my bed  
Appear, and not a word is said.

On coated chair and coatless chair  
They sit, one here, the other there.

I do not care to make a scene:  
I read a glossy magazine.

He props upon his slender knee  
A dwarfed and potted poplar tree.

And she — she seems to hold a dim  
Hand mirror with an ivory rim

Framing a lawn, and her, and me  
Under the prototypic tree,

Before a pillared porch, last seen  
In July, nineteen seventeen.

This is the silver lining of  
Pathetic fallacies: the sough

Of *Populus* that taps at last  
Not water but the author's past.

And note: nothing is ever said.  
I read a magazine in bed

Or the *Home Book of Verse*; and note:  
This is my shirt, that is my coat.

But frailer seers I am told  
Get up to rearrange a fold.

1952

#### 424. LINES WRITTEN IN OREGON

Esmeralda! Now we rest  
Here, in the bewitched and blest  
Mountain forests of the West.

Here the very air is stranger.  
Damsel, anchoret, and ranger  
Share the woodland's dream and danger.

And to think I deemed you dead!  
(In a dungeon, it was said;  
Tortured, strangled); but instead —

Blue birds from the bluest fable,  
Bear and hare in coats of sable,  
Peacock moth on picnic table.

Huddled roadsigns softly speak  
Of Lake Merlin, Castle Creek,  
And (obliterated) Peak.

Do you recognize that clover?  
Dandelions, *l'or du pauvre*?<sup>1</sup>  
(Europe, nonetheless, is over).

Up the turf, along the burn,  
Latin lilies climb and turn  
Into Gothic fir and fern.

Cornfields have befouled the prairies  
But these canyons laugh! And there is  
Still the forest with its fairies.

And I rest where I awoke  
In the sea shade — *l'ombre glauque*<sup>2</sup> —  
Of a legendary oak;

---

<sup>1</sup> Солнце бедных (фр.). — *Peg.*

<sup>2</sup> Тень цвета морской волны (фр.). — *Peg.*



Where the woods get ever dimmer,  
Where the Phantom Orchids glimmer —  
Esmeralda, *immer, immer*.<sup>1</sup>

<20 июня> 1953

#### 425. ODE TO A MODEL

I have followed you, model,  
in magazine ads through all seasons,  
from dead leaf on the sod  
to red leaf on the breeze,

from your lily-white armpit  
to the tip of your butterfly eyelash,  
charming and pitiful,  
silly and stylish.

Or in kneesocks and tartan  
standing there like some fabulous symbol,  
parted feet pointing outward  
— pedal form of akimbo.

On a lawn, in a parody  
Of Spring and its cherry tree,  
near a vase and a parapet,  
virgin practicing archery.

Ballerina, black-masked,  
near a parapet of alabaster.  
«Can one — somebody asked —  
rhyme "star" and "disaster"?»

Can one picture a blackbird  
as the negative of a small firebird?  
Can a record, run backward,  
turn «repaid» into «diaper»?

Can one marry a model?  
Kill your past, make you real, raise a family,

---

<sup>1</sup> Погружайся, погружайся (фр.). — *Рег.*

by removing you bodily  
from back numbers of Sham?

<8 октября> 1955

426. ON TRANSLATING «EUGENE ONEGIN»

1

What is translation? On a platter  
A poet's pale and glaring heard,  
A parrot's screech, a monkey's chatter,  
And profanation of the dead.  
The parasites you were so hard on  
Are pardoned if I have your pardon,  
O, Pushkin, for my stratagem:  
I traveled down your secret stem,  
And reached the root, and fed upon it;  
Then, in a language newly learned,  
I grew another stem and turned  
Your stanza patterned on a sonnet,  
Into my honest roadside prose —  
All thorn, but cousin to your rose.

2

Reflected words can only shiver  
Like elongated lights that twist  
In the black mirror of a river  
Between the city and the mist.  
Elusive Pushkin! Persevering,  
I still pick up Tatiana's earring,  
Still travel with your sullen rake.  
I find another man's mistake,  
I analyze alliterations  
That grace your feasts and haunt the great  
Fourth stanza of your Canto Eight.  
This is my task — a poet's patience  
And scholiastic passion blent:  
Dove-droppings on your monument.

#### 427. RAIN

How mobile is the bed on these  
nights of gesticulating trees  
    when the rain clatters fast,  
the tin-toy rain with dapper hoof  
trotting upon an endless roof,  
    traveling into the past.

Upon old roads the steeds of rain  
Slip and slow down and speed again  
    through many a tangled year;  
but they can never reach the last  
dip at the bottom of the past  
    because the sun is there.

1956

#### 428. THE BALLAD OF LONGWOOD GLEN

That Sunday morning, at half past ten,  
Two cars crossed the creek and entered the glen.

In the first was Art Longwood, a local florist,  
With his children and wife (now Mrs. Deforest).

In the one that followed, a ranger saw  
Art's father, stepfather and father-in-law.

The three old men walked off to the cove.  
Through tinkling weeds Art slowly drove.

Fair was the morning, with bright clouds afar.  
Children and comics emerged from the car.

Silent Art, who could state at a thing all day,  
Watched a bug climb a stalk and fly away.

Pauline had asthma, Paul used a crutch.  
They were cute little rascals but could not run much.

«I wish», said his mother to crippled Paul,  
«Some man would teach you to pitch that ball».

Silent Art took the ball and tossed it high.  
It stuck in a tree that was passing by.

And the grave green pilgrim turned and stopped.  
The children waited, but no ball dropped.

«I never climbed trees in my timid prime»,  
Thought Art; and forthwith started to climb.

Now and then his elbow or knee could be seen  
In a jigsaw puzzle of blue and green.

Up and up Art Longwood swarmed and shinned,  
And the leaves said yes to the questioning wind.

What tiaras of gardens! What torrents of light!  
How accessible ether! How easy flight!

His family circled the tree all day.  
Pauline concluded: «Dad climbed away».

None saw the delirious celestial crowds  
Greet the hero from earth in the snow of the clouds.

Mrs. Longwood was getting a little concerned.  
He never came down. He never returned.

She found some change at the foot of the tree.  
The children grew bored. Paul was stung by a bee.

The old men walked over and stood looking up,  
Each holding five cards and a paper cup.

Cars on the highway stopped, backed, and then  
Up a rutted road waddled into the glen.

And the tree was suddenly full of noise,  
Conventioners, fishermen, freckled boys.

Anacondas and pumas were mentioned by some,  
And all kinds of humans continued to come:

Tree surgeons, detectives, the fire brigade.  
An ambulance parked in the dancing shade.

A drunken rogue with a rope and a gun  
Arrived on the scene to see justice done.

Explorers, dendrologists — all were there;  
And a strange pale girl with gypsy hair.

And from Cape Fear to Cape Flattery  
Every paper had: Man Lost in Tree.

And the sky-bound oak (where owls had perched  
And the moon dripped gold) was felled and searched.

They discovered some inchworms, a red-cheeked gall,  
And an ancient nest with a new-laid ball.

They varnished the stump, put up railings and signs.  
Restrooms nestled in roses and vines.

Mrs. Longwood, retouched, when the children died,  
Became a photographer's dreamy bride.

And now the Deforests, with *four* old men,  
Like regular tourists visit the glen;

Munch their lunches, look up and down,  
Wash their hands, and drive back to town.

*1953–1957*

## СТИХОТВОРЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

---

### 429. REMEMBRANCE

Like silent ships we two in darkness met,  
And when some day the poet's careless fame  
Shall breathe to you a half-forgotten name —  
Soul of my song, I want you to regret.  
For you had Love. Out of my life you tore  
One shining page. I want, if we must part,  
Remembrance pale to quiver in your heart  
Like moonlit foam upon a windy shore.

<Ноябрь 1920>

### 430. HOME

Music of windy woods, an endless song  
Rippling in gleaming glades of Long Ago,  
You follow me on tiptoe, swift and slow,  
Through many a dreary year.... Ah, it was wrong  
To wound those gentle trees! I dream and roam  
O'er sun-tormented plains, from brook to brook,  
And thence by stone grey thundering cities. Home,  
My home magnificent is but a word  
On a withered page in an old, dusty book.  
Oh, wistful birch trees! I remember days  
Of beauty: ferns; a green and golden mare;  
A toadstool like a giant lady bird;  
A fairy path; bells, tinkling bells, and sighs;  
Whimsical orioles; white-rimmed butterflies  
Fanning their velvet wings on velvet silver stems....  
All is dead. Who cares, who understands?  
Not even God.... I saw mysterious lands  
And sailed to nowhere with blue-winged waves  
Whirling around me. I have roved and raved  
In southern harbours among drunken knaves,  
And passed by narrow streets, scented and paved

With moonlight pale. There have I called and kissed  
Veiled women swaying in a rhythmic mist,  
But lonesome was my soul, and cold the night....  
And if sometimes, when in the fading light  
Chance friends would chatter, suddenly I grew  
Restless and then quite still, — Ah, it was  
Music of you, windy woods!

<Ноябрь 1920>

#### 431. THE RUSSIAN SONG

I dream of simple tender things:  
a moonlit road and tinkling bells.  
Ah, drearly the coachboy sings,  
but sadness into beauty swells;

swells, and is lost in moonlight dim...  
the singer sighs, and then the moon  
full gently passes back to him  
the quivering, unfinished tune.

In distant lands, on hill and plain,  
thus do I dream, when nights are long, —  
and memory gives back again  
the whisper of that long-lost song.

<1923>

#### 432. SOFTEST OF TONGUES

To many things I've said the word that cheats  
the lips and leaves them parted (thus: *prash-chai*  
which means «good-bye») — to furnished flats, to streets,  
to milk-white letters melting in the sky;  
to drab designs that habit seldom sees,  
to novels interrupted by the din  
of tunnels, annotated by quick trees,  
abandoned with a squashed banana skin;  
to a dim waiter in a dimmer town,  
to cuts that healed and to a thumbless glove;  
also to things of lyrical renown  
perhaps more universal, such as love.

Thus life has been an endless line of land  
receding endlessly.... And so that's that,  
you say under your breath, and wave your hand,  
and then your handkerchief, and then your hat.  
To all these things I've said the fatal word,  
using a tongue I had so tuned and tamed  
that — like some ancient sonneteer — I heard  
its echoes by posterity acclaimed.  
But now thou too must go; just here we part,  
softest of tongues, my true one, all my own....  
And I am left to grope for heart and art  
and start anew with clumsy tools of stone.

<21 октября 1941>  
Уэлсли, Масс.

#### 433. EXILE

He happens to be a French poet, that thin,  
book-carrying man with a bristly gray chin;  
you meet him wherever you go  
across the bright campus, past ivy-clad walls.  
The wind which is driving him mad (this recalls  
a rather good line in Hugo),  
keeps making blue holes in the waterproof gloss  
of college-bred poplars that rustle and toss  
their slippery shadows at pied  
young beauties, all legs, as they bicycle through  
his shoulder, his armpit, his heart, and the two  
big books that are hurting his side.

Verlaine had been also a teacher. Somewhere  
in England. And what about great Baudelaire,  
alone in his Belgian hell?  
This ivy resembles the eyes of the deaf.  
Come, leaf, name a country beginning with «f»;  
for instance, «forget» or «farewell».  
Thus dimly he muses and dreamily heeds  
his eavesdropping self as his body recedes,  
dissolving in sun-shattered shade.  
*L'Envoi*: Those poor chairs in the Bois, one of which  
legs up, stuck half-drowned in the slime of a ditch  
while others were grouped in a glade.

<13 сентября> 1942



#### 434. A POEM

When he was small, when he would fall,  
on sand or carpet he would lie  
quite flat and still until he knew  
what he would do: get up or cry.

After the battle, flat and still  
upon a hillside now he lies —  
but there is nothing to decide,  
for he can neither cry nor rise.

*11 ноября 1942*  
*Сент Пол, Миннесота*

#### 435. DREAM

«Now it is coming, and the sooner  
the better», said my swooning soul —  
and in the sudden blinding lunar  
landscape, out of a howling hole

a one-legged child that howled with laughter  
hopped and went hopping hopping after  
a bloody and bewildered bone,  
a limb that walked away alone.

Perhaps the window shade had billowed  
and slapped the darkness on the face;  
but when I had picked up and pillowed  
the book of sleep and found the place,

I saw him haltingly returning  
out of the dust, back to the burning  
hole of his three-walled home — that boy  
hugging a new, a nameless toy.

*<16 августа 1944>*  
*Кембридж, Масс.*

#### 436. DANDELIONS

Moons on the lawn replace the suns  
that mowers happily had missed.  
Where age would stoop, a babe will squat  
and rise with star-fluff in its first.

*30 мая 1950*  
*Итака, Нью-Йорк*

#### 435. LUNAR LINES

Spell «night». Spell «pebbles»: Pebbles in the Night.  
Peep, crated chicks on lonely station! This  
Is now the ABC of the abyss,  
The Desperanto we must learn to write.

<28 апреля 1966>

## ПЕРЕВОДЫ НА АНГЛИЙСКИЙ

---

### *Александр Пушкин*

438—439. FROM «MOZART AND SALIERI»

#### SCENE I. A ROOM

Salieri

They say there is no justice on the earth.  
I know now there is none in Heaven. Plain  
as seven simple notes! I have loved the art  
from birth; when I was but a little child  
in our old church and the organ boomed sublimely,  
I listened and was lost — shedding delicious  
involuntary tears. I turned away  
from foolish pastimes early; found repellent  
all studies foreign to my music — ay,  
from all I turned with obstinate disdain,  
determined thence to dedicate myself  
to music, music only. The start is hard,  
the first steps make dull going. I surmounted  
the initial obstacles; I grounded firmly  
that craft that makes the pedestal for art;  
a craftsman I became: I trained my fingers  
to dry obedient proficiency,  
brought sureness to my ear. Stunning the sounds,  
I cut up music like a corpse; I tested  
the laws of harmony by mathematics.  
Then only, rich in learning, dared I yield  
to blandishments of sweet creative fancy.  
I dared compose — but silently, in secret,  
nor could I venture yet to dream of glory.  
How often, in my solitary cell,  
having toiled for days, having sat unbroken hours,  
forgetting food and sleep, and having tasted

the rapture and the tears of inspiration,  
I'd burn my work and coldly watch the flame  
as my own melodies and meditations  
flared up and smoked a little and were gone.  
Nay, even more: when the great Gluck appeared,  
when he unveiled to us new marvels, deep  
enchancing marvels — did I not forsake  
all I had known, and loved so well and trusted?  
Did I not follow him with eager stride,  
obedient as one who'd lost his way  
and met a passerby who knew the turning?  
By dint of stubborn steadfast perseverance  
upon the endless mountainside of art  
I reached at last a lofty level. Fame  
smiled on me; and I found in others' hearts  
responses to the sounds I had assembled.  
Came happy days: in quiet I enjoyed  
Work and success and fame — enjoying also  
the works and the successes of my friends,  
my comrades in that art divine we served.  
Oh, never did I envy know. Nay, never!  
Not even when Piccini found a way  
to captivate the ears of savage Paris —  
not even when I heard for the first time  
the plangent opening strains of «Iphigenia».  
Is there a man alive who'll say Salieri  
has ever stooped to envy — played the snake  
that, trampled underfoot, still writhes and bites  
the gravel and the dust in helpless spite?  
Not one!... Yet now — I needs must say it — now  
I am an envious man. I envy — deeply,  
to agony, I envy. — Tell me, Heaven!  
where now is justice when the holiest gift,  
when genius and its immortality,  
come not as a reward for fervent love,  
for abnegation, prayer and dogged labor —  
but lights its radiance in the head of folly,  
of idle wantonness? ...Oh, Mozart, Mozart!

*Mozart enters.*

Mozart

Aha! you saw me! I was just preparing  
to take you by surprise — a little joke.

Salieri

You here? — When did you come?

Mozart

This very minute. I  
was on my way to you to show you something  
when, passing near a tavern, all at once  
I heard a fiddle.... Oh, my dear Salieri!  
You never in your life heard anything  
so funny.... Than blind fiddler in a pothouse  
playing *Voi che sapete*. Marvelous!  
I simply had to bring him here to have you  
enjoy his art. — Step in!

*Enters a blind old man with a violin.*

Some Mozart, please!

*The old man plays the aria from «Don Giovanni»;  
Mozart roars with laughter.*

Salieri

And you can laugh?

Mozart

Oh, come, can't you?

Salieri

I cannot.  
I am not amused by miserable daubers  
who make a mess of Raphael's Madonna;  
I am not amused by despicable zanies  
whose parodies dishonor Alighieri.  
Be off, old man.

Mozart

Wait; here's some money for you —  
you'll drink my health.

*The old man goes out.*

It seems to me, Salieri,  
You're out of sorts to-day. I'll come to see you  
some other time.

Salieri

What have you brought?

Mozart

Oh, nothing —  
a trifle. My insomnia last night  
was troubling me, and one or two ideas  
entered my head. Today I dashed them down.  
I wanted your opinion; but just now  
you're in no mood for me.

Salieri

Ah, Mozart! Mozart!  
When is my mood averse to you? Sit down.  
I'm listening.

Mozart (*at the piano*)

I want you to imagine...  
Whom shall we say?... well, let's suppose myself  
a little younger — and in love — not deeply,  
but just a little — sitting with a damsel  
or with a bosom friend — yourself, let's say —  
I am merry.... All at once: a ghostly vision,  
a sudden gloom, or something of the sort....  
Well, this is how it goes.

*He plays.*

Salieri

You were bringing this,  
and you could stop to linger at a tavern  
and listen to a blind man with a fiddle!  
Ah, Mozart, you are unworthy of yourself.

Mozart

You like it, do you?

Salieri

What profundity!  
What daring and what grace! Why, you're a god,  
and do not know it; but *I* know, *I* know.

Mozart

What, really? Maybe so... If so His Godhead  
is getting to be hungry.

Salieri

Listen, Mozart:  
Let's dine together at the Golden Lion.

Mozart

A capital idea. But let me first  
go home a moment: I must tell my wife  
she's not to wait for me.

*He goes*

Salieri

Don't fail me now.

— Nay, now can I no longer fight with fate:  
my destiny's to stop him — else we perish,  
we all, the priests, the ministers of music,  
not I alone with my dull-sounding fame....  
What worth are we if Mozart lives and reaches  
new summits still? Will this exalt our art?  
Nay: art will sink so soon as he departs:  
he will leave us no successor — will have served  
no useful purpose. Like a seraph swooping,  
he brought us certain songs from Paradise,  
only to stab us, children of the dust,  
with helpless wingless longing, and fly off!  
— So fly away! — the sooner now, the better.

Here's poison: the last gift of my Isora.  
For eighteen years I've kept it, let it season —  
and often life would seem to me a wound  
too bitter to be borne — I have often sat  
with some unwary enemy at table,  
yet never did that inward whisper win me;  
though I'm no coward and feel insult deeply,  
and care not much for life. Still did I tarry,  
tormented by the thirst for death, yet brooding:  
why should I die? Perchance the future yet  
holds unexpected benefits; perchance  
I may be visited by Orphic rapture,  
my night of inspiration and creation;  
perchance another Haydn may achieve  
some great new thing — and I shall live in him...  
While I was feasting with some hated guest,  
perchance, I'd muse, I'll find an enemy  
more hateful still; perchance a sharper insult



may come to blast me from a prouder eminence  
— *then* you will not be lost, Isora's gift!  
And I was right! At last I have encountered  
my perfect enemy: another Haydn  
has made me taste divine delight!. The hour  
draws nigh at last. Most sacred gift of love:  
You'll pass to-night into the cup of friendship.

<12 декабря 1940>

SCENE 2. A PRIVATE ROOM IN A TAVERN, WITH A PIANO.

*Mozart and Salieri at table.*

Salieri

What makes you look so gloomy?

Mozart

Gloomy? No.

Salieri

Mozart, there's surely something on your mind.  
The dinner's good, the wine is excellent,  
but you, you frown and brood.

Mozart

I must confess it:  
I'm worried about my Requiem.

Salieri

Oh, you're writing  
a Requiem? Since when?

Mozart

Three weeks or so.  
But the queer part . . . didn't I tell you?

Salieri

No.

Mozart

Well, listen:  
three weeks ago I got home rather late —  
they told me someone had been there to see me.  
All night — I know not why — I lay and wondered  
who it could be and what he wanted of me.  
Next day the same thing happened: the man came;  
I was not in. The third day — I was playing  
upon the carpet with my little boy —  
there came a knock: they called me, and I went;  
a man, black-coated, with a courteous bow,  
ordered a Requiem and disappeared.  
So I sat down at once and started writing.  
Now from that day to this my man in black  
has never come again. — Not that I mind.  
I hate the thought of parting with my work,  
though now it's done. Yet in the meantime I...

Salieri

You what?

Mozart

I'm ashamed to say it.

Salieri

To say what?

Mozart

I am haunted by that man, that man in black.  
He never leaves me day or night. He follows  
behind me like a shadow. Even now  
I seem to see him sitting here with us,  
making a third.

Salieri

Come, come! what childish terrors!  
Dispel these hollow fancies, Beaumarchais  
was wont to say to me: «Look here, old friend,  
when black thoughts trouble you, uncork a bottle  
of bright champagne, or reread "Figaro"».

Mozart

Yes, you and Beaumarchais were boon companions,  
of course — you wrote «Tarare» for Beaumarchais.  
A splendid piece — especially one tune —  
I always find I hum it when I'm gay:  
ta-tá, ta-tá . . . Salieri, was it true  
that Beaumarchais once poisoned someone?

Salieri

No,  
I doubt it. He was much too droll a fellow  
for such a trade.

Mozart

And then he was a genius  
like you and me. And villainy and genius  
are two things that don't go together, do they?

Salieri

You think so?

*He pours the poison into Mozart's glass.*

Drink your wine.

Mozart

Your health, dear friend:  
here's to the frank and loyal brotherhood  
of Mozart and Salieri, sons of Music.

*He drinks.*

Salieri

Wait, wait! You've drunk it off. You've left me out.

Mozart (*throwing his napkin on the table*)

Enough:

I've eaten.

*He goes to the piano.*

Listen to this, Salieri:  
my Requiem.

*He plays.*

Are you weeping?

Salieri

These are tears  
I've never shed before — painful yet anodyne,  
as if I had discharged a heavy debt,  
as if the surgeon's knife had lopped away  
a sick and throbbing limb! These tears, dear Mozart...  
You must not mind them. Oh, play on, make haste,  
flooding my soul with sound...

Mozart

If all could feel  
like you the force of harmony! But no;  
the world would crumble then; for none would care  
to bother with the baser needs of life;

then all would seek art's franchise. We are few,  
the chosen ones, the happy idlers, we  
who have no use for what is merely useful,  
who worship only beauty — do we not,  
dear friend? — But I'm not well — some leaden languor...  
I must have sleep. Adieu!

Salieri

Until we meet.

*Alone.*

Your sleep will be a long one, Mozart! — Nay,  
it cannot be that what he said was true,  
and I no genius. «Villainy and genius,  
two things that do not go together». Wait:  
that's false — for surely there was Buonarroti.  
— Or is that but a legend, but a lie,  
bred by the stupid mob, by their inane  
vulgarity, and that great soul who wrought  
the Vatican had never sunk to murder?

<21 апреля 1941>

#### 440. EXEGI MONUMENTUM

«No hands have wrought my monument; no weeds  
will hide nation's footpath to its site.  
Tsar Alexander's column it exceeds  
in splendid insubmissive height.

«Not all of me is dust. Within my song,  
safe from the worm, my spirit will survive,  
and my sublunar fame will dwell as long  
as there is one last bard alive.

«Throughout great Rus' my echoes will extend,  
and all will name me, all tongues in her use:  
the Slavs' proud heir, the Finn, the Kalmuk, friend  
of steppes, the yet untamed Tunguz.

«And to the people long shall I be dear  
because kind feelings did my lyre extoll,  
invoking freedom in an age of fear,  
and mercy for the broken soul».

Obey thy God, and never mind, O Muse,  
the laurels or the stings: make it thy rule  
to be unstirred by praise as by abuse,  
and do not contradict the fool.

<1944>

#### 441. THE UPAS TREE

Deep in the desert's misery,  
far in the fury of the sand,  
there stands the awesome Upas Tree  
lone watchman of a lifeless land.

The wilderness, a world of thirst,  
in wrath engendered it and filled  
its every root, every accursed  
grey leafstalk with a sap that killed.

Dissolving on the midday sun  
the poison oozes through its bark,  
and freezing when the day is done  
gleams thick and gem-like in the dark.

No bird flies near, no tiger creeps;  
alone the whirlwind, wild and black,  
assails the tree of death and sweeps  
away with death upon its back.

And though some roving cloud may stain  
with glancing drops those leaden leaves,  
the dripping of a poisoned rain  
is all the burning sand receives.

But man sent man with one proud look  
towards the tree, and he was gone,  
the humble one, and there he took  
the poison and returned at dawn.

He brought the deadly gum; with it  
he brought some leaves, a withered bough,  
While rivulets of icy sweat  
ran slowly down his livid brow.

He came, he fell upon a mat,  
and reaping a poor slave's reward,  
died near the painted hut where sat  
his now unconquerable lord.

The king, he soared his arrows true  
in poison, and beyond the plains  
dispatched those messengers and slew  
his neighbors in their own domains.

<1944>

#### 442. A SCENE FROM «THE COVETOUS KNIGHT»

SCENE 2. A CELLAR. THE BARON, ALONE.

The Baron

Just as a mad young fellow frets awaiting  
his rendez-vous with some evasive harlot,  
or with the goose seduced by him, thus I  
have dreamt all day of coming down at last  
in vaulted dimness to my secret chests.  
The day was good: this evening I can add  
to coffer six (which still is not quite sated)  
some recently collected gold: a fistful,  
a trifle, you might say, but thus my treasure  
a trifle is increased. There is some story  
about a Prince who bade his warriors bring  
a handful each of earth, which formed a hillock  
which swelled into a mountain, and the Prince  
from this proud height could merrily survey  
the dale white-dotted with his tented army,  
the many sails that sped upon the sea.  
So bit by bit I have been bringing here  
my customary tithe into this vault,  
and heaped my hill, and from its eminence  
I now survey my vassaldom at leisure.  
And who is not my vassal? Like some daemon

from here in private I can rule the world;  
let me just wish — and there will rise a palace;  
amid the marvels of my terraced lawns  
a swarm of Nymphs will airily assemble;  
the sacred Nine will come with mask or lute;  
unshackled Genius labor as my bondsman,  
and noble merit, and the sleepless drudge  
wait with humility till I reward them.  
I'll whistle, and behold: low-bending, cringing,  
in creeps Assassination, blood-bespattered,  
and while it licks my hands it will be watching  
my eyes to read in them the master's order.  
All is to me subjected, I to naught.  
I am above desiring; I am tranquil:  
I know my domination, and this knowledge  
I deem sufficient.

*(Looks into his money-bag)*

It may seem a little,  
but what incalculable human cares,  
deceptions, tears, entreaties, imprecations,  
have weighty representatives here seated!

Where was that old doubloon?.. Here 'tis. This evening  
a widow paid it me — though only after  
she'd stood, with her three children, many hours  
under my window, on her knees and wailing.  
It rained, and ceased to rain, and rained again:  
the shamming creature never budged. I might have  
sent her away, but a faint something told me  
that she had brought the sum her husband owed  
and would not care to be in jail next day.  
And this one? this was brought me by Thibault:  
whom did he get it from, the fox, the loafer?  
Stole it, I wager; or perhaps... somewhere,  
at nightfall, on the highway, in a coppice —  
Ah, yes! if all the tears, and blood and sweat,  
that have been shed for what is in my keeping,  
out of deep earth might suddenly gust forth  
we'd have a second flood, — and with a splutter  
I'd perish in my trusty vaults.

And now —

*(He is about to unlock number six)*



Strange — every time I want to open one  
of my good chests, I feel all hot and shaky:  
not fear (oh, no! whom should I fear? I have  
my gallant sword: one metal guards the other  
and answers for it), but a heart-invading  
mysteriously enveloping oppression...  
Physicians claim that there exist queer people  
who find in homicide a kind of pleasure;  
when I insert and turn the key, my feelings  
are similar, I fancy, to what they  
must feel when butchering their victims: pleasure  
and terror mingled

*(Unlocks)*

This is lovely, lovely...

*(Pours in his gold)*

Go home, you've had your fill of worldly frisking  
and served your time with human needs and passions.  
Here you will sleep the sleep of peace and power,  
as gods do sleep in Heaven's dreamy depth.  
To-night I wish to have a feast in secret: —  
a candle bright in front of every chest,  
and all of them wide-open, and myself  
with eyes aglow amid their brimming glory.

*(Lights candles and proceeds to unlock the chests)*

Now I am king! What an enchanting shine!  
A mighty realm has now become my manor;  
here is my bliss, my blazon, and my banner!  
Now I am king! — But who will next enjoy  
this bounty when I die? My heir will get it!  
A wastrel, a disreputable boy,  
by ribald fellow-revellers abetted!  
With my last sigh, him, him! this vault will hear  
come stamping down into its gentle silence,  
with crowds of fawning friends, rapacious courtiers;  
and having plucked the keys from my dead fist  
he will unlock chest after chest with glee,  
and all the treasures of my life will stream  
through all the holes of tattered satin pockets.  
Thus will a sot destroy these holy vessels,

thus mud will drink an oil for kingly brows,  
 thus he will spend — And by what right, I ask you?  
 Did I perchance acquire all this for nothing?  
 Or with the ease of a light-hearted gambler  
 that rattles dice and grabs his growing winnings?  
 Who knows how many bitter limitations,  
 what bursting passions curbed, what inner gloom,  
 what crowded days and hollow nights — my wealth  
 has cost me? Or perhaps my son will say  
 that with a hoary moss my heart is smothered,  
 that I have had no longings, and what's more,  
 that conscience never bit me? Grizzly conscience!  
 the sharp-clawed beast that scrapes in bosoms;  
conscience,  
 the sudden guest, the bore that does the talking,  
 the brutish money-lender; worst of witches,  
 that makes the moon grow dark, and then the grave-  
stones  
 move restlessly, and send their dead to haunt us!  
 Nay, suffer first and wince thy way to riches,  
 then we shall see how readily my rascal  
 will toss to winds what his heart-blood has bought.  
 Oh, that I might conceal this vaulted chamber  
 from sinful eyes! oh, that I might abandon  
 my grave and, as a watchful ghost, come hither  
 to sit upon my chests, and from the quick  
 protect my treasures as I do at present!

<25 мая 1941>

443. FROM «A FEAST DURING THE PLAGUE»

*Pushkin's version of a scene in Wilson's tragedy  
«The City of the Plague»*

*Several men and women making merry at a table laid in  
the middle of the street.*

A Young Man

Most honorable chairman! Let me now  
 remind you of a man we all knew well,  
 a man whose quiddities and funny stories,  
 smart repartees and pungent observations,

— made with a solemn air that was so pleasing —  
lent such a sparkle to the table talk  
and helped to chase the gloom which nowadays  
our guest the Plague unfortunately casts  
over the minds of our most brilliant wits.  
Two days ago our rolling laughter greeted  
the tales he told; t'would be a sorry jest  
if we forgot while banquetting to-day  
our good old Jackson! Here his armchair gapes;  
its empty seat still seems to be awaiting  
the wag; but he, alas, has left already  
for a cold dwelling-place beneath the earth.  
Though never was so eloquent a tongue  
doomed to keep still in a decaying casket,  
we who remain are numerous and have  
no reason to be sorrowful. And so  
let me suggest a toast to Jackson's spirit,  
a merry clash of glasses, exclamations,  
as if he were alive.

The Chairman

He was the first  
to drop out of our ranks. In silence let us  
drink to his memory.

The Young Man

Have it your way.

*All lift their glasses in silence.*

The Chairman (*to one of the women*)

Your voice, my dear, in rendering the accents  
of native songs reveals a wild perfection:  
sing, Marry, something dolorous and plaintive  
that afterwards we may revert more madly  
to merriment — like one who has been torn  
from a familiar world by some dark vision.

Mary (*sings*)

In times agone our village  
was lovely to behold;

our bonny church on Sunday  
was full of young and old;  
our happy children's voices  
rang in the noisy school;  
in sunny fields the reaper  
swung fast his flashing tool.

But now the church is empty;  
the school is locked; the corn  
bends overripe and idle;  
the dark woods are forlorn;  
and like charred ruins the village  
stands stricken on its hill:  
no sound; alone the churchyard  
is full and never still.

A new corpse every minute  
is carried in with dread  
by mourners loudly begging  
God's welcome for the dead.  
A new hole every minute  
is needed for their sleep,  
and tombs and tombs together  
huddle like frightened sheep.

So if an early gravestone  
must crown my springtime bright,  
you whom I loved so dearly,  
whose love was my delight, —  
to your poor Jenny's body,  
I pray, do not come near,  
kiss not her dead lips; follow  
with lagging steps her bier.

And after I am buried, —  
go, leave the village, find  
some place where hearts are mended  
and destiny is kind.  
And when the Plague is over  
visit my dust, I pray...  
But, even dead, will Jenny  
beside her Edmund stay.

## The Chairman

We thank you, Mary, melancholy Mary,  
we thank you all for this melodious moan.  
In former days a similar infection  
had visited, it seems, your hills and valleys,  
and one could hear most piteous lamentations  
sounding along the rivers and the brooks  
which now so peacefully and gaily tumble  
through the wild paradise of your dear land;  
and that dark year in which so many perished,  
so many gallant, good and comely souls,  
has left but a vague memory that clouds  
the elemental minstrelry of shepherds  
with pleasing plaintiveness. Nothing, I swear,  
so saddens us amid life's animation  
as dreamy sounds that dreamy hearts repeat.

## Mary

Oh, had I never sung beyond the threshold  
of the small cottage where my parents dwelt!  
Dearly they used to love their Mary's voice.  
Behind my song I felt as if I listened  
to my old self singing in the bright doorway:  
my voice was sweeter in those days: it was  
the golden voice of innocence.

## Louisa

Such ditties  
are nowadays old-fashioned; but one still  
finds simple souls eager to melt when seeing  
a woman weep: they blindly trust her tears.  
She seems to be quite sure that her wet eyes  
are most enchanting; and if just as highly  
she ranked her laughter then you may be sure  
she'd always titter. Walsingham had chanced  
to praise the shrill-voiced Northern beauties; so  
forthwith she wails her head off. I do hate  
that yellow color of her Scottish hair.

### The Chairman

Listen! I hear the sound of heavy wheels.

*A cart passes laden with dead bodies. It is driven by a Negro.*

### The Chairman

Aha, Louisa faints. I thought she had a warrior's heart judging by her expressions — but evidently cruelty is weaker than tenderness: strong passions shy at shadows. Some water, Mary, on her face. She's better.

### Mary

Dear sister of my sorrow and dishonor,  
recline upon my breast.

### Louisa (*regaining her senses*)

A dreadful demon  
appeared to me: all black with white eyes rolling,  
he beckoned me into his cart where lay  
piled bodies of dead men who all were lisping  
a horrible, a most unearthly tale.  
Oh, tell me please — was it a dream I dreamt  
or did the cart pass really?

### The Young Man

Come, Louisa,  
laugh in away. Though all the street is ours  
— a quiet spot secure from death's intrusion,  
the haunt of revellers whom none may trouble —  
but... Well, you see, that black cart has the right  
to roll and creak down any street in chooses  
and we must let it go its way. Look here,  
friend Walsingham: to cut short all discussions  
that lead to women swooning, sing us something,  
sing us a liberal and lively song,  
— not one inspired by long mists of the Highlands  
but some unbridled bacchanalian stuff  
that sprung to life from wine-foam at a banquet.

## The Chairman

Such songs I know not, but I have for you  
a hymn in honor of the plague. I wrote it  
the other night as soon as we had parted:  
I was possessed by a strange urge to rhyme  
which never had I felt before. So listen.  
My husky voice will suit this kind of poem.

## Several Voices

A hymn! A hymn! Let's hear our chairman sing it!  
In honor of the Plague? Good. Bravo, bravo!

## The Chairman (*sings*)

When mighty Captain Winter swoops  
upon us with his hoary troops,  
leading against us all his grim  
    legions of frost and snow, —  
logs crackling brightly laugh at him  
    and festive wine cups glow.

Her awful Majesty the Plague  
now comes at us with nothing vague  
about her aims and appetite;  
    with a grave-digger's spade  
she knocks at windows day and night.  
    Where should we look for aid?

Just as we deal with Winter's pest  
against *this* one it will be best  
to stay in lighted rooms and drink  
    and drown our minds, and jest.  
Come, let us dance upon the brink  
    to glorify Queen Pest!

There's bliss in battle and there's bliss  
on the dark edge of an abyss  
and in the fury of the main  
    amid foam-crested death;  
in the Arabian hurricane  
    and in the Plague's light breath.

All, all such mortal dangers fill  
a mortal's heart with a deep thrill

of wordless rapture that bespeaks  
maybe, immortal life,  
— and happy is the man who seeks  
and tastes them in his strife.

And so, Dark Queen, we praise thy reign!  
Thou callest us, but we remain  
unruffled by the chill of death,  
clinking our cups, carefree,  
drinking rose-lipped maiden's breath  
full of the Plague, maybe!

*An old Clergyman enters.*

### The Clergyman

What godless feast is this, you godless madmen?  
Your revelry and ribald songs insult  
the silent gloom spread everywhere by death!  
Among the mourners and their moans, among  
pale faces, I was praying in the churchyard  
whither the thunder of your hateful orgies  
came troubling drowsy graves and rocking  
the very earth above the buried dead.  
Had not the prayers of women and old men  
blessed the dark pit of death's community  
I might have thought that busy fiends to-night  
were worrying a sinner's shrieking spirit  
and dragging it with laughter to their den.

### Several Voices

A masterly description of inferno!  
Be gone, old priest! Go back the way you came!

### The Clergyman

Now I beseech you by the holy wounds  
of One Who bled upon the Cross to save us, —  
break up your monstrous banquet, if you hope  
to meet in heaven the dear souls of all those  
you lost on earth. Go to your homes!



## The Chairman

Our homes  
are dismal places. Youth is fond of gladness.

## The Clergyman

Can it be you — you, Walsingham? the same man  
who but three weeks ago stood on his knees  
and wept as he embraced his mother's corpse,  
and writhed, and rocked, and howled over her grave?  
Or do you think she does not grieve right now —  
grieve bitterly, even in God's abode —  
as she looks down at her disheveled son  
maddened by wine and lust, and hears his voice  
a voice that roars the wildest songs between  
the purest prayer and the profoundest sigh?  
Arise and follow me!

## The Chairman

Why do you come  
to trouble thus my soul? Here am I held  
by my despair, by memories that kill me,  
by the full knowledge of my evil ways,  
and by the horror of the lifeless void  
that meets me when I enter my own house,  
and by the novelty of these wild revels,  
and by the blessed poison of this cup,  
and by the light caresses (God forgive me)  
of a depraved but fair and gentle creature.  
My mother's soul can summon me no more;  
my place is here; too late! ...I hear your voice  
calling my soul... I recognise your efforts  
to save me... but, old man, depart in peace —  
and cursed be anyone who goes with you.

## Several Voices

Bravo, bravo! Well spoken, worthy chairman!  
Now you have got your sermon, priest! Be gone!

## The Clergyman

Mathilda's stainless spirit summons you!

### The Chairman

No, — promise me, — with your pale withered hand  
raised heavenward, — promise to leave unuttered  
a name that death has silenced in the tomb.  
Could I but hide from her immortal eyes  
this sight, this banquet... Once upon a time  
she thought me pure, free-spirited and proud,  
and my embrace was paradise to her.  
Where am I? Sacred child of light, I see you  
above me, on a shore where my wrecked soul  
now cannot reach you.

### A Woman's Voice

Look, he has gone mad,  
he raves about his wife who's dead and buried.

### The Clergyman

Come, come with me.

### The Chairman

For God's sake, holy father,  
leave me.

### The Clergyman

The Lord have mercy on your soul.  
Farewell, my son.

*The Clergyman departs. The feast continues. The  
Chairman remains plunged in deep meditation.*

<18 июля 1941>  
*Пало Алто, Калифорния*

### 444—445. FROM EUGENE ONEGIN

#### 1

I

«My uncle has most honest principles:  
when taken ill in earnest,

he has made one respect him  
and nothing better could invent.  
To others his example is a lesson;  
but, good God, what a bore  
to sit by a sick man both day and night,  
without moving a step away!  
What base perfidiousness  
the half-alive one to amuse,  
adjust for him the pillows,  
sadly present the medicine,  
sigh — and think inwardly  
when *will* the devil take you?»

## II

Thus a young scapegrace thought,  
with posters flying in the dust,  
by the most lofty will of Zeus  
the heir of all his relatives.  
Friends of Lyudmila and Ruslan!  
The hero of my novel,  
without preambles, forthwith,  
I'd like to have you meet:  
Onegin, a good pal of mine,  
was born upon the Neva's banks,  
where maybe you were born,  
or used to shine, my reader!  
There formerly I too promenaded —  
but harmful is the North to me.

## III

Having served excellently, nobly,  
his father lived by means of debts;  
gave three balls yearly  
and squandered everything at last.  
Fate guarded Eugene:  
at first, Madame looked after him;  
later, Monsieur replaced her.  
The child was boisterous but nice.  
Monsieur l'Abbé, a poor wretch of a Frenchman,

not to wear out the infant,  
would teach him everything in play,  
bothered him not with stern moralization,  
scolded him slightly for his pranks,  
and to Letniy Sad took him for walks.

#### IV

Then, when tumultuous youth's  
season for Eugene came,  
season of hopes and tender melancholy,  
Monsieur was ousted from the place.  
Now my Onegin is at large:  
hair cut after the latest fashion,  
dressed like a London Dandy —  
and finally he saw the World.  
In French impeccably  
he could express himself and write,  
danced the mazurka lightly,  
and bowed unconstrainedly —  
what would you more? The World decided  
he was clever and very nice.

#### V

All of us had a bit of schooling  
in something and somehow:  
hence education, God be praised,  
is in our midst not hard to flaunt.  
Onegin was, in the opinion of many  
(judges resolute and stern),  
a learned fellow but a pedant.  
He had the happy talent,  
without constraint, in conversation  
slightly to touch on everything,  
keep silent, with an expert's learned air,  
during a grave discussion,  
and provoke the smiles of ladies  
with the fire of unexpected epigrams.

## VI

Latin has gone at present out of fashion;  
still, to tell you the truth,  
he had enough knowledge of Latin  
to make out epigraphs,  
descant on Juvenal,  
put at the bottom of a letter *vale*,  
and he remembered, though not without fault,  
two lines from the *Aeneid*.  
He had no urge to rummage  
in the chronological dust  
of the earth's historiography,  
but anecdotes of days gone by,  
from Romulus to our days  
he did keep in his memory.

## VII

Lacking the lofty passion not to spare  
life for the sake of sounds,  
an iamb from a trochee —  
no matter how we strove — he could not tell apart;  
dispraised Homer, Theocritus,  
but read, in compensation, Adam Smith,  
and was a deep economist:  
that is, he could assess the way  
a state grows rich,  
and what it lives upon, and why  
it needs not gold  
when it has got the simple product.  
His father could not understand him,  
and mortgaged his lands.

## VIII

All Eugene knew besides  
I have no leisure to recount;  
but where he was a veritable genius,  
what he more firmly knew than all the arts,  
what since his prime had been to him

toil, anguish, joy,  
what occupied the livelong day  
his fretting indolence —  
was the art of soft passion  
which Naso sang,  
wherefore a sufferer he ended  
his brilliant and tumultuous span  
in Moldavia, in the wild depth of steppes,  
far from his Italy.

<1964>

2

XXXII

Diana's bosom, Flora's dimple  
are very charming, I agree —  
but there's greater charm, less simple,  
— the instep of Terpsichore.  
By prophesying to the eye  
a prize with which no prize can vie  
'tis a fair token and a snare  
for swarms of daydreams. Everywhere  
its grace, sweet reader, I admire:  
at long-hemmed tables, half-concealed,  
in spring, upon a velvet field,  
in winter, at a grated fire,  
in ballrooms, on a glossy floor,  
on the bleak boulders of a shore.

XXXIII

I see the surf, the storm-rack flying....  
Oh, how I wanted to compete  
with the tumultuous breakers dying  
in adoration at her feet!  
Together with those waves — how much  
I wished to kiss what they could touch!  
No — even when my youth would burn

its fiercest — never did I yearn  
with such a torturing sensation  
to kiss the lips of nymphs, the rose  
that on the cheek of beauty glows  
or breasts in mellow palpitation —  
no, never did a passion roll  
such billows in my bursting soul.

#### XXXIV

Sometimes I dream of other minutes  
by hidden memory retold —  
and feel her little ankle in its  
contented stirrup which I hold;  
again to build mad builders start;  
again within a withered heart  
one touch engenders fire; again  
— the same old love, the same old pain...  
But really, my loquacious lyre  
has lauded haughty belles too long  
— for they deserve neither the song,  
not the emotions they inspire:  
eyes, words — all their enchantments cheat  
as much as do their pretty feet.

<Весна 1945>

#### 446. EPIGRAM

(*On Vorontzov*)

Half-merchant and half-prince  
half-scholar and half-dunce,  
half-knave — but there's a chance  
he'll be complete for once.

<1947>

#### 447. THE NAME

What is my name to you? 'Twill die:  
a wave that has but rolled to reach

with a lone splash a distant beach;  
or in the timbered night a cry...

'Twill leave a lifeless trace among  
names on your tablets: the design  
of an entangled gravestone line  
in an unfathomable tongue.

What is it then? A long-dead past,  
lost in the rush of madder dreams,  
upon your soul it will not cast  
Mnemosyne's pure tender beams.

But if some sorrow comes to you,  
utter my name with sighs, and tell  
the silence: «Memory is true —  
there beats a heart wherein I dwell».

<1947>

#### 448. WINTER MORNING

A magic day — sunshine and frost —  
but you, in dreamland still are lost...  
Come, open your enchanting eyes  
with honeyed indolence replete....  
Star of the North, arise to meet  
Aurora in her wintry skies.

That blizzard yesternight! It spread  
dimness and tumult overheard.  
The moon through a lugubrious veil  
was but a blur of jaundiced grey,  
and you were listless.... But to-day —  
well, let the window tell its tale:

Fabulous carpets of rich snow  
under the cloudless heavens glow.  
Alone the gauzy birches seem  
to show some black, while green occurs  
among the frost-bespangled firs,  
and blue-shot ice adorns the stream.

The room is flooded with a light  
like amber, and with all its might



the hot stove crackles. Lolling there  
in meditation is no doubt  
enjoyable... but what about  
a sledge behind the chestnut mare?

Sweet friend, together we shall speed  
yielding to our impatient steed  
on new-born whiteness, fleet and free,  
and visit silent fields of snow,  
woods that were lush two months ago,  
a lakeshore that is dear to me...

<1947>

### *Михаил Лермонтов*

#### 449. FAREWELL

Farewell! Nevermore shall we meet,  
we shall never touch hands — so farewell!  
Your heart is now free, but in none  
will it ever be happy to dwell.

One moment together we came:  
time eternal is nothing to this!  
All senses we suddenly drained,  
burned all in the flame of one kiss.

Farewell! And be wise, do not grieve:  
our love was too short for regret,  
and hard as we found it to part  
harder still would it be if we met.

<Ноябрь 1941>

#### 450. MY NATIVE LAND

If I do love my land, strangely I love it:  
'tis something reason cannot cure.  
Glories of war I do not covet,  
but neither peace proud and secure,  
not the mysterious past and dim romances  
can spur my soul to pleasant fancies.

And still I love thee — why I hardly know:  
I love thy fields so coldly meditative,  
native dark swaying woods and native  
rivers that sea-like foam and flow.

In a clattering cart I love to travel  
on country roads: watching the rising star,  
yearning for sheltered sleep, my eyes unravel  
the trembling lights of sad hamlets afar.

I also love the smoke of burning stubble,  
vans huddled in the prairie night;  
corn on a hill crowned with the double  
grace of twin birches gleaming white.

Few are the ones who feel the pleasure  
of seeing barns bursting with grain and hay,  
well-thatched cottage-roofs made to measure  
and shutters carved and windows gay.

And when the evening dew is glistening,  
long may I hear the festive sound  
of rustic dancers stamping, whistling  
with drunkards clamoring around.

<Ноябрь 1941>

#### 451. THE TRIPLE DREAM

I dreamt that with a bullet in my side  
in a hot gorge of Daghestan I lay.  
Deep was the wound and steaming, and the tide  
of my life-blood ebbed drop by drop away.

Alone I lay amid a silent maze  
of desert sand and bare cliffs rising steep,  
their tawny summits burning in the blaze  
that burned me too; but lifeless was my sleep.

And in a dream I saw the candle-flame  
of a gay supper in the land I knew;  
young women crowned with flowers.... And my name  
on their light lips hither and thither flew.

But one of them sat pensively apart,  
not joining in the light-lipped gossiping,  
and there alone, God knows what made her heart,  
her young heart dream of such a hidden thing....

For in her dream she saw a gorge, somewhere  
in Daghestan, and knew the man who lay  
there on the sand, the dead man, unaware  
of steaming wound and blood ebbing away.

<Ноябрь 1941>

#### 452. THE ANGEL

An angel was crossing the pale vault of night,  
and his song was as soft as his flight,  
and the moon and the stars and the clouds in a throng  
stood enthralled by this holy song.

He sang of the bliss of the innocent shades  
in the depths of celestial glades;  
he sang of the Sovereign Being, and free  
of guile was his eulogy.

He carried a soul in his arms, a young life  
to the world of sorrow and strife,  
and the young soul retained the throb of that song  
— without words, but vivid and strong.

And tied to this planet long did it pine  
full of yearnings dimly divine,  
and our dull little ditties could never replace  
songs belonging to infinite space.

<Весна 1946>

#### 453. THE SAIL

Amid the blue haze of the ocean  
a sail is passing, white and frail.  
What do you seek in a far country?  
What have you left at home, lone sail?

The billows play, the breezes whistle,  
and rhythmically creaks the mast.  
Alas, you seek no happy future,  
nor do you flee a happy past.

Below the mirrored azure brightens,  
above the golden rays increase —  
but you, wild rover, pray for tempests,  
as if in tempests there were peace.

<Весна 1946>

#### 454. THE ROCK

The little golden cloud that spent the night  
upon the breast of yon great rock, next day  
rose early and in haste pursued its way  
eager to gambol in the azure light.

A humid trace, however, did remain  
within a wrinkle of the rock. Alone  
and wrapt in thought, the old gentle stone  
sheds silent tears above the empty plain.

<Весна 1946>

#### 455. IMITATION OF HEINE

A pine there stands in the northern wilds  
alone on a barren bluff,  
swaying and dreaming and clothed by the snow  
in a cloak of the finest fluff —

dreaming a dream of a distant waste,  
a country of sun-flushed sands  
where all forlorn on torrid cliff  
a lovely palm tree stands.

<Весна 1946>

#### 456. THANKSGIVING

For everything, for everything, O Lord,  
I thank Thee —

for the secret pangs of passions,  
the poisoned fangs of kisses,  
the bitter taste  
of tears;  
for the revenge of foes  
and for the calumny of friends,  
and for the waste  
of a soul's fervor burning in a desert,  
and for all things that have deceived me here.  
But please, O Lord,  
henceforth let matters be arranged  
in such a way  
that I need not keep thanking Thee  
much longer

<Ноябрь 1946>

#### 457. THE SKY AND THE STARS

Fair is the evening sky,  
clear are the stars in the distance,  
as clear as the joy of an infant.  
Oh, why can't I tell myself even in thought:  
The stars are as clear as my joy!

What is your trouble —  
people might query.  
Just this is my trouble,  
excellent people: the sky and the stars  
are the stars and the sky, whereas I am a man.

People are envious  
of one another.  
I, on the contrary, —  
only the beautiful stars do I envy,  
only to be in their place do I wish.

<1947>

#### 458. THE WISH

Open the door of my prison,  
let me see the daylight again,

give me a black-eyed maiden  
and a horse with a jet-black mane.  
Over the wide blue grassland  
let that courser carry me,  
and just once, just a little closer,  
let me glance at that alien portion —  
that life and that liberty.

Give me a leaky sailboat  
with a bench of half-rotten wood  
and a well-worn sail all hoary  
from the tempests it has withstood.  
Then I shall launch on my voyage,  
friendless and therefore free,  
and shall have my fling in the open  
and delight in the mighty struggle  
with the savage whim of the sea.

Give me a lofty palace  
with an arbour all around  
where amber grapes would ripen  
and the broad shade fleck the ground.  
Let an ever-purling fountain  
among marble pillars play  
and lull me to sleep and wake me  
in a halo of heavenly visions  
and the cool dust of its spray.

<1947>

### *Афанасий Фет*

#### 459. ALTER EGO

As a lily that looks at itself in a stream  
so my very first song was your mirrored dream.  
But whose was the triumph? Who gave and who took?  
Was it brook from blossom or blossom from brook?

Your childish soul could so easily guess  
the thoughts I was inwardly moved to express.  
Though I live without you by a dreary decree,  
we are one — for nothing can part you and me.

The grass on your grave in a distant clime  
is here in my heart growing greener with time.  
When I happen to glance at the stars, then I know  
that together like gods we had looked at their glow.

Love has words of its own, these words cannot die.  
Our singular case special judges will try:  
in the crowd they will notice us right from the start —  
for as one we will come — we whom nothing can part.

<Осень 1943>

460

*Die Gleichmässigkeit des Loufes der Zeit in allen Köpfen  
beweist mehr, als irgend etwas, dass wir Alle in  
denselben Traum versenkt sind, ja dass es Ein Wesen ist,  
welches ihr träumt<sup>1</sup>.*

*Schopenhauer, Parergo, II, 29.*

When life is torture, when hope is a traitor,  
when in the battle my soul must surrender,  
then daily, nightly I lower my eyelids,  
and all is revealed in a strange flash of splendor.

Like nights in autumn, life's darkness seems denser  
between the distant and thunderless flashes.  
Alone the starlight is endlessly friendly —  
the stars that sparkle through golden bright lashes.

And all this lambent abyss is so limpid,  
so close is the sky to my spirit's desire,  
that, straight out of time into timelessness peering,  
your throne I discern, empyrean fire.

And there the altar of all creation  
stands still and smokes in a glory of roses.  
Eternity dreams of itself, as the smoke-wreaths  
vibrate with the forces and forms it composes.

---

<sup>1</sup> Равномерность течения времени во всех головах доказывает более, чем что-либо другое, что мы все погружены в один и тот же сон; более того, что все видящие этот сон являются единым существом. (нем.) — *Peg.*

And all that courses down cosmic channels,  
and every ray of the mind or of matter  
is but your reflection, empyrean fire,  
dreams, only dreams that flit by and scatter.

And in that wind of sidereal fancies  
I float like vapor, now dimmer, now brighter —  
and thanks to my vision, and thanks to oblivion,  
with ease I breathe, and life's burden is lighter.

<Осень 1943>

#### 461. THE SWALLOW.

When prying idly into Nature  
I am particularly fond  
of watching the arrow of a swallow  
over the sunset of a pond.

See — there it goes, and skims, and glances:  
the alien element, I fear,  
roused from its glassy sleep might capture  
black lightning quivering so near.

There — once again that fearless shadow  
over a frowning ripple ran.  
Have we not here the living image  
of active poetry in man —

of something leading me, banned mortal,  
to venture where I dare not stop —  
striving to scoop from a forbidden  
mysterious element one drop?

<Осень 1943>

#### 462. NIGHTFALL

Down from her head the earth has rolled  
the low sun like a redhot ball.  
Down went the evening's peaceful blaze  
and seawaves have absorbed it all.

Heavy and near the sky had seemed.  
But now the stars are rising high,



they glow and with their humid heads  
push up the ceiling of the sky.

The river of the air between  
heaven and earth now fuller flows.  
The breast is ridded of the heat  
and breaths in freedom and repose.

And now there goes through Nature's veins  
a liquid shiver, swift and sweet,  
as though the waters of a spring  
had come to touch her burning feet.

<1944>

#### 463. TEARS

*O lacrimarum fons.*  
Gray.

Friends, with my eyes I love caressing  
the purple of a flashing wine,  
nor do I scorn the fragrant ruby  
of clustered fruit that leaves entwine.

I love to look around when Nature  
seems as it were immersed in May;  
when bathed in redolence she slumbers  
and smiles throughout her dreamy day.

I love to see the face of Beauty  
flushed with the air of Spring that seeks  
softly to toy with silky ringlets  
or deepen dimples on her cheeks.

But all voluptuous enchantments,  
lush grapes, rich roses — what are you  
compared to tears, that sacred fountain,  
that paradisaal morning dew!

Therein divinest beams are mirrored,  
and in those burning drops they break,  
and breaking — what resplendent rainbows  
upon Life's thunderclouds they make!

As soon as mortal eyes thou touchest,  
with wings, Angel of Tears, the world  
dissolves in mist, and lo! a skyful  
of Seraph faces is unfurled.

<Осень 1944>

#### 464. THE JOURNEY

Soft sand comes up to our horses' shanks  
as we ride in the darkening day  
and the shadows of pines have closed their ranks:  
all is shadow along our way.

In denser masses the black trees rise.  
what a comfortless neighborhood!  
Grim night like a beast with a hundred eyes  
peers out of the underwood.

<Осень 1944>

### *Федор Тютчев*

#### 465. SILENTIUM!

Speak not, lie hidden, and conceal  
the way you dream, the things you feel.  
Deep in your spirit let them rise  
akin to stars in crystal skies  
that set before the night is blurred:  
delight in them and speak no word.

How can a heart expression find?  
How should another know your mind?  
Will he discern what quickens you?  
A thought once uttered is untrue.  
Dimmed is the fountainhead when stirred:  
drink at the source and speak no word.

Live in your inner self alone  
within your soul a world has grown,  
the magic of veiled thoughts that might

be blended by the outer light,  
drowned in the noise of day, unheard...  
take in their song and speak no word.

<Январь 1944>

#### 466. LAST LOVE

Love at the closing of our days  
is apprehensive and very tender.  
Glow brighter, brighter, farewell rays  
of one last love in its evening splendor.

Blue shade takes half the world away:  
through western clouds alone some light is slanted.  
O tarry, O tarry, declining day,  
enchantment, let me stay enchanted.

The blood runs thinner, yet the heart  
remains as ever deep and tender.  
O last beloved love, thou art  
a blend of joy and of hopeless surrender.

<Январь 1944>

#### 467. DUSK

Now the ashen shadows mingle,  
tints are faded, sounds remote.  
Life has dwindled to a single  
vague reverberating note.  
In the dusk I hear the humming  
of a moth I cannot see.  
Whence is this oppression coming?  
I'm in all, and all's in me.

Gloom so dreamy, gloom so lulling,  
flow into my deepest deep,  
flow, ambrosial and dulling,  
steeping everything in sleep.  
With oblivion's obscuration  
fill my senses to the brim,  
make me taste obliteration,  
in this dimness let me dim.

<Осень 1944>

#### 468. THE ABYSS

When sacred Night sweeps heavenward, she takes  
the glad, the winsome day, and folding it,  
rolls up its golden carpet that had been  
spread over an abyssmal pit.

Gone vision-like is the external world,  
and man, a homeless orphan, has to face  
in utter helplessness, naked, alone,  
the blackness of immeasurable space.

Upon himself he has to lean; with mind  
abolished, thought unfathered, in the dim  
depths of his soul he sinks, for nothing comes  
from outside to support or limit him.

All life and brightness seem an ancient dream —  
while in the very substance of the night,  
unravelling, alien, he now perceives  
a fateful something that is his by right.

<1944>

#### 469. AUTUMN

When Autumn has just come, there is  
most brief a lull: brief but divine.  
All day 'tis like some precious prism,  
and limpidly the evenings shine.

Where lusty sickles swung and corn-ears bent  
the plain is empty now: wider it seems.  
Alone a silky filament  
across the idle furrow gleams.

The airy void, now birdless, is revealed,  
but still remote is the first whirl of snow;  
and stainless skies in mellow blueness flow  
upon the hushed reposing field.

<Январь 1944>

#### 470. APPEASEMENT

The storm withdrew, but Thor had found his oak,  
and there it lay magnificently slain,  
and from its limbs a remnant of blue smoke  
spread to bright trees repainted by the rain —

— while thrush and oriole made haste to mend  
their broken melodies throughout the grove,  
upon the crests of which was propped the end  
of a virescent rainbow edged with mauve.

<Осень 1944>

#### 471. TEARS

Human tears. O the tears! you that flow  
when life is begun — or half-gone,  
tears unseen, tears unknown, you that none  
can number or drain, you that run  
like the streamlets of rain from the low  
clouds of Autumn, long before dawn...

<1944>

*Владислав Хогасевич*

#### 472. THE MONKEY

The heat was fierce. Great forests were on fire.  
Time dragged its feet in dust. A cock was crowing  
in an adjacent lot.

As I pushed open  
my garden-gate I saw beside the road  
a wandering Serb asleep upon a bench  
his back against the palings. He was lean  
and very black, and down his half-bared breast  
there hung a heavy silver cross, diverting  
the trickling sweat.

Upon the fence above him,  
clad in a crimson petticoat, his monkey  
sat munching greedily the dusty leaves

of a syringa bush; a leathern collar  
drawn backwards by its heavy chain bit deep  
into her throat.

Hearing me pass, the man  
stirred, wiped his face and asked me for some water.  
He took one sip to see whether the drink  
was not too cold, then placed a saucerful  
upon the bench, and, instantly, the monkey  
slipped down and clasped the saucer with both hands  
dipping her thumbs; then, on all fours, she drank,  
her elbows pressed against the bench, her chin  
touching the boards, her backbone arching higher  
than her bald head. Thus, surely, did Darius  
bend to a puddle on the road when fleeing  
from Alexander's thundering phalanges.  
When the last drop was sucked the monkey swept  
the saucer off the bench, and raised her head,  
and offered me her black wet little hand.  
Oh, I have pressed the fingers of great poets,  
leaders of men, fair women, but no hand  
had ever been so exquisitely shaped  
nor had touched mine with such a thrill of kinship,  
and no man's eyes had peered into my soul  
with such deep wisdom... Legends of lost ages  
awoke in me thanks to that dingy beast  
and suddenly I saw life in its fullness  
and with a rush of wind and wave and worlds  
the organ music of the universe  
boomed in my ears, as it had done before  
in immemorial woodlands.

And the Serb  
then went his way thumping his tambourine:  
on his left shoulder, like an Indian prince  
upon an elephant, his monkey swayed.  
A huge incarnadine but sunless sun  
hung in a milky haze. The sultry summer  
flowed endlessly upon the wilting wheat.

That day the war broke out, that very day.

#### 473. POEM

What is the use time and rhyme?  
We live in peril, paupers all.  
The tailors sit, the builders climb,  
but coats will tear and houses fall.

And only seldom with a sob  
of tenderness I hear... oh, quite  
a different existence throb  
through this mortality and blight.

Thus does a wife, when days are dull,  
place breathlessly, with loving care,  
her hand upon her body, full  
of the live burden swelling there.

<1941>

#### 474. ORPHEUS

Brightly lit from above I am sitting  
in my circular room; this is I —  
looking up at a sky made of stucco,  
at a sixty-watt sun in that sky.

All around me, and also lit brightly,  
all around me my furniture stands,  
chair and table and bed — and I wonder  
sitting there what to do with my hands.

Frost-engendered white feathery palmtrees  
on the window-panes silently bloom;  
loud and quick clicks the watch in my pocket  
as I sit in my circular room.

Oh, the leaden, the beggarly bareness  
of a life where no issue I see!  
Whom on earth could I tell how I pity  
my own self and the things around me?

And then clasping my knees I start slowly  
to sway backwards and forwards, and soon  
I am speaking in verse, I am crooning  
to myself as I sway in a swoon.

What a vague, what a passionate murmur  
lacking any intelligent plan;  
but a sound may be truer than reason  
and a word may be stronger than man.

And then melody, melody, melody  
blends my accents and joins in their quest,  
and a delicate, delicate, delicate  
pointed blade seems to enter my breast.

High above my own spirit I tower,  
high above mortal matter I grow:  
subterranean flames lick my ankles,  
past my brow the cool galaxies flow.

With big eyes — as my singing grows wilder —  
with the eyes of a serpent maybe,  
I keep watching the helpless expression  
of the poor things that listen to me.

And the room and the furniture slowly,  
slowly start in a circle to sail,  
and a great heavy lyre is from nowhere  
handed me by a ghost through the gale.

And the sixty-watt sun has now vanished,  
and away the false heavens are blown:  
on the smoothness of glossy black boulders  
this is Orpheus standing alone.

<1941>



## ПЕРЕВОДЫ НА ФРАНЦУЗСКИЙ

---

### *Александр Пушкин*

475

Dans le désert du monde, immense et triste espace,  
trois sources ont jailli mystérieusement;  
celle de la jouvence, eau brillante et fugace,  
qui dans son cours pressé bouillonne éperdument;  
celle de Castalie, où chante la pensée.  
Mais la dernière source est l'eau d'oubli glacée...

<Январь 1937>

476

Ne me les chante pas, ma belle,  
ces chansons de la Géorgie,  
leur amertume me rappelle  
une autre rive, une autre vie.

Il me rappelle, ton langage  
cruel, une nuit, une plaine,  
un clair de lune et le visage  
d'une pauvre fille lointaine.

Cette ombre fatale et touchante,  
lorsque je te vois, je l'oublie,  
mais aussitôt que ta voix chante,  
voici l'image ressurgie.

Ne me les chante pas, ma belle,  
ces chansons de la Géorgie;  
leur amertume me rappelle  
une autre rive, une autre vie.

<Январь 1937>

Je ne puis m'endormir. La nuit  
 recouvre tout, lourde de rêve.  
 Seule une montre va sans trêve,  
 monotone, auprès de mon lit.  
 Lachésis, commère loquace,  
 frisson de l'ombre, instant qui passe,  
 Bruit du destin trotte-menu,  
 léger, lassant, que me veux-tu?  
 Que me veux-tu, morne murmure?  
 Es-tu la petite voix dure  
 du temps, du jour que j'ai perdu?

<Январь 1937>

Pourquoi le vent troublant la plaine  
 va-t-il virer dans un ravin,  
 tandis que sur l'onde sereine  
 un navire l'attend en vain?  
 Demande-lui. Pourquoi, morose,  
 fuyant les tours, l'aigle se pose  
 sur un chicot? Demande-lui.  
 Comme la lune aime la nuit,  
 pourquoi Desdémone aime-t-elle  
 son Maure? Parce que le vent,  
 le cœur de femme et l'aigle errant  
 ne connaissent de loi mortelle.  
 Lève ton front, poète élu;  
 rien ne t'enchaîne, toi non plus.

<Январь 1937>

## ***ПРИЛОЖЕНИЕ***



## СТИХИ

---

Un souvenir heureux est peut être sur terre  
Plus vrai que le bonheur...

*Alfred de Musset*

Then till the bowl! Away with gloom;  
Our joys shall always last;  
For hope will brighten days to come  
And memory gild the past

*Wordsworth*

### 479. ВЕСНА

Улыбки, воробьи и брызги золотые...  
Сегодня все с весной веселые спешат...  
Осколки от теней на лужи голубые  
Упали и дрожа отчетливо скользят.

Вся улица блестит и кажется лиловой...  
Прорвали белый сон лазурью небеса...  
Как всё, что нежит нас, и молодо, и ново!  
Какие у тебя красивые глаза!

### 480. В ЦЕРКВИ

За дымкой ладана иконы на стене.  
Певучие слова. Болезненность свечей.  
Старушки грустные в платочках. А в окне  
Весенняя лазурь и радость голубей.

«Ты молишься? Кому? Тому ли, Кто страдал?  
Ведь мы живем с весной». И я твой взор ловлю.  
Изгибы этих губ я часто целовал...  
Я в ясности души читаю, как люблю...

#### 481. ПАСХА

Сверкал на солнце гранит дворцов.  
Скользили тени. Пестрели флаги.  
Казалось небо из синей влаги.  
Казалось счастье из счастья снов.

Ты — в белой шляпе с огнем в очах —  
Ко мне прижалась; и все видали,  
И все смеялись. Уста пылали;  
И мы смеялись с весной в устах.

#### 482. СЧАСТЬЕ

Я знаю: пройден путь разлуки и ненастья,  
И тонут небеса в сирени голубой,  
И тонет день в лучах, и тонет сердце в счастье..  
Я знаю, я влюблен и рад бродить с тобой.

Да, я отдам себя твоей влюбленной власти  
И власти синевы, простертой надо мной..  
Сомкнув со взором взор и глядя в очи страсти,  
Мы сядем на скамью в акации густой.

Да, обними меня чудесными руками..  
Высокая трава везде вокруг тебя  
Блестит лазурными живыми мотыльками..

Акация чуть-чуть, алмазами блестя,  
Щекочет мне лицо сырыми лепестками..  
Глубокий поцелуй... Ты — счастье... Ты — моя..

#### 483

Почти недвижна наша лодка;  
Твоя рука в моей грустит;  
Еще мгновенье... Сердце кротко  
Шепнет «люблю» и замолчит...

В атласе вод прозрачно-черных  
Слезятся белые цветы.

Стрекоз фиалково-узорных  
Лиловым взором ловишь ты.

Церковный колокол смеется...  
Ясна — сиреневая даль...  
Порой влюбленно улыбнется  
Моя хрустальная печаль...

А неба свод, — в мечте безбрежной,  
В мечте, где счастье вижу вновь, —  
Такой глубокий, чистый, нежный!  
Такой похожий на любовь!!

#### 484

Зовут влюбленного гвоздики;  
Зовут вербены мотыльков;  
Играют солнечные блики  
В траве под зеленью дубов.

В жасмине прячут орхидеи  
Свои лиловые цветы...  
По узкой розовой аллее  
Идешь ко мне навстречу ты.

Поникли бледные гвоздики...  
Жасмины тронуты тоской...  
И даже солнечные блики  
Бессильно блекнут пред тобой...

#### 485

За лесом улыбкой прощальной  
Лучи золотят небеса...  
Зачем, моя радость, печальны  
Твои дорогие глаза?

Хочу целовать твои ручки,  
Хочу в твои очи глядеть.  
Смотри, разноцветные тучки  
Уже начинают темнеть.

Под негою неба березы  
В оранжевом блеске стоят...  
Ты плачешь? Зачем эти слезы,  
Зачем этот страждущий взгляд?

И тени поплыли тревожно,  
И ветер колеблет цветы.  
Ты мыслишь, что счастье, возможно,  
Исчезнет, как эти лучи?

Напрасно! Ведь солнце, ликуя,  
И ярче, и краше взойдет;  
Под жаром его поцелуя  
Увядавший цветок расцветет...

486

Печали мои вечно молоды;  
Злосчастный опал на руке...  
Сжимаясь от влажного холода,  
Закат отдается реке.

Стрекозы изящные, синие  
Спустились на листья ольхи...  
На небе румяная линия,  
На ней золотые штрихи.

Закат умирает в мерцании.  
Так тихо, так сонно кругом...  
Немая природа в мечтании  
Чаруется собственным сном.

487

Смеется краска, смеется линия;  
Ромашки шутят своим ответом.  
Осколки счастья, лоскутья синие,  
Куда-то мчатся, кидаясь светом;  
Высоко в небе, сливаясь в полосы,  
Привольно мчатся над пестрой нивой.  
Как чужд мне холод родного голоса!  
Слеза к ромашкам бежит тоскливо.



Печаль не сильна, не горда  
 В излюбленный музами час,  
 Безмолвный, бесстрастный, когда  
 Нет ночи, но день уж угас.

И, если закат освещает  
 Мечты неразлучно с тобой,  
 Не горе мне сердце сжимает,  
 Не слезы обиды немой,

Но тихим покоем ласкают  
 Картины промчавшихся дней,  
 Одна за другою играют  
 С уснувшей печалью моей.

Утихли с душой одинокой  
 И роскошь вечерних небес,  
 И чуть освещенный далекий  
 За нивой березовый лес.

#### 489. ЛЕТНЯЯ НОЧЬ

Милая, хочешь за темными опушками  
 Ночью бледно-лунной обняться со мною?  
 Звезды и цветики кажутся игрушками,  
 Сказкой не то белой, не то голубою...

Эльфы с влюбленными Божьими коровками  
 Прячутся, целуясь, от лунных узоров.  
 Пляшут, кивая умильными головками,  
 Карлики седые вокруг мухоморов.

Травки над ручьем, будто маленькие удочки,  
 То взлетят игриво, то с влагой сольются.  
 Синеньких бабочек дразнят незабудочки,  
 Эльфы в незабудочках звонко смеются.

Елочки важные нежными макушками  
 Любят целоваться, чуть-чуть целоваться...  
 Милая, страшно за темными опушками  
 Ночью бледно-лунной со мной оставаться!..

В июле я видал роскошный отблеск рая:  
Сжигал себя закат безумием цветным  
И, радугой сплошной полнеба обнимая,  
Сливался в алый луч над лесом голубым.

Не могут на земле соперничать с закатом  
Ни яркостью — пион, ни нежностью — опал;  
Дыханье притаив, волнением объятый,  
Средь сонных скабиоз безмолвно я стоял.

Восторженной душой иль взором ослепленным,  
Казалось, в небесах я Бога нахожу;  
Хотелось в этот миг быть радостным, влюбленным,  
Чтоб в поцелуе слить святую красоту.

Увы... Как надо мной фантазия глумится!..  
Как здесь я одинок — заката бледный паж!..  
Ты слишком хороша, вечерняя царица,  
И слишком много грез рождает твой мираж.

Гляди, душа моя, и вы, мои надежды!  
Ведь надо песни петь, ведь царствует любовь!  
Я помню, я сомкнул задумчивые вежды,  
И к сердцу прилила бушующая кровь.

Как эта красота меня очаровала!  
Как жаждал я любви и как просил ея,  
Молясь пред алтарем, где страстно догорало  
Заката торжество, как и душа моя.

Как мучили меня сомненья и вопросы!  
Вороны поднялись под тенью тонких туч;  
Работники вдали свои точили косы,  
Звучал далекий лай, блистал последний луч.

Как будто слыша вздох, я тихо обернулся,  
И... я нашел ее, желанную мою...  
Она близка была; я молча улыбнулся  
И руки протянул, и понял, что люблю...

Ты помнишь этот день? Природе, умирая,  
 Лазурный поцелуй дарили небеса;  
 В лиловом вереске терялась золотая  
 Березовых кудрей увядшая краса.

Как вольно билась грудь! Прозрачно отражались  
 Кораллами в воде песчаные берега.  
 Осенние лучи задумчиво смеялись,  
 Сверкала в камышах ленивая река.

Чудесной тишины гармонию немую  
 Лишь трепет стрекозы внезапно нарушал,  
 Да легкий ветерок, вздыхая и танцуя,  
 Миражи берегов под рябью изменял.

Как жизнь была ясна! Казалось, мы забыли  
 Безжалостный конец и лета и мечты,  
 И в этот светлый миг друг друга полюбили,  
 Не думая о том, что ждет нас впереди.

И кончилась мечта тревогою разлуки,  
 И колокол в селе протяжно прозвучал;  
 Дрожали вдалеке торжественные звуки,  
 Последний поцелуй безмолвно угасал.

Ты помнишь этот день? С тобою неужели  
 Мы больше никогда там вместе не пройдем,  
 Где белые стволы и маленькие ели  
 В лиловом вереске раскинулись кругом;

Где тихая река так ясно отражает  
 Нависшие берега с зеленою листвою,  
 Где всюду и всегда всё та же тень витает,  
 Где осенью тогда я счастлив был с тобою?

#### 492. ЛАСКА

Ласкаясь к лазури, прозрачно алая,  
 Стыдился, смеясь, изумительный день;  
 Змеей золотистой казалась аллея;  
 Крылом голубиным — лиловая тень.

Над мраморным фризом фонтаны вздымались;  
Румяные листья, лениво кружась,  
Влюблялись в тебя и на плечи спускались,  
И ты их ласкала, безмолвно смеясь.

#### 493. ОСЕНЬ

Золотился листвы изумруд,  
Онемел небосклон в облаках,  
Разноцветной гирляндой цветут  
Георгины и астры в садах.

Надоедливый дождик порой  
Паутиною мутной висит,  
Забавляется ветер с листвою,  
Поиграет и вновь улетит.

А порою луч солнца слегка  
Обожжет поцелуем своим,  
И несутся, вертясь, облака  
Позолоченных листьев за ним.

*Ноябрь 1915*

#### 494

Тебя, тебя одну любить я обещаю  
Всю жизнь мою, повсюду и всегда.  
Скорбя, блаженствуя, тоскуя, умирая,  
Я вечно буду помнить дни, когда  
С тобой встречались мы среди лиловой тени  
И холода осенних вечеров.  
Хоть не было луны и запаха сирени  
И песни молодой влюбленных соловьев,  
Мы, кажется, любовь и счастье узнали.  
Когда лобзания дрожали на устах  
И очи темные таинственно сверкали,  
Терялась жизни тьма в несбыточных мечтах.  
Когда-нибудь, когда пройдут мгновеньем  
И тенью пестрою все лучшие года,  
Забравшись в старый парк, с печальным умилением  
Я снова погляжу на милые места.

И снова я найду тебя в тени березы...  
И я прочту в глазах и в яркости ланит,  
Что все-таки сбылись несбыточные грезы,  
Что все-таки тобой я не был позабыт.

#### 495. ОСЕННЕЕ

То дремлют, то шумя несутся к облакам  
Нагие ветви; дождик окропляет  
И хлещет лужи; мой фонарик по бокам  
В молочном свете липы округляет.  
Дорога медленно спускается к мосту,  
За ним — гора, а там над купами сирени —  
Большой балкон в заброшенном саду.  
Фонарь глядит сперва на мокрые ступени,  
Потом скользит по стареньким колоннам  
И гаснет, наконец, исполнив свой завет.  
Я жду тебя, томясь в волнении влюбленном,  
Зову... но плач дождя — единственный ответ.  
Зову опять... Вдруг слышу шорох платья,  
И легкий смех, и нежный голос твой;  
Сомкнув тогда тебя в безумные объятия,  
Слагаю поцелуй мятежный и немой...

#### 496. ЦВЕТНЫЕ СТЕКЛА

1

Тихонько рыдая,  
Звенит золотая  
Струна.  
Аллея до сада  
Прозрачной прохладой  
Полна.

2

Усмешкою красной  
Лазури бесстрастной

Грозят  
Веселые клены,  
Меня зеленый  
Наряд.

3

Печальной березы  
Златые угрозы  
Светлы.  
Под кленом багровым  
Над лугом лиловым  
Вдали.

4

Со звоном взлетая,  
Увядшим сверкая  
Крылом,  
Стрекозы над нивой  
Играют лениво  
Вдвоем.

5

Фата кружевная —  
То тень голубая,  
То блик —  
Осталась в аллее,  
Где призрак, бледнея,  
Поник.

6

Тот призрак печальный  
Любви моей дальней  
Мечта.  
Ты помнишь, мы ждали  
Туманности дали?  
Уста опьяняли  
Уста...

Ты помнишь, что было?  
 Как нас позабыла  
     Весна?..  
 Тихонько рыдая,  
 Звенит золотая  
     Струна...  
 <Февраль 1916>

#### 497. ОСЕННЯЯ ПЕСНЯ

Мой конь летит вольней мечты;  
 Простор целует, опьяняя;  
 Душистым золотом взлетая,  
 Шумят осенние листы...  
 Осенний дух, осенний вид  
 Слагает грустную картину...  
 Ворона сизая летит,  
 Клюет румяную рябину.  
 Рубины дальнего куста  
 Одни огнем ласкают взоры;  
 Повсюду грустные узоры,  
 Повсюду мертвые цвета.  
 Вершина траурных лесов  
 В лазури бледной умирает.  
 Вздох ветра... Рощу оживляет  
 Игра танцующих листов.  
 Пусть будут мертвые листы,  
 В моей душе весна цветет...  
 Пусть конь летит вольней мечты...  
 Простор поет, простор зовет!

#### 498

Осенний день, как старая вакханка,  
 Для смерти полюбил поддельные цвета.  
 Твой белый стан за розовой полянкой  
 Исчез, мелькнул и скрылся навсегда.

Звенит над лестнице балкона шаткой  
Стеклянный вальс мечтательных стрекоз,  
У радужных оконниц с грустью сладкой  
Вдыхаю мед последних алых роз.

499

Дрожит хризантема, грустя  
В своем бледно-розовом сне...  
Ее чуть коснулась мечта,  
Мечта о далекой весне.

Слетела мечта, и упал  
Беззвучно один лепесток...  
И тихо во сне задрожал  
Печальный нарядный цветок.

И дрогнуло сердце в груди,  
Оно взволновалось слегка,  
Узнавши печали свои  
В агонии нежной цветка.

500

Большие липы, шатаясь, пели...  
Мне больно было взглянуть назад...  
Там осень грелась в моем апреле, —  
Всё та же осень, всё тот же сад...

Всё та же сказка: любовь, измена...  
Как скучно снова жалеть о ней!  
Вот здесь когда-то цвели вербены...  
Ты здесь когда-то была моей...

Как звери рвали друг друга тучи...  
Впивался в сердце холодный дождь...  
Как жизни крылья ломались сучья...  
Шепнуло что-то: убит твой вождь...



Мой вождь — мечта, но мечта солгала,  
Мой вождь — надежда, надежды нет;  
В тот вечер страшный душа не знала,  
Где цель, где бездна, где тьма, где свет...

### 501

Раскинула осень свои паутины,  
Лелея свой серенький сон.  
Скучающий призрак осенней картины  
В душе у меня отражен.

В заброшенном сердце, где кровь задремала,  
Стоит неподвижно вода;  
А каждая мысль — без конца и начала,  
Как длинная капля дождя.

Не верю, что ты и красавицы мая  
Рассеют гнетущую мглу...  
Не верю лазури далекого края...  
Не верю всему, что люблю...

### 502. ЗИМА

На опушке леса ели небольшие  
Клонятся под снегом, клонятся к снегам.  
По снегу полоски ярко-голубые  
Тянутся красиво к солнечным лучам.

Мягкие узоры, снежные громады —  
Под глубоким небом южной красоты...  
Как люблю зимою нежащие взгляды  
Райского безмолвья, райской чистоты.

### 503

Лиловый дым над снегом крыши  
По небу розовому плыл

И друг за другом, выше, выше,  
Венки мгновенные струил.

Печали думы, тихо рея  
По небу розовой любви,  
Исчезли, ветрено бледнея,  
Как эти дымные венки.

504

Без надежд я ждал...  
Зимний день мне дал  
    (как намек)  
Вечер скучный...  
Всё не шла ты...  
Спал беззвучно  
Снегом сжатый  
    Городок.

А снежинок рой,  
Реющий, немой —  
    Как мечта,  
С лаской нежной  
    Пролетая,  
Нежно, нежно  
Трогал, тая,  
    Лишь уста...

505

Тише и тише танцую,  
Стелется снег, осыпая,  
Небо и землю сливая  
В сон своего поцелуя.

Белое небо тоскливо  
Ближе к земле оголенной  
Тянет простор усыпленный...  
Нива над белою нивой.

По небу в пляске беззвучной  
Бродят снежинки далеко.

Грустно душе одинокой;  
Грустно и тихо и скучно...

506

Кузнечику кузнечик звучно откликается;  
Табачные цветы душистей и белей;  
Влюбленная Астарта дремля улыбается  
Над стройностью святой изящных тополей.

Стекает греза света с неба многострунного  
И жжет его покой, как длинный поцелуй...  
О ночь, уйми обманы сладострастья лунного...  
Мне больно... не ласкай, мне больно... не чаруй...

Мне больно... Созерцанье в неге содрогается;  
Я грезить не могу, я слишком опьянен.  
Моя печаль из сердца криком вырывается:  
«Зачем я здесь один, зачем я не влюблен?»

507

Я ночью жду тебя. Осины умирают,  
Беспомощно шумя туманною листвою.  
Надежды то уснут, то снова заиграют.  
А сердце, как волна, влекомая луной.

Я долго жду тебя. Рождается страданье.  
Мне помнится обман изведанных годов.  
Слился цветок с цветком, смягчились очертанья  
В бездонной темноте, скользнувшей с облаков.

Грустя я жду тебя; и шепчет мне терпенье,  
Что ты сейчас меня из тени позовешь,  
Но слишком хорошо мечты осуществленья,  
И знаю я теперь, ты больше не придешь...

Ване скрутили руки и ноги,  
 Долго томили Ваню в остроге.

*(Солдатская песня)*

Бедное сердце до бледного дня,  
 Кажется, не доживет.  
 Темная бездна глядит на меня,  
 Темная дума гнетет.

Сердце, молчи... Разлюбила она;  
 Сердце болит, не молчит...  
 Встретились мы у цветного окна;  
 Солнечный вечер забыт.

Песня звучит, как щемящий упрек,  
 Песня, что весело мне  
 Пела она, а в груди мотылек  
 Грезил о новой весне...

Вижу: стоит предо мною она,  
 Молча губами зовет...  
 Бедное сердце до бледного дня,  
 Кажется, не доживет...

### 509. COLLOQUE SENTIMENTAL

Под вечною дрожью осин у реки  
 Друг другу мигали в траве светлячки.  
 Луна засмеялась боязни осин;  
 Казалось, что встретил луну я один.  
 Но вдруг затревожился вздох над рекой...  
 Два призрака вижу под синей листвой!..  
 Два призрака медленно берегом шли...  
 Их тихие речи, как слезы, текли.  
 Бесцельно блуждая, шептали они,  
 Как шепчутся только виденья и сны:  
 «Гляди же; здесь прелесть минувших годов...»  
 — «Молчи; над могилой проходят без слов...»  
 — «Ты помнишь, мы здесь целовались с тобой?»  
 — «Я помню лишь то, что забыто мечтой;

Я помню лишь слезы и темные дни...»  
— «Гляди, как и прежде, на небе огни  
И жемчуг огромный, луна, — как тогда...  
Скажи, ты забыла минувшее?» — «Да».  
— «Итак, для тебя я уже больше не свет,  
Не жизнь, не любовь и не счастье?» — «Нет...»

.....  
Безмолвно... Под дрожью осин у реки  
Друг другу мигают в траве светлячки.

## 510. СТОЛИЦЕ

Цепи огней желтовато-лиловых...  
Алая точка, скользящая вдаль...  
Волны стальные в гранитных оковах...  
Звезды колеблют всю ту же печаль.

Где-то смеются и где-то тоскуют;  
Здесь же пустыня и тени могил;  
Только безумно друг друга целуют  
Облики снов у гранитных перил.

Нет... это люди. Увидеть их надо  
Ближе... В их страсти я счастье найду...

.....  
Бледные губы и тусклые взгляды...  
Жутко и больно... Я тихо пройду...

## 511

Ты помнишь, как в парке, среди неги ночной,  
Под шорох акаций, под блеском луны,  
Ворвавшись в сердца к нам могучей волной,  
Слагались и плыли влюбленные сны?

Ты помнишь, как в темной траве светлячок,  
Любовью сияя, к нам в очи глядел?  
(Казалось, звезды золотой огонек  
Ночные цветы целовать прилетел.)

Когда мы расстались, я долго блуждал  
По милым местам, где мы были вдвоем,

В траве светлячок тот же самый сиял  
Своим одиноким знакомым огнем.

И больно мне было припомнить опять  
Минувшее счастье былых вечеров,  
И страстно тебя мне хотелось позвать,  
Хоть знал я, что будет напрасен мой зов...

512

У дворцов Невы я брожу, не рад,  
Что доносится гул и звонки трамвая;  
Боязливо барки в реке скрипят,  
Полуволны плещут, гранит лаская;  
Золотые змейки дрожат в качелях  
Фиолетово-черной воды, а там,  
Где созвездья тонут в лучистых трелях,  
Отвечает безбрежность моим мечтам.

513

Нас бархатная ночь окутала тенями...  
С листвою лип тревожно ветер говорил...  
Ты уст моих коснулась жаркими устами...  
Как я любил тебя, о Боже, как любил!

Я помню, я твердил, что это увлечение  
Не улетит с минутою, родившею его;  
Что полное любви короткое мгновенье  
Создаст мне жизнь, всю жизнь из света своего.

Ты отвечала мне, что это лишь мечтанья,  
Что лучше не мечтать, а мирно жить без грез,  
Что пусть теперь горят безумные лобзанья,  
Что пусть потом придет пора безумных слез.

Ты не могла понять, что неизменным вечно  
Хранить в душе твой взор я должен и могу.  
Девиз твоей любви — мгновенно и беспечно;  
Моей любви девиз — всю жизнь тебя одну.

## 514. СОН

Играют камни алой краской  
Под плеском розовой волны;  
Дыханьем роз, душистой лаской,  
Холмы прибрежные полны.

Еще румянит луч усталый  
Небесный свод своим огнем,  
Когда на этот берег алый  
Приходим мы с тобой вдвоем.

Песок сейчас же заполняет  
Следы шагов водой морской,  
Шептаться в небе начинает  
Звезда неясная с другой.

Вокруг твоих кудрей алеет  
Большой венок душистых роз..  
Чуть слышно в море волны реют,  
Как будто эхо наших грез.

## 515

Я помню, что были томительно-сладки  
Черемухи вздохи, что звуки дремали,  
Что странные чувства меня волновали...  
Те чувства — загадки.

Безмолвно звезда в небесах  
Скользнула, бледнея. Сияла луна,  
Была ее радость жемчужно-ясна.  
Струилась в небесных бездонных волнах  
Тишина.

Да... Счастье... Я вспомнил... Я был не один...  
Блаженство и радость томительно-жарко  
Сплетались в сердцах наших радугой яркой  
Своих паутин.

Черемуха млела, и было темно;  
И душу в порыве божественных сил  
К цветам неземным поцелуй уносил.  
Те чувства — загадки. Я знаю одно:  
Я любил.

Гиацинты запахом страстным  
 Опьяняют вечернюю мглу.  
 Мы — в мираже розово-красном.  
 Я — у ног твоих. Я люблю...

На колени ручки лениво  
 Ты сложила и в окна глядишь  
 И как будто искрой тоскливо  
 За нерадостным чем-то следишь.

В темно-синих окнах, однако,  
 Отражения только видны.  
 Но, быть может, в томности мрака  
 Ты находишь волшебные сны.

Ты мечтаешь: было бы лучше,  
 Если бы ты не любила меня,  
 Если этой ночью грядущей  
 Ты навек не была б мне дана?

Без ответа нежная сила;  
 Без ответа и ласки мои.  
 Ты лениво ручки сложила  
 И теряешься взором вдали...

Ты, быть может, мыслишь: напрасно  
 Так безумно тебя я люблю?  
 Гиацинты белые страстно  
 Опьяняют вечернюю мглу.

Горе сегодня и глубже и проще.  
 Помнишь ли ты кружевных мотыльков?  
 Сколько летает их в солнечной роще,  
 Белых с узором из черных кружков!

Иволги в песни лучи превращают.  
 Ветер скользит по зеленой струне.  
 Плавно растут и сверкают и тают  
 Белые замки в лазурной стране.



Как заиграют весенние трубы!  
Только вернись к кружевным мотылькам!  
Как я прижму ненасытные губы  
К полуоткрытым, горячим губам!

#### 518. НАША ЗВЕЗДА

Как полночь пробьет, отодвинь занавески  
И в небо морозное долго гляди...  
И знай: наши взгляды встречаются в блеске  
Далекой, далекой, но общей звезды.

Быть может, тогда пред задумчивым взором  
Всё то, что любишь, всё то, чего нет,  
Одержит победу над долгим простором,  
Тихонько войдя в этот маленький свет.

А звездочке пылкой, наверно, приснится,  
Что в юность, в мечты и она влюблена,  
Увидя, что в грустных очах отразится  
Любовь у тебя и любовь у меня.

#### 519. ЛУННАЯ ГРЕЗА

Проходит лунный луч. В покоях опустело;  
Но нет, не говори, что умер старый дом...  
В безмолвии ночей душа живет без тела...  
Есть жизнь отпетых дней в безмолвии таком.

Гадают вслух часы... Иль карлик в звучной зале,  
Сапожками стуча, куда-то пробежит.  
А старенький романс по клавишам рояля,  
Стараясь не уснуть, крадется и дрожит.

Проходит лунный луч, как белая старушка...  
Теперь из всех картин освещена одна.  
Я вижу девочку над розовой подушкой  
Всю в розовых цветах... Не знаю, кто — она.

Мне страшно; ты бледна. Как будто сзади кто-то  
За нами всё следит и всё чего-то ждет;

И мучит аромат, что сладок, как дремота...  
Гляди, гелиотроп задумчиво цветет.

Гляди, цветок упал из книжечки раскрытой,  
И ныне он воскрес без влаги и весны...  
Мы странники, мы сны, мы светом позабыты,  
Мы чужды и тебе, о жизнь в лучах луны!

<Июль 1916>

## 520. ЛУННЫЙ СВЕТ

Ты — в дремоте любви; я целую глаза;  
Под губами трепещут ресницы;  
Распелись на подушке твои волоса  
И власа неизвестной царицы.

Нет... Я знаю: те пряди царицы-луны,  
Расплетенные ласками ночи...  
Ты раскрыла глаза... потемнели они...  
Я люблю эти темные очи.

Я люблю целовать тебя так горячо  
В эту ямочку около шейки...  
О, приблизь твои губы... еще... и еще...  
Эту ночь мы удержим навеки!

Мне не хочется блеска грядущего дня  
С беспокойством работы и скуки;  
Я хочу, чтобы вечно глядела луна  
На твои обнаженные руки.

Ты уснула опять; я целую глаза;  
Под губами трепещут ресницы...  
Собирая свои голубые власа,  
Ждет луна воцаренья денницы.

## 521

Как губы горят!... Доканчиваем речи,  
Какие утром не смеем мы вести.  
Бросает к тебе на трепетные плечи  
Луна молодая прозрачные цветы.

До боли ясна жемчужная улыбка;  
Боюсь я тонкости в облике луны.  
Ты слышишь... Грустит неведомая скрипка  
И мучит страстною звучностью струны.

Пусть вечность глядит, как огненные нити  
Плетут безумство, притягивая нас.  
О, звезды очей, приблизьтесь и светите;  
Хочу вас видеть и видеть только вас.

522

Ты помнишь, как губы мои онемели  
Со вздохом любви у тебя на руке?  
Как ночь колебала, любуясь в реке,  
Двойные алмазы своих ожерелий?

Мы ждали как будто, и тени синели  
И ждали чего-то на лунном песке.  
Проснулись у тополя в каждом листке  
Движенья зефира и огненной трели.  
То пел неземной соловей в вышине;  
И ночь встрепенулась со страстной улыбкой,  
С улыбкой в алмазах и с грезой в огне;  
И тени наполнились музыкой зыбкой  
В душистой траве. Ты прильнула ко мне  
Губами, всем телом и ласкою гибкой...

523

В ту ночь я только мог рыдать от наслажденья...  
В ту ночь в твоей крови я сжег свою мечту...  
Какие это всё безумные виденья!

Страну, где я любил, я ныне не найду...  
Любил ли я тогда? Но вспомни: струны пели,  
Роняли небеса безмолвную звезду...

Потом... потом с тобой мы странно опьянели...  
От счастья умереть мы, кажется, могли.  
Над бездной красоты мы медленно летели...

Мы в эту ночь всю жизнь мгновением сожгли!  
Но миг исчез... Лучи с печалью пробужденья  
На мягкие ковры задумчиво легли...

Какие это всё безумные виденья?

524

Окутали город осенние боги  
Своей паутиной сырой;  
Гляделись фонарики в лужи дороги;  
Я с праздника ехал домой.

Бездомная женщина в вымокшей шляпе  
Шла мимо, шла будто во сне;  
Собачка бездомная с кровью на лапе  
Беспомощно жалась к стене.

Нагнулась та женщина к бедной собаке;  
Дух ночи две тени сливал;  
Несчастливая взором терялась во мраке,  
А пёсик ей руку лизал.

.....

Остались уколы той встречи случайной;  
Остались в душе навсегда  
Какая-то горечь, какая-то тайна,  
Какая-то к миру вражда...

525

Этот вечер лучистый грустил над людьми,  
Над блуждавшими скучно, без страсти.  
Опирался он локтем на спинку скамьи,  
Волновался и думал о счастье.

По тропинке, как встарь, проходила она;  
Только платье одела иное.  
Он сказал, что вернулась любовь, как весна,  
И сравненьем опошил бывшее.

Он бледнел и неловко ее целовал;  
Но она отходила и вяло  
Удивлялась, каким он неискренним стал,  
И прическу рукой поправляла.

Обнимая ее и стараясь любить,  
Он шепнул сладострастное слово...  
Зарыдала она, что он мог изменить  
Неизменному духу былого.

Потемнело в душе; он «прости» произнес;  
С нею вечер весенний остался;  
Всё глядела она: от лучей и от слез  
Он, согнувшись, как тень удалялся...

#### 526

Ивы тихо плакали... В озеро туманное  
Вечер уронил кровавое кольцо.  
Девушка вся в белом и стройная и странная  
Вышла помечтать на белое крыльцо.

Девушка печальная, ты меня не слышала...  
Я запел о счастье небывалых грез...  
Только твой платочек, что ты когда-то вышила,  
Из руки прозрачной ветер мне принес...

#### 527

Небрежно он сорвал и бросил незабудку;  
Она ее поймала; он даже не видал.  
Она в слезах шепнула бедненькую шутку...  
Хотела рассмеяться... Он холодно молчал.

Она ждала так мало: только быть бы вместе,  
Дотрагиваться только бы до руки его...  
Однажды он ушел надолго и без вести;  
Пришел... она простила, не помня ничего...

Он ей сказал: «прощай же, пора нам расставаться».  
И бросил на вопрос бессмысленный упрек.

Она глядела смело, стараясь улыбаться...  
От розы на груди сорвался лепесток...

528

Красота! Красота! В ней таинственно слиты  
Беспредельность надежд и воздушность лучей,  
Но черты молодые печалью сокрыты...  
О, знакомая грусть злато-черных очей!

Я люблю красоту, как манящую тайну;  
Я найду красоту без друзей и без слов,  
Но она, обернувшись, с улыбкой случайно  
От меня отойдет, как мираж — от шагов.

Я пройду, где мгновенье бессмертья коснется...  
От лазури ночной отделится звезда.  
Доплывет до лазури и с нею сольется  
Неоконченный сон и грехов красота.

529

Я что-то не понял и где-то утрата;  
Но помнит разгадку не я, а другой.  
Приснился мне ландыш поблекший и смятый,  
И смятый, казалось, моею рукой.

Стараюсь припомнить, стараюсь напрасно.  
Сегодня я вновь этот сон увидал:  
Ты тихо рыдала от боли неясной —  
Утешить хотел и с тобой зарыдал.

Ты знаешь? Поищем на старом балконе;  
Поищем среди пыли знакомых дорог,  
Поищем в звездах на родном небосклоне  
Всё то, что я вспомнить сегодня не мог.

Найдем ли? Ведь, если мы встретимся снова,  
Где каждый цветок голубая мечта,  
Невольно проснется готовое слово:  
«Былого, увы, не вернуть никогда».

Ты чувственной тенью ко мне приходила,  
Ты тайной чудесной казалась мне.  
Теперь... Наша страсть нам сердца осушила,  
И горько подумать о свежей весне.

Теперь... Ты близка мне, теперь ты родная.  
О Боже, как странно тогда я любил!  
Любимую душу не видя, не зная!  
.....  
Я что-то не понял, я что-то забыл.

530

Когда моя рука во тьме твою встречает,  
Когда мои мечты звучат в твоих словах,  
Когда душа болит и все-таки прощает,  
Когда я узнаю себя в твоих слезах,

Когда от пустяка страдаю и ревную,  
Когда хочу наш день божественно продлить,  
Когда хочу с тобой и солнце поцелуя,  
И думы разгадать, и горе разделить —

Я громко говорю, чтоб все меня слышали,  
Отважно, радостно и гордо говорю:  
«Я знаю, я постиг все тайны и печали,  
Я знаю жизнь теперь, я знаю, я люблю».

531

Хочется так много, хочется так мало...  
Хочется улыбки сбыточного сна;  
Хочется, чтоб взором ты мне отвечала  
На вопрос безмолвный: любишь ты меня?

Хочется так много, хочется так мало...  
Хочется, чтоб сердце мысли унесло;  
Хочется, чтоб тихо ты мне целовала  
Жаркими губами бледное чело.

Хочется так мало, хочется так много...  
Хочется экстаза огненных ночей;

Хочется увидеть жизнь свою и Бога  
В черных бриллиантах любящих очей.

Хочется так жарко, хочется так страстно  
Хоть услышать эхо плача своего...  
Хочется бесцельно, хочется напрасно...  
Бешеный порыв и... больше ничего.

532

Бывало, в лазури бегут облака,  
Находят на солнце, и радостный день  
Темнеет мгновенно и гаснет слегка,  
И тени сливаются в общую тень.

Так в нашей любви замелькает, бывало,  
Пустячного спора мгновенная тень.  
Она мимолетно, случайно упала;  
За нею прекрасней покажется день...

533

Шепни мне слово, то слово дивное,  
Но тихо его шепни;  
Оно святое, оно наивное,  
Как первый цветок весны.

Я вижу снова дорогу пыльную...  
Мы молча с тобой идем...  
Я помню, песню искал я сильную  
И в слове нашел одним...

То слово — первое слово нежное,  
Из белых слогов — оно;  
Оно младое, оно безбрежное;  
Как небо, всегда одно.



### 534. КОНТРАСТЫ

Я плакал без горя; ты вдаль загляделась...  
Мы были одни с тишиной;  
Зеленой рекою мы медленно плыли;  
Мы счастливы были...  
Мы молоды были с тобой...

Я горько смеялся; ты рвала ромашку —  
Летали кругом лепестки.  
Над сердцем разбитые клятвы кружились...  
Мы молча простились  
Неясным движеньем руки...

Усмешки сквозь горе и слезы сквозь счастье  
Проходят своим чередом.  
Так дождь благодатный бывает весною,  
Так солнце порою  
Смеется осенним лучом.

### 535. ДВА МГНОВЕНЬЯ

Хочет гул людской, и смех его так груб,  
Что мы ушли на брег к безмолвию мороза.  
Дрожа касаюсь и твоих очей и губ,  
А губы у тебя как огненная роза.  
.....  
Скользит вечерний час, в июльском сне грустя.  
Облокотилась ты на белые перила;  
И даже пальчик твой не смею тронуть я,  
Так нежен дальний луч над розовой могилой...

### 536

Солнечно-нежные губки  
Слушали песню в крови —  
Звук вдохновенный, но хрупкий,  
Как одуванчик любви...

Ныне, когда налетает  
Времени ветреный дух,  
Вдруг одуванчик теряет  
Весь свой серебряный пух...

Бледные нежные губки!..  
Мало я чувствовал их!..  
Мало я знал этих хрупких  
Песней в крови молодых...

537

Сядь поближе ко мне. Мы припомним с тобой,  
Как друг друга любили мы мало...  
Дай мне ручки свои, а ресницы прикрой,  
Чтоб мечту наша жизнь не пугала.

Мы припомним с тобой тот запущенный сад,  
Где гвоздики цвели запоздало.  
Ты грустишь... Твои ручки и губы дрожат,  
Иль в былом ты печаль увидала?

.....  
Да, мы мало любили увядшие дни,  
Дни осенние, дни золотые...  
Но мы были вдвоем, и мы были одни...  
Так к чему же упреки немые?

Вечереет в душе... Не грусти, не грусти...  
Ты не помнишь, как ты говорила,  
Что ты счастье нашла, что я счастлив, как ты...  
Ты не помнишь... Но это ведь было.

538

Я буду слезы лить в тот грозный час страданья,  
И плакать всей душой, и плакать как дитя,  
И, может быть, тогда чуть слышно сквозь рыданья  
Шепну, что умерла любимая мечта.

Но нет; я пред тобой не буду унижаться,  
Не упрекну тебя, в чем упрекать могу;

И не скажу тебе, что больно расставаться,  
Как не скажу о том, что я тебя люблю.

539

Аккорды, как волны и призрак разлуки —  
Увядший давно голубой василек...  
Как сердцу несносны знакомые звуки!  
Как душу тревожит любимый цветок!

Под траурной тенью гнетущей утраты  
Мечты разбудил лепесток василька,  
Мечты разбудили аккордов раскаты,  
Мечты о былом и мечты без конца...

Услышу ль я песню, блуждая по нивам?  
Быть может, тогда аромат васильков  
Мне в сердце внесет с безнадежным мотивом  
Всю радость, все слезы минувших годов.

Быть может, забуду могучие звуки?..  
Забуду когда-то любимый цветок?..  
Аккорды, как волны и призрак разлуки —  
Увядший давно голубой василек...

540

Довольно и прости; ответа мне не надо;  
Ты будешь нежно лгать, как ты всегда лгала;  
Но вечно будет тлеть разбитая лампада  
Всего, что ты шутя мне некогда дала.

Минувшее мое, счастливые мгновенья  
Не в силах ты отнять, не в силах я забыть...  
Теперь, когда не жду ни слез, ни наслажденья,  
Могу взамен тебя былое полюбить...

Мне странно увидеть оглядкой от разлуки,  
 Как просто в первый день любили мы с тобой,  
 Как, за руки держась, раскачивали руки,  
 Бесхитростно бродя под липовой листвою.

Теперь... я жду, чтоб дни моим губам вернули  
 Не только бархат губ, но бархат белых плеч;  
 И мне не жаль, что в прошлое скользнули  
 Безбурье первых грез, невинность первых встреч.

Не надо лилий мне, невинных белых лилий,  
 Нетронутых судьбой и выросших в глуши;  
 Добытые людьми, они всегда хранили  
 Холодную любовь и замкнутость души.

Хочу я алых роз, хочу я роз влюбленных;  
 Хочу я утопать в душистом полусне,  
 В их мягких лепестках, любовью упоенных,  
 В их нежности живой, в их шелковом огне.

Что лилия пред ней, пред розой темно-алой?  
 Для розы я живу, и вся она моя;  
 Она мне отдалась, любила и страдала...  
 Она — моя навек... а лилия — ничья...

Если, бывало, проводишь весь день  
 Лежа на мягком диване,  
 Это — не скука и даже не лень;  
 Это — избыток желаний.

«Гордость увенчана, — греза поет, —  
 Близко, что прошено страстью».  
 Нет настоящего; сердце живет  
 Жизнью грядущего счастья.

Я стремлюсь всеми силами к счастью,  
 Но тебя не умею любить;  
 Не могу возвышаться над страстью,  
 А трудов не могу не забыть...

Ты пойми... Разглядеть я стараюсь  
 Очертания рая во мгле,  
 Но к заветным цветам устремляюсь,  
 Как пчела на оконном стекле.

#### 545. ЛЕТНИЙ ДЕНЬ

Кто золото в роще рассыпает изящной, огненной рукой? Лиловая птичка пролетает и звонко шутит над другой... Сегодня твои я вспомнил очи... (Будь сильным, сердце, не грусти!) Какое-то имя всё не хочет уснуть в моей больной груди. То ласковых розовых букашек мне счастье принести молю, то, лежа в траве среди ромашек, в лазури сны свои ловлю... Струится душистая прохлада... Листва березок надо мной — янтарные грозди винограда во влаге жарко-голубой...

Жду на твоём пороге, в грядущем грезой рея...  
 Радостное сердце млеет и стучит...

.....  
 Нет никого. Как тихо! Зову тебя бледнея...  
 Голос так нежданно, странно так звучит...

Боже, как больно сердцу в молчанье жутком таять!!  
 В окна струится ночь. На розовом столе —  
 Белый букет сирени. Фарфоровый китаец  
 Медленно кивает — призрак в алой мгле...

Понял измену, понял. Банальную записку  
 Грустно разрываю. Сяду у окна,  
 Буду не думать. Жалко. Ведь счастье было близко...  
 Так всегда бывает. Жизнь — как сон — вольна.

Белая ночь родилась в кровавой колыбели...  
Город, усыпая, бредил и вздыхал...  
Только тобой не жил ли и шел я не к тебе ли?  
Губы не твои ли в грезах целовал?..

В полдневный час, ленивым летом,  
овеянная влажным светом,  
в струях с изгиба на изгиб  
блуждает сонно-сытых рыб  
глубокомысленная стая,  
надежды рыбы обсуждая,  
и вот значенье их речей:  
«У нас прудок, река, ручей;  
но что же дальше? Есть догадка,  
что жизнь — не всё; как было б гадко  
в обратном случае! В грязи,  
в воде есть тайные стези,  
добро лежит в их основанье.  
Мы верим: в жидком состоянье  
предназначенье видит Тот,  
Кто глубже нас и наших вод.  
Мы знаем смутно, чуем глухо —  
грядущее не вовсе сухо!  
"Из ила в ил!", — бормочет смерть;  
но пусть грозит нам водоверть, —  
к иной готовимся мы встрече...  
За гранью времени, далече,  
иные воды разлились.  
Там будет слизистее слизь,  
влажнее влага, тина гуще...  
Там проплывает Всемогущий,  
с хвостом, с чешуйчатой душой,  
благой, чудовищно-большой,  
извечно царствовавший над илом...  
И под Божественным правилом  
из нас малейшие найдут  
желанный, ласковый приют...  
О, глубь реки безмерно мирной!  
Там, под водою, в мухе жирной  
крючок зловещий не сокрыт...  
Там тина золотом горит,  
там — ил прекрасный, ил пречистый.

И в этой области струистой —  
ах, сколько райских червяков,  
бессмертных мошек, мотыльков —  
какие плавают стрекозы!»  
И там, куда все рыбы грезы  
устремлены сквозь влажный свет,  
там, верят рыбы, суши нет...

<Январь 1920>

548

Когда, погаснув, как зарницы,  
уйдя от дальней красоты,  
во мгле, в ночи своей отдельной,  
истлею я, истлеешь ты;

когда замрет твой локон легкий,  
и тяжкий тлен в моих устах  
прервет дыханье, и с тобою  
мы будем прах, мы будем прах, —

как прежде, жадные, живые,  
не пресыщенные, — о нет! —  
блестя и рея, мы вернемся  
к местам, где жили много лет.

В луче мы пылью закружимся,  
былых не ведая оков,  
и над дорогами помчимся  
по порученьям ветерков.

И станет каждая пылинка,  
блестя и рея тут и там,  
скитаться, как паломник тайный,  
по упоительным путям.

Не отдохнем, пока не встретит,  
за непостижную чертой,  
один мой странствующий атом  
пылинку, бывшую тобой.

Тогда, тогда, в саду спокойном,  
в вечерних ласковых лучах,



и сладостный, и странный трепет  
найдут влюбленные в цветах.

И средь очнувшегося сада  
такое счастье, такой  
призыв воздушно-лучезарный  
они почуют над собой,

что не поймут — роса ли это,  
огонь ли, музыка, иль цвет,  
иль благовонье, или двое,  
летающие из света в свет.

И, с неба нашего блаженства  
испепеляющего, крик  
заставит вспыхнуть их пустые  
и нищие сердца — на миг.

И в расплзающемся мраке  
они, блеснув, потухнут вновь,  
но эти глупые людишки  
на миг постигнут всю любовь...

*<Январь 1920>*

549

Их сонмы облекли полночный синий свод,  
теснятся, зыблются, волнуются безгласно,  
на дальний юг текут; к таящейся, прекрасной  
луне за кругом круг серебряный плывет.  
Одни, оборотясь, прервав пустынный ход,  
движеньем медленным, торжественно-неясно  
благословляют мир, хоть знают, что напрасно  
моление, что земли моление не спасет.  
Нет смерти, говорят; все души остаются  
среди наследников их счастья, слез и снов...  
Я думаю, они по синеве несутся,  
печально-пышные, как волны облаков;  
и на луну глядят, на гладь морей гудящих,  
на землю, на людей, туда-сюда бродящих.

*<Январь 1920>*

Их душу радости окрасили, печали  
 омыли сказочно. Мгновенно их влекли  
 улыбки легкие. Вся радужность земли  
 принадлежала им, и годы их смягчали.  
 Они видали жизнь и музыке вдали  
 внимали. Знали сон и явь. Любовь встречали  
 и дружбу гордую. Дивились. И молчали.  
 Касались щек, цветов, мехов... Они ушли.  
 Так ветры с водами смеются на просторе,  
 под небом сладостно-лазоревым, но вскоре  
 зима заморозит крылатую волну,  
 плясунью нежную, и развернет морозный  
 спокойный блеск, немую белизну,  
 сияющую ширь под небом ночи звездной.

<Январь 1920>

Лишь это вспомните, узнав, что я убит:  
 стал некий уголок, средь поля на чужбине,  
 навеки Англией. Подумайте: отныне  
 та нежная земля нежнейший прах таит.  
 А был он Англией взлелеян; облик стройный  
 и чувства тонкие Она дала ему,  
 дала цветы полей и воздух свой незнойный,  
 прохладу рек своих, тропинок полутьму.  
 Душа же, ставшая крупницей чистой света,  
 частицей Разума Божественного, где-то  
 отчизной данные излучивает сны:  
 напевы и цвета, рой мыслей золотистый  
 и смех, усвоенный от дружбы и весны  
 под небом Англии, в тиши ее душистой.

<Январь 1920>

Из дремы Вечности туманной,  
 из пустоты небытия  
 над глубиною гром исторгся:  
 тобою призван, вышел я.

Я расшатал преграды Ночи,  
законы бездны преступил  
и в мир блистательно ворвался  
под гул испуганных светил.

Распалось вечное молчанье...  
Я пролетел — и Ад зацвел.  
Каким же знаком докажу я,  
что наконец тебя нашел?

Иные вычеканю звезды,  
напевом небо раздроблю...  
В тебе я огненной любовью  
свое бессмертие люблю.

Ты уязвишь седую мудрость,  
и смех твой пламенем плеснет,  
Я именем твоим багряным  
исполосую небосвод.

И рухнет Рай, и Ад потухнет  
в последней ярости своей,  
и мгла прервет холодным громом  
стремленья мира, сны людей.

И встанет Смерть в пустых пространствах  
и, в темноту из темноты  
скользя неслышно, убьется  
сиянья нашей наготы.

Любви блаженствующей звенья  
ты, Вечность верная, замкни!  
Одни над мраком мы, над прахом  
богов низринутых, — одни...

<Январь 1920>

Троянские поправ развалины, в чертог  
Приамов Менелай вломился, чтоб развратной  
супруге отомстить и смыть невероятный  
давнишний свой позор. Среди крови и тревог  
он мчался, в тишь вошел, поднялся на порог,  
до скрытой горницы добрался он неслышно,

и вдруг, взмахнув мечом, в приют туманно-пышный  
он с грохотом вбежал, весь огненный как бог.

Сидела перед ним, безмолвна и спокойна,  
Елена белая. Не помнил он, как стройно  
восходит стан ее, как светел чистый лик...  
И он почувствовал усталость, и смиренно,  
постылый кинув меч, он, рыцарь совершенный,  
пред совершенною царицею поник.

Так говорит поэт. И как он воспоеет  
обратный путь, года супружеского плена?  
Расскажет ли он нам, как белая Елена  
рожала без конца законных чад и вот  
брюзгою сделалась, уродом... Ежедневно  
болтливый Менелай брал сотню Трой меж двух  
обедов. Старились. И голос у царевны  
ужасно резок стал, а царь — ужасно глух.

«И дернуло ж меня, — он думает, — на Трою  
идти! Зачем Парис втесался?» Он порою  
бранится со своей плаксивою каргой,  
и, жалко задрожав, та вспомнит про измену.  
Так Менелай пилил визгливую Елену,  
а прежний друг ее давно уж спал с другой.

<Январь 1920>

554

Моими дивными деревьями хранимый,  
лежал я, и лучи уж гасли надо мной,  
и гасли одинокие вершины,  
омытые дождем, овейные мглой.

Лазурь и серебро и зелень в них сквозили;  
стал темный лес еще темней;  
и птицы замерли, и шелесты застыли,  
и кралась тишина по лестнице теней.

И не было ни дуновенья...

И знал я в это вещее мгновенье,  
что ночь, и лес, и ты — одно,

я знал, что будет мне дано  
в глубоком заколдованном покое  
найти сокрытый ключ к тому,  
что мучило меня, дразнило: почему  
ты — ты, и ночь — отрадна, и лесное  
молчанье — часть моей души.

Дыханье затаив, один я ждал в тиши,  
и, медленно, все три мои святыни —  
три образа единой красоты —  
уже сливались: сумрак синий,  
и лес, и ты.

Но вдруг —  
всё дрогнуло, и грохот был вокруг,  
шумливый шаг шута в неискренней тревоге,  
и треск, и смех, слепые чьи-то ноги,  
и платья сверстящий звук,  
и голос, оскорбляющий молчанье.

Ключа я не нашел, не стало волшебства,  
и ясно зазвучал твой голос, восклицанья,  
тупые, пошлые, веселые слова.  
Пришла и близ меня заквакала ты внятно...  
Сказала ты: здесь тихо и приятно.  
Сказала ты: отсюда вид неплох.  
А дни уже короче, ты сказала.  
Сказала ты: закат — прелестен.  
Видит Бог,  
хотел бы я, хотел, чтоб ты в гробу лежала!

*<Январь 1920>*

555

Усталый, поздно возвратился  
я в сумрак комнатки моей,  
к уюту бархатного кресла,  
к рубинам тлеющих углей.

Вошел тихонько я и... замер:  
был женский облик предо мной:  
щеки и шеи светлый очерк,  
прически очерк теневой,

да, в кресле кто-то незнакомый,  
вон там, сидел ко мне спиной.

И волосы ее и шею  
я напряженно наблюдал;  
на миг застыл, потом рванулся —  
и никого не увидел.

Игра пустая, световая  
лишь окудесила меня —  
тень узоры да подушка  
на этом кресле у огня.

О вы, счастливые, земные,  
скажите, мог ли я уснуть?

Следил я, как луна во мраке  
свершала крадучись свой путь —  
по стенке, в зеркале, на чашке...  
Я в эту ночь не мог уснуть.

*<Январь 1920>*

556

Было поздно, было скучно,  
было холодно, и я  
звездам — братии веселой  
позавидовал: друзья  
золотые, хорошо вам!  
Не тоскует никогда  
со звездой лучезарной  
неразлучная звезда.

Светом нежности взаимной,  
светом радостей живых,  
беззаботностью, казалось,  
свыше веяло от них.  
Так, быть может, и Создатель  
смотрит с вышины своей,  
развлекаемый веселой  
вереницею людей,  
и не ведает, что каждый  
в одиночестве своем,

как потерянный в пустыне,  
бродит в сумраке немом.

Я-то ведал, полюбил их,  
пожалел от всей души:  
там, в пустынях непостижных,  
в угнетающей тиши,  
тлели звезды одиноко,  
и с далеким огоньком  
огонек перекликался  
комариным голоском...

*<Январь 1920>*

557

Алмазно-крепкою стеною от меня  
Всесильный отделил манящую отраду.  
Восстану, разобью угрюмую ограду  
и прокляну Его, на троне из огня!  
Всю землю я потряс хулой своей великой,  
но пламенем Любовь вилась у ног моих,  
и, гордый, я дошел до лестниц золотых,  
ударил трижды в дверь, вошел с угрозой дикой.

Дремал широкий двор; он полон солнца был  
и полон отзвуков бесплодных. Мох покрыл  
квадраты плит сквозных и начал, неотвязный,  
в покои пыльные вползать по ступеням...  
Внутри — пустой престол; и веет ветер праздный  
и зыблет тяжкие завесы по стенам.

*<Январь 1920>*

558

По кругам немым, к белоснежной вершине земли  
четыре архангела ровно и медленно шли:  
огромные крылья сложив, выделяясь на небе пустом,  
несли они гробик убогий; ребенок покоился в нем,  
да, верно, — ребенок (хоть склонны мы думать, что Бог  
не мог бы ребенка увлечь от весенних дорог:  
и в хрупкой и в жуткой скорлупке смахнуть его прочь  
в пространства пустынные, в тишь бесконечную, в ночь).

И вниз они глянули, сбросив с вершины крутой,  
в объятия неведомой тьмы, черный гробик простой,  
и Господа жалкое тельце, свернувшись в клубок,  
лежало в нем, точно измятый, сухой лепесток.  
Он в бездне исчез, и в молчанье, один за другим  
архангелы грустно спустились к равнинам пустым.

*<Январь 1920>*



# ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, СТИХОТВОРЕНИЯ НА СЛУЧАЙ

---

## 559. ПЕГАС

### I

Взмахнул Пегас могучей гривой,  
метнулся ветра веселей, —  
и вот беседую игриво  
с тобой, мой друг, — буржуй пугливый,  
Кавказский пленник наших дней!

### II

Узнай же, роза Кисловодска,  
что все мы шлем тебе привет,  
что нет покамест счетоводства,  
что потолстел товаровед,  
что сто рублей за мой автограф  
любой извозчик уж дает,  
что наш коммерческий географ —  
сплошной еврейский анекдот,  
что Розов ежиком острижен  
(чтоб Керенскому подражать),  
что глубоко Шустов обижен  
и хочет старого опять,  
что мне по-прежнему не спится  
и тот же дух во тьме стоит,  
что в мае я лежал в больнице  
(был у меня аппендицит...)

---

\* Ты проиграешь этот матч, малыш.... ты проиграешь этот матч  
(англ.). — *Peg.*

### III

Да, кстати — иль, верней, некстати, —  
Тарасов — ветренный толстяк  
с лицом наивного дитяти, —  
порозовев, как некий рак,  
мне рассказал твои победы  
и, очи опуская вниз,  
дрожащим голосом поведал  
что получил ты первый приз...

### IV

Твоих фарфоровых сервизов  
я вижу блеск, я слышу свист,  
и всё ж тебе кидаю вызов,  
непобедимый теннисист!

You'll lose the match, my little fellow,  
не отрицай, — you'll lose the match<sup>1</sup> ...  
Ты к сетке подбежишь несмело,  
мелькнет неуловимый мяч,  
как мимолетное виденье,  
как гений чистой красоты...  
Изобразят недоуменье  
твои прекрасные черты.  
Как золотой бокал Мозта  
я сэт мгновенно осушу,  
и ты склонишься пред поэтом.  
.....  
А впрочем, — ерунду пишу;  
не в этом дело.

### V

Всё печально,  
алеет кровь на мостовых.  
Людишки серые нахально  
из норок выползли своих.  
Они кричат на перекрестках,  
и страшен их блудливый бред.

---

<sup>1</sup> Ты проиграешь этот матч, малыш... ты проиграешь этот матч  
(англ.) — *Peg*.

Чернеет на ладонях жестких  
неизгладимый рабства след...

Они хотят уничтоженья —  
страстей, мечтаний, красоты...  
«Свобода» — вот их объяснение...  
А что свободнее мечты?!

Распространяться я не буду...

## VI

Мой друг, да здравствует расцвет  
поэзии! Свершилось чудо.  
Великий к нам сошел поэт...  
Он мир клеймит стихом суровым,  
он дев лобзает — весь в слезах...

*25 октября 1917  
Петроград*

## 560

Как долго спит, о струнный Струве,  
твой поэтический Везувий!

Когда мы спорим с Куммингом,  
то в комнате безумен гам.

Когда громит нас Яковлев,  
тогда дрожит, заплакав, лев.

Большой роман принес Лукаш.  
А ну, любезнейший, покажь!

В стихах я на борьбу зову  
и отдаю Арбузову.

Но знаешь ты, Татаринков,  
что каждый стих и стар и нов.

На голове земли я — Сирин, —  
как ухо, в небо оттопырен.

*1923  
Берлин*

Это я, Владимир Сирин,  
 В шляпе, в шелковом кашне.  
 Жизнь прекрасна, мир обширен,  
 Отчего ж так грустно мне?

1925  
 Берлин

— Такого нет мошенника второго  
 Во всей семье журнальных шулеров!  
 — Кого ты так? — Иванова, Петрова,  
 Не всё ль равно? — Позволь, а кто ж Петров?

1931  
 Берлин

### 563. КАЗАК

Я ел мясо лося, млея...  
 Рвал Эол алоэ, лавр...  
 Ты ему: «Ого! Умеет  
 рвать!» Он им: «Я — минотавр!»

Февраль 1939  
 Париж

The complicated variation  
 Of Lepidoptera affords  
 a fascinating occupation  
 for proletarians and lords.

Сентябрь 1942

564\*

Разнообразное сложенье  
чешуекрылых мотыльков  
уготовляет услажденье  
для королей и бедняков.

*Сентябрь 1942*

565

The querulous gawk of  
A heron at night  
Prompts Nabokov  
To write.

<1946>

## СТИХИ ИЗ РОМАНА «ДАР»

---

566

Мяч закатился мой под нянин  
комод, и на полу свеча  
тень за концы берет и тянет  
туда, сюда — но нет мяча.  
Потом там кочерга кривая  
гуляет и грохочет зря  
и пуговицу выбивает,  
а погода — полсухаря.  
Но вот выскакивает сам он  
в трепещущую темноту,  
через всю комнату, и прямо  
под неприступную тахту.

567

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

и по углам наглеют ночью,  
своим законным образцам  
лишь подражая между прочим.

568

.....  
.....  
.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

при музыке миниатюрной  
с произношением смешным.

**569**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

И снова заряжаешь ствол  
до дна, со скрежетом пружинным  
в упругий вдавливая пол,  
и видишь, притаясь за дверью,  
как в зеркале стоит другой —  
и дыбом радужные перья  
из-за повязки головной.

**570**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

под лестницу винтовой  
и за буфетом одиноким,  
забытым в комнате пустой.





(Нащупывая поминутно  
с брезгливой нежностью платок,  
в который бережно закутан  
как будто костяной брелок.)

574

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

так впечатление былое  
во льду гармонии живет...

575

Влезть на помост, облитый блеском,  
упасть с размаху животом  
на санки плоские — и с треском  
по голубому... А потом,  
когда меняется картина  
и в детской сумрачно горит  
рождественская scarлатина  
или пасхальный дифтерит,  
съезжать по блещущему ломко,  
преувеличенному льду,  
в полутропическом каком-то,  
полутаврическом саду...

576

.....  
.....  
.....



О, первого велосипеда  
 великолепье, высота;  
 на раме «Дукс» или «Победа»;  
 надутой шины тишина.  
 Дрожанье и вилы в аллее,  
 где блики по рукам скользят,  
 где насыпи кротов чернеют  
 и низвержением грозят.  
 А завтра пролетаешь через,  
 и, как во сне, поддержки нет  
 и, этой простоте доверяясь,  
 не падает велосипед.

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

синеет, синего синей,  
 почти не уступая в сини  
 воспоминанию о ней.

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

.....от валуна  
посередине от опушки  
еще как днем освещена.

582

Фарфоровые соты синий,  
зеленый, красный мед хранят.  
Сперва из карандашных линий  
слагается шершаво сад.  
Березы, флигельный балкончик —  
все в пятнах солнца. Обмакну  
и заверну погуще кончик  
в оранжевую желтизну.  
Меж тем в наполненном бокале,  
в лучах граненого стекла —  
какие краски засверкали,  
какая радость зацвела!

583

Одни картины да киоты  
в тот год остались на местах,  
когда мы выросли, и что-то  
случилось с домом: второпях  
все комнаты между собою  
менялись мебелью своей,  
шкапами, ширмами, толпою  
неповоротливых вещей.  
И вот тогда-то, под тахтою,  
на обнажившемся полу,  
живой, невероятно милый,  
он обнаружился в углу.

584

Благодарю тебя, отчизна,  
за злую даль благодарю!  
Тобою полн, тобой не признан,  
я сам с собою говорю.

И в разговоре каждой ночи  
сама душа не разберет,  
мое ль безумие бормочет,  
твоя ли музыка растет...

585

Во тьме в незамерзающую воду,  
сквозь тихо падающий снег,  
в обычную летейскую погоду  
вот этим я ступлю на брег.  
И к пристающему парому  
сук тянется, и медленно багром  
паромщик тянется к суку сырому,  
и медленно вращается паром.

586

Здесь всё так плоско, так непрочно,  
так плохо сделана луна,  
хотя из Гамбурга нарочно  
она сюда привезена...

587. ЛАСТОЧКА

Однажды мы под вечер оба  
стояли на старом мосту.  
Скажи мне, спросил я, до гроба  
запомнишь вон ласточку ту?  
И ты отвечала: еще бы!  
И как мы заплакали оба,  
как вскрикнула жизнь на лету...  
Да завтра, навеки, до гроба —  
однажды, на старом мосту...

О нет, мне жизнь не надоела,  
 Я жить хочу, я жить люблю,  
 Душа не вовсе охладела,  
 Утратя молодость свою.

Еще судьба меня согреет,  
 Романом гения упыюсь,  
 Мицкевич пусть еще созреет,  
 Кой-чем я сам еще займусь.

«...монументальное исследование Андрея Белого о ритмах за-  
 гипнотизировало меня своей системой наглядного отмеча-  
 ния и подсчитывания полуударений... и с той поры, в про-  
 должение почти года — скверного, грешного года, — я  
 старался писать так, чтобы получилась как можно более  
 сложная и богатая схема:

Задумчиво и безнадежно  
 распространяет аромат  
 и неосуществимо нежно  
 уж полуувядает сад, —»

В полдень послышался клюнувший ключ, и характерно  
 трахнул замок:  
 это с рынка домой Марианна пришла Николавна;  
 шаг ее тяжкий под томный шумок макинтоша отнес  
 мимо двери на кухню пудовую сетку с п р о д у к т а м и.

Муза Российския прозы, простишь навсегда  
 с капустным гекзаметром автора «Москвы».

Люби лишь то, что редкостно и мнимо,  
 что крадется окраинами сна,

что злит глупцов, что смердами казнимо;  
как родине, будь вымыслу верна.  
Наш час настал. Собаки и калеки  
одни не спят. Ночь летняя легка.  
Автомобиль проехавший навеки  
последнего увез ростовщика.  
Близ фонаря, с оттенком маскарада,  
лист жилками зелеными сквозит.  
У тех ворот — кривая тень Багдада,  
а та звезда над Пулковом висит.

Как звать тебя? Ты полу-Мнемозина,  
полумерцанье в имени твоём,  
и странно мне по сумраку Берлина  
с полувиденьем странствовать вдвоем.  
Но вот скамья под липой освещенной...  
Ты оживаешь в судорогах слез:  
я вижу взор, сей жизнью изумленный,  
и бледное сияние волос.  
Есть у меня сравненье на примете  
для губ твоих, когда целуешь ты:  
нагорный снег, мерцающий в Тибете,  
горячий ключ и в инее цветы.  
Ночные наши бедные владенья,  
забор, фонарь, асфальтовую гладь  
поставим на туза воображенья,  
чтоб целый мир у ночи отыграть.

Не облака, а горные отроги;  
костер в лесу, не лампа у окна.  
О, поклянись, что до конца дороги  
ты будешь только вымыслу верна...  
Под липовым цветением мигает  
фонарь. Темно, душисто, тихо. Тень  
прохожего по тумбе пробегает,  
как соболь пробегает через пень.  
За пустырем, как персик, небо тает:  
вода в огнях, Венеция сквозит, —  
а улица кончается в Китае,  
а та звезда над Волгою висит.  
О, поклянись, что веришь в небылицу,  
что будешь только вымыслу верна,  
что не запрешь души своей в темницу,  
не скажешь, руку протянув: стена.

Виноград созрел, изваянья в аллеях синели.  
Небеса опирались на снежные плечи отчизны...

Из темноты, для глаз всегда неожиданно,  
она, как тень, внезапно появлялась,  
от родственной стихии отделясь.  
Сначала освещались только ноги,  
так ставимые тесно, что казалось:  
она идет по тонкому канату.  
Она была в коротком летнем платье  
ночного цвета — цвета фонарей,  
темней стволов, лоснящейся панели,  
бледнее рук ее, темней лица.

.....ума большого  
не надобно, чтобы заметить связь  
между ученьем материализма  
о прирожденной склонности к добру,  
о равенстве способностей людских,  
способностей, которые обычно  
зовутся умственными, о влиянье  
на человека обстоятельств внешних,  
о всемогущем опыте, о власти  
привычки, воспитания, о высоком  
значении промышленности всей,  
о праве нравственном на наслажденье —  
и коммунизмом.

Перевожу стихами, чтобы не было так скучно.  
Карл Маркс: «Святое семейство».



Что скажет о тебе далекий правнук твой,  
 то славя прошлое, то запросто ругая?  
 Что жизнь твоя была ужасна? Что другая  
 могла бы счастьем быть? Что ты не ждал другой?

Что подвиг твой не зря свершался — труд сухой  
 в поэзию добра попутно обращая  
 и белое чело кандальника венчая  
 одной воздушною и замкнутой чертой?

Увы! Что б ни сказал потомок просвещенный,  
 всё так же на ветру, в одежде оживленной,  
 к своим же Истина склоняется перстам,

с улыбкой женскою и детскою заботой,  
 как будто в пригоршне рассматривая что-то,  
 из-за плеча ее невидимое нам.

Прощай же, книга! Для видений  
 отсрочки смертной тоже нет.  
 С колен поднимется Евгений,  
 но удаляется поэт.  
 И всё же слух не может сразу  
 расстаться с музыкой, рассказу  
 дать замереть... судьба сама  
 еще звенит, и для ума  
 внимательного нет границы  
 там, где поставил точку я:  
 продленный призрак бытия  
 синее за чертой страницы,  
 как завтрашние облака,  
 и не кончается строка.

## СТИХОТВОРЕНИЕ ИЗ РОМАНА «LOOK AT THE HARLEQUINS!»

---

### 597. ВЛЮБЛЕННОСТЬ

Мы забываем, что влюбленность  
не просто поворот лица,  
а под купавами бездонность,  
ночная паника пловца.

Покуда снится, снись, влюбленность,  
но пробуждением не мучь,  
и лучше недоговоренность,  
чем эта щель и этот луч.

Напоминаю, что влюбленность  
не явь, что метины не те,  
что, может быть, потусторонность  
приотворилась в темноте.

1973

## ***ВАРИАНТЫ***

## 412'. ДЕКАБРЬСКАЯ НОЧЬ

(Из Альфреда де Мюссе)

Посв<ящается> В. Ш.

*Поэт*

Мне помнится, в школьные дни  
Раз в классе остались одни  
Вечерние тени да я.  
За стол мой сел странный прохожий,  
Ребенок весь в черном, похожий  
Как брат на меня.

Лицо было грустно-красиво;  
Он в блеске лампы тоскливой  
Читал в моей книге со мной;  
Склонившись на руки мои,  
Остался он так до зари,  
Задумчив, с улыбкой немой.

Шестнадцатый год мне настал,  
Когда я однажды блуждал  
В лесу; у древесного пня  
На вереск сел странный прохожий,  
Сел юноша в черном, похожий  
Как брат на меня.

Свой путь у него я узнал.  
Я помню, он лютию держал  
И веткой шиповник густой;  
Он бросил мне дружеский взгляд  
И, чуть обернувшись назад,  
На холм указал мне рукой.

В любовь когда верят глубоко,  
Я раз горевал одиноко  
Над хрупкостью первого сна.  
И тут же к огню сел прохожий,  
Бедняга, весь в черном, похожий  
Как брат на меня.

Он мрачен был, с тайной тоской;  
Он меч нес одною рукой,  
Другой указал свод небес.  
Казалось, он тоже страдал,  
Но только вздохнул, все молчал  
А после как греза исчез.

В то время, когда вольнодумно,  
Увлечшись пирушкою шумной,  
Я поднял свой кубок вина,  
К столу близ меня сел прохожий,  
Гость новый, весь в черном, похожий  
Как брат на меня.

Под мантией были одеты  
Лохмотья багряного цвета;  
Он был в увядавшем венке  
Из мирта: взор жадно искал моего,  
Разбился бокал мой, касаясь его,  
В моей ослабевшей руке.

Год минул; с вечернею тенью  
У ложа отца на колени  
Я пал, в очи смерти глядя;  
И тут же сел странный прохожий,  
Несчастный, весь в черном, похожий  
Как брат на меня.

Он будто был ангел печали,  
В очах его слезы дрожали,  
А пурпур был цвета крови;  
Сплетались терни на бледном челе,  
Разбитая лютия была на земле,  
А меч был в груди.

Я в первые эти года  
Запомнил его навсегда,  
Всю жизнь его узнавал.  
Таинственный призрак и странный...  
Он Богом иль бесом мне данный,  
Его я повсюду встречал.

Когда же, уставши томиться,  
Чтоб с прежнею жизнью проститься,  
Хотелось покинуть родные пути,  
Когда, чтоб бесцельно блуждать,  
Хотело<сь> уйти и искать  
Какой-то надежды следы:

У Ниццы в солнечных долинах  
И где нисходят Апеннины,  
Средь Эдельвейсов Альп, где так свежа роса,  
В лимонных рощах Генуи и Пизы,  
Где поутру в прохладе темно-сизой  
Полдневный зной рождают небеса;

Где над гандолами сияют,  
Пока гитары вдохновляют,  
Венецианские восходы;  
Где в Лидо темном, помнится, скользили  
И умирали на траве могилы  
Адриатические воды;

Везде, где в безбрежности дали  
И сердце и очи устали  
Страдать вечно свежеею точкой,  
Везде, куда скука хромая,  
Усталость с собою таская,  
Водила за новой звездой;

Везде, где, свой взор устремляя  
На блеск неизвестного края,  
Следил я за тенью мечты,  
Везде, где и жизни не знал я,  
И прошлое снова видал я  
В лице человеческой лжи.

Везде, где я смутно блуждал  
И в руки лицо опускал,  
Как женщина громко рыдая,  
Повсюду, где я, как овца,  
Терявшая шерсть у куста,  
Шел медленно, душу теряя,  
Везде, где хотел засыпать,  
Везде, где хотел умирать,  
Везде, где ждал нового дня,  
В пути мне встречался прохожий,  
Паломник весь в черном, похожий  
Как брат на меня.

Кто ты, призрак, где слезы упали,  
Я повсюду встречаю тебя,  
Но твоей я не верю печали  
И что ты моя злая судьба:  
Слишком много в улыбке терпенья,  
Слишком жалости много в слезах.  
Пред тобой я люблю Провиденье  
Скорбь твоя, как сестра всех мучений,  
Схожа с дружбой в этих чертах.

Ночью, грустный, когда мне не спится,  
Ты являешься, призрак, опять.  
Ветер бился в окне, будто птица;  
Я один был, склонясь на кровать.  
Это место лобзания знает,  
Оно знает безумства любви...  
Только женщина так забывает,  
Будто медленно жизнь разрывает  
и себя, и лоскутья свои...

Я собрал что она мне писала,  
Я собрал все останки любви, —  
Это прошлое напоминало  
Одnodневные клятвы свои.  
Я дрожащими брал их руками.  
Много счастья в святынях былых.  
Слезы сердца зарыты сердцами  
И уж завтра забыты очами,  
Лишь сегодня ронявшими их.

Я в кусочек монашеской рясы  
Завернул что осталось от грез,  
Будет жить до последнего часа  
Только прядь этих темных волос.  
И как тот, кто, ныряя, пропал,  
Я терялся во всем, что забыто,  
И повсюду свой лот опускал,  
И вдали от людей я рыдал  
Над любовью навеки зарытой.

Уж на кладе любимом хотел я  
Ставить черного воска печать,  
Я его отдавал, но не смел я  
Этой смерти бесцельной понять.  
Слабой женщины гордость напрасна,  
И безумна порою она.  
Отчего лгать душе так ужасно?  
Отчего ты рыдала так страшно,  
Если ты не любила меня?

И хотя ты тоскуешь, рыдая,  
Но мечта разделяет уж нас.  
Вы уйдите, минуты считая,  
Что меня отделяют от вас.  
Да, уйдите. Пора нам прощаться.  
Ваша гордость довольна собой;  
Но моя еще может смеяться,

Могут скорби еще уместаться  
В ране, сделанной вашей рукой.

Да, уйдите. Бессмертна живая,  
Ведь природа не всё вам дала,  
Вы прошли, красотой увлекая,  
Но душа вас прощать не могла.  
Да, уйдите, за роком блуждая,  
Вас терявший не всё потерял,  
Да, уйдите, любовь расточая...  
Вечный Бог, если так покидаешь,  
Отчего ты любила меня?

Но внезапно во тьме черно-синей  
Призрак тихий скользнул в вышине,  
Мне почудилась тень на гардине...  
Вот она подлетает ко мне.  
Кто ты, призрак, безмерно несчастный,  
Странный образ, весь в черном одет,  
Что желаешь ты, странник злосчастный,  
Или в зеркале этом неясно  
Я свой собственный вижу портрет?

Ты, который усталость не знаешь,  
Призрак юности бледной моей,  
Кто ты, странник, зачем ты блуждаешь  
Средь встречаемых мною теней?  
Кто ты, гость мой, всегда одинокий,  
Вечный друг в этом горестном сне?  
Так блуждать разве долг твой высокий,  
Отвечай, иль ты брат мой далекий,  
Приходящий лишь с горем ко мне?

### *Видение*

Мой друг, у нас общий родитель,  
Но я не твой ангел-хранитель,  
Не злая судьбина людей.  
Шаги тех, кого я люблю,  
Не знаю, к какому огню  
Свернут средь печальных ночей.

Зовусь я не бесом, не Богом,  
К тебе, и к царям, и к убогим  
Под именем брата приду.  
Всегда будешь жить у меня,  
И с тенью последнего дня  
К тебе на могилу сойду.



Тебя мне дано понимать,  
Ко мне, если будешь страдать,  
Пусть скорбь повернется твоя.  
С тобой я повсюду пойду,  
Но тронуть руки не могу,  
Мой друг, одиночество — я.

*Декабрь 1915*

**477\*. VERS COMPOSES PENDANT L'INSOMNIE**

Je ne puis m'endormir. La nuit  
recouvre tout, lourde de rêve.  
Seule une montre va sans trêve,  
monotone, auprès de mon lit.  
Lachésis, comme re loquace,  
frisson d'ombre, vie qui passe,  
comme une souris! bruit menu,  
dis, pourquoi me tourmentes-tu?  
Quel sens as-tu morne murmure?  
Es-tu la petite voix dure  
du temps, du jour que j'ai perdu?  
Que veux-tu donc me faire entendre?  
Est-ce un appel? Est-ce Cassandre?  
Je tache de savoir pour sur,  
d'apprendre ton langage obscur.

<1937>



## ***ПРИМЕЧАНИЯ***



В настоящее издание включены: шесть книг русских стихотворений В. В. Набокова (Сирина) — «Два пути» (1918), «Гроздь» (1923), «Горный путь» (1923), «Возвращение Чорба. Рассказы и стихи» (1930) и «Стихотворения 1929 — 1951» (1952), а также юношеский сборник «Стихи» (1916) (в Приложении) в полном объеме и в авторской композиции; русские стихотворения из сборника «Poems and Problems» (1970), которые не вошли в предшествовавшие ему сборники; а также стихотворения, не включавшиеся автором в сборники; английские стихи Набокова из сборника «Poems and Problems» и не вошедшие в него; переводы стихотворений других поэтов на русский, английский и французский; шуточные стихотворения и стихи из романов «Дар» (1937 — 1938, 1952) и «Look at the Harlequins!» («Смотри на арлекинов!») (1974).

За пределами издания остались драмы в стихах («Скитальцы» (1923), отрывок «Агасфер» (1923), «Смерть» (1923), «Дедушка» (1923), «Трагедия господина Морна» (1924), «Полюс» (1924)) — они переизданы в: *Набоков В. В. Собр. соч.: В 5 т. / Сост. Н. Артеменко-Толстой; Предисл. А. Долинина; Примеч. А. Долинина, М. Маликовой, О. Скопечной и др. СПб.: Симпозиум, 1999 — 2000; «Трагедия господина Морна» — см. в: Звезда. 1997. № 4.* Также в издание не включены шуточные стихотворения из перевода «Аня в стране чудес» Л. Кэрролла (1922); пародийные стихотворения из рассказов «Адмиралтейская игла», «Облако, озеро, башня» и «Истребление тиранов», включенные в авторский сборник «Стихи» 1979 г.; авторские подстрочные переводы его русских стихотворений из сборника «Poems and Problems»; а также поэма Джона Шейда из романа «Pale Fire» («Бледный огонь»). Ссылки на все русскоязычные произведения Набокова даются по указанному выше собранию сочинений, которое на сегодня является наиболее полным, текстологически исправным и подробно откомментированным изданием Набокова в России. В него вошли и русские стихотворения автора, но так как это издание построено по хронологически-жанровому принципу, композиция авторских сборников в нем нарушена (кроме сборников «Гроздь» и «Горный путь») и стихотворения помещены в порядке их первых публикаций, по ним же печатаются тексты. В настоящем издании воспроизведены состав и композиция сборников, также добавлены разделы английских стихотворений Набокова и его переводов на иностранные языки (избранные английские стихотворения Набокова перепечатывались в сборниках Набокова *Избранное / Сост. Н. А. Анастасьев. М.: Радуга, 1990; Круг: Поэтические произведения; Рассказы / Сост., примеч. Н. И. Толстой. Л.: Худож. лит., 1990*). По этому же принципу построено другое существующее издание: *Набоков В. В. Стихотворения и поэмы / Сост., вступ. статья, подгот. текстов и примеч. В. С. Федорова. М.: Современник,*

1991 — в котором полностью перепечатаны все основные сборники русских ст-ний Набокова (кроме сб. «Стихи» 1979 г.), но в нем в разделе не вошедшего в прижизненные сборники приводятся в основном ст-ния, впервые опубликованные в сборнике 1979 г. В нашем издании, помимо иноязычной части, значительно расширен раздел не входившего в прижизненные сборники, указаны варианты текстов, уточнены датировки, в том числе и по материалам архива Набокова в Коллекции Берга Нью-йоркской публичной библиотеки.

Последний считающийся авторизованным сборник «Стихи» (Анн Арбор: Ардис, 1979) — вышедший после смерти автора, но отбор для которого он успел сделать — в котором избранные ст-ния расположены в хронологическом порядке, целиком воспроизвести здесь, к сожалению, невозможно, так как на это не было получено разрешение от наследников Набокова. Из 247 ст-ний этого сборника 47, преимущественно написанных в 1923–1924 гг., опубликованы в нем впервые — список их приводится в конце комментария; нам остается только адресовать читателей к этому сборнику. Остальные ст-ния этого сборника входили в ранние сборники и/или публиковались в периодической печати, то есть они включены в соответствующие разделы настоящего издания. Авторская правка в этих ст-ниях относилась в основном к области пунктуации (влиявшей, впрочем, на интонационную структуру текста: как правило, снимались многоточия, многочисленные восклицательные знаки), в ряде случаев Набоков менял заглавия ст-ний или убирал их вовсе, а иногда (в самой малой степени) правил и сам текст, или же возвращался к редакции первых публикаций, измененной впоследствии. Все ст-ния, включенные в «Стихи» 1979, печатаются по этому сборнику. В остальных случаях ст-ния, входившие в прижизненные сборники, печатаются по тексту этих сборников, не входившие — по хронологически позднейшей публикации. Формула «Печ. по...» во всех случаях опускается. Через двойной дефис указываются все авторские сборники, в которые входили ст-ния, а также антологии: На западе: Антология русской зарубежной поэзии / Сост. Ю. П. Иваск. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953; *Modern Russian Poetry: An anthology with verse translations edited and with an introduction by Vladimir Markov and Merrill Sparks*. Alva: Mac Gibbon and Kee, 1969 (первое амер. изд. — Indiannapolis: Bobbs-Merril, 1967); *Nabokov's Congeries* / Ed. by Page Stegner. New York: Viking, 1968 — так как эти перепечатки Набоков сам выделил в примечаниях к сборнику «*Poems and Problems*». Везде указываются лексические варианты относительно основного текста. Тексты печатаются с исправлением типографских погрешностей и в соответствии с современными нормами орфографии и пунктуации (но с сохранением специфических особенностей, отражающих индивидуальную авторскую манеру). Даты написания стихов, помещенные под текстами, являются авторскими, в ряде случаев они уточнены по: *Juliar Michael. Nabokov: A Descriptive Bibliography*. New York; London: Garland, 1986; *Boyd Brian. Nabokov's Russian Poems: A Chronology* // *The Nabokovian*. № 21. Fall 1988. P. 13–28; *Johnson D. Barton, Wilson Wayne C. Alphabetic and Chronological Lists of Nabokov's Poetry* // *Russian Literature Triquatrelly*. 1991. № 24. P. 355–418. В угловых скобках ука-

заны даты, не позднее которых было написано данное ст-ние, в основном это даты первых публикаций или даты, установленные по косвенным источникам. К сожалению, мы не имели возможности привести в настоящем издании ст-ния из архивов Набокова в Нью-Йоркской публичной библиотеке США (Berg Collection), в Библиотеке Конгресса США (Вашингтон) и в семейном архиве в Монтрё (Швейцария), так как использование и публикация этих материалов возможна только с согласия наследников писателя (см.: *Boyd Brian. Manuscripts // The Garland Companion to Vladimir Nabokov. New York; London: Garland, 1995. P. 341*). Пользуюсь приятной возможностью поблагодарить за доброе отношение, полезные советы и помощь в поиске материалов Додика Баскина, Аркадия Блюмбаума, Евгения Борисовича Белодубровского, Галину Борисовну Глушанок, Марину Феофановну Гришакову, Дона Бартона Джонсона, Александра Алексеевича Долинина, Любовь Федоровну Клименко, Юрия Левинга, Ирину Лукка, Галину Васильевну Морозову, Светлану Польскую, Омри Ронена, Илону Светликову, Наталью Ивановну Толстую, Пекку Тамми, Дитера Циммера.

### Список сокращений

- Бойд. Русские годы — *Бойд Б.* Владимир Набоков: русские годы: Биография / Пер. с англ. М.: Издательство Независимая Газета; Дребезжание моих ржавых русских струн... — «Дребезжание моих ржавых русских струн...» Из переписки Владимира и Веры Набоковых и Романа Гринберга (1940–1967) / Публ., предисл. и комм. Р. Янгирова // In *Memento*: Исторический сборник памяти А. И. Добкина. СПб.; Париж: Феникс-Athenaeum, 2000.
- Друзья, бабочки и монстры: Из переписки Владимира и Веры Набоковых и Романа Гринберга (1940–1967) / Публ., предисл. и комм. Р. Янгирова // *Диаспора: Новые материалы*. СПб.; Париж: Феникс-Athenaeum, 2001.
- Левин — *Левин Ю. И.* Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998.
- На западе — *На западе: Антология русской зарубежной поэзии* / Сост. Ю. П. Иваск. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. СПб.: Симпозиум, 2001.
- Набоков: pro et contra — В. В. Набоков: pro et contra: Антология. Т. 1 / Сост. Б. Аверина, М. Маликовой и А. Долинина. СПб.: РХГИ, 1997.
- Набоков I, II, III, IV, V — *Набоков В. В.* Собрание сочинений: В 5 т. / Сост. Н. Артеменко-Толстой; Предисл. А. Долинина; Примеч. А. Долинина, М. Маликовой, О. Сконечной и др. СПб.: Симпозиум, 1999–2000.
- Русская литература в изгнании — *Струве Г. П.* Русская литература в изгнании. Paris: YMCA-Press, 1984.
- Стихи и комментарии — Владимир Набоков. Стихи и комментарии. Заметки «для авторского вечера 7 мая 1949 года» / Вступ. ст., публ. и комм. Г. Б. Глушанок // *Наше наследие*. 2000. № 55.
- Стихи 1979 — *Набоков В.* Стихи. Анн Арбор: Ардис, 1979.

- С-1952 — *Набоков В. Стихотворения 1929—1951*. Париж: Рифма, 1952. Berg Collection — New York Public Library. Berg Collection. Nabokov V. V.
- Dear Bunny. Dear Volodya — «Dear Bunny. Dear Volodya...». The Nabokov-Wilson Letters, 1940—1971. Revised and expanded edition. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 2001.
- The Garland Companion — The Garland Companion to Vladimir Nabokov/ Ed. by Vladimir E. Alexandrov. New York and London: Garland, 1995.
- Juliar — *Juliar Michael*. Nabokov: A Descriptive Bibliography. New York; London: Garland, 1986.
- Modern Russian Poetry — Modern Russian Poetry: An Anthology with verse translations / Ed. by V. Markov and M. Sparks. Alva: Mac Gibbon and Kee, 1969.
- Nabokov's Congeries — Nabokov's Congeries / Ed. by Page Stegner. New York: Viking, 1968.
- Nabokov-Wilson Letters — The Nabokov-Wilson Letters. Correspondence Between Vladimir Nabokov and Edmund Wilson, 1941—1971 / Ed., annotated and with an introductory essay by Simon Karlinsky. New York: Harper and Row, 1979.
- Poems 1959 — *Nabokov V. Poems*. Garden City, New York: Doubleday and Company, Inc., 1959.
- P&P — *Nabokov V. Poems and Problems*. New York; London: McGraw-Hill, 1970.
- Pushkin, Lermontov, Tyutchev. Poems — Three Russian Poets; Pushkin, Lermontov, Tyutchev. Poems / Transl. by Vladimir Nabokov. London: Lindsay Drummond, 1947.
- Three Russian Poets — Three Russian Poets: Selections from Pushkin, Lermontov and Tyutchev. / Transl. by Vladimir Nabokov. Norfolk, CT: New Directions, 1944.

#### ИЗ АЛЬМАНАХА «ДВА ПУТИ»

Два пути. Альманах. Пг.: Типо-литография инж. М. С. Персона.

В него входят 8 ст-ний А. В. Балашова, соученика Набокова по Тенишевскому училищу, и 12 ст-ний Набокова, из них только одно («Дождь пролетел») включалось в последующие сборники. Балашов Андрей Владимирович — см. вступ. статью, с. 10—11.

4. Два пути, без загл. -- P&P -- Стихи 1979. В примеч. к публикации ст-ния в P&P Набоков дал пояснение: «Выражение "летит дождь" заимствовано мной у старого садовника, описанного мной в "Других берегах", который пользовался им, говоря о легком дождике перед самым выходом солнца. Стихи эти были мною сочинены в парке нашего имения, в последнюю весну, проведенную там моей семьей. Оно было напечатано в сборнике юношеских стихотворений одного моего школьного товарища и моих, "Два пути", вышедшем в Петрограде, в январе 1918 г., и было положено на музыку композитором



Владимиром Ивановичем Полем в начале 1919 г.» (P&P. P. 19. Русский перевод цит. по: Стихи 1979. С. 319). Очевидно, в 11-й главе «Speak, Метогоу», не включенной в «Другие берега», описывается сочинение именно этого ст-ния (см.: Маликова М. Э. «Первое стихотворение» В. Набокова. Перевод и комментарий // Набоков: pro et contra. С. 741 — 771).

11. В ст-нии использованы мотивы цикла А. Блока «Пузыри земли» (1904—1905).

## ГРОЗДЬ

В. Сирин. Гроздь. Берлин: Гамаюн, 1923 (сборник вышел в декабре 1922 г.). Несмотря на то что сборник вышел на месяц раньше «Горнего пути» (январь 1923), в него входят ст-ния, написанные позже (в основном с июля 1921 по апрель 1922 г., в «Горнем пути» — с начала 1918 до июня 1921 г.). Из 36 ст-ний сборника только 7 вошли в Стихи 1979. Сборник был подготовлен к печати стараниями отца поэта В. Д. Набокова и Саши Черного (А. М. Гликберга), когда сам Набоков еще учился в Кембридже. В некрологе «Памяти А. М. Черного» (1932) Набоков вспоминал с благодарностью: «Он не только устроил мне издание книжки моих юношеских стихов, но стихи эти разместил, придумал сборнику название и правил корректуру. Вместе с тем я не скрываю от себя, что он, конечно, не так высоко их ценил (вкус у А. М. был отличный), — но он делал доброе дело и делал его основательно» (Набоков III. С. 704). Все рецензенты отметили традиционализм и вторичность поэзии Сирина: «Плохо не то, что стихи В. Сирина ультраэстетны, а то, что они затасканы и эстетны по-плохому. Для Сирина "новый мир — кощунственен", потому что пытается он спастись от него, оградиться и создать себе свой собственный иной мир или, точнее, видимость такого мира. Однако для подобного кардинального задания Сирин недостаточно самостоятелен и недостаточно силен. И его мир смахивает скорей на посредственную бутафорию. Все его эпитеты взяты от раннего символизма (багряные тучи, лазурные скалы, лазурные страны, лучезарные щиты, полнолуния и т. д.), многие строки навеяны Блоком. <...> Но ведь мало "заключать" в стихи хотя бы самые красивые изыски! Перечитываешь "Гроздь" и тут же забудешь — стихи расплываются, без остова они — остается лишь привкус слащавости и оперности. А жалко <...> в Сирине есть, несомненно, поэтическое дарование, поэтическая культура, техника. Отдельные строки это явно доказывают» (А. Б<ахра>х <Рецензия> // Дни (Берлин). 1923. № 63, 14 января). К. Мочульский отметил, что появление Сирина на исходе большой художественной культуры и его сознательное наследование «отцам» — Пушкину, Тютчеву, Фету, Блоку — преждевременно состарило его как поэта: такие «рано умудренные юноши» этой культурой «насквозь пропитаны и отравлены», «<и>х стихи сразу рождаются уверенными: они в силу своего рождения владеют техникой и хорошим вкусом. Но наследие давит своей тяжелой пышностью: все, к

чему ни прикасается их живая рука, становится старым золотом. Трагизм их в том, что им, молодым, суждено завершать. <...> У них отнят дар непосредственности <...> осознание себя как поэта, размышление о поэзии, о творчестве — симптом зрелости, идущей к закату. <...> Мотив пушкинского памятника — лейтмотив поэзии Сирина. Он называет свой стих "простым, радужным и нежным", "сияющим", "весенним"; в нем его возлюбленная обретает бессмертие. Но это блеск не рассвета, а заката. У стихов Сирина большое прошлое и никакого будущего» (К. В. <Мочульский>. В. Сирин Гроздь. Берлин: Гамаюн, 1923 // Звено (Париж). 1923. № 12, 23 апреля). Только у В. Амфитеатрова-Кадашева классичность поэзии Сирина вызвала восторг: «"Гроздь" — блестящее доказательство, что надежды, возбужденные первыми опытами молодого поэта, не остались неоправданными. <...> Сирин — поэт светлый, певец Божественной Ясности, Золотой Гармонии. В дни, когда весь мир, все искусство охвачено бешеным устремлением к Дисгармонии, к Хаосу, — он хочет меж безобразного и безобразного разрушения форм воздвигнуть строгий и чистый воздушный замок поэзии *внутренне классической*. <...> Эта влюбленность в "улыбку детскую земли", это радостное приятие мира, в котором сквозь многопеструю ткань фактов поэт прозревает стройное Единство, — лейтмотив Сирина. Верящий в гармонию, жаждущий некоей полноты и знающий, что такая полнота — неоспоримо существующая реальность, Сирин никогда не отравляется горечью сомнений, муками разрыва между творческим "я" и миром. Зло и смерть — продукты этого разрыва — для просветленной мысли и просветленного духа Сирина кажутся призраками, нереальным, мороком <...>. Сирин не замыкается в тесный круг холодного одиночества, не стремится к мировому разладу — просто и благостно сливает он себя с бытием — и в этом оптимизме, в этой *вере* — главное, неодолимое очарование его поэзии» (Вл. Кад. <Владимир Амфитеатров-Кадашев>. <Рецензия> // Сегодня (Рига). 1923, 25 февраля; цит. по: Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: Критические отзывы, эссе, пародии / Под общ. ред. Н. Г. Мельникова. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 22). Г. Струве в обзоре нескольких стихотворных сборников, вышедших в 1922—1923 гг. («Тяжелая лира» Вл. Ходасевича, «Tristia» О. Мандельштама и «Двор чудес» И. Одоевцевой) отметил немногочисленные достоинства Сирина («техническое умение, и острое чувство языка, и вескость образов»), некоторые мелкие погрешности («местами известная сентиментальность и слащавость, доходящая даже до безвкусицы (второе ст-ние "На смерть Блока"), перегруженность деталями ("Ночные бабочки")»), и назвал «главный грех Сирина» — чисто внешний подход к миру, бедность внутренней символики, отсутствие подлинного творческого огня: «Он должен вырваться из плена придавившей его ладони, попытаться сбросить с себя мир, слишком тяжелый, одновременно холодный и пышный, громадой льдов заслоняющий иное бытие. Сирину нужно освободиться от пут логичности, связующей творческую свободу. От чтения его стихов — часто хороших, умелых стихов! — становится тяжело и душно, хочется какого-то порыва, зияния — хотя бы ценой нарушения гармонии. <...> Но будущее

Сирина все впереди, и верится, что он не совсем еще запутался в сетях своего пышного, павлиньего мира. Об этом свидетельствуют некоторые из его последних стихов, не вошедшие в "Гроздь". (Струве Г. Письма о русской поэзии. II // Русская мысль (София). 1923. Кн. I—II). О «поверхностной переимчивости» Сирина писал также Роман Гуль: «Небольшая, но очень скучная книжка. По прочтении в памяти не остается ничего — ни яркой образности, ни интересной музыкальности, ни темы даже. Но надо сказать: ничто и не шокирует. Рифмы аккуратны, размеры подобраны, всё на месте. Это — хороший образец поэта "первого ученика". Видно знание поэтических приемов и поэзии старых поэтов. Все отпечатано по изношенным клише. Нигде, ни в чем нет бьющегося "своего" пульса. <...> Гладенько и ровненько. Но и не свежо. Внешняя затертость стихотворной формы гармонирует вполне с темами. Поэт — в мелочах. Кажется, что дальше "голубой гостиной" путешествий не было. А вряд ли сейчас это может служить темой. К тому же "мелочи" Сирина и не "прелестны" и не "воздушны", а по старомодному скучны. Жаль, что "Гроздь" — вторая книга стихов. Было бы лучше, если б она была — первая» (Г. <Р. Гуль>. <Рецензия> // Новая русская книга (Берлин). 1923. № 5/6). (Р. Гуль и Г. Струве считают «Гроздь» второй книгой стихов, а «Горний путь» — первой потому, что в нее вошли более поздние ст-ния).

### 1. ГРОЗДЬ

13. Руль (Берлин). 1922. № 470, 4 июня. -- Стихи 1979. ... *лилейно-белый, живет павлин*. В ст-ниях № 13 и 46 Набоков тоже называет павлина белым, очевидно, имея в виду обратное соединение спектра в белый цвет. Возможно, это аллюзия на ст-ние А. Ахматовой 1910 г., посвященное Н. Гумилеву: «Он любил три вещи на свете: / За вечерней пенью, белых павлинов / И стертые карты Америки».

15. Автограф — в открытке матери из Кембриджа от 25 октября 1921 г. под загл. «Сириньяна»: «Радость моя мамочка, этот стишок докажет тебе, что настроение у меня как всегда радостное. Если я доживу до ста лет, то и тогда душа моя будет разгуливать в коротких штанишках». (Berg Collection; ср. также: Бойд. Русские годы. С. 223).

19. Руль 1921. № 321, 7 декабря, как второе ст-ние цикла «Осенние листья» (со ст-ниями 275 и 277).

20. Руль. 1922. № 366, 29 января.

21. Руль. 1921. № 300, 11 ноября, под загл. «Сказанье (из апокрифа)», опубликовано в сороковую годовщину смерти Ф. М. Достоевского. Автограф — в письме матери из Кембриджа от 6 ноября 1921 г.: «Сегодня же, муза моя разговелась стишком, символ которого: и в уродстве можно приметить красоту. Стишок сей очень украсил бы "Руль"..."»

(Berg Collection). По наблюдению О. Ронена (Ronen Omry. Nabokov and Goethe // *Cold Fusion. Aspects of the German Cultural Presence in Russia* / Ed. by Gennady Barabtarlo. New York; Oxford: Berghahn Books, 2000. P. 245–246), ст-ние является переложением перевода Гёте из Низами (Гете И.-В. *Западно-Восточный Диван*. М.: Наука, 1988. С. 194).

22–23. 1. Руль. 1921. № 225, 14 августа, среди многочисленных материалов, посвященных смерти Блока, на той же странице заметка В. Д. Набокова «К кончине А. Блока». Ст-ние представляет собой монтаж маркированной лексики, рифм, синтаксических и ритмических структур «Стихов о Прекрасной Даме» и «Распутий» А. Блока (см.: Долинин А. А. Набоков и Блок // Тезисы докладов научной конференции «А. Блок и русский постсимволизм». Тарту, 1991. С. 39–40). *Но лагони ее белоснежной бледный рыцарь коснуться не мог*. По наблюдению Н. И. Толстой (см.: Набоков В. *Круг: Поэтические произведения; Рассказы / Сост., примеч. Н. И. Толстой; Вступ. ст. А. Г. Битова*. Л.: Худож. лит. 1990. С. 518), возможно, аллюзия на пьесу Блока «Роза и Крест» (1912) (д. IV, сцена 4, реплика смертельно раненого рыцаря Бертрана).

2. Руль. № 256, 20 сентября. По частному эпистолярному замечанию Г. Струве, «У Набокова среди ранних есть много весьма фальшивых стихотворений на религиозные темы (очень трогательных иногда) — религиозности в нем никогда ни на йоту не было. Но особенно фальшиво и безвкусно его стихотворение о том, как Блока принимают в раю Пушкин, Тютчев и др. поэты» (Письмо В. Маркову от 17 декабря 1955 г. цит. по: В. Набоков в отзывах современников / Предисл. и подгот. текста О. Коростелева // *Литературное обозрение*. 1996. № 3. С. 112).

24. Руль. 1922. № 560, 1 октября, без загл., с посвящ. «Ивану Бунину» -- Стихи 1979. 26 ноября 1922 г. Набоков из Берлина послал это ст-ние И. Бунину в письме со следующим ученическим обращением: «Простите же мне мою смелость, простите, что докучаю вам непрошеным приветом. Я хочу только, чтобы вы поняли, с каким строгим восторгом я гляжу с моего холма на сверкающую вершину, где в скале вами вырезаны вечные, несравненные слова» (Архив Бунина в Лидсе, цит. по: Шраер М. Набоков: Темы и вариации. СПб.: Академический проект. 2000. С. 134). Юлий Айхенвальд отметил, что «по стопам певца «Листопада» сознательно хочет идти наш начинающий автор» (Б. К. <Айхенвальд Ю.>. *Литературные заметки // Руль*. 1923. 28 января). Набоков называл «удивительные струящиеся стихи» Бунина — «лучш<им>, что было создано русской музой за несколько десятилетий» и предпочитал их «той парчовой прозе, которой он был знаменит» (В. Сирин. *Ив. Бунин. Избранные стихи // Руль*. 1929. 22 мая, цит. по: Набоков И. С. 672; «Другие берега» // Набоков В. С. 243), подробнее об отношениях Набокова и Бунина см.: Шраер. *Цит. соч.* С. 128–194. *Лиловый лоск*. Набоков назвал Бунина «цветовидцем» и выделил у него «лиловый» (письмо от 1938 г. Набокова к американской славистке Е. Малоземовой, писавшей диссертацию о Бунине, цит. по: Там же. С. 136). *В мире новом, кощунственном*. В бунинском контексте слово «кощунственный» у Набо-

кова отсылает к выражению Блока «слов кощунственных творец» («За гробом», 1908) и обозначает символистскую и модернистскую поэтику: в письме Бунину (18 марта 1921 г.) Сирин называет его единственным служителем прекрасного «в наш кощунственный век» (письмо из Архива Бунина в Лидсе, цит. по: Там же. С. 134), в рец. на «Избранные стихи» Бунина (1929): «Стихи Бунина — лучшее, что было создано русской музой за несколько десятилетий. Когда-то, в громкие петербургские года, их заглушало блестящее бряцание модных лир; но бесследно прошла эта поэтическая шумиха — развенчаны или забыты "слов кощунственные творцы"…» (Набоков II. С. 672).

## II. ТЫ

26. Вкл. в: Стихи 1979. Ср. темы «зова» и «ожидания» в цикле Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (1901–1902).

27. Руль. 1922. № 487, 25 июня. По поводу этого ст-ния К. В. Мочульский заметил: «Не верится, что "азбуке душистой ветерка учился он у ландыша и лани". Эта азбука не дается так легко... <...> Не из гербария ли Фета эти ландыши?» (К. В. <Мочульский>. В. Сирин. Гроздь. Берлин: Гамаюн, 1923 // Звено. 1923. № 12, 23 апреля).

28. Вкл. в: Стихи 1979.

29. Светлицу /ее гуши — очевидно, отсылка к имени невесты Набокова Светланы Зиверт. Одним из вариантов. заглавия сборника «Горный путь» было «Светлица» (Бойд. Русские годы. С. 225).

31. Огни / в усадьбе прагега. Здесь, как и в ряде других произведений Набокова (см. романы «Машенька» (1926), «Защита Лужина» (1930), «Дар» (1937–1938, 1952) автобиографию «Другие берега» (1954)), действие которых происходит в загородном имении, описывается усадьба Рождествено, в 69 верстах от Петербурга по Лужскому шоссе, купленная в 1890 г. дедом Набокова по материнской линии И. В. Рукавишниковым и унаследованная автором в 1916 г.

34. Г. Струве нашел в этом «стихотворении о поэте-головастике» влияние Саши Черного (Русская литература в изгнании. С. 121).

35. Сегодня. 1922. № 261, 18 ноября.

36. Руль. 1922. № 525, 22 августа.

## III. УШЕДШЕЕ

37. Руль. 1922. № 431, 16 апреля, без посвящ. -- Гроздь, без посвящ. -- Стихи 1979. Отец поэта В. Д. Набоков (1870–1922) — видный юрист, публицист, общественный деятель, один из основателей партии кадетов. В эмиграции продолжал активную политическую

деятельность, издавал в Берлине газету «Руль»; был убит 28 марта 1922 г. в зале берлинской филармонии на публичной лекции П. Н. Милюкова. Террористы-монархисты П. Шабельский-Борк и С. Таборицкий пытались застрелить Милюкова, В. Д. Набоков бросился на одного из террористов и был смертельно ранен другим. Ст-ние было опубликовано в Пасху.

38. Руль. 1922. № 525, -22 августа.

39–40. 1. Сполохи (Берлин). 1921. № 1, ноябрь -- Стихи 1979. *Плывет лагдя и звоном струнным / луну лилейную зовет <...> В ней рыцарь раненый и юный / склонен на бледные шелка, / и арфы легяные струны / ласкает белая рука.* Имеется в виду эпизод из цикла легенд о сэре Тристане, рыцаре Круглого Стола, когда рыцарь, раненный отравленным копьем на поединке с сэром Мархальтом, отправляется на лабде в Ирландию, чтобы отыскать там волшебное противоядие. В романе сэра Томаса Мэлори (1417–1471) «Смерть Артура» (1469), основанном на легендах артуровского цикла, сэр Тристам (или Тристрам) взял с собой арфу. Этот эпизод упоминается также в «Подвиге» (Набоков П. С. 190) и «Других берегах» (Набоков V. С. 193).

2. Вкл. в: Стихи 1979.

41. Руль. 1922. № 366, 29 января, под загл. «Перстень».

43. Сполохи. 1921. № 2, декабрь (в ст. 5: «выгнулся лозой») -- Гроздь -- Стихи 1979.

44. Руль. 1922. № 602, 19 ноября.

45. Руль. 1921. № 231, 21 августа.

46. Сегодня. 1922. № 222, 3 октября.

47. Руль. 1922. № 404, 15 марта. *Приманку я готовлю...* Набоков с профессиональной точностью лепидоптериста описывает реальный способ ловли бабочек; ср. также в «Других берегах» (Набоков V. С. 230).

#### IV. ДВИЖЕНЬЕ

48. Руль. 1921. № 195, 10 июля -- Гроздь, с вар. ст. 9: «По занавескам свет, как призрак проходил» -- Стихи 1979.

49. *Ряд смутно-золотых / французских слов* — то есть «Compagnie Internationale des Wagon-Lits et des Grands Express Européens» («Международное общество спальных вагонов и европейских экспрессов дальнего следования»). Путешествия на величественном Норд-Экспрессе, состоявшем исключительно из международных вагонов и доставлявшем пассажиров из Петербурга в Париж — до Биаррица или до Ривьеры, — Набоков описывает в главе 7 «Других берегов» (Набоков V. С. 234–239).

## ГОРНИЙ ПУТЬ

Вл. Сирин. Горный путь. Берлин: Грани, 1923. В сборник входят 128 ст-ний, написанных в основном между началом 1918 и июнем 1921 г. 31 ст-ние вошло в Стихи 1979. В письме родителям из Кембриджа от 1 декабря 1921 г. Набоков предлагал варианты заглавия: «Подумавши, я нашел два подходящих заглавия для книги моей. Выбирайте любое. 1) "Светлица" 2) "Тропинки Божии". Первое — как бы символ света, вышины, уединенности. Второе — несколько тоньше" (Berg Collection, ср. также: Бойд. Русские годы. С. 225).

Критики отметили, что книга скучная, но грамотная: «У Сирина есть все данные, чтобы быть поэтом: у него вполне поэтические восприятия, стихи его музыкальны и органичны, и несмотря на сказанное, за исключением нескольких действительно хороших стихов, сборник «Горный путь» скучная книга. Происходит это не от недостатка дарования автора, но нельзя проходить мимо всех современных творческих достижений и завоеваний, отказаться от всех течений и школ и употреблять образы, которые давно обесцветились и перестали быть символами. <...> Можно иногда вплетать старые образы в стихи, но для этого их надо обновить совершенно неожиданными сочетаниями. Сирин этого не добивается» (Лурье Вера. В. Сирин. Горный путь. // Новая русская книга. 1923. № 1. С. 23). Только Ю. И. Айхенвальд в своем регулярном обзоре книжных новинок в «Руле» ободрил молодого автора: «На книжках Сирина лежит печать культурности, <...> заметнее всего в его стихах <...> внушения чужих поэзий, следы приобщения к искусству и литературе, к дарам Европы. Впрочем, настойчиво звучит и мотив России, Руси, мотив разлученности с нею и возвращения под ее родное небо. <...> Стихи Сирина не столько дают уже, сколько обещают. Теперь они как-то обросли словами — подчас лишними и тяжелыми словами; но как скульптор только и делает, что в глыбе мрамора отсекает лишнее, так этот же процесс обязателен и для ваятеля слов. Думается, что такая дорога предстоит и Сирину и что, работая над собой, он достигнет ценных результатов и над его поэтическими длиннотами верх возьмет уже и ныне доступный ему поэтический лаконизм, желанная художническая скупость» (Б.К. <Айхенвальд Ю.>. Литературные заметки // Руль. 1923. 28 января). Г. Струве сравнивал «Горный путь» и «Гроздь» в пользу последнего сборника: «Горный путь» — «сборник довольно бледных стихов, на которых лежала заметная печать Фета и в которых большую роль играли юношеские реминисценции и русские темы», «Гроздь» — «гораздо более зрелая <книга>, со следами большой работы над стихом, с печатью несомненного и незаурядного поэтического мастерства. В ней поэт уже приоткрывал свое поэтическое лицо. Но был на ней некоторый налет рассудочности, отсутствие непосредственного песенного вдохновения, давала она право думать, что Сирину, может быть, следует испробовать себя в прозе» (Струве Г. Творчество Сирина // Россия и славянство (Париж). 1930. 17 мая). В своей книге «Русская литература в изгнании» (1956) Струве снова отметил поверхностную переимчивость Сирина (у Фета, Майкова, Щербины, Пушкина, Бунина, Бальмонта, Гумилева, Саши Черного и даже Бенедик-

това) и срывы вкуса; а также версификационное мастерство и приверженность к классическим размерам, преимущественно ямба, окрестив Сирина «поэтическим старовером» (С. 120. Ср. также: Struve G. Current Russian Literature // The Slavonic and East European Review. V. XII, № 35. Jan. 1934. P. 436).

Наиболее заметное поэтическое влияние в «Горнем пути» — Блок. Набоков дал автохарактеристику своей поэзии этого времени, перенеся ее на ранние стихи протагониста «Дара» Ф. К. Годунова-Чердынцева: «Легче обстояло дело с мечтательной запинкой блоковского ритма, однако, как только я начинал пользоваться им, незаметно вкрадывался в мой стих голубой паж, иннок или царевна, как по ночам к антиквару Штольцу приходила за своей треуголкой тень Бонапарта» (Набоков IV. С. 333 и далее; ср. также комментарий к этому пассажиру в примечаниях А. А. Долина: Там же. С. 686 — 687).

Эпиграф — из ст-ния А. Пушкина «Арион» (1827).

**51.** Одно из ряда ст-ний Набокова в традиции «Art poétique» Верлена (среди бумаг Г. П. Струве в Гуверовском архиве хранится перевод этого ст-ния Верлена, сделанный Набоковым в 1930-е гг. и не публиковавшийся (сообщено Е. Б. Белодубровским)).

**53.** *Знакомая река...* — Оредежь, река, протекающая в имении Набоковых — Рукавишниковых в Выре и Рождествено, которая часто описывается в произведениях Набокова; все ст-ние точно повторяет топографию имения Набокова (ср. нарисованную им по памяти карту имения на вклейке в «Speak, Memory» (1966)).

**58.** Рубль. 1922. № 380, 15 февраля. *Я — в нем, оно — во мне.* — реминисценция программной строки Ф. И. Тютчева «Все во мне, и я во всем!..» («Тени сизые смешались», 1835).

**61.** В имении графа М. С. Воронцова (1782 — 1856) в Алушке, на Черноморском побережье, собрана экзотическая южная флора. Семья Набоковых в ноябре 1917 — апреле 1919 г. находилась в Крыму, неподалеку от Алупки — в Ливадии и Ялте, кроме того, Набоков предпринимал короткие энтомологические экспедиции в округе. Там он «окунулся в пушкинские ориентали» (эти места связаны с южной ссылкой Пушкина) и «с меньшей силой, чем в последующие годы, <...> ощутил горечь и вдохновение изгнания» (Набоков V. С. 296). В Алушке останавливается семья Мартына Эдельвейса в «Подвиге» (Набоков III. С. 102).

**62.** *Дерево греха* — дерево с голым, как бы лишенным коры стволом, растущее в Воронцовском парке (Алупка).

**63.** *Грядущая Россия* (Париж). 1920. Кн. 1, январь, с подписью «В. В. Набоков».

**65.** *Лестница* Набоков снова обратился к образу лестницы в родном доме в неопубликованном ст-нии (хранится в Berg Collection),



вложенном в письмо родителям из Кембриджа в Берлин от 11 мая 1921 г. с припиской: «...Также посылаю вам — для хорошего рта (галлицизм) — стишок о худом сне» (ст-ние датировано 10 мая):

## ЛЕСТНИЦА

Слышу звон часов холодный и размеренный,  
сплю и вижу сон: тягуч он и печален...  
Будто я вернулся, и брожу, потерянный,  
мучаюсь, не узнаю развалин...

Липы, где же липы? Срублены, болезныя,  
и давно сгорела дедовская дача...  
только уцелела лестница железная,  
и по ней лишь ветер ходит, плача...

Лестница крутая в тучи упирается...  
Помню я ребенка, помню вечер давний:  
наигрались вдоволь; поздно; запираются  
с кротким скрипом створчатые ставни.

Жмурясь, спотыкаясь, маленький, усталенький,  
с кем-то я взбираюсь вдоль перил сквозистых,  
прямо к белой двери той веселой спальни,  
где витало столько снов цветистых...

Всё это лишь сказка, всё это утеряно...  
Господи, нельзя же, мука ведь какая!  
Сплю, и звон часов холодный и размеренный  
Катится, мой сон пересекая...

69. Руль. 1921. № 43, 7 января, в цикле «Сказания» (вместе со ст-ниями № 132 и 165), под загл. «Видение Иосифа», с вар. ст. 16—20: «река, выиграв, свободно полилась, / пронесся вдаль копыт веселых топот, / и пастуха вдруг песня раздалась. / А там, а там, развея сумрак серый...». Недатированный автограф (машинопись, Berg Collection) под загл. «Иосиф», с подзаголовком «Из книги Иакова Младшего» и вар. ст. 1: «...померкли неба своды» и ст. 9: «с протянутой рукой». *Евангелие Иакова Еврея* — так называемое «Протоевангелие Иакова», апокриф, написанный от имени Иакова, брата Иисуса и сына Иосифа от первого брака. Ср. в апокрифе о рождении Иисуса: «И вот я, Иосиф, шел и не двигался. И посмотрел на воздух, и увидел, что воздух неподвижен, посмотрел на небесный свод и увидел, что он остановился, и птицы небесные в полете остановились, посмотрел на землю и увидел поставленный сосуд и работников, возлежавших подле, и руки их были около сосуда, и вкушающие не вкушали, и берущие не брали, и подносящие ко рту не подносили, и лица всех были обращены к небу. И увидел овец, которых гнали, но которые

стояли. И пастух поднял руку, чтобы гнать их, но рука осталась поднятой. И посмотрел на течение реки и увидел, что козлы прикасались к реке, но не пили, и все в этот миг остановилось» (Апокрифы древних христиан. М.: Мысль, 1989. С. 124).

**70.** Перевод ст-ния Д. Г. Байрона (1788—1824) «Sun of the Sleepless» из цикла «Еврейские мелодии» (1814—1815). Русскому читателю этот цикл знаком по переводу М. Ю. Лермонтова «Еврейская мелодия» («Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», 1836). Выбранное Набоковым ст-ние известно также в переводах И. Козлова, А. Редкина, А. Фета, А. К. Толстого и др. Характерно, что из всего цикла, посвященного трагической судьбе народа Израиля, Набоков выбрал ст-ние на близкую ему тему воспоминаний о счастливом прошлом. *Солнце бессонных — луна.*

**72.** Диаграмма полуударений, в соответствии с ритмической теорией Андрея Белого, образует форму этого созвездия (отмечено в: Field A. Nabokov: His Life in Part. New York: Viking, 1977. P. 133; схема приведена в: Smith Gerald S. Nabokov and Russian Verse Form // Russian Literature Triquarterly. 1991. № 24. P. 303).

**74.** Вкл. в: Стихи 1979.

**77.** Вкл. в: Стихи 1979, где датировано: 1920 г.

**78.** Вкл. в: Стихи 1979. Ст-ние построено на реминисценциях ст-ния Лермонтова «Ангел» (1831) в его символистской интерпретации, восходящей к неоплатоническим идеям Вл. Соловьева.

**79.** Эпиграф — из ст-ния В. А. Жуковского «Послания к кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» (1814).

**84.** Радуга. Русские поэты для детей: Сост. Саша Черный. Берлин: Слово, 1922, под загл. «Феина дочь».

**85.** Вкл. в: Стихи 1979.

**88.** Ст-ние посвящено двоюродному брату и другу детства автора барону Юрию Евгеньевичу Раушу фон Траубенбергу (1897—1919), офицеру Деникинской армии, погибшему в конной атаке в 1919 г. в Крыму. Его привезли хоронить в Ялту, где в то время был Набоков (незадолго перед этим мечтавший присоединиться к отряду Рауша). См. о нем в главе 10 «Других берегов».

**92.** Руль. 1921. № 309, 23 ноября, под загл. «В Египте». Семья Набоковых провела в египетском порту Пирей, неподалеку от Афин, три с половиной недели в апреле—мае 1919 г., на пути из Крыма в Лондон. *И пальмы жестко шелестят.* В открытке к матери из Кембриджа от 25 ноября 1921 г. Набоков отмечает, что «В "Египте" жесткая опечатка, благодаря которой строка о пальмах читается жестко; но это меня как-то больше не трогает...» (Berg Collection).

96. Русская мысль (София). 1921. № 5–7 -- Стихи 1979. *Ектенья* — от греч. «прошение, усердное моление» — ряд призывов к молитве, произносимых диаконом (или священником), из которых каждый заканчивается пением: «Господи, помилуй», или «Поддай, Господи», или «Тебе, Господи».

99. Горний путь, без загл. -- Стихи 1979.

103. *Верба* — Вход Господень в Иерусалим, или вербное воскресенье, последнее перед Пасхой, когда происходили традиционные народные гулянья, в Петербурге в детстве Набокова — на Конногвардейском бульваре неподалеку от его дома на Б. Морской. В *спирту зеленом чертик черный* — ср. описание этой игрушки в эссе Набокова из берлинского журнала «Карусель» (1923, №2): «...стеклянные трубки, наполненные подкрашенным спиртом, в которых танцует бутылочно-зеленый чертик, стоит лишь нажать на резиновую грушу, которой заканчивается трубка» (перевод Н. И. Толстой, цит. по: Звезда. 1996. № 11. С. 43).

107. Посвящено Ю. Раушу, см. примеч. 88. *Игру нам виденья внушали / из пестрых, воинственных книг, <...> играл он всё в ту же игру.* В «Других берегах» Набоков также пишет, что в отрочестве играл с Юрием Раушем в «общеизвестные майн-ридовские игры», а о его гибели в 1919 г. — что он «не успел выйти из воинственно-романтической Майн-Ридовой грезы...» (Набоков В. С. 272).

108. Руль. 1921. № 334, 22 декабря.

109. Грядущая Россия (Париж). 1920. № 1, январь, с подписью «В. В. Набоков».

112. Адресат ст-ния неизвестен, возможно, в тексте опечатка и должно быть М. Ш. — Марианна Шрайбер, см. примеч. 163.

113. Грядущая Россия. 1920. № 1, январь, под загл. «После грозы» и подписью «В. В. Набоков».

114. Вкл. в: Стихи 1979.

120–136. 10. Вкл. в: Стихи 1979. В ст-нии использованы мотивы легенд Артуровского цикла о рыцарях Круглого Стола, ср. также ст-ния № 39–40.

12. Руль. 1921. № 43, 7 января, в цикле «Сказания» (вместе со ст-ниями № 69 и 165).

17. *...тьень пестрых шелковых знамен / у сфинкса тусклого...* Речь идет о Египетском походе Наполеона 1798–1799 гг.

137. «Грани»: Лит. альманах. 1922. Кн. 1. *В размер простых стихов.* Размер поэмы — 5-стопный ямб — связывает ее с традицией автобиографических поэм в русской поэзии — «Евгением Онегиным» Пушкина, «Младенчеством» (1913–1918) Вяч. Иванова, ср.

также «Университетскую поэму» Набокова, написанную перевернутой онегинской строфой (№ 371). Поэма была отмечена в анонимной рецензии в «Руле» (8 января 1922). *Я помню лестницу...* — ср. ст-ние 65. *Мраморной Венеры меж окон статую...* — статуя на площадке второго этажа дома Набоковых на Б. Морской 47, ср. в «Других берегах»: «...где безрукая Венера высилась над малахитовой чашей для визитных карточек...» (Набоков V. С. 270).

**138–147.** Цикл написан под влиянием Максимилиана Волошина, с которым Набоков познакомился в Крыму (Бойд. Русские годы. С. 184–185), и композитора, пианиста и оккультиста Владимира Ивановича Поля, которому цикл посвящен (см.: Шаховская З. А. В. И. Польш и «ангельские стихи» Вл. Набокова // *Русский альманах/Almanach russe* / Ред. З. Шаховская, Ренэ Герра, Евг. Терновский. Париж, 1981. С. 231–235; Толстая Н. И. Спутник яснокрылый // *Русская литература*. 1992. № 1. С. 188–192). В цикле последовательно описываются все девять чинов небесной иерархии в соответствии с учением Псевдо-Дионисия Ареопагита, изложенном им в труде «О небесной иерархии». Ангелы (от греч. «вестник») — общее название всех девяти небесных существей, также наименование низшего чина небесной иерархии. *Престолы, херувимы и серафимы* составляют ее высший чин, который вечно пребывает ближе всего к Богу; *господства, силы и власти* — второй, а начала, *архангелы и ангелы* — третий, приближенный к людям.

1. *Из пламени Господь их сотворил...* «Сведущие в еврейском языке говорят, что святое имя серафимов означает "возжигатели" или "пламенеющие"», они наделены очищающим свойством и действием огня (Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. СПб.: РХГИ 1997. С. 61). *Расправили крыла и заслонились ими...* Ср.: «Вокруг Его стояли серафимы; у каждого из них по шести крыл; двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал» (Исайя, 6: 2).

2. Руль. 1921. № 138, 1 мая. *Созерцают без конца глубокою премудрость Бога <...> все им понятно.* Ср.: «Имя <...> херувимов <означает> "обилие знания" или "излияние премудрости" <...>, раскрывает их способность познавать и видеть Бога и воспринимать высочайшее светодаяние, а также созерцать в первоизданной силе богоначальную красоту» (Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии. С. 61, 63).

3. *Стоял он на скале высокой...* Ср.: «Имя высочайших и возвышенных престолов <...> означает их чистую превознесенность над всякой земной приниженностью, надмирную устремленность вверх, <...>, богоносное усердное воспарение к божественным пристанищам» (Там же. С. 63).

4. *Когда ж нетерпеливо мы предаемся гибельным страстям...* Имя Господств указывает «на само непреклонное господство, которое преодолевает <...> всякое ослабляющее порабощение» (Там же. С. 79).

8. Вкл. в: Стихи 1979.

**148.** Жар-Птица (Берлин). 1921. № 1. Это первое произведение Сирина, удостоившееся упоминания в периодической печати: М. Цетлин, рецензируя альманах, отметил «талантливое стихотворение молодого поэта Владимира Сирина» (Последние новости. 1921. 1 сентября). *Яйла* — то же, что Крымские горы. *Вгалеке, / меж гулким морем и горою, / огни в знакомом городке, / как горсть алмазных ожерелий, / небрежно брошенных, горели...* Ср. в романе «Подвиг» (1932): «...во мраке <...> дрожащими алмазными огнями играла Ялта» (Набоков III. С. 110–111). *Куртки красные солдат* — цвет формы солдат английской королевы Виктории. *Ключ / очарованья, ключ печали* — парфраз ст-ния Пушкина «Фонтану Бахчисарайского дворца» (1824): «Фонтан любви, фонтан печальный!». *Кремнистый путь...* — видимо, первая из многочисленных в корпусе текстов Набокова реминисценция ст-ния Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» (1841), ср., например, в «Подвиге» (Набоков III. С. 106).

**150.** Русская мысль. 1921. № 5–7.

**152.** Вкл. в: Стихи 1979, где датировано: 1919 г.

**153.** Руль. 1921. № 109, 27 марта, как вторая часть ст-ния «Родина» (первая часть — ст-ние 270).

**154.** Сегодня. 1922. № 287 -- Стихи 1979, где датировано: Крым, 1918 г.

**155.** Вкл. в: Стихи 1979.

**156.** Руль. 1922. № 470, 4 июня -- Стихи 1979.

**158.** Вкл. в: Стихи 1979, где датировано: Крым, 1918 г.

**159.** Горний путь, с вар. ст. 16: «заполняются влагой жемчужной». -- Стихи 1979.

**160.** Вкл. в: Стихи 1979. Автограф в письме к родителям из Кембриджа 10 июня 1922 г., с комментарием: «На следующей странице ты найдешь, милый папочка, неизданное стихотворение Алекс<андра> Серг<еевича>. Представь себе монастырь, ласточек и левитановское озеро...» (Berg Collection).

**161.** Руль. 1921. № 136, 29 апреля. -- Стихи 1979, где датировано: Крым, 1918 г.

**162.** *Е. Л.* — очевидно, Ева Любржинская, с которой Набоков познакомился в 1916 г. на Иматре и снова встретился в Англии, где Ева вышла замуж за соученика Набокова по Кембриджу Роберта Льютенса.

**163.** *М. Ш.* — очевидно, Марианна Шрайбер, балерина. Набоков знал ее по Петербургу и снова встретил в 1920 г. в Англии.

**164.** Руль. 1921 № 267, 2 октября, с вар. в ст. 3: «...мимо синих болот...». -- Стихи 1979, где датировано: 1921 г.

**165.** Руль. 1921. № 43, 7 января, без эпиграфа, в цикле «Сказания» (вместе со ст-ниями 69 и 132). Эпиграф взят, очевидно, из книги П. Бессонова «Калики перехожие», где приводится рождественский стих пинян: «Святы вечер, свят! / Усе лузи да вылетала / Ряба зовзунелька, / Ой, в одному лузи / Да не бувала: / Ой в тум лузи / Павы ходили, / Павы ходили, / Перья ронили. / А за павами / Красная Панна, / Красная Панна / Панна Марья: / Перье зберала, / У рукавец клала, / За рукавца брала, / Веночик вила...» (Бессонов П. Калики перехожие: Сб. стихов. М., 1863. С. 35). В рецензии на сборник А. Ремизова «Звезда надзвездная», говоря о пресности ремизовских сказок, Набоков противопоставляет им бесхитростные древние сказки: «В апокрифе, в легенде есть антикварное очарование, таинственные перспективы древнего мышления, пейзажи, облагороженные далью, символы, которые во время оно были полны благоухания и значения» (В. Сирич. Звезда надзвездная // Руль. 1928. 14 ноября; цит. по: Набоков И. С. 666).

**166.** Сегодня. 1922. № 245 -- Стихи 1979.

**167.** Вкл. в: Стихи 1979.

**168.** Руль. 1920. № 10, 27 ноября, подпись *Santab* (*Cantab* (англ. разг.) — студент Кембриджского университета, от лат. *Santabrigiensis* — из Кембриджа, кембриджский).

**169.** Руль. 1920. № 21, 10 декабря, подпись *Santab* (см. примеч. 168).

**171.** Руль. 1921. № 267, 2 октября.

**172.** По сообщению С. В. Шумихина (Наше наследие. 1998. № 2. С. 112), белой автограф ст-ния хранится в РГАЛИ в фонде писателя В. Я. Ирецкого (часть Пражского зарубежного архива).

**174.** Вкл. в: Стихи 1979, где датировано: 1917–1922. *Vanessa antiopa*, или *Vanessa atalanta*, the Red Admiral, или в архаичном варианте, который предпочитал Набоков, Red Admirable — бабочка из семейства нимфалид, часто упоминаемая в произведениях Набокова (см.: Karges Joann. Nabokov's Lepidoptera: Genres and Genera. Ann Arbor: Ardis, 1985. P. 83).

**175.** Вкл. в: Стихи 1979, где датировано: 1917–1922.

**177.** В составленном Набоковым списке писем родителям со стихами указ., что автограф этого ст-ния — в письме от 25 января 1921 г. (Berg Collection).

**178.** Радуга. Русские поэты для детей / Сост. Саша Черный. Берлин: Слово, 1922, под загл. «Пингвин».

**179.** Автограф — в письме к родителям из Кембриджа от 19 февраля 1921 г., вместе со ст-нием «Все к той же» («С вершины пустынной, скорбя и любя...» (неопубл.)) (Berg Collection), с припиской: «Дорогой мапочка, дорогая памочка, сегодня Михайло <Калашников> уехал в Лондон, и я воспользовался этим, чтобы пригласить к себе музу мою: я угостил ее чаем с клубничным вдохновеньем, тарелкой дактилей а la сѣте и жареным амфибрахием. Посылаю вам счет. <...> По временам у меня лопатки чешутся — чувствую, что растут крылья. Тренируюсь, дабы "тленья убежать". Но нет времени; нет времени и нет места развернуться...»

**180.** Руль. 1921. № 136, 29 апреля. Ст-ние было вложено в письмо родителям от 23 февраля 1921 г. Это ст-ние Вера Лурье выделила в своей в целом отрицательной рецензии на сборник как «...совершенно удивительное по простоте и крепости <...>, оканчивающееся нужными, сделанными строками» (Лурье В. В. Сирин. Горный путь // Новая русская книга. 1923. №1. С. 23).

**182.** Руль. 1921. № 121, 12 апреля, в цикле «Весна» (со ст-нием 126) -- Стихи 1979, где датировано: 1920 г.

**183.** Руль. 1921. № 267, 2 октября, под загл. «Возврат» -- Стихи 1979.

**184.** Руль. 1921. № 138, 1 мая.

**185.** Автограф — в письме к матери из Кембриджа от 27 апреля 1921 г.: «Радость моя мамочка, вчера был у меня первый экзамен, сегодня, через час, будет второй, завтра — последний — и Слава Богу... <...> Посылаю еще стишок: и как это я успеваю писать!..» (Berg Collection).

**187.** Руль. 1921. № 319, 4 декабря, без загл., с посвящ.: «В. Ш.» -- Стихи 1979. В. Ш. — Валентина Шульгина, см. о ней в преамбуле к сб. «Стихи», 1916. Автограф — в письме родителям из Кембриджа от 29 апреля 1921 г.: «Дорогие мама и папа, вчера я держал — и, кажется, не выронил — третий, последний экзамен, он состоял в том, что я должен был ответить на одну из трех "бумаг". Я пришел слишком рано и — люблю почудачить — в ожидании профессоров написал тот стишок, который вы найдете на обороте...». В автографе без посвящ., с вар. в 1 ст.: «Если ветер — судьба, ради шутки...» (Berg Collection, см. также: Казнина О. А. Русские в Англии. Русская эмиграция в контексте русско-английских литературных связей в первой половине XX в. М.: Наследие, 1997. С. 288).

**189–190.** 1. Руль. 1921. № 153, 22 мая. -- Стихи 1979.

2. Руль. 1921. № 153, 22 мая. -- Стихи 1979.

**191.** Руль. 1922. № 347, 7 января. -- в Стихи 1979.

**192.** Руль. 1922. № 366, 29 января. Автограф — в открытке матери из Кембриджа от 23 мая 1921 г. Подпись: В. Сирин, Examination Hall. 23. V. 21, 11 ч. 42 м. (Berg Collection).

**193.** Вкл. в: Стихи 1979, где датировано: 1917–1922. Автограф — в письме матери из Кембриджа от 27 мая 1921 г.: «Дорогая мамочка, вчера вечером я поехал странствовать по окрестностям, — щелкали соловьи, столбом стояли мошки, пахло черемухой и розовым небом и прошлым, кругом широко, задумчиво зеленели поля, и, сидя на изгороди, обрызганной белыми мазками (птичьим молоком...), между цветущими кустами, над придорожной канавой, где поблескивал мой велосипед, отдыхающий после гладкого бега под гору, — я сочинил тот четкий стишок, который тебе посылаю...» (Berg Collection).

**195.** Руль. 1921. № 334, 22 декабря. Автограф — в письме матери от 3 июня 1921 г. из Кембриджа: «Радость моя мамочка, посылаю тебе два стихотворенья, одно — переводное (ст-ние 196. — М. М.), другое — собственноручное; я никогда так много не писал...» (Berg Collection).

**196.** Автограф — в письме матери из Кембриджа от 3 июня 1921 г., см. примеч. 195. Перевод баллады английского поэта Джона Китса (1795–1821), написанной в 1819 г. по мотивам кельтских сказаний и средневековых романов Артуровского цикла. *La belle Dame sans Merci* — прекрасная дама, не знающая жалости (*фр.*).

**197.** Вкл. в: Стихи 1979, где датировано: 1917–1922. Автограф — в открытке матери из Кембриджа от 4 июня 1921 г., на обороте — ст-ние 198 (Berg Collection).

**198.** Вкл. в: Стихи 1979, где датировано: 1917–1922. Автограф — см. прим. 197.

**199.** Жар-Птица. 1921. № 4–5. -- Стихи 1979, где датировано: 7 июня 1921 г. Автограф — в письме матери из Кембриджа от 7 июня 1921 г.: «...нового нет ничего — кроме разве стишка, который я посылаю тебе: он удался». (Berg Collection, см. также: Казнина О. А. Русские в Англии. М.: Наследие, 1997. С. 289).

**200.** Руль. 1921. № 211, 29 июля.

**201.** Горный путь, без посвящ. -- Стихи 1979. Мать поэта — Елена Ивановна Набокова, урожд. Рукавишникова (1876–1939).

**202.** Современные записки. 1921. Кн. VII.



## «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА. РАССКАЗЫ И СТИХИ»

В. Сирин. Возвращение Чорба: Рассказы и стихи. Берлин: Слово, 1930 (вышел в декабре 1929 г.). В сборник входят 24 ст-ния и 15 рассказов, в репринт издательства «Ардис» (1970) под тем же названием ст-ния не включены. 23 ст-ния из этого сборника включены в Стихи 1979. Рецензенты сборника в основном обратили внимание на рассказы, ограничиваясь в отношении стихов одной-двумя общими фразами — положительными («Стихи Сирина хороши не только своеобразной и вместе с тем необыкновенно ясной и прозрачной формой <...> каждое из его стихотворений по мысли и по сюжету вполне законченное произведение, полное содержания» (Савельев С. <Савелий Шерман>. В. Сирин. Возвращение Чорба // Руль. 1929. 31 декабря)) или отрицательными («Стихи Сирина менее интересны и своеобразны, чем его проза» (Цетлин М. В. Сирин. Возвращение Чорба // Современные записки. 1929. Кн. XXXVII. С. 538)). Герман Хохлов тонко сопоставил стихи Сирина и его прозу: «Сирин — писатель профессионал, для которого мир дороже в своих отвержениях, чем в самом себе. Сирин влюблен в тему, а не в действительность, и его оптимизм рожден отчетливостью его физических восприятий. Сирин всегда говорит о печальном и страшном, но радость творческого воссоздания мира покрывает его реальную печаль. "Возвращение Чорба" — книга литературных экспериментов, книга неразвернутых сюжетов, книга необобщенных наблюдений над разорванной и лоскутной жизнью. И эта творческая радость, эти удачи отдельных заданий, художественная значительность словесных достижений делают книгу интересной, своеобразной и заметной. Стихи Сирина отличаются такой же точностью, тщательностью и заостренностью языка, как и проза. Но то, что делает ткань прозаических произведений крепкой и прочной, вносит в условный материал поэзии излишнюю прямолинейность и сухость. Стихи Сирина, при всей своей образности и технической отделанности, производят впечатление подкованной рифмами ритмической прозы. В них много рассудочности, добросовестности, отчетливости и очень мало настоящей поэтической полнозвучности» (Г<ерман> Х<охлов>. В. Сирин. Возвращение Чорба // Воля России (Прага). 1930. № 2. С. 190—191). С. Налянч в довольно сумбурной и неточной рецензии утверждал, что Сирину лучше удаются малые формы — лирические стихотворения и рассказы, чем «большие полотна» — поэмы и романы, и что «и стихотворная, и повествовательная области одинаково свойственны дарованию нашего писателя» (Налянч С. В. Сирин. Возвращение Чорба // За свободу! (Варшава). 1930. № 209, 4 августа). Г. Струве в хвалебной рецензии выделил ст-ния «Солнце», «Расстрел», «Снимок», «Сновидение», «Крушение», «Гость» и «Комната»: «Вот уж кому не до скуки! Для Сирина жизнь — "сновиденье, единый раз дарованное нам", на которое пенять, которое бранить могут только "выспренные глупцы". Зрячесть и зоркость — вот предпосылки сиринского поэтического мироотношения. <...> Поэт, прежде всего, *vidit* мир и видение свое воплощает в неповторимых вещественных, полновесных образах. <...> Поражает необыкновенное разнообразие творческого

облика Сирина, необыкновенная уверенность, легкая и смелая свобода. с которой он подходит к любой теме и заставляет слушаться себя любой материал. Это то же свойство, которое отличает его как прозаика и безошибочно обличает в нем большого писателя» (Струве Г. Заметки о стихах. Парижские «Молодые поэты». — Евгений Шах. — Ал. Холчев. — В. Сирин // Россия и славянство. 1930. № 68, 16 марта). Позже он определил место сборника в поэтической эволюции Набокова: «В <...> тщательно отобранных стихотворениях, вошедших в "Возвращение Чорба" <...> срывов вкуса уже почти нет, стих стал строже и суше, появилась некоторая тематическая близость к Ходасевичу <...>, исчезли реминисценции из Блока, явно бывшие чисто внешними, раздражительными, утратилось у читателя и впечатление родства с Фетом, которое давали более ранние стихи Набокова (сходство и тут было чисто внешнее, фетовской музыки в стихах Набокова не было, он был всегда поэтом пластического, а не песенного склада). <...> Стихи "Возвращения Чорба" в большинстве прекрасные образчики русского парнасизма; они прекрасно иллюстрируют одно из отличительных свойств Набокова как писателя, сказавшееся так ярко в его прозе: необыкновенную остроту видения мира в сочетании с умением найти зрительным впечатлениям максимально адекватное выражение в слове» (Русская литература в изгнании. С. 170).

204. Руль. 1928. № 2293, 14 июня -- P&P -- Стихи 1979.

205. Руль. 1926. № 1676, 10 июня. -- P&P. Автограф — в письме жене, В. Е. Набоковой, в Sanatorium St. Blaisen от 7 июня 1926 г. с подробным описанием процесса сочинения этого стиха: «...вчера около девяти я вышел пройтись, чувствуя во всем теле то грозное напряжение, которое является предвестником стихов. Вернувшись в десять домой, я как бы уполз в себя, пошарил, помучился и вылез ни с чем. Я потушил, и вдруг промелькнул образ — комнатка в тулонской плохонькой гостинице, бархатно-черная глубина окна, открытого в ночь, и где-то далеко за темнотой — шипенье моря, словно кто-то медленно тягивает и выпускает воздух сквозь зубы. Одновременно я вспомнил дождь, что недавно вечером так хорошо шелестел во дворе, пока я тебе писал. Я почувствовал, что будут стихи о тихом шуме, — но тут у меня голова затуманилась усталостью, и чтобы заснуть я стал думать о теннисе, представлять себе, что играю. Погода, я опять зажег свет, прошлепал в клозетик. Там вода долго хлюпает и свиритит после того, как потянешь. И вот, вернувшись в постель, под этот тихий шум в трубе — сопровождаемый воспоминаньем — ощущением черного окна в Тулоне и недавнего дождя, я сочинил две строфы в прилагаемом стихотворении, — вторую и третью: — первая из них выкарабкалась почти сразу, целиком, — вторую я тербил дольше, несколько раз оставляя ее, чтобы подравнять уголки или подумать об еще неизвестных, но ощутимых остальных строфах. Сочинив эти вторую и третью, я успокоился и заснул — а утром, когда проснулся, почувствовал, что доволен ими, — и сразу принялся сочинять дальше. Когда в половину первого я направился к Каплан

(мадам) на урок, то четвертая, шестая и отчасти седьмая были готовы, — и в этом месте я ощутил то удивительное, необъяснимое, что, может быть, приятнее всего во время творчества, а именно — точную меру стихотворения, сколько в нем будет всего строф; я знал теперь — хотя может быть, за мгновение до того не знал, — что этих строф будет восемь и что в последней будет другое расположение рифм. Я сочинял на улице и потом за обедом <...> и после обеда, до того, как поехал к Заку (Александр Зак, ученик Набокова. — М. М.) (в три часа). Шел дождь <...> и в трамвае сочинил стихотворение до конца в такой последовательности: восьмая, пятая, первая. Первую я закончил в ту минуту, как открывал калитку. С Шурой играл в мяч, потом читали Уэльза под страшные раскаты грома: чудная разразилась гроза — словно в согласии с моим освобождением, — ибо потом, возвращаясь домой, глядя на сияющие лужи, покупая "Звено" и "Observer" на вокзале Шарлоттенбурга, я чувствовал роскошную легкость...» (Berg Collection). Восьмого июня Набоков прочел это стихотворение на праздновании Дня русской культуры в Берлине: «Стихотворение это имело огромный успех, и несомлаемыми аплодисментами публика заставила талантливого поэта продекламировать свое произведение два раза» (Руль. 1926. 10 июня, ср. также письмо В. Е. Набоковой от 8-9 июня 1926 г. (Berg Collection)).

**206.** Руль. 1928. № 2235, 1 апреля, с вар. ст. 35: «ряды румяных кирпичей» -- Стихи 1979.

**207.** Руль. 1925. № 1359, 24 мая, без загл., как вторая часть стихотворения «Берлинская весна» (первая часть — № 363) -- Возвращение Чорба, под загл. «Почтовый ящик», с вар. ст. 12: «все письма, заперты там» -- Стихи 1979, где воспроизводится текст первой публикации.

**208.** Руль. 1926. № 1787, 17 октября -- Стихи 1979. Бикс — биксовый, или китайский, бильярд — наклонный, на котором шар после удара сбегает вниз.

**209.** Руль. 1927. № 2051, 28 августа -- R&P -- Стихи 1979.

**210.** Руль. 1926. № 1715, 25 июля, с вар. ст. 8: «чуден гул его небесный» -- Стихи 1979. Автограф — на обратной стороне открытки, отправленной В. Е. Набоковой из Берлина в санаторий St. Blaisen 5 июля 1926 г.; с вар. ст 10—11: «и под липой, у решетки / банка запертого, кроткий / слушает слепой...», в письме от 11 июля Набоков исправляет: «Между прочим, чтобы не забыть: последние три строчки второй строфы "Аэроплана" я переменял. Нужно читать: "И у парковой решетки, на обычном месте, кроткий слушает слепой". А то "банк" не причем» (Berg Collection).

**211.** Руль. 1925. № 1430, 16 августа -- Возвращение Чорба -- Стихи 1979. По мнению Ю. И. Левина, образы ангелов здесь — вариации на тему ангелов из стихотворения В. Ходасевича «Автомобиль» (1921) (Левин. С. 267, примеч. 22).

**212.** Сегодня. 1924. № 192, 26 августа, под загл. «Гаданье» -- Возвращение Чорба, под загл «Святки» с вар. строфы 1: «К полуночи, в сочельник, / под окном воскрес / повырубленный ельник, / серебряный мой лес»; ст. 13: «и в сумерках, где тает»; с дополнительной строфой между строфами 4 и 5: «На выцветшей лазури / ты карты приготовь... / И дедушка то хмурый, / то вскидывает бровь» -- Стихи 1979. В ст-нии использованы мотивы крещенского гадания из баллады В. А. Жуковского «Светлана»(1813).

**213.** P&P -- Стихи 1979. В примеч. в P&P (P. 214) Набоков ошибочно указывает, что это ст-ние было впервые опубликовано в «Руле» 8 января 1928 г., — в действительности там было опубликовано другое ст-ние с этим же названием — см. № 372. *Но сердце, как бы ты хотело...* Авторское примеч. в P&P (P. 147): «В строках 17–20 фрейдисты усмотрели "жажду смерти", а марксисты, не менее нелепо, "жажду искупления феодального греха". Могу заверить и тех и других, что возглас в этой строфе — чисто риторический, стилистический прием, нарочно подсунутый сюрприз, вроде возведения пешки в более низкий ранг, чем ожидаемый ранг ферзя» (цит. по: Стихи 1979. С. 319).

**214.** Руль. 1924. № 1090, 6 июля -- Возвращение Чорба, с вар. ст. 22: «ох, тяжко из загробных стран» -- Стихи 1979. Традиционная тема Дон Жуана обыгрывается здесь в тоне блоковских «Шагов Командора»(1912).

**215.** Руль. 1924. № 1151, 16 сентября, под загл. «La belle Lorraine» («Прекрасная Лотаринга» (фр.)) -- Стихи 1979. Автограф — в письме матери от 6 сентября 1924 (Berg Collection). Героиня ст-ния — Жанна д'Арк (1412–1431), уроженка Лотарингии.

**216.** Руль. 1926. № 1805, 7 ноября -- Возвращение Чорба, с вар. ст. 4: «мы на чужбине любим помечтать» -- Стихи 1979. Из письма Набокова к матери от 26 октября 1926 г.: «Это последнее стихотворенье <«Годовщина»>, а также «Сны» я читал третьего дня на вечере Орлова — с большим успехом (меня из публики вызывали и я читал экспромтом)...» (Berg Collection). *И как любил покорный ваш слуга. / Но подписи моей он не отметит.* — Б. А. Кац находит в первой строке анаграмму фамилии и псевдонима автора (Сирин-Набоков), опровергающую утверждение следующей (Кац Б. А. «Ехегі monumentum» Владимира Набокова: К прочтению стихотворения «Какое сделал я дурное дело...» // Литературное обозрение. 1999. № 2. С. 75). *Предоставляя выпренним глупцам / бранить наш век...* Подробнее свои антиэсхатологические историософские взгляды, противостоявшие популярным в эмиграции представлениям о «закате Европы», «новом средневековье» и «победе варварства над цивилизацией», Набоков выразил в докладе «On Generalities», прочитанном в берлинском литературном кружке Айхенвальда–Татариновых (1925 — нач. 1933 г.), где утверждал: «Не следует хаять наше время. Оно романтично в высшей степени, оно духовно прекрасно и физи-

чески удобно» (Цит. по: Долинин А. Доклады Владимира Набокова в берлинском литературном кружке (Из рукописных материалов двадцатых годов) // Звезда. 1999. № 4. С. 14). К теме принятия изгнания как дара см. также эссе «Юбилей» (Руль. 1927. 18 ноября), написанное в следующую годовщину Октябрьской революции (см.: Набоков II. С. 645–647).

**217.** Руль. 1928. № 2268, 13 мая -- Стихи 1979. У Набокова сирень — анаграмма его псевдонима — устойчивый маркер авторского присутствия в тексте (см.: Кац Б. А. «Ехеги monumentum» Владимира Набокова: К прочтению стихотворения «Какое сделал я дурное дело...» // Литературное обозрение. 1999. № 2. С. 76).

**218.** Руль. 1927. № 1887, 13 февраля -- Возвращение Чорба, с посвящ. Ю. И. Айхенвальду и разбивкой на строфы -- Стихи 1979, где воспроизводится текст первой публикации. *Айхенвальд Юлий Исаевич* (1872–1928) — литературный критик, в эмиграции — сотрудник газеты «Руль», много писал о Набокове, с которым его связывали дружеские отношения (см. письмо ему В. В. и В. Е. Набоковых от 1927 г. в: Наше наследие. 1988. № 2. С. 112–113 / Публ. С. В. Шумихина), погиб, попав под трамвай, когда возвращался от Набоковых, см. некролог ему «Памяти Ю. И. Айхенвальда» (Руль. 1928. 23 декабря) Набоков II. С. 667–668. Набоков написал «что-то вроде эпиграммы на Айхенвальда»:

Он свысока не судит ничего, —  
Любитель слов, любовник слова.  
Стих Пушкина есть в имени его:  
«Широкошумная дуброва»...

(в письме В. Е. Набоковой от 5 июля 1926 г., Berg Collection).

**219.** Руль. 1927. № 1951, 1 мая, с вар. ст. 4: «и облегченно в сонникаю» -- P&P -- Стихи 1979.

**220.** Руль. 1925. № 1541, 25 декабря -- Стихи 1979.

**221.** Руль. 1925. № 1543, 13 сентября -- Стихи 1979. Автограф — в письме матери из Констанца от 6 ноября 1925 г.: «Посылаю тебе стихи, сочиненные в Säckingene, где действительно на площади, ночью, давал представление бродячий цирк» (Berg Collection). *Блиста ли трубы на помосте, надулись трубы трубачей.* По мнению Ю. И. Левина, здесь реминисценция ст-ния В. Ходасевича «Большие флаги над эстрадой...» (1922): «Увидишь флаги над эстрадой, Услышишь трубы трубачей» (Левин. С. 267, примеч. 22), он же указывает, что образ акробата в этом ст-нии — из ст-ния Ходасевича «Акробат» (1913, 1921).

**222.** Руль. 1923. № 839, 1 сентября, как вторая часть ст-ния «Прованс» (первая часть — № 321) -- Возвращение Чорба, под загл. «Сол-

нце», с вар. ст. 13: «как хорошо в поющем мире этом» -- Р&Р, под загл. «Прованс» -- Стихи 1979, где воспроизводится текст первой публикации. Дата сочинения указ. в машинописи сборника с авторской правкой (Berg Collection). В библиографической справке в Р&Р (Р. 213) Набоков указывает, что ст-ние было перепечатано в: Ляцкий Е. А. Русская грамматика. Прага, 1927; то же указание в: Juliar. В 10.1 (к сожалению, нам не удалось обнаружить это издание).

223. Руль. 1926. № 1727, 8 августа -- Стихи 1979.

224. Руль. 1926. № 1703, 11 июля -- Стихи 1979. Автограф — в письме к В. Е. Набоковой от 22 июня 1926 г., в письме ей же от 26 июня Набоков сообщает, что читал это ст-ние у Татариновых (Berg Collection).

225. Руль. 1925. № 1330, 19 апреля -- Возвращение Чорба, с вар. в ст. 22: «...ни в сотый, никогда не встанет он на зов» -- Р&Р -- Стихи 1979. В библиографическом примеч. в Р&Р Набоков указывает, что одновременно с публикацией в «Руле» ст-ние появилось в «Русском эхе» (в Juliar. С 196 – уточнение, что это был № 16 от 19 апреля 1925 г.). К сожалению, нам не удалось обнаружить это издание. *Лепивший воробьев на солнцепеке, в Назарете.* Имеется в виду эпизод из апокрифического «Евангелия детства» («Евангелия от Фомы»), в котором пятилетний Иисус, нарушив обычай субботнего отдыха, вылепил из глины двенадцать воробьев. В ответ на обвинения своего отца Иосифа в осквернении Субботы «Иисус ударил в ладоши и закричал воробьям: Летите! и воробьи взлетели, щебеча» (Апокрифы древних христиан. М.: Мысль, 1989. С. 142).

226. Руль. 1925. № 1348, 10 мая -- Стихи 1979.

227. Руль. 1928. № 2223, 18 марта, под загл. «К душе» -- Возвращение Чорба -- Р&Р -- Стихи 1979. В библиографической справке в Р&Р (Р. 214) Набоков ошибочно указывает, что это ст-ние было включено в На Западе.

## СТИХОТВОРЕНИЯ 1929–1951

В. Набоков. Стихотворения 1929–1951. Париж: Рифма, 1952. Переписку Набокова с издателем С. К. Маковским, обсуждающую это издание и новый сборник, оставшийся неосуществленным, см.: РГАЛИ. Ф, 2512. Оп. 1. Ед. хр. 350 (указано в: Друзья. С. 500). В заметке «от автора» Набоков предуведомляет: «Стихотворения, отобранные для этого издания, были сочинены в Германии, Франции и Америке между 1929 и 1951 годами. Первым из них заканчивается период юношеского творчества. Представленные стихотворения печатались в эмигрантских журналах и газетах, причем

девять из них вышли под псевдонимами: "В. Сирин" (первые семь) и "Василий Шишков" (следующие два)». Ю. Иваск в рецензии на издания «Рифмы» отметил сборник Набокова: «Набокову всегда все удается. Вот у кого – дар. <...> Конечно, ему не могли не удастся и стихи» – но в конце вернулся к положениям полемики четвертьвековой давности между «монпарнасцами» и Ходасевичем–Набоковым: «Да, и в стихах – полная удача. Чтение их увлекательно: сколько изобилия, сколько щедрости. А поэзия? т.е. что-то или нечто непередаваемое? Но что такое поэзия, что такое поэт? Вместо ответа – два уподобления. Во 1-х, не есть ли поэт – что-то вроде колдуна, дающего сладкую отраву (часто с примесью обмана)? И во 2-х, не есть ли еще поэт – последний нищий, просящий милостыню на паперти (и иногда притворяющийся слепым)? Колдовство и нищета (очень всерьез, хотя и не без обмана) – вот, может быть, поэзия. Какое-то безумие. И какое-то не совсем чистое дело. Но этими пороками поэтов Набоков брезгует. Он так самоуверен, победителен. И всегда разумен, не безумен – даже когда передает (и всегда очень удачно) едва уловимое или пишет чисто-лирическое (беспредметное) стихотворение («Был день, как день»). Такой разбор – конечно, субъективен. Говорю с полной откровенностью – так я чувствую...» (Иваск Ю. Рифма (Новые сборники стихов) // Опыты. 1953. № 1. С. 197–198). Статья Иваска вызвала злость Набокова: «...Иваску нельзя к журналам и подпускать» (Дребезжание моих ржавых русских струн... С. 385). Е. Таубер также начинает с похвал: «"Стихотворения" обнимают большой период творчества В. Набокова: от 1929-го года до 1951-го. Но, несмотря на это, они все объединены единой темой: тема эта – Россия, взятая в характерном для В. Набокова разрезе и сплетенная с темой двойника. И этот-то особый подход к теме делает сборник стихов и острым, и своеобразным. То же можно сказать и о манере писать. <...> Собственно, тема двойника и тема России вместе с темой творчества и являются центральными для Набокова. Писать о музах и о поэтах избито. Но Набоков говорит об этом так, что навсегда запомнишь и "красногубую рифму", и "страницу под стеклом бессмертную, всю в молниях помарок"» и переходит к осуждению: «Любовь его к России эгоцентрична. Русский народ с его страданиями и надеждами не интересует Набокова. Не занимает его и вечное во временном облике родины. Он занят только собою» (Таубер Е. «Стихотворения» В. Набокова // Возрождение. 1955. № 37. С. 139). Выделяя основной «страшный» мотив – «молчанье любви» (из ст-ния «Поэты») и находя его в ст-ниях «Отвяжись, я тебя умоляю...» и «Слава», она заканчивает: «Во многом можно обвинить Набокова, но только не в том, что французы называют "la lucidité". Беспомощно относясь к другим, он столь же беспомощен и к самому себе, "прогоревшему мечтателю", по собственному определению. И книгу его закрываешь с тяжелым чувством, со страхом за нашу безблагодатную эпоху, за судьбы мира, за судьбы самого для нас дорогого – поэзии» (Там же. С. 140–141). См. также рец.: А. Н. Стихи В. Набокова // Грани. 1952. № 16. С. 179–180. Г. Адамо-

вич обозначил рецепцию стихов Набокова в эмигрантской литературной среде 1950-х гг.: «Появление "Стихотворений" В. Набокова <...> прошло почти незамеченным. <...> В Париже книжечка эта ни споров, ни разговоров не вызвала, и было присяжными парижскими ценителями единодушно признано, что хотя стихи и талантливые, однако... И смысл этого "однако" казался каждому настолько ясен, что речь обрывалась на полуслове, сама собой. Смысл был приблизительно тот, что сейчас так писать "не принято", что Набоков оригинальничает, а оригинальничанье набило всем оскомину, что Набоков витиеват, вычурен, многословен, а в поэзии все это ни к чему. <...> доля истины в них, по-моему, есть. Но очень жаль все-таки, что стихи Набокова не вызвали достаточного внимания. Не только потому жаль, что в стихах этих действительно чувствуется большой талант, — тот же самый талант, который виден в прозе Набокова, — но и потому (и даже именно потому), что они резко расходятся с классическим эмигрантским поэтическим каноном». Адамович также отметил, что Набоков — «единственный в эмиграции поэт, который чему-то научился у Пастернака» (Адамович Г. *Одиночество и свобода*. Нью-Йорк: Изд. имени Чехова, 1955. С. 83). В письме А. Бахраху Адамович добавил: «Это блестящее хамство, но все-таки блестящее, а местами (редко) и самая настоящая поэзия. Терапиано тоже фыркает, а в одной сирийской строчке все-таки больше таланта, чем во всех парижских потугах» (Письма Георгия Адамовича А. В. Бахраху (1952–1953) / Публ. Вадима Крейда и Веры Крейд // *Новый журнал*. 1999. Кн. 217. С. 52), см. также рец. Адамовича в «Новом русском слове» (1953. 29 марта, 26 апреля).

**228.** Руль. 1929. № 2684, 24 сентября, под загл. «К музе» -- С-1952, без загл -- Р&Р -- Стихи 1979. В заметке от автора в С-1952 Набоков указывает, что этим ст-нием заканчивается период его юношеского творчества, Г. Струве поиронизировал, что, следовательно, «юность Набокова продолжалась тридцать лет» (Русская литература в изгнании. С. 164). Примеч. в Р&Р, что ст-ние было включено в На западе, — ошибка. *Теперь не то... / Мне не пог силу многие труды, / особенно тщеславия заботы. / Я опытен, я скуп и нетерпим.* По наблюдению Ю. И. Левина, здесь реминисценция двух «Стансов» Ходасевича («Уж тяжелы мне долгие труды...» (1918) и «Я стал умен, суров и скуп» (1922) (Левин. С. 267, примеч. 22).

**229.** Последние новости. 1932. № 4148, 31 июля, без загл., с делением на 4 части и строфы -- С-1952 -- Р&Р -- Стихи 1979, с примеч. «Посвящено Владимиру Дмитриевичу Набокову» (С. 319). Вера Набокова отмечает, что это раннее ст-ние ближе по типу к последнему периоду поэтического творчества Набокова, охарактеризованного им как «внезапное освобождение от <...> оков, выразившееся в <...> запоздалом открытии твердого стиля» (Набокова В. Предисловие // Стихи 1979).

**230.** Последние новости. 1934. № 4788, 3 мая, без загл., с делением на части и строфы, без последних двух строк (последняя строка — «пластом на зелени ствола») -- С-1952 -- Р&Р -- Стихи 1979. В



предуведомлении к публичному чтению стихотворения в 1949 г. Набоков дал краткое пояснение: «Следующее стихотворение, состоящее из нескольких легко-сцепленных частей, обращено сначала как бы к двойнику поэту, рвущемуся на родину, в какую-то несуществующую Россию, вон из той гнусной Германии, где я тогда прозябал. Окончание относится уже прямо к родине» (Стихи и комментарии. С. 80). Г. Адамович отметил сильное влияние Пастернака: «Здесь перенято все: и приемы, и интонация, эти строки кажутся выпавшими из "Второго рождения" или из "Поверх барьеров"» (Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955. С. 83–84).

231. С-1952 без загл. -- Р&Р -- Стихи 1979.

232. Последние новости. 1934. № 4844, 28 июня, без загл., с подзаг. «Из Ф. Г. Ч», то есть, видимо, из Федора Годунова-Чердынцова — это имя Набоков впоследствии дал герою романа «Дар» -- Р&Р -- Стихи 1979. «Незнакомка из Сены». Маска, снятая с неизвестной молодой девушки, утонувшей в Сене в 1860-х гг., стала модным элементом украшения интерьера в Париже и Берлине 1920-х гг., упоминается Набоковым как «неизбежная» в рассказе «Тяжелый дым» (1935). Д. Б. Джонсон указывает на многочисленные отражения этого образа в литературе, из возможно, известных Набокову — одноименное стихотворение французского поэта Жюль Сюпервьеля (1931), с которым Набоков дружил в Париже и чьи стихи переводил (переводы не опубликованы), и немецкий роман — бестселлер весны 1934 г. — «Неизвестная» («Die Unbekannte») Мушлера (Reinhold Conrad Muschler). Этот расхожий образ Набоков контаминирует с «Незнакомкой» Блока (Johnson D. B. «L'Inconnue de la Seine» and Nabokov's Naiads // Comparative Literature. V. 44, № 1. (Summer 1992). P. 225–248).

233. С-1952 -- Р&Р -- Стихи 1979. В примеч. к Р&Р Набоков ошибочно указывает, что стихотворение включено в На западе.

234. С-1952 -- Р&Р -- Стихи 1979. Вкл. в: На западе. В примеч. к публичному чтению стихотворения в 1949 г. Набоков отмечает, что оно из тех, что «все еще отвечают моим сегодняшним требованиям» и что оно «пришлось» по вкусу покойному Иосифу Владимировичу Гессену, человеку, чье художественное чутье и свобода суждений были мне так ценны» (Стихи и комментарии. С. 80). Автограф этого стихотворения с посвящ. «Иосифу Владимировичу Гессену» датирован «1-39» и подписан «Василий Шишков» (Звезда. 1999. № 4, внутренняя страница обложки; см. так же: Старк В. П. Неизвестный автограф Набокова, или история одной мистификации // Там же. С. 40–41). З. Шаховская также вспоминает, что «Сирин из Берлина прислал мне два рукописных своих стихотворения в 1938 году, "Мы с тобою так верили в связь бытия" и "Отвяжись, я тебя умоляю"» (Шаховская З. А. В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга, 1991. С. 254) — под общим загл. «Обращения», с датой: X. 39 и подписью: «Вас. Шишков» (архив З. Шаховской в Библиотеке Конгресса США (Вашингтон), см.:

Шраер М. Д. Набоков: Темы и вариации. СПб.: Академический проект, 2000. С. 220).

**235.** Современные записки. 1939. Кн. 69, с подписью: Василий Шишков. -- P&P -- Стихи 1979. Авторское примеч. в P&P, что ст-ние вкл. в сб. «На западе», ошибочно. Впоследствии Набоков объяснял: «Это стихотворение, опубликованное в журнале под псевдонимом "Василий Шишков", было написано с целью поймать в ловушку почетного критика (Г. Адамович, *Последние новости*), который автоматически выражал недовольство по поводу всего, что я писал. Уловка удалась: в своем недельном отчете он с таким красноречивым энтузиазмом приветствовал появление "таинственного нового поэта", что я не мог удержаться от того, чтобы продлить шутку, описав мои встречи с несуществующим Шишковым в рассказе, в котором, среди прочего изюма, был критический разбор самого стихотворения и похвал Адамовича» (Стихи 1979. С. 319–320, ср. о том же в примеч. к публичному чтению 1949 г. (Стихи и комментарии. С. 82)), ср. вступ. статью к наст. изд., с. 33–35. Г. Адамович написал восторженную рецензию: «Кто такой Василий Шишков? Были ли уже где-нибудь стихи за его подписью? Не решаюсь утверждать с уверенностью, — но, кажется, имени этого видеть в печати не приходилось, а судя по стихотворению, помещенному в "Современных записках", запомниться должно было бы. В "Поэтах" Шишкова талантлива каждая строчка, каждое слово, убедителен широкий их напев, и всюду разбросаны те находки, тот неожиданный и верный эпитет, то неожиданное и сразу прельщающее повторение, которые никаким опытом заменить нельзя. <...> Не могу, к сожалению, привести всего прекрасного этого стихотворения, — по недостатку места, но еще раз спрошу, — кто это, Василий Шишков? Откуда он? Вполне возможно, что через год-два имя его будут знать все, кому дорога русская поэзия» (Адамович Г. «Современные записки». Кн. 69. Часть литературная // *Последние новости*. 1939. № 6716, 17 августа). Е. Таубер, впрочем, спустя 13 лет, утверждала, что, прочтя это ст-ние в «Современных записках», «перечитала много раз и чем больше читала, тем больше крепло во мне убеждение, что его мог написать только Набоков, писавший тогда под именем Сирина, а В. Шишков — маска, игра, желание поморочить и позабавиться» (Таубер Е. «Стихотворения» В. Набокова // *Возрождение*. 1955. № 37. С. 139–141). З. Шаховская, которой, по ее словам Набоков, «одной из самых первых <...> до напечатанья» послал рукопись этих ст-ний и посвятил в мистификацию, напротив, считает, что «явно не только для мистификации эти стихотворения были написаны. <...> не могут быть ничем иным, как выражением истинных чувств автора, "трава двух несмежных могил" тому порукой» (Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга 1991. С. 34). Имеется в виду то обстоятельство, что отец Набокова, убитый 28 марта 1922 г., был похоронен в Тегеле, под Берлином, а мать, Е. И. Набокова, скончавшаяся 2 мая 1939 г., — в русской части Ольшанского кладбища в Праге. Набоков раскрыл мистификацию в рассказе «Василий Шишков» (1939): «Стихи были очень хороши <...>. Недавно по моему почину одно из них появилось на свет, и любители

поэзии заметили его своеобразность... Поэту, столь охочему до чужого мнения, я тут же высказал его, добавив в виде поправки, что кое-где заметны маленькие зыбкости слога — вроде, например, "в солдатских мундирах"» (Набоков V. С. 410). В примеч. к английскому переводу этого рассказа в сб. «Tyants Destroyed and Other Stories» (New York: McGraw Hill, 1975), Набоков описал последующую судьбу мистификации: «В зависимости от степени пронизательности эмигрантского читателя <рассказ «Василий Шишков»> мог быть воспринят или как реальное происшествие с участием реального человека по фамилии Шишков, либо как насмешливая история о странном случае растворения одного поэта в другом. Адамович сначала отказывался верить своим нетерпеливым друзьям и недругам, стремившимся доказать ему, что это я выдумал Шишкова, в конце концов он сдался и объяснил в своей следующей статье, что я "достаточно искусный пародист, чтобы подражать гению". Горячо желаю всем критикам быть такими же щедрыми» (цит. по: The Stories of Vladimir Nabokov. New York: Vintage, 1997. P. 657). Действительно, в следующей статье Адамович отметил органичность мистификации сирийскому дарованию: «Правда, стихи самого Сирина — совсем в другом роде. Но если вообще можно сочинить что-либо за иное сознание, на чужие, интуитивно найденные темы, то для Сирина, при его даровании и изобретательности, это допустимо вдвойне. В пародиях и подделках вдохновение иногда разгуливается вовсю и даже забывает об игре, как актер, вошедший в роль» (Адамович Г. «Современные записки». Кн. 40 // Иллюстрированная Россия. 1929. № 50 (239), 7 декабря), см. также: Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955. С. 84 и его письмо Бахраху от 1965 г. (Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: Критические отзывы, эссе, пародии / Под общ. ред. Н. Г. Мельникова. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 622–623) О розыгрыше см. также: Бойд. Русские годы. С. 588–590; Шраер М. Набоков: Темы и вариации. С. 211–239). О происхождении псевдонима Шишков см.: Там же. С. 222; Старк В. П. Неизвестный автограф Набокова, или история одной мистификации // Звезда. 1999. № 4. С. 40–41. *Рыганья рекламы на том берегу*. Авторское примеч. в Р&Р (Р. 95): «расплывающиеся изумруды рекламы аспирина, находившейся на противоположном берегу Сены» (Стихи 1979. С. 320) — очевидно, аллитрации в строке подсказывают название «Вауег». *Молчанье зарницы, молчанье зерна* — отсылка к сборнику Вл. Ходасевича «Путем зерна» (подробнее см. вступ. статью, с. 34–35).

**236.** Современные записки. Кн. 70. 1940, под загл. «Обращение» и с подписью: Василий Шишков -- С-1952 -- Р&Р -- Стихи 1979. Авторское примеч. в Р&Р, что ст-ние включено в На западе, ошибочно. Авторское примеч. к публичному чтению в 1949 г.: «Второе стихотворение этого парижского "цикла" (как любят выражаться молодые поэты) оказалось последним из моих многочисленных обращений к отечеству. Оно было вызвано известным пакостным пактом между двумя тоталитарными чудовищами (имеется в виду договор о ненападении между СССР и Германией, так называемый пакт Моло-

това — Риббентропа, подписанный 23 августа 1939 г. — М. М.), и уже после этого, если я и обращался к России, то лишь косвенно или через посредников» (Стихи и комментарии. С. 82). *Сквозь траву двух несмежных могил...* — см. примеч. № 235.

237. Новый журнал (Нью-Йорк). 1942. Кн. 3 -- С-1952 -- P&P - Стихи 1979. Примеч. к публичному чтению ст-ния 1949 г.: «...в нем некий дьявол, похожий на восковую фигуру, соблазняет свободно-го поэта всякими вещественными наградами. На псевдоним "Сирин", под которым я так много писал, намекается в одной из строф образом человека, загримированного птицей. Те, кто помнит "Памятник" Пушкина, заметят в одном месте маленькую парафразу» (Стихи и комментарии. С. 86). Г. Адамович отметил, что полифонизм поэмы отражает сложность натуры автора: «...в качестве автобиографического документа чрезвычайно характерно и длинное стихотворение о «Славе», где все прельщающее и все смущающее, что есть в Набокове, сплелось в некую причудливую симфонию» (Адамович Г. Одиночество и свобода. Нью-Йорк, 1955. С. 85). Ю. Иваск отметил трехсложный размер, преобладающий в зрелой поэзии Набокова: «...великолепное стихотворение <...>, где певучие, женственные (бальмонтовские) анапесты звучат по-новому — мужественно. Это — поэтическое "пение"; и это — высокая беседа. Такие анапесты я бы назвал набоковскими» (Иваск Ю. Рифма (Новые сборники стихов) // Опыты. 1953. №1. С. 198). ...как зловещий *груг детства*... Этот мотив повторяется в рассказе «Лик» (1939), прототип — очевидно, соученик по Тенишевскому Шмурло (см.: Левин Ю. Литературный подтекст палестинского письма Вл. Набокова // Новый журнал. 1999. Кн. 214. С. 120). ...*упустив аполлона*... Бабочки Apollo принадлежат к роду *Parnassius Linnaeus*, чаще всего у Набокова из них упоминается *Parnassius mnemosyne*, или «черный аполлон» (см.: Les Papillons de Nabokov / Red. Michel Sartori. Lausanne: Musee cantonal de Zoologie, 1993. P. 125–126). *Перечтуте*... Авторское примеч.: «это предложение обращено к тем, вероятно несуществующим, читателям, которым могло бы быть интересно разгадать намек на связь между Сирином, сказочной птицей славянской мифологии, и Сириным, псевдонимом, под которым автор писал в период между двадцатыми и сороковыми годами, содержащийся в строках 45–47» (Стихи 1979. С. 320). ...(*гохожденья до глаз, до локтей, до висков*) в *захолуствии русском, при лампе, в пальто... /под шум дождевой, / набегающий шум заоконной березы*... — реминисценция поэтического стиля Б. Пастернака, ср. дальнее аллюзия на его судьбу: *И виденье: на родине. Мастер. Надмненность... / Порой переводиль отрывок. С именами собратьев по правописанью*... Авторское примеч.: «В 1917 году была введена новая орфография, но эмигрантские издания придерживались старой» (Там же). ...*особенный привкус анисовый* Авторское примеч.: «Имеется в виду ложный лисий запах, масло, употребляемое, чтобы сбить с пути собак, преследующих дичь» (Там же). *Признаюсь, хорошо зашифрована ночь*... — автоописание распыленных в тексте анаграмм имени и псевдонима автора.

238. Новый журнал. 1944. Кн. 47 -- С-1952 -- Р&Р -- Стихи 1979. В письме Р. Гринбергу от 25.09.1943 Набоков сообщает, что у него «наполовину готова русская поэма» (Друзья. С. 481). В заметке к публичному чтению в 1949 г. Набоков ответил на упреки в «туманности» ст-ния: «Оно станет яснее, если иметь в виду, что вступительные его строки передают попытку поэта, изображенного в этих стихах, преодолеть то хаотическое, нечленораздельное волнение, когда в сознании брезжит только ритм будущего создания, а не прямой его смысл» (Стихи и комментарии. С. 82). Омри Ронен сопоставляет эту поэму с «Поэмой без героя» Ахматовой как подведение итогов Серебряного века (Ронен О. Серебряный век как умысел и вымысел. М.: О. Г. И., 2000. С. 113) — очевидно, имеются в виду интертекстуальные отсылки к творчеству «младшего» акмеиста Г. Иванова (подробнее см. вступ. статью к наст. изд., с. 37). Г. Струве отметил в поэме ритмические и словесные ходы Пастернака (Русская литература в изгнании. С. 166). *И погайте крыло Никанору* — возможно, реминисценция строки из «Баллады» («Мне невозможно быть собой...», 1925) Вл. Ходасевича: «Тогда с прохладнейших высот / Мне сбросьте перышко одно...». *От кочующих, праздно плутающих...* Авторское примеч.: «подражание некрасовской строке "От ликующих, праздно болтающих..."» (Стихи 1979. С. 320) из ст-ния «Рыцарь на час» (1860–1862), далее о Некрасове для американских читателей: «знаменитый поэт, который в нескольких великих стихотворениях успешно преодолел журналиста в себе, писал тематические джинглы на актуальные темы» (Там же. Р. 125). *Так он думал...* Авторское примеч.: «подражание пушкинским строкам "Так думал молодой повеса..."» (Там же). *Стул. На стуле он сам* — реминисценция ст-ния Ходасевича «Сижу, освещаемый сверху...» (1921). *Бульвар Араго*. Авторское примеч.: «до совсем еще недавнего времени на этой улице Парижа производились публичные казни путем обезглавливания» (Там же). Возможно, «переход на подобье арго» маркирует анаграмму псевдонима русского эмигранта, графомана Павла Горгулова «Бред» (*гебрях Бульвар Араго*), он был гильотинирован в 1932 г. на бульваре Араго за убийство президента Франции Дюмера. *Чуген ночью Париж сухопарый*. Авторское примеч.: «подражание описанию Днепра в "Страшной мести" Гоголя — "Чуден Днепр при тихой погоде..." и т. д.» (Там же), для американских читателей добавлена характеристика повести Гоголя: «отвратительно банальная история».

239. Социалистический вестник (Нью-Йорк). 1944. № 5/6, 17 марта (утверждение Набокова в Р&Р, что ст-ние опубликовано в № 37 журнала за этот год, ошибочно), без подписи, с датой: 1944 г. -- С-1952 -- Р&Р -- Стихи 1979. Вкл. в: На Западе и Modern Russian Poetry. В журнале в финале статьи Г. Аронсона «О "внутренней эволюции" СССР» без указания авторства («Прекрасную отповедь этим настроениям деморализации дают благородные стихи поэта, — которыми как нельзя лучше можно закончить статью» (далее цитируется ст-ние без разделения на строфы)), ср.: Аронсон Г. Встреча с поэтом (На литературном вечере В. В. Набокова-Сириня) // Новое русское

слово. 1949. 26 мая. В примеч. к публичному чтению 1949 г. Набоков так характеризует это ст-ние: «Как известно, по какому-то странному совокуплению разнородных мыслей, военная слава России послужила для некоторых архи-буржуазных кругов поводом к примирению с ее режимом. Один литературный журнал, который специализировался на этом патриотическом трепете, обратился ко мне с просьбой сотрудничать и получил от меня следующую, довольно неожиданную для него лепту» (Стихи и комментарии. С. 86). Ст-ние было написано по просьбе С. Ю. Прегель, издательницы журнала «Новоселье» (об истории журнала см.: Юниверг Л. Скромное, но полезное русское дело: Из истории журнала «Новоселье» // Евреи в культуре русского Зарубежья. Иерусалим, 1995. Т. 4. С. 229—244), 2 апреля 1943 г. Набоков ответил на ее просьбу письмом, содержащим это ст-ние и приписку: «Посылаю Вам, дорогая София Юльевна, этот экспромт с дружеским приветом. В. Набоков-Сирина» (Из архива С. Ю. Прегель / Публ. Ю. Гаухман // Там же. С. 281; о посылке ст-ния Набоков сообщил Э. Уилсону в письме от 5 апреля 1943 г. (Nabokov-Wilson Letters. P. 100—101)). В «Социалистическом вестнике», официальном органе РСПДР, основанном Л. Мартовым, ст-ние появилось без ведома автора: «Мой маленький стихотворный экспромт "Советская сусальнейшая Русь" "тайно" циркулировал в списках и списках списков среди русских социалистов окружения Керенского, давая им изысканное, давно утраченное возбуждение от распространения "запрещенных стихов", как бывало при царизме, — пока наконец один из этих социалистов не опубликовал его анонимно в "Социал<истическом> Вестнике", предварив (в финале анти-Сталинской статьи) особым ритуально-скрытым указанием, как было принято в отношении списков революционных стихов полвека назад. Тут есть два очеровательных обстоятельства: 1) такие благородные гражданственные стихи являются общественной собственностью и 2) имя поэта не открывается, потому что иначе он будет сослан в Сибирь (или на Лабрадор) — президентом Рузвельтом. Если тебе знакомы нравы, среда и стиль русских левых публицистов 1845—1945, ты оценишь тонкий юмор произошедшего» (Там же. P. 132). Ст-ние действительно имело хождение в кругу А. Керенского — он обратился к редактору «Нового журнала» М. Карповичу с просьбой опубликовать это ст-ние Сирина, на что Карпович ответил отказом на том основании, что ст-ние предназначалась для «Новоселья» (см.: Стихи и комментарии. С. 89), ср. также: Дребезжание моих ржавых русских струн... С. 361. Несмотря на декларированную аполитичность, Набоков, видимо, в середине 1940-х гг. был потрясен просоветской переориентацией его знакомых по европейской эмиграции (В. А. Макалова, Г. В. Адамовича, Н. Бердяева, П. Н. Милокова), см.: «Дорогой и милый Одиссей...»: Переписка В. В. Набокова и В. М. Зензинова / Вступ. ст., публ. и комм. Г. Б. Глушанок // Наше наследие. 2000. № 53. С. 83—87; письмо Э. Уилсону от 23 февраля 1948 г. (русский перевод в: Звезда. 1996. № 11. С. 120). Поэтическое качество этого ст-ния оценил Г. Адамович: «Стихотворение политическое, но политика ни в коей мере не является причиной того, что это стихи очень плохие, до крайности плоские. С политической точки зрения взгляды выра-

жены самые благонамеренные и похвальные, но поэзия тут не только "не ночевала", она и отдаленно не прошла мимо этой эстрадно-эффектной декларации. <...> Особенно тягостна последняя строка: "увольте, я еще позт!" Не говоря уже об этом "увольте", как может человек сам себя величать поэтом, — не в том смысле, что он пишет стихи, а в том, что он, видите ли, считает себя каким-то особым, высшего порядка существом? Почему бы в таком случае не быть последовательным и не носить длинных кудрей, бархатного берета и прочих поэтических атрибутов?» (Адамович Г. По поводу стихов Влад. Набокова // Новое русское слово. 1953. 26 марта).

240. Новый журнал. 1945. Кн. 10 -- С-1952 -- P&P -- Стихи 1979. Вкл. в: На Западе. По характеристике самого Набокова, ст-ние — «откровенно гражданского пошиба», в нем «намечена пародия на манеру покойного Владимира Маяковского. Рифмы, упомянутые в конце, подразумевают имена Сталин и (в русском произношении) Черчилль. В этом стихотворении ясно выражается раздражение, вызванное низкопоклонничеством перед громовержцами» (Стихи и комментарии. С. 85), — речь идет о просталинских настроениях в Америке, особенно среди левой интеллигенции, связанных с победой во Второй мировой войне, ср. также № 239. Набоков, как Т. Адорно и другие европейские интеллектуалы, бежавшие от фашизма, с беспокойством видел его ростки в Америке (см. об этом: Бродская Анна. Банальность зла. Роман «Лолита» и послевоенное эмигрантское сознание // Вышгород (Таллинн). 1999. № 3. С. 84—92; Foster John Burt, Jr. Poshlust, culture criticism, Adorno, and Malraux // Nabokov and His Fiction. New Perspectives / Ed. by Julian W. Connolly. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 216—235). Ю. Иваск: «Здесь веселая, бодрящая ненависть самой высокой сатиры, которая не нуждается ни в колдовстве, ни в нищенстве поэзии и чужда — безумия и обмана» (Иваск Ю. Рифма (Новые сборники стихов) // Опыты. 1953. № 1. С. 198). ...*глядя в бинокль на плотного с ежиком в ложе?* Авторское примеч.: «туристы, посещавшие советские театры, оставались под глубоким впечатлением от увиденного там диктатора» (P&P. P. 133; русский перевод: Стихи 1979. С. 320). ...*ни лучше, ни веселей.* Авторское примеч.: «вспоминается комическое заявление Сталина: "Жить стало лучше, жить стало веселей"» (Там же). ...*гетина в регалиях...* Авторское примеч.: «...здесь на мгновение появляются советский генерал и Адольф Гитлер» (Там же). ...*или опять же банкет с кавказским вином...* Авторское примеч.: «наша последняя остановка — Тегеран» (Там же). *Покойный мой тезка.* Авторское примеч.: «мелкокалиберный советский поэт, Владимир Владимирович Маяковский, не лишенный некоторого блеска и хватки, но роковым образом развращенный режимом, которому верно служил» (Там же). Все ст-ние представляет собой пастиш строфики и рифм Маяковского. ...*рифмы натягивал на «монументален», на «переперчил»...* Авторское примеч.: «"монументален" рифмуется довольно точно со "Сталин", а "переперчил" забавным образом перекликается с фамилией британского политического деятеля в неряшливом русском произношении» (Там же). Последнее, очевидно, также реминисценция предсмертной за-

писки Маяковского («Инцидент, как говорится, исперчен»). Политическую лирику Маяковского Набоков также пародирует в ст-нии из рассказа «Истребление тиранов»(1938):

Хорошо-с, — а помните, граждане,  
как хирел наш край без отца?  
Так без хмеля сильнейшая жажда  
не создаст ни пивца, ни певца.

Вообразите, ни реп нет,  
ни баклажанов, ни брюкв...  
Так и песня, что днесь у нас крепнет,  
задыхалась в луковках букв.

Шли мы тропинкой исторенной,  
горькие ели грибы,  
пока ворота истории  
не дрогнули от колотьбы.

Пока, белизною кительной  
сияя верным сынам,  
с улыбкой своей удивительной  
Правитель не вышел к нам.

(см. подробнее: Набоков V. С. 734)

241. Новый журнал. 1947. Кн. 15 -- С-1952 -- P&P -- Стихи 1979. Вкл. в: На Западе. Очевидно, именно это ст-ние и роман «Look at the Harlequins!» (1974), в котором герой V. отправляется в Ленинград на поиски своей дочери и возлюбленной, спровоцировало слухи о том, что Набоков инкогнито посещал Ленинград и Москву. Ю. Иваск вначале восхищается этим ст-нием: «Какие у него там убыстряющие ямб пеаны и какие самые удивительные подробности:

Да, все подробности, Качурин,  
все бедненькие, каковы  
край сизой тучи, ромб лазури  
и край ствола сквозь рябь листвы»

— но затем добавляет:

«Но подробности последних двух строчек — не для прозы ли?» (Иваск Ю. Рифма (Новые сборники стихов) // Опыты. 1953. № 1. С. 197–198). Качурин. Авторские примеч. мистифицируют читателя: «Качурин, Стефан Мстиславович. Мой бедный друг, бывший полковник Белой Армии, умерший несколько лет тому назад в монастыре на Аляске. Только золотым сердцем, ограниченными умственными способностями и старческим оптимизмом можно оправдать то, что он присоветовал описываемое здесь путешествие. Его дочь выш-



ла замуж за композитора Торнитсена» (Стихи 1979. С. 320); «Стихотворение <...> посвящено моему большому приятелю, известному автомобильному гонщику, князю Сергею Михайловичу Качурину. Года три-четыре тому назад представился случай инкогнито побывать в России, и добрейший Сергей Михайлович очень уговаривал меня этим случаем воспользоваться. Я живо представил себе мое путешествие туда и написал следующие стихи» (Стихи и комментарии. С. 85). Фамилия Качурин (вместе с фамилиями Барбашин, Чердынцев, Рёвшин, Синеусов) фигурирует в списке, который прислал Набокову в ответ на просьбу назвать фамилии вымерших русских дворянских родов для имени героя «Дара» его друг, учитель и эрудит Н. Яковлев в 1926 г. в Берлине (см.: Бойд, Русские годы. С. 300). В аннотированном прозаическом переводе ст-ния, сделанном для Э. Уилсона около 1947 г., Набоков дает другой комментарий: «...который <Качурин> не существует, но которого читатель должен принять за старого друга автора — с подобием той звучной апострофирующей интонации, которую Пушкин придает именам друзей в своих стихах» (цит. по: Varabtarlo G. *Aerial Views. Essays on Nabokov's Art and Metaphysics*. New York: Peter Lang, 1993. P. 264.). ...и всем долинам дагестанским... Авторское примеч.: «ссылка на известное стихотворение Лермонтова ("В полдневный жар в долине Дагестана...")» (Стихи 1979. С. 320), то есть ст-ние «Сон» (1843), переведенное Набоковым на английский и проанализированное в статье «The Lermontov Mirage» (*The Russian Review* 1:1 (November 1941). P. 31–39) и предисловии к его переводу «Героя нашего времени» (*A Hero of Our Time*, by Mikhail Lermontov. Transl / by Vladimir Nabokov in Collaboration with Dmitry Nabokov. New York: Doubleday, 1958). ...я шлю завистливый привет. Авторское примеч.: «Завистливый, ибо экзотический и летальный, как те романтические долины, и менее ужасный чем описываемые мною края» (цит. по: Varabtarlo G. *Aerial Views...* P. 265). *От холода, от перебоев...* «Инструментовка этой строки подготавливает дрожащий фон для постепенного развития темы птиц — см. дальше» (Там же). ...мог встать и до окна дойти... «Обрати здесь внимание на влажную и щебечущую под сурдинку инструментовку, которая связывает предыдущий цветочный орнамент с последующей темой пробуждающихся птиц» (Там же). *В шестидесяти девяти / верстах от города...* На таком расстоянии от Петербурга находится набоковское имение в Выре. ...где запинаясь взаперти... «Эта строфа содержит обещанный птичий взрыв, переданный как "щебетанье в шестидесяти девяти верстах"» (Там же. P. 267). ...чтоб в Матагордовом Ущелье... «Иными словами, позволь мне отправиться в Америку напрямую из детства и романов о Диком Западе, которые мне тогда нравились» (Там же. P. 268), — имеется в виду роман Т. Майн Рида «Всадник без головы» (1866), действие которого происходит в Техасе на берегу залива Матагорда.

242. С-1952 -- Р&Р -- Стихи 1979. Вкл. в: На Западе. Г. Струве приводит это ст-ние как пример реминисценции из Ходасевича (*Русская литература в изгнании*. С. 166).

## ИЗ «POEMS AND PROBLEMS»

V. Nabokov. Poems and Problems. New York; Toronto: McGraw-Hill, 1970. Сборник состоит из авторского предисловия и примечаний к стихам, 29 русских ст-ний (из них одно («Дождь пролетел») — из сб. «Два пути», пятнадцать — из С-1952) с авторскими переводами на английский en regard, 14 английских ст-ний (все из сборника: Nabokov V. Poems. New York: Doubleday, 1959), 18 шахматных задач с решениями. Сборник практически не был отмечен критикой (см.: Штейн Э. Набоковские реминисценции // Русская мысль (Париж). 1978. 13 июля). Здесь печатаются только ст-ния, не входившие в предыдущие сборники, полностью состав сборника воспроизведен в: Набоков В. В. Стихотворения и поэмы / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и примеч. В. С. Федорова. М.: Согласие, 1991.

243. P&P -- Стихи 1979. Написано 3 (16) декабря 1917 г. в Гаспре (Крым) — в этот день из Петрограда с последними политическими новостями приехал В. Д. Набоков. Авторское примеч.: «Главный — и в сущности единственный — интерес этих строк состоит в том, что они выражают разочарование интеллигенции, приветствовавшей либеральную революцию весной 1917 г. и тяжело переживавшей большевистский реакционный бунт осенью того же года. То, что этот реакционный режим продержался уже больше полувека, придает пророческий оттенок трафаретному стихотворению юного поэта. Возможно, оно было напечатано в одной из ялтинских газет, но ни в один из моих позднейших сборников оно не вошло» (Стихи 1979. С. 319).

244. P&P -- Стихи 1979. Написано 8 апреля 1919 г. в Севастополе, в библиографическом примеч. Набоков уточняет место и время сочинения ст-ния: «Отель «Метрополь», номер 7 <...> за несколько дней до прощания с Россией» (семья Набоковых отплыла из Крыма на греческом судне «Надежда» 2 (15) апреля 1919 г.) (Р. 213).

245. Русское эхо. 1925. 1 марта (указ. по: Juliar. P. 194. В P&P (Р. 213) Набоков ошибочно указывает 3 марта) -- P&P -- Стихи 1979. Автограф — в письме к матери от 24 января 1925 г.: «Люблю тебя, обнимаю, на обороте найдешь стихи...» (Berg Collection).

246. Руль. 1925. № 145, 19 сентября, без загл. -- P&P, в оглавлении и тексте под загл. «Люблю я гору», в библиографической справке (Р. 214) под загл. «Вершина» -- Стихи 1979, под загл. «Вершина». Автографы — в открытках матери от 31 августа 1925, без загл., и жене, с загл. «Вершина» и припиской: «Шура (Александр Зак, ученик Набокова. — М. М.) предлагает назвать эти стихи: Что я подумал, гуляя 31—VIII—25 по Шварцвальду и встретив знакомое растение...», на той же открытке: «Перепиши точно эти стихи и пошли их в «Руль» с просьбой ("мой муж...") напечатать» (Berg Collection).

247. P&P -- Стихи 1979. Авторское примеч.: «Написанное свыше сорока лет тому назад, чтобы позабавить приятеля, это стихотворе-

ние не могло быть опубликовано ни в одном благопристойном журнале того времени. Манускрипт его только недавно обнаружился среди моих старых бумаг. Догадливый читатель воздержится от поисков в этой абстрактной фантазии какой-либо связи с моей позднейшей прозой» (Р. 55 русский перевод: Стихи 1979. С. 319). В машинописи сборника с авторской правкой ст-ние датировано: Берлин, 1928 (Berg Collection). *Лилит* (древнеевр. мифология) — первая жена Адама, бежавшая от него и ставшая демоном; подробнее см.: Курганов Е. Лолита и Ада. СПб.: Звезда 2001. С. 22 — 45.

248. Руль. 1930. № 2797, 7 февраля -- P&P -- Стихи 1979.

249. Руль. 1931. № 3149, 5 апреля -- P&P -- Стихи 1979. *Алембик* — стеклянный перегонный куб небольшого размера.

250. P&P -- Стихи 1979.

251. Последние новости. 1933. № 4330, 29 января -- P&P -- Стихи 1979. ...из лапы льва не извлекал занозы. По наблюдению Г. Амелина и В. Мордерер, возможно, аллюзия на ст-ние О. Мандельштама «Язык булыжника мне голубя понятней...» (1923), в котором «нежный львенок» французской революции, «Он лапу поднимал, как огненную розу, / И, как ребенок, все показывал занозу» (Амелин Г. Г., Мордерер В. Я. Миры и столкновения Осипа Мандельштама. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 193, примеч. 338). *Вгруг снег пошел; гляжу, а это розы.* Помимо связи с подтекстом предыдущей строки, также, возможно, реминисценция лейтмотива снега-роз из сборника любимого Набоковым А. Ладинского «Черное и голубое» (1931).

252. P&P -- Стихи 1979.

253. Опыты (Нью-Йорк). 1953. Кн. 1, без разбивки на строфы -- P&P -- Стихи 1979, где датировано: 1953 г. Автограф в недатированном письме (до 5 октября 1952 г.) Р. Гринбергу (см.: Дребезжание моих ржавых русских струн... С. 377—378). В примеч. к P&P (Р. 216) Набоков отмечает опечатку в публикации «Опытов» — в ст. 4 «от зелени уж назойливой», — нарушающую размер (в письме к издателю журнала Набоков просит опубликовать поправку (Дребезжание моих ржавых русских струн... С. 385, 387), что сделано не было). Авторское примеч.: «Заглавие "Неправильные ямбы" основано на том, что, по правилам русской просодии, полуударение никогда не падает на *если*, меж тем как на слове *между* полуударение разрешается по старой традиции. Нет, однако, причины не обращаться с первым из этих двух легких, плавных двусложных слов так же, как и со вторым, особенно в начале ямбической строки» (Стихи 1979. С. 320). Схема клаузул, которую Набоков не упоминает, еще дальше от нормы (см.: Smith Gerald S. Nabokov and Russian Verse Form // Russian Literature Triquarterly. 1991. № 24. P. 301).

254. Воздушные пути: Альманах (Нью-Йорк). 1961. Кн. 2, без загл., как второе ст-ние цикла «Два стихотворения» (первое – № 399) -- P&P -- Стихи 1979. Дата сочинения ст-ния указ. на карточке с автографом (Berg Collection): 26 февраля 1959. Автограф в письме Р. Гринбергу от 3.06.1960 (Друзья. С. 527 –528). Вкл. в: Modern Russian Poetry. См. рец. Ю. Иваска (Русская мысль. 1961. № 1699, 24 июня). Г. Струве в письме В. Маркову от 1 июля 1961 г. заметил, что, если бы ему пришлось писать отзыв, он бы «очень резко, не стесняясь, отозвался о стихотворении Набокова, пародирующем Пастернака: я считаю его гнусным» («Ваш Глеб Струве». Письма Г. П. Струве к В. Ф. Маркову / Публ. Дж. Шерона // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 133–134). В письме сестре, Е. В. Сикорской от 24 мая 1959 г. · вариант:

«Какое ж совершил я злое дело,  
и я ль идейный водолей,  
Я, заставляющий мечтать мир целый  
о бедной девочке моей –

перефразируя блаженного большевика Бориса Пастернака...» (Набоков В. Переписка с сестрой. Анн Арбор: Ардис, 1985. С. 97). Авторское примеч.: «...первая строфа этого стихотворения подражает началу стихотворения Бориса Пастернака, в которой он указывает, что его печально знаменитый роман "весь мир заставил плакать над красой земли моей"» (P&P. P. 147). В Стихи 1979 (преднамеренная?) ошибка усугублена: «первая строка (стихотворения Пастернака. · М. М.) заимствована полностью». Набоков несомненно помнил, что пародировал не первые, а заключительные строфы 3–4 ст-ния Б. Пастернака «Нобелевская премия» («Я пропал, как зверь в загоне...», 1959): «Что же сделал я за пакость, / Я убийца и злодей? / Я весь мир заставил плакать / Над красой земли моей. / Но и так, почти у гроба, / Верю я, придет пора – / Силу подлости и злобы / Одолеет дух добра». Набоков многократно резко отрицательно отзывался о романе «Доктор Живаго» (см.: Hughes Robert P. Nabokov Reading Pasternak // Boris Pasternak and His Times. Selected Papers from the Second International Symposium on Pasternak / Ed. Lazar Fleishman. Berkeley: Berkeley Slavic Specialities, 1989. P. 153–170; письмо Набокова Р. Гринбергу от 21 сентября 1958 г., цит. в комментарии Г. Глушанок в: Набоков V. С. 827); интервью Гершону Свету (1961) (Набоков V. С. 647); а его отношение к стихам Пастернака было более сложным. В рецензии 1927 г. он сравнил Пастернака с Бенедиктовым: «Стих у него выпуклый, зобастый, таращащий глаза, словно его муза страдает базедовой болезнью. Он без ума от громоздких размеров. Синтаксис у него какой-то развратный – чем-то он напоминает Бенедиктова. Вот точно так же темно и пышно Бенедиктов писал о женском телосложении, о чаше неба, об амазонке. Восхищаться Пастернаком мудро: плоховато он знает русский язык, неумело выражает свою мысль, а вовсе не глубиной и сложностью самой мысли объясняется непонятность многих его стихов» (Сирин В. Дмитрий Кобяков «Горечь».

«Керамика». Евгений Шах. «Семя на камне» // Руль. 1927. 11 мая; цит. по: Набоков И. С. 638—639) — и почти дословно повторил первую часть этого определения 43 года спустя в эпиграмме «Пастернак»:

Его обороты, эпитеты, дикция,  
стереоскопичность его —  
всё в нем выдает со стихом Бенедиктова  
свое роковое родство.

(Стихи 1979. С. 296).

При этом для подборки современных советских авторов он предложил издателю «New Directions» Джеймсу Лафлину по десять стихов Пастернака и Ходасевича и двадцать — других авторов (Nabokov V. Selected Letters 1940—1977 / Ed. by Dmitry Nabokov and Matthew J. Bruccoli. New York: Harcourt Brace Jovanovich / Bruccoli Clark, 1989. P. 37) и тогда же назвал его в письме к Э. Уилсону первоклассным поэтом (Nabokov-Wilson Letters. P. 37), см. также: Nabokov V. Strong Opinions. New York and London: Mc Graw—Hill, 1973. P. 206. Начиная с Г. Адамовича, который раздел о стихах Набокова в своей книге «Одиночество и свобода» (С. 79—85) посвятил почти исключительно поэзии Пастернака, исследователи отмечали значительное влияние Пастернака на зрелую поэтику Набокова, ср. итоговую формулировку Ю. И. Левина: «...хотя во многих отношениях расчетливый "сноб и атлет" В. Набоков и "вдохновенно захлебывающийся" Б. Пастернак являются антиподами, первый многим обязан второму. <...> Описательные и "философствующие" фрагменты "Дара" и "Других берегов" несут несомненный отпечаток усвоения ранней прозы и стихов Пастернака (с их "стереоскопичностью", отмеченной Набоковым в поздней эпиграмме), а отдельные фрагменты стихов Набокова (см. особенно "Поэты" и "Слава") являются открытыми заимствованиями из стихов Пастернака. Все это особенно интересно на фоне "антипастернаковских" стихов и прозы Набокова последних лет (последствие к "Лолите"; эпиграмма; пародия с нарочито искаженной — как бы полученной в результате двойного перевода — строкой "Какое сделал я дурное дело", снабженной вводящим в заблуждение авторским комментарием, — притом пародия именно на "Нобелевскую премию"» (Левин С. 281). *О, знаю я...* — О державинских и пушкинских традициях *exegi monumentum* в этом ст-нии см.: Кац Б. А. «*Exegi monumentum*» Владимира Набокова: К прочтению стихотворения «Какое сделал я дурное дело...» // Литературное обозрение. 1999. № 2. С. 72—76. ...и, как от яга в полом изумруде, мрут от искусства моего — аллюзия на реплику Сальери из «Моцарта и Сальери» Пушкина: «Вот яд, последний дар моей Изоры», ср. также аллюзию к «Дару» (gift — яд (нем.)) в: Кац. Цит. соч. С. 73, 76). *Но как забавно...* В последней строфе Б. Кац находит анаграмму фамилии и псевдонима Набокова-Сирина (Там же. С. 76—77). ...*корректору и веку вопреки...* По предположению О. Ронена, образ корректора в этом ст-нии восходит к последней строфе ст-ния Ф. Тютчева «Михаилу Петровичу Погодину»:

В наш век стихи живут два-три мгновенья,  
Родились утром, к вечеру умрут...  
О чем же хлопотать? Рука забвенья  
Как раз свершит свой корректурный труд

(см.: Там же. С. 73).

**255.** Новое русское слово (Нью-Йорк). 1968. № 20040, 21 января, как факсимиле рукописи -- *Poems&Problems*. -- Стихи 1979. Деревня *Батово* и село *Рождествено* (в написании Набокова *Рождествено*) расположены в теперешнем Гатчинском р-не Ленинградской обл. Батово принадлежало бабке Набокова по отцу М. Ф. Набоковой, урожд. фон Корф, Рождествено — его предкам по матери Рукавишниковым, унаследовано писателем в 1916 г. от дяди, В. И. Рукавишникова.

### СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

**256.** Российский литературоведческий журнал. 1997. № 11, публ. А. Терехова; рукопись (факсимильно воспроизведенная в журнале) обнаружена в архиве А. Н. Бенуа в Государственном Эрмитаже, подпись: В. Набоков. *Бенуа* Александр Николаевич (1870–1960) — художник, театральный критик, мемуарист, один из руководителей объединения «Мир искусства», соредатор С. П. Дягилева в одноименном журнале, постоянный сотрудник газеты «Речь». Очевидно, визуальным подтекстом ст-ния являются его акварели и литографии из «Версальской серии» (1905–1906) «Философическая прогулка», «Вечерняя прогулка» и др.; одна из этих акварелей и другие рисунки художника находились в коллекции В. Д. Набокова в его петербургском доме на Б. Морской, 47. *Le Nôtre* — Ленотр Андре (1613–1700) — французский архитектор, создатель Версальского парка, сада Тюильри в Париже и др. ...о новом «*Emile*»... — контаминация названий двух романов Ж.-Ж. Руссо, «Новая Элоиза» (1761) и «Эмиль, или О воспитании» (1762).

**257.** Русская мысль (М.; Пг.). 1917. № 3–4, март–апрель. Подпись: В. Набоков.

**258.** Автограф — из рукописного альманаха К. И. Чуковского «Чукоккала», впервые напечатан Е. Ц. Чуковской в журнале «Наше наследие» (1989. № 4). Чуковский, будучи в гостях у Набоковых (с Набоковым В. Д. он ездил в 1916 г. в Англию в составе делегации представителей русской прессы (см.: В. Д. Набоков. Из воюющей Англии (Пг., 1914)), принес с собой рукописный журнал «Чукоккала», и в нем оставили записи отец и сын, причем В. В. Набоков подписался «сын предшествующего» (Бойд. Русские годы. С. 160–161).

**259.** Ялтинский голос (Ялта). 1918. № 130/351, 13 сентября. Печ. по: В. В. Набоков: pro et contra. Т. 2. СПб.: РХГИ, 2001. С. 9.

**260.** Ялтинский голос. 1918. № 108/329, 15 сентября. Печ. по: В. В. Набоков: pro et contra. Т. 2. С. 10. Набоков также опубликовал в газете «Ялтинский голос» (8 сентября 1918) ст-ние «Ялтинский мол». К сожалению, нам не удалось обнаружить это издание.

**261.** Сполохи (Берлин). 1922. № 5.

**262.** Руль. 1921. № 302, 13 ноября. *Виссон* — использовавшаяся в древности материя высокого качества, обычно белого или пурпурного цвета; часто упоминается в Библии как одежда священников. *Эреклеон* — памятник древнегреческой архитектуры (421 — 406 до н. э.), храм Афины и Посейдона-Эрехтея на Акрополе в Афинах.

**263.** Грядущая Россия (Париж). 1920. Кн. 1, январь. Подпись: В. В. Набоков.

**264.** Руль. 1921. № 334, 22 декабря -- Стихи 1979.

**265.** Руль. 1921. № 176, 18 июня. Автограф — в письме к матери от 14 мая 1920 г. из Кембриджа в Берлин: «...посылаю стишок — не совсем в моем духе...» (Berg Collection).

**266.** Театральная жизнь (Москва). 1989. № 18 / Публ. В. Федорова и А. Томашевского. По сообщению публикаторов, ст-ние найдено в архиве П. Б. Струве, перевезенном после Второй мировой войны из Пражского зарубежного архива в Москву. Было, очевидно, написано в начале 1920-х гг. и предназначалось для издававшейся П. Струве газеты «Русская мысль».

**267.** См. примеч. 266.

**268.** Руль. 1921. № 80, 20 февраля.

**269.** Руль. 1921. № 80, 20 февраля.

**270.** Руль. 1921. № 109, 27 марта, как первая часть цикла «Родина» (вторая часть — № 153).

**271.** Руль. 1921. № 138, 1 мая. Ст-ние демонстрирует крайнюю степень ритмических отклонений от метра по теории А. Белого (см.: Sherr L. V. Poetry // The Garland Companion. P. 611 — 612).

**272.** Руль. 1921. № 201, 17 июля. Вкл. в: Петербург в стихотворениях русских поэтов / Под ред. и со вступ. статьей Г. Алексева. Берлин: Север, 1923. *А кругом — / числа нет вывескам лубочным в букве ять, / подобной церковке старинной!* В эмигрантской мемуарной (документальной и художественной) литературе вывески, особенно с элементами старой орфографии — ностальгический топос, ср. у С. Горного (А. А. Оцупа): автор запомнил надпись на задней стороне обложки книжки «"Печатано в типографии I. Кнебеля", именно I, i с точкой — и даже теперь, когда прошли — пролетели большие

полосы жизни, могут спорить, что это было у Кнебея, у I. Кнебея, «с точкой» (Горный Сергей. Санкт-Петербург (Видения) / Предисл. Ивана Лукаша. Мюнхен: Милавида, <1925>. С. 39, ср. также специально посвященное вывескам эссе С. Горного «Вывески (Этюд)» — Наш мир. 1924. № 10, 25 мая). Герой рассказа Набокова «Посещение музея» (1939) также понимает, что перед ним не «Россия моей памяти, а всамделишная, сегодняшняя, заказанная мне, безнадежно рабская и безнадежно родная», когда видит кусок вывески — «инка сапог» — без твердого знака на конце (Набоков В. С. 406). *Два смуглых столбика крылатых* — ростральные колонны, по традиции, восходящей к Древнему Риму, украшенные изображениями ростров (носов кораблей), на Стрелке Васильевского острова в Петербурге (арх. Ж. Тома де Томон, установлены в 1810 г.). ...*повеет Вербой...* — см. примеч. 103. ...*кирку... в начале улицы, наг Мойкой*. Реформатская кирка (проект Г. А. Бассе, архитектор Д. И. Grimm, 1862–1865 г.) в 1930-е гг. перестроена в конструктивистском стиле, в настоящее время — ДК работников связи (Б. Морская, 56).

**273.** Современные записки. 1921. Кн. 7. В ст-нии использованы мотивы ст-ния А. Блока «На островах» (1909).

**274.** Руль. 1921. № 319, 4 декабря. Эпиграф взят, очевидно, из книги П. Бессонова «Калики перехожие»: «Ой в Турови на морави / Святы вечор, свят! / Стоял костел новы, незрублены, / А в тум костели тры окенечки: / У першом океньцы ясное сонце, / А в другом океньце ясен мисяц, / А у трейтём океньцы ясны зыроньки. / Не есть воно ясное сонце: / Але есть вон сам господь Бог: / Не есть вон ясны мисяц: / Але есть вон Сын Божый; / Не есть воны ясны зыроньки: / Але есть воны Божые дити» (Бессонов П. Калки перехожие: Сб. стихов. М., 1863. С. 34, 36).

**275.** Руль. 1921. № 321, 7 декабря, как первое ст-ние цикла «Осенние листья» (вместе с № 19 и 277).

**276.** Руль. 1921. № 334, 22 декабря.

**277.** Руль. 1921. № 321, 7 декабря, как третье ст-ние цикла «Осенние листья» (вместе с № 19 и 275) -- Стихи 1979.

**278.** Радуга: Русские поэты для детей / Сост. Саша Черный. Берлин: Слово, 1922.

**279.** Веретено: Литературно-художественный альманах (Берлин) Кн. 1. 1922. В рецензии на этот альманах Г. Струве отметил, что «стихи трех поэтов — Вл. Пиотровского, Г. Росимова и В. Сирина — довольно бледны. У каждого из них есть стихи много лучше» (Русская мысль. 1923. Кн. I—II. С. 374–376).

**280.** См. примеч. 279.

**281.** См. примеч. 279.



282. См. примеч. 279.

283. Руль. 1922. № 484, 22 июня -- Стихи 1979.

284. Русская мысль (София). 1922. Кн. 6—7.

285. Жар-Птица (Берлин). 1922. № 7.

286. Театр и жизнь (Берлин). 1922. № 10.

287. Современные записки. 1922. Кн. 11.

288. Руль. 1922. № 613, 3 декабря.

289. Руль. 1922. № 613, 3 декабря. *Ивэйн*. Б. Бойд сообщает, что в конце февраля 1923 г. Набоков сочинил оставшуюся неопубликованной поэму сходной мистической средневековой тематики «Солнечный сон» (см.: Бойд. Русские годы. С. 241), в которой также действует рыцарь Ивэйн.

290. Сегодня. 1922. № 275, 6 декабря.

291. Наш мир. 1925. №1, 4 января -- Стихи 1979.

292. Руль. 1922. № 625, 17 декабря. *Пэон* — строка хорей или ямба с правильным чередованием ударных и безударных иктов; здесь, видимо, общее название стихов.

293. Руль. 1922. № 631, 24 декабря.

294. Руль. 1922. № 602, 19 ноября. Ср. описание сбора грибов в «Других берегах» (Набоков V. С. 164—165).

295. Руль. 1923. № 646, 14 января. *Приземистый вагончик темно-синий... через Неву пушистую по рельсам / игрушечным бежит себе...* С зимы 1894/95 г. до зимы 1910/11 г. по льду Невы по нескольким маршрутам ходил «ледовый трамвай» электрической железной дороги. *...расчищенная искрится дорожка / меж елочек, повоткнутых в сугробы: / бывало, сядешь в кресло на сосновых / полозьях...* «Зимой Нева оживляется так называемыми "каталями", т.е. конькобежцами, которые на санках перевозят публику через Неву. Конькобежцы прокладывают через реку по льду ровную гладкую дорогу, поливают ее водою, по сторонам расстанавливают небольшие еловые деревца — и каток готов. Подобные катки прокладываются через Неву в разных пунктах: от Сената — на Васильевский остров, от Гагаринской набережной — на Выборгскую сторону и т. д. <...> На маленькие стулья-санки помещается не более двух пассажиров; конькобежец становится сзади и, взявшись за спинку стула, катит его через Неву» (Бахтиаров А. А. Брюхо Петербурга. СПб., 1994. С. 135). *...в городском саду... между Невой и дымчатым собором...* — часть Александровского (ныне Адмиралтейского) сада в Петербурге (устроен в 1873 г.), от

набережной Невы до Исаакиевского собора. ...*над каменным верблюдом / Пржевальского, над скованным бассейном...* Памятник Николаю Михайловичу Пржевальскому (1839—1888), знаменитому путешественнику, географу и исследователю (Набоков внимательно читал его отчеты о путешествиях в Центральную Азию во время работы над «Даром») в Александровском саду (открыт в 1892 г., скульпторы И. Н. Шредер. Р. И. Рунеберг, автор проекта А. А. Бильдерлинг) представляет собой бюст Пржевальского, установленный на постаменте в виде скалы, у подножия которой лежит бронзовый верблюд (ср. его упоминание в «Даре» (Набоков IV. С. 208). Рядом с ним — бассейн с фонтаном (1879—1880, арх. Л. Р. Гешвенд). *Сенат охряный*. Здания Сената и Синода на Сенатской площади (ныне пл. Декабристов), от Невы вдоль Александровского сада, перестроены в стиле классицизма в 1829—1834 гг. (арх. К. И. Росси). ...*тумбы / и цепи их чугунные вокруг / седой скалы, откуда рвется в небо / крутой восторг зеленоватой бронзы*. Памятник Петру Первому («Медный Всадник») на Сенатской (Декабристов) площади (бронзовая скульптура отлита в 1768—1778 г. по проекту скульптора Э. М. Фальконе), подножием которому служит гранитная глыба, «гром-камень», найденная на берегу Финского залива, близ деревни Конная Лахта (обработана по рисунку Ю. М. Фельтена), до 1890 г. была окружена решеткой (видимо, Набоков описывает памятник по его старым изображениям). ...*в раю / о Петербурге Пушкин ясноглазый / бесеует с другим поэтом...* — ср. мотив загробной беседы Пушкина, Блока и других поэтов в ст-нии 23. ...*тот легкий мост, где встретил я Данзаса / в январский день, пред самую дуэль...* По показаниям секунданта Пушкина К. Данзаса, данным следственной комиссии, а также по воспоминаниям многих современников, Пушкин случайно встретил Данзаса 27 января 1837 г. в первом часу пополудни на Цепном мосту близ Летнего сада и попросил его быть своим секундантом на произошедшей в тот же день дуэли с Дантесом. Щеголев П. Е. считает эти сведения ложными (см.: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы. СПб.: Академический проект, 1999. С. 134—136).

**296.** Русская мысль. 1923. Кн. I—II. Глеб Петрович Струве (1898—1985) — историк литературы, поэт, переводчик, автор рецензий на многие произведения Набокова, посвятил ему отдельную главу в своем труде «Русская литература в изгнании» (1956). Ответом на это ст-ние было ст-ние Г. Струве «Дактили» с посвящением В. Сирина, опубликованное в «Руле» 3 марта 1923 г. (см.: Струве Г. Утлое жилье. Избранные стихи 1915—1949 гг. München: Inter-Language Assosiated, 1965. P. 32—33, см. там же (С. 63—64) ст-ние «Поэту», посвященное В. В. Набокову).

**297—300.** 1, 2, 3. Руль. 1923. № 739, 6 мая, под загл. «Сердце» -- Стихи 1979.

4. Руль. 1923. № 739, 6 мая -- Стихи 1979. Личный образ, поэтика и манера литературной критики Николая Степановича Гумилева (1886—1921) всю жизнь привлекали Набокова. Гумилеву посвящена английская лекция 1941 г. «Искусство литературы и здравый смысл»:

«Одна из главных причин, почему тридцать с лишком лет назад ленинские бандиты убили самого доблестного русского поэта Гумилева, состояла в том, что во время всех жестоких испытаний, в тусклом кабинете прокурора, в пыточных камерах, в извилистых коридорах, по которым его вели к грузовику, в грузовике, везшем его на место казни, на самом этом месте, наполненном шарканьем неотесанной и мрачной расстрельной команды, поэт не переставал улыбаться» (Nabokov V. *The Creative Writer* // *Bulletin of the New England Modern Language Association*. New Series. Vol. 4, № 1, January. 1942. Вкл. также, с лакуной, в: Nabokov V. *Lectures on Literature* / Ed. by Fredson Bowers. New York: Harcourt Brace Jovanovich / Bruccoli Clark, 1980. Перевод Н. Ермаковой цит. по: Звезда. 1996. № 11. С. 69). Через полвека (в 1972 г.) Набоков, отказываясь от поэтики Гумилева, снова вернулся к его биографическому образу (перифразируя ст-ние Гумилева «Я и вы»):

Как любил я стихи Гумилева!  
Перечитывать их не могу,  
но следы, например, вот такого  
перебора остались в мозгу:  
...И умру я не в летней беседке  
от обжорства и от жары,  
а с небесной бабочкой в сетке  
на вершине дикой горы.

(Стихи 1979. С. 297).

**301.** Рувль. 1923. № 711, 30 марта. Опубликовано в годовщину гибели В. Д. Набокова среди других материалов, посвященных его памяти. *Смерть — это утренний луч, пробужденье весеннее*. В. Д. Набоков погиб 28 марта 1922 г., незадолго до Пасхи, так что в художественном мире Набокова его смерть устойчиво связана с воскресением (ср. ст-ние 37). *О, наклонись надо мной, сон мой поглушай... что-то во сне я шепчу...* — ср. сходный мотив в рассказе Набокова «Слово» (1923).

**302.** Рувль. 1923. № 742, 10 мая -- Стихи 1979.

**303.** Сегодня. 1923. № 84, 22 апреля.

**304.** Русская мысль. 1923. Кн. VI—VIII.

**305.** Рувль. 1923. № 857, 23 сентября.

**306.** Жар-Птица. 1923. №11.

**307.** Медный всадник: Альманах (Берлин). <1923>. Кн. 1., с вар. в ст. 2: «мук земных»-- Стихи 1979.

**308.** Русская мысль. 1923. Кн. III/V -- Стихи 1979.

**309.** Медный всадник: Альманах (Берлин). <1923>. Кн. 1., с загл. «Через века», с вар. ст. 8: «и сказочна осталась до конца»; ст. 31 — 32: «медленно в кого-то / стал целиться — и не успел стрелкнуть» - Стихи 1979. *При Августе из Рима / я выслал в Байи голого гонца / с мольбой к тебе...* Август (Кай Юлий Цезарь Октавиан; 63 до н. э. — 14 н. э.)... первый римский император, правление которого ознаменовалось множеством междуусобных войн; во времена Римской империи старинный итальянский город Байя, близ Неаполя, был местом отдыха и развлечений аристократии. *...когда я по нагим / волнам в неведомое Эльдorado / был генуэзским гением гоним.* Эльдorado — мифическая страна, богатая золотом и драгоценностями, которую искали в Южной Америке испанские завоеватели. Речь идет о Христофоре Колумбе, родившемся в Генуе. *Калиостровой науки.* Иосиф Бальзамо (граф Калиостро; 1743 — 1795) прославился своими занятиями магией и алхимией, которые практиковал, путешествуя по всему миру. *...в Термидоре одурелом <...> ты в Кобленце так весело жила...* Кобленц — город и крепость в Пруссии, во время французской революции — средоточие эмиграции.

**310.** Руль. 1923. № 683, 27 февраля.

**311.** Медный всадник: Альманах (Берлин). <1923>. Кн. 1., под загл. «Узор» -- Стихи 1979.

**312.** Русская мысль. 1923. Кн. VI—VIII -- Стихи 1979.

**313.** Руль. 1923 № 683, 27 февраля.

**314.** Руль. 1923. № 716, 8 апреля, без посвящ., опубликовано в Пасху -- Стихи 1979. Сестра Набокова — Елена Владимировна Сикорская, урожд. Набокова (1906 — 2000). Ст-ние написано в день ее рождения, 31 марта.

**315.** Наш мир. 1924. № 26, 14 сентября, in continuo, под загл. «Русская река» (этот вариант воспроизведен в: Набоков И. С. 746 — 747) -- Стихи 1979.

**316.** Руль. 1923. № 734, 29 апреля, с вар. ст. 13: «он поводит хмуро бровью седой» -- Стихи 1979. *На лагоны каждый изгиб / пахнет <...> чешуей Иорданских рыб.* Апостол Петр до того, как был призван Иисусом, носил имя Симона и был рыболовом.

**317.** Русская мысль. 1923. Кн. VI—VIII -- Стихи 1979.

**318.** Руль. 1923. № 767, 10 июня -- Стихи 1979.

**319.** Руль. 1923. № 779, 24 июня -- Стихи 1979. Эпиграф — из стиха А. Блока «Незнакомка» (1906). Написано после первой встречи с В. Е. Слоним, будущей женой Набокова, на благотворительном балу, где она была в волчьей маске.

**320.** Руль. 1923. № 809, 29 июля -- Стихи 1979. Автограф, видимо, был в письме матери от 19 июня 1923, где сохранилось примечание к ст-нию: «...истинное происшествие. Песня en question была романсом: "В твоих глазах, в твоих безумных лас-ках"... (Berg Collection). В том же номере газеты, рядом со ст-нием Сирина, помещен перевод «Безмолвие» из Э. По, подписанный В. С., что заставило М. Джулиара приписать его Набокову (Juliar. P. 127). Б. Бойд сообщает, что перевод был сделан В. Е. Слоним (Бойд. Русские годы. С. 248–249).

**321.** Руль. 1923. № 839, 2 сентября, как первое ст-ние двухчастного цикла «Прованс» (вторая часть — № 222), с вар. ст.: «из придорожного ручья» -- Стихи 1979. В мае—августе 1923 г. Набоков работал сельскохозяйственным рабочим на юге Франции, в Провансе, у друга отца, бывшего главы Крымского правительства, Соломона Крыма, ставшего управляющим большим имением. Эти впечатления отражены им также в романе «Подвиг»(1932). *...без удивленья, без тревоги, быть может, вспомню о тебе.* В январе 1923 г. родители невесты Набокова, Светланы Зиверт, отменили их помолвку в связи с молодостью и необеспеченностью жениха (см.: Бойд. Русские годы. С. 239).

**322.** Руль. 1923. № 857, 23 сентября.

**323.** Жар-Птица. 1923. № 11 -- Стихи 1979. *Ланнеровский вальс.* Ланнер Иосиф (1801–1843) — австрийский скрипач, дирижер и композитор, один из создателей «венского» вальса.

**324.** Сегодня. 1923. № 72, 8 апреля, под загл. «Властелин» -- Стихи 1979.

**325.** Сегодня. 1923. № 288, 25 декабря.

**326.** Руль. 1924. № 992, 9 марта -- Стихи 1979.

**327.** Наш мир. 1924. № 1, 23 марта, без подписи (об авторстве Набокова — видимо, со слов автора — сообщает Э. Филд; Field A. Nabokov: His Life in Art. Boston: Little, Brown, 1967. P. 184–185).

**328.** Руль. 1924. № 1027, 20 апреля.

**329.** Наш мир. 1924. № 8, 11 мая.

**330.** Русское эхо. 1924. 8 июня. См.: Польская С. Сонет Набокова «Смерть Пушкина» // А. С. Пушкин и В. В. Набоков: Материалы Международной конференции. СПб., 1999. С. 10–19. *...он лез по книжным полкам... «Приди же, Натали, / да покорми моченою моршковой...»* В ст-нии воспроизводятся детали дуэли и двух предсмертных дней Пушкина по кн. Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина: Исследование и материалы. М.; Л., 1928.

**331–332.** 1, 2. Руль. 1924. № 1102, 20 июля -- Стихи 1979. Автограф — в письме матери в Прагу от августа 1924 г. (вместе со стихом «Вечер», не публиковавшемся при жизни автора, см.: Стихи 1979).

**333–335.** Русское эхо. 1924. 24 августа. Перепечатано в: Набоков В. Петербург. Три сонета / Вступ. заметка С. Польской // Звезда. 2000. № 4. С. 109–110.

**336.** Сегодня. 1924. № 217, 24 сентября.

**337–339.** Наш мир. 1924. № 37, 30 ноября. Перед стихами в газете была опубликована шахматная задача Набокова «Белые берут назад свой последний ход и вместо него делают мат». О Набокове как шахматном композиторе см.: Бойд. Русские годы. Указатель; Янгиров Р. Берлинские забавы Владимира Набокова // Wiener Slawistischer Almanach. 1998. Bd. 41. С. 105–116. *Филидор* (Даникан) Франсуа Андре (1726–1795) — французский композитор и шахматист, автор «Анализа шахматной игры». *Дюсер* — один из шахматистов — посетителей парижского кафе «Режанс», где часто играл Филидор.

**340.** Руль. 1924. № 1236, 25 декабря -- Стихи 1979. Автограф в недатированном письме матери, под загл. «Родине», после четвертой строфы было: «Губы мне звездинкой огневой / тронул снег, порхавший над Невой», после седьмой — «И в глазах осталась — посмотри — / Тайна чистая твоей зари» (Berg Collection).

**341.** Руль. 1924. № 956, 27 января -- Стихи 1979. Автограф — в письме к В. Е. Слоним от 16 января 1924 г. (Berg Collection). с вар. в ст. 12: «снегам чистейшим».

**342.** Руль. 1924. № 986, 2 марта -- Стихи 1979.

**343.** Руль. 1924. № 1004, 23 марта, под загл. «Окно» -- Стихи 1979. Автограф — в письме матери из Берлина в Прагу от 6 марта 1924 (Berg Collection).

**344.** Руль. 1924. № 1013, 3 апреля, без загл. -- Стихи 1979. В рукописи стих называлось «Смех» (указ. в: Nabokov's Butterflies. Unpublished and uncollected writings / Ed. and annot. By Brian Boyd and Robert Michael Pyle. Boston: Beacon Press, 2000. P. 111).

**345.** Руль. 1924. № 1026, 18 апреля -- Стихи 1979.

**346.** Руль. 1924. № 1132, 24 августа -- Стихи 1979.

**347.** Руль. 1924. № 1061, 1 июня -- Стихи 1979. *Ко мне, туманная Леша!* — реминисценция стиха Пушкина «Заклинание» (1830).

**348.** Руль. 1924. № 1074, 18 июня -- Стихи 1979. Автограф — в письме к матери из Берлина в Прагу от 13 июня 1924 г. (Berg Collection).

**349.** Руль. 1924. № 1186, 26 октября -- Стихи 1979.

350. Русское эхо. 1925. № 74, 4 января, под загл. «Демон», без разделения на строфы, с вар. ст. 10: «Мне Бог велит звучать» -- Стихи 1979. Автограф без загл. — в недатированном письме к матери из Берлина в Прагу: «На оборотной стороне этого листа ты найдешь мои последние стихи...» (Berg Collection). Это ст-ние перевел на английский И. Бродский (Nabokov V. Demon / Translated from the Russian by Joseph Brodsky // Kenyon Review (New Series). 1979. Vol. 1. № 1, Winter. 1979. P. 120), см.: Куллэ В. «Демон» Набокова и «Небожитель» Бродского // Литературное обозрение. 1999. № 4. С. 86 – 88.

351. Руль. 1924. № 1221, 7 декабря -- Стихи 1979. *Ключи кастальские* — источник на южном склоне Парнаса, в Дельфах, близ храма Аполлона (Греция), по одному из вариантов мифа славился как прорицалище Аполлона, отсюда его значение «источник вдохновения».

352. Вестник Главного правления общества галлиполийцев (Белград). 1924 -- Стихи 1979.

353. Жар-Птица. 1924. № 12 -- Стихи 1979. Ст-ние вложено в письмо к матери из Берлина в Прагу от 26 февраля 1924 г. (Berg Collection) вместе с неопубликованным ст-нием:

#### WARTESAAL\*

Вокзал. Чужая ночь. Прошло немало лет —  
всё то же...Тяжко мне. Полупустой буфет  
огромен и уныл. Там кто-нибудь сутулым  
движеньем встанет вдруг и гулко двинет стулом,  
и касса брякает, накручивая счет;  
там траурный рукав салфеткою сечет  
край голого стола и, стукнув потным пивом,  
отходит в глубину, где за стеклом тоскливым  
сигары и сыры дряхлеют. Иногда,  
в дали, потоками железа — поезда  
проходят... Тяжко мне. Дверь бухнет, звякнет блюдо, —  
и снова в тишине века влачатся; льются  
глухие поезда. Я жду. Передо мной  
всплывает сон: столбы той станции родной,  
где девушки в платках прозрачных под навесом  
гуляли; дым бежал за сумеречным лесом,  
и семафор взвивал зеленую звезду...  
Ночь. Громыкает стул раскатисто. Я жду.

*Брантом* Пьер де Бурдей (Brantôme, 1540 – 1614) — французский писатель-мемуарист, автор «Жизнеописаний знаменитых людей и великих полководцев» и «Жизнеописаний знаменитых дам».

---

\* Зал ожидания (нем.). — *Ред.*

**354.** Наш мир. 1925. № 1, 4 января, под загл. «Овца» -- Стихи 1979. Автограф — в письме матери из Берлина в Прагу от 13 декабря 1924 г.: «Посылаю тебе стихи, которые, вероятно, появятся в рожд<sup>е</sup>ственском» № "Руля"». (Berg Collection).

**355.** Сегодня. 1924. № 294, 25 декабря. Автограф — в письме к матери от 14 декабря 1924 г. с пометой: «Для Рожд<sup>е</sup>ственного» № "Сегодня"» (Berg Collection).

**356.** Русское эхо. 1925. № 75, 11 января, с примеч. под загл.: «Прочитано на юбилейном чествовании в Берлине». Чествование, посвященное 15-летию артистической деятельности знаменитой исполнительницы русских песен и романсов Надежды Васильевны Плевичкой (1884 — 1941), состоялось 3 января 1925 г. в зале Блютнера в Берлине (см. объявление и отчеты о нем в: «Руле» 3, 4 и 7 января 1925 г., в них упоминается, что «в заключение Вл. Сирич прочел свое стихотворение, посвященное Н. В. Плевичкой»). В 1938 г. Плевичка была приговорена к двадцати годам тюремного заключения за участие в похищении и убийстве председател<sup>я</sup> РОВС генерала Е. К. Миллера; рефлекс<sup>ы</sup> этого сюжета, решенного в кинематографическом ключе, содержатся в рассказе Набокова «The Assistant Producer» (1943), см. также: Nicol Ch. Finding the «Assistant Producer» // A Small Alpine Form: Studies in Nabokov's Short Fiction / Ed. by Ch. Nicol and Gennady Barabtarlo. New York: Garland, 1993. P. 155 — 165; Nicol Ch. Music in the Theatre of the Mind: Opera and Vladimir Nabokov // Nabokov at the Limits. Redrawing Critical Boundaries / Ed. by L. Zunshine. New York; London: Garland, 1999. P. 23 — 27. *Неколышшая медь* — реминисценция «памятника, вековечнее, чем медь» из «Ehexi monumentum» Го-рация (ода III, 30; К Мельпомене)

**357.** Руль. 1925. № 1269, 5 февраля -- Стихи 1979.

**358.** Сегодня. 1925. № 74, 1 апреля. «*И неколышшая медь*» — см. примеч. 356.

**359.** Руль. 1925. № 1376, 14 июня.

**360.** Руль. 1925. № 1389, 30 июня -- Стихи 1979.

**361.** Руль. 1925. № 1412, 26 июля. *Из первой Книги Бытия* — то есть из первой книги Ветхого Завета, называемой «Бытие».

**362.** Руль. 1925. № 1531, 13 декабря.

**363.** Руль. 1925. № 1359, 24 мая, как первая часть диптиха «Берлинская весна» (вторая часть — № 207) -- Стихи 1979.

**364.** Возрождение. 1925. № 47, 19 июля -- Стихи 1979. По наблюдению Ю. И. Левина, здесь отсылка к «Гляжу на грубые ремесла...» (1922) В. Ходасевича (Левин. С. 267, примеч. 22).



**365.** Руль. 1926. № 1564, 24 января -- Стихи 1979, где датировано: 1926 г.

**366.** Руль. 1926. № 1640, 25 апреля -- Стихи 1979. *Ut pictura poesis* — начало стиха из «Науки поэзии» римского поэта Горация «живописи подобна поэзия» (в переводе М. Л. Гаспарова: «Общее есть у стихов и картин: та издала лучше, / Эта — вблизи; одна пленяет сильнее в полумраке, / Между тем как другая на вольном смотрится свете // И все равно не бойся суда ценителей тонких; / Эта понравится вмиг, а иная — с десятого раза»). Мстислав Валерианович Добужинский (1875–1957) — художник круга «Мир искусства», преподававший Набокову рисование в 1912–1914 гг. Об уроках Добужинского, пригодившихся в сочинительстве, Набоков пишет и в «Других берегах»: «Добужинский <...> учил меня находить соотношения между тонкими ветвями голого дерева, извлекая из этих соотношений важный, драгоценный узор, и который не только вспоминался мне в зрелые годы с благодарностью, когда приходилось детально рисовать, окунувшись в микроскоп, какую-нибудь еще никем не виданную структуру в органах бабочки, — но и внушил мне кое-какие правила равновесия и взаимной гармонии, быть может пригодившиеся мне и в литературном моем сочинительстве» (Набоков V. С. 199). Ст-ние написано после посещения Набоковым выставки Добужинского с видами Санкт-Петербурга в апреле 1926 г. в Берлине, о чем Набоков писал матери в письме от 23 апреля 1926 г.: «Я был на выставке Добужинского, — все очень тонко, очень благородно. Написал стихотворенье ему, — но, по-моему, неудачное (сегодня — будет в "Руле")» (Berg Collection). См. также: Переписка Владимира Набокова с М. В. Добужинским / Публ., вступ. заметка и примеч. В. П. Старка // Звезда. 1996. № 11. С. 92–108; о Набокове-рисовальщике см.: Левинг Ю. Узор вечности: Пушкин-график — Набоков-художник // А. С. Пушкин и В. В. Набоков: Сб. докладов международной конференции. СПб.: Дорн, 1999. С. 237–255; Старк В. *Ut pictura poesis*. Набоков рисовальщик // Вышгород (Таллинн). 1999. № 3. С. 116–138.

**367.** Звено. 1926. № 179, 4 июля -- Стихи 1979. Автограф — в письме к В. Е. Набоковой от 18 июня 1926 г. с описанием его появления: «...Утром под неизменным дождем (который начинает меня выводить из себя) я потек к Заку, по дороге сочинял стихи, которые вчера перед сном начал и сегодня — только что окончил. Посылаю. <...>... и я поплелся домой, наполовину ошеломленный потугами моей музыки. Ужинал, — и тут потуги разрешились и я полностью написал стихотворенье. Думаю послать его в "Звено"» (Berg Collection).

**368.** Руль. 1927. № 1987, 15 июня -- Стихи 1979. В Juliar. В 9.1 указана первая публикация в сб. «День русской культуры» (Берлин. 1927, 8 июня). Автограф — в письме Е. И. Набоковой от 7 июня 1927 г.: «Завтра день культуры. Посылаю тебе стихотворение», подпись: В. Сирин, дата: 4 июня 1927 г. (Berg Collection). *Изгнание, где твое жало, чужбина, где сила твоя?* — парафраз из Нового завета: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1-е Кор. 15:55)

**369.** Руль. 1927. № 1997, 26 июня -- Стихи 1979. С сокращениями перепечатано в «Правде» (1927. 15 июля) с ответом Демьяна Бедного «Билет на тот свет» (о котором Набокову стало известно, см.: Друзья. С. 537), заканчивающимся строками:

Что ж? Вы вольны в Берлине «фантазирен».  
Но, чтоб разжать советские тиски,  
Вам – и тебе, поэтик белый, Сирин!  
Придется ждать... до гробовой доски!

**370.** Руль. 1927. № 2099, 23 октября. ...как, матом грозя, ...Кизерицкому в Вене он отгал ферзя. Речь идет о «бессмертной» партии (1851) Адольф Андерсен – Лионель Кизерицкий, в ходе которой белые, которыми играл Андерсен, последовательно пожертвовали слона, обеих ладей и ферзя, после чего объявили черным мат, см.: Johnson D. Barton. Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov. Ann Arbor: Ardis, 1985. P. 88 – 92.

**371.** Современные записки. 1927. Кн. 32. Поэму хвалили все рецензенты этой книжки журнала, особенно восторженно – Ю. И. Айхенвальд, сопоставивший ее по силе художественного наслаждения с напечатанным там же «Божьим деревом» И. Бунина: «...ведь где художественное наслаждение, там и оптимизм. Он не покидает нас и тогда, когда вслед за Сириным в его прекрасной поэме на время переселяемся мы в старинный английский город, в "студентов древний городок"». Критик отмечает, что Сирину удалось счастливо «победить обычную прозу и возвести ее в ранг поэзии. Он создал свою очень изящную лиро-эпическую поэму из повседневного матерьяла. Впрочем, для русского читателя не обычна и не повседневна та обстановка и атмосфера английского городка, в которую непринужденно и легко переносит нас даровитый автор. Тем охотнее вступишь в нее и тем больше радуешься за нашего поэта, что, на чужой базарной площади, осматривая "кривые книжные лотки", "нашел он Пушкина и Даля на закоддовацном лотке". Символична эта находка: на чужбине должна была она еще более укрепить чувство родины в нашем соотечественнике, "нежданно упавшем из русских облаков". Такое сплетение английского и русского, спорта и задушевности, соединение чужого внешнего пейзажа и быта с мотивами русского сердца, – это живет в живых и простых, гибких и живописных стихах В. Сирина». Далее Айхенвальд пересказывает и цитирует поэму, возводя ее суть к тройному участию «талантливого русского юноши» Сирина, Пушкина и Даля: «Точно все трое приняли участие в создании этой "Университетской поэмы", вместе и прозаичной и содержательной, какой-то необремененной, пленяющей своим легким дыханием, такой русской и такой европейской одновременно» (Айхенвальд Ю. Литературные заметки // Руль. 1928. 4 января). На «Университетскую поэму» Айхенвальд откликнулся не только рецензией, но и подаренным Сирину стихотворением: «Как Сирин вещей небылицы, / В родимый край она манит... / О, русских далей вереницы, / Невы поруганной гранит!.. / Я эхо пушкинской цевницы / Ловлю

обласканной душой... / Тяжеле мгла чужой столицы, / И сердце просится домой» (Айхенвальд Ю. Сирина // Vladimir Nabokov Archive. Library of Congress. Container 8, folder 17, цит. по: Долинин А. Доклады Владимира Набокова в берлинском литературном кружке (Из рукописных материалов двадцатых годов) // Звезда. 1999. № 4. С. 8). Ср. также отзыв Петра Пильского: «Поэма <...> пленяет легким и свободным стихом» (П<етр> П<ильский>. Современные записки. Кн. XXXIII // Сегодня. 1927. 9 декабря). Из письма Набокова к матери от 4 апреля 1928 г.: «На днях читал "Университетскую" в кружке молодых поэтов. Особенно щедр на комплименты был Пиотровский, с кот<орым> мне было странно встретиться после четырех лет незнакомства» (Berg Collection). Дикс, отметив, что поэма — «произведение виртуоза», попенял на изношенность формы: «...есть литературные формы, окончательно себя исчерпавшие: к ним принадлежит стихотворная повесть, достигшая своего апогея в первой трети XIX века. Всякая попытка оживить этот жанр неизбежно отдает стилизацией, а в худшем случае, пародией. Жаль, что талантливый поэт не учел этого» (Звено (Париж). 1928. № 1, 1 января). Поэму также отметил Г. Струве (Россия (Белград). 1927. № 16, 10 декабря). Г. Иванов привычно и с ошибками изругал Сирина: «"Университетскую поэму" Вл. Сирина правильнее было бы назвать "гимназической". Такими вялыми ямбами, лишенными всякого чувства стиха, на потеху одноклассников, описываются в гимназиях экзамены и учителя. Делается это, нормально, не позже пятого класса. Сирин несколько опоздал — он написал свою поэму в Оксфорде» (Последние новости. 1927. 15 декабря). Поэма написана перевернутой онегинской строфой (см. ее разбор в: Гаспаров М. Л. Русские стихи 1890-х—1925 годов в комментариях. М., 1993, С. 164—165), помимо естественных аллюзий к Пушкину (см.: Бабиков А. А. Мотивы «Евгения Онегина» в «Университетской поэме» В. В. Набокова: // А. С. Пушкин и В. В. Набоков. Сб. докладов международной конференции. СПб.: Дорн, 1999. С. 268—278) содержит также, возможно, аллюзии к «роману в строфах» И. Северянина «Рояль Леандра» (Кац Б. А. «Уж если настраивать лиру на пушкинский лад...»: О возможном источнике «Университетской поэмы» В. Сирина-Набокова // Новое литературное обозрение. 1996. № 17. С. 279—295). ...цирюльня есть, где брился Ньютон... Исаак Ньютон учился в Тринити колледж Кембриджа, а впоследствии был в нем профессором математики, его портрет вывешен в обеденной зале колледжа, также как и упоминающегося ниже основателя университета Генриха Восьмого. Держа московского медведя... тут жил студентом Байрон хромоногий. Согласно легенде, Дж. Байрон (1788—1824), учась в Кембридже, в насмешку над запрещением студентам держать собак завел медведя. Геллеспонт — древнегреческое название пролива Дарданеллы, ср. в «Евгении Онегине»: «Певцу Гюльнаны подражая, / Сей Геллеспонт переплывал» (4:XXXVII). Розы мраморные Китса — строка из поэмы Джона Китса (1795—1821) «Сон и поэзия» (1817) «...там видно розу нежной белизны / из мрамора, чертами испещренного». «Хандра: тоска, унынье, скука; сплин, спохондрия» — определение из «Словаря живого великорусского языка» Владимира Даля (ради ритма изменен порядок слов). Ленглен Сюзанн

Рахель (1899—1938) — знаменитая французская теннисистка, неоднократная победительница Уимблдонского турнира. ...*портрет известного аббатства*... На английских банкнотах в 1 фунт, имевших хождение в 1920-е гг., было изображено Вестминстерское аббатство в Лондоне. ...*ни моль бичуема, ни ржа*... — парафраз Евангелия от Матфея: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет и где воры не подкапывают и не крадут» (6: 19—20).

**372.** Руль. 1928. № 2163, 8 января. Автограф — в письме матери от 7 июня 1927 г.: «Завтра "день культуры". Посылаю тебе стихотворенье...» (Berg Collection).

**373.** Россия (Париж). 1928. № 34, 14 апреля. В письме к матери от 4 июня 1928 г.: «Вообще я чувствую себя в полном расцвете своих литературных сил. /.../ Написал «Разговор» в стихах, который послал Глебу <Струве> для "России"» (Berg Collection). «Алую зарю», «Кряж», «Маховик»... *Цементов, Молотов, Серпов* — иронические имитации производственных названий советских журналов и псевдонимов советских писателей — ср. название романа Ф. Gladкова «Цемент» (1925), псевдоним главного редактора газеты «Правда» В. М. Молотова (Скрябина) — в стиле И. Ильфа и Е. Петрова — ср. в «Двенадцати стульях» псевдоним журналиста (бывш. Принца Датского) Маховик (подробнее см. комментарий Ю. Щеглова в: Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев: роман. Щеглов Ю. К. Комментарии к роману «Двенадцать стульев». М.: Панорама, 1995. С. 522—523). ...*какой-нибудь Лидняк, / как путешествующий купчик, / на мир глядит, и пучит зрак, / и ужасается, голубчик*... Здесь, видимо, ироническая контаминация имен русских советских писателей Бориса Андреевича Пильняка (1894—1937), автора книги о Японии «Корни японского солнца» (1927), и Владимира Германовича Лидина (1894—1979). *Сто лет назад целковжс гвести / вам дал бы Греч за разговор*... Ср. в «Разговоре книгопродавца с поэтом» А. С. Пушкина: «*Стишки любимца муз и граций / Мы вмги рублями заменим / И в пух наличных ассигнаций / Листочки ваши обратим*». Греч Николай Иванович (1787—1867) — литератор, издатель журнала «Сын отечества».

**374.** Руль. 1928. № 2302, 24 июня.

**375.** Руль. 1928. № 2374, 16 сентября. *Картина в хрестоматии: босой / старик*. Вероятно, имеется в виду известная картина И. Е. Репина «Л. Н. Толстой в лесу» (1901, ГРМ). *Пушкин: плащ, / скала, морская пена*... Вероятно, имеется в виду картина И. К. Айвазовского и И. Е. Репина «Прощай, свободная стихия» (1887). *Чертков Владимир Георгиевич (1854—1936)* — издатель, публицист, ближайший сотрудник Л. И. Толстого, создатель издательства «Посредник», редактор собраний сочинений Толстого и автор воспоминаний о нем. *Еще хранит на граммофонном диске / звук голоса его: он вслух читает... и запинается на слове «Бог»*... Видимо, речь идет о записях, сделан-

ных Толстым в октябре 1909 г. для акционерного общества «Граммофон» (Москва) — извлечениях из его книги «На каждый день» на русском, французском, английском и немецком языках (всего 5 пластинок), которые, вероятно, использовались в качестве учебного пособия в Тенишевском училище. ...старик невзрачный, роста небольшого, / с расстрепанною ветром бородой, проходит мимо скорыми шажками, / сердясь на оператора. Скорее всего, имеется в виду эпизод «фильмы» русского оператора и кинорежиссера А. О. Дранкова «Лев Николаевич Толстой у г. Черткова и в Москве», снятый в сентябре 1909 г. в Крекшино, под Москвой. *Однажды он со станции случайной...* 28 октября (10 ноября) 1910 г. Л. Н. Толстой тайно ушел из Ясной Поляны, простудился в пути и умер на железнодорожной станции Астапово.

**376.** Рувль. 1928. № 2229, 25 марта -- Стихи 1979.

**377.** Рувль. 1928. № 2308, 1 июля -- Стихи 1979.

**378.** Рувль. 1928. № 2433, 25 ноября -- Стихи 1979.

**379.** Рувль. 1929. № 2489, 2 февраля -- Стихи 1979.

**380.** Рувль. 1929. № 2647, 11 августа -- Стихи 1979. *Поздний пешеход... воображение клянет* — возможно, реминисценция ст-ния О. Мандельштама «Петербургские строфы» (1913): «Самолюбивый, скромный пешеход — / Чудак Евгений — бедности стыдится, / Бензин вдыхает и судьбу клянет!»

**381.** Рувль. 1929. № 2671, 8 сентября -- Стихи 1979.

**382.** Рувль. 1930. № 2797, 7 февраля, под загл. «Неродившемуся читателю» -- Стихи 1979. *Как звучно / бывшее время — раковина муз.* Отсылка к названию поэтической студии Н. Гумилева «Звучащая раковина». Сквозняк из прошлого. Так, по свидетельству В. Набоковой, Набоков переводил на русский название своего романа «Transparent Things» (1972) (указ. в: Barabtarlo G. Aerial Views. Essays on Nabokov's Art and Metaphysics. New York: Peter Lang, 1993. P. 240, note 10).

**383.** Россия и Славянство (Париж). 1930. № 73, 19 апреля -- Стихи 1979.

**384.** Рувль. 1930. № 2868, 4 мая, с подзаг. «Перевод с зоорландского» -- Стихи 1979. Антиутопические мотивы Зоорландии использованы Набоковым также в романе «Подвиг» (1932) и рассказе «Истребление тиранов» (1938). А. Долинин и Г. Утгоф в комментарии к «Подвигу» этимологизируют название Зоорландия так: русская приставка «за-», англ. или франц. «ogle» (от лат. *ogula* — «край, граница, рубеж, черта») и «ландия» (или: «зоор» (от др.-евр. *zuwg* — «быть иностранным, чужим, профанным, подлым») — то есть «зарубежье», «чужеземье» (подробнее см.: Набоков III. С. 736–737).

**385.** Неделя (Париж). 1930. 5 мая -- Стихи 1979.

**386.** Россия и Славянство. 1930. № 100, 25 октября -- Стихи 1979.

**387.** Современные записки 1931. Кн. 47.

**388.** Современные записки 1931. Кн. 47 -- Стихи 1979. *Миньону соблазняет апельсин...* Миньона — героиня романа И.-В. Гете «Вильгельм Мейстер» (1795), поющая песню «Ты знаешь край лимонных рощ в цвету, / где пурпур королька прильнул к листу...» (пер. Б. Пастернака).

**389.** Руль. 1931. № 3223, 5 июля -- Стихи 1979. В июле 1931 г. Набоков прочел этот перевод-мистификацию в берлинском Клубе поэтов, предварив его подробностями вымышленной биографии Калмбруда (Бойд. Русские годы. С. 432–433). *Vivian Calmbrood* — анаграмма Vladimir Nabokov (под этим псевдонимом опубликована также трагедия в стихах «Скитальцы» (1923)). ...как за крапленую статью / побили Джонсона шандалом? — намек на одиозную статью Г. В. Иванова о Сирине (Числа. 1930. № 1), содержавшую, помимо литературной критики, личные оскорбления («Это знакомый нам от века тип способного, хлесткого пошляка-журналиста <...> он самозванец, кухаркин сын, черная кость, смерд»). О вызванной этой рецензией литературной войне см.: Мельников Н. «До последней капли чернил...»: Владимир Набоков и «Числа» // Литературное обозрение. 1996. № 2. С. 73–82; и примеч. 562. *К иному критику в немилость я попадаю оттого...* — шарж на Г. В. Адамовича (1894–1972), одного из ведущих литературных критиков эмиграции, поэта, прозаика, одного из идеологов журнала «Числа» и «парижской ноты». Адамович регулярно рецензировал все произведения Сирина в «Последних новостях» и «Звене», а в своей итоговой книге «Одиночество и свобода» (1955) назвал его исключительно талантливым писателем, добавив в интервью Ю. Иваску в 1960-е гг., что от эмигрантской литературы останутся только проза Набокова и поэзия Поплавского (Новый журнал. 1979. Кн. 134. С. 98). Набоков, в свою очередь, неявно использовал в своих произведениях идеи, оценки и выражения Адамовича (см.: Долинин А. А. Плата за проезд. Беглые заметки о генезисе некоторых литературных оценок Набокова // Набоковский вестник. Вып. 1. Петербургские чтения. СПб.: Дорн, 1998. С. 5–15). ...что мне смешна его унылость, / чувствительное кумовство, / суждений томность, слог жеманный, / обиды отзвук постоянный, / а главное — стихи его. «Чувствительное кумовство» — возможно, имеется в виду сюжет, высмеянный Набоковым в рассказе «Уста к устам» (1956), связанный с публикацией в «Числах» отрывков из романа предпринимателя Александра Бурова (А. П. Бурд-Восходова) «Была земля» (см.: Davydov S. Teksty-matreski Vladimira Nabokova. Munchen: Otto Sagner, 1982. P. 37–51; примеч. О. Сконечной в: Набоков В. С. 724–725). Стихи Адамовича Набоков назвал «совершенно никчемными», отметив, впрочем, что их автор «тонкий, подчас блестящий литературный критик» (Набоков П. С. 668–670). *Бедняга! Он скрипит костями, / брэнча на лире жестяной, / он клонится к могильной яме*

*агамовою головою*. Набоков обыгрывает фамилию Адамовича (ср. в Толковом словаре Вл. Даля: «Агамова голова, мертвая голова, т. е. человеческий череп; <...> Самый большой сумеречник, бабочка Мертвая голова». Отмечено Д. Мальмстадом в связи с этимологией имени Христофора Мортуса в «Даре», одним из прототипов которого также был Г. Адамович (Переписка В. Ф. Ходасевича (1925–1938) / Публ. и комм. Д. Мальмстада // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 3. Paris: Atheneum, 1987. С. 286)) и одержимость Адамовича и его соратников по «Числам» темой смерти (см.: Долинин А. А. Три заметки о романе Владимира Набокова «Дар» // Набоков: pro et contra. С. 710–714). ...*поэты много / о смерти ныне говорят <...> Ущерб, закат... Петроний новый...* — отсылка к модной в эмиграции шпенглеровской теме заката Европы. Петроний (?–66) — римский писатель, автор романа «Сатирикон», изображавшего упадок римских нравов; Набоков, очевидно, имеет в виду как роман Г. В. Иванова «Третий Рим» (1929–1931), рисовавший «отравленную атмосферу» жизни Петрограда 1916–1917 гг., так и самоубийство Петрония — ср. уподобление «похоронных настроений» «числовцев» языческой резиньяции в отношении смерти у Г. Федотова: «...смерть усыпляющая любовница, la belle dame sans merci, Петроний, открывающий жилы в благовонной ванне...» (О смерти, культуре и «Числах» // Числа. 1930–1931. Кн. 4. С. 146). *Смотрит он / и отвечает: «Я — Ченстон»*. Пушкин опубликовал своего «Скупого рыцаря» (1836) с подзаголовком-мистификацией «Из Ченстоновой трагикомедии "The Covetous Knight"». Набоков подчеркивает пародийность своей мистификации репликой сцены святочного гадания в «Евгении Онегине»: «Как ваше имя? Смотрит он / И отвечает: Агафон» (5, IX).

**390.** Последние новости. 1932. № 4178, 8 сентября -- Стихи 1979.

**391.** Новый журнал. 1942. № 2. Об истории продолжений «Русалки» в русской литературе см.: Рецептер В., Шемякин М. Возвращение пушкинской русалки. СПб., 1998; о месте в ней набоковского варианта — Фомичев С. А. Набоков — соавтор Пушкина (Заключительная сцена «Русалки») // А. С. Пушкин и В. В. Набоков: Сб. докладов международной конференции. СПб.: Дорн, 1999. С. 211–223. Набокова, возможно, подтолкнул поиск Ходасевичем автобиографического подтекста «Русалки» (Ходасевич Вл. Поэтическое хозяйство Пушкина. Л., 1924), работа Ходасевича упоминается в неопубликованном черновике продолжения «Дара» (так называемая «розовая тетрадь»), в котором продолжение «Русалки» написано Годуновым-Чердынцевым; он признается Кончееву: «Меня всегда мучил оборванный хвост «Русалки», это повисшее в воздухе, опереточное восклицание "откуда ты, прекрасное дитя". <...> Я продолжил и закончил, чтобы отделаться от этого раздражения» (цит. по: Долинин А. А. Загадка недописанного романа // Звезда. 1997. № 12. С. 218). См. также: Nabokov-Wilson Letters. P. 65, 67; Grayson J. Rusalka and the Person from Porlock // Symbolism and After: Essays on Russian Poetry in honor of Georgette Donchin / Ed. A. McMillin. London: Bristol Classical Press, 1992. P. 162–185; Johnson D. B. «L'Inconnue de la Seine» and

392–398. 1. Новый журнал. 1956. Кн. 46, с вар. ст. 5: «гауоп... так над простором голым» -- Стихи 1979, где датировано 1956 г. *Comme un dernier <гауоп>* — ст. 1 «Ямба IV» А. Шенье.

2. Новый журнал. 1956. Кн. 46 -- Стихи 1979. *Американские жители* — вербная игрушка (см. примеч. 103), описывается также в «Других берегах»: «...американских жителей, поднимающихся и опускающихся в сиреновом спирту в стеклянных трубках, вроде как лифты... в небоскребах Нью-Йорка» (Набоков V. С. 292), ср. также описание этих популярных игрушек в «Воспоминаниях» М. В. Добужинского (М., 1987. С. 20) и мемуарном эссе М. Цветаевой «Черт» (1935). Вариант этого ст-ния, датированный ноябрем 1943 г., хранится в архиве Набокова в Berg Collection:

«Вечереет». Не знаю, как вышло,  
и все пальцы в пастельной пыли.  
Смотрят с неба художники бывшие  
на янтарную щеку земли.

И в вафельно-легкой обители  
зажигаются сто этажей,  
и американские жители  
стойком поднимаются в ней.

На своем авторском вечере в Нью-Йорке 7 мая 1949 г. Набоков прочел этот вариант ст-ния, озаглавив его «Вечереет» и снабдив следующим комментарием: «При счастливом переезде в Америку, вот уже девять лет тому назад, меня, помнится, прежде всего поразила летним вечером удивительная нежность сиреневых зданий вокруг Central Park и какое-то чувство нездешности, Нового Света, нового освещения. Следующее маленькое стихотворение начинается со слов "Вечереет" в кавычках, т. е. употребленное с такой интонацией, с какой старомодный художник мог бы озаглавить пастельный пейзаж» (цит. по: Стихи и комментарии. С. 83; см. также: Глушанок Г. Об одном стихотворении // Набоковский вестник. Вып. 6. В. В. Набоков и Серебряный век. СПб.: Дорн, 2000. С. 213–214).

3. Новый журнал. 1956. Кн. 46. -- Стихи 1979. Автограф — в письме редактору «Опытов» Р. Гринбергу от 3 августа 1953 г., без последних двух строф, с вар. ст. 7–8: «не сводится к четверостишию / лишь намечается исход» (то же — в машинописи «Miscellaneous Poems. 1941–1957» (Berg Collection)) и ст. 13: «я не могу других разжалобить» (см.: Дребезжание моих ржавых русских струн... С. 389–390).

4. Новый журнал. 1956. Кн. 46, с вар. ст. 2: «я с молитвой стою» -- Стихи 1979.

5. Новый журнал. 1956. Кн. 46 -- Стихи 1979, где датировано: «<19>50-е г.».

6. Новый журнал. 1956. Кн. 46, без загл. -- Стихи 1979.

7. Новый журнал. 1956. Кн. 46 -- Стихи 1979.



399. Воздушные пути (Нью-Йорк). 1961. Кн. 2, под общим загл. «Два стихотворения» (вместе с № 254). Автограф в письме Р. Гринбергу от 3.06.1960 (Друзья. С. 527 –528).

400. Воздушные пути. 1967. Кн. 5 -- Стихи 1979. Автограф, датированный 9.04.1967 в письме Р. Гринбергу (Друзья. С. 553).

## ПЕРЕВОДЫ НА РУССКИЙ

### *Шимус о'Салливан*

401. Руль. 1921. № 165, 5 июня. Шимус о'Салливан (Seamas o'Sullivan) - псевдоним ирландского поэта и издателя Джеймса Салливана Старки (Starkey, 1879–1958), ст-ние из его сборника «The Twilight People» (1905).

402. Руль. 1921. № 165, 5 июня, с опечаткой в загл. *Out of the Strong, Sweetness!* - цитата из библейской «Книги Судей» (14:14): «Out of the eater came forth meat, and out of the strong came forth sweetness» («из ядущего вышло ядомое, и из сильного вышло сладкое»). Эту загадку Самсон загадал филистимлянам – отгадка в том, что в труп лева, убитого Самсоном, завелся рой пчел, которые принесли мед.

### *Пьер Ронсар*

403. Руль. 1922. № 518, 13 августа. Сонет из второй книги «Сонетов к Елене» (1578) Пьера де Ронсара (1524 – 1585).

### *Шарль Бодлер*

404. Руль. 1924. № 1140, 3 сентября. Ст-ние из сборника Шарля Бодлера (1821 – 1867) «Цветы зла» (2-е изд., 1861).

### *Альфред Теннисон*

405. Звено (Париж). Руль. 1926. № 173, 23 мая. Перевод LXVI песни одноименной поэмы английского поэта-лауреата Альфреда Теннисона (1809 – 1892).

### *Уильям Шекспир*

406. Руль. 1927. № 2069, 18 сентября.

407. Руль. 1927. № 2069, 18 сентября.

408 — 410. 1. Руль. 1930. № 3039, 23 ноября.

2, 3. Руль. 1930. № 3010, 19 октября.

### *Альфред де Мюссе*

411. Руль. 1927. № 2122, 20 ноября.

412. Руль. 1928. № 2392, 7 октября. Первый вариант перевода был опубликован Набоковым в журнале Тенишевского училища «Юная мысль» (1916. № 7), см. ст-ние 412'. По воспоминаниям Дмитрия Набокова, отец переводил для него, больного гриппом, в марте 1977 года Мюссе (Nabokov D. On Revisiting Father's Room // Vladimir Nabokov: A Tribute. London, 1979. P. 130).

### *Артур Рембо*

413. Руль. 1928. № 2451, 16 декабря.

### *Иоганн Вольфганг Гете*

414. Последние новости. 1932. № 4285, 15 декабря.

## **СТИХОТВОРЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ**

### **POEMS AND PROBLEMS**

Английские ст-ния Набокова практически не были замечены критиками. Говард Немеров отметил, что они «по большей части ловко и аккуратно скроены, но не более того, некоторые почти можно назвать прелестными. <...> Я обнаружил три исключения, которые можно оценить выше. "Restoration", "The Poplar", and "Rain" действительно чудесны тем, как изящно в них выражена двойная ностальгия Набокова по детству и по России, а также своими ловко выстроенными решениями — этот композиционный пуант мгновенно делает сходство с шахматными задачами ясным и восхитительным. <...> Наверное, лучше всего считать эту книгу своего рода сувениром для многочисленных читателей этого автора, свидетельством его разнообразных побочных увлечений» (Nemerov H. Poems and Problems by Vladimir Nabokov // The New York Times Book Review. 1971. July 25. P. 4—5). Все ст-ния, вошедшие в сборник Nabokov V. Poems and Problems. New York and London: McGraw-Hill, 1970 были ранее опубликованы в: Nabokov V. Poems. Garden City, New York: Doubleday, 1959.

415. The New Yorker. 1942. Vol. 18, № 8, 11 April -- Poems 1959 --

416. The New Yorker. 1942. Vol. 18, № 16, 6 June -- Poems 1959 -- Nabokov's Congeries. Написано после посещения Уилсонов на день благодарения в ноябре 1941 г. (Dear Bunny. Dear Volodya. P. 58–59).

417. The New Yorker. 1943. Vol. 19, № 13, 15 May, под загл. «On Discovering a Butterfly» -- Poems 1959 -- Nabokov's Congeries. Датировано по письму Э. Уилсону от 12 января 1943 (Dear Bunny. Dear Volodya. P. 103) *I found it..* ...В 1941 г. Набоков описал открытый им вид бабочек, идентифицировав его таксономуку по гениталиям, который назвал *Plebejus (Lysandra) cormion nabokov. ...safe from creeping relatives and rust <...> it will transcend its dust*. В письме итальянскому издателю Laura Mazza от 20 февраля 1961 г. о переводе ст-ния Вера Набокова пояснила, передавая слова мужа: «Это аллюзия на библейское "моль и ржа". "Creeping relatives" — это моль-разрушительница, с которой приходится вести нескончаемую борьбу всем музейным кураторам коллекций насекомых, чтобы защитить свою коллекцию» (цит. по: Nabokov's Butterflies. Unpublished and uncollected writings / Ed. and annot. by Brian Boyd and Robert Michel Pyle. Boston: Beacon Press, 2000. P. 548). *Red label*. В. Набокова поясняла: «"Красный" здесь ключевое слово, потому что в музеях, по крайней мере в американских музеях, подписи под типичными образцами красные, а под обычными — белые» (Там же).

418. The New Yorker. 1944. Vol. 20, № 17, 10 June -- Poems 1959. *Cacodemon* (от греч. *kakos* — злой) — злой дух, кошмар. ...*the leopards of words, / the leaflike insects, the eye-spotted birds, / fuse and form a silent, intense, / mimetic pattern of perfect sense*. По предположению Дж. Б. Сиссона, здесь биологическая образность в выражении идеи, доминантной в эстетике и метафизике Набокова, — соединения разрозненных частей реальности в интеллигибельном узоре, «космической синхронизации», — восходит, *inter alia*, к рассказу Г. Уэллса «Ann Veronica: A Modern Love Story» (1909), в котором героиня рассказывает своему учителю биологии о невозможности примирить дарвиновскую теорию естественного отбора с чувством красоты, на что он советует ей обратиться к «разнообразной литературе, где рассказывается об узорах на крыльях бабочек, необъяснимой изошренности и прелести перьев райских птиц и колибри, орнаменте тигровых шкур и леопардовых пятнах» (Sisson J. Nabokov and Some Turn-of-the-Century English Writers // The Garland Companion. P. 534).

419. The New Yorker. 1945. Vol. 21, № 3, 3 March -- Poems 1959 -- Nabokov's Congeries. Автограф — в письме Э. Уилсону от 2 декабря 1944 г.: «Так маловероятно, что "Нью-Йоркер" возьмет его, что я не посылаю им отдельной копии, но поскольку они должны его видеть, пожалуйста, покажи им <...> ты тоже мог бы написать стихотворение об английском аспекте, поместим их в *pendant*. Можно было бы посвятить их друг другу!» (Dear Bunny. Dear Volodya. P. 161.) Ст-ние

состоит из двух онегинских строф. *The Greek... fashioned his alphabet from cranes in flight...* Имеется в виду герой греческих мифов Пеламед, которому приписывалось изобретение алфавита (или нескольких букв); по преданию, букву «ипсилон» он придумал, наблюдая за полетом журавлей. *That bird of bards, regale of night...* В «The New Yorker» «a species of Luscinia». *Insomnia...* — ...В «The New Yorker» без этих последних двух стихов.

420. The New Yorker. 1950. Vol. 26. № 12, 13 May -- Poems 1959. Черновик — в Berg Collection. *The Book of Bell* — имеется в виду телефонный справочник, обыгрывается созвучие названия крупнейшей американской телефонной компании Bell и слова Hell (ад, англ.).

421. The New Yorker. 1951. Vol. 26, № 49, 27 January -- Poems 1959. Вариант ст-ния был послан Э. Уилсону 29 декабря 1950 (Dear Bunny. Dear Volodya. P. 283). *Voluptates tactionum* — радости осязания (лат.), выражение принадлежит Цицерону. *Tactio* (лат.) — осязание, ощупывание. *Braille* — Луи Брайль (1809–1852) — изобретатель азбуки для слепых, носящей его имя. *Magnotact* — обыгрывается название американской фирмы, выпускающей телевизоры и радиоприемники, Magnox.

422. Poems 1959 -- Nabokov's Congeries. По сравнению с автографом (Berg Collection) опущены первая строфа: «I envy authors who discern / the phoenix in the empty urn, / who find in magic lore a crumb / of comfort — prophecies of some / eternity, of some return» и четвертая: «Before the feast, behind the scenes / I will the world to come apart. / Upon my arm a statue leans, / demands to know what meaning means / and suddenly, with beating heart», следующая строфа начинается с: «Or will there be no great surprise...». *William Tell, Golden Pip* — сорта яблок.

423. Poems 1959. *The silver lining* — часть пословицы «Every cloud has its silver lining» (у каждой тучи есть своя светлая подкладка — ср.: «Нет худа без добра»). *Pathetic fallacy* — термин, введенный Джоном Раскиным (1819–1900) и получивший широкое распространение в английской и американской эстетике. Означает такие виды тропов, которые антропоморфизируют природный и предметный мир. *Populus* (лат.) — тополь, ива.

424. The New Yorker. 1953. Vol. 29. № 28, 29 August -- Poems 1959 -- Nabokov's Congeries. Ст-ние было послано в письме Э. Уилсону от 20 июня 1953 года из Эшленда, Орегон, с примечанием, что оно было отвергнуто «Нью-Йоркером» как «слишком темное» (Dear Bunny. Dear Volodya. P. 313).

425. The New Yorker. 1955. Vol. 30, № 47, 8 January, с вар. послед-него ст.: «The shadow of your monument» -- Poems 1959, печатается по этому изданию. В Nabokov's Congeries вариант «The New Yorker». Ст-ние написано онегинской строфой. *Tatiana's earring*. Авторская правка чернилами по тексту журнала: зачеркнуто и ря-

дом приписано: «your damsel's» (Berg Collection). *Alliterations that / haunt the great Fourth stanza of your Canto Eight*. В комментарии к «Онегину» Набоков отмечает «изумительную оркестровку» внутренних ассонансов этой строфы (Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб.: Искусство СПб., Набоковский фонд, 1998. С. 532 – 533).

**426.** The New Yorker. 1955. Vol. 31, № 34, 8 October -- Poems 1959 -- Nabokov's Congeries.

**427.** The New Yorker. 1956. Vol. 32, № 9, 21 April -- Poems 1959 -- Nabokov's Congeries.

**428.** The New Yorker. 1957. Vol. 33, № 20, 6 July -- Poems 1959 -- Nabokov's Congeries. Саймон Карлинский сообщает, что ст-ние было первый раз отвергнуто «Нью-Йоркером» в 1953 г. (Dear Bunny. Dear Volodya. P. 314).

### СТИХОТВОРЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

**429.** Karussel / Carousal / Carrousel (Берлин). 1923. № 2. Печ. по: Звезда. 1996. № 11. С. 45 (публ. Н. И. Толстой). Ст-ние напечатано в журнале-программе русского берлинского кабаре Бориса Эвелинова «Карусель» с подписью Vladimir Sirine вместе с первыми английскими эссе Набокова — «Laughter and Dreams» («Смех и мечты») и «Painted Wood» («Расписное дерево»), подписанными, соответственно: Vladimir V. Nabokoff и V. Cantaboff — см. вступительную заметку и русский перевод Н. И. Толстой в: Звезда. 1996. № 11. С. 42 – 45.

**430.** The English Review (London). 1920. № 144, November. Перепеч. в: Field A. Nabokov: His Life in Art. Boston: Little and Brown, 1967.

**431.** The Trinity Magazine (Cambridge, England). 1920. Vol. 5, № 2, November. В письме к матери, Е. И. Набоковой, из Кембриджа от 18 декабря 1920 г. Набоков писал: «Милая, родная, мамочка. Сегодня в кембриджском журнале появилось мое новое большое английское стихотворение, и я чувствую себя героем...» (Berg Collection).

**432.** The Atlantic Monthly (Boston). 1941. Vol. 168, December. В письме Э. Уилсону от 21 октября 1941 г.: «Немного стыдно признаться, что на днях я написал первое стихотворение на английском и послал Уиксу, который назвал его «прелестью» и напечатает в рождественском номере "Atlantic Monthly"» (Dear Bunny. Dear Volodya. P. 57).

**433.** The New Yorker. 1942. Vol. 18, № 36. 24, October. Перепечу в: Arena (London). 1964. № 17, Januray. Э. Уилсон назвал это ст-ние

лучшим из английских стихов Набокова (Nabokov-Wilson Letters. P. 84). Посылая его в письме Уилсону (13 сентября 1942 г.), Набоков жаловался на то, что «сочинение этого амфибрахического стихотворения оказалось трудным. Я все сбивался на анапест, вроде лошадей, которые *sbivaiutsia s ryssi na galop*. Чтобы перебить монотонную трусцу этого размера, я прибегал к различным анжамбеманам и укорачивал каждую третью строку» (Цит. по: Barabtarlo G. *Aerial Views. Essays on Nabokov's Art and Metaphysics*. New York: Peter Lang, 1993. P. 270—271). Судя по письму Веры Набоковой Э. Уилсону того же времени, первоначально ст-ние должно было называться «Amphibrachs» (Там же. P. 272).

434. *The Atlantic Monthly*. 1943. Vol. 171, № 1, January. В машинописи (Berg Collection) под загл. «A War Poem».

435. *The Atlantic Monthly*. 1946. Vol. 178, № 3, September. Автограф — в письме Э. Уилсону от 16 августа (Dear Bunny. Dear Volodya. P. 155). В 1945 г. ст-ние было отвергнуто «Нью-Йоркером» (Там же. P. 187).

436. *Russian Literature Triquatrely*. 1991. № 24. В журнале воспроизведена рукопись ст-ния, написанного на бланке Корнельского университета. *On the lawn* — зачеркнуто: «in the grass»

437. *The New York Review of Books*. 1966. Vol. VI, № 7, April 28. *Spell «night»...* — реминисценция ст-ния Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». Д. Б. Джонсон считает, что ст-ние Набокова было написано в связи с высадкой первых американских астронавтов на луну (Johnson D. Barton. *Preliminary Notes on Nabokov's Russian Poetry: A Chronological and Thematic Sketch // Russian Literature Triquaterly*. № 24. 1991. P. 325, note 30), которая произвела на Набокова большое впечатление: «Я помню, как дрожал от зависти и страха, когда видел на экране телевизора первые стелющиеся шаги человека в пыли нашего спутника. И как я презирал тех, кто говорил, что не стоило тратить столько долларов на то, чтобы шагать по пыли мертвого мира» (Интервью Бернару Пиво на французском телевидении, 1975 г., пер. Н. А. Усаченко цит. по: Звезда. 1999. № 4. С. 54). По мнению Э. Филда, это ст-ние возникло из черновой карточки для «Pale Fire», прочитанной интервьюеру: «Naive, nonstop, peep-peep twitter in dismal crates late, late at night, on a desolate frost-bedimmed station platform» (Field A. *Nabokov: His Life in Art*. Boston: Little and Brown, 1967. P. 366—367). Ср. также ст-ние Набокова 1942 г. «Вот это мы зовем лунной...» (Стихи 1979. С. 269).

## ПЕРЕВОДЫ НА АНГЛИЙСКИЙ

### Александр Пушкин

Большая часть стихотворных переводов Набокова на английский, со справками об авторах, написанных им же, вошла в сборник «Three Russian Poets: Selections from Pushkin, Lermontov and Tyutchev» (Norfolk, Conn. 1944), а также в расширенный сборник Pushkin, Lermontov, Tyutchev, Poems / Transl. by Vladimir Nabokov. London: Lindsay Drummond, 1947. Рецензент Р. С. Стефенсон назвал набокровский перевод из Китса «La belle dame sans merci» (№ 196) лучшим образцом перевода после Жуковского — «как если бы Джозеф Конрад перевел Мицкевича». Поздние переводы критик оценил невысоко: «Прежде всего, поскольку он <Набоков> явно был решительно настроен сохранить все чудесные слова оригинала, это заставило его использовать все изощренные возможности гибкой английской прозодезии XIX века и избыточного англо-американского словаря XX века, чтобы уместить все слова в строфы. В результате получались либо неприятная инверсия, либо, когда он стремился к классической строгости своих образцов, — плоский и прозаический диссонанс. Кроме того, сама его приверженность словам приводит к тому, что он игнорирует размер и рифмы оригинала, даже в тех случаях, где эти элементы особенно важны. Например, он превращает александрийский стих пушкинского "Памятника" в строки по 10 слогов и уничтожает (специфически русское) чередование мужских и женских рифм, что приводит к утрате эпиграфической поместительности и той отчетливости, с которой каждое пушкинское четверостишие резко заканчивается тетраметром. В переводе таких стройных стихов, как пушкинские, эти черты следует сохранять. Еще труднее простить его небрежение женскими рифмами лермонтовского "К" ("Прости! — мы не встретимся боле..."), где анапест и очевидное сходство со "Стансами к Августе" Байрона служат дополнительными основаниями сохранить их». Переводы из Лермонтова критик называет самыми неудачными, он также отмечает диспропорциональное, на его взгляд, представление поэтов: двадцать пять из тридцати двух страниц сборника отведено Пушкину, только две Лермонтову и пять Тютчеву, а также то, что основное пространство занимают переводы драм в стихах. Последнее он считает «молчаливым признанием того обстоятельства, что такие чудеса, как любовная лирика и сказки в стихах, переводчику не по силам. <...> Он мог бы достичь большего разнообразия, если бы включил эпиграммы и прочие изящные пустяки. <...> ...но его целью было показать Пушкина в его самых впечатляющих проявлениях, и ему это удалось. Ничто не могло лучше соответствовать его страсти к русскому слову оригинала, чем маленькие трагедии, белый стих, материальная плотность монологов, насыщенные существительными строки которых иногда почти без изменений могут быть переданы на английском» (Stephenson R. C. Russian Poetry is Translatable // Kenyon Review. Vol. VII, № 3, Summer. 1945. P. 511 — 515). Основные мотивы этой рецензии предвосхищают последующую рецепцию

набоковского перевода «Евгения Онегина» (1964) с его идеологией «буквального» перевода (см.: Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова: Критические отзывы, эссе, пародии / Под общ. ред. Н. Г. Мельникова. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 375–416), которая была сформулирована уже ко времени создания первых переводов на английский (эссе «The Art of Translation» (1941), русский перевод Е. Рубиновой и А. Курт см. в: Набоков В. Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1996. С. 389–400).

**438–439.** Совместно с Э. Уилсоном. *The New Republic* (Washington). 1941. 21 April -- Three Russian Poets. В письме к Э. Уилсону, написанном до 12 декабря 1940 г., Набоков сообщает, что закончил первую сцену этого перевода (*Dear Bunny. Dear Volodya*. P. 35).

**440.** Three Russian Poets -- Pushkin, Lermontov, Tyutchev. Poems. Перевод ст-ния А. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836). Подстрочный перевод 3-й строфы также в R&P (P. 113): «Tidings of me will cross the whole great Rus, / and name me will each tribe existing there: / proud scion of Slavs, and Finn, and the now savage / Tungus, and — friend of the steppes — the Kalmuck».

**441.** Three Russian Poets -- Pushkin, Lermontov, Tyutchev. Poems. Перевод ст-ния А. Пушкина «Анчар» (1828).

**442.** Three Russian Poets -- Pushkin, Lermontov, Tyutchev. Poems. Сцена из «Скупого рыцаря» (1836).

**443.** Three Russian Poets -- Pushkin, Lermontov, Tyutchev. Poems. Сцена из «Пира во время чумы» (1832). Набоков сообщает, что закончил этот перевод, в письме Уилсону от 18 июля 1941 г. из Стэнфордского университета (*Dear Bunny. Dear Volodya*. P. 52)

**444–445.** 1. Nabokov's Congeries. Строфа II («Thus a young scaregrace thought...») также в R&P (P. 125). Перевод строф I—VIII, XXXII—XXXIV 1-й главы «Евгения Онегина». Набоковский перевод «Евгения Онегина» является не совсем прозаическим подстрочником: в нем почти нигде не сохранена рифма, а также «принесены в жертву» точности и дословности «"гладкость" (она от дьявола), изящество, идиоматическая ясность, число стоп в строке, рифма и даже в крайних случаях синтаксис», но в общем соблюден ямбический размер, потому что «во-первых, <...> это небольшое ритмическое стеснение оказывается вовсе не помехой, а служит незаменимым винтом для закрепления дословного смысла, а во-вторых, <...> каким-то образом неодинаковость длины строк превращается в элемент мелодии и как бы заменяет то звуковое разнообразие, которого все равно не дало бы убийственное для английского слуха правильное распределение мужских и женских рифм» (Набоков В. Заметки переводчика // *Новый журнал*. 1957. Кн. 49; цит. по: Набоков В. С. 602), подробно о набоковском переводе и комментарии см.: Dolinin Alexander. «Eugene Onegin» //



The Garland Companion. P. 117–130; русский перевод комментария Набокова к приведенным здесь строфам см. в: Набоков В. В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Онегин». СПб., 1998. С. 102–122, 155–171.

2. The Russian Review (New York). 1945. Vol. 4, № 2, Spring. Позже Набоков назвал эти свои переводы на фоне окончательного, сделанного в 1964 году, «неудачными парафразами» (Постскриптум к статье: Arndt W. Goading the Poby // The New York Review of Books. 30 April 1964. P. 16).

**446.** Pushkin, Lermontov, Tyutchev. Poems. Перевод ст-ния А. Пушкина. «Полу-милорд, полу-купец...» (1824).

**447.** Pushkin, Lermontov, Tyutchev. Poems. Перевод ст-ния А. Пушкина. «Что в имени тебе моем?...» (1830).

**448.** Pushkin, Lermontov, Tyutchev. Poems. Перевод ст-ния А. Пушкина. «Зимнее утро» (1829).

В переписке с Уилсоном Набоков упоминает, что перевел также «Недаром вы приснились мне...» (из «Подражание Корану», VI (1824)) (Nabokov-Wilson Letters. P. 136, письмо от 29 июня 1944 г.), но оно, видимо, опубликовано не было. Для выступлений Д. В. Набокова, оперного баса, Набоков — видимо, в 1960-е гг. — перевел ст-ние Пушкина «Ночь» (1820):

## NIGHT

My voice that breathes for thee both tenderness and languor  
disturbs at a late hour the silence of dark night.  
Beside my bed a melancholy candle  
sheds, light. My verses, murmuring and merging,  
flow; rills of love, flow, full of thee.  
Thine eyes before me in the darkness shine,  
they smile on me and I distinguish sounds:  
«My dear, my dearest one... I love... I'm thine... I'm... thine».

(цит. по: Nicol Ch. Music in the Theatre of the Mind: Opera and Vladimir Nabokov // Nabokov at the Limits. Redrawing Critical Boundaries / Ed. by L. Zunshine. New York; London: Garland, 1999. P. 39).

В предисловии к английскому переводу романа «Отчаяние» («Despair», 1966) Набоков также приводит свой перевод ст-ния «Пора, мой друг, пора...» (1834) с предупреждением, что он сделан «с соблюдением метра и рифмы — путь, который редко бывает удачным, — даже позволительным — кроме как при редчайшем расположении звезд на тверди стихотворения, как это случилось здесь» (пер. Г. Левинтона цит. по: Набоков: pro et contra. С. 61):

'Tis time, my dear, 'tis time. The heart demands repose.  
 Day after day flits by, and with each hour there goes  
 A little bit of life; but meanwhile you and I  
 Together plan to dwell... yet lo! 'tis then we die.  
 There is no bliss on earth: there is peace and freedom, though.  
 An enviable lot I have yearned to know:  
 Long have I, weary slave, been contemplating flight  
 To a remote abode of work and pure delight.

### *Михаил Лермонтов*

Переводы из Лермонтова (№ 447–449), входящие в эссе «The Lermontov Mirage» (The Russian Review. Vol. 1, № 1, November. 1941. P. 31–39), написанное в жанре представления поэта американским читателям (см. также перевод Набоковым «Героя нашего времени» с предисловием: A Hero of Our Time, by Mikhail Lermontov / Transl. by Vladimir Nabokov in Collaboration with Dmitry Nabokov. New York: Doubleday, 1958; русский перевод предисловия см. в: Набоков В. Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1996), печатаются по этому изданию. Остальные переводы печатаются по: Pushkin, Lermontov, Tyutchev. Poems.

**449.** The Lermontov Mirage -- Three Russian Poets -- Pushkin, Lermontov, Tyutchev. Poems. Перевод ст-ния «К'» («Прости! — мы не встретимся боле...») (1832). Предваряя этот перевод, Набоков отметил, что Лермонтов «пылко восхищался Байроном, но в его лучших произведениях едва ли можно найти следы этого влияния. Поверхностно это влияние вполне очевидно в ранних стихах» (The Lermontov Mirage. P. 32).

**450.** The Lermontov Mirage -- Three Russian Poets -- Pushkin, Lermontov, Tyutchev Poems. Перевод ст-ния «Родина» (1841). В преамбуле к переводу Набоков сопоставляет это ст-ние с «Демоном» по интенсивности наблюдения и сравнивает с любимыми им в юности английскими поэтами Р. Бруксом и Э. Хаусменом: «Чтобы быть хорошим визионером, нужно быть хорошим наблюдателем. Чем лучше видишь землю, тем тоньше будут восприятия рая; и напротив, прорицатель, глядящий в свой магический кристалл, не будучи художником, окажется просто старым занудой. Поэма Лермонтова "Демон" состоит из общих мест мистицизма. Но ее спасают яркие краски конкретных ландшафтов, написанных тут и там волшебной кистью. Здесь нет ничего от страсти восточных поэтов к опалам и обобщениям — Лермонтов по сути — европейский путешественник, восхищающийся чужими странами — какими были все русские поэты, хотя они могли никогда не покидать своего очага. Сама любовь к родине у Лермонтова (и других) — европейская, в том смысле, что она одновременно иррациональна и основана на конкретном чувственном опыте. "Неофициальная английская роза", или "шпили и фермы", видные с холма в Шропшире, или родная речка, которую русский

пилигрим, много веков назад, вспомнил, увидев Иордан, или просто те "зеленые поля", о которых бормотал перед смертью знаменитый толстяк, внушают не поддающуюся описанию любовь к родине, которую не могут возбудить исторические книги или статуи в парках. Но то, что отличает описания родины в русской поэзии — это атмосфера ностальгии, которая обостряет чувства, но искажает объективные отношения. Русский поэт говорит о том, что видит в окно своей комнаты, как если бы он был изгнанником, который в мечтах представляет себе родину более живо, чем в реальности, хотя в этот момент он на самом деле, возможно, созерцает собственные владения. Пушкин мечтал о путешествии в Африку не потому, что ему надоели русские пейзажи, а потому, что он хотел тосковать по России, оказавшись за ее пределами. Гоголь в Риме говорил о духовной красоте физической отдаленности, и отношение Лермонтова к родине основано на том же эмоциональном парадоксе» (The Lermontov Mirage. P. 35).

451. The Lermontov Mirage -- Three Russian Poets -- Pushkin, Lermontov, Tyutchev. Poems -- A Hero of Our Time. Перевод стихотворения «Сон» («В полуденный жар в долине Дагестана...», 1841). В эссе Набоков приводит подробный анализ повествовательной структуры и оптики «телескопированного» сна в этом стихотворении, отчасти служащий автоописанием поэтики самого Набокова: «Можно сказать, что то, что Дарвин называл "борьбой за существование", — это, на самом деле, борьба за совершенство, и здесь главное и вызывающее наибольшее восхищение орудие Природы — оптическая иллюзия. Среди человеческих существ поэты — лучшие образцы искусства обмана. Таким поэтам, как Кольридж, Бодлер и Лермонтов, особенно хорошо удавалось создание текучей и радужной Среды, в которой реальность раскрывает сны, из которых состоит, геологически трансверсированная часть самого прозаического из городов может выявить сказочную рептилию и ископаемый папоротник, поразительным образом вплетенный в его основание. Путешественники сообщали, что в таинственных степях Центральной Азии миражи иногда такие яркие, что настоящие деревья отражаются в поддельном блеске оптических озер. Что-то от эффекта этих многократных отражений свойственно поэзии Лермонтова, и особенно этому самому фатаморганному его стихотворению, которое могло бы называться "Сон во сне о сне во сне"» (The Lermontov Mirage. P. 32–33), ср. также анализ стихотворения в: A Hero of Our Time. ...the dead man (в оригинале: «знакомый труп») — Набоков неоднократно упоминал этот лермонтовский солецизм: «Кстати, поэт так глубоко погрузился в эти сны во сне, что <...> допустил солецизм (опущенный в моем переводе), который также уникален — ибо это солецизм солипсизма, а солипсизм по определению Бертрана Рассела, — это reduction ad absurdum субъективного идеализма — мы сами себе снимся. <...> Это мне также напоминает об одном китайском поэте, которому снилось, что он бабочка, и проснувшись, он не мог разрешить проблему, кто он — китайский поэт, которому приснился этот энтомологический сон, или бабочка, которая во сне видит себя китайским поэтом» (The Lermontov Mirage. P. 34.); ср. также в «Даре» (Набоков IV. С. 258).

452. The Russian Review. 1946. Vol. 5, № 2, Spring -- Pushkin Lermontov, Tyutchev. Poems. Перевод ст-ния «Ангел» (1831). В эссе Набоков пишет, что это ст-ние, написанное 14-летним поэтом, «русские критики, и тут они не ошиблись, называли пришедшим прямо из рая — действительно, его чистая и действительно небесная мелодия ненарушимой принесена на землю» (The Lermontov Mirage. P. 31). Отвечая Э. Уилсону, который упрекнул его в том, что переводы из Лермонтова, и в особенности «Ангел», более заурядны, чем из Пушкина и Тютчева: «...тебе не следовало писать *world of sorrow and strife*, особенно рифмуя с *life*, это показалось бы банальным даже в английской поэзии тридцатых годов» (Dear Bunny. Dear Volodya. P. 181), — Набоков ответил: «Но Лермонтов действительно банален, мир печали и слез — это действительно тривиально (да еще и тавтологично), я довольно равнодушен к нему, и не слишком старался дебанализировать строки, которые тебе не понравились» (Там же. P. 182).

453. The Russian Review. 1946. Vol. 5, № 2, Spring -- Pushkin, Lermontov, Tyutchev. Poems. Перевод ст-ния «Парус» (1832).

454. The Russian Review. 1946. Vol. 5, № 2, Spring -- Pushkin, Lermontov, Tyutchev. Poems. Перевод ст-ния «Утес» (1841).

455. The Russian Review. 1946. Vol. 5, № 2, Spring -- Pushkin, Lermontov, Tyutchev. Poems. Перевод ст-ния «На севере диком стоит одиноко...» (1841).

456. The Atlantic Monthly. 1946. Vol. 178. № 5, November -- Pushkin, Lermontov, Tyutchev. Poems. Перевод ст-ния «Благодарность» («За все, за все тебя благодарю я...», 1840).

457. Pushkin, Lermontov, Tyutchev. Poems. Перевод ст-ния «Небо и звезды» (1831).

458. Pushkin, Lermontov, Tyutchev. Poems. Перевод ст-ния «Желанье» («Отворите мне темницу...», 1832). Для выступлений своего сына, оперного basso profundo Д. В. Набокова, Набоков в начале 1970-х гг. сделал рифмованный перевод «Выхожу один я на дорогу...»:

I come out alone upon the highroad;  
Through the mist the flinty way gleams far.  
The night's calm. The wilderness is harking  
To the Lord, and star speaks unto star.  
In the heavens all is grave and wondrous;  
The earth sleeps, by bkuish radiance lit.  
Whence comes, then, this painful, irksome feeling?  
Expectation? Heartache? What is it?  
Yet from life I'm now expecting nothing  
And I don't regret one bit the past.  
All I want is dreamless sleep at last.

Let it, though, not be the tomb's cold slumber;  
I would wish to slumber in such wise  
That in me life's forces would be dormant,  
That my breast would gently fall and rise.  
that all day, all night, in lulling accents  
A sweet voice would sing to me of love,  
that a somber oaktree, ever greening,  
Would incline its rustling boughs above.

(цит. по: Nicol Ch. Music in the Theatre of the Mind: Opera and Vladimir Nabokov // Nabokov at the Limits. Redrawing Critical Boundaries / Ed. by L. Zunshine. New York; London: Garland, 1999. P. 38 – 39).

### **Афанасий Фет**

Свои переводы стихов А. Фета Набоков не переиздавал, мы печатаем их по первым (и единственным) публикациям. Кроме того в романе «Ada or Ardor: A Family Chronicle» (1969) (часть 2, гл. 8) Набоков приводит рифмованный перевод первой строфы из стиха Фета «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...» (1877).

**459.** The Russian Review. 1943. Vol. 3, № 1, Autumn. Перевод стиха «Alter Ego» (1878).

**460.** The Russian Review. 1943. Vol. 3, № 1, Autumn. Перевод стиха «Измучен жизнью, коварством надежды...» (1864?).

**461.** The Russian Review. 1943. Vol. 3, № 1, Autumn. Перевод стиха «Ласточки» (1884).

### **Федор Тютчев**

Все переводы печатаются по: Three Russian Poets.

**462.** Three Russian Poets. Перевод стиха «Летний вечер» (1828).

**463.** The Russian Review. 1944. Vol. 4, № 1, Autumn -- Three Russian Poets. Перевод стиха «Слезы» (1823).

**464.** The Russian Review. 1944. Vol. 4, № 1, Autumn -- Three Russian Poets. Перевод стиха «Песок сыпучий по колени...» (1830).

**465.** The Atlantic Monthly. 1944. Vol. 173, № 1, January -- Three Russian Poets. Перевод стиха «Silentium!» (1829).

**466.** The Atlantic Monthly. 1944. Vol. 173, № 1, January -- Three Russian Poets. Перевод стиха «Последняя любовь» (1851 – 1854).

**467.** The Russian Review. 1944. Vol. 4, № 1, Autumn -- Three Russian Poets. Перевод стиха «Тени сизые смешались...» (1835).

**468.** Three Russian Poets. Перевод ст-ния «Святая ночь на небосклон взошла...» (1850).

**469.** The Atlantic Monthly. 1944. Vol. 173, № 1, January -- Three Russian Poets. Перевод ст-ния «Есть в осени первоначальной...» (1857).

**470.** The Russian Review. 1944. Vol. 4, № 1, Autumn -- Three Russian Poets. Перевод ст-ния «Успокоение» (1830).

**471.** Three Russian Poets. Перевод ст-ния «Слезы людские, о слезы людские...» (1849).

### **Владислав Хогасевич**

Все переводы печатаются по: New Directions in Prose and Poetry / Ed. by James Laughlin. Norfolk, Conn.: New Directions, 1941. Они включены без изменений в: The Bitter Air of Exile: Russian Writers in the West 1922–1972 / Ed. by Simon Karlinsky and Alfred Appel, Jr. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press, 1977.

**472.** New Directions in Prose and Poetry -- TriQuarterly (Evanston, Ill.). 1973. № 27, Spring. Перевод ст-ния «Обезьяна» (1919, 1927).

**473.** New Directions in Prose and Poetry -- TriQuarterly (Evanston, Ill.). № 27. Spring 1973. Перевод ст-ния «Ни жить, ни петь почти не стоит...» (1922).

**474.** New Directions in Prose and Poetry -- TriQuarterly (Evanston, Ill.). № 27. Spring 1973. Перевод ст-ния «Баллада» («Сижу, освещаемый сверху...») (1921).

## **ПЕРЕВОДЫ НА ФРАНЦУЗСКИЙ**

### **Александр Пушкин**

**475.** La Nouvelle Revue Française (Paris). 1937. Т. XLVIII. (Janvier-Juin), в составе французского эссе Набокова «Pouchkine ou le vrai et le vraisemblable». Перевод ст-ния «Три ключа» («В степи мирской, печальной и безбрежной...», 1827). По определению Набокова, в этом ст-нии «русский глагол, кажется, струится от счастья бытия, но в переводе оно становится не больше, чем подстрочником» (Pouchkine ou le vrai et le vraisemblable, перевод Т. Земцовой цит. по: Набоков В. Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1996. С. 420).

**476.** La Nouvelle Revue Française. 1937. Т. XLVIII. (Janvier-Juin). Перевод ст-ния «Не пой, красавица, при мне...» (1828). «...я выбрал стихотворение дивной простоты в русском звучании, где слова со-

вершено простые сами по себе становятся как бы немного больше натуральной величины, словно от прикосновения Пушкина они вернули свою первозаданную полноту, свою свежесть, которую потеряли у других поэтов. Вот тусклая копия, которую я из него сделал» (Набоков В. Лекции по русской литературе. М., 1996. С. 421).

**477.** Hommage a Pouchkine 1837 – 1937 / Ed. by Z. Schakovskoy. Brussels, 1937, под загл. «Vers composes pendant l'insomnie» (см. 477\*) -- La Nouvelle Revue Française (Paris). 1937. Т. XLVIII. (Janvier-Juin). Перевод стихотворения «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» (1830). «Занимаясь переводами, я с любопытством обнаруживал, что любое стихотворение, за которое я брался, странно перекликалось со стихами того или иного французского поэта. Но скоро мне стало ясно, что Пушкин тут ни при чем; причиной было не мнимое французское отражение, которое принято находить в его стихах, а то, что я в этот момент поддавался влиянию литературных воспоминаний. Руководствуясь этими услужливыми воспоминаниями, я оставался если не удовлетворенным, то по крайней мере не очень раздраженным своими переводами. Вот одно из стихотворений, перевод которого, как я считаю, немного успешней других» (Набоков В. Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1996. С. 421).

**478.** La Nouvelle Revue Française. 1937. Т. XLVIII. (Janvier-Juin). Строфа XIII из неоконченной поэмы «Езерский» (1832–1833). «Вот одна из наиболее прекрасных онегинских строф. Я много бы дал, чтобы хорошо перевести эти четырнадцать строк» (Набоков В. Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1996. С. 421).

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Набоков В. В. Стихи. Петроград: Худож.-графич. заведение «Унион», 1916. Сборник был издан тиражом 500 экземпляров на средства автора. В книгу вошли стихотворения, написанные в период знакомства с Валентиной (Люсей) Шульгиной, послужившей прототипом Машеньки из одноименного романа, и Тамары из автобиографии. О В. Е. Шульгиной и истории сборника см.: Старк В. Предисловие // Набоков В. В. Стихи. СПб.: Дорн, 1997 (репринт изд. 1916 г.). С. III–VI. Набоков эти «банальные любовные стихи» (Стихи 1979. С. VII) никогда не переиздавал: «...первая эта моя книжечка стихов была исключительно плохая, и никогда бы не следовало ее издавать. Ее по заслугам растерзали те немногие рецензенты, которые ее заметили. Директор Тенишевского Училища, В. В. Гиппиус <...>, принес как-то экземпляр моего сборничка в класс и подробно его разнес при всеобщем, или почти всеобщем, смехе. <...> Его значительно более знаменитая, но менее талантливая кузина Зинаида, встретившись на заседании Литературного Фонда с моим отцом, <...> сказала ему: "Пожалуйста, передайте вашему сыну, что он никогда писателем не будет"» (Набоков В. С. 291). В архиве газеты «Речь» (РГАЛИ. Ф.

1666. Оп. 1. Ед. хр. 3052) сохранились гранки сборника с не вошедшими в окончательный текст стихами и посвящением «Тебе видевшей тот же сон / Я эту книгу посвящаю. В. Набоков / апр. 1916 г. / Петроград» (впервые опублик. Е. Белодубровским в: Час пик. 1991. 22 июля. С. 10). Ниже несколько стихов печатается по тексту гранок:

\* \* \*

Нагая, гредишь ты за гранью полутени...  
Ты ждешь моей весны, и я тебя хочу  
Обнять; хочу в огне бездонных наслаждений  
Сгореть. Немеет ночь... Со звездами грущу.

И жду... Так дивно ждать без лжи и без сомнений!  
Так близко от меня всё то, что я ищу!  
Так просто всё: взойти на мягкие ступени  
И губы чуть прижать к лилейному плечу...

А ты меня зовешь, раскидывая руки...  
Чаруют небеса, но больно мне смотреть  
На царство чистоты, спокойствия и скуки.  
Я твой... Теперь, когда не может догореть  
Вся радость наших тел глубокая до муки,  
С тобой, мечта любви,  
не страшно умереть...

\* \* \*

Я к тебе прижался с лаской небывалой,  
С чувством упоительным жгучей наготы...  
Как мы целовались, как ты разжигала  
Сладко-нетерпимую жажду красоты!

Ночь плыла над нами черными волнами...  
Ты была безумною, ты была моей...  
Я дрожал, пронзенный тонкими лучами,  
Я уснул, пронизанный близостью твоей.

Сон увидел страшный: будто я согнулся  
И молил о жалости; но услышал «нет»;  
Ты меня ласкала, вдруг я содрогнулся:  
Я держал в объятиях тоненький скелет!



И проснулся в столах; ты еще дремала;  
Грустно, поцелуями я тебя будил;  
Тихо ты очнулась, тихо зарыдала...  
Было странно-холодно... Я тебя забыл...

\* \* \*

Люблю, люблю тебя; люблю... Как это слово  
Опошлилось в романах наших дней!  
И ты, моя любовь, не верить мне готова,  
Так много вокруг тебя насмешливых теней!

Так много за окном холодного разврата!  
Так мало здесь людей, умеющих любить!  
Поверив даже мне, тревогой ты объята...  
Ведь я могу, как все, и лгать и позабыть!

\* \* \*

Я верил, я ждал, я мечтам улыбался;  
Я чувствовал тебя уж в объятиях своих...  
Я ждал где сосновый лесок начинался,  
Лучи еще дрожали на ветках золотых.

Задумались сумерки с грустью певучей...  
Молился я весеннему ангелу любви...  
Над тонкими соснами замерли тучи  
Зелеными стрекозами в розовой крови.

Кукушка грядущие годы считала...  
Кружились неуклюже майские жуки.  
Я вздрогнул, я понял, душа зарыдала,  
Но всё не уходил я, безумный от тоски.

О, если б любила, о, если б пришла ты,  
Я умер бы от счастья иль думал, что во сне,  
Какие надежды, какая утрата!  
Зачем ты не вернулась, далекая, ко мне!

Первый эпиграф — из ст-ния Альфреда де Мюссе «Воспоминание» («Souvenir», 1841); второй, как обнаружил Б. Бойд, не из Вордсворта, а из ст-ния Томаса Мура (Moore, 1779–1852) «Song» («When Time, who steals our years away...»).

**495.** Юная мысль. 1916. № 6, под загл. «Осень». Очевидно, первым печатным откликом на творчество Набокова можно считать «Письмо в редакцию» С. Гессена, напечатанное в № 7 «Юной мысли» за 1916 г., в котором он, рецензируя предыдущий номер журнала, пишет: «Не останавливаясь на беллетристических произведениях, помещенных в журнале, отметим лишь стихотворение В. Набокова "Осень", заслуживающее большой похвалы и одобрения» (С. 36).

**496.** Юная мысль. 1916. № 8.

**502.** Перепеч. в: За Родину (Псков – Рига). 1943. № 21 (указ. по: Абызов Ю. Русское печатное слово в Латвии 1917–1944 гг.: Библиографический справочник. Stanford, 1990–1992 (Stanford Slavic Studies 3: 1–4). Часть III. Stanford, 1991. С. 100). Д. Бартон Джонсон предполагает, что инициатором перепечатки в этой профашистской русской газете, номинально выходившей в Пскове, но фактически в Риге, мог быть Б. А. Филиппов (см.: Johnson D. Barton. Nabokov Poetry in Occupied Russia: 1943 // The Nabokovian. 1994. № 32. P. 17–19).

**514.** Перепеч. в: За Родину (Псков – Рига). 1943. № 23 (указ. по: Абызов Ю. Русское печатное слово в Латвии 1917–1944 гг. С. 100).

**518.** Перепеч. в: За Родину (Псков – Рига). 1943. № 84 (указ. по: Johnson D. Barton. Nabokov Poetry in Occupied Russia: 1943. P. 18).

**519.** Вестник Европы (Петроград). 1916. Кн. 7, июль.

#### ПЕРЕВОДЫ ИЗ ЭССЕ «РУПЕРТ БРУК»

«Грани»: Литературный альманах. 1922. Кн. 1. С. 212–231 (перепечатано в: Набоков И). Руперт Брук (Brooke, 1887–1915) — английский поэт-георгианец, выпускник Кембриджа. Участвовал в Первой мировой войне, умер от заражения крови на военном корабле, направлявшемся в Дарданеллы, похоронен на греческом о-ве Скирос. В 1911 г. вышел его сборник «Poems», в 1915-м, посмертно, — сборник сонетов о войне «1914, and Other Poems». Подробнее см.: Johnson D. Barton. Vladimir Nabokov and Rupert Brooke // Nabokov and His Fiction. New Perspectives / Ed. By Julian W. Connolly. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 177–196 и вступ. статью в наст. изд. С. 17–20.

**547.** Перевод ст-ния «Heaven» («Рай»).

**548.** Перевод ст-ния «Прах» («Dust»).

**549.** Перевод ст-ния «Clouds» («Облака»).

**550.** Перевод ст-ния Сонет IV. «The Dead» («Мертвые»).

551. Перевод ст-ния Сонет V. «The Soldier» («Солдат») — самое знаменитое ст-ние Р. Брука, рукопись которого хранится в Британском музее.

552. Перевод ст-ния «The Call» («Зов»).

553. Перевод ст-ния «Menelaus and Helen» («Менелай и Елена»).

554. Перевод ст-ния «The Voice» («Голос»).

555. Перевод ст-ния «Home» («Дом»).

556. Перевод ст-ния «The Jolly Company» («Веселая кампания»).

557. Перевод ст-ния «Failure» («Поражение»).

558. Перевод ст-ния «The Vision of the Archangels» («Видение архангелов»).

### ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ И СТИХОТВОРЕНИЯ НА СЛУЧАЙ

559. Barabtarlo G. Aerial Views. Essays on Nabokov's Art and Metaphysics. New York: Peter Lang, 1993. P. 248–250. Написано 25 октября 1917 г., «в первый день советской эры», и послано из Петрограда в Кисловодск, соученику по Тенишевскому училищу Савелию (Сабе) Кянджунцеву (см.: Бойд. Русские годы. С. 163). Рукопись этого ст-ния, как указывает Г. Барабтарло (Barabtarlo G. Aerial Views... P. 245), хранилась в семье Кянджунцевых до конца 1960-х гг., а потом была передана З. Шаховской, сейчас хранится в Amherst Center for Russian Culture (Zinaida and Dmitry Shakhovskoy Papers, Box 2, Folder 2). З. Шаховская в своей книге о Набокове приводит из него выдержку (Шаховская З. А. В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга, 1991. С. 38–40). В ст-нии упоминаются реалии Тенишевского училища: *товаровед*, то есть преподаватель политэкономии, Степан Васильевич Евтифиев, которому принадлежит пророческое замечание о Набокове: «Для меня загадка. Слог — стиль — есть, сути нет» (ЦГИА. Ф. 176. Оп. 1. Д. 245. Л. 67; см.: Скопечная О. Набоков в Тенишевском училище // Наше наследие. 1991. № 1. С. 109); *коммерческий географ* — очевидно, Николай Ильич Березин, выведенный в рассказе «Лебеда» как Березовский; *Розов* — соученик и друг Набокова Самуил Израилевич Розов (1900–1975), о нем см.: Левинг Ю. Литературный подтекст палестинского письма Вл. Набокова // Новый журнал. 1999. Кн. 214. С. 116–133. ...и тот же дух во тьме стоит... — аллюзия на набоковский перевод «Декабрьской мысли» А. Мюссе, опубликованный в журнале Тенишевского училища «Юная мысль» (1916), среди редакторов и авторов которого были Кянджунцев и Набоков (см. № 412\*).

**560.** Струве Г. П. К смерти В. В. Набокова // Новое русское слово. 1977. 7 августа. Г. П. Струве приводит этот «шуточный стихотворный экспромт», написанный Набоковым в 1923 г. в Берлине и состоящий из эпиграмм на участников литературного кружка «Братство Круглого Стола», собиравшегося на квартире у Струве. О кружке см.: Струве Г. Дневник читателя. Памяти В. В. Набокова // Новое русское слово. 1977. 17 июля; «Ваш Г. Струве». Письма Г. П. Струве к В. Ф. Маркову / Публ. Дж. Шерона // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С.118 – 152; Письма к Глебу Струве / Публ. Е. Белодубровского // Звезда. 1999. № 4. С. 24. Евгений Львович Кумминг (псевд. Евг. Комнин) — поэт, в 1910-е гг. примыкал к группе неоакмеистов, сотрудничал в «Руле», в 1933 – 1935 гг. редактор берлинской газеты «Новое слово», субсидировавшийся нацистами, после Второй мировой войны некоторое время работал директором радиостанции «Свобода». В письме Р. Гринбергу от 19 января 1953 г. В. Е. Набокова передает слова мужа: «Говорит "кажется, прохвост". В литературном же смысле говорит, что К<умминг> неудачный подражатель тех "акмеистов", что помельче» (Дребезжание моих ржавых русских струн... С. 380). Николай Васильевич Яковлев — учитель словесности, зрудит, друг Набокова, в начале 1920-х гг. печатал стихи и рецензии. Иван Созонтович Лукаш (1892–1940) — прозаик, поэт, журналист, близкий друг Набокова в Берлине, вместе они писали либретто для кабаре «Синяя птица». Николай Сергеевич Арбузов — владелец русского книжного магазина в Берлине. Владимир Евгеньевич Татаринov (1892–1961) — прозаик, критик, печатался в «Руле».

**561.** Звезда. 1999. № 4, 1-я стр. обложки. Написано в Берлине в 1925 г.

**562.** Эпиграмма на Г. Иванова. Написана, по утверждению Набокова, в 1931 г. в альбом В. Ходасевичу (см.: Письма к Глебу Струве / Публ. Е. Белодубровского // Звезда. 1999. № 4. С. 34) и тогда же послана в письмах И. И. Фондаминскому (Бунакову) и Г. П. Струве. В письмах Струве от 7 июня и 3 июля 1931 г. Набоков поощряет распространение эпиграммы: «...эпиграмма питает страсть к путешествиям. Она любит человеческое общение. Грешно держать ее взаперти. Как птичку Божью, следует выпустить ее из клетки при первом празднике весны. Пожалейте ее, Глеб Петрович, дорогой, дайте ей попорхать» (фонд Г. П. Струве в Гуверовском архиве, текст любезно предоставлен Е. Б. Белодубровским). Впервые опубликована (в транслитерации) в: Field A. Nabokov: His Life in Art. Boston: Little and Brown, 1967. P. 379.

**563.** TriQuarterly. Evanston, Ill. 1970. № 17, в мемуарном эссе Люси Нозль (Р. 209 – 219), где факсимильно воспроизводится запись стихотворения, сделанная Набоковым в феврале 1939 г. в Париже в альбом американке Мэри Рейнольдс, с примеч., в котором Набоков приписывает себе честь изобретения формы палиндромона: «Единственное в русской литературе стихотворение, которое можно прочесть справа налево!». В «Юбилейных заметках» к статье Нозль в этом же номере журнала Набоков уточняет, что имел в виду не палиндромон

вообще, а рифмованное четверостишие, в котором три последние строки составляют связанное целое, оставаясь при этом палиндромонами (ср., впрочем, «Город энергий в игре не дорог» (1926) И. Сельвинского, состоящий из трех связанных четверостиший-палиндромонов, или поэму В. Хлебникова «Разин»), и что первая строка была, кажется, подсказана ему поэтом Владимиром Пиотровским.

**564.** Barabtarlo G. *Aerial Views. Essays on Nabokov's Art and Metaphysics*. New York: PeterLang, 1993. P. 270. В письме к Э. Уилсону от 13 сентября 1942 г. вместе с переводом на русский — см. № 564\* (опубликовано по материалам Edmund Wilson Archive at the Beinecke Library of Yale University). Набоков сопровождает ст-ния следующими примеч.: «Мне понадобилось ровно десять минут, чтобы сочинить следующий маленький шедевр, состоящий исключительно из пэона 4-го, формы, которая редко встречается даже в русской просодии» (цит. по: Barabtarlo G. *Aerial Views...* P. 270). Здесь имеются в виду споры Набокова с Уилсоном о различии русской и английской просодии, причем Набоков придерживается терминологии А. Белого (см. его статьи из сб. «Символизм» (М., 1910)).

**564\*.** См. примеч. 564.

**565.** *TriQuarterly*. Evanston, Ill. № 17. 1970. Вкл. в: Nabokov V. *Strong Opinions*. New York; London: McGraw Hill, 1973. P. 302. Это ст-ние, как говорит Набоков в примеч., было написано им для американских студентов, чтобы они правильно произносили его фамилию.

### СТИХИ ИЗ РОМАНА «ДАР»

Первые восемнадцать ст-ний являются отрывками или целыми ст-ниями из сборника Ф. К. Годунова-Чердынцева «Стихи», в который входят, как определяет сам автор, воображая возможную рецензию на свой сборник, «около пятидесяти двенадцатистиший, посвященных целиком одной теме — детству. <...> При набожном их сочинении автор, с одной стороны, стремился обобщить воспоминания, преимущественно отбирая черты, так или иначе свойственные всякому удавшемуся детству: отсюда их мнимая очевидность; а с другой, он дозволил проникнуть в стихи только тому, что было действительно им, полностью и без примеси: отсюда их мнимая изысканность. <...> Стратегия вдохновения и тактика ума, плоть поэзии и призрак прозрачной прозы — вот определения, кажущиеся нам достаточно верными для характеристики творчества молодого поэта» (Дар // Набоков IV. С. 196). Подробно анализ поэтики и поэзии Годунова-Чердынцева см. в: Лотман М. Ю. Некоторые замечания о поэзии и поэтике Ф. К. Годунова-Чердынцева // Вторичные моделирующие системы. Тарту, 1979. С. 45 — 48; «А та звезда над Пулковом...»: Заметки о поэзии и стихосложении В. Набокова // Вышгород (Таллинн). 1999. № 3. P. 63 — 77.

Все эти ст-ния вкл. в: Стихи 1979.

**566.** В тексте романа ст-ние называется «Пропавший мяч» (Набоков IV. С. 197).

**584.** В романе представлен процесс сочинения этого ст-ния и три его последовательных вар-та (здесь воспроизведен последний). А. А. Долинин (Три заметки о романе Владимира Набокова «Дар» // Набоков: pro et contra. С. 697–710) рассматривает это ст-ние как центр романа, в котором анаграммировано ключевое слово «дар», семантика которого расширяется за счет аллюзий на классические поэтические подтексты (строфа XLV главы 6 «Евгения Онегина», «Благодарность» Лермонтова) и современным («Благодарность» Д. Кнута, «За все, за все спасибо. За войну...» Г. Адамовича); а также к «За все тебя, Господь, благодарю» (1901) И. Бунина (Набоков IV. С. 652) и пушкинскому «Для берегов отчизны дальной...» (1830) (см.: Blackwell S. Three Notes on «The Gift» // The Nabokovian. № 40. Summer. 1998. P. 37–38).

**585.** А. А. Долинин находит здесь переключку с образом лодки перевозчика Харона из поэмы Маяковского «Про это» (1923): «Вон в лодке, скутан саваном, / Недвижный перевозчик. <...> Что ж — ступлю» (Набоков IV. С. 654).

**586.** *...так непрочно, / так плохо сделана луна, / хотя из Гамбурга нарочно / она сюда привезена...* — аллюзия на слова Поприщина из «Записок сумасшедшего» Гоголя: «Признаюсь, я ощутил сердечное беспокойство, когда вообразил себе необыкновенную нежность и непрочность луны. Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге, и прескверно делается» (отмечено А. А. Долининым в: Набоков IV. С. 663).

**587.** Дар, без загл. -- Стихи 1979.

**588.** Первые четыре стиха взяты из чернового наброска Пушкина (Пушкин А. С. Собр. соч. / Под ред. С. А. Венгерова. Т. 4. СПб., 1910. С. 51). Второе четверостишие представляет собой стилизацию, основанную на зачеркнутых у Пушкина словах «Мицкевич созреет» и «роман» (отнесено А. А. Долининым в: Набоков IV. С. 665–666).

**590.** В Стихи 1979 текст набран in continuo, «прозой» — мы вводим разбивку на стихи, следуя убедительному анализу М. Ю. Лотмана, в котором он выделяет здесь строки гексаметра и дактилическую прозу в духе А. Белого и рассматривает это введение в графический гомогенный прозаический текст явных фрагментов рифмованного стиха как элемент установки Набокова на «преодоление линейности противопоставления стиха и прозы» (Лотман М. Ю. «А та звезда над Пулковом...» Заметки о поэзии и стихосложении В. Набокова // Вышгород (Таллинн). 1999. № 3. С. 74–75). Как отмечает А. Долинин, «первая и начало второй фразы (до слова "навсегда") пародируют ритмизованную и дактилическую прозу, которой написана большая часть трилогии Андрея Белого "Москва" (1926–1932). <...> Эпитет

"капустная" подсказывает, какое слово можно было бы подставить вместо выпадающего из размера советизма "продуктами"» (Набоков IV. С. 687).

**591.** Дар. -- Стихи 1979. *Как звать тебя? Ты полу-Мнемозина, / полумерцанье в имени твоём...* В ст-нии обыгрываются имя и фамилия Зины Мерц, к которой обращено ст-ние, а также ряд других ключевых слов романа — Schmetterling (бабочка, нем.), Schmerz (смерть, нем.) (см.: Двинятин Ф. Н. Об интертекстуальных связях личного имени у Набокова: Зина Мерц и вокруг // Russian Studies. 1996. № 2–3. С. 234–254). В предисловии к английскому переводу романа «Дар» («The Gift») Набоков называет эти любовные стихи «подлинной осью» главы 3 романа (см.: Набоков: pro et contra. С. 50). *Есть у меня сравненье на примете...* Борис Маслов отметил здесь параллель со строками из ст-ния А. Ахматовой «9 декабря 1913»: «Я для сравненья слов не найду — / Так твои годы нежны» (Маслов Б. Поэт: Опыт текстологии персонажа // Новое литературное обозрение. 2001. № 47 (1). С. 177).

**592.** Ст-ние поэта Кончеева; подробнее см. во вступ. статье к наст изд. (С. 00) и в примеч. А. Долинина к «Дару» (Набоков IV. С. 692).

**593.** После ст-ния в тексте романа: «Посвящено Георгию Чулкову». Стихи ритмически (белые пятистопные ямбы) и стилистически отсылают к циклу белых стихов А. Блока «Вольные мысли» (1907), который был посвящен Г. И. Чулкову (1879–1939). По наблюдению А. А. Долинина (Набоков IV. С. 694), здесь есть также неназванная параллель с белыми стихами В. Ходасевича из его книги «Путем зерна» (1920), особенно со ст-нием «Встреча»: «В час утренний у Santa Margherita / Я повстречал ее. Она стояла / На мостике, спиной к перилам. Пальцы / На сером камне, точно лепестки, / Легко лежали. Сжатые колени / Под белым платьем проступали слабо...».

**594.** Канонический перевод этой цитаты см. в: К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч. М., 1955. Т. 2. С. 145.

**595.** Дар, в начале главы 4 последние 2 строфы сонета, в конце — первые две -- Стихи 1979.

**596.** Дар, in continuo -- Стихи 1979. Написано онегинской строфой.

## СТИХОТВОРЕНИЕ ИЗ РОМАНА «LOOK AT THE HARLEQUINS!»

**597.** Вкл. в: Стихи 1979.

## ВАРИАНТЫ

**412\***. Юная мысль. 1916. № 7. См. примеч. 412.

**477\***. Hommage à Pouchkine 1837–1937 / Ed. by Z. Schakovskoy.  
Brussels, 1937. См. примеч. 477.



**Ст-ния из сборника Стихи 1979, опубликованные впервые в этом сборнике (и не вошедшие, по условиям авторского права, в наст. изд.):**

Рыцарь (1919)

«Когда, мечтательно склонившись у дверей...» (1920)

«В неволе я, в неволе я, в неволе!..» (1920)

Так будет (1920)

«Как было бы легко, как песенно, как дружно...» (1921)

«От взгляда, лепета, улыбки...» (1921)

«Ясноокий, как рыцарь из рати Христовой...» (1922)

«Как объясню? есть в памяти лучи...» (1922)

Finis (1923)

«Я видел смерть твою, но праздною мольбой...» (1923)

«Как затаю, что искони кочую...» (1923)

«В кастальском переулке есть лавчонка...» (1923)

«...И всё, что было, всё, что будет...» (1923)

Трамвай (1923)

Письма (1923)

Эфемеры (1923)

«И утро будет: песни, песни...» (1923)

«Глаза прикрою — и мгновенно...» (1923)

«В часы трудов счастливых и угрюмых...» (1923)

«Я странствую... Но как забыть? Свистящий...» (1923)

«Нет, бытие — не зыбкая загадка!..» (1923)

«Зовешь, — а в дереве гранатовом соенок...» (1923)

«Как бледная заря мой стих негромок...» (1923)

«Ночь свищет, и в пожары млечные...» (1923)

«Я помню в плюшевой оправе...» (1923)

«Санкт-Петербург — узорный иней...» (1923)

Автобус (1923)

«Милая, нежная — этих старинных...» (1923)

Об ангелах 2 («Представь: мы его встречаем...») (1924)

На рассвете (1924)

Вечер (1924)

Утро («Шум зари мне чудился, кипучий...») (1924)

Электричество (1925)

Облака («Насмешлива, медлительна, легка...») (1929)

«Перешел ты в новое жилище...» (На смерть Ю. И. Айхенвальда) (1929)

«Вздохнуть поглубже и, до плеч...» (1929)

«Шел поезд между скал в ущелии глубоком...» (1930)

«Иосиф Красный, — не Иосиф...» (1937)

«Вот это мы зовем луной...» (1942)

Neuralgia Intercostalis (1950)

«Средь этих листовниц и сосен...» (1965)

Пастернак (1970)

«Как любил я стихи Гумилева!..» (1972)

«В ничтожнейшем гиппопотаме...» (1973)

«Ах, угонят их в степь, Арлекинов моих...» (1974)

## АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

- Автомобиль в горах. *Сонет* («Как сон, летит дорога, и ребром...») 281  
«Аккорды, как волны и призрак разлуки...» 495  
Акрополь («Чей шаг за мной? Чей шелестит виссон?...») 234  
«Алмазно-крепкою стеною от меня...». *Из Руперта Брука* 507  
Альбатрос («Бывало, по зыбям скользят матросы...»)  
*Из Боглера* 369  
Ангелы (1—10) 134  
«Анютины-глазки, веселые-глазки...» (*Viola tricolor*) 79  
«Ах, что мучит тебя, горемыка...» (*La belle Dame sans Merci*  
(Из *John Keats*)) 172  
Аэроплан («Как поет он, как неожиданно...») 183  
Бабочка (*Vanessa antiopa*) («Бархатно-черная с теплым отливом  
сливы созревшей...») 160  
Барс («Пожаром яростного крапа...») 262  
«Бархатно-черная с теплым отливом сливы созревшей...»  
(Бабочка (*Vanessa antiopa*)) 160  
Бахчисарайский фонтан (Памяти Пушкина) («Он здесь однажды  
был. Вода едва журчит...») 232  
Башмачок («Ты его потеряла в траве замирающей...») 102  
«Бедное сердце до бледного дня...» 480  
Беженцы («Я объездил, о Боже, твой мир...») 236  
«Без надежд я ждал...» 478  
«Безвозвратная, вечно-родная...» 148  
«Безоблачная высь и тишина...» (*Сонет*) 58  
Безумец («В миру фотограф уличный, теперь же...») 225  
Белый рай («Рай — широкая, пустая...») 170  
«Бережно нес я к тебе это сердце прозрачное. Кто-то...» (*Сердце*)  
(Гексаметры, 3) 261  
Береза в Воронцовском парке  
(«Среди цветущих, огненных деревьев...») 92  
Березы («Стволы сквозь легкое, зеленое сиянье...») 166  
Берлинская весна («Нищетою необычной...») 303  
«Бессмертное счастье наше...» (*Родина*) 307  
Билет («На фабрике немецкой, вот сейчас...») 308  
«Благодарю тебя, отчизна...» 520  
«Блаженство мое, облака и блестящие воды...» 164  
«Блуждая по запущенному саду...» (*Стихи*) 290  
«Болота вязкие бессмыслицы певучей...» (*Поэту*) 86  
Большая Медведица («Был грозен волн полночный рев...») 97  
«Большие липы, шатаясь, пели...» 476  
«Будильнику на утро задаю...» (*Сновиденье*) 191  
Будущему читателю («Ты, светлый житель будущих веков...») 348  
«Будь со мной прозрачнее и проще...» 121  
«Бывало, в лазури бегут облака...» 492  
«Бывало, по зыбям скользят матросы...» (*Альбатрос*).

Из Боглера 369

- «Бывают ночи: только лягу...» (Расстрел) 186  
«Был грозен волн полночный рев...» (Большая Медведица) 97  
«Был день как день. Дремала память. Длилась...» (Был день как день) 219  
«Был крупный дождь. Лазурь и шире и живей...» 238  
«Была в тот день светлей и шире даль...» (Осень) 58  
«Было поздно, было скучно...». Из *Руперта Брука* 506  
«...Бювар с бумагою почтовой...» 517  
«В глазах рябило от резьбы...» (На озере) 263  
«В жизни чудес не ищи; есть мелочи — родинки жизни...» (Чудо) (Гексаметры, 1) 261  
В зверинце («Тут не звери — тут боги живут...») 80  
«В июле я видал роскошный отблеск рая...» 470  
«В каком раю впервые прожурчали...» 266  
«В канавы скрылся снег со склонов...» 518  
«В книге сказок помню я картину...» (Острова) 343  
«В листве березовой, осиновой...» (Первая любовь) 349  
«В листву узорчатую зыбко...» (На качелях) 106  
«В миру фотограф уличный, теперь же...» (Безумец) 225  
«В осенний день, блистая как стекло...» (Прелестная пора) 181  
«В переулке на скрипке играет слепой...» 245  
В пещере («Над Вифлеемом ночь застыла...») 298  
В поезде («Я выехал давно, и ветер неродной...») 83  
«В полдень послышался клюнувший ключ, и характерно...» 522  
«В полдневный час, ленивым летом...». Из *Руперта Брука* 499  
«В полнолунье, в гостинной пыльной и пышной...» 73  
«В поля, под сумеречным сводом...» (Крушение) 183  
«В последний раз лиясь листьями...» (Неправильные ямбы) 226  
В раю («Здравствуй, смерть! — и спутник крылатый...») 155  
В раю («Моя душа, за смертью дальней...») 198  
«В саду, где по ночам лучится и дрожит...» (Жук) 255  
«В снегах полуночной пустыни...» (Видение) 288  
«В стране бесстрастных рек, спускаясь по теченью...» (Пьяный корабль). Из *Рембо* 387  
«В те дни, дай Бог, от края и до краю...» (Годовщина) 188  
«В той чаще, где тысяча ягод...» (Памяти друга) 117  
«В ту ночь я только мог рыдать от наслажденья...» 487  
«В ходах ладьи — ямбический размер...»  
(Три шахматных сонета, 1) 286  
«В хрустальный шар заключены мы были...» 100  
В церкви («За дымкой ладана иконы на стене...») 465  
«В часы полуночи унылой...» (Ангел-Хранитель) (Ангелы, 10) 140  
В. Ш. («Если ветер судьбы, ради шутки...») 167  
«Вдали от берега, в мерцании ночном...» 97  
«Вдохновенье, розовое небо...» (Вечер на пустыре) 200  
«Вдохновенье — это сладострастье...» 162  
Великан («Я вылепил из снега великана...») 298  
«Великие, порою...» (Ленинград) 281  
«Великий выход на чужбину...» (Путь) 303  
Велосипедист («Мне снились полевые дали...») 161  
Верба («Колоколов напев узорный...») 115  
Вернулся я к своей любви забытой...» (Сонет) 56  
Вершина («Люблю я гору в шубе черной...») 221

- «Верь: вернутся на родину все...» (Песня) 276  
 «Весенний лес мне чудится. Постой...» (Сонет) 70  
 Весна («Взволнован мир весенним дуновеньем...») 122  
 Весна («Помчал на дачу паровоз...») 197  
 Весна («Ты снишься миру снова, снова...») 250  
 Весна («Улыбки, воробьи и брызги золотые...») 465  
 «Вечер дымчат и долог...» (Семь стихотворений, 4) 363  
 Вечер на пустыре («Вдохновенье, розовое небо...») 200  
 «Вечер тих. Я жду ответа...» 232  
 «Вечный ужас. Черные трясины...» 59  
 «Взволнован мир весенним дуновеньем...» (Весна) 122  
 «Взгляни на озеро: ни солнце, ни звезда...» (Озеро) 95  
 «Взмахнул Пегас могучей гривой...» (Пегас) 509  
 «Видели мы, нищие, как Мария дева...» (Павлины) 154  
 Видение («В снегах полуночной пустыни...») 288  
 «Виноград созрел, изваянья в аллеях синели...» 524  
 «Влезть на помост, облитый блеском...» 517  
 Влюбленность («Мы забываем, что влюбленность...») 526  
 «Во тьме в незамерзающую воду...» 521  
 Возвращение («Я всем вам говорю, о странники! Нежданный...») 157  
 Воздушный остров («Средь пустоты, над полем дальним...») 347  
 Волчонок («Один, в рождественскую ночь, скульпт...») 254  
 «Воркующею теплою шестая...» (Родине) 269  
 Воскресение мертвых («Нам, потонувшим мореходам...») 304  
 «Воспоминанье, острый луч...» (Ut pictura poesis) 306  
 «Восходит благовоние сырое...» (На Голгофе) 164  
 «Вот дачный сад, где счастливы мы были...» 91  
 «Вот комната. Еще полуживая...» (Комната) 195  
 «Вот листопад. Бесплотным перезвоном...» (Осень) 159  
 «Вот лунный луч блеснул на одеяле...» (In memotiam). Из Теннисона 369  
 «Все окна открыв, опустив занавески...» 72  
 «Всё загудело, всё блеснуло...» (Моя весна) 239  
 «Всё, от чего оно сжимается...» (Семь стихотворений, 3) 362  
 «Всё реже, реже влажный звон...» (После грозы) 93  
 «Всё, что я видел, но забыл...» (La morte de Arthur)  
 (Капли красок, 10) 127  
 «Всплывает берег на заре...» (Стамбул) 114  
 Встреча («Госка, и тайна, и услада...») 275  
 «Вы будете (как иногда...)...» (О правителях) 215  
 «Вы снова близко, реющие тени...» (Посвящение к «Фаусту»).  
 Из Гете 390  
 «Выйдут ангелы навстречу...» (Смерть) 124  
 Вьюга («Тень за тенью бежит — не догонит...») 118  
 «Где ты, апреля ветерок...» (Яблони) (Капли красок, 6) 126  
 Гексаметры («Смерть, — это утренний луч, пробужденье весеннее.  
 Верю...») 262  
 Гексаметры (1—4) 261  
 Герб («Лишь отошла земля родная...») 220  
 «Гиацинты запахом страстным...» 484  
 Глаза («Под тонкою луной, в стране далекой, древней...») 75  
 «Гляди: вон там, на той скале, — Пегас!» (Пегас) 254  
 «Гнедые, грузные, по зелени сырой...» (Кони) 170  
 Годовщина («В те дни, дай Бог, от краю и до краю...») 188

- «Гордо и ясно ты умер, — умер, как Муза учила...» (Памяти Гумилева) (Гексаметры, 4) 261
- «Горе сегодня и глубже и проще...» 484
- Гость («Хоть притупилась шпага, и сутулей...») 187
- Грибы («У входа в парк, в узорах летних дней...») 257
- «Гроза растаяла. Небо ясно...» 57
- Гроза («Стоишь ли, смотришь ли с балкона...») 274
- «Давно ль — по набережной снежной...» 244
- «Дай руки, в путь! Найдем среди планет...» (Страна стихов) 295
- «Два дерева... одно — развесистый орешник...» (Орешник и береза) 92
- Два корабля («У мирной пристани, блестя на солнце юга...») 89
- Два мгновенья («Хочет гул людской и смех его так груб...») 493
- Движенья («Искусственное тел передвиженья...») 149
- «Движенья рифм и танцовщиц крылатых...» (Три шахматных сонета, 2) 287
- Декабрьская ночь («Однажды в детстве, после школы...»).  
*Из Альфреда де Мюссе* 381
- «День за днем, цветущий и летучий...» 268
- Детство («При звуках, некогда подслушанных минувшим...») 130
- «Дия, мой бедный цветок, поверь ты случайному другу!...»  
(Подражание древним) 159
- «Для состязаний быстролетных...» (Лыжный прыжок) 305
- «Для странствия ночного мне не надо...» 346
- «Довольно и прости; ответа мне не надо...» 495
- «Дождь пролетел и сторел на лету...» (Дождь пролетел) 56
- «Дом новый, глухо знойный день...» (Наполеон в изгнании)  
(Капли красок, 17) 129
- «Домик мой, на склоне, в Назарете...» (Легенда о старухе,  
искавшей плотника) 255
- Домой («На мызу, милые! Ямщик...») 165
- «Дорога в темноте печалится лесная...» (Лес) 156
- «Дрожащая, в змеином платье бальном...» (Подруга боксера) 281
- «Дрожит хризантема, грустя...» 476
- «Дыханье веера, цветы...» (Кимоно) (Капли красок, 13) 128
- «Единый путь — и множество дорог...» (Петербург. Три сонета, 1) 284
- «Ее душа, как свет необычайный...» 71
- «Если ветер судьбы, ради шутки...» (В. Ш.) 167
- «Если вьется мой стих и летит и трепещет...» 101
- «Если, бывало, проводишь весь день...» 496
- «Есть в одиночестве свобода...» 62
- «Есть сон. Он повторяется, как томный...»  
(Семь стихотворений, 6) 364
- «Еще безмолвствую — и крепну я в тиши...» (Еще безмолвствую) 113
- «Еще темно. В оркестре стеснены...» (Представление) 351
- «Жгли англичане, жгли мою подругу...» (La bonne Logaine) 188
- «Жду на твоём пороге, в грядущем грезой рея...» 497
- «Жду рыцаря, жду юного Ивэйна...» (Невеста рыцаря) 253
- Жемчуг («Посланный мудрейшим властелином...») 265
- «Живи, звучи, не поминай о чуде...» 263
- «Живи. Не жалуйся, не числи...» 86
- Жизнь («Шла мимо Жизнь; но ни лохмотий...») 177
- Жук («В саду, где по ночам лучится и дрожит...») 255
- Журавли («Шумела роща золотая...») 99
- «За громадные годы изгнанья...» (Скитальцы) 289

- «За дымкой ладана иконы на стене...» (В церкви) 465  
«За лесом улыбкой прощальной...» 467  
«За полночь потушив огонь мой запоздалый...» 99  
«За туманами плыли туманы...» (На смерть Блока, 1) 66  
«Забудешь ты меня, как эту ночь забудешь...» 94  
«Закатные люблю я облака...» (Облака, 2) 169  
«Звени, мой верный стих, витай, воспомяненье!...» 87  
«Звон, и радугой росистой...» 121  
«Здесь все так плоско, так непрочно...» 521  
«Здравствуй, смерть! — и спутник крылатый...» (В раю) 155  
«Зеленым юрким внучатам...» (Перо) 174  
Зеркало («Ясное, гладкое зеркало, утром, по улице длинной...») 171  
Зима («На опушке леса ели небольшие...») 477  
Зима («Только елочки упрямы...») 122  
«Зимнею лунною ночью молчанье...» (Зимняя ночь) 230  
«Зимы ли серые смыли...» (Семь стихотворений, 7) 364  
Знаешь веру мою? («Слышишь иволгу в сердце моем шелестящем?..») 248  
«Знаешь, знаешь, обморочно-пьяно...» (Сон) 265  
«Зовут влюбленного гвоздики...» 467  
«Золотился листвы изумруд...» (Осень) 472  
«И в Божий рай пришедшие с земли...» 264  
«И в утро свежее любви...» (Joie de vivre) (Капли красок, 2) 124  
«И видел я: стемнели неба своды...» 95  
«И вот, как на колесиках, вкатывается ко мне некто...» (Слава) 208  
«И на берег весенний пришли мы назад...» (Романс) 151  
«...и по углам наглеют ночью...» 514  
«...и снова заряжаешь ствол...» 515  
«И снова, как в милые годы...» (Осень) 119  
«И утро будет: песни, песни...» 268  
Ивану Бунину («Как воды гор твой голос горд и чист...») 68  
«Ивы тихо плакали... В озеро туманное...» 489  
«Играют камни алой краской...» (Сон) 483  
Из «Гамлета» (1—3). Из Шекспира  
«Из блеска в тень, и в блеск из тени...» 62  
«Из дремы Вечности туманной...». Из Руперта Брука 502  
Из калмбрудовой поэмы «Ночное путешествие» 353  
«Из комнаты в сени свеча переходит...» (Поэты) 205  
«Из мира уползли — и ноют на луне...» 278  
«Из Московии суровой...» (Петр в Голландии) 111  
«Из пламени Господь их сотворил, и встали...» (Серафимы) (Ангелы, 2) 135  
«Из темноты, для глаз всегда неожиданно...» 524  
Изгнанье («Я занят странными мечтами...») 300  
«Инок ласковый, мы реем...» (Ласточки) 152  
«Искусственное тел передвижение...» (Движение) 149  
Исход («Муза, возгласом, со вздохом шумным...») 294  
«Итак, вы русский? Я впервые...» (Университетская поэма) 310  
Итальянке («К тебе, в минувшее, к иной, чудесной доле...») 163  
«Их душу радости окрасили, печали...». Из Руперта Брука 502  
«Их сонмы облекли полночный синий свод...» 501  
«Ища сокровищ позабытых...» (Кирпичи) 179

- К кн. С. М. Качурину («Качурин, твой совет я принял...») 217  
 К музе («Я помню твой приход: растущий звон...») 199  
 «К нам в городок приехал в гости...» (Тень) 192  
 «К одному исполинскому оку...» (Око) 226  
 К родине («Ночь дана, чтоб думать и курить...») 288  
 К России («Мою ладонь географ строгий...») 344  
 К России («Отвяжись, я тебя умоляю...») 207  
 К свободе («Ты медленно бредешь по улицам бессонным...») 220  
 «К тебе, в минувшее, к иной, чудесной доле...» (Итальянке) 163  
 «Каждый помнит какую-то русскую реку...» (Река) 270  
 Казак («Я ел мясо лося, млея...») 512  
 «Как буду в этой же карете...» 516  
 «Как весною мой север призывает!..» (Родина) 238  
 «Как воды гор твой голос горд и чист...» (Ивану Бунину) 68  
 «Как губы горят!.. Доканчиваем речи...» 486  
 «Как долго спит, о струнный Струве...» 511  
 «Как жадно, затая дыханье...» 277  
 «Как над стихами силы средней...» (Семь стихотворений, 1) 361  
 «Как пахнет липой и сиренью...» 93  
 «Как поет он, как неожиданно...» (Аэроплан) 183  
 «Как полночь пробьет, отодвинь занавески...» (Наша звезда) 485  
 «Как призрак я иду, и реет в тишине...» (Снежная ночь) 253  
 «Как светозарно день взошел!..» (Утро) 108  
 «Как сон, летит дорога, и ребром...» (Автомобиль в горах. Сонет) 281  
 «Как только лунные протянутся лучи...» (Ночь) 171  
 «Как ты, — я с отроческих дней...» 107  
 «Как часто, как часто я в поезде скором...» 85  
 Как я люблю тебя («Такой зеленый, серый, то есть...») 201  
 «Каким бы полотном батальным не являлась...» (Каким бы полотном) 215  
 «Какое б счастье или горе...» (Семь стихотворений, 5) 363  
 «Какое сделал я дурное дело...» (Какое сделал я дурной дело) 227  
 Капли красок (1—17) 124  
 «Карлик безрукий во фраке...» 163  
 «Картина в хрестоматии: босой...» (Толстой) 341  
 «Катится небо, дыша и блистая...» 118  
 «Качурин, твой совет я принял...» (К кн. С. М. Качурину) 217  
 Каштаны («Цветущие каштаны, словно храмы...») 150  
 Кинематограф («Люблю я световые балаганы...») 344  
 Кипарисы («Склонясь над чашею прозрачной...») 113  
 «Кипит, и пенится, и бродит...» (Плевицкой) 299  
 Кирпичи («Ища сокровищ позабытых...») 179  
 «Ко мне, туманная Леила!..» (Санкт-Петербург) 293  
 «Когда в приморском городке...» (Тихий шум) 178  
 «Когда весеннее мечтанье...» 180  
 «Когда захочешь, я уйду...» 71  
 «Когда из родины звенит нам...» (Родина) 264  
 «Когда моя рука во тьме твою встречает...» 491  
 «Когда мы встали пред врагом...» (Крестоносцы) (Капли красок, 12) 128  
 «Когда на склоне лет и в час вечерний, чарам...» (Сонет).  
*Из Ронсара* 368  
 «Когда с небес на этот берег дикий...» 88  
 «Когда я по лестнице алмазной...» 273

- «Когда, погаснув, как зарницы...». Из Руперта Брука 500  
«Когда, туманные, мы встретились впервые...» 68  
«Когда-то чудо видел я...» (Вдохновенье) (Капли красок, 9) 127  
«Колоколов напев узорный...» (Вербя) 115  
Комната («Вот комната. Еще полуживая...») 195  
Кони («Гнедые, грузные, по зелени сырой...») 170  
Контрасты («Я плакал без горя; ты вдаль загляделась...») 493  
Конькобежец («Плясать на льду учился он у музы...») 299  
Костер («На сумрачной чужбине, в чаще...») 296  
«Красота! Красота! В ней таинственно слиты...» 490  
«Круглогривый, тяжелый, суконцем подбитый...» (Шахматный конь) 309  
«Кружитесь, падайте...» (Осенняя пляска) 102  
Крушение («В поля, под сумеречным сводом...») 183  
Крым («Назло неистовым тревогам...») 141  
«Кто выйдет поутру? Кто спелый плод подметит...» 61  
«Кто золото в чаще рассыпает...» (Летний день) 497  
«Кто меня повезет...» 154  
Кубы («Сложим крылья наших видений...») 280  
«Кузнечик кузнечик звучно откликается...» 479  
Ласка («Ласкаясь к лазури, прозрачно алая...») 471  
Ласточка («Однажды мы под вечер оба...») 521  
Ласточки («Инок ласковый, мы реем...») 152  
Легенда о старухе, искавшей плотника («Домик мой, на склоне, в Назарете...») 255  
Ленинград («Великие, порою...») 281  
Лес («Дорога в темноте печалится лесная...») 156  
Лестница («Ты — лестница в большом туманном доме. Ты...») 93  
Летний день («Кто золото в чаще рассыпает...») 497  
Летняя ночь («Милая, хочешь за темными опушками...») 469  
Лилит («Я умер. Яворы и ставни...») 221  
«Лиловый дым над снегом крыши...» 477  
«Лишь отошла земля родная...» (Герб) 220  
«Лишь это вспомните, узнав, что я убит...». Из Руперта Брука 502  
Лунная греза («Проходит лунный луч. В покоях опустело...») 485  
Лунная ночь («Поляны окропил холодный свет луны...») 96  
Лунный свет («Ты — в дремоте любви; я целую глаза...») 486  
Лыжный прыжок («Для состязаний быстролетных...») 305  
«Люби лишь то, что редкостно и мнимо...» 522  
«Любимы ангелами всеми...» (Рай) 302  
«Люблю в струящейся дремоте...» 150  
«Люблю я гору в шубе черной...» (Вершина) 221  
«Люблю я световые балаганы...» (Кинематограф) 344  
«Людам ты скажешь: настало...» 176  
Майская ночь. Из Альфреда де Мюссе 376  
«Маркиза маленькая знает...» 123  
Мать («Смеркается. Казнен. С Голгофы отвалив...») 196  
«Мерцательные тикают пружинки...» 156  
«Мечтал я о тебе так часто, так давно...» 69  
«Милая, хочешь за темными опушками...» (Летняя ночь) 469  
«Минуты есть: "Не может быть, — бормочешь..."» 364  
«Мне снились полевые дали...» (Велосипедист) 161  
«Мне снится: карлик я. Меня скрывают травы...» 247  
«Мне странно увидеть оглядкой от разлуки...» 496



- «Мне так просто и радостно снилось...» 116  
«Мне чудится в Рождественское утро...» (Петербург) 258  
«Мои дивными деревьями хранимый...». Из *Руперта Брука* 504  
«Мой друг, я искренно жалею...» 122  
«Мой календарь полуопалый...» (Рождество) 79  
«Мой конь летит вольней мечты...» (Осенняя песня) 475  
Молитва («Пыланье свеч то выявит морщины...») 292  
«Молчи, не вспенивай души...» 76  
«...монументальное исследование Андрея Белого о ритмах...» 522  
«Мою ладонь географ строгий...» (К России) 344  
Моя весна («Все загудело, все блеснуло...») 239  
«Моя душа, за смертью дальней...» (В раю) 198  
«Муза, возгласом, со вздохом шумным...» (Исход) 294  
«Муза меня не винит: в науке о трепетах жизни...» (Biology) 167  
«Мы вернемся, весна обещала...» 247  
«Мы забываем, что влюбленность...» (Влюбленность) 526  
«Мы пели в поле, и луны...» (Былинки) (Капли красок, 4) 125  
«Мы с тобою так верили в связь бытия...» (Мы с тобою так верили) 205  
«Мы столпились в туманной церковенке...» 175  
«Мятежными любясь облаками...» 57  
«Мяч закатился мой под нянин...» 514  
«На белой площади поэт...» (Прохожий с елкой) 192  
На Голгофе («Восходит благовоние сырое...») 164  
На закате («На закате у той же скамьи...») 203  
На качелях («В листву узорчатую зыбко...») 106  
«На кладбище — солнце, сирень и березки...» (На сельском кладбище) 79  
«На лодке выцветшей — вдвоем...» (Речная лилия) (Капли красок, 7) 126  
«На мызу, милые! Ямщик...» (Домой) 165  
На озере («В глазах рябило от резьбы...») 263  
«На опушке леса ели небольшие...» (Зима) 477  
«На пляже в полдень лиловатый...» (Снимок) 182  
«На полотнищах, озаренных...» (Стансы о коне) 346  
На сельском кладбище («На кладбище — солнце, сирень и березки...») 79  
На смерть Блока (1—2) 66  
«На солнце золотом сверкает дождь летучий...» (Облака, 1) 168  
«На сумрачной чужбине, в чаще...» (Костер) 296  
«На сумрачном вокзале по ночам...» (Экспресс) 84  
«На фабрике немецкой, вот сейчас...» (Билет) 308  
«На черный бархат лист кленовый...» 64  
«На чьем плече, как голубь, спит луна...» (Начала) (Ангелы, 8) 139  
«На ярком облаке покоясь...» 108  
«Над Вифлеемом ночь застыла...» (В пещере) 298  
«Над землею стоит голубеющий пар...» 147  
«Назло неистовым тревогам...» (Крым) 141  
«Нам, потонувшим мореходам...» (Воскресение мертвых) 304  
«Нас бархатная ночь окутала теньями...» 482  
«Нас мало — юных, окрыленных...» 65  
Наша звезда («Как полночь пробьет, отодвинь занавески...») 485  
«Не все ли равно мне — рабой ли, наемницей...» (Россия) 112  
«Не надо лилий мне, невинных белых лилий...» 496  
«Не предаю пустому гневу...» (России) 237

- «Не то кровать, не то скамья...» (Номер в гостинице) 220  
 «Небрежно он сорвал и бросил незабудку...» 489  
 «Небритый, смеющийся, бледный...» (Расстрел) 336  
 Невеста рыцаря («Жду рыцаря, жду юного Ивэйна...») 253  
 «Неземной рассвет блеском облил...» (Об ангелах, 1) 283  
 Неоконченный черновик («Поэт, печалью промышляя...») 224  
 Неправильные ямбы («В последний раз ляжь листьями...») 226  
 «Нередко на углу, под серою стеной...» (Художник-нищий) 168  
 «...Ни шапки надевать не надо...» 518  
 «Ничем не смоешь подписи косою...» (Стансы) 291  
 «Нищетою необычной...» (Берлинская весна) 303  
 Новый год («"Скорей, — мы говорим, — скорей!"...») 107  
 Номер в гостинице («Не то кровать, не то скамья...») 220  
 Ночные бабочки («Я помню вечера в начале листопада...») 81  
 Ночь («Как только лунные протянутся лучи...») 171  
 Ночь («Уж догорел лучистый край...») 246  
 «Ночь бродит по полям и каждую былинку...» 248  
 «Ночь в саду, послушная волненью...» (Сирень) 189  
 «Ночь дана, чтоб думать и курить...» (К родине) 288  
 «Ночь. И с тонким чешуйчатым шумом...» (У камина) 235  
 «Ночь распелась над Римом сытым...» (Скиф) 109  
 «О, встречи дивное волненье!...» 110  
 «О лучезарных запою...» (Ангелы, 1) 134  
 «О, как ты рвешься в путь крылатый...» 273  
 «О любовь, ты светла и крылата...» 74  
 «О нет, мне жизнь не надоела...» 522  
 «О ночь, я твой! Все злое позабыто...» 90  
 «О, первого велосипеда...» 519  
 О правителях («Вы будете (как иногда...)...») 215  
 «О светлый голос, чуть печальный...» 72  
 «О чем я думаю? О падающих звездах...» 95  
 «О, этот звук! По снегу...» (Снег) 223  
 Об ангелах (1—2) 283  
 «Обезьяну в сарафане...» 162  
 Облака (1—2)  
 Овцы («Тихо проходит...»). Из *о'Салливэна* 367  
 «Один, в рождественскую ночь, скульпт...» (Волчонок) 254  
 «Однажды в детстве, после школы...» (Декабрьская ночь). Из *Мюссе* 381  
 «Однажды мы под вечер оба...» (Ласточка) 521  
 «Однажды ночью подоконник...» (Сон) 301  
 «Одни картины да киоты...» 520  
 Озеро («Взгляни на озеро: ни солнце, ни звезда...») 95  
 Окно («Соседний дом в сиренях ночи тонет...») 351  
 Око («К одному исполинскому оку...») 226  
 «Окутали город осенние боги...» 488  
 Олень («Слова — мучительные трубы...») 278  
 «Он горстью мягкой земли...» (Всепрощающий) (Капли красок, 1) 124  
 «Он здесь однажды был. Вода едва журчит...» (Бахчисарайский фонтан (Памяти Пушкина)) 232  
 «Он знал: отрада и тревога...» (Поэт) 158  
 «Он на трясине был построен...» (Петербург) 249  
 «Он отвернулся от холста...» (Художник) (Капли красок, 5) 125  
 «Он первый подошел к барьеру; очи...» (Смерть Пушкина) 282

- «Она давно ушла, она давно забыла...» 153
- «Они над твердью голубой...» (Херувимы) (Ангелы, 3) 135
- Орешник и береза («Два дерева... одно — развесистый орешник...») 92
- Оса («Твой панцирь, желтый и блестящий...») 340
- Осеннее («То дремлют, то шумя несутся к облакам...») 473
- Осенние листья («Стою я на крыльце. Напротив обитает...») 246
- «Осенний день, как старая вакханка...» 475
- Осенняя песня («Мой конь летит вольней мечты...») 475
- Осенняя пляска («Кружитесь, падайте...») 102
- Осень («Была в тот день светлей и шире даль...») 58
- Осень («Вот листопад. Бесплотным перезвоном...») 159
- Осень («Золотился листвы изумруд...») 472
- Осень («И снова, как в милые годы...») 119
- Острова («В книге сказок помню я картину...») 343
- «...от валуна...» 519
- «От счастья влюбленному не спится...» (От счастья влюбленному не спится) 178
- «Отведите, но только не бросьте...» (Парижская поэма) 211
- «Отвяжись, я тебя умоляю...» (К России) 207
- «Отдалась необычайно...» 286
- «Откуда прилетел? Каким ты дышишь горем?...» 295
- Отрывок («Твоих одежд воздушных я коснулся...») 151
- Павлины («Видели мы, нищие, как Мария дева...») 154
- Паломник («Хозяин звезд, и ветра зычного...») 190
- Памяти друга («В той чаше, где тысяча ягод...») 117
- Панихида («Сколько могил...») 234
- Парижская поэма («Отведите, но только не бросьте...») 211
- Пасха («Сверкал на солнце гранит дворцов...») 466
- Пасха («Я вижу облако сияющее, крышу...») 76
- «Пахнуло с восходом огромной луны...» (Русалка) 115
- Пегас («Взмахнул Пегас могучей гривой...») 509
- Пегас («Гляди: вон там, на той скале, — Пегас!») 254
- Первая любовь («В листве березовой, осиновой...») 349
- Перо («Зелененьким юрким внучатам...») 174
- Песня («Верь: вернутся на родину все...») 276
- Петербург («Мне чудится в Рождественское утро...») 258
- Петербург («Он на трясине был построен...») 249
- Петербург («Так вот он, прежний чародей...») 240
- Петербург. Три сонета (1—3) 284
- Петр в Голландии («Из Московии суровой...») 111
- «Печали мои вечно молоды...» 468
- «Печаль не сильна, не горда...» 469
- «Печальная звезда, бессонных солнце! Ты...» (Солнце бессонных. Sun of the Sleepless (Из Байрона)) 96
- Пир («Так лучезарна жизнь, и радостей так много!...») 169
- Плевицкой («Кипит, и пенится, и бродит...») 299
- «Плыви, бессонница, плыви, воспоминанье...» (Россия) 233
- «Плывут поля, болота мимо...» 55
- «Плясать на льду учился он у музы...» (Конькобежец) 299
- «По водам траурным и лунным...» (Тристан, 1) 77
- «По кругам немым, к белоснежной вершине земли...». Из Руперта Брука 507
- «По ночам, — во мгле лазурной...» (Пчела) 110

- «По саду бродишь и думаешь ты...» 114  
«По четвергам старик приходит...» 516  
«Поведал ангел мне: порочная жена...» (Силы) (Ангелы, 6) 137  
«Повеяло прошедшим... Я живу...» (Петербург. Три сонета, 3) 285  
«Под вечною дрожью осин у реки...» (Colloque sentimental) 480  
«...под лестницею винтовой...» 515  
«Под окнами полозья...» (Святки) 185  
«Под окном моим, ночью, на улице...» (Россия) 251  
«Под тонкою луной, в стране далекой, древней...» (Глаза) 75  
Подражание древним («Дия, мой бедный цветок, поверь ты случайному другу!...») 159  
Подруга боксера («Дрожащая, в змеином платье бальном...») 281  
«...Пожалуйте встать. Гуляет...» 516  
«Пожаром яростного крапа...» (Барс) 262  
«Позволь мечтать... Ты первое страданье...» 70  
«Пока в тумане страшных дней...» (Русь) 176  
«Поляны окропил холодный свет луны...» (Лунная ночь) 96  
Помплимусу («Прекрасный плод, увесистый и гладкий...») 353  
«Помчал на дачу паровоз...» (Весна) 197  
Посвящение к «Фаусту» («Вы снова близко, реющие тени...»).  
*Из Гете* 390  
«Посланный мудрейшим властелином...» (Жемчуг) 265  
После грозы («Все реже, реже влажный звон...») 93  
«Поставь на правый путь. Сомнения развеи... (Архангелы) (Ангелы, 9) 139  
«Почти недвижна наша лодка...» 466  
Поэт («Он знал: отрада и тревога...») («158  
Поэт («Среди обугленных развалин...») 98  
Поэт («Являюсь в черный день родной моей земли...») 236  
«Поэт, печалью промышляя...» (Неоконченный черновик) 224  
Поэту («Болота вязкие бессмыслицы певучей...») 86  
Поэты («Из комнаты в сени свеча переходит...») 205  
Поэты («Что ж! В годы грохота и смрада...») 166  
«Пою. Где ангелы? В разлуке...» 300  
Представление («Еще темно. В оркестре стеснены...») 351  
«Представь: мы его встречаем...» (Об ангелах, 2) 283  
«Прекрасный плод, увесистый и гладкий...» (Помплимусу) 353  
Прелестная пора («В осенний день, блистая как стекло...») 181  
«При звуках, некогда подслушанных минувшим...» (Детство) 130  
«При луне, когда косую крышу...» 290  
«...при музыке миниатюрной...» 515  
«Придавлен душною дремотой...» 61  
Пробуждение («Спросонья вслушиваюсь в звон...») 352  
Прогулка с J.-J. Rousseau («Сад Le Nôtre'a. В лазурных прудах...») 230  
«Простая песня, грусть простая...» 117  
«Проходит лунный луч. В покоях опустело...» (Лунная греза) 485  
Прохожий с елкой («На белой площади поэт...») 192  
«Прощай же, книга! Для видений...» 525  
«Пускай все горестней и глуше...» 75  
«Пустяк, — названье, мачты, план — и следом...» 307  
Путь («Великий выход на чужбину...») 303  
«Пушкин — радуга по всей земле...» (На смерть Блока, 2) 67  
Пчела («По ночам, — во мгле лазурной...») 110

- «Пыланье свеч то выявит морщины...» (Молитва) 292
- Пьяный корабль («В стране бесстрастных рек, спускаясь по течению...»). Из Рембо 387
- Пьяный рыцарь («С тонким псом и смуглым кубком...») 173
- «Разбились облака. Алмазы дождевые...» 116
- Разговор 337
- «Разгорается высь...» 100
- Размеры («Что хочешь ты? Чтоб стих твой говорил...») 260
- «Разнообразное сложенье...» 513
- Рай («Любимы ангелами всеми...») 302
- «Рай — широкая, пустая...» (Белый рай) 170
- «Раскинула осень свои паутины...» 477
- Расстрел («Бывают ночи: только лягу...») 186
- Расстрел («Небритый, смеющийся, бледный...») 336
- Революция («Я слово длинное с нерусским окончанием...») 231
- Река («Каждый помнит какую-то русскую реку...») 270
- Родина («Бессмертное счастье наше...») 307
- Родина («Как весной мой север призывает!...») 238
- Родина («Когда из родины звенит нам...») 264
- Родина («Воркующею теплотой шестая...») 269
- Рождество («Мой календарь полуопалый...») 79
- Рождество («Свеча прозрачная мигает...») 279
- Романс («И на берег весенний пришли мы назад...») 151
- России («Не предаюсь пустому гневу...») 237
- Россия («Не все ли равно мне — рабой ли, наемницей...») 112
- Россия («Плыви, бессонница, плыви, воспоминанье...») 233
- Россия («Под окном моим, ночью, на улице...») 251
- Русалка («Пахнуло с восходом огромной луны...») 115
- Русалка 357
- Русь («Пока в тумане страшных дней...») 176
- «С восьми до полночи таюсь я в будке тесной...» (Суфлер) 251
- «С дождем и ветром борются березы...» 58
- «С серого севера...» (С серого севера) 227
- «С тонким псом и смуглым кубком...» (Пьяный рыцарь) 173
- «Сад Le Nôtre'a. В лазурных прудах...» (Прогулка с J.-J. Rousseau) 230
- «Садом шел Христос с учениками...» 65
- «Сам треугольный, — двукрылый, безногий...» 357
- Санкт-Петербург («Ко мне, туманная Леила!...») 293
- «Сверкал на солнце гранит дворцов...» (Пасха) 466
- «Свет пасмурный земли...» (Out of the Strong, Sweetness!).  
Из о'Салливэна 368
- «Свеча прозрачная мигает...» (Рождество) 279
- Святки («Под окнами полозья...») 185
- Семь стихотворений (1—7) 361
- «...синее, синего синей...» 519
- Сирень («Ночь в саду, послушная волненью...») 189
- Скитальцы («За громадные годы изгнания...») 289
- Скиф («Ночь расплелась над Римом сытым...») 109
- «Склонясь над чашею прозрачной...» (Кипарисы) 113
- «Скользнув по стоптанной траве...» (Аэроплан)  
(Капли красок, 16) 129
- «Сколько могил...» (Панихида) 234
- «"Скорей, — мы говорим, — скорей!"...» (Новый год) 107

- Слава («И вот, как на колесиках, вкатывается ко мне некто...») 208  
 «Слезы отри и послушай: в солнечный полдень старый...» (Очки Иосифа) (Гексаметры, 2) 261  
 «Слова — мучительные трубы...» (Олень) 278  
 «Сложим крылья наших видений...» (Кубы) 280  
 «Слоняюсь переулками без цели...» 194  
 «Слышишь иволгу в сердце моем шелестящем?...» (Знаешь веру мою?) 248  
 «Смеется краска, смеется линия...» 468  
 «Смеркается. Казнен. С Голгофы отвалив...» (Мать) 196  
 Смерть («Выйдут ангелы навстречу...») 124  
 Смерть («Утихнет жизни рокот жадный...») 293  
 Смерть Пушкина («Он первый подошел к барьеру; очи...») 282  
 «Смерть, — это утренний луч, пробуждение весеннее. Верю...» (Гексаметры) 262  
 «Смех и музыка изгнаны. Страшен...» (Ульдаборг (перевод с зoorландского)) 350  
 Снег («О, этот звук! По снегу...») 223  
 Снежная ночь («Как призрак я иду, и реет в тишине...») 253  
 Снимок («На пляже в полдень лиловатый...») 182  
 Сновиденье («Будильнику на утро задаю...») 191  
 Сны («Странствуя, ночуя у чужих...») 194  
 «Солнечно-нежные губки...» 493  
 Солнце бессонных. Sun of the Sleepless (Из Байрона) («Печальная звезда, бессонных солнце! Ты...») 96  
 Сон на Акрополе («Я эти сны люблю и ненавижу...») 144  
 Сон («Знаешь, знаешь, обморочно-пьяно...») 265  
 Сон («Играют камни алой краской...») 483  
 Сон («Однажды ночью подоконник...») 301  
 Сонет («Безоблачная высь и тишина...») 58  
 Сонет («Вернулся я к своей любви забытой...») 56  
 Сонет («Весенний лес мне чудится. Постой...») 70  
 Сонет («Когда на склоне лет и в час вечерний, чарам...»).  
*Из Ронсара* 368  
 «Сонет мой за обман века бы осудили...» (Сонет XVII).  
*Из Шекспира* 370  
 «Сорок три или четыре года...» 364  
 «Соседний дом в сиренях ночи тонет...» (Окно) 351  
 «Спешу я, утомясь, к целительной постели...» (Сонет XXVII).  
*Из Шекспира* 370  
 «Спросонья вслушиваюсь в звон...» (Пробуждение) 352  
 «Среди вельмож времен Елизаветы...» (Шекспир) 296  
 «Среди обугленных развалин...» (Поэт) 98  
 «Среди цветущих, огненных дерев...» (Береза в Воронцовском парке) 92  
 «Средь пустоты, над полем дальним...» (Воздушный остров) 347  
 Стамбул («Всплывает берег на заре...») 114  
 Стансы о коне («На полотнищах, озаренных...») 346  
 Стансы («Ничем не смоешь подписи косой...») 291  
 «Стволы сквозь легкое, зеленое сиянье...» (Березы) 166  
 Стихи («Блуждая по запущенному саду...») 290  
 «Стоишь ли, смотришь ли с балкона...» (Гроза) 274  
 «Столбов однообразных, придорожных...» (Телеграфные столбы) 149  
 Столице («Цепи огней желтовато-лиловых...») 481

- «Сторожевые кипарисы...» 103
- «Стою я на крыльце. Напротив обитает...» (Осенние листья) 246
- «Стоял он на скале высокой, заостренной...» (Престолы)  
(Ангелы, 4) 136
- Страна стихов («Дай руки, в путь! Найдем среди планет...») 295
- Странствия («Ты много странствовал. Рассказ холодный твой...») 146
- «Странствуя, ночуя у чужих...» (Сны) 194
- «Сутулится на стуле...» (Формула) 224
- Суфлер («С восьми до полночи таюсь я в будке тесной...») 251
- Счастье («Я знаю: пройден путь разлуки и ненастья...») 466
- «Сядь поближе ко мне. Мы припомним с тобой...» 494
- Тайная Вечера («Час задумчивый строгого ужина...») 152
- «Так вот он, прежний чародей...» (Петербург) 240
- «...так впечатление былое...» 517
- «Так лучезарна жизнь, и радостей так много!...» (Пир) 169
- «— Такого нет мошенника второго...» 512
- «Такой зеленый, серый, то есть...» (Как я люблю тебя) 201
- «Там, — говорят, — бои, гроза...» (Dècadence) (Капли красок, 11) 127
- «Твоих одежд воздушных я коснулся...» (Отрывок) 151
- «Твой крест печальный — красота...» (Meretrix) (Капли красок, 14) 128
- «Твой панцирь, желтый и блестящий...» (Оса) 340
- «Тебя, тебя одну, любить я обещаю...» 472
- Телеграфные столбы («Столбов однообразных, придорожных...») 149
- «Темно-синие обои...» 55
- «Тень за тенью бежит — не догонит...» (Вьюга) 118
- Тень («К нам в городок приехал в гости...») 192
- «Терзаем я утраченными днями...» (Петербург. Три сонета, 2) 285
- Тихая осень («У самого крыльца обрызгала мне плечи...») 237
- Тихий шум («Когда в приморском городке...») 178
- «Тихо проходит...» (Овцы). Из *о'Салливэна* 367
- «Тихонько рыдая...» (Цветные стекла) 473
- «Тише и тише танцую...» 478
- «То дремлют, то шумя несутся к облакам...» (Осеннее) 473
- Толстой («Картина в хрестоматии: босой...») 341
- «Только елочки упрямы...» (Зима) 122
- «Торопя этой жизни развязку...» (L'Inconnue de la Seine) 203
- «Тоска, и тайна, и услада...» (Встреча) 275
- «Тоскуя в мире, как в аду...» (Достоевский) (Капли красок, 15) 129
- Три шахматных сонета (1—3) 286
- Тристан (1—2) 77
- «Троянские поправ развалины, в чертог...». Из *Руперта Брука* 503
- «Туман ночного сна, налет истомы пыльной...» 64
- «Тут не звери — тут боги живуг...» (В зверинце) 80
- «Тучи ходят над горами...» (Храм) 245
- «Ты — в дремоте любви; я целую глаза...» (Лунный свет) 486
- «Ты — лестница в большом туманном доме. Ты...» (Лестница) 93
- «Ты видишь перстень мой? За звезды, за каменья...» 78
- «Ты войдешь и молча сядешь...» 91
- «Ты все глядишь из тучи темно-сизой...» 268
- «Ты его потеряла в траве замирающей...» (Башмачок) 102
- «Ты медленно бредешь по улицам бессонным...» (К свободе) 220
- «Ты много странствовал. Рассказ холодный твой...» (Странствия) 146
- «Ты многого, слишком ты многого хочешь!...» 104

- «Ты на небе облачко нежное...» 105  
 «Ты помнишь, как в парке, средь неги ночной...» 481  
 «Ты помнишь, как губы мои онемели...» 487  
 «Ты помнишь этот день? Природе, умирая...» 471  
 «Ты, светлый житель будущих веков...» (Будущему читателю) 348  
 «Ты снешься миру снова, снова...» (Весна) 250  
 «У входа в парк, в узорах летних дней...» (Грибы) 257  
 «У дворцов Невы я брожу, не рад...» 482  
 У камина («Ночь. И с тонким чешуйчатым шумом...») 235  
 «У мирной пристани, блестя на солнце юга...» (Два корабля) 89  
 «У мудрых и злых ничего не прошу...» 60  
 «У самого крыльца обрызгала мне плечи...» (Тихая осень) 237  
 «Уж догорел лучистый край...» (Ночь) 246  
 «Улыбки, воробьи и брызги золотые...» (Весна) 465  
 Ульдаборг (перевод с зорландского) («Смех и музыка изгнаны. Страшен...») 350  
 «... ума большого...» 524  
 Университетская поэма («Итак, вы русский? Я впервые...») 310  
 «Уста земли великой и прекрасной...» 247  
 «Усталый, поздно возвратился...». Из Руперта Брука 505  
 «Утихнет жизни рокот жадный...» (Смерть) 293  
 Утро («Как светлозарно день взошел!...») 108  
 «Фарфоровые соты синий...» 520  
 «Фейна дочь утонула в росинке...» 104  
 Формула («Сутулится на стуле...») 224  
 «Хозяин звезд, и ветра зычного...» (Паломник) 190  
 «Хоть притупилась шпага, и сутулей...» (Гость) 187  
 «Хохочет гул людской и смех его так груб...» (Два мгновенья) 493  
 «Хочется так много, хочется так мало...» 491  
 Храм («Тучи ходят над горами...») 245  
 Художник-нищий («Нередко на углу, под серую стеной...») 168  
 «Цветет миндаль на перекрестке...» 90  
 Цветные стекла («Тихонько рыдая...») 473  
 «Цветущие каштаны, словно храмы...» (Каштаны) 150  
 «Целиком в мастерскую высокую...» (Семь стихотворений, 2) 361  
 «Цепи огней желтовато-лиловых...» (Столице) 481  
 «Час задумчивый строгого ужина...» (Тайная Вечера) 152  
 «Часы на башне распевали...» 120  
 «Чей шаг за мной? Чей шелестит виссон?...» (Акрополь) 234  
 «Черешни, осы — на лотках...» (Крымский полдень) (Капли красок, 3) 125  
 «Что ж! В годы грохота и смрада...» (Поэты) 166  
 «Что за ночь с памятью случилось?...» (Что за ночь с памятью случилось) 204  
 «Что нужно сердцу моему...» 115  
 «Что скажет о тебе далекий правнук твой...» 525  
 «Что хочешь ты? Чтоб стих твой говорил...» (Размеры) 260  
 «Чу! Крыльев шум... и слуги сатаны...» (Власти) (Ангелы, 7) 138  
 Шахматный конь («Круглогривый, тяжелый, суконцем подбитый...») 309  
 Шекспир («Среди вельмож времен Елизаветы...») 296  
 «Шепни мне слово, то слово дивное...» 492  
 «Шептала, запрокинув лик...» (В лесу) (Капли красок, 8) 126  
 «Шепчут мне странники ветры...» 248  
 «Шла мимо Жизнь; но ни лохмотий...» (Жизнь) 177



- «Шумела роща золотая...» (Журавли) 99  
 Экспресс («На сумрачном вокзале по ночам...») 84  
 Элегия («Я помню влажный лес, волшебные дороги...») 88  
 «Это я, Владимир Сири...» 512  
 «Этот вечер лучистый грустил над людьми...» 488  
 «Эту жизнь я люблю иступленной любовью...» 112  
 «Юноша, белый и легкий, пестрым платком подпоясан...» (Lawn Tennis) 160  
 «Я без слез не могу...» 165  
 «Я буду слезы лить в тот грозный час страдания...» 494  
 «Я был в стране Воспоминанья...» 109  
 «Я видел, за тобой шел юноша, похожий...» (Football) 147  
 «Я видел, ты витала меж алмазных...» 153  
 «Я вижу облако сияющее, крышу...» (Пасха) 76  
 «Я всем вам говорю, о странники! Нежданный...» (Возвращенье) 157  
 «Я выехал давно, и ветер неродной...» (В поезде) 83  
 «Я вылепил из снега великана...» (Великан) 298  
 «Я где-то за городом, в поле...» 267  
 «Я думаю о ней, о девочке, о дальней...» 174  
 «Я ел мясо лося, млея...» (Казак) 512  
 «Я занят странными мечтами...» (Изгнание) 300  
 «Я знаю: пройден путь разлуки и ненастья...» (Счастье) 466  
 «Я Индией невидимой владею...» 279  
 «Я на море гляжу из мраморного храма...» 63  
 «Я не писал законного сонета...» (Три шахматных сонета, 3) 287  
 «Я незнакомые люблю вокзалы...» 59  
 «Я ночью жду тебя. Осины умирают...» 479  
 «Я объездил, о Боже, твой мир...» (Беженцы) 236  
 «Я плакал без горя; ты вдаль загляделась...» (Контрасты) 493  
 «Я помню вечера в начале листопада...» (Ночные бабочки) 81  
 «Я помню влажный лес, волшебные дороги...» (Элегия) 88  
 «Я помню твой приход: растущий звон...» (К музе) 199  
 «Я помню только дух сосновый...» 78  
 «Я помню, что были томительно-сладки...» 483  
 «Я слово длинное с нерусским окончанием...» (Революция) 231  
 «Я странник. Я Тристан. Я в рощах спал душистых...» (Тристан, 2) 77  
 «Я стремлюсь всеми силами к счастью...» 497  
 «Я умер. Яворы и ставни...» (Лилит) 221  
 «Я что-то не понял и где-то утрата...» 490  
 «Я эти сны люблю и ненавижу...» (Сон на Акрополе) 144  
 «Являюсь в черный день родной моей земли...» (Поэт) 236  
 «Ясное, гладкое зеркало, утром, по улице длинной...» (Зеркало) 171
- Biology («Муза меня не винит: в науке о трепетах жизни...») 167  
 Colloque sentimental («Под вечною дрожью осин у реки...») 480  
 Décadence («Там, — говорят, — бои, гроза...») (Капли красок, 11) 127  
 Football («Я видел, за тобой шел юноша, похожий...») 147  
 In memoriam («Вот лунный луч блеснул на одеяле...»). Из Теннисона 369  
 Joie de vivre («И в утро свежее любви...») (Капли красок, 2) 124  
 L'Inconnue de la Seine («Торопя этой жизни развязку...») 203  
 La belle Dame sans Merci (Из John Keats) («Ах, что мучит тебя, горемыка...») 172  
 La bonne Loggaine («Жгли англичане, жгли мою подругу...») 188

- La morte de Arthur («Всё, что я видел, но забыл...») (Капли красок, 10) 127
- Lawn Tennis («Юноша, белый и легкий, пестрым платком подпоясан...») 160
- Meretrix («Твой крест печальный — красота...») (Капли красок, 14) 128
- Out of the Strong, Sweetness! («Свет пасмурный земли...»).  
*Из о'Салливанна* 368
- Ut pictura poesis («Воспоминанье, острый луч...») 306
- Viola tricolor («Анютины-глазки, веселые-глазки...») 79
- A Discovery («I found it in a legendary land...») 394
- A Literary Dinner («Come here, said my hostess, her face making room...») 393
- «A magic day — sunshine and frost...» (Winter Morning). *Из Пушкина* 444
- «A pine there stands in the northern wilds...» (Imitation of Heine).  
*Из Лермонтова* 448
- A Poem («When he was small, when he would fall...») 413
- A scene from «The Covetous Knight». *Из Пушкина* 427
- Alter ego («As a lily that looks at itself in a stream...»). *Из Фета* 450
- «Amid the blue haze of the ocean...» (The Sail). *Из Лермонтова* 447
- «An angel was crossing the pale vault of night...» (The Angel).  
*Из Лермонтова* 447
- An Evening of Russian Poetry 396
- Appseament («The storm withdrew, but Thor had found his oak...»).  
*Из Тютчева* 457
- «As a lily that looks at itself in a stream...» (Alter ego). *Из Фета* 450
- Autumn («When Autumn has just come, there is...»). *Из Тютчева* 456
- «Before this house a poplar grows...» (The Poplar) 403
- «Brightly lit from above I am sitting...» (Orpheus). *Из Ходасевича* 459
- Chapter 1, stanzas I—VIII (From «Eugene Onegin», 1). *Из Пушкина* 438
- Chapter 1, stanzas XXXII—XXXIV (From «Eugene Onegin», 2).  
*Из Пушкина* 442
- «Come here, said my hostess, her face making room...»  
(A Literary Dinner) 393
- «Crash!...» (The Refrigerator Awakes) 393
- Dandelions («Moons on the lawn replace the suns...») 413
- «Dans le désert du monde, immense et triste espace...». *Из Пушкина* 461
- «Deep in the desert's misery...» (The Upas Tree). *Из Пушкина* 426
- «Down from her head the earth has rolled...» (Nightfall). *Из Тютчева* 452
- Dream («Now it is coming, and the sooner...») 413
- Dusk («Now the ashen shadows mingle...»). *Из Тютчева* 455
- Epigram (On Vorontsov) («Half-merchant and half-prince...»). *Из Пушкина* 443
- «Esmeralda! Now we rest...» (Lines Written in Oregon) 404
- Exegi Monumentum («No hands have wrought my monument; no weeds...»). *Из Пушкина* 425
- Exile («He happens to be a French poet, that thin...») 412
- «Fair is the evening sky...» (The Sky and the Stars). *Из Лермонтова* 449
- Farewell («Farewell! Nevermore shall we meet...»). *Из Лермонтова* 445
- «Farewell! Nevermore shall we meet...» (Farewell). *Из Лермонтова* 445
- Football («Я видел, за тобой шел юноша, похожий...») 147
- «For everything, for everything, O Lord...» (Thanksgiving).  
*Из Лермонтова* 448
- «Friends, with my eyes I love caressing...» (Tears). *Из Тютчева* 453

- From «A Feast During the Plague». *Из Пушкина* 430
- From «Eugene Onegin» (1—2). *Из Пушкина* 438
- From «Mozart and Salieri» (1—2). *Из Пушкина* 415
- «Half-merchant and half-prince...» (Epigram (On Vorontsov)). *Из Пушкина* 443
- «He happens to be a French poet, that thin...» (Exile) 412
- Home («Music of windy woods, an endless song...») 410
- «How mobile is the bed on these...» (Rain) 407
- «Human tears. O the tears! you that flow...» (Tears). *Из Тютчева* 457
- «I dream of simple tender things...» (The Russian Song) 411
- «I dreamt that with a bullet in my side...» (The Triple Dream). *Из Лермонтова* 445
- «I found it in a legendary land...» (A Discovery) 394
- «I have followed you, model...» (Ode to a Model) 405
- «If I do love my land, strangely I love it...» (My Native Land). *Из Лермонтова* 446
- Imitation of Heine («A pine there stands in the northern wilds...»). *Из Лермонтова* 448
- «Je ne puis m'endormir. La nuit...». *Из Пушкина* 462
- Last Love («Love at the closing of our days...»). *Из Тютчева* 455
- «Like silent ships we two in darkness met...» (Remembrance) 410
- Lines Written in Oregon («Esmeralda! Now we rest...») 404
- «Love at the closing of our days...» (Last Love). *Из Тютчева* 455
- Lunar Lines («Spell "night". Spell "pebbles": Pebbles in the Night...») 414
- «Moons on the lawn replace the suns...» (Dandelions) 413
- «Music of windy woods, an endless song...» (Home) 410
- My Native Land («If I do love my land, strangely I love it...»). *Из Лермонтова* 446
- «Ne me les chante pas, ma belle...». *Из Пушкина* 461
- Nightfall («Down from her head the earth has rolled...»). *Из Тютчева* 452
- «No hands have wrought my monument; no weeds...» (Exegi Monumentum). *Из Пушкина* 425
- «Not the sunset poem you make when you think aloud...» (The Poem) 395
- «Now it is coming, and the sooner...» (Dream) 413
- «Now the ashen shadows mingle...» (Dusk). *Из Тютчева* 455
- Ode to a Model («I have followed you, model...») 405
- On Translating «Eugene Onegin» («What is translation? On a platter...») 406
- «Open the door of my prison...» (The Wish). *Из Лермонтова* 449
- Orpheus («Brightly lit from above I am sitting...»). *Из Ходасевича* 459
- Poem («What is the use time and rhyme?...»). *Из Ходасевича* 459
- «Pourquoi le vent troublant la plaine...». *Из Пушкина* 462
- Rain («How mobile is the bed on these...») 407
- Remembrance («Like silent ships we two in darkness met...») 410
- Restoration («To think that any fool may tear...») 402
- Scene 1 (From «Mozart and Salieri», 1). *Из Пушкина* 415
- Scene 2 (From «Mozart and Salieri», 2). *Из Пушкина* 421
- Silentium («Speak not, lie hidden, and conceal...»). *Из Тютчева* 454
- «Soft sand comes up to our horses' shanks...» (The Journey). *Из Тютчева* 454
- Softest of Tongues («To many things I've said the word that cheats...») 411
- «Some inevitable day...» (Voluptates Tactionum) 401
- «Speak not, lie hidden, and conceal...» (Silentium). *Из Тютчева* 454
- «Spell "night". Spell "pebbles": Pebbles in the Night...» (Lunar Lines) 414

- Tears («Friends, with my eyes I love caressing...»). *Из Тютчева* 453
- Tears («Human tears. O the tears! you that flow...»). *Из Тютчева* 457
- Thanksgiving («For everything, for everything, O Lord...»).  
*Из Лермонтова* 448
- «That Sunday morning, at half past ten...» (The Ballad of Longwood Glen) 407
- The Abyss («When sacred Night sweeps heavenward, she takes...»).  
*Из Тютчева* 456
- The Angel («An angel was crossing the pale vault of night...»).  
*Из Лермонтова* 447
- The Ballad of Longwood Glen («That Sunday morning, at half past ten...») 407
- «The complicated variation...» 512
- «The heat was fierce. Great forests were on fire...» (The Monkey).  
*Из Ходасевича* 457
- The Journey («Soft sand comes up to our horses' shanks...»).  
*Из Тютчева* 454
- «The little golden cloud that spent the night...» (The Rock).  
*Из Лермонтова* 448
- The Monkey («The heat was fierce. Great forests were on fire...»).  
*Из Ходасевича* 457
- The name («What is my name to you? 'Twill die...»). *Из Пушкина* 443
- The Poem («Not the sunset poem you make when you think aloud...») 395
- The Poplar («Before this house a poplar grows...») 403
- «The querulous gawk of...» 513
- The Refrigerator Awakes («Crash!..») 393
- The Rock («The little golden cloud that spent the night...»). *Из Лермонтова* 448
- The Room («The room a dying poet took...») 400
- «The room a dying poet took...» (The Room) 400
- The Russian Song («I dream of simple tender things...») 411
- The Sail («Amid the blue haze of the ocean...»). *Из Лермонтова* 447
- The Sky and the Stars («Fair is the evening sky...»). *Из Лермонтова* 449
- «The storm withdrew, but Thor had found his oak...» (Appeasement).  
*Из Тютчева* 457
- The Swallow («When prying idly into Nature...»). *Из Фета* 452
- The Triple Dream («I dreamt that with a bullet in my side...»).  
*Из Лермонтова* 445
- The Upas Tree («Deep in the desert's misery...»). *Из Пушкина* 426
- The Wish («Open the door of my prison...»). *Из Лермонтова* 449
- «To many things I've said the word that cheats...» (Softest of Tongues) 411
- «To think that any fool may tear...» (Restoration) 402
- Voluptates Tactionum («Some inevitable day...») 401
- «What is my name to you? 'Twill die...» (The name). *Из Пушкина* 443
- «What is the use time and rhyme?...» (Poem). *Из Ходасевича* 459
- «What is translation? On a platter...»  
(On Translating «Eugene Onegin») 406
- «When Autumn has just come, there is...» (Autumn). *Из Тютчева* 456
- «When he was small, when he would fall...» (A Poem) 413
- «When life is torture, when hope is a traitor...». *Из Фета* 451
- «When prying idly into Nature...» (The Swallow). *Из Фета* 452
- «When sacred Night sweeps heavenward, she takes...» (The Abyss).  
*Из Тютчева* 456
- Winter Morning («A magic day — sunshine and frost...»). *Из Пушкина* 444

## СОДЕРЖАНИЕ

Забытый поэт. Вступительная статья М. Маликовой ..... 5

### СТИХОТВОРЕНИЯ

#### ИЗ АЛЬМАНАХА «ДВА ПУТИ»

1. «Темно-синие обои...» ..... 55
2. «Плывут поля, болота мимо...» ..... 55
3. Сонет («Вернулся я к своей любви забытой...») ..... 56
4. Дождь пролетел («Дождь пролетел и сторел на лету...») ..... 56
5. «Мятежными любуюсь облаками...» ..... 57
6. «Гроза растаяла. Небо ясно...» ..... 57
7. «С дождем и ветром борются березы...» ..... 58
8. Осень («Была в тот день светлей и шире даль...») ..... 58
9. Сонет («Безоблачная высь и тишина...») ..... 58
10. «Я незнакомые люблю вокзалы...» ..... 59
11. «Вечный ужас. Черные трясины...» ..... 59
12. «У мудрых и злых ничего не прошу...» ..... 60

### ГРОЗДЬ

#### I. Гроздь

13. «Кто выйдет поутру? Кто спелый плод подметит...» ..... 61
14. «Придавлен душною дремотой...» ..... 61
15. «Есть в одиночестве свобода...» ..... 62
16. «Из блеска в тень, и в блеск из тени...» ..... 62
17. «Я на море гляжу из мраморного храма...» ..... 63
18. «Туман ночного сна, налет истомы пыльной...» ..... 64
19. «На черный бархат лист кленовый...» ..... 64
20. «Нас мало — юных, окрыленных...» ..... 65
21. «Садом шел Христос с учениками...» ..... 65
- 22—23. На смерть Блока
  1. «За туманами плыли туманы...» ..... 66
  2. «Пушкин — радуга по всей земле...» ..... 67
24. Ивану Бунину («Как воды гор твой голос горд и чист...») ..... 68

#### II. Ты

25. «Когда, туманные, мы встретились впервые...» ..... 68
26. «Мечтал я о тебе так часто, так давно...» ..... 69
27. Сонет («Весенний лес мне чудится. Постой...») ..... 70

28. «Позволь мечтать... Ты первое страдание...» .....	70
29. «Ее душа, как свет необычайный...» .....	71
30. «Когда захочешь, я уйду...» .....	71
31. «О светлый голос, чуть печальный...» .....	72
32. «Все окна открыв, опустив занавески...» .....	72
33. «В полнолуние, в гостиной пыльной и пышной...» .....	73
34. «О любовь, ты светла и крылата...» .....	74
35. Глаза («Под тонкою луной, в стране далекой, древней...») .....	75
36. «Пускай все горестней и глуше...» .....	75

### III. Ушедшее

37. Пасха («Я вижу облако сияющее, крышу...») .....	76
38. «Молчи, не вспенивай души...» .....	76
39—40. Тристан	
1. «По водам траурным и лунным...» .....	77
2. «Я странник. Я Тристан. Я в рощах спал душистых...» .....	77
41. «Ты видишь перстень мой? За звезды, за каменья...» .....	78
42. «Я помню только дух сосновый...» .....	78
43. Рождество («Мой календарь полуопалый...») .....	79
44. На сельском кладбище («На кладбище — солнце, сирень и березки...») .....	79
45. Viola tricolor («Анютины-глазки, веселые-глазки...») .....	79
46. В зверинце (««Тут не звери — тут боги живут...») .....	80
47. Ночные бабочки («Я помню вечера в начале листопада...») .....	81

### IV. Движенья

48. В поезде («Я выехал давно, и ветер неродной...») .....	83
49. Экспресс («На сумрачном вокзале по ночам...») .....	84
50. «Как часто, как часто я в поезде скором...» .....	85

### ГОРНИЙ ПУТЬ

51. Поэту («Болота вязкие бессмыслицы певучей...») .....	86
52. «Живи. Не жалуйся, не числи...» .....	86
53. «Звени, мой верный стих, витай, воспоминанье!..» .....	87
54. «Когда с небес на этот берег дикий...» .....	88
55. Элегия («Я помню влажный лес, волшебные дороги...») .....	88
56. Два корабля («У мирной пристани, блестя на солнце юга...») ..	89
57. «Цветет миндаль на перекрестке...» .....	90
58. «О ночь, я твой! Все злое позабыто...» .....	90
59. «Ты войдешь и молча сядешь...» .....	91
60. «Вот дачный сад, где счастливы мы были...» .....	91
61. Береза в Воронцовском парке («Среди цветущих, огненных деревьев...») .....	92
62. Орешник и береза («Два дерева... одно — развесистый орешник...») .....	92
63. После грозы («Все реже, реже влажный звон...») .....	93
64. «Как пахнет липой и сиренью...» .....	93
65. Лестница («Ты — лестница в большом туманном доме. Ты...») ..	93
66. «Забудешь ты меня, как эту ночь забудешь...» .....	94
67. Озеро («Взгляни на озеро: ни солнце, ни звезда...») .....	95

68. «О чем я думаю? О падающих звездах...» .....	95
69. «И видел я: стемнели неба своды...» .....	95
70. Солнце бессонных. Sun of the Sleepless (Из Байрона) .....	96
71. Лунная ночь («Поляны окропил холодный свет луны...») .....	96
72. Большая Медведица («Был грозен волн полночный рев...») .....	97
73. «Вдали от берега, в мерцании ночном...» .....	97
74. Поэт («Среди обугленных развалин...») .....	98
75. Журавли («Шумела роща золотая...») .....	99
76. «За полночь потушив огонь мой запоздалый...» .....	99
77. «Разгорается высь...» .....	100
78. «В хрустальный шар заключены мы были...» .....	100
79. «Если вьется мой стих и летит и трепещет...» .....	101
80. Осенняя пляска («Кружитесь, падайте...») .....	102
81. Башмачок («Ты его потеряла в траве замирающей...») .....	102
82. «Сторожевые кипарисы...» .....	103
83. «Ты многого, слишком ты многого хочешь!..» .....	104
84. «Фейна дочь утонула в росинке...» .....	104
85. «Ты на небе облачко нежное...» .....	105
86. На качелях («В листву узорчатую зыбко...») .....	106
87. Новый год («"Скорей, — мы говорим, — скорей!"...») .....	107
88. «Как ты, — я с отроческих дней...» .....	107
89. Утро («Как светлозарно день взошел!..» .....	108
90. «На ярком облаке покоясь...» .....	108
91. Скиф («Ночь расплелась над Римом сытым...») .....	109
92. «Я был в стране Воспоминанья...» .....	109
93. «О, встречи дивное волнение!..» .....	110
94. Пчела («По ночам, — во мгле лазурной...») .....	110
95. Петр в Голландии («Из Московии суровой...») .....	111
96. Россия («Не все ли равно мне — рабой ли, наемницей...») .....	112
97. «Эту жизнь я люблю иступленной любовью...» .....	112
98. Кипарисы («Склонясь над чашею прозрачной...») .....	113
99. Еще безмолвствую («Еще безмолвствую — и крепну я в тиши...») .....	113
100. Стамбул («Всплывает берег на заре...») .....	114
101. «По саду бродишь и думаешь ты...» .....	114
102. «Что нужно сердцу моему...» .....	115
103. Верба («Колоколов напев узорный...») .....	115
104. Русалка («Пахнуло с восходом огромной луны...») .....	115
105. «Разбились облака. Алмазы дождевые...» .....	116
106. «Мне так просто и радостно снилось...» .....	116
107. Памяти друга («В той чаше, где тысяча ягод...») .....	117
108. «Простая песня, грусть простая...» .....	117
109. Вьюга («Тень за тенью бежит — не догонит...») .....	118
110. «Катится небо, дыша и блистая...» .....	118
111. Осень («И снова, как в милые годы...») .....	119
112. «Часы на башне распевали...» .....	120
113. «Звон, и радугой росистой...» .....	121
114. «Будь со мной прозрачнее и проще...» .....	121
115. Зима («Только елочки упрямы...») .....	122
116. «Мой друг, я искренно жалею...» .....	122
117. Весна («Взволнован мир весенним дуновеньем...») .....	122
118. «Маркиза маленькая знает...» .....	123
119. Смерть («Выйдут ангелы навстречу...») .....	124

## 120—136. Капли красок

1. Всепрощающий («Он горстью мягкой земли...») .....	124
2. Joie de vivre («И в утро свежее любви...») .....	124
3. Крымский полдень («Черешни, осы — на лотках...») .....	125
4. Былинки («Мы пели в поле, и луны...») .....	125
5. Художник («Он отвернулся от холста...») .....	125
6. Яблони («Где ты, апреля ветерок...») .....	126
7. Речная лилия («На лодке выцветшей — вдвоем...») .....	126
8. В лесу («Шептала, запрокинув лик...») .....	126
9. Вдохновенье («Когда-то чудо видел я...») .....	127
10. La morte de Arthur («Все, что я видел, но забыл...») .....	127
11. Décadence («Там, — говорят, — бои, гроза...») .....	127
12. Крестоносцы («Когда мы встали пред врагом...») .....	128
13. Кимоно («Дыханье веера, цветы...») .....	128
14. Meretrix («Твой крест печальный — красота...») .....	128
15. Достоевский («Тоскуя в мире, как в аду...») .....	129
16. Аэроплан («Скользнув по стоптанной траве...») .....	129
17. Наполеон в изгнании («Дом новый, глухо знойный день...») .....	129

## 137. Детство («При звуках, некогда подслушанных минувшим...») .. 130

## 138—147. Ангелы

«О лучезарных запою...» .....	134
1. Серафимы («Из пламени Господь их сотворил, и встали...») ..	135
2. Херувимы («Они над твердью голубой...») .....	135
3. Престолы («Стоял он на скале высокой, заостренной...») ..	136
4. Господства («Заботлива божественная мощь...») .....	137
5. Силы («Поведал ангел мне: порочная жена...») .....	137
6. Власти («Чу! Крыльев шум... и слуги сатаны...») .....	138
7. Начала («На чьем плече, как голубь, спит луна...») .....	139
8. Архангелы («Поставь на правый путь. Сомнения развеи...)	139
9. Ангел-Хранитель («В часы полноты унылой...») .....	140
148. Крым («Назло неистовым тревогам...») .....	141
149. Сон на Акрополе («Я эти сны люблю и ненавижу...») .....	144
150. Странствия («Ты много странствовал. Рассказ холодный твой...») .....	146
151. «Над землею стоит голубеющий пар...» .....	147
152. Football («Я видел, за тобой шел юноша, похожий...») .....	147
153. «Безвозвратная, вечно-родная...» .....	148
154. Движенья («Искусственное тел передвиженья...») .....	149
155. Телеграфные столбы («Столбов однообразных, придорожных...») .....	149
156. Каштаны («Цветущие каштаны, словно храмы...») .....	150
157. «Люблю в струящейся дремоте...» .....	150
158. Отрывок («Твоих одежда воздушных я коснулся...») .....	151
159. Романс («И на берег весенний приходи мы назад...») .....	151
160. Ласточки («Инок ласковый, мы реем...») .....	152
161. Тайная Вечеря («Час задумчивый строгого ужина...») .....	152
162. «Она давно ушла, она давно забыла...» .....	153
163. «Я видел, ты витала меж алмазных...» .....	153
164. «Кто меня повезет...» .....	154
165. Павлины («Видели мы, нищие, как Мария дева...») .....	154
166. В раю («Здравствуй, смерть! — и спутник крылатый...») .....	155
167. «Мерцательные тикают пружинки...» .....	156
168. Лес («Дорога в темноте печалится лесная...») .....	156



169. Возвращенье («Я всем вам говорю, о странники! Нежданный...») .....	157
170. Поэт («Он знал: отрада и тревога...») .....	158
171. Осень («Вот листопад, Бесплотным перезвоном...») .....	159
172. Подражание древним («Дия, мой бедный цветок, поверь ты случайному другу!...») .....	159
173. Lawn Tennis («Юноша, белый и легкий, пестрым платком подпоясан...») .....	160
174. Бабочка (Vanessa antiopa) («Бархатно-черная с теплым отливом сливы созревшей...») .....	160
175. Велосипедист («Мне снились полевые дали...») .....	161
176. «Вдохновенье — это сладострастье...» .....	162
177. «Обезьяну в сарафане...» .....	162
178. «Карлик безрукий во фраке...» .....	163
179. Итальянке («К тебе, в минувшее, к иной, чудесной доле...») ..	163
180. На Голгофе («Восходит благовоние сырое...») .....	164
181. «Блаженство мое, облака и блестящие воды...» .....	164
182. «Я без слез не могу...» .....	165
183. Домой («На мызу, милые! Ямщик...») .....	165
184. Березы («Стволы сквозь легкое, зеленое сиянье...») .....	166
185. Поэты («Что ж! В годы грохота и смрада...») .....	166
186. Biologu («Муза меня не винит: в науке о трепетах жизни...») ..	167
187. В. Ш. («Если ветер судьбы, ради шутки...») .....	167
188. Художник-нищий («Нередко на углу, под серую стеной...») ..	168
189—190. Облака	
1. «На солнце золотом сверкает дождь летучий...» .....	168
2. «Закатные люблю я облака...» .....	169
191. Пир («Так лучезарна жизнь, и радостей так много!...») .....	169
192. Белый рай («Рай — широкая, пустая...») .....	170
193. Кони («Гнедые, грузные, по зелени сырой...») .....	170
194. Зеркало («Ясное, гладкое зеркало, утром, по улице длинной...») ..	171
195. Ночь («Как только лунные протянутся лучи...») .....	171
196. La belle Dame sans Merci (Из John Keats) («Ах, что мучит тебя, горемыка...») .....	172
197. Пьяный рыцарь («С тонким псом и смуглым кубком...») .....	173
198. «Я думаю о ней, о девочке, о дальней...» .....	174
199. Перо («Зеленьким юрким внучатам...») .....	174
200. «Мы столпились в туманной церковенке...» .....	175
201. «Людам ты скажешь: настало...» .....	176
202. Русь («Пока в тумане страшных дней...») .....	176
203. Жизнь («Шла мимо Жизнь; но ни лохмотий...») .....	177

## ИЗ СБОРНИКА «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА. РАССКАЗЫ И СТИХИ»

204. От счастья влюбленному не спится («От счастья влюбленному не спится...») .....	178
205. Тихий шум («Когда в приморском городке...») .....	178
206. Кирпичи («Ища сокровищ позабытых...») .....	179
207. «Когда весеннее мечтанье...» .....	180
208. Прелестная пора («В осенний день, блистая как стекло...») ..	181
209. Снимок («На пляже в полдень лиловатый...») .....	182
210. Аэроплан («Как поет он, как нежданно...») .....	183

211. Крушение («В поля, под сумеречным сводом...») .....	183
212. Святки («Под окнами полозья...») .....	185
213. Расстрел («Бывают ночи: только лягу...») .....	186
214. Гость («Хоть притупилась шпага, и сутулей...») .....	187
215. La bonne Logaine («Жгли англичане, жгли мою подругу...») ..	188
216. Годовщина («В те дни, дай Бог, от краю и до краю...») .....	188
217. Сирень («Ночь в саду, послушная волнению...») .....	189
218. Паломник («Хозяин звезд, и ветра зычного...») .....	190
219. Сновиденье («Будильнику на утро задаю...») .....	191
220. Прохожий с елкой («На белой площади поэт...») .....	192
221. Тень («К нам в городок приехал в гости...») .....	192
222. «Слоняюсь переулками без цели...» .....	194
223. Сны («Странствуя, ночуя у чужих...») .....	194
224. Комната («Вот комната. Еще полуживая...») .....	195
225. Мать («Смеркается. Казнен. С Голофы отвалив...») .....	196
226. Весна («Помчал на дачу паровоз...») .....	197
227. В раю («Моя душа, за смертью дальней...») .....	198

### СТИХОТВОРЕНИЯ 1929—1951

228. К музе («Я помню твой приход: растущий звон...») .....	199
229. Вечер на пустыре («Вдохновенье, розовое небо...») .....	200
230. Как я люблю тебя («Такой зеленый, серый, то есть...») .....	201
231. На закате («На закате у той же скамьи...») .....	203
232. L'Inconnue de la Seine («Торопя этой жизни развязку...») .....	203
233. Что за ночь с памятью случилось («Что за ночь с памятью случилось?») .....	204
234. Мы с тобою так верили («Мы с тобою так верили в связь бытия...») .....	205
235. Поэты («Из комнаты в сени свеча переходит...») .....	205
236. К России («Отвяжись, я тебя умоляю...») .....	207
237. Слава («И вот, как на колесиках, вкатывается ко мне некто...») ..	208
238. Парижская поэма («Отведите, но только не бросьте...») .....	211
239. Каким бы полотном («Каким бы полотном батальным не являлась...») .....	215
240. О правителях («Вы будете (как иногда...») .....	215
241. К кн. С. М. Качурину («Качурин, твой совет я принял...») ..	217
242. Был день как день («Был день как день. Дремала память. Длилась...») .....	219

### ИЗ СБОРНИКА «POEMS AND PROBLEMS»

243. К свободе («Ты медленно бредешь по улицам бессонным...») ..	220
244. Номер в гостинице («Не то кровать, не то скамья...») .....	220
245. Герб («Лишь отошла земля родная...») .....	220
246. Вершина («Люблю я гору в шубе черной...») .....	221
247. Лилит («Я умер. Яворы и ставни...») .....	221
248. Снег («О, этот звук! По снегу...») .....	223
249. Формула («Сутулится на стуле...») .....	224
250. Неоконченный черновик («Поэт, печалью промышляя...») ..	224
251. Безумец («В миру фотограф уличный, теперь же...») .....	225
252. Око («К одному исполинскому оку...») .....	226

253. Неправильные ямбы («В последний раз лиясь листьями...») ...	226
254. Какое сделал я дурной дело («Какое сделал я дурное дело...») .....	227
255. С серого севера («С серого севера...») .....	227

## СТИХОТВОРЕНИЯ, НЕ ВХОДИВШИЕ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

256. Прогулка с J.-J. Rousseau («Сад Le Nôtre'a. В лазурных прудах...») .....	230
257. Зимняя ночь («Зимнею лунною ночью молчанье...») .....	230
258. Революция («Я слово длинное с нерусским окончанием...») ...	231
259. «Вечер тих. Я жду ответа...» .....	232
260. Бахчисарайский фонтан (Памяти Пушкина) («Он здесь однажды был. Вода едва журчит...») .....	232
261. Россия («Плыви, бессонница, плыви, воспоминанье...») .....	233
262. Акрополь («Чей шаг за мной? Чей шелестит виссон?...») .....	234
263. Панихида («Сколько могила...») .....	234
264. У камина («Ночь. И с тонким чешуйчатым шумом...») .....	235
265. Беженцы («Я объездил, о Боже, твой мир...») .....	236
266. Поэт («Являюсь в черный день родной моей земли...») .....	236
267. России («Не предаюсь пустому гневу...») .....	237
268. Тихая осень («У самого крыльца обрызгала мне плечи...») ...	237
269. «Был крупный дождь. Лазурь и шире и живей...» .....	238
270. Родина («Как весною мой север призывен!...») .....	238
271. Моя весна («Все загудело, все блеснуло...») .....	239
272. Петербург («Так вот он, прежний чародей...») .....	240
273. «Давно ль — по набережной снежной...» .....	244
274. Храм («Тучи ходят над горами...») .....	245
275. «В переулке на скрипке играет слепой...» .....	245
276. Ночь («Уж догорел лучистый край...») .....	246
277. Осенние листья («Стою я на крыльце. Напротив обитает...») ...	246
278. «Мне снится: карлик я. Меня скрывают травы...» .....	247
279. «Мы вернемся, весна обещала...» .....	247
280. «Уста земли великой и прекрасной...» .....	247
281. «Ночь бродит по полям и каждую былинку...» .....	248
282. «Шепчут мне странники ветры...» .....	248
283. Знаешь веру мою? («Слышишь иволгу в сердце моем шелестящем?...») .....	248
284. Петербург («Он на трясине был построен...») .....	249
285. Весна («Ты снишься миру снова, снова...») .....	250
286. Суфлер («С восьми до полночи таюся я в будке тесной...») ...	251
287. Россия («Под окном моим, ночью, на улице...») .....	251
288. Снежная ночь («Как призрак я иду, и реет в тишине...») .....	253
289. Невеста рыцаря («Жду рыцаря, жду юного Ивэйна...») .....	253
290. Пегас («Гляди: вон там, на той скале, — Пегас!») .....	254
291. Волчонок («Один, в рождественскую ночь, скулит...») .....	254
292. Жук («В саду, где по ночам лучится и дрожит...») .....	255
293. Легенда о старухе, искавшей плотника («Домик мой, на склоне, в Назарете...») .....	255
294. Грибы («У входа в парк, в узорах летних дней...») .....	257
295. Петербург («Мне чудится в Рождественское утро...») .....	258

296. Размеры («Что хочешь ты? Чтоб стих твой говорил...») .....	260
297—300. Гексаметры	
1. Чудо («В жизни чудес не ищи; есть мелочи — родинки жизни...») .....	261
2. Очки Иосифа («Слезы отри и послушай: в солнечный полдень старый...») .....	261
3. Сердце («Бережно нес я к тебе это сердце прозрачное. Кто-то...») .....	261
4. Памяти Гумилева («Гордо и ясно ты умер, — умер, как Муза учила...») .....	261
301. Гексаметры («Смерть, — это утренний луч, пробужденье весеннее. Верю...») .....	262
302. Барс («Пожаром яростного крапа...») .....	262
303. На озере («В глазах рябило от резьбы...») .....	263
304. «Живи, звучи, не поминай о чуде...» .....	263
305. Родина («Когда из родины звенит нам...») .....	264
306. «И в Божий рай пришедшие с земли...» .....	264
307. Жемчуг («Посланный мудрейшим властелином...») .....	265
308. Сон («Знаешь, знаешь, обморочно-пьяно...») .....	265
309. «В каком раю впервые прожурчали...» .....	266
310. «Я где-то за городом, в поле...» .....	267
311. «День за днем, цветущий и летучий...» .....	268
312. «Ты все глядишь из тучи темно-сизой...» .....	268
313. «И утро будет: песни, песни...» .....	268
314. Родине («Воркующею теплотой шестая...») .....	269
315. Река («Каждый помнит какую-то русскую реку...») .....	270
316. «Когда я по лестнице алмазной...» .....	273
317. «О, как ты рвешься в путь крылатый...» .....	273
318. Гроза («Стоишь ли, смотришь ли с балкона...») .....	274
319. Встреча («Тоска, и тайна, и услада...») .....	275
320. Песня («Верь: вернутся на родину все...») .....	276
321. «Как жадно, затая дыханье...» .....	277
322. Олень («Слова — мучительные трубы...») .....	278
323. «Из мира уползли — и ноют на луне...» .....	278
324. «Я Индией невидимой владею...» .....	279
325. Рождество («Свеча прозрачная мигает...») .....	279
326. Кубы («Сложим крылья наших видений...») .....	280
327. Ленинград («Великие, порою...») .....	281
328. Автомобиль в горах. Сонет («Как сон, летит дорога, и ребром...») .....	281
329. Подруга боксера («Дрожащая, в змеином платье бальном...») .....	281
330. Смерть Пушкина («Он первый подошел к барьеру; очи...») ...	282
331—332. Об ангелах	
1. «Неземной рассвет блеском облил...» .....	283
2. «Представь: мы его встречаем...» .....	283
333—335. Петербург. Три сонета	
1. «Единый путь — и множество дорог...» .....	284
2. «Терзаем я утраченными днями...» .....	285
3. «Повеяло прошедшим... Я живу...» .....	285
336. «Отдалась необычайно...» .....	286
337—339. Три шахматных сонета	
1. «В ходах ладьи — ямбический размер...» .....	286
2. «Движенья рифм и танцовщиц крылатых...» .....	287

3.	«Я не писал законного сонета...» .....	287
340.	К родине («Ночь дана, чтоб думать и курить...») .....	288
341.	Видение («В снегах полуночной пустыни...») .....	288
342.	Скитальцы («За громадные годы изгнания...») .....	289
343.	«При луне, когда косую крышу...» .....	290
344.	Стихи («Блуждая по запущенному саду...») .....	290
345.	Стансы («Ничем не смоешь подписи косой...») .....	291
346.	Молитва («Пыланье свеч то выявит морщины...») .....	292
347.	Санкт-Петербург («Ко мне, туманная Леила!...») .....	293
348.	Смерть («Утихнет жизни рокот жадный...») .....	293
349.	Исход («Муза, возгласом, со вздохом шумным...») .....	294
350.	«Откуда прилетел? Каким ты дышишь горем?...» .....	295
351.	Страна стихов («Дай руки, в путь! Найдем среди планет...») .....	295
352.	Костер («На сумрачной чужбине, в чаще...») .....	296
353.	Шекспир («Среди вельмож времен Елизаветы...») .....	296
354.	В пещере («Над Вифлеемом ночь застыла...») .....	298
355.	Великан («Я вылепил из снега великана...») .....	298
356.	Плевицкой («Кипит, и пенится, и бродит...») .....	299
357.	Конькобежец («Плясать на льду учился он у музы...») .....	299
358.	«Пою. Где ангелы? В разлуке...» .....	300
359.	Изгнание («Я занят странными мечтами...») .....	300
360.	Сон («Однажды ночью подоконник...») .....	301
361.	Рай («Любимы ангелами всеми...») .....	302
362.	Путь («Великий выход на чужбину...») .....	303
363.	Берлинская весна («Нищетою необычной...») .....	303
364.	Воскресение мертвых («Нам, потонувшим мореходам...») .....	304
365.	Лыжный прыжок («Для состязаний быстролетных...») .....	305
366.	Ut pictura poesis («Воспомяненье, острый луч...») .....	306
367.	«Пустяк, — название, матчы, план — и следом...» .....	307
368.	Родина («Бессмертное счастье наше...») .....	307
369.	Билет («На фабрике немецкой, вот сейчас...») .....	308
370.	Шахматный конь («Круглогривый, тяжелый, суконцем подбитый...») .....	309
371.	Университетская поэма («Итак, вы русский? Я впервые...») ..	310
372.	Расстрел («Небритый, смеющийся, бледный...») .....	336
373.	Разговор .....	337
374.	Оса («Твой панцирь, желтый и блестящий...») .....	340
375.	Толстой («Картина в хрестоматии: босой...») .....	341
376.	Острова («В книге сказок помню я картину...») .....	343
377.	К России («Мою ладонь географ строгий...») .....	344
378.	Кинематограф («Люблю я световые балаганы...») .....	344
379.	Стансы о коне («На полотнищах, озаренных...») .....	346
380.	«Для странствия ночного мне не надо...» .....	346
381.	Воздушный остров («Средь пустоты, над полем дальним...») .....	347
382.	Будущему читателю («Ты, светлый житель будущих веков...») ..	348
383.	Первая любовь («В листе березовой, осиновой...») .....	349
384.	Ульдаборг (перевод с зорландского) («Смех и музыка изгнаны. Страшен...») .....	350
385.	Окно («Соседний дом в сиренях ночи тонет...») .....	351
386.	Представление («Еще темно. В оркестре стеснены...») .....	351
387.	Пробуждение («Спросонья вслушиваюсь в звон...») .....	352
388.	Помплимусу («Прекрасный плод, увесистый и гладкий...») ..	353
389.	Из калмбрудовой поэмы «Ночное путешествие» .....	353

390. «Сам треугольный, — двукрылый, безногий...» .....	357
391. Русалка .....	357
392—398. Семь стихотворений	
1. «Как над стихами силы средней...» .....	361
2. «Целиком в мастерскую высокую...» .....	361
3. «Все, от чего оно сжимается...» .....	362
4. «Вечер дымчат и долог...» .....	363
5. «Какое б счастье или горе...» .....	363
6. «Есть сон. Он повторяется, как томный...» .....	364
7. «Зимы ли серые смыли...» .....	364
399. «Минуты есть: "Не может быть, — бормочешь..."» .....	364
400. «Сорок три или четыре года...» .....	364

## ПЕРЕВОДЫ

### *Шимус о'Салливан*

401. Овцы («Тихо проходит...») .....	367
402. Out of the Strong, Sweetness! («Свет пасмурный утра земли...») .	368

### *Пьер Ронсар*

403. Сонет («Когда на склоне лет и в час вечерний, чарам...») ....	368
--	-----

### *Шарль Бодлер*

404. Альбатрос («Бывало, по зыбям скользящие матросы...») .....	369
---	-----

### *Альфред Теннисон*

405. In memoriam («Вот лунный луч блеснул на одеяле...») .....	369
--	-----

### *Уильям Шекспир*

406. Сонет XVII («Сонет мой за обман века бы осудили...») .....	370
407. Сонет XXVII («Спешу я, утомясь, к целительной постели...»).....	370
408—410. Из «Гамлета»	
1. Действие III, сцена 1 .....	371
2. Действие IV, сцена 7 .....	372
3. Действие V, сцена 1 .....	373

### *Альфред де Мюссе*

411. Майская ночь .....	376
412. Декабрьская ночь («Однажды в детстве, после школы...») ....	381

### *Артур Рембо*

413. Пьяный корабль («В стране бесстрастных рек спускаясь по теченью...») .....	387
--	-----

### *Иоганн Вольфганг Гете*

414. Посвящение к «Фаусту» («Вы снова близко, реюющие тени...») ..	390
--	-----

## СТИХОТВОРЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ

### POEMS AND PROBLEMS

415. A Literary Dinner («Come here, said my hostess, her face making room...») .....	393
416. The Refrigerator Awakes («Crash!...») .....	393
417. A Discovery («I found it in a legendary land...») .....	394
418. The Poem («Not the sunset poem you make when you think aloud...») .....	395
419. An Evening of Russian Poetry .....	396
420. The Room («The room a dying poet took...») .....	400
421. Voluptates Tactionum («Some inevitable day...») .....	401
422. Restoration («To think that any fool may tear...») .....	402
423. The Poplar («Before this house a poplar grows...») .....	403
424. Lines Written in Oregon («Esmeralda! Now we rest...») .....	404
425. Ode to a Model («I have followed you, model...») .....	405
426. On Translating «Eugene Onegin» («What is translation? On a platter...») .....	406
427. Rain («How mobile is the bed on these...») .....	407
428. The Ballad of Longwood Glen («That Sunday morning, at half past ten...») .....	407

### СТИХОТВОРЕНИЯ НА АНГЛИЙСКОМ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ПРИЖИЗНЕННЫЕ СБОРНИКИ

429. Remembrance («Like silent ships we two in darkness met...») ..	410
430. Home («Music of windy woods, an endless song...») .....	410
431. The Russian Song («I dream of simple tender things...») .....	411
432. Softest of Tongues («To many things I've said the word that cheats...») .....	411
433. Exile («He happens to be a French poet, that thin...») .....	412
434. A Poem («When he was small, when he would fall...») .....	413
435. Dream (««Now it is coming, and the sooner...») .....	413
436. Dandelions («Moons on the lawn replace the suns...») .....	413
437. Lunar Lines («Spell "night". Spell "pebbles": Pebbles in the Night...») .....	414

### ПЕРЕВОДЫ НА АНГЛИЙСКИЙ

#### *Александр Пушкин*

438—439. From «Mozart and Salieri»	
1. Scene 1 .....	415
2. Scene 2 .....	421
440. Exegi Monumentum («No hands have wrought my monument; no weeds...») .....	425
441. The Upas Tree («Deep in the desert's misery...») .....	426
442. A scene from «The Covetous Knight» .....	427
443. From «A Feast During the Plague» .....	430

444—445. From «Eugene Onegin»	
1. Chapter 1, stanzas I—VIII .....	438
2. Chapter 1, stanzas XXXII—XXXIV .....	442
446. Epigram (On Vorontsov) («Half-merchant and half-prince...») ..	443
447. The name («What is my name to you? 'Twill die...») .....	443
448. Winter Morning («A magic day — sunshine and frost...») .....	444

### *Михаил Лермонтов*

449. Farewell («Farewell! Nevermore shall we meet...») .....	445
450. The Triple Dream («I dreamt that with a bullet in my side...») ..	445
451. My Native Land («If I do love my land, strangely I love it...») ..	446
452. The Angel («An angel was crossing the pale vault of night...») ..	447
453. The Sail («Amid the blue haze of the ocean...») .....	447
454. The Rock («The little golden cloud that spent the night...») ....	448
455. Imitation of Heine («A pine there stands in the northern wilds...») ..	448
456. Thanksgiving («For everything, for everything, O Lord...») .....	448
457. The Sky and the Stars («Fair is the evening sky...») .....	449
458. The Wish («Open the door of my prison...») .....	449

### *Афанасий Фет*

459. Alter ego («As a lily that looks at itself in a stream...») .....	450
460. «When life is torture, when hope is a traitor...» .....	451
461. The Swallow («When prying idly into Nature...») .....	452

### *Федор Тютчев*

462. Nightfall («Down from her head the earth has rolled...») .....	452
463. Tears («Friends, with my eyes I love caressing...») .....	453
464. The Journey («Soft sand comes up to our horses' shanks...») ....	454
465. Silentium («Speak not, lie hidden, and conceal...») .....	454
466. Last Love («Love at the closing of our days...») .....	455
467. Dusk («Now the ashen shadows mingle...») .....	455
468. The Abyss («When sacred Night sweeps heavenward, she takes...») .....	456
469. Autumn («When Autumn has just come, there is...») .....	456
470. Appeasement («The storm withdrew, but Thor had found his oak...») .....	457
471. Tears («Human tears. O the tears! you that flow...») .....	457

### *Владислав Ходасевич*

472. The Monkey («The heat was fierce. Great forests were on fire...») .....	457
473. Poem («What is the use time and rhyme?...») .....	459
474. Orpheus («Brightly lit from above I am sitting...») .....	459

## ПЕРЕВОДЫ НА ФРАНЦУЗСКИЙ

### *Александр Пушкин*

475. «Dans le désert du monde, immense et triste espace...» .....	461
476. «Ne me les chante pas, ma belle...» .....	461



477. «Je ne puis m'endormir. La nuit...» .....	462
478. «Pourquoi le vent troublant la plaine...» .....	462

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### СТИХИ

479. Весна («Улыбки, воробьи и брызги золотые...») .....	465
480. В церкви («За дымкой ладана иконы на стене...») .....	465
481. Пасха («Сверкал на солнце гранит дворцов...») .....	466
482. Счастье («Я знаю: пройден путь разлуки и ненастья...») .....	466
483. «Почти недвижна наша лодка...» .....	466
484. «Зовут влюбленного гвоздики...» .....	467
485. «За лесом улыбкой прощальной...» .....	467
486. «Печали мои вечно молоды...» .....	468
487. «Смеется краска, смеется линия...» .....	468
488. «Печаль не сильна, не горда...» .....	469
489. Летняя ночь («Милая, хочешь за темными опушками...») .....	469
490. «В июле я видал роскошный отблеск рая...» .....	470
491. «Ты помнишь этот день? Природе, умирая...» .....	471
492. Ласка («Ласкаясь к лазури, прозрачно алая...») .....	471
493. Осень («Золотился листвы изумруд...») .....	472
494. «Тебя, тебя одну, любить я обещаю...» .....	472
495. Осеннее («То дремлют, то шумя несутся к облакам...») .....	473
496. Цветные стекла («Тихонько рыдая...») .....	473
497. Осенняя песня («Мой конь летит вольней мечты...») .....	475
498. «Осенний день, как старая ваханка...» .....	475
499. «Дрожит хризантема, грустя...» .....	476
500. «Большие липы, шатаясь, пели...» .....	476
501. «Раскинула осень свои паутины...» .....	477
502. Зима («На опушке леса ели небольшие...») .....	477
503. «Лиловый дым над снегом крыши...» .....	477
504. «Без надежд я ждал...» .....	478
505. «Тише и тише танцую...» .....	478
506. «Кузнечнику кузнечик звучно откликается...» .....	479
507. «Я ночью жду тебя. Осины умирают...» .....	479
508. «Бедное сердце до бледного дня...» .....	480
509. Colloque sentimental («Под вечною дрожью осин у реки...») .....	480
510. Столице («Цепи огней желтовато-лиловых...») .....	481
511. «Ты помнишь, как в парке, средь неги ночной...» .....	481
512. «У дворцов Невы я брожу, не рад...» .....	482
513. «Нас бархатная ночь окутала тенями...» .....	482
514. Сон («Играют камни алой краской...») .....	483
515. «Я помню, что были томительно-сладки...» .....	483
516. «Гиацинты запахом страстным...» .....	484
517. «Горе сегодня и глубже и проще...» .....	484
518. Наша звезда («Как полночь пробьет, отодвинь занавески...») ..	485
519. Лунная греза («Проходит лунный луч. В покоях опустело...») ..	485
520. Лунный свет («Ты — в дремоте любви; я целую глаза...») ....	486
521. «Как губы горят!.. Доканчиваем речи...» .....	486
522. «Ты помнишь, как губы мои онемели...» .....	487

523.	«В ту ночь я только мог рыдать от наслажденья...»	487
524.	«Окутали город осенние боги...»	488
525.	«Этот вечер лучистый грустил над людьми...»	488
526.	«Ивы тихо плакали... В озеро туманное...»	489
527.	«Небрежно он сорвал и бросил незабудку...»	489
528.	«Красота! Красота! В ней таинственно слиты...»	490
529.	«Я что-то не понял и где-то утрата...»	490
530.	«Когда моя рука во тьме твою встречает...»	491
531.	«Хочется так много, хочется так мало...»	491
532.	«Бывало, в лазури бегут облака...»	492
533.	«Шепни мне слово, то слово дивное...»	492
534.	Контрасты («Я плакал без горя; ты вдаль загляделась...») .....	493
535.	Два мгновенья («Хочет гул людской и смех его так груб...») ..	493
536.	«Солнечно-нежные губки...»	493
537.	«Сядь поближе ко мне. Мы припомним с тобой...»	494
538.	«Я буду слезы лить в тот грозный час страданья...»	494
539.	«Аккорды, как волны и призрак разлуки...»	495
540.	«Довольно и прости; ответа мне не надо...»	495
541.	«Мне странно увидеть оглядкой от разлуки...»	496
542.	«Не надо лилий мне, невинных белых лилий...»	496
543.	«Если, бывало, проводишь весь день...»	496
544.	«Я стремлюсь всеми силами к счастью...»	497
545.	Летний день («Кто золото в чаше рассыпает...») .....	497
546.	«Жду на твоём пороге, в грядущем грезой рея...»	497

### ПЕРЕВОДЫ ИЗ ЭССЕ «РУПЕРТ БРУК»

547.	«В полдневный час, ленивым летом...»	499
548.	«Когда, погаснув, как зарницы...»	500
549.	«Их сонмы облекли полночный синий свод...»	501
550.	«Их душу радости окрасили, печали...»	502
551.	«Лишь это вспомните, узнав, что я убит...»	502
552.	«Из дремы Вечности туманной...»	502
553.	«Троянские поправ развалины, в чертог...»	503
554.	«Мои дивными деревьями хранимый...»	504
555.	«Усталый, поздно возвратился...»	505
556.	«Было поздно, было скучно...»	506
557.	«Алмазно-крепкою стеною от меня...»	507
558.	«По кругам немых, к белоснежной вершине земли...»	507

### ШУТОЧНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ, СТИХОТВОРЕНИЯ НА СЛУЧАЙ

559.	Пегас («Взмахнул Пегас могучей гривой...») .....	509
560.	«Как долго спит, о струнный Струве...»	511
561.	«Это я, Владимир Сирин...»	512
562.	«— Такого нет мошенника второго...»	512
563.	Казак («Я ел мясо лося, млея...») .....	512
564.	«The complicated variation...»	512
564.	«Разнообразное сложенье...»	513
565.	«The querulous gawk of...»	513

## СТИХИ ИЗ РОМАНА «ДАР»

566. «Мяч закатился мой под нянин...» .....	514
567. «...и по углам наглеют ночью...» .....	514
568. «...при музыке миниатюрной...» .....	515
569. «...и снова заряжаешь ствол...» .....	515
570. «...под лестницею винтовой...» .....	515
571. «По четвергам старик приходит...» .....	516
572. «...Пожалуйте вставать. Гуляет...» .....	516
573. «Как буду в этой же карете...» .....	516
574. «...так впечатление бывшее...» .....	517
575. «Влезть на помост, облитый блеском...» .....	517
576. «...Бювар с бумагою почтовой...» .....	517
577. «В канавы скрылся снег со склонов...» .....	518
578. «...Ни шапки надевать не надо...» .....	518
579. «О, первого велосипеда...» .....	519
580. «...синеет, синего синей...» .....	519
581. «...от валуна...» .....	519
582. «Фарфоровые соты синий...» .....	520
583. «Одни картины да киты...» .....	520
584. «Благодарю тебя, отчизна...» .....	520
585. «Во тьме в незамерзающую воду...» .....	521
586. «Здесь все так плоско, так непрочно...» .....	521
587. Ласточка («Однажды мы под вечер оба...») .....	521
588. «О нет, мне жизнь не надоела...» .....	522
589. «...монументальное исследование Андрея Белого о ритмах...» ..	522
590. «В полдень послышался клюнувший ключ, и характерно...» ..	522
591. «Люби лишь то, что редко и мнимо...» .....	522
592. «Виноград созрел, изваянья в аллеях синели...» .....	524
593. «Из темноты, для глаз всегда нежданно...» .....	524
594. «... ума большого...» .....	524
595. «Что скажет о тебе далекий правнук твой...» .....	525
596. «Прощай же, книга! Для видений...» .....	525

## СТИХОТВОРЕНИЕ ИЗ РОМАНА «LOOK AT THE HARLEQUINS!»

597. Влюбленность («Мы забываем, что влюбленность...») .....	526
--	-----

## ВАРИАНТЫ

412'. Декабрьская ночь (Из Альфреда де Мюссе) («Мне помнится, в школьные дни...») .....	529
477'. Vers composés pendant l'insomnie («Je ne puis m'endormir. La nuit...») .....	534

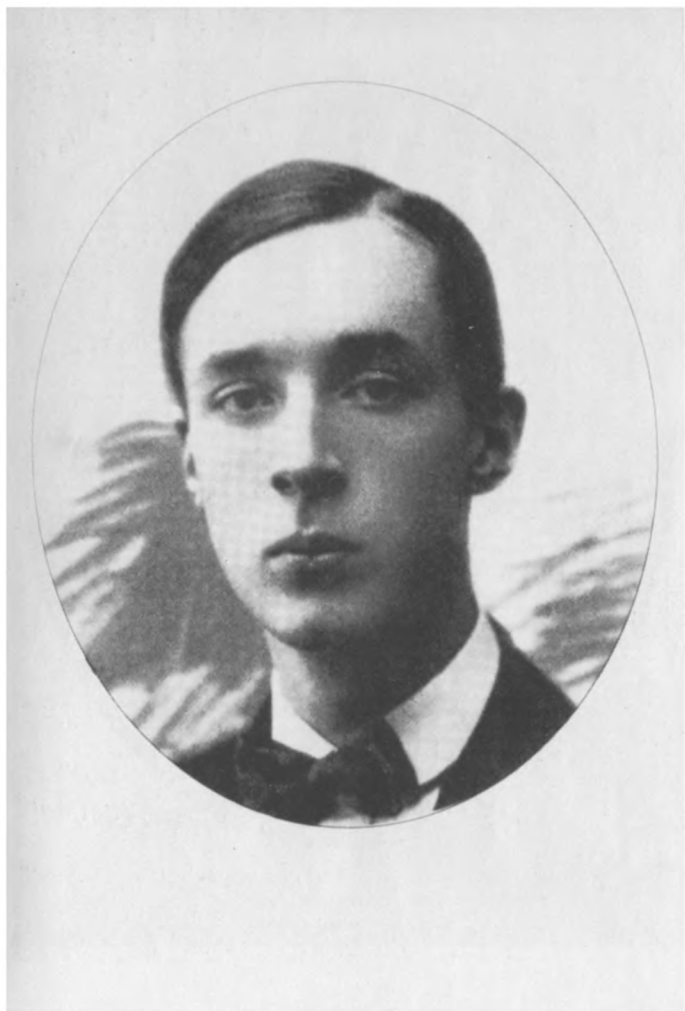
Примечания .....	535
Алфавитный указатель произведений .....	622



Родители Набокова в Выре, 1900 г.



В. Набоков в Берлине



В. Набоков, 1916 г.



Валентина Шульгина, 1916 г.



Дети Набоковых. Слева направо: Владимир, Кирилл, Ольга,  
Сергей и Елена. Ноябрь, 1918 г.  
(за 5 месяцев до того, как они покинут Россию)





Ева Лубржыньска



В. Набоков. Кембридж, ноябрь, 1919 г.



В. Д. Набоков. Берлин, 17 февраля 1922 г.



В. Набоков играет в теннис со своей невестой Светланой Сиеверт и ее сестрой Татьяной. Берлин, 1922 г.



В. Набоков, май 1923 г. (Фотография сделана на юге Франции, в Domaine-Beaulieu, около Тулона в имении, которым владели русские друзья семьи Набоковых.)



Вера Слоним и В. Набоков. Берлин, 1923 г.



В. Набоков в Берлине. 1925 г.



Семья Набоковых, Берлин, лето 1935 г.





Вера Слоним и В. Набоков в доме Шарпов в Корнелле  
с их котом, Бандитом. 1958 г.



Батово. Усадебный дом Набоковых и Корфов.  
Фотография начала XX в.

Средь этих лиственниц и сосен,  
Под горностаем этих гор,  
Мне был бы менее несносен  
Существования позор:

Однообразнее, быть может,  
Но без сомнения гостней  
Здесь бедный век мой был бы прожит  
Вдали от всемогущих лесей.

St Moritz, Grisons  
10. VII. 1965

В. Кавтун

Автограф стихотворения «Средь этих лиственниц и сосен...»



***В. В. НАБОКОВ***



**Набоков В. В.**

Стихотворения / Подг. текста, сост., вступ. статья и примеч.  
М. Э. Маликовой. («Новая Библиотека поэта»).

ISBN 5-7331-0160-1

Наиболее полное из всех до сих пор изданных в России собраний поэтических произведений крупнейшего русско-американского писателя XX века. В связи с уникальной спецификой двуязычного творчества Набокова в книге публикуются также его стихи, написанные на английском языке, и поэтические переводы на английский язык классических текстов русской поэзии (Пушкин, Лермонтов, Фет, Тютчев, Ходасевич). Публикуется также ряд переводов на французский язык и стихотворения из романов.

Художник *В. В. Еремин*  
Художественный редактор *В. Г. Бахтин*  
Технический редактор *Е. Ф. Шараева*  
Корректор *О. Э. Карпеева*

ЛР №066191 от 27.11.98

Подписано в печать 19.07.2002. Формат 84×108/32  
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Балтика.  
Усл. п. л. 50. Уч. изд. п. л. 52. Тираж 3000 экз. Заказ № 3397

Гуманитарное агентство «Академический проект»  
191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, 26

Отпечатано с готовых диапозитивов  
в Академической типографии «Наука» РАН  
199034, Санкт – Петербург, 9 линия, 12